А*ПУШКИН

Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Сомов В. С.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Чхиквишвили И. И.
Шамота Н. З.

А. ПУШКИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

ПОЭМЫ

●

СКАЗКИ

ИХЛ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА • 1977

Вступительная статья и примечания
Д. Благого

Р1
П 91

П $\frac{70401\text{-}077}{028\ (01)\text{-}77}$ подписное

ГЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ЛИРИКА И ПОЭМЫ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

«Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет!..» Немало сказано за полтора с лишним века замечательных слов о Пушкине-человеке и о Пушкине-поэте. Но так поэтически задушевно и так психологически точно, как Тютчев в этих строках, не сказал, пожалуй, никто. И вместе с тем выраженное в них языком поэзии полностью соответствует научной истине, подтверждено временем, строгим судом истории.

Первый русский национальный поэт, родоначальник всей последующей русской литературы, начало всех начал ее — таково признанное место и значение Пушкина в развитии отечественного искусства слова. Но к этому следует добавить еще одно и весьма существенное. Пушкин смог добиться всего этого потому, что впервые — на достигнутом им высочайшем эстетическом уровне — подымал свои творения на уровень «просвещения века» — европейской духовной жизни XIX столетия и тем самым полноправно вводил литературу русскую в качестве еще одной и значительнейшей национально-самобытной литературы в семью наиболее развитых к тому времени литератур мира.

Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая (6 июня по н. ст.) 1799 года в Москве. В семье его родителей — типичных представителей столичного дворянства того времени — интересовались литературой и театром. Сергей Львович, отец поэта, и сам писал стихи на французском языке. Дядя поэта, Василий Львович Пушкин, был довольно известным в свое время стихотворцем. В московской гостиной Пушкиных неоднократно бывали Карамзин и Дмитриев, а также наиболее талантливые представители литературной молодежи — Батюшков и Жуковский. Однако литературные интересы и занятия отца и даже дяди по существу носили дилетантский характер.

Детей С. Л. Пушкин воспитывал на обычный тогда для дворянских кругов чужеземный лад: сдал на руки гувернеров-иностранцев.

Пушкин горько жаловался позднее на недостатки своего «проклятого» воспитания, отрывавшего его от родного языка, родного народа. Но, помимо французов-воспитателей, в детстве около него были и простые русские люди: крепостной дядька Никита Козлов, черты которого, несомненно, отразились в Савельиче из «Капитанской дочки», и мастерица меткой и яркой народной речи няня Арина Родионовна. О ее сказках и песнях, «затверженных от малых лет», в которых, по словам Пушкина, звучал голос родины, он вспоминал даже незадолго перед смертью (в набросках к стихотворению «Вновь я посетил...»). «Проклятое» воспитание давало себя знать: первые литературные опыты мальчика Пушкина были на французском языке.

Осенью 1811 года Пушкин начал учиться в только что созданном Царскосельском лицее. Вскоре грянула Отечественная война. И самого Пушкина и его друзей-лицеистов охватило величайшее патриотическое воодушевление. Отныне, как правило, он стал писать на русском языке, ощутил себя русским поэтом. В Лицее вскоре создалась весьма насыщенная литературно-творческая атмосфера: возникли литературные кружки, выпускались рукописные журналы. Пушкин скоро сделался душой литературного лицейского мирка. Уже в 1814 году в «Вестнике Европы» появляется стихотворение четырнадцатилетнего Пушкина — сатирическое послание «К другу стихотворцу». Несмотря на традиционность жанра, фразеологии, даже самого содержания этих стихов, в них отчетливо звучат начинающие уже в эту пору складываться литературные убеждения молодого поэта. Автор предъявляет к «хорошим стихам» требование *общественной полезности* и выражает твердую решимость посвятить себя литературе — стать писателем, хотя это и не сулит ему никакого житейского благополучия и преуспеяния. К самому началу следующего, 1815 года относится и первый громкий триумф Пушкина-поэта, связанный с произведением, в значительной своей части посвященным Отечественной войне 1812 года,— с «Воспоминаниями в Царском Селе».

Чтение «Воспоминаний» на лицейском экзамене явилось одним из самых волнующих эпизодов литературной биографии Пушкина, навсегда запечатлевшимся в его сознании и в значительной степени определившим его дальнейшую жизненную судьбу. Особое значение тому, что произошло, придало присутствие на экзамене крупнейшего русского поэта прошлой эпохи Державина. Прослушав пушкинские «Воспоминания в Царском Селе», Державин предугадал, что в смуглом и кудрявом отроке, с восторженным трепетом прочитавшем перед ним свои стихи, зреет его подлинный исторический преемник, растет, как он уверенно твердил, «второй Державин». Одобрение Державина произвело огромное впечатление и на окружающих, и на самого Пушкина. К этому времени в журналах уже было напечатано несколько его стихотворений, но только под «Воспоминаниями в Царском Селе» он поста-

вил свою полную подпись: *Александр Пушкин.* «Воспоминания» были проникнуты горячим патриотическим чувством, отражавшим общее настроение передовых людей того времени. Но уже и в эту пору гордость великим историческим подвигом русского народа сочетается в поэте с гражданским негодованием к его угнетателям — с ненавистью к «рабству» («К Лицинию», 1815).

Школьные годы были временем и литературного ученичества Пушкина, поражавшего товарищей необыкновенной начитанностью, замечательной осведомленностью в самых разнообразных явлениях русской и в особенности французской литературы. В первых его стихотворениях сказываются различные воздействия; начинающий поэт как бы трогает то те, то другие струны — от иронии Вольтера до меланхолии Оссиана. Однако в выборе литературных учителей скоро начинают проявляться определенные влечения и вкусы. В ранние лицейские годы (1813—1814) он пишет в основном в духе и стиле Батюшкова. Стихи «Росспйского Парни», певца радости, неги и любви, как называет его мальчик Пушкин, пленяют его античной грацией, стройностью, изяществом поэтической формы и вместе с тем особой романтической мечтательностью, не заключавшей в себе ничего потустороннего, окрашенной в подчеркнуто «земные» тона. Все это вполне гармонировало с пушкинскими настроениями дней его «златой весны». Но под влиянием внешних впечатлений и внутреннего созревания поэта дни «беспечности», ничем не омрачаемой радости бытия быстро проходят. С 1815 года в поэзии Пушкина начинают нарастать «унылые», элегические ноты, столь характерные для раннего русского романтизма и получившие наиболее полное художественное выражение в лирике Жуковского. Следом за Жуковским на условном языке традиционных элегических образов и мотивов (неразделенная любовь, одиночество, безвременное увядание, ранняя могила) Пушкин начинает «выговаривать» свои первые «жалобы на жизнь», свои первые обиды и разочарования, свою неудовлетворенность окружающим. Но в то же время ему остается совершенно чужда мистическая окрашенность романтизма Жуковского, его фантастика в духе средних веков.

Прохождение школы Батюшкова — Жуковского, двух поэтов, у которых культура русского стиха достигла наивысшего для того времени совершенства, имело чрезвычайно важное значение и для развития художественного мастерства Пушкина. На двойной основе — стиха Батюшкова с его пластичностью, скульптурностью, «зримостью глазу» и стиха Жуковского с его музыкальностью, богатством мелодических оттенков, способных передавать тончайшие движения души и сердца,— синтетически вырабатывается тот качественно новый, небывалый по своей художественности пушкинский стих, первые образцы которого мы встречаем уже в некоторых лицейских произведениях поэта и который с таким несравненным блеском даст себя знать в его последующем творчестве.

Еще на лицейской скамье Пушкин стал активным участником той ожесточенной литературной борьбы, которая разгорелась между приверженцами

старых и новых литературных течений — членами реакционного литературного общества «Беседа любителей русского слова» и кружка воинствующей литературной молодежи «Арзамас». Не имея возможности присутствовать на заседаниях «Арзамаса», Пушкин громил в своих стихах «друзей непросвещенья», поборников «тьмы», «угрюмых певцов» «Беседы». Эти стихи — колыбель Пушкина-полемиста, бойца, автора политических эпиграмм, сатирических посланий к цензору.

В поисках отечественных образцов Пушкин обращается к одной из самых прогрессивных традиций предшествовавшей ему литературы — к писателям так называемого «сатирического направления» XVIII века, произведения которых были наиболее связаны с жизнью, заключали в себе больше всего элементов народности и реализма: автору «Недоросля» — Фонвизину, «бесценному шутнику» — Крылову. Очень важно, что уже в эти годы Пушкин знакомится и с произведениями первого русского революционного писателя Радищева, многие суждения которого оказывают несомненное влияние на формирование литературных взглядов Пушкина-лицеиста.

Окончив в 1817 году Лицей и зачислившись на службу в Коллегию иностранных дел, Пушкин поселяется в Петербурге. Вырвавшись из шестилетнего лицейского «заточенья», поэт не только жадно предается «светским» развлечениям, но и активно включается в литературную и общественную жизнь столицы: посещает заседания «Арзамаса», вступает в дружеское объединение «Зеленая лампа» — литературный филиал ранней тайной политической организации «Союз благоденствия».

К этому времени в стране все более сгущалась правительственная реакция, и в то же время в передовых кругах дворянства усиливались оппозиционные настроения. Начали возникать тайные общества, подымалась первая волна назревающего движения дворянских революционеров — будущих декабристов. Ближайшие лицейские друзья Пушкина — И. И. Пущин, В. Д. Вольховский — сразу же по окончании Лицея вступили в первое тайное общество «Союз спасения». По авторитетному свидетельству Пущина, полностью разделял его политические взгляды и Пушкин.

Беспечно-веселые стихи Пушкина этой поры, славящие радости земного бытия, Вакха и Киприду, были не только проявлением избытка молодости, кипящих жизненных сил, но и своеобразной формой протеста против ханжества и мистицизма, которыми были охвачены круги высшего придворного общества во главе с Александром I и которые определяли антипросветительскую правительственную политику конца 10-х — первой половины 20-х годов. Юродствующему «большому свету» — «вельможам», «святым невеждам», «изношенным глупцам», «почетным подлецам» — Пушкин противопоставляет в своих стихах «тесный круг друзей» — «философов и шалунов», «счастливых беззаконников», «набожных поклонников Венеры»; «кривлянью при-

дворной мистики» — «святую библию харит» — кощунственную в глазах святош и пользовавшуюся большой популярностью в декабристских кругах поэму Вольтера «Орлеанская девственница». Все чаще и настойчивее в его стихах в одном ряду со словами «Вакх», «Амур», «Венера» появляется и слово «свобода». Такое сочетание было реальной и характерной чертой времени — периода, когда на шумных сборищах дворянских «либералистов» тосты в «честь Вакха, Муз и красоты» и чтение стихов перемежались вольнолюбивыми разговорами, а подчас и смелыми революционными проектами. Примерно такой характер носили и заседания «Зеленой лампы» и «сходки» в домах у будущих декабристов, со многими из которых Пушкин в эту пору близко сошелся.

В тайное общество, о существовании которого Пушкин догадывался, он не был принят. По свидетельству Пущина, дружески, можно сказать, братски расположенного к поэту, «подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными» «пугали» членов тайного общества. Позднее Пущин иначе взглянул на все это. Упомянув о «ненормальном быте» Пушкина по выходе из Лицея, об его шумном рассеянно-светском существовании, он продолжает: «...видно, впрочем, что не могло и не должно было быть иначе; видно, нужна была и эта разработка, коловшая нам, слепым, глаза». Действительно, «светские» впечатления Пушкина послелицейского периода дали ему богатейший материал для изображения той шумной и пестрой сутолоки, той картины праздного и праздничного петербургского быта, которую так ярко нарисует он позднее в первой главе «Евгения Онегина» — типической картине «жизни светского молодого человека» того времени. Пушкин, по укоризненным словам Пущина, «кружился в большом свете», но он же и настойчиво рвался из этого круга. Задыхаясь в атмосфере придворного и светского ханжества, мракобесия, самодурства, низкопоклонства, лести, карьеризма, поэт страстно искал людей высокой гражданской настроенности — «с душою благородной, возвышенной и пламенно свободной». Таких людей поэт находил среди деятелей тайного общества, и тем больнее переживал недоверие, которое чувствовал с их стороны. «Он затруднял меня спросами и расспросами,— рассказывает Пущин,— от которых я, как умел, отделывался, успокаивая его тем, что он лично, без всякого воображаемого им общества, действует как нельзя лучше для благой цели». Выйдя из Лицея, Пушкин и в самом деле почти сразу же стал энергично и в высшей степени успешно действовать «для благой цели». Образцами передовой, высокоидейной литературы являются «вольные» стихи Пушкина, в которых он предстает в качестве поэта-трибуна, пламенного провозвестника идей назревающей дворянской революционности.

Позднее Пушкин ставил себе в особую заслугу, что он «воспел свободу» вслед за Радищевым. И действительно, в написанных в первые же послелицейские годы стихотворениях «Вольность» и «Деревня» он с небывалой дотоле художественной яркостью и силой снова подымает основные радищевские темы — резко ополчается против самодержавия и крепостничества.

В программно-политическом отношении оба эти стихотворения умереннее радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву» с имеющимися в нем призывами к всенародному восстанию против самодержавия, к расправе крестьян над помещиками. В первом из них, названном так же, как и революционная ода Радищева, «Вольность», Пушкин, осуждая и казнь народом французского короля Людовика XVI, и убийство дворянами-заговорщиками Павла I, выступает за ограничение самодержавия «законом» — конституцией. Во втором — «Деревня» — выражает горячее желание увидеть зарю «просвещенной свободы» и «рабство, падшее по манию царя». Но силой ненависти к «самовластительным злодеям» на троне, гневным и негодующим гражданским чувством при виде угнетенного «диким барством» народа стихи Пушкина оказывали громадное революционизирующее воздействие.

В то же время в пушкинских «вольных» стихах с огромной эмоциональной силой проявились и обаятельные черты, присущие лучшим представителям революционной молодежи: восторженно-страстное горение, пламенный революционный патриотизм, горячая вера в торжество «святой вольности». В наиболее совершенной художественной форме Пушкин запечатлел эти черты в своем первом послании 1818 года «К Чаадаеву» («Любви, надежды, тихой славы...»), человеку особенно близкому в то время поэту. Заключительные его строки исполнены такого чудесного молодого порыва, проникнуты таким благородным и высоким воодушевлением, что это стихотворение прозвучало как своего рода первое объяснение в любви Родине и Свободе.

В сатирических песенках — «ноэлях» — и в многочисленных эпиграммах этого времени Пушкин бичевал и конкретных носителей зла: от «кочующего деспота», надевавшего на себя «лицемерную» либеральную маску, «венчанного солдата» — Александра I и царского «друга и брата», «притеснителя» всей России — ненавистного Аракчеева до всякого рода царских «холопов при звезде», духовных и светских носителей реакции. Не меньшей популярностью пользовались и острополитические «крылатые словечки», которые Пушкин, по свидетельству современников, во «всеуслышание» произносил в театре и других публичных местах. Именно здесь-то, в этих беглых экспромтах и мгновенно — на лету — возникавших эпиграммах, с особой яркостью и силой сказывалась политическая настроенность Пушкина и в то же время с особенным блеском проявлялось его меткое и беспощадное остроумие — умение несколькими рифмованными строчками навеки пригвоздить противника к позорному столбу.

Отчетливо сказалась в «вольных» стихах Пушкина и его творческая эволюция. Ода «Вольность», в которой, отталкиваясь от анакреонтической «легкой поэзии», Пушкин взывает к музе высокой гражданской лирики — «грозе царей», «гордой певице» свободы, написана в стиле классицизма, но классицизма революционного, радищевского. «Деревня», начатая в духе сельской сентиментальной идиллии, своей второй, социально-обличительной

частью начисто снимает карамзинскую идилличность и также обретает черты, подобные революционной «чувствительности» радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». Наконец, послание «К Чаадаеву» является ярчайшим образцом зарождающегося в последних стихотворных произведениях Радищева русского революционного романтизма. Вместе с тем эти три стихотворения, хотя и разные по своему стилю, непосредственно, хронологически и по существу, зачинают в русской литературе политическую поэзию декабристов. Именно этим и объясняется, что Пушкин первым из всех своих вольнолюбивых друзей и единомышленников подвергся преследованиям правительства. Сначала Александр I хотел отправить поэта, считавшего себя преемником Радищева, вслед Радищеву же в Сибирь; и лишь благодаря настойчивым усилиям и хлопотам высоко ценивших Пушкина Чаадаева, Жуковского, расположенного к нему Карамзина и других удалось заменить эту суровую кару более легкой — ссылкой на юг. По первоначальному проекту царя другим возможным местом ссылки Пушкина намечался Соловецкий монастырь. Это говорит о том, что наряду с политическим вольномыслием Пушкину вменялась в вину и антирелигиозная настроенность, о которой имеются свидетельства ряда современников. Боевым духом протеста против мракобесия и мистицизма проникнуто и первое завершенное эпическое произведение Пушкина — поэма «Руслан и Людмила», задуманная и начатая им еще в Лицее.

Ни над одним своим произведением, за исключением «Евгения Онегина», не работал он так долго и так упорно. Уже одно это показывает, какое большое значение он придавал своей поэме, явившейся первым, до конца осуществленным крупным его стихотворным произведением с широким эпическим содержанием. В поэме было немало традиционного. Сам Пушкин вспоминал в связи с ней Вольтера как автора «Орлеанской девственницы», в свою очередь, своеобразно использовавшего традицию рыцарской поэмы итальянского поэта эпохи позднего Возрождения Ариосто «Неистовый Роланд». Хорошо были известны Пушкину и опыты русской ирои-комической, шутливой и сказочно-богатырской поэмы последней трети XVIII — начала XIX века. Следы всего этого можно без особого труда обнаружить в «Руслане и Людмиле». Но это именно только следы. В целом же поэма Пушкина, использовавшего в порядке широкого художественного синтеза самые разнообразные опыты своих предшественников,— произведение, пусть еще во многом юношески незрелое, но глубоко новаторское.

«Руслан и Людмила» не является литературной переработкой какого-либо одного фольклорного источника. Широко используя в своей новой поэме еще с детства, со слов няни, запомнившиеся сказочные эпизоды, образы и мотивы, поэт свободно и непринужденно смешивает и перемежает их с прочитанным, с литературными реминисценциями. Но, несмотря на достаточно ограниченную в этом отношении романтическую «народность» пушкинской поэмы, уже в ней стал ощутим народный «русский дух», она «Русью пахнет».

В намеренно заимствованном из «Двенадцати спящих дев» Жуковского эпизоде «Руслана и Людмилы» (пребывание Ратмира в замке дев) Пушкин вступает в прямое единоборство с «певцом таинственных видений», «обличает» его в «прелестной лжи», пародийно переключая «небесное» в сугубо «земное». Но и независимо от этого сказочно-фантастическая романтика пушкинского произведения, условность которой не только сразу очевидна, но и неоднократно иронически подчеркивается поэтом, прямо противоположна религиозно-средневековой романтике Жуковского. Поэма жизнерадостна, оптимистична, полностью соответствует духу русских народных сказок с их торжествующими в конечном счете положительными героями, с их победой добра над злом.

«Реалистичность» изображения героев и романтический «историзм» «Руслана и Людмилы» еще так же относительны, как и «народность» поэмы. Но для русской литературы того времени даже и это являлось выдающимся художественным открытием. Взамен окутанной туманами, озаренной таинственным лунным сиянием балладной действительности Жуковского перед нами хотя и условно сказочный, но яркий, полный красок, движения мир, пестрый и разнообразный, как сама жизнь. С этим разнообразием содержания связано жанровое и стилистическое новаторство произведения. Наряду с эпическим в нем присутствовало и ярко выраженное лирическое начало — личность автора-рассказчика, который скреплял весь этот разнохарактерный материал в единое художественное целое.

Поэма написана в русле поэтического языка Батюшкова и Жуковского, развивавших традиции «нового слога» Карамзина, в основу которого было положено то, что Ломоносов называл «средним штилем». Это сближало литературный язык с разговорной речью, но и вносило в него существенные ограничения в духе салонно-дворянской карамзинской эстетики. В «Руслане и Людмиле» Пушкин не раз снимает эти ограничения, заимствуя, когда он считает это нужным, языковой материал из сферы «высокого штиля» и вместе с тем смело черпая слова, выражения, обороты из «низкого штиля», народного просторечия. Случаи эти не так уж многочисленны, но по той негодующей реакции, которую они вызвали со стороны не только «классиков», но и карамзинистов, видно, как велико было принципиальное их значение. «Стихотворный язык богов должен быть выше обыкновенного, простонародного»,— заявлял в этой связи один из критиков. А другой прямо сравнивал грациозно-шутливую поэму Пушкина с мужиком «в армяке, в лаптях», втершимся в «Московское Благородное Собрание» и «закричавшим зычным голосом: *здорово, ребята!*». Прогрессивными литературными кругами поэма, наоборот, была восторженно принята. Пушкин утверждал ею романтический принцип творческой свободы писателя от всякого рода педантических теорий и «правил», литературных условностей, закостеневших традиций. В поэме, по словам Белинского, было заключено «предчувствие» «нового мира творчества»; этим она и открывала новый, пушкинский период в истории русской литературы.

20 марта 1820 года Пушкин читал у Жуковского заключительную песнь «Руслана и Людмилы»; а через неделю с небольшим петербургский генерал-губернатор Милорадович, по внушению Аракчеева, дает распоряжение полиции добыть текст оды «Вольность». Это было началом грозы, вскоре разразившейся над головой поэта: в начале мая Пушкин выехал в далекую южную ссылку, сначала в Екатеринослав, затем после четырехмесячной поездки с семьей генерала Раевского по Кавказу и Крыму к месту назначенной ему службы — в Кишинев.

Жизнь Пушкина резко изменилась. Поэт был вырван из привычного круга друзей и знакомых, из столичной обстановки. Вместо петербургских улиц перед ним были дикие и суровые горы Кавказа, бесконечные морские просторы, залитое ослепительным южным солнцем Крымское побережье. «Искателем новых впечатлений», «бежавшим» от столь прискучившего ему и презираемого им петербургского светского общества, ощущал себя поэт. Жадно, как и все передовые его современники, начинает он читать именно в эту пору произведения Байрона, что, естественно, усиливало романтическую настроенность Пушкина. Ярко сказалась она в первом же его лирическом стихотворении периода южной ссылки, которое он начал писать ночью на корабле, по пути из Феодосии в Гурзуф,— элегии «Погасло днéвное светило...». Проникновенно-лирическое, сотканное из «волнений и тоски», горьких воспоминаний о «ранах сердца» и мечтательных порывов к новому, неведомому, стихотворение представляет собой один из замечательнейших образцов русской романтической лирики. Музыкальным рефреном его является образ волнующегося моря, в котором как бы объективируется мир души поэта-романтика и который будет сопровождать Пушкина в течение всего южного периода его творчества. Обращением к морю — «угрюмому океану» — он начинается, прощанием с морской «свободной стихией» заканчивается («К морю», 1824).

В том же августе 1820 года, когда была завершена Пушкиным элегия, принимается он за работу над своей первой южной поэмой «Кавказский пленник». В «Руслане и Людмиле» поэт уносился «на крыльях вымысла» в мир светлой сказки древних лет. Новая поэма обращена к реальной жизни, к современности. Сам Пушкин подчеркивал не только глубоко лирическую, субъективную окрашенность своей поэмы, но и прямую автобиографичность (в смысле общей «душевной» настроенности) образа ее «главного лица». Неудачу разработки характера героя он прямо склонен был объяснять тем, что действовал здесь субъективно-лирическим методом («списал» его с самого себя), подсказанным ему гремевшими в эту пору по всей Европе «восточными» поэмами Байрона. «Кавказский пленник», как и вскоре написанный «Бахчисарайский фонтан», по позднейшим словам самого Пушкина, «отзывается чтением Байрона, от которого,— добавляет поэт,— я с ума сходил». Но уже в «Кавказском пленнике» при несомненном сходстве с Байроном обнаруживаются и существенные от него отличия, которые в дальнейшем будут все углубляться и нарастать и придадут творчеству Пушкина не толь-

ко совсем иной по отношению к великому английскому поэту, но во многом и прямо противоположный характер.

В лиро-эпических поэмах Байрона, как почти и во всем его творчестве, преобладающим являлось лирическое, глубоко личное, субъективное начало. В «Кавказском пленнике» наряду с лирическим началом — потребностью самовыражения — сказывается пристальное внимание поэта к окружающей действительности, зоркое в нее вглядывание, умение верно воспроизвести хотя бы некоторые ее черты. Об образе Пленника Пушкин замечал: «Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жизни и к ее наслаждениям, эту преждевременную старость души, которые сделались отличительными чертами молодежи 19-го века». Замечание это показывает, что и в этот период своего творчества Пушкин уже ставит перед собой задачу художественного отражения объективной действительности, хочет дать в лице главного героя поэмы образ, типичный для современности, наделенный «отличительными чертами» своей эпохи.

Однако субъективно-романтический метод изображения «главного лица» вступал в противоречие с замыслом Пушкина — воспроизвести типический образ героя-современника. Это «был первый неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил», писал поэт позднее о Пленнике. Но уже и этот еще «неудачный опыт» был замечательным художественным достижением Пушкина. В своем разочарованном герое-свободолюбце при всей субъективности и недостаточной художественной зрелости его образа поэту все же удалось уловить характерные особенности целой исторической эпохи.

«Исторической» является поэма Пушкина и по своей проблематике. Столкновение вольнолюбивого героя с общественной средой — глубоко не удовлетворяющим его, презираемым им «светом» — разрешается Пушкиным в соответствии с излюбленной сюжетной схемой романтиков: бегство из мира культуры в мир первобытной, «естественной» жизни. «Отступник света, друг природы», герой-одиночка, страстно ищущий «свободы», покидает «родной предел» и летит «в далекий край» — на дикий, первобытный Кавказ. Эта коллизия была в высшей степени характерна для начала 20-х годов XIX века — преддекабрьского периода русской общественной жизни.

Еще сильнее непосредственные впечатления от действительности сказываются во внефабульных частях поэмы — описаниях природы Кавказа и нравов горцев. Природа и быт Кавказа показаны в пушкинской поэме по преимуществу с романтической их стороны. И вместе с тем «местные краски» в «Кавказском пленнике» отличаются замечательной верностью действительности. «Не понимаю, каким образом мог я так верно... изобразить нравы и природу, виденные мною издали»,— удивлялся позднее, при втором посещении Кавказа, сам поэт.

Литературно-общественное значение «Кавказского пленника» неизмеримо больше значения «Руслана и Людмилы». В своей первой южной поэме

Пушкин дает образец вольнолюбивого романтического произведения лирико-повествовательного типа, открывая этим новую и важную страницу в духовной жизни русского общества — полосу «новейшего романтизма». Двадцатитрехлетний Пушкин становится во главе современной ему литературы, ведя ее теперь за собой. Вместо шутливо-сказочной романтики «Руслана и Людмилы» Пушкин обрел «Кавказским пленником» и для самого себя, и для всей русской литературы глубокий источник романтики в самой действительности. Всем этим объясняется неслыханная литературная популярность «Кавказского пленника», огромное количество вызванных им подражаний, наконец, самое утверждение жанра романтической поэмы в качестве основного, ведущего жанра русской литературы 20-х годов.

«Неудача» создания в «Кавказском пленнике» художественно-типического образа героя-современника приостановила на некоторое время дальнейшие попытки поэта написать повествовательное произведение на современном материале. Его новая поэма, «Бахчисарайский фонтан», тоже о прошлом; но если в «Руслане и Людмиле» старина в основном облечена в форму сказки, здесь она дается в форме воспроизведения хотя и легендарного, но все же рассказа о былом. Как и «Кавказский пленник», поэма тесно связана с непосредственными, на этот раз крымскими впечатлениями Пушкина. Романтичность сюжета, в основу которого положено местное предание об исключительной по страстности и силе, преображающей душу любви крымского хана к плененной им польской княжне, яркая живописность образов — разочарованного и мрачного Гирея, неистово-страстной Заремы, которой противопоставлен ангельски чистый облик Марии, глубокая эмоциональность тона, нарочито таинственная недоговоренность повествования — все это делает «Бахчисарайский фонтан» произведением, наиболее отвечающим поэтике «байронической» поэмы. Вместе с тем поэт делает здесь весьма плодотворную для его последующего творческого развития попытку не субъективно-лирического, как в образе Пленника, а более объективного, драматизированного изображения характеров. Этот первый опыт еще не вполне удался. Пушкин позднее сам иронизировал над «мелодраматичностью» образа Гирея; но он же отмечал, что «сцена Заремы с Марией имеет драматическое достоинство». Однако отсутствие и в этой поэме, как и в «Руслане и Людмиле», живой, непосредственной связи с современностью, видимо, не удовлетворяло поэта. Можно думать, что именно поэтому он считал ее «слабее» «Кавказского пленника».

Годы ссылки сыграли важную роль в идейно-творческом развитии поэта. Период расцвета пушкинского романтизма был и периодом его стремительного интеллектуального роста, временем упорного труда, раздумий, чтений, настойчивых стремлений «в просвещении стать с веком наравне».

На юге поэт был окружен деятелями гораздо более решительного и радикального Южного тайного общества; встречался с вождем его, Пестелем, общение с которым произвело на него очень сильное впечатление. По справедливым словам Вяземского, Пушкин хотя «и не принадлежал к заговору,

который приятели таили от него, но он жил и раскалялся в этой жгучей и вулканической атмосфере». В этой атмосфере, еще сильнее накаляемой буржуазно-национальными революционными движениями начала 20-х годов в ряде европейских стран, мысль и чувство поэта все больше революционизируются.

Тема «вольнолюбивых надежд» — порывов к свободе, «святой вольности» — составляет одну из основных тем творчества Пушкина периода южной ссылки. Тема эта пронизывает собой южные поэмы. Снова и снова звучит она в пушкинской лирике (стихотворения «Кинжал» и «Наполеон», 1821; «Узник», 1822; «Птичка», 1823).

Однако политическая обстановка той поры не оправдывала романтических надежд Пушкина на победу «народов» над «королями». Политика Священного союза, созданного для подавления национально-освободительных и революционных движений, явно торжествовала: к 1823 году очаги народно-освободительных движений — революция в Неаполе, испанская революция, восстание греков под предводительством Ипсиланти — один за другим были растоптаны; в России свирепствовала аракчеевская реакция. «Смотря на запад Европы и вокруг себя», поэт вопреки своим первоначальным ожиданиям и надеждам всюду видел мрачную картину побежденных «народов» и торжествующих «королей».

По-прежнему страстно призывая революционную «грозу», которая разрушила бы «гибельный оплот» самодержавия и крепостничества, поэт все меньше верит в возможность близкой революционной бури. Настроения скептицизма и пессимизма этой поры нашли яркое выражение в стихотворении «Демон» — о льющем в душу «хладный яд» «злобном гении», который не верил ни любви, ни свободе, презирал вдохновение, звал прекрасное мечтой и на все взирал с язвительной насмешкой. Горькое разочарование, неверие в возможность торжества свободы звучат и в написанной тогда же «притче» о сеятеле («Свободы сеятель пустынный...»).

Поэт вначале склонен был видеть причину неудач и крушения революционных стремлений в пассивности, долготерпении и покорности самих «народов». Романтический культ героя-одиночки, «мужа судеб», противопоставляемого «покорным рабам», звучит в ряде стихотворений Пушкина этой поры. Однако действительность вносила существенные поправки в эти романтические иллюзии: «герои» при ближайшем рассмотрении оказывались вовсе не так героичны. Уже в стихотворении «Наполеон» (1821), написанном после получения известия о смерти Наполеона, Пушкин осознал глубоко эгоистическую природу наполеоновского героизма. Образ «могучего баловня побед» еще окружен романтическим ореолом, но в то же время герою-индивидуалисту Пушкин противопоставляет высокий патриотический подвиг русского народа, «сердца» которого не постигнул и не разгадал надменный завоеватель, народа, самоотверженно отстоявшего свою независимость и свою родную страну.

Неоднократно бывал Пушкин в эту пору свидетелем и активного протеста народа против угнетателей. Протест этот носил стихийный, бунтарский характер, но он наглядно показывал, что русское крестьянство вовсе не так уж смиренно и покорно подставляет себя под ярмо и бич. Со всем этим непосредственно связан и один из интереснейших замыслов Пушкина, относящихся к 1821—1822 годам,— создание большой поэмы о волжских разбойниках. По не вполне ясным для нас причинам Пушкин, согласно его собственным словам, уничтожил всю поэму, за исключением небольшого отрывка, опубликованного им позднее под названием «Братья разбойники».

«Братья разбойники» — первый, еще романтический опыт разработки Пушкиным темы народного, крестьянского протеста, которая займет такое значительное место в дальнейшем его творчестве. Но чем больше росли интерес и сочувственное внимание Пушкина к простому народу, к крестьянству, тем острее и болезненнее стал он ощущать резкую разобщенность между народом и передовой дворянской интеллигенцией. Перед поэтом все настойчивее встают в качестве основных, актуальнейших вопросов, связанных с «духом века» и настоятельно требующих своего разрешения, с одной стороны, проблема отношений между народом и представителями передового дворянства, с другой — проблема народных движений, роли народа в истории. Именно на основе этой проблематики создаются значительнейшие произведения творчества Пушкина 20-х годов: последняя его романтическая поэма «Цыганы», начатая в январе 1824 года на юге, в Одессе, и оконченная в Михайловском в конце того же года, и его величайшие реалистические создания — роман в стихах «Евгений Онегин» и историческая трагедия «Борис Годунов».

Сюжет и «главное лицо» поэмы «Цыганы» — как бы новая вариация «Кавказского пленника». Но психологический облик героя поэмы Алеко развит значительно больше и гораздо последовательнее. О свободолюбии Пленника упоминалось самым общим и неопределенным образом. В патетических репликах Алеко Земфире об этом говорится прямо. Тому, что в поэме именуется «оковами просвещенья», цивилизованной «рабской» жизнью, «неволей душных городов», людям, как стадо, скученным за «оградой», лишенным очарования природы, стыдящимся своих естественных чувств, торгующим своей свободой, противопоставляется вольная жизнь «дикого», кочевого племени.

Гораздо резче и рельефнее дан в «Цыганах» и второй член антитезы — то вольное существование, в условия которого Алеко попадает. Свободные от оседлой, устоявшейся жизни, от сковывающей собственности, земли, дома, от связанных со всем этим «законов», цыгане являют собой как бы предельное выражение искомой героем романтической «вольности». Но самое важное и существенное, что отличает «Цыган» от «Кавказского пленника»,— совершенно иные отношения, в которые становятся «просвещенный», цивилизованный герой и «дикое», первобытное племя.

Алеко — незаурядный, резко выделяющийся из окружающей среды человек, обладающий многими положительными качествами — острокритическим умом, способностью к большим чувствам, сильной волей, смелостью, решительностью. Он глубоко не удовлетворен окружающим, искренне и страстно ненавидит рабский и торгашеский строй современного ему общества. Бунт его против общества — это бунт во имя вольности против рабства, во имя «естественности», «природы» — против общественных отношений, основанных на «деньгах и цепях» и сковывающих, порабощающих мысль и чувства человека. Алеко здесь — с лучшими людьми своего времени. Не случайно как вся поэма, так и образ самого Алеко породили такой живой и сочувственный отклик у Рылеева и других декабристов. Но рвущийся из «оков просвещенья», из «неволи городов», пламенный и решительный вольнолюбец, не признающий власти «судьбы», идущий ей наперекор, Алеко оказывается игралищем «страстей», их «послушным» рабом. По ходу поэмы раскрывается глубоко эгоистическая, «злая» природа этих страстей, порожденная тем самым собственническим строем, на который он так яростно ополчается. Со всей наглядностью это проявляется на отношениях Алеко к Земфире. Земфира — предельное выражение степной, цыганской свободы. Эту свободу она вносит и в свое чувство. Мгновенно и своенравно увлеклась она Алеко; два года была ему «подругой», но затем его любовь ей прискучила. Тут-то и пробуждаются злые «страсти» в душе Алеко, все те инстинкты, которые вскормлены его прошлым, его классом, общественной средой. Требующий для себя безграничной свободы, Алеко ни в какой мере не склонен уважать свободу других. Вольнолюбец становится насильником. Проповедник вольности оказывается беспредельным эгоистом, злым ревнивцем, собственником, рассматривающим, как неотъемлемо принадлежащую ему, неотчуждаемую вещь, жизнь и судьбу другого человека — женщины, свободно предававшейся ему, пока она его любила. Так вскрываются в поэме злобные, античеловечные «страсти» — сокровенная суть, изнанка души и характера героя, совершающего под влиянием их страшное преступление.

«Оставь нас, гордый человек!» — этот суровый финальный приговор старика цыгана относится не к одному лишь Алеко. «Гордый человек» — «байронический» герой вообще. Это тот представитель «молодежи 19-го века», тот «современный человек» — детище современного ему общества, развернутую характеристику которого Пушкин даст позже, в седьмой главе «Евгения Онегина».

Не меньшим, чем обрисовка и раскрытие характера «современного человека», замечательным достижением Пушкина является изображение народной среды — цыган. Характеры всех трех цыганских персонажей пушкинской поэмы строятся и развертываются на образах и мотивах народно-песенного творчества. Уже Радищев выдвинул положение о тесной связи между тоном и настроением народных песен и народной «душой» — национальным характером. Пушкин в «диком напеве» песни Земфиры ищет и обретает ключ, дающий ему возможность проникнуть в «душу» народа, в тайники

национального характера. Наряду с почти одновременно писавшимися «Подражаниями Корану», «Цыганы» представляют собой первый замечательный образец пушкинского умения проникать в дух чужой национальности, которое с такой силой скажется в его последующем творчестве.

«Цыганы» — одно из первых русских произведений, влияние которых вышло за пределы отечественной литературы,— не только получили исключительно высокую оценку Проспера Мериме, который перевел их прозой на французский язык, но, несомненно, отозвались (образом Земфиры) в его прославленной новелле «Кармен». В отношении творческого развития самого Пушкина очень важно, что в «Цыганах» он начинает переходить от субъективно-лирического восприятия действительности к объективно-драматическому ее воспроизведению. Не только по своей фабуле, по разработке характеров Алеко и Земфиры, но и по своему словесному воплощению поэма драматизирована. «Только с «Цыган» почувствовал я в себе призвание в драме»,— свидетельствовал позднее сам Пушкин.

В период южной ссылки литературная слава Пушкина все растет. Каждое новое его произведение вызывает живейший отклик. Романтические поэмы создают ему исключительную популярность. По всей стране в бесчисленных списках ходят его запретные «вольные» стихи. Тем настороженнее и неприязненнее следят за поэтом царь Александр I и его окружение. Придравшись к нескольким строчкам перехваченного полицией частного письма Пушкина, в котором он высказывал атеистические взгляды, поэта перебрасывают в июле 1824 года с юга, из Одессы, в «далекий северный уезд», в имение его матери — вотчину Ганнибалов — село Михайловское.

Пушкин очень трудно пережил заточение в глухое деревенское захолустье. Однако именно в русской деревне, в тесном общении с простыми людьми, с няней Ариной Родионовной Пушкин так непосредственно, как никогда до этого, прикоснулся к той почве, которая является источником подлинного богатырства,— к родной земле, к простому народу. Именно это оказало самое благотворное влияние на всю духовную жизнь поэта, закалило и укрепило его душевные силы, в частности послужило одним из могучих стимулов к необыкновенно яркому проявлению его творческой энергии в формах развивающегося, все крепнущего и усиливающегося художественного реализма. «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить»,— писал Пушкин одному из друзей в июле 1825 года, в самый разгар своей работы над «Борисом Годуновым». Слова эти можно с полным основанием отнести и ко всему пушкинскому творчеству этих лет.

Михайловский период составляет новый и важнейший этап в идейно-художественном развитии поэта. По количеству, многообразию и вместе с тем художественной полноценности созданных произведений последние ме-

сяцы 1824 года и 1825 год превосходят решительно все, с чем мы сталкивались в предыдущие периоды, а из последующих уступают лишь знаменитой, ни с чем не сравнимой болдинской осени 1830 года. За весьма небольшое время — всего около шестнадцати месяцев — Пушкиным были завершены начатые на юге «Цыганы», писались очередные главы «Евгения Онегина», созданы «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Сцена из Фауста»; наряду с этим написано множество стихотворений, в числе которых «Разговор книгопродавца с поэтом», цикл «Подражания Корану», «Андрей Шенье», «19 октября», «Жених». Уже из этого перечня видно, как широк и разнообразен был размах пушкинского творчества в этот период.

Необычайной зрелости и высоты достигает в это время пушкинская лирика. Некоторые друзья Пушкина, прямо связанные с деятельностью тайных организаций, даже склонны были считать широту диапазона пушкинской лирики ее недостатком. «Любовь ли петь, где брызжет кровь...» — не без укоризны писал поэту В. Ф. Раевский в стихотворном послании к нему из Тираспольской крепости, своеобразно — в революционном духе — продолжая гражданскую традицию ломоносовского «Разговора с Анакреоном» — предпочтения личным, интимным чувствам «пользы общества». По этому пути идет и сам Пушкин в «Андрее Шенье». Поскольку вопрос ставится здесь о необходимости в данных исторических условиях выбора между личным и гражданским, на него дается ответ в духе Ломоносова: в пушкинском стихотворении поэт-гражданин, певец «свободы» торжествует над самим собой, как «певцом любви, дубрав и мира» — поэтом-анакреонтиком.

Лирика михайловского периода во многом непосредственно примыкает к южной лирике. В прощальном обращении «К морю» поэт обещает не забывать «торжественной красы» морской «свободной» стихии. И действительно, гул «романтического» моря продолжает звучать во многих михайловских стихах Пушкина. Особенно ощутим он в страстных излияниях-монологах поэта из «Разговора книгопродавца с поэтом» (1824), во многом напоминающих эмоциональную атмосферу первых южных поэм и представляющих собой один из самых ярких образцов пушкинского романтизма. Но уже в этом стихотворении в лице двух его антагонистов — пламенного романтика-поэта и трезвого, рассудительного книгопродавца — дано прямое, в лоб столкновение мечты и действительности, поэзии и прозы, причем кончается оно тем, что поэт, хотя и не сдавая своих основных позиций, вынужден признать правоту собеседника.

Лирика Пушкина в эту пору подымается на качественно новую ступень не романтической,— окутанной «черной шалью», одетой в черкесские бурки или «яркие лохмотья» цыган,— а реальной русской народности. Одним из замечательных произведений в народном русском духе является написанное Пушкиным в михайловский период стихотворение «Жених» (1825). Стихотворение облечено в форму баллады, но Пушкин имел право придать ему обозначение: «простонародная сказка». Бытовая и психологиче-

ская атмосфера, образы отца, жениха, разбойника, свахи, наконец, язык пушкинской «простонародной сказки» — все это русское, народное. К тому же русскому народному миру принадлежит насквозь деревенский и насквозь песенный — не только по прямому включению в него народно-песенных мотивов, но и по своему общему тону и по ритмическому дыханию — «Зимний вечер» (1825). Вместе с нарастанием народности творчества Пушкина нарастает его реализм, происходит окончательное утверждение пушкинской «поэзии действительности».

В середине декабря 1825 года Пушкин пишет новую, но на этот раз уже никак не романтическую, а всецело и сугубо реалистическую, шутливо-сатирическую и пародийную поэму-повесть в стихах «Граф Нулин», в которой была развернута необыкновенно точная — «фламандская» — картина русской поместной действительности.

Мужлан-помещик, главным занятием которого является охота, его супруга, томящаяся в «глуши» от ничегонеделанья и скуки, бойкая горничная Параша — все они взяты из самой гущи барского быта того времени и с исключительной живостью перенесены поэтом в его стихи. Но тут же в основных персонажах — молодой помещице, получившей воспитание во французском «благородном пансионе у эмигрантки Фальбала», и в особенности в образе предельно пустого и ничтожного, легкомысленного и фатоватого графа Нулина — Пушкин беспощадно расправился с раболепством перед «иностранщиной», которое издавна укоренилось в кругах дворянства.

«Граф Нулин» был подготовлен всем ходом предшествовавшего развития поэта. В начале третьей главы «Евгения Онегина», набросанной почти за два года до этого в Одессе, Пушкин, задумываясь над дальнейшим ходом и характером своего творчества, предсказывал свое «обращение» от стихов «к смиренной прозе». Писать в прозе он стал позднее. Но в соответствии с «прозой» жизни, будничной бытописью, составляющей основное содержание «Графа Нулина», уже и в этой поэме он по существу начинает говорить «прозаическим» языком. С особенной силой этот язык «прозы» сказался в той выразительнейшей картинке, которую, отвлекшись от чтения нескончаемого «сентиментального романа» о чувствительной и чинной любви Армана и Элизы, Наталья Павловна наблюдает из окна своего барского дома. Схватка между козлом и собакой, мокрый петух, утки, которые полощутся в луже, баба, которая идет через грязный двор повесить на забор выстиранное ею белье,— нельзя резче подчеркнуть контраст между миром сентиментальных романов, в который по пансионской привычке погружена героиня, и окружающей ее реальной обстановкой. Не удивительно, что подобные «картины» вызвали крайнее возмущение на страницах того самого «Вестника Европы», в котором поэма «Руслан и Людмила» сравнивалась с мужиком в Благородном Собрании. Столь же резко выступивший в нем против

пушкинского «Графа Нулина» критик Надеждин возмущался именно тем, что «природа» здесь изображена «во всей наготе своей». Однако в этом-то и заключалась величайшая новаторская «дерзость» поэмы Пушкина, которая находится на прямом пути к творчеству Гоголя — автора «Мир-города» и «Мертвых душ» и его последователей, писателей «натуральной школы».

Свою позднейшую заметку о «Графе Нулине» Пушкин заканчивал многозначительными словами: «Я имею привычку на моих бумагах выставлять год и число. «Граф Нулин» писан 13 и 14 декабря. Бывают странные сближения». Действительно, в тот самый день, когда Пушкин завершал свою стихотворную повесть, в Петербурге, на площади перед памятником Петра, происходило то, чего поэт так жадно ждал, о чем так страстно мечтал,— первое в России вооруженное выступление дворянских революционеров против «самовластья», против царизма. Недели через две после этого до Пушкина дошли глубоко потрясшие его известия о декабрьской катастрофе — разгроме новым царем, Николаем I, восстания декабристов. Затем последовали сообщения о многочисленных арестах, следствии и, наконец, о жестоком приговоре — к смертной казни, сибирской каторге.

Поэт долго не мог оправиться. О чем бы он ни писал, мысль о его «друзьях, братьях, товарищах», как он называл декабристов, неотступно владела им. «Великой скорбию томим», он создает один из драгоценнейших перлов своей поэзии — стихотворение «Пророк». Существует ряд авторитетных свидетельств, что первоначально стихотворение имело другую, резко политическую концовку, сохранившуюся в памяти нескольких современников и прямо направленную против царя — «губителя» декабристов.

После расправы над декабристами положение Пушкина внешне улучшилось. Следствие по делу декабристов, воочию показавшее исключительно большую агитационную роль пушкинских политических стихов, вместе с тем установило его непричастность к декабристским организациям. Николай I решил продемонстрировать свою «справедливость» и сделал «либеральный» жест. Осенью 1826 года он вызвал Пушкина из ссылки, весьма «милостиво» обошелся с ним, заверил, что намерен постепенно провести сверху ряд намечавшихся декабристами важных государственных реформ; в ответ на жалобы поэта на цензурные притеснения заявил, что сам будет его цензором. Пушкин поверил Николаю, как поверили и многие из допрашивавшихся им декабристов. На самом деле все это обернулось хитро рассчитанной ловушкой. Поэта, обладавшего огромной властью над сердцами и умами современников, спокойнее было держать подле себя, на короткой привязи с тем, чтобы попытаться, как это цинично советовал царю шеф жандармов Бенкендорф, соответствующим образом «направить его перо». Поскольку же это не удавалось, николаевская «свобода» оказалась хуже александровской

неволи. Пушкин был отдан под явную опеку Бенкендорфа и тайный надзор полиции, следовавшей за ним по пятам, следившей за малейшим его движением, за каждым словом; против поэта возбуждалось одно следственное дело за другим. Личная цензура царя оказалась не облегчением, а новым и притом уже совершенно непреодолимым обременением: спорить с «высочайшим» цензором было так же немыслимо, как некому было апеллировать на его решения. К тому же это не всегда освобождало Пушкина и от обычной цензуры. «Ни один из русских писателей не притеснен более моего»,— писал он незадолго перед смертью Бенкендорфу.

Крайне удручала Пушкина и сложившаяся в стране общественная атмосфера. Революционность декабристов была сломлена. Новое поколение дворянских революционеров — «детей декабристов», как называли себя позднее Герцен и Огарев,— еще не подросло. У поэта завязались было дружеские отношения с кружком московской литературной молодежи, душой которого был вольнолюбивый поэт-романтик Дмитрий Веневитинов. Кружок с 1827 года стал издавать при участии Пушкина журнал «Московский вестник». Однако поэт решительно не сочувствовал увлечению членов кружка идеалистической немецкой философией и стал отходить от журнала. Пушкина все сильнее охватывало чувство острого одиночества, тяжелой тоски. Это не могло не наложить резкого отпечатка на его творчество.

Новая общественно-политическая обстановка ставила перед передовыми современниками новые вопросы и задачи. В крушении восстания декабристов особенно трагически сказалась уже раньше горько ощущавшаяся Пушкиным разобщенность между революционной дворянской интеллигенцией и народом. «Невозможны уже были никакие иллюзии,— замечал Герцен,— народ остался безучастным зрителем 14 декабря. Каждый сознательный человек видел страшные последствия полного разрыва между Россией национальной и Россией европеизированной. Всякая живая связь между обоими лагерями была оборвана, ее надлежало восстановить, но каким образом? В этом-то и состоял великий вопрос». Восстановление связи с народом было тем необходимее, что идеологи реакции, стремясь привлечь народ на свою сторону, создали реакционную теорию так называемой «официальной народности», усиленно насаждавшуюся ими в литературе. Стремлением разрешить «великий вопрос», сочетавшимся с настойчивой борьбой против «официальной народности», и направлялась в основном литературная деятельность последекабрьского Пушкина.

Новая проблематика требовала новых средств для своего художественного выражения. Однако необходимо было время для их органического созревания. За всю вторую половину 20-х годов (от возвращения из ссылки до болдинской осени 1830 года) им было создано всего лишь одно крупное законченное произведение — поэма «Полтава». Основной художественной формой творчества Пушкина является в эту пору небольшое, преимущественно лирическое стихотворение. Уже сложившиеся к этому времени разнообразные виды богатой пушкинской лирики продолжали в эти годы свое дальней-

шее развитие; наряду с этим ее тематический и жанровый диапазон еще более расширился. По-прежнему важнейшим разделом поэзии Пушкина являются гражданские, политические стихи («Стансы», послание в Сибирь — «Во глубине сибирских руд...», «Арион», «Друзьям», «Анчар»). Не менее видное место продолжает занимать в поэзии Пушкина личная, любовная лирика, окрашивающаяся во все более альтруистические тона. В то же время в лирике Пушкина начинают все сильнее звучать философские мотивы — раздумья о смысле и цели жизни, мысли о смерти. К стихам этого рода примыкает тесно связанный с новой, последекабрьской общественно-политической обстановкой и находящийся как бы на стыке между личной и гражданской лирикой цикл стихотворений о поэте и его назначении, об отношении между поэтом и обществом.

Все более одиноким начинает ощущать себя Пушкин и в своей литературной работе. Глубоко новаторское значение его творчества, которым он закладывал прочные основы одного из величайших явлений мирового художественного слова — русского реализма,— встречало все меньше понимания со стороны окружающих. После опубликования в 1829 году «Полтавы» и грубой статьи о ней Н. И. Надеждина восторженное отношение к поэту со стороны подавляющей части критики круто меняется. Отдельные сочувственные высказывания заглушаются резким и шумным осуждением большинства критиков не только из лагеря «классиков», но через некоторое время из лагеря «романтиков». В связи с выходом в свет в начале 1830 года очередной, седьмой главы «Евгения Онегина», являющейся одним из самых замечательных образцов пушкинской «поэзии действительности», Булгарин, который с благословения и поощрения Бенкендорфа начал прямую и гнусную травлю Пушкина, крикливо заявляет о «совершенном падении» его таланта.

Неисчерпаемый запас духовной мощи нужен был Пушкину, чтобы не свернуть с избранного им творческого пути. В концовке стихотворения «Чернь» (1828), впоследствии названного им «Поэт и толпа», отклонив призывы «черни» служить ей своим творчеством, он демонстративно заявлял, что поэты рождены «не для житейского волненья, не для корысти, не для битв», а «для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Позднее некоторые критики, в особенности Писарев, ошибочно считали эти стихотворения выражением антидемократических настроений Пушкина, его «аристократического» пренебрежения к потребностям и нуждам широких народных масс; а приверженцы реакционной теории так называемого «искусства для искусства» неправомерно пытались использовать их в своих целях, объявляя Пушкина своим идейным вождем и вдохновителем. Действительно, на этих стихах, в особенности на концовке «Черни», как и на перекликающемся с ней одном из последних стихотворений Пушкина — «Из Пиндемонти» (1836), сказываются прямо или косвенно тягостные переживания поэтом своего одиночества, непонимания современниками, лежит на них печать и некоторого общественного пессимизма. Но прежде всего и больше всего они были свое-

образным ответом Пушкина на попытки царя и, в особенности, Бенкендорфа, поддерживаемые продажными журналистами, вроде Булгарина, «направить его перо» в правительственном духе, заставить его служить реакции.

В отличие от других поэтов-современников, замкнувшихся в эту пору в кругу узколичных переживаний, Пушкин преодолевал те пессимистические настроения, которые звучали в ряде его стихов второй половины 20-х годов. Минорная лирика уныния, безнадежности, отчаяния как бы снималась мажорными аккордами лирики общественно-политической. За «Зимней дорогой» поэтом слагаются «Стансы» («В надежде славы и добра...») и послание декабристам в Сибирь («Во глубине сибирских руд...»); за стихотворением «В степи мирской, печальной и безбрежной...» пишется «Арион»; за стихотворениями «Воспоминание» и «Дар напрасный, дар случайный...» создается поэма «Полтава». Отразив в пессимистических стихах не только свои личные переживания, но и тягчайший кризис всего своего поколения, то «всеобщее уныние», о котором свидетельствовал Герцен,— настроения последекабрьского «тупика»,— Пушкин стремится в своих произведениях на общественно-политические темы найти из него выход.

И в этих произведениях не могли не отозваться те резкие изменения, которые произошли в общественно-политической обстановке страны после декабрьской катастрофы. Но лирика Пушкина никак не утрачивает своей вольнолюбивой сущности. В послании в Сибирь поэт стремится вдохнуть «бодрость и веселье» в сердца своих братьев, друзей, товарищей не только надеждой на то, что «темницы рухнут», но и утверждением великого исторического значения их дела: «Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье». В стихотворении «Арион», написанном в связи с первой годовщиной казни декабристов, Пушкин в форме прозрачной аллегории не только объявляет себя литературным соучастником — певцом — декабристов («Пловцам я пел»), но и подчеркивает свою верность общим с ними чаяниям и идеалам («Я гимны прежние пою»). Примерно через полтора года после «Ариона» создается одно из самых значительных и по существу своему глубоко гражданских стихотворений Пушкина «Анчар», в котором, как бы развивая слова Радищева о «зверообразном самовластии», «когда человек повелевает человеком», поэт с исключительной силой раскрывает бесчеловечный — обесчеловечивающий и раба и владыку — характер таких социальных отношений, которые основаны на рабстве и угнетении.

Прямое — и для того времени бесспорно прогрессивное — общественно-политическое значение имело настойчивое обращение Пушкина в эти годы к образу и теме Петра I. Именно этот образ возникает почти сразу же после возвращения поэта из ссылки в «Стансах» («В надежде славы и добра...»). Это было первое в новых условиях литературно-политическое выступление Пушкина, в котором дается своеобразный «наказ» новому царю и одновременно определена новая позиция поэта. Ввиду принципиальной важности этого про-

изведения, неверно понятого многими современниками как измена Пушкина своим прежним убеждениям, следует остановиться на нем подробно.

Молодой Пушкин был воспитан на идеях философов-просветителей XVIII века, считавших, что преобразование общества может быть достигнуто в результате деятельности «просвещенного монарха», который, обладая громадными возможностями, вытекающими из его верховной власти, вполне способен такое преобразование осуществить. Именно в связи с этим особое внимание просветителей — и на Западе и у нас — привлекала к себе личность и деятельность царя-преобразователя Петра I, являвшегося как бы наглядным историческим подтверждением правильности и осуществимости их политической концепции. Просветительская концепция, мы видели, отразилась и в ранних «вольных» стихах Пушкина. Позднее, в период южной ссылки, Пушкин отошел от нее, делая ставку не на монархов, а на борющиеся с ними «народы». Но уже тогда, как было сказано, у него стали возникать сомнения в эффективности такого пути. Трагическая неудача освободительного движения декабристов утвердила его в этих сомнениях. В записке «О народном воспитании», которую в качестве своего рода экзамена на политическую благонадежность Николай I поручил написать Пушкину почти сразу же после возвращения его из ссылки (экзамена, который поэт не выдержал: записка совершенно не удовлетворила царя), он достаточно точно сформулировал свое понимание «трагедии» декабризма. Она заключалась, по его словам, в «ничтожности замыслов и средств», то есть в малочисленности участников движения, в отсутствии в нем народа, по сравнению с «необъятной силой правительства».

И мысль Пушкина снова обратилась к пути, указанному философами-просветителями. В облике Николая I, в манере его обращения с поэтом, в либеральных политических посулах Пушкину почудилось сходство с Петром I, как почудилось оно и некоторым декабристам. Направить «необъятную силу» царя в прогрессивном направлении, всячески укреплять его в намерении идти по пути обещанных им преобразований, подчеркивая «семейное сходство» с его «пращуром», ставя ему в пример личность и деятельность Петра,— в этом и заключается как пафос «Стансов», так и непосредственная побудительная причина возникновения у Пушкина петровской темы, которая становится одной из основных тем его последекабрьского творчества. В то же время стихотворение не заключало в себе ничего «верноподданнического». Дать понять, что начало николаевского царствования «мрачили» не только «мятежи», но и «казни», значило выразить гласное осуждение казни декабристов. Но Пушкин этим не ограничивается. Призыв к Николаю быть «незлобным памятью», заключающий собой «Стансы», был не менее смелым призывом «милости к падшим», то есть сосланным на каторгу декабристам,— мотив, который будет отныне все снова и снова звучать в различных произведениях Пушкина и который сам поэт в стихах о «памятнике нерукотворном» назовет в числе своих основных прав на благодарную память народа.

Надежда посредством своих призывов убедить Николая пойти путем преобразований была так же утопична, как и вообще пушкинские иллюзии в отношении нового царя. Но независимо от того «Стансы» были проникнуты безусловно прогрессивным духом. Недаром так высоко оценил их в своих знаменитых пушкинских статьях Белинский, причисляя к «перлам поэзии Пушкина».

Осуществлением замысла Пушкина создать большое историческое произведение из эпохи Петра явилась написанная в 1828 году поэма «Полтава».

В «Полтаве» Пушкин снова обратился к столь характерному для его додекабрьского творчества жанру стихотворной поэмы. Однако новая поэма Пушкина принципиально и существенно отличалась от всего ранее им в этом роде созданного.

В «Полтаве» Пушкин дал произведение совершенно нового типа — *реалистическую* историческую поэму, синтетически вобравшую в себя элементы не только эпопеи и романтической поэмы, но и трагедии (сцены-диалоги между Мазепой и Марией, монологи Мазепы) и романа. Причем широкий синтез самых разнообразных жанров был осуществлен Пушкиным в значительной степени именно на основе романа, романтическая фабула беззаконной любви Марии и Мазепы дала возможность развернуть яркую картину данной исторической эпохи. В предисловии к первому изданию «Полтавы» и в последующих заметках о ней поэт настойчиво подчеркивает, что в своей поэме он стремился быть полностью верным истории. Так это и было на самом деле. В романической фабуле своей поэмы, хотя она и основана на реальных событиях, Пушкин, правда, допускает элементы художественного домысла и даже в отдельных случаях отступает от исторических фактов (например, замена имени героини, которая на самом деле звалась Матреной). Зато во всем остальном он полностью опирается на тщательно изученные им исторические источники и материалы, какими он только мог в ту пору располагать.

Однако гораздо значительнее этой фактической точности художественный историзм «Полтавы» — наличие в ней подлинно исторических, то есть обусловленных эпохой и ее в себе олицетворяющих, образов-характеров. В биографии Мазепы особенно потрясли Пушкина эпизоды обольщения стариком-гетманом своей крестницы и казни им ее отца. Они были восприняты поэтом как «разительная историческая черта», дававшая психологический ключ к пониманию характера самого Мазепы. «Сильные характеры и глубокая трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекло меня»,— писал он позднее. Этот трагический эпизод Пушкин и положил в основу своей поэмы, разработав его с исключительной силой и глубиной. Замечательным художественным достижением автора «Полтавы» является образ Марии с ее женским очарованием и «неженской душой» — один из самых чарующих образов женщин в пушкинском творчестве, особенно восхитив-

ший Белинского. В своем роде не менее значителен и характер Мазепы, «развитый» Пушкиным во всей его мрачной и вместе с тем трагической глубине. Эпизод из личной жизни Мазепы — «губителя» отца Марии и ее самой — объясняет его политический облик. С этим органически связана и необычная структура поэмы, и не понятая большинством критиков, включая даже Белинского, и в самом деле исключительно своеобразная ее композиция. Романтическая фабула художественно закономерно сплетается, как это имело место и в историческом романе, с повествованием о важнейших исторических событиях эпохи, которыми автор по всему ходу поэмы как бы аккомпанирует рассказ о любви Марии и Мазепы и которые после трагического исхода этой любви начинают звучать во весь голос, образуют собой мажорный финал. Злодей в личной жизни, Мазепа выступает и как злодей политический. Обманщик и предатель своей возлюбленной в 3-й и последней песне поэмы — картине Полтавской битвы — предстает как обманщик и предатель своей страны, народа. В то же время исключительно яркое, динамическое описание Полтавской битвы отнюдь не является чужеродным эпопейным привеском к романтической поэме, а составляет важнейшую, органическую часть всего идейно-художественного замысла автора.

Победа под Полтавой была критическим, решающим моментом в истории всего петровского времени. От исхода борьбы с Карлом XII зависело существование России как великой державы. Тем недопустимее и преступнее была продиктованная личными, корыстно-эгоистическими целями измена Мазепы. И вот «честолюбцу, закоренелому в коварствах и злодеяниях», этому лжегерою, не любящему родины и готовому предать народ, контрастно противопоставляется Пушкиным в 3-й песне «Полтавы» фигура героя-полководца, царя-патриота Петра, за которым ощутимо стоит и вся мужающая, крепнущая, закаляющаяся, как булат под «тяжким млатом» суровых исторических испытаний, «Россия молодая».

Петр как исторический деятель и как личность — полная противоположность и Карлу и Мазепе. Карл — «воинственный бродяга», исторический авантюрист, который возмечтал по-своему повернуть ход исторических событий: разорвать на куски и подчинить себе созидающееся могучее, многонациональное российское государство. Изменник Мазепа в своих действиях движим только личными честолюбивыми замыслами, и он одинок: украинские народные массы его не поддержали, за ним пошла только небольшая кучка его приверженцев. Петр делает свое дело для народа вместе со всей «Россией молодой». Из душного и мрачного мира мелких интересов, эгоистических целей и узколичных страстей — «отвратительного» мира Мазепы, в котором, по словам самого Пушкина, нет «ничего утешительного», поэт выводит нас на просторы большого национально-исторического и народного подвига. В этом и смысл необычного построения поэмы Пушкина, с полной отчетливостью раскрывающийся в ее эпилоге. Все, что движимо узколичными, эгоистическими целями, хищническими и корыстными страстями, преходит, теряется без остатка. Только большими делами на благо родины

и народа исторический деятель может создать себе вовеки нерушимый «огромный памятник» — вот что говорит поэт не только сюжетом, образами, но и самой композицией своей героико-патриотической поэмы, заключавшей в себе, подобно «Стансам» 1826 года, и новый урок Николаю I.

Высокий общественный пафос, патриотический дух, выбор поэтом в качестве предмета изображения события огромного национально-исторического значения в сочетании с глубоким историзмом — правильным освещением эпохи, исторического хода вещей (в частности, утверждением нерушимой связи русского и украинского народов), исторических характеров — во всем этом сказывается новое качество «Полтавы» по сравнению со всеми предшествовавшими ей поэмами как самого Пушкина, так и его предшественников и современников. В этом подлинная *народность* поэмы, органически проявляющаяся и в ее стиле. Больше того, в историческом оптимизме «Полтавы», воссоздавшей один из самых героических моментов русской истории, пронизанной патриотической верой в мощь и крепость становящейся русской нации, в силы народа, поэт обрел могучее противоядие тем настроениям отчаяния и тоски, тем пессимистическим мотивам, которые окрасили собой ряд его стихотворений 1826—1828 годов. Имела «Полтава» и важное общественное значение. Победно торжествующий тон поэмы, подчеркиваемый самим звучанием ее стиха — мажорного четырехстопного ямба, героического размера од Ломоносова, обогащенного всем несравненным стихотворным пушкинским мастерством, исполненного энергии и вместе с тем простоты,— все это в период тяжелой общественной депрессии вселяло бодрость в сердца, порождало уверенность в том, что силы нации не сломлены, что молодая Россия, отстоявшая на поле Полтавского боя свое право на существование, давшая достойный отпор внешнему врагу, сумеет перетерпеть и выпавшие на ее долю новые испытания, одолеет тяжкий гнет реакции и порабощения.

В «Полтаве» Пушкин творчески соприкоснулся с героическим прошлым русского народа. Вскоре по окончании поэмы поэт становится живым свидетелем его героического настоящего. В том же апреле 1828 года, когда Пушкин приступил к работе над «Полтавой», началась война России за освобождение греков от турецкого ига, вызвавшая горячее сочувствие в прогрессивных европейских кругах. Просьба поэта о включении его добровольцем в действующую армию была оскорбительно отклонена. Продолжавшееся недоверие власти к певцу декабристов вставало преградой и на пути его к личному счастью.

«Беспечный, влюбчивый», как он сам себя называл, Пушкин увлекался много и многими. Но неприкаянность, бесприютность его личной жизни по возвращении из ссылки все больше угнетали его. Он все чаще подумывал о доме, семье, любящей и любимой жене, детях. В том же 1828 году пошли толки о предстоящей женитьбе его на дочери видного вельможи, директора

публичной библиотеки и президента Академии художеств А. Н. Оленина А. А. Олениной. Но женитьба расстроилась из-за политической неблагонадежности поэта. Вскоре в его сердце вспыхнуло новое большое чувство — к его будущей жене, юной московской красавице Натали Гончаровой. Но и тут на его предложение был дан уклончивый ответ. Тогда Пушкин, не спрашивая разрешения царя, отправился на Закавказский фронт.

Величественная и суровая природа Кавказа, героика ратной жизни, оживленное общение со многими сосланными в «теплую Сибирь» «братьями, друзьями, товарищами» поэта — декабристами — все это оказало на него самое благотворное действие, вызвало новый прилив творческой энергии. Им пишется вторая кавказская поэма «Тазит» — плод не только зрелого художника-реалиста, но и проницательного мыслителя-историка; создается цикл великолепных кавказских стихов, одно из самых проникновенных любовных стихотворений — «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». В лирике поэта, жадно глотнувшего во время своего самовольного «путешествия в Арзрум» свободы, вновь со всей силой зазвучали жизнеутверждающие, мажорные звуки: стансы «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», где горькая дума о неминуемой смерти снимается благословением новой, «младой жизни», расцветающей у гробового входа отцов; блистательное, напоенное морозом и солнцем «Зимнее утро».

Но самым наглядным, самым убедительным ответом на непрекращавшиеся толки критиков о «совершенном падении» пушкинского таланта явилась воистину золотая болдинская осень 1830 года, когда был дописан «Онегин», созданы «Повести Белкина», «маленькие трагедии» и многое другое. Тогда же Пушкин пишет шуточную и полемическую повесть в стихах «Домик в Коломне», в которой демонстративно вводит в область поэзии жизнь петербургской окраины, бесхитростный и простой быт ее обитателей — городских мещанских низов. В этой поэме «вся Коломна и петербургская природа живая», восторгался Гоголь. И действительно, «Домик в Коломне» в творчестве самого Пушкина стоит на пути к «Медному всаднику», а в движении всей русской литературы — на прямом пути к «Петербургским повестям» Гоголя.

В последующие годы Пушкин создает целый ряд новых, выдающихся стихотворных произведений, таких, как сказки, как примыкающая к ним драма «Русалка», как «Песни западных славян», как некоторые небольшие стихотворения, принадлежащие к шедеврам его поэзпи («Пора, мой друг, пора...», «Не дай мне бог сойти с ума...», «Вновь я посетил...», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»).

Но поэзия Пушкина 30-х годов существенно отличается от поэзии предыдущего периода все более явственным ослаблением в ней «личной», лирической стихии, все более ощутимым выдвижением на первый план «объекта» — эпического начала, все большим усилением элементов «прозы».

Особое и исключительно важное место принадлежит здесь поэме «Медный всадник», которой Пушкин придал многозначительный подзаголовок: «Петербургская повесть». Действительно, «Медный всадник» представляет собой своеобразнейший синтез героической поэмы о величии и мощи царя-преобразователя и реалистического рассказа о скорбях и несчастьях «маленького человека» — бедного петербургского чиновника.

В «Медном всаднике» получает дальнейшее углубление и развитие столь интересовавший Пушкина образ Петра I. В 30-х годах, задумав написать «Историю Петра», он много работал над материалами по петровской эпохе, изучал не только всю историческую литературу о Петре, но и архивные документы. Петр все отчетливее представал теперь поэту в двойном аспекте — не только создателя новой российской государственности, полководца и крупнейшего государственного деятеля (Петр «Стансов», «Полтавы» и «Арапа Петра Великого»), но и «самовластного помещика», о котором Пушкин несколько позднее замечал, что некоторые его указы, «кажется, писаны кнутом». Это отразилось в том углубленном понимании сущности исторической деятельности Петра, которое дано в «Медном всаднике». Узколичным стремлениям бедного петербургского чиновника, Евгения, в поэме противопоставлены повелительные требования исторической и государственной необходимости, следуя которым Петр и заложил новую столицу — город «под морем». Но в то же время в поэме — гневный протест одного из простых людей, походя раздавленных «горделивым истуканом» — «грозным» и «ужасным» царем-самодержцем.

Евгений — «человек обыкновенный». Потомок впавшего в ничтожество древнего и славного рода, он в момент действия поэмы рядовой представитель столичного люда, петербургской разночинной бедноты, малая клеточка в общем государственном организме. Но Пушкин сталкивает в лоб это малое с самым сильным и властным, с «кумиром» русского самодержавия. В результате произведение Пушкина приобретает далеко идущий, почти символический смысл. «Медный всадник» предстает как поэма и о прошлом, и о настоящем, и о будущем России. Поэт понимает и славит всемирно-историческое значение дела Петра, «прорубившего окно в Европу», но самодержавная тирания ему глубоко враждебна. Борьба против этой тирании в данное время, считает Пушкин, безумна, безнадежна. Но эпизод «бунта» Евгения против Медного всадника на Сенатской площади, не заключающий в себе никакой прямолинейной аллегории, но влекущий за собой целую цепь конкретно-исторических ассоциаций, является прозрением в будущее. В поднятом кулаке Евгения, в его произнесенной сквозь стиснутые зубы угрозе Медному всаднику: «Ужо тебе!» — приговор русскому «самовластью», прорицание его неотвратимой грядущей судьбы, предвестие времени, когда уже не одиночка — «безумец бедный» Евгений, а масса, народ восторжествуют. Не случайно в своих творческих тетрадях этой поры Пушкин рисует фальконетовский памятник, но без всадника: говоря словами царя Бориса Басманову в пушкинском «Борисе Годунове», конь сбил седока.

Все это и обусловливает единственное в своем роде художественное своеобразие произведения Пушкина, в котором поэзия и проза, ода и новелла сплавлены в одно нерасторжимое целое, где «петербургская повесть» о судьбе бедного чиновника является в то же время грандиозной, исполненной глубокого философского и социально-исторического значения поэмой о судьбах всей России.

Как создание искусства слова «Медный всадник» — в том же вершинном ряду, что и такие величайшие творения Пушкина, как «Евгений Онегин», «Борис Годунов», маленькие трагедии, «Капитанская дочка» [1].

Д. БЛАГОЙ

---

[1] Об этих вершинах пушкинского творчества см. статью Д. Благого к тому «Библиотеки всемирной литературы»: «А. П у ш к и н. Евгений Онегин. Драматические произведения. Романы. Повести».

СТИХОТВОРЕНИЯ

К ДРУГУ СТИХОТВОРЦУ

Арист! и ты в толпе служителей Парнаса!
Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса;
За лаврами спешишь опасною стезей
И с строгой критикой вступаешь смело в бой!

Арист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы,
Забудь ручьи, леса, унылые могилы,
В холодных песенках любовью не пылай;
Чтоб не слететь с горы, скорее вниз ступай!
Довольно без тебя поэтов есть и будет;
Их напечатают — и целый свет забудет.
Быть может, и теперь, от шума удалясь
И с глупой музою навек соединясь,
Под сенью мирною Минервиной эгиды [1]
Сокрыт другой отец второй «Телемахиды».
Страшися участи бессмысленных певцов,
Нас убивающих громадою стихов!
Потомков поздных дань поэтам справедлива;
На Пинде лавры есть, но есть там и крапива.
Страшись бесславия! — Что, если Аполлон,
Услышав, что и ты полез на Геликон,
С презреньем покачав кудрявой головою,
Твой гений наградит — спасительной лозою?
Но что? ты хмуришься и отвечать готов;
«Пожалуй,— скажешь мне,— не трать излишних слов;

[1] То есть в школе.

Когда на что решусь, уж я не отступаю,
И знай, мой жребий пал, я лиру избираю.
Пусть судит обо мне как хочет целый свет,
Сердись, кричи, бранись,— а я таки поэт».

Арист, не тот поэт, кто рифмы плесть умеет
И, перьями скрыпя, бумаги не жалеет.
Хорошие стихи не так легко писать,
Как Витгенштеину французов побеждать.
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов,
Певцы бессмертные, и честь и слава россов,
Питают здравый ум и вместе учат нас,
Сколь много гибнет книг, на свет едва родясь!
Творенья громкие Рифматова, Графова
С тяжелым Бибрусом гниют у Глазунова;
Никто не вспомнит их, не станет вздор читать,
И Фебова на них проклятия печать.

Положим, что, на Пинд взобравшися счастливо,
Поэтом можешь ты назваться справедливо:
Все с удовольствием тогда тебя прочтут.
Но мнишь ли, что к тебе рекой уже текут
За то, что ты поэт, несметные богатства,
Что ты уже берешь на откуп государства,
В железных сундуках червонцы хоронишь
И, лежа на боку, покойно ешь и спишь?
Не так, любезный друг, писатели богаты;
Судьбой им не даны ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки:
Лачужка под землей, высоки чердаки —
Вот пышны их дворцы, великолепны залы.
Поэтов — хвалят все, питают — лишь журналы;
Катится мимо их Фортуны колесо;
Родился наг и наг ступает в гроб Руссо;
Камоэнс с нищими постелю разделяет;
Костров на чердаке безвестно умирает,
Руками чуждыми могиле предан он:
Их жизнь — ряд горестей, гремяща слава — сон.

Ты, кажется, теперь задумался немного.
«Да что же,— говоришь,— судя о всех так строго,
Перебирая все, как новый Ювенал,
Ты о поэзии со мною толковал;
А сам, поссорившись с парнасскими сестрами,

Мне проповедовать пришел сюда стихами?
Что сделалось с тобой? В уме ли ты, иль нет?»
Арист, без дальных слов, вот мой тебе ответ:

В деревне, помнится, с мирянами простыми,
Священник пожилой и с кудрями седыми,
В миру с соседями, в чести, довольстве жил
И первым мудрецом у всех издавна слыл.
Однажды, осушив бутылки и стаканы,
Со свадьбы, под вечер, он шел немного пьяный;
Попалися ему навстречу мужики.
«Послушай, батюшка,— сказали простяки,—
Настави грешных нас — ты пить ведь запрещаешь,
Быть трезвым всякому всегда повелеваешь,
И верим мы тебе; да что ж сегодня сам...»
«Послушайте,— сказал священник мужикам,—
Как в церкви вас учу, так вы и поступайте,
Живите хорошо, а мне — не подражайте».

И мне то самое пришлося отвечать;
Я не хочу себя нимало оправдать:
Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты,
Проводит тихий век без горя, без заботы,
Своими одами журналы не тягчит
И над экспромтами недели не сидит!
Не любит он гулять по высотам Парнаса,
Не ищет чистых муз, ни пылкого Пегаса;
Его с пером в руке Рамаков не страшит;
Спокоен, весел он. Арист, он — не пиит.

Но полно рассуждать — боюсь тебе наскучить
И сатирическим пером тебя замучить.
Теперь, любезный друг, я дал тебе совет,
Оставишь ли свирель, умолкнешь или нет?..
Подумай обо всем и выбери любое:
Быть славным — хорошо, спокойным — лучше вдвое.

1814

ОСГАР

По камням гробовым, в туманах полуночи,
Ступая трепетно усталою ногой,
По Лоре путник шел, напрасно томны очи
Ночлега мирного искали в тьме густой.

Пещеры нет пред ним, на береге угрюмом
Не видит хижины, наследья рыбаря;
Вдали дремучий бор качают ветры с шумом,
Луна за тучами, и в море спит заря.

Идет, и на скале, обросшей влажным мохом,
Зрит барда старого — веселье прошлых лет:
Склонясь седым челом над воющим потоком,
В безмолвии времен он созерцал полет.
Зубчатый меч висел на ветви мрачной ивы.
Задумчивый певец взор тихий обратил
На сына чуждых стран, и путник боязливый
Содрогся в ужасе и мимо поспешил.

«Стой,путник! стой! — вещал певец веков минувших,—
Здесь пали храбрые, почти их бранный прах!
Почти геройства чад, могилы сном уснувших!»
Пришлец главой поник — и, мнилось, на холмах
Восставший ряд теней главы окровавленны
С улыбкой гордою на странника склонял.
«Чей гроб я вижу там?» — вещал иноплеменный
И барду посохом на берег указал.

Колчан и шлем стальной, к утесу пригвожденный,
Бросали тусклый луч, луною озлатясь.
«Увы! здесь пал Осгар! — рек старец вдохновенный.—
О! рано юноше настал последний час!
Но он искал его: я зрел, как в ратном строе
Он первыя стрелы с весельем ожидал
И рвался из рядов, и пал в кипящем бое:
Покойся, юноша! ты в брани славной пал.

Во цвете нежных лет любил Осгар Мальвину,
Не раз он в радости с подругою встречал
Вечерний свет луны, скользящий на долину,
И тень, упадшую с приморских грозных скал.
Казалось, их сердца друг к другу пламенели;
Одной, одной Осгар Мальвиною дышал;
Но быстро дни любви и счастья пролетели,
И вечер горести для юноши настал.

Однажды, в темну ночь зимы порой унылой,
Осгар стучится в дверь красавицы младой
И шепчет: «Юный друг! не медли, здесь твой милый!»

Но тихо в хижине. Вновь робкою рукой
Стучит и слушает: лишь ветры с свистом веют.
«Ужели спишь теперь, Мальвина? — мгла вокруг,
Валится снег, власы в тумане леденеют.
Услышь, услышь меня, Мальвина, милый друг!»

Он в третий раз стучит, со скрыпом дверь шатнулась.
Он входит с трепетом. Несчастный! что ж узрел?
Темнеет взор его, Мальвина содрогнулась,
Он зрит — в объятиях изменницы Звигнел!
И ярость дикая во взорах закипела;
Немеет и дрожит любовник молодой.
Он грозный меч извлек, и нет уже Звигнела,
И бледный дух его сокрылся в тьме ночной!

Мальвина обняла несчастного колена,
Но взоры отвратив: «Живи! — вещал Осгар,—
Живи, уж я не твой, презренна мной измена,
Забуду, потушу к неверной страсти жар».
И тихо за порог выходит он в молчанье,
Окован мрачною, безмолвною тоской —
Исчезло сладкое навек очарованье!
Он в мире одинок, уж нет души родной.

Я видел юношу: поникнув головою,
Мальвины имя он в отчаянье шептал;
Как сумрак, дремлющий над бездною морскою,
На сердце горестном унынья мрак лежал.
На друга детских лет взглянул он торопливо;
Уже недвижный взор друзей не узнавал;
От пиршеств удален, в пустыне молчаливой
Он одиночеством печаль свою питал.

И длинный год провел Осгар среди мучений.
Вдруг грянул трубный глас! Оденов сын, Фингал,
Вел грозных на мечи, в кровавый пыл сражений.
Осгар послышал весть и бранью воспылал.
Здесь меч его сверкнул, и смерть пред ним бежала;
Покрытый ранами, здесь пал на груду тел.
Он пал — еще рука меча кругом искала,
И крепкий сон веков на сильного слетел.

Побегли вспять враги — и тихий мир герою!
И тихо все вокруг могильного холма!

Лишь в осень хладную, безмесячной порою,
Когда вершины гор тягчит сырая тьма,
В багровом облаке, одеянна туманом,
Над камнем гробовым уныла тень сидит,
И стрелы дребезжат, стучит броня с колчаном,
И клен, зашевелясь, таинственно шумит».

1814

КРАСАВИЦЕ, КОТОРАЯ НЮХАЛА ТАБАК

Возможно ль? вместо роз, Амуром насажденных,
Тюльпанов, гордо наклоненных,
Душистых ландышей, ясминов и лилей,
Которых ты всегда любила
И прежде всякий день носила
На мраморной груди твоей,—
Возможно ль, милая Климена,
Какая странная во вкусе перемена!..
Ты любишь обонять не утренний цветок,
А вредную траву зелену,
Искусством превращенну
В пушистый порошок!
Пускай уже седой профессор Геттингена,
На старой кафедре согнувшися дугой,
Вперив в латинщину глубокий разум свой,
Раскашлявшись, табак толченый
Пихает в длинный нос иссохшею рукой;
Пускай младой драгун усатый
Поутру, сидя у окна,
С остатком утреннего сна,
Из трубки пенковой дым гонит сероватый;
Пускай красавица шестидесяти лет,
У граций в отпуску и у любви в отставке,
Которой держится вся прелесть на подставке,
Которой без морщин на теле места нет,
Злословит, молится, зевает
И с верным табаком печали забывает,—
А ты, прелестная!.. но если уж табак
Так нравится тебе — о пыл воображенья! —
Ах! если, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточенье,
Я в персты нежные твои попасться мог,
Тогда б я в сладком восхищенье

Рассыпался на грудь под шелковый платок
И даже... может быть... Но что! мечта пустая.
Не будет этого никак.
Судьба завистливая, злая!
Ах, отчего я не табак!..

1814

КАЗАК

Раз, полунощной порою,
Сквозь туман и мрак,
Ехал тихо над рекою
Удалой казак.

Черна шапка набекрени,
Весь жупан в пыли.
Пистолеты при колене,
Сабля до земли.

Верный конь, узды не чуя,
Шагом выступал;
Гриву долгую волнуя,
Углублялся вдаль.

Вот пред ним две-три избушки,
Выломан забор;
Здесь — дорога к деревушке,
Там — в дремучий бор.

«Не найду в лесу девицы,—
Думал хват Денис,—
Уж красавицы в светлицы
На ночь убрались».

Шевельнул донец уздою,
Шпорой прикольнул,
И помчался конь стрелою,
К избам завернул.

В облаках луна сребрила
Дальни небеса;
Под окном сидит унылa
Девица-краса.

Храбрый видит красну деву;
Сердце бьется в нем,
Конь тихонько к леву, к леву
Вот уж под окном.

«Ночь становится темнее,
Скрылася луна.
Выдь, коханочка, скорее,
Напои коня».

«Нет! к мужчине молодому
Страшно подойти,
Страшно выйти мне из дому
Коню дать воды».

«Ах! небось, девица красна,
С милым подружись!»
«Ночь красавицам опасна».
«Радость! не страшись!

Верь, коханочка, пустое;
Ложный страх отбрось!
Тратишь время золотое;
Милая, небось!

Сядь на борзого, с тобою
В дальний еду край;
Будешь счастлива со мною:
С другом всюду рай».

Что же девица? Склонилась,
Победила страх,
Робко ехать согласилась.
Счастлив стал казак.

Поскакали, полетели.
Дружку друг любил;
Был ей вереп две недели,
В третью изменил.

1814

К СТУДЕНТАМ

Друзья! досужный час настал,
Все тихо, все в покое;
Скорее скатерть и бокал;
Сюда, вино златое!
Шипи, шампанское, в стекле.
Друзья, почто же с Кантом
Сенека, Тацит на столе,
Фольянт над фолиантом?
Под стол ученых дураков —
Мы полем овладеем;
Под стол холодных мудрецов —
Без них мы пить умеем!
Ужели трезвого найдем
За скатертью студента?
На всякий случай, изберем
Скорее президента:
В награду пьяным он нальет
И пунш, и грог душистый,
А вам, спартанцы, поднесет
Воды в стакане чистой.
Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale! [1]
Ты Эпикура младший брат,
Твоя душа в бокале,
Главу венками убери,
Будь нашим президентом,
И станут самые цари
Завидовать студентам!
Дай руку, Дельвиг, что ты спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой лежишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей,
Бутыль вином налита,
За здравье музы нашей пей,
Парнасский волокита!
Остряк любезный, по рукам!
Полней бокал — до суха,
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга!

---

[1] Будь здоров! *(лат.)*

А ты, красавец молодой,
Сиятельный повеса,
Ты будешь Вакха жрец лихой,
На прочее — завеса.
Хоть я студент, хоть я и пьян,
Но скромность почитаю —
Придвиньте ж пенистый стакан,
На брань благословляю!
А ты, повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель задушевный,
Бутылки, рюмки разобьем
За здравие Платова,
В казачью шапку пунш нальем,—
И пить давайте снова!
Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем дружнее руку,
Оставим в чаше круговой
Педантам сродну скуку:
Не в первый раз с тобой мы пьем,
Не в первый и бранимся;
Но чашу дружества нальем —
И снова помиримся.
С тобой тасуясь без чинов,
Люблю тебя душою —
Наполни кружку до краев,—
Рассудок, бог с тобою!..
Но что я вижу? всё вдвоем,
Двоится штоф с араком;
Вся комната пошла кругом,
Покрылись очи мраком!
Где вы, товарищи? где я?
Скажите, Вакха ради.
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради.
Писатель за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее;
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее!

1814

К БАТЮШКОВУ

Философ резвый и пиит,
Парнасский счастливый ленивец,
Харит изнеженный любимец,
Наперсник милых аонид,
Почто на арфе златострунной
Умолкнул, радости певец?
Ужель и ты, мечтатель юный,
Расстался с Фебом наконец?

Уже с венком из роз душистых,
Меж кудрей вьющихся, златых,
Под тенью тополов ветвистых,
В кругу красавиц молодых,
Заздравным не стучишь фиалом,
Любовь и Вакха не поешь,
Довольный счастливым началом,
Цветов парнасских вновь не рвешь;
Не слышен наш Парни российский!..
Пой, юноша,— певец тиисский
В тебя влиял свой нежный дух.
С тобою твой прелестный друг,
Лилета, красных дней отрада:
Певцу любви любовь награда.
Настрой же лиру. По струнам
Летай игривыми перстами,
Как вешний зефир по цветам,
И сладострастными стихами,
И тихим шепотом любви
Лилету в свой шалаш зови.
И звезд ночных при бледном свете,
Плывущих в дальной вышине,
В уединенном кабинете,
Волшебной внемля тишине,
Слезами счастья грудь прекрасной,
Счастливец милый, орошай;
Но, упоен любовью страстной,
И нежных муз не забывай;
Любви нет боле счастья в мире:
Люби — и пой ее на лире.

Когда ж к тебе в досужный час
Друзья, знакомые сберутся
И вины пенные польются,

От плена с треском свободясь —
Описывай в стихах игривых
Веселье, шум гостей болтливых
Вокруг накрытого стола,
Стакан, кипящий пеной белой,
И стук блестящего стекла.
И гости дружно стих веселый,
Бокал в бокал ударя в лад,
Нестройным хором повторят.

Поэт! в твоей предметы воле,
Во звучны струны смело грянь,
С Жуковским пой кроваву брань
И грозну смерть на ратном поле.
И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!
Ты пал, и хладною косою
Едва скошенный, не увял!..[1]

Иль, вдохновенный Ювеналом,
Вооружись сатиры жалом,
Подчас прими ее свисток,
Рази, осмеивай порок,
Шутя, показывай смешное
И, если можно, нас исправь.
Но Тредьяковского оставь
В столь часто рушимом покое.
Увы! довольно без него
Найдем бессмысленных поэтов,
Довольно в мире есть предметов,
Пера достойных твоего!

Но что!.. цевницею моею,
Безвестный в мире сем поэт,
Я песни продолжать не смею.
Прости — но помни мой совет:
Доколе, музами любимый,
Ты пиэрид горишь огнем,
Доколь, сражен стрелой незримой,
В подземный ты не снидешь дом,

---

[1] Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»?

Мирские забывай печали,
Играй: тебя младой Назон,
Эрот и грации венчали,
А лиру строил Аполлон.

1814

ВОСПОМИНАНИЯ В ЦАРСКОМ СЕЛЕ

Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в сень дубравы
Чуть дышит ветерок, уснувший на листах,
И тихая луна, как лебедь величавый,
Плывет в сребристых облаках.

С холмов кремнистых водопады
Стекают бисерной рекой,
Там в тихом озере плескаются наяды
Его ленивою волной;
А там в безмолвии огромные чертоги,
На своды опершись, несутся к облакам.
Не здесь ли мирны дни вели земные боги?
Не се ль Минервы росской храм?

Не се ль Элизиум полнощный,
Прекрасный Царскосельский сад,
Где, льва сразив, почил орел России мощный
На лоне мира и отрад?
Промчались навсегда те времена златые,
Когда под скипетром великия жены
Венчалась славою счастливая Россия,
Цветя под кровом тишины!

Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;
Воззрев вокруг себя, со вздохом росс вещает:
«Исчезло все, великой нет!»
И, в думу углублен, над злачными брегами
Сидит в безмолвии, склоняя ветрам слух.
Протекшие лета мелькают пред очами,
И в тихом восхищенье дух.

Он видит: окружен волнами,
Над твердой, мшистою скалой
Вознесся памятник. Ширяяся крылами,
Над ним сидит орел младой.
И цепи тяжкие, и стрелы громовые
Вкруг грозного столпа трикратно обвились;
Кругом подножия, шумя, валы седые
В блестящей пене улеглись.

В тени густой угрюмых сосен
Воздвигся памятник простой.
О, сколь он для тебя, кагульский брег, поносен!
И славен родине драгой!
Бессмертны вы вовек, о росски исполины,
В боях воспитанны средь бранных непогод!
О вас, сподвижники, друзья Екатерины,
Пройдет молва из рода в род.

О, громкий век военных споров,
Свидетель славы россиян!
Ты видел, как Орлов, Румянцев и Суворов,
Потомки грозные славян,
Перуном Зевсовым победу похищали;
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир.

И ты промчался, незабвенный!
И вскоре новый век узрел
И брани новые, и ужасы военны;
Страдать — есть смертного удел.
Блеснул кровавый меч в неукротимой длани
Коварством, дерзостью венчанного царя;
Восстал вселенной бич — и вскоре новой брани
Зарделась грозная заря.

И быстрым понеслись потоком
Враги на русские поля.
Пред ними мрачна степь лежит во сне глубоком
Дымится кровию земля;
И селы мирные, и грады в мгле пылают,
И небо заревом оделося вокруг,
Леса дремучие бегущих укрывают,
И праздный в поле ржавит плуг.

Идут — их силе нет препоны,
Все рушат, все свергают в прах,
И тени бледные погибших чад Беллоны,
В воздушных съединясь полках,
В могилу мрачную нисходят непрестанно
Иль бродят по лесам в безмолвии ночи...
Но клики раздались!.. идут в дали туманной! —
Звучат кольчуги и мечи!..

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных,
Сердца их мщеньем зажжены.
Вострепещи, тиран! уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря.

Ретивы кони бранью пышут,
Усеян ратниками дол,
За строем строй течет, все местью, славой дышат,
Восторг во грудь их перешел.
Летят на грозный пир; мечам добычи ищут,
И се — пылает брань; на холмах гром гремит,
В сгущенном воздухе с мечами стрелы свищут,
И брызжет кровь на щит.

Сразились. Русский — победитель!
И вспять бежит надменный галл;
Но сильного в боях небесный вседержитель
Лучом последним увенчал,
Не здесь его сразил воитель поседелый;
О бородинские кровавые поля!
Не вы неистовству и гордости пределы!
Увы! на башнях галл кремля!..

Края Москвы, края родные,
Где на заре цветущих лет
Часы беспечности я тратил золотые,
Не зная горести и бед,
И вы их видели, врагов моей отчизны!
И вас багрила кровь и пламень пожирал!
И в жертву не принес я мщенья вам и жизни;
Вотще лишь гневом дух пылал!..

Где ты, краса Москвы стоглавой,
Родимой прелесть стороны?
Где прежде взору град являлся величавый,
Развалины теперь одни;
Москва, сколь русскому твой зрак унылый страшен!
Исчезли здания вельможей и царей,
Все пламень истребил. Венцы затмились башен,
Чертоги пали богачей.

И там, где роскошь обитала
В сенистых рощах и садах,
Где мирт благоухал и липа трепетала,
Там ныне угли, пепел, прах.
В часы безмолвные прекрасной, летней ночи
Веселье шумное туда не полетит,
Не блещут уж в огнях брега и светлы рощи:
Все мертво, все молчит.

Утешься, мать градов России,
Воззри на гибель пришлеца.
Отяготела днесь на их надменны выи
Десница мстящая творца.
Взгляни: они бегут, озреться не дерзают,
Их кровь не престает в снегах реками течь;
Бегут — и в тьме ночной их глад и смерть сретают,
А с тыла гонит русский меч.

О вы, которых трепетали
Европы сильны племена,
О галлы хищные! и вы в могилы пали.
О страх! о грозны времена!
Где ты, любимый сын и счастья и Беллоны,
Презревший правды глас, и веру, и закон,
В гордыне возмечтав мечом низвергнуть троны?
Исчез, как утром страшный сон!

В Париже росс! — где факел мщенья?
Поникни, Галлия, главой.
Но что я вижу? Росс с улыбкой примиренья
Грядет с оливою златой.
Еще военный гром грохочет в отдаленье,
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле,
А он — несет врагу не гибель, но спасенье
И благотворный мир земле.

О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный строй,
В кругу товарищей, с душой воспламененной,
Греми на арфе золотой!
Да снова стройный глас героям в честь прольется,
И струны гордые посыплют огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и содрогнется
При звуках бранного певца.

1814

РОМАНС

Под вечер, осенью ненастной,
В пустынных дева шла местах
И тайный плод любви несчастной
Держала в трепетных руках.
Все было тихо — лес и горы,
Все спало в сумраке ночном;
Она внимательные взоры
Водила с ужасом кругом.

И на невинном сем творенье,
Вздохнув, остановила их...
«Ты спишь, дитя, мое мученье,
Не знаешь горестей моих,
Откроешь очи и, тоскуя,
Ты к груди не прильнешь моей.
Не встретишь завтра поцелуя
Несчастной матери твоей.

Ее манить напрасно будешь!..
Мне вечный стыд вина моя,—
Меня навеки ты забудешь;
Но не забуду я тебя!
Дадут покров тебе чужие
И скажут: «Ты для нас чужой!»
Ты спросишь: «Где мои родные?»
И не найдешь семьи родной.

Несчастный! будешь грустной думой
Томиться меж других детей!
И до конца с душой угрюмой
Взирать на ласки матерей;

Повсюду странник одинокий,
Всегда судьбу свою кляня,
Услышишь ты упрек жестокий...
Прости, прости тогда меня...

Ты спишь — позволь себя, несчастный,
Прижать к груди в последний раз.
Закон неправедный, ужасный
К страданью присуждает нас.
Пока лета не отогнали
Невинной радости твоей,
Спи, милый! горькие печали
Не тронут детства тихих дней!»

Но вдруг за рощей осветила
Вблизи ей хижину луна...
Бледна, трепещуща, унылa,
К дверям приближилась она:
Склонилась, тихо положила
Младенца на порог чужой,
Со страхом очи отвратила
И скрылась в темноте ночной.

1814

ГОРОДОК
*(К ***)*

Прости мне, милый друг,
Двухлетнее молчанье:
Писать тебе посланье
Мне было недосуг.
На тройке пренесенный
Из родины смиренной
В великий град Петра,
От утра до утра
Два года все кружился
Без дела в хлопотах,
Зевая, веселился
В театре, на пирах;
Не ведал я покоя
Увы! ни на часок,
Как будто у налоя

В великий четверток
Измученный дьячок.
Но слава, слава богу!
На ровную дорогу
Я выехал теперь;
Уж вытолкал за дверь
Заботы и печали,
Которые играли,
Стыжусь, столь долго мной
И в тишине святой
Философом ленивым,
От шума вдалеке,
Живу я в городке,
Безвестностью счастливом.
Я нанял светлый дом
С диваном, с камельком;
Три комнатки простые —
В них злата, бронзы нет,
И ткани выписные
Не кроют их паркет.
Окошки в сад веселый,
Где липы престарелы
С черемухой цветут;
Где мне в часы полдневны
Березок своды темны
Прохладну сень дают;
Где ландыш белоснежный
Сплелся с фиалкой нежной
И быстрый ручеек,
В струях неся цветок,
Невидимый для взора,
Лепечет у забора.
Здесь добрый твой поэт
Живет благополучно;
Не ходит в модный свет;
На улице карет
Не слышит стук докучный;
Здесь грома вовсе нет;
Лишь изредка телега
Скрыпит по мостовой,
Иль путник, в домик мой
Пришед искать ночлега,
Дорожною клюкой
В калитку постучится...

Блажен, кто веселится
В покое, без забот,
С кем втайне Феб дружится
И маленький Эрот;
Блажен, кто на просторе
В укромном уголке
Не думает о горе,
Гуляет в колпаке,
Пьет, ест, когда захочет,
О госте не хлопочет!
Никто, никто ему
Лениться одному
В постеле не мешает;
Захочет — аонид
Толпу к себе сзывает;
Захочет — сладко спит,
На *Рифмова* склоняясь
И тихо забываясь.
Так я, мой милый друг,
Теперь расположился;
С толпой бесстыдных слуг
Навеки распростился;
Укрывшись в кабинет,
Один я не скучаю
И часто целый свет
С восторгом забываю.
Друзья мпе — мертвецы,
Парнасские жрецы;
Над палкою простою
Под тонкою тафтою
Со мной они живут.
Певцы красноречивы,
Прозаики шутливы
В порядке стали тут.
Сын Мома и Минервы,
Фернейский злой крикун,
Поэт в поэтах первый,
Ты здесь, седой шалун!
Он Фебом был воспитан,
Издетства стал пиит;
Всех больше перечитан,
Всех менее томит;
Соперник Эврипида,
Эраты нежный друг,

Арьоста, Тасса внук —
Скажу ль?.. отец Кандида —
Он все: везде велик
Единственный старик!
На полке за Вольтером
Виргилий, Тасс с Гомером
Все вместе предстоят.
В час утренний досуга
Я часто друг от друга
Люблю их отрывать.
Питомцы юных граций —
С Державиным потом
Чувствительный Гораций
Является вдвоем.
И ты, певец любезный,
Поэзией прелестной
Сердца привлекший в плен,
Ты здесь, лентяй беспечный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
Ты здесь — и Дмитрев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.
Но вот наперсник милый
Психеи златокрылой!
О добрый Лафонтен,
С тобой он смел сразиться...
Коль можешь ты дивиться,
Дивись: ты побежден!
Воспитанны Амуром,
Вержье, Парни с Грекуром
Укрылись в уголок.
(Не раз они выходят
И сон от глаз отводят
Под зимний вечерок.)
Здесь Озеров с Расином,
Руссо и Карамзин,
С Мольером-исполином
Фонвизин и Княжнин.
За ними, хмурясь важно,
Их грозный Аристарх
Является отважно
В шестнадцати томах.

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу.

Кладбище обрели
На самой нижней полке
Все школьнически толки,
Лежащие в пыли,
Визгова сочиненья,
Глупона псалмопенья,
Известные творенья
Увы! одним мышам.
Мир вечный и забвенье
И прозе и стихам!
Но ими огражденну
(Ты должен это знать)
Я спрятал потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
От члена русских сил,
Двоюродного брата,
Драгунского солдата
Я даром получил.
Ты, кажется, в сомненье...
Нетрудно отгадать;
Так, это сочиненья,
Презревшие печать.
Хвала вам, чады славы,
Враги парнасских уз!
О князь, наперсник муз,
Люблю твои забавы;
Люблю твой колкий стих
В посланиях твоих,
В сатире — знанье света
И слога чистоту,
И в резвости куплета
Игриву остроту.
И ты, насмешник смелый,
В ней место получил,
Чей в аде свист веселый
Поэтов раздражил,

Как в юношески леты
В волнах туманной Леты
Их гуртом потопил;
И ты, замысловатый
Буянова певец,
В картинах толь богатый
И вкуса образец;
И ты, шутник бесценный,
Который Мельпомены
Котурны и кинжал
Игривой Талье дал!
Чья кисть мне нарисует,
Чья кисть скомпанирует
Такой оригинал!
Тут вижу я — с Чернавкой
Подщипа слезы льет;
Здесь князь дрожит под лавкой,
Там дремлет весь совет;
В трагическом смятенье
Плененные цари,
Забыв войну, сраженья,
Играют в кубари...
Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой!
О ты, высот Парнаса
Боярин небольшой,
Но пылкого Пегаса
Наездник удалой!
Намаранные оды,
Убранство чердаков,
Гласят из рода в роды:
Велик, велик — Свистов!
Твой дар ценить умею,
Хоть, право, не знаток;
Но здесь тебе не смею
Хвалы сплетать венок:
Свистовским должно слогом
Свистова воспевать;
Но, убирайся с богом,
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

О вы, в моей пустыне
Любимые творцы!
Займите же отныне
Беспечности часы.
Мой друг! весь день я с ними,
То в думу углублен,
То мыслями своими
В Элизий пренесен.
Когда же на закате
Последний луч зари
Потонет в ярком злате,
И светлые цари
Смеркающейся ночи
Плывут по небесам,
И тихо дремлют рощи,
И шорох по лесам,
Мой гений невидимкой
Летает надо мной;
И я в тиши ночной
Сливаю голос свой
С пастушьею волынкой.
Ах! счастлив, счастлив тот,
Кто лиру в дар от Феба
Во цвете дней возьмет!
Как смелый житель неба,
Он к солнцу воспарит,
Превыше смертных станет,
И слава громко грянет:
«Бессмертен ввек пиит!»

Но ею мне ль гордиться,
Но мне ль бессмертьем льститься?..
До слез я спорить рад,
Не бьюсь лишь об заклад,
Как знать, и мне, быть может,
Печать свою наложит
Небесный Аполлон;
Сияя горним светом,
Бестрепетным полетом
Взлечу на Геликон.
Не весь я предан тленью;
С моей, быть может, тенью
Полунощной порой
Сын Феба молодой,

Мой правнук просвещенный,
Беседовать придет
И мною вдохновенный
На лире воздохнет.

Покамест, друг бесценный,
Камином освещенный,
Сижу я под окном
С бумагой и с пером,
Не слава предо мною,
Но дружбою одною
Я ныне вдохновен.
Мой друг, я счастлив ею.
Почто ж ее сострой,
Любовию младой
Напрасно пламенею?
Иль юности златой
Вотще даны мне розы,
И лить навеки слезы
В юдоли, где расцвел
Мой горестный удел?..
Певца сопутник милый,
Мечтанье легкокрыло!
О, будь же ты со мной,
Дай руку сладострастью
И с чашей круговой
Веди меня ко счастью
Забвения тропой;
И в час безмолвной ночи,
Когда ленивый мак
Покроет томны очи,
На ветреных крылах
Примчись в мой домик тесный,
Тихонько постучись
И в тишине прелестной
С любимцем обнимись!
Мечта! в волшебной сени
Мне милую яви,
Мой свет, мой добрый гений,
Предмет моей любви,
И блеск очей небесный,
Лиющих огнь в сердца,
И граций стан прелестный,
И снег ее лица;

Представь, что, на коленях
Покоясь у меня,
В порывистых томленьях
Склонилася она
Ко груди грудью страстной,
Устами на устах,
Горит лицо прекрасной,
И слезы на глазах!..
Почто стрелой незримой
Уже летишь ты вдаль?
Обманет — и пропал
Беглец невозвратимый!
Не слышит плач и стон,
И где крылатый сон?
Исчезнет обольститель,
И в сердце грусть-мучитель.

Но все ли, милый друг,
Быть счастья в упоенье?
И в грусти томный дух
Находит наслажденье:
Люблю я в летний день
Бродить один с тоскою,
Встречать вечерню тень
Над тихою рекою
И с сладостной слезою
В даль сумрачну смотреть;
Люблю с моим Мароном
Под ясным небосклоном
Близ озера сидеть,
Где лебедь белоснежный,
Оставя злак прибрежный,
Любви и неги полн,
С подругою своею,
Закинув гордо шею,
Плывет во злате волн.
Или, для развлеченья,
Оставя книг ученье,
В досужный мне часок
У добренькой старушки
Душистый пью чаек;
Не подхожу я к ручке,
Не шаркаю пред ней;
Она не приседает,

Но тотчас и вестей
Мне пропасть наболтает.
Газеты собирает
Со всех она сторон,
Все сведает, узнает:
Кто умер, кто влюблен,
Кого жена по моде
Рогами убрала,
В котором огороде
Капуста цвет дала,
Фома свою хозяйку
Не за́ что наказал,
Антошка балалайку,
Играя, разломал,—
Старушка все расскажет;
Меж тем как юбку вяжет,
Болтает все свое;
А я сижу смиренно
В мечтаньях углубленный,
Не слушая ее.
На рифмы удалого
Так некогда *Свистова*
В столице я внимал,
Когда свои творенья
Он с жаром мне читал,
Ах! видно, бог пытал
Тогда мое терпенье!

Иль добрый мой сосед,
Семидесяти лет,
Уволенный от службы
Майором отставным,
Зовет меня из дружбы
Хлеб-соль откушать с ним.
Вечернею пирушкой
Старик, развеселясь,
За дедовскою кружкой
В прошедшем углубясь,
С очаковской медалью
На раненой груди,
Воспомнит ту баталью,
Где роты впереди
Летел на встречу славы,
Но встретился с ядром

И пал на дол кровавый
С булатным палашом.
Всегда я рад душою
С ним время провождать,
Но, боже, виноват!
Я каюсь пред тобою,
Служителей твоих,
Попов я городских
Боюсь, боюсь беседы,
И свадебны обеды
Затем лишь не терплю,
Что сельских иереев,
Как папа иудеев,
Я вовсе не люблю,
А с ними крючковатый
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый
И ябеды оплот.

Но, друг мой, если вскоре
Увижусь я с тобой,
То мы уходим горе
За чашей круговой;
Тогда, клянусь богами,
(И слово уж сдержу)
Я с сельскими попами
Молебен отслужу.

1815

БАТЮШКОВУ

В пещерах Геликона
Я некогда рожден;
Во имя Аполлона
Тибуллом окрещен,
И светлой Иппокреной
Сыздетства напоенный,
Под кровом вешних роз,
Поэтом я возрос.

Веселый сын Эрмия
Ребенка полюбил,
В дни резвости златые
Мне дудку подарил.

Знакомясь с нею рано,
Дудил я непрестанно;
Нескладно хоть играл,
Но музам не скучал.

А ты, певец забавы
И друг пермесских дев,
Ты хочешь, чтобы, славы
Стезею полетев,
Простясь с Анакреоном,
Спешил я за Мароном
И пел при звуках лир
Войны кровавый пир.

Дано мне мало Фебом:
Охота, скудный дар.
Пою под чуждым небом,
Вдали домашних лар,
И, с дерзостным Икаром
Страшась летать недаром,
Бреду своим путем:
Будь всякий при своем.

1815

ЛИЦИНИЮ

Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице,
Венчанный лаврами, в блестящей багрянице,
Спесиво развалясь, Ветулий молодой
В толпу народную летит по мостовой?
Смотри, как все пред ним смиренно спину клонят;
Смотри, как ликторы народ несчастный гонят!
Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный ряд
Умильно вслед за ним стремит усердный взгляд;
Ждут, ловят с трепетом улыбки, глаз движенья,
Как будто дивного богов благословенья;
И дети малые, и старцы в сединах,
Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах:
Для них и след колес, в грязи напечатленный,
Есть некий памятник почетный и священный.

О Ромулов народ, скажи, давно ль ты пал?
Кто вас поработил и властью оковал?
Квириты гордые под ига преклонились.
Кому ж, о небеса, кому поработились?

(Скажу ль?) Ветулию! Отчизне стыд моей,
Развратный юноша воссел в совет мужей;
Любимец деспота сенатом слабым правит,
На Рим простер ярем, отечество бесславит;
Ветулий римлян царь!.. О стыд, о времена!
Или вселенная на гибель предана?

Но кто под портиком, с поникшею главою,
В изорванном плаще, с дорожною клюкою,
Сквозь шумную толпу нахмуренный идет?
«Куда ты, наш мудрец, друг истины, Дамет!»
«Куда — не знаю сам; давно молчу и вижу;
Навек оставлю Рим: я рабство ненавижу».

Лициний, добрый друг! Не лучше ли и нам,
Смиренно поклонясь Фортуне и мечтам,
Седого циника примером поучиться?
С развратным городом не лучше ль нам проститься,
Где все продажное: законы, правота,
И консул, и трибун, и честь, и красота?
Пускай Глицерия, красавица младая,
Равно всем общая, как чаша круговая,
Неопытность других в наемну ловит сеть!
Нам стыдно слабости с морщинами иметь;
Тщеславной юности оставим блеск веселий:
Пускай бесстыдный Клит, слуга вельмож Корнелий
Торгуют подлостью и с дерзостным челом
От знатных к богачам ползут из дома в дом!
Я сердцем римлянин; кипит в груди свобода;
Во мне не дремлет дух великого народа.
Лициний, поспешим далеко от забот,
Безумных мудрецов, обманчивых красот!
Завистливой судьбы в душе презрев удары,
В деревню пренесем отеческие лары!
В прохладе древних рощ, на берегу морском,
Найти нетрудно нам укромный, светлый дом,
Где, больше не страшась народного волненья,
Под старость отдохнем в глуши уединенья,
И там, расположась в уютном уголке,
При дубе пламенном, возженном в камельке,
Воспомнив старину за дедовским фиалом,
Свой дух воспламеню жестоким Ювеналом,
В сатире праведной порок изображу
И нравы сих веков потомству обнажу.

Царское Село. Вид на Садовую улицу и Лицей.
Раскрашенная литография А. Е. Мартынова.
Начало 1820-х годов.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

О Рим, о гордый край разврата, злодеянья!
Придет ужасный день, день мщенья, наказанья.
Предвижу грозного величия конец:
Падет, падет во прах вселенныя венец.
Народы юные, сыны свирепой брани,
С мечами на тебя подымут мощны длани,
И горы и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».

1815

СТАРИК

Уж я не тот любовник страстный,
Кому дивился прежде свет:
Моя весна и лето красно
Навек прошли, пропал и след.
Амур, бог возраста младого!
Я твой служитель верный был;
Ах, если б мог родиться снова,
Уж так ли б я тебе служил!

1815

НАПОЛЕОН НА ЭЛЬБЕ (1815)

Вечерняя заря в пучине догорала,
Над мрачной Эльбою носилась тишина,
Сквозь тучи бледные тихонько пробегала
Туманная луна;
Уже на западе седой, одетый мглою,
С равнипой синих вод сливался небосклон.
Один во тьме ночной над дикою скалою
Сидел Наполеон.
В уме губителя теснились мрачны думы,
Он новую в мечтах Европе цепь ковал
И, к дальним берегам возведши взор угрюмый,
Свирепо прошептал:

«Вокруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой –
Я здесь один, мятежной думы полн...

О, скоро ли, напенясь под рулями,
Меня помчит покорная волна
И спящих вод прервется тишина?..
Волнуйся, ночь, над эльбскими скалами!
Мрачнее тмись за тучами, луна!

Там ждут меня бесстрашные дружины.
Уже сошлись, уже сомкнуты в строй!
Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!

И вспыхнет брань! за галльскими орлами,
С мечом в руках победа полетит,
Кровавый ток в долинах закипит,
И троны в прах низвергну я громами
И сокрушу Европы дивный щит!..

Но вкруг меня все мертвым сном почило,
Легла в туман пучина бурных волн,
Не выплывет ни утлый в море челн,
Ни гладный зверь не взвоет над могилой —
Я здесь один, мятежной думы полн...

О счастье! злобный обольститель,
И ты, как сладкий сон, сокрылось от очей,
Средь бурей тайный мой хранитель
И верный пестун с юных дней!
Давно ль невидимой стезею
Меня ко трону ты вело
И скрыло дерзостной рукою
В венцах лавровое чело!
Давно ли с трепетом народы
Несли мне робко дань свободы,
Знамена чести преклоня;
Дымились громы вкруг меня,
И слава в блеске над главою
Неслась, прикрыв меня крылом?..

Но туча грозная нависла над Москвою,
И грянул мести гром!..
Полнощи царь младой! ты двигнул ополченья,
И гибель вслед пошла кровавым знаменам,
Отозвалось могущего паденье,
И мир земле, и радость небесам,
А мне — позор и заточенье!
И раздроблен мой звонкий щит,
Не блещет шлем на поле браней;
В прибрежном злаке меч забыт
И тускнет на тумане.
И тихо все кругом. В безмолвии ночей
Напрасно чудится мне смерти завыванье,
И стук блистающих мечей,
И падших ярое стенанье —
Лишь плещущим волнам внимает жадный слух;
Умолк сражений клик знакомый,
Вражды кровавой гаснут громы,
И факел мщения потух.
Но близок час! грядет минута роковая!
Уже летит ладья, где грозный трон сокрыт;
Кругом простерта мгла густая,
И, взором гибели сверкая,
Бледнеющий мятеж на палубе сидит.
Страшись, о Галлия! Европа! мщенье, мщенье!
Рыдай — твой бич восстал — и все падет во прах,
Все сгибнет, и тогда, в всеобщем разрушенье,
Царем воссяду на гробах!»

Умолк. На небесах лежали мрачны тени,
И месяц, дальних туч покинув темны сени,
Дрожащий, слабый свет на запад изливал;
Восточная звезда играла в океане,
И зрелася ладья, бегущая в тумане
Под сводом эльбских грозных скал.
И Галлия тебя, о хищник, осенила;
Побегли с трепетом законные цари.
Но зришь ли? Гаснет день, мгновенно тьма сокрыла
Лицо пылающей зари,
Простерлась тишина над бездною седою,
Мрачится неба свод, гроза во мгле висит,
Все смолкло... трепещи! погибель над тобою,
И жребий твой еще сокрыт!

1815

К ПУЩИНУ

(4 мая)

Любезный именинник,
О Пущин дорогой!
Прибрел к тебе пустынник
С открытою душой;
С пришельцем обнимися —
Но доброго певца
Встречать не суетися
С парадного крыльца.
Он гость без этикета,
Не требует привета
Лукавой суеты;
Прими ж его лобзанья
И чистые желанья
Сердечной простоты!
Устрой гостям пирушку;
На столик вощаной
Поставь пивную кружку
И кубок пуншевой.
Старинный собутыльник!
Забудемся на час,
Пускай ума светильник
Погаснет ныне в нас;
Пускай старик крылатый
Летит на почтовых:
Нам дорог миг утраты
В забавах лишь одних!

Ты счастлив, друг сердечный!
В спокойствии златом
Течет твой век беспечный,
Проходит день за днем;
И ты в беседе граций,
Не зная черных бед,
Живешь, как жил Гораций,
Хотя и не поэт.
Под кровом небогатым
Ты вовсе не знаком
С зловещим Гиппократом,
С нахмуренным попом;
Не видишь у порогу
Толпящихся забот;

Нашли к тебе дорогу
Веселость и Эрот;
Ты любишь звон стаканов
И трубки дым густой,
И демон метроманов
Не властвует тобой.
Ты счастлив в этой доле.
Скажи, чего же боле
Мне другу пожелать?
Придется замолчать...

Дай бог, чтоб я, с друзьями
Встречая сотый май,
Покрытый сединами,
Сказал тебе стихами:
Вот кубок; наливай!
Веселье! будь до гроба
Сопутник верный наш.
И пусть умрем мы оба
При стуке полных чаш!

1815

МЕЧТАТЕЛЬ

По небу крадется луна,
На холме тьма седеет,
На воды пала тишина,
С долины ветер веет,
Молчит певица вешних дней
В пустыне темной рощи,
Стада почили средь полей,
И тих полет полнощи;

И мирный неги уголок
Ночь сумраком одела,
В камине гаснет огонек,
И свечка нагорела;
Стоит богов домашних лик
В кивоте небогатом,
И бледный теплится ночник
Пред глиняным пенатом.

Главою на руку склонен,
В забвении глубоком,
Я в сладки думы погружен
На ложе одиноком;
С волшебной ночи темнотой,
При месячном сиянье,
Слетают резвою толпой
Крылатые мечтанья,

И тихий, тихий льется глас;
Дрожат златые струны.
В глухой, безмолвный мрака час
Поет мечтатель юный;
Исполнен тайною тоской,
Молчаньем вдохновенный,
Летает резвою рукой
На лире оживленной.

Блажен, кто в низкий свой шалаш
В мольбах не просит счастья!
Ему Зевес надежный страж
От грозного ненастья;
На маках лени, в тихий час,
Он сладко засыпает,
И бранных труб ужасный глас
Его не пробуждает.

Пускай, ударя в звучный щит
И с видом дерзновенным,
Мне слава издали грозит
Перстом окровавленным,
И бранны вьются знамена,
И пышет бой кровавый —
Прелестна сердцу тишина;
Нейду, нейду за славой.

Нашел в глуши я мирный кров
И дни веду смиренно;
Дана мне лира от богов,
Поэту дар бесценный;
И муза верная со мной:
Хвала тебе, богиня!
Тобою красен домик мой
И дикая пустыня.

На слабом утре дней златых
Певца ты осенила,
Венком из миртов молодых
Чело его покрыла,
И, горним светом озарясь,
Влетала в скромну келью
И чуть дышала, преклонясь
Над детской колыбелью.

О, будь мне спутницей младой
До самых врат могилы!
Летай с мечтаньем надо мной,
Расправя легки крылы;
Гоните мрачную печаль,
Пленяйте ум... обманом
И милой жизни светлу даль
Кажите за туманом!

И тих мой будет поздний час:
И смерти добрый гений
Шепнет, у двери постучась:
«Пора в жилище теней!..»
Так в зимний вечер сладкий сон
Приходит в мирны сени,
Венчанный маком и склонен
На посох томной лени...

1815

МОЕ ЗАВЕЩАНИЕ. ДРУЗЬЯМ

Хочу я завтра умереть
И в мир волшебный наслажденья,
На тихий берег вод забвенья,
Веселой тенью отлететь...
Прости навек, очарованье,
Отрада жизни и любви!
Приближьтесь, о друзья мои,
Благоговенье и вниманье!
Устройте завтра шумный ход,

Несите радостные чаши
На темный берег сонных вод,
Где мы вели беседы наши.
Зовите на последний пир
Семелы радостного сына,
Эрота, друга наших лир,
Богов и смертных властелина.
Пускай веселье прибежит,
Махая резвою гремушкой,
И нас от сердца рассмешит
За полной пенистою кружкой.
Пускай игривою толпой
Слетят родные наши музы;
Им первый кубок круговой.
Друзья! священны нам их узы;
До ранней утренней звезды,
До тихого лучей рассвета
Не выйдут из руки поэта
Фиалы братской череды;
В последний раз мою цевницу,
Мечтаний сладостных певицу,
Прижму к восторженной груди.
И брякнут перстни золотые
В завет любви в последний раз.
Где вы, подруги молодые?
Летите — дорог смерти час.
В последний раз, томимый нежно,
Забуду вечность и друзей,
В последний раз на груди снежной
Упьюсь отрадой юных дней!

Когда ж восток озолотится
Во тьме денницей молодой
И белый топол озарится,
Покрытый утренней росой,
Подайте грозд Анакреона;
Он был учителем моим;
И я сойду путем одним
На грустный берег Ахерона...
Простите, милые друзья,
Подайте руку, до свиданья!
И дайте, дайте обещанье,
Когда навек укроюсь я,
Мое исполнить завещанье.

Приди, певец мой дорогой,
Воспевший Вакха и Темиру,
Тебе дарю я лень и лиру;
Да будут музы над тобой...
Ты не забудешь дружбы нашей,
О Пущин, ветреный мудрец!
Прими с моей глубокой чашей
Увядший миртовый венец!
Друзья! вам сердце оставляю
И память прошлых красных дней,
Окованных счастливой ленью
На ложе маков и лилей;
Мои стихи дарю забвенью,
Последний вздох, о други, *ей!*

На тихий праздник погребенья
Я вас обязан пригласить;
Веселость, друг уединенья,
Билеты будет разносить...
Стекитесь резвою толпою,
Главы в венках, рука с рукою,
И пусть на гробе, где певец
Исчезнет в рощах Геликона,
Напишет беглый ваш резец:
«Здесь дремлет юноша мудрец,
Питомец нег и Аполлона».

1815

ВОСПОМИНАНИЕ

(К Пущину)

Помнишь ли, мой брат по чаше,
Как в отрадной тишине
Мы топили горе наше
В чистом, пенистом вине?

Как, укрывшись молчаливо
В нашем темном уголке,
С Вакхом нежились лениво,
Школьной стражи вдалеке?

Помнишь ли друзей шептанье
Вкруг бокалов пуншевых,
Рюмок грозное молчанье,
Пламя трубок грошевых?

Закипев, о, сколь прекрасно
Токи дымные текли!..
Вдруг педанта глас ужасный
Нам послышался вдали...

И бутылки вмиг разбиты,
И бокалы все в окно —
Всюду по полу разлиты
Пунш и светлое вино.

Убегаем торопливо —
Вмиг исчез минутный страх!
Щек румяных цвет игривый,
Ум и сердце на устах,

Хохот чистого веселья,
Неподвижный, тусклый взор
Изменяли час похмелья,
Сладкий Вакха заговор.

О друзья мои сердечны!
Вам клянуся, за столом
Всякий год в часы беспечны
Поминать его вином.

1815

МОЯ ЭПИТАФИЯ

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

1815

СРАЖЕННЫЙ РЫЦАРЬ

Последним сияньем за рощей горя,
Вечерняя тихо потухла заря,
Темнеет долина глухая;
В тумане пустынном чернеет река,
Ленивой грядою идут облака,
Меж ими луна золотая.

Недвижные латы на холме лежат,
В стальной рукавице забвенный булат,
И щит под шеломом заржавым,
Вонзилися шпоры в увлаженный мох,
Копье раздробленно, и месяца рог
Покрыл их сияньем кровавым.

Вкруг холма обходит друг сильного — конь;
В очах горделивых померкнул огонь,
Он бранную голову клонит.
Беспечным копытом бьет камень долин
И смотрит на латы — конь верный один,
И дико трепещет, и стонет.

Во тьме заблудившись, пришелец идет,
Невольную робость он в сердце несет,
Склонясь над дорожной клюкою,
Заботливо смотрит в неверную даль,
Приближился к латам и звонкую сталь
Толкает усталой ногою.

Хладеет пришелец,— кольчуги звучат.
Погибшего грозно в них кости стучат,
По камням шелом покатился,
Скрывался в нем череп... при звуке глухом
Заржал конь ретивый — скок лётом на холм,–
Взглянул... и главою склонился.

Уж путник далече в тьме бродит ночной,
Все мнится, что кости хрустят под ногой...
Но утро денница выводит —
Сраженный во брани на холме лежит,
И латы недвижны, и шлем не стучит,
И конь вкруг погибшего ходит.

1815

К ДЕЛЬВИГУ

(Ответ)

Послушай, муз невинных
Лукавый клеветник!
В тиши полей пустынных,
Природы ученик,
Поэтов грешный лик
Умножил я собою...
И я главой поник
Пред милой суетою.
Жуковский, наш поэт,
На то мне дал совет
И с музами сосватал.
Сначала я играл,
Шутя стихи марал,
А там переписал,
А там и напечатал,
И что же — рад не рад —
Но вот уже я брат
Теперь тому, другому,
Что делать, виноват!..
Предатель, с Аполлоном
Ты, видно, заодно;
А мне прослыть Прадоном
Отныне суждено.
Везде беды застану!
Увы мне, метроману,
Куда сокроюсь я?
Изменники друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненью предают,—
Бумагу убивают!
Поэта окружают
С улыбкой остряки.
«Признайтесь,— нам сказали,–
Вы пишете стишки;
Увидеть их нельзя ли?
Вы в них изображали,
Конечно, ручейки,

Конечно, василечек,
Лесочек, ветерочек,
Барашков и цветки...»

О Дельвиг! начертали
Мне музы мой удел;
Но ты ль мои печали
Умножить захотел?
Меж лени и Морфея
Беспечных дух лелея,
Еще хоть год один
Позволь мне полениться
И негой насладиться,—
Я, право, лени сын!
А там, хоть нет охоты,
Но придут уж заботы
Со всех ко мне сторон:
И буду принужден
С журналами сражаться,
С газетой торговаться,
С Графовым восхищаться...
Помилуй, Аполлон!

1815

СЛЕЗА

Вчера за чашей пуншевою
С гусаром я сидел
И молча с мрачною душою
На дальний путь глядел.

«Скажи, что смотришь на дорогу? –
Гусар мой вопросил.—
Еще по ней ты, слава богу,
Друзей не проводил».

К груди поникнув головою,
Я скоро прошептал:
«Гусар! уж нет *ее* со мною!..»
Вздохнул — и замолчал.

Слеза повисла на реснице
И канула в бокал.
«Дитя, ты плачешь о девице,
Стыдись!» — он закричал.

«Оставь, гусар... ох, сердцу больно.
Ты, знать, не горевал.
Увы! одной слезы довольно,
Чтоб отравить бокал!..»

1815

РОЗА

Где наша роза,
Друзья мои?
Увяла роза,
Дитя зари.
Не говори:
Так вянет младость!
Не говори:
Вот жизни радость!
Цветку скажи:
Прости, жалею!
И на лилею
Нам укажи.

1815

* * *

Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался,
Отрадой тихою, восторгом упивался...
И где веселья быстрый день?
Промчался лётом сновиденья,
Увяла прелесть наслажденья,
И снова вкруг меня угрюмой скуки тень!..

1815

К бар. М. А. ДЕЛЬВИГ

Вам восемь лет, а мне семнадцать било.
И я считал когда-то восемь лет;
Они прошли. В судьбе своей унылой,
Бог знает как, я ныне стал поэт.
Не возвратить уже того, что было,
Уже я стар, мне незнакома ложь:
Так верьте мне — мы спасены лишь верой.
Послушайте. Амур, как вы, хорош;
Амур дитя, Амур на вас похож —
В мои лета вы будете Венерой.
Но если только буду жив,
Всевышней благостью Зевеса,
И столько же красноречив —
Я напишу вам, баронесса,
В латинском вкусе мадригал,
Чудесный, вовсе без искусства —
Не много истинных похвал,
Но много истинного чувства.
Скажу я: «Ради ваших глаз,
О баронесса! ради балов,
Когда мы все глядим на вас,
Взгляните на меня хоть раз
В награду прежних мадригалов».
Когда ж Амур и Гименей
В прелестной Марии моей
Поздравят молодую даму,
Удастся ль мне под старость дней
Вам посвятить эпиталаму?

1815

ТЕНЬ ФОНВИЗИНА

В раю, за грустным Ахероном,
Зевая в рощице густой,
Творец, любимый Аполлоном,
Увидеть вздумал мир земной.
То был писатель знаменитый,
Известный русский весельчак,
Насмешник, лаврами повитый,
Денис, невежде бич и страх.

«Позволь на время удалиться,—
Владыке ада молвил он,—
Постыл мне мрачный Флегетон
И к людям хочется явиться».
«Ступай!» — в ответ ему Плутон;
И видит он перед собою:
В ладье с мелькающей толпою
Гребет наморщенный Харон
Челнок ко брегу; с подорожной
Герой поплыл в ладье порожной
И вот — выходит к нам на свет.
Добро пожаловать, поэт!

Мертвец в России очутился,
Он ищет новости какой,
Но свет ни в чем не переменился.
Все идет той же чередой;
Все так же люди лицемерят,
Все те же песенки поют,
Клеветникам как прежде верят,
Как прежде все дела текут;
В окошки миллионы скачут,
Казну все крадут у царя,
Иным житье, другие плачут,
И мучат смертных лекаря,
Спокойно спят архиереи,
Вельможи, знатные злодеи,
Смеясь, в бокалы льют вино,
Невинных жалобе не внемлют,
Играют ночь, в сенате дремлют,
Склонясь на красное сукно;
Все столько ж трусов и нахалов,
Рублевых столько же Киприд,
И столько ж глупых генералов,
И столько ж старых волокит.

Вздохнул Денис: «О боже, боже!
Опять я вижу то ж да то же.
Передних грозный Демосфен,
Ты прав, оратор мой Петрушка:
Весь свет бездельная игрушка,
И нет в игрушке перемен.

Но где же братии-поэты,
Мои парнасские клевреты,
Питомцы граций молодых?
Желал бы очень видеть их».
Небес оставя светлы сени,
С крылатой шапкой набекрени,
Богов посланник молодой
Слетает вдруг к нему стрелой.
«Пойдем,— сказал Эрмий поэту,—
Я здесь твоим проводником,
Сам Феб меня просил о том;
С тобой успеем до рассвету
Певцов российских посетить,
Иных — лозами наградить,
Других — венком увить свирели».
Сказал, взвились и полетели.

Уже сокрылся ясный день,
Уже густела мрачна тень,
Уж вечер к ночи уклонялся,
Мелькал в окошки лунный свет,
И всяк, кто только не поэт,
Морфею сладко предавался.
Эрмий с веселым мертвецом
Влетели на чердак высокий;
Там Кропов в тишине глубокой
С бумагой, склянкой и пером
Сидел в раздумье за столом
На стуле ветхом и треногом
И площадным, раздутым слогом
На наши смертные грехи
Ковал и прозу и стихи.
«Кто он?» — «Издатель «Демокрита»!
Издатель, право, пресмешной,
Не жаждет лавров он пиита,
Лишь был бы только пьян порой,
Стихи читать его хоть тяжко,
А проза, ох! горька для всех;
Но что ж? смеяться над бедняжкой,
Ей-богу, братец, страшный грех;
Не лучше ли чердак оставить
И далее полет направить
К певцам российским записным?»
«Быть так, Меркурий, полетим».

И оба путника пустились
И в две минуты опустились
Хвостову прямо в кабинет.
Он не́ спал; добрый наш поэт
Унизывал на случай оду,
Как божий мученик кряхтел,
Чертил, вычеркивал, потел,
Чтоб стать посмешищем народу.
Сидит; перо в его зубах,
На ленте анненской табак,
Повсюду разлиты чернилы,
Сопит себе Хвостов унылый.
«Ба! в полночь кто катит ко мне?
Не брежу, полно ль, я во сне!
Что сталось с бедной головою!
Фонвизин! ты ль передо мною?
Помилуй! ты... конечно, он!»
«Я, точно я, меня Плутон
Из мрачного теней жилища
С почетным членом адских сил
Сюда на время отпустил.
Хвостов! старинный мой дружище!
Скажи, как время ты ведешь?
Здорово ль, весело ль живешь?»
«Увы! несчастному поэту,—
Нахмурясь отвечал Хвостов,—
Давно ни в чем удачи нету.
Скажу тебе без дальних слов:
По мне с парнасского задору
Хоть удавись — так в ту же пору.
Что я хорош, в том клясться рад,
Пишу, пою на всякий лад,
Хвалили гений мой в газетах,
В «Аспазии» боготворят.
А все последний я в поэтах,
Меня бранит и стар и млад,
Читать стихов моих не хочут,
Куда ни сунусь, всюду свист —
Мне враг последний журналист,
Мальчишки надо мной хохочут.
Анастасевич лишь один,
Мой верный крестник, чтец и сын,
Своею прозой уверяет,

Что истукан мой увенчает
Потомство лавровым венцом.
Никто не думает о том,
Но я — поставлю на своем.
Пускай мой перукмахер снова
Завьет у бедного Хвостова
Его поэмой заказной
Волос остаток уж седой,
Геройской воружась отвагой,
И жизнь я кончу над бумагой
И буду в аде век писать
И притчи дьяволам читать».
Денис на то пожал плечами;
Курьер богов захохотал
И, над свечой взмахнув крылами,
Во тьме с Фонвизиным пропал.
Хвостов не слишком изумился,
Спокойно свечку засветил —
Вздохнул, зевнул, перекрестился,
Свой труд доканчивать пустился,
Поутру оду смастерил
И ею город усыпил.

Меж тем, поклон отдав Хвостову,
Творец, списавший Простакову,
Три ночи в мрачных чердаках
В больших и малых городах
Пугал российских стиходеев.
В своем *боскете* князь Шальной,
Краса писателей-Морфеев,
Сидел за книжкой записной,
Рисуя в ней цветки, кусточки,
И, движа вздохами листочки,
Мочил их нежною слезой;
Когда же призрак столь чудесный
Очам влюбленного предстал,
За платье ухватясь любезной,
О страх! он в обморок упал.
И ты, славяно-росс надутый,
О Безглагольник пресловутый,
И ты едва не побледнел,
Как будто от Шишкова взгляда;
Из рук упала *Петриада,*
И дикий взор оцепенел.

И ты, попами воскормленный,
Дьячком псалтири обученный,
Ужасный критикам старик!
Ты видел тени грозный лик,
Твоя невинная другиня,
Уже поблекший цвет певиц,
Вралих Петрополя богиня,
Пред ним со страха пала ниц.
И ежемесячный вздыхатель,
Что в свет бесстыдно издает
Кокетки старой кабинет,
Безграмотный школяр-писатель,
Был строгой тенью посещен;
Не спас ребенка Купидон;
Блюститель чести муз усердный
Его журил немилосердно
И уши выдрал бедняка;
Страшна Фонвизина рука!

«Довольно! нет во мне охоты,—
Сказал он,— у худых писцов
Лишь время тратить; от зевоты
Я снова умереть готов;
Но где певец Екатерины?»
«На берегах поет Невы».
«Итак, стигийския долины
Еще не видел он?» — «Увы!»
«Увы? скажи, что значит это?»
«Денис! полнощный лавр отцвел,
Прошла весна, прошло и лето,
Огонь поэта охладел;
Ты все увидишь сам собою;
Слетим к певцу под сединою
На час послушать старика».
Они летят, и в три мига
Среди разубранной светлицы
Увидели певца Фелицы.
Почтенный старец их узнал.
Фонвизин тотчас рассказал
Свои в том мире похожденья.
«Так ты здесь в виде привиденья?..—
Сказал Державин,— очень рад;
Прими мои благословенья...
Брысь, кошка!.. сядь, усопший брат;

Какая тихая погода!..
Но, кстати, вот на славу ода,—
Послушай, братец». И старик,
Покашляв, почесав парик,
Пустился петь свое творенье,
Статей библейских преложенье;
То был из гимнов гимн прямой.
Чета бесплотных в удивленье
Внимала молча песнопенье,
Поникнув долу головой:

«Открылась тайн священных дверь!..
Из бездн исходит Луцифер,
Смиренный, но челоперунный.
Наполеон! Наполеон!
Париж, и новый Вавилон,
И кроткий агнец белорунный,
Превосходясь, как дивий Гог,
Упал, как дух Сатанаила,
Исчезла демонская сила!..
Благословен господь наш бог!»...

«Ого! — насмешник мой воскликнул,–
Что лучше эдаких стихов?
В них смысла сам бы не проникнул
Покойный господин Бобров;
Что сделалось с тобой, Державин?
И ты судьбой Невтону равен,
Ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь...
Пойдем, Меркурий, сердцу больно;
Пойдем — бешуся я невольно».
И мигом отлетел он прочь.

«Какое чудное явленье!» —
Фонвизин спутнику сказал.
«Оставь пустое удивленье,—
Эрмий с усмешкой отвечал.—
На Пинде славный Ломоносов
С досадой некогда узрел,
Что звучной лирой в сонме россов
Татарин бритый возгремел,
И гневом Пиндар Холмогора
И тайной завистью горел.

Но Феб услышал глас укора,
Его спокоить захотел,
И спотыкнулся мой Державин
Апокалипсис преложить.
Денис! он вечно будет славен,
Но, ах, почто так долго жить?»

«Пора домой,— вещал Эрмию
Ужасный рифмачам мертвец,—
Оставим наскоро Россию;
Бродить устал я наконец».
Но вдруг близ мельницы стучащей,
Средь рощи сумрачной, густой,
На берегу реки шумящей
Шалаш является простой:
К калитке узкая дорога;
В окно склонился древний клен,
И Фальконетов Купидон
Грозит с усмешкой у порога.
«Конечно, здесь живет певец,—
Сказал, обрадуясь, мертвец,—
Взойдем!» Взошли и что́ ж узрели?
В приятной неге, на постеле
Певец пенатов молодой
С венчанной розами главой,
Едва прикрытый одеялом,
С прелестной Лилою дремал
И, подрумяненный фиалом,
В забвенье сладостном шептал.
Фонвизин смотрит изумленный.
«Знакомый вид; но кто же он?
Уж не Парни ли несравненный,
Иль Клейст? иль сам Анакреон?»
«Он стоит их,— сказал Меркурий,—
Эрата, грации, амуры
Венчали миртами его,
И Феб цевницею златою
Почтил любимца своего;
Но, лени связанный уздою,
Он только пьет, смеется, спит
И с Лилой нежится младою,
Забыв совсем, что он пиит».
«Так я же разбужу повесу»,—
Сказал Фонвизин, рассердясь,

И в миг отдернул занавесу.
Певец, услыша вещий глас,
С досадой весь в пуху проснулся,
Лениво руки протянул,
На свет насилу проглянул,
Потом в сторонку обернулся
И снова крепким сном заснул.
Что делать нашему герою?
Повеся нос, идти к покою
И только про себя ворчать.
Я слышал, будто бы с досады
Бранил он русских без пощады
И вот изволил что сказать:
«Когда Хвостов трудиться станет,
А Батюшков спокойно спать,
Наш гений долго не восстанет,
И дело не пойдет на лад».

1815

ГРОБ АНАКРЕОНА

Всё в таинственном молчанье;
Холм оделся темнотой;
Ходит в облачном сиянье
Полумесяц молодой.
Вижу: лира над могилой
Дремлет в сладкой тишине;
Лишь порою звон унылый,
Будто лени голос милый,
В мертвой слышится струне.
Вижу: горлица на лире,
В розах кубок и венец...
Други, здесь почиет в мире
Сладострастия мудрец.
Посмотрите: на порфире
Оживил его резец!
Здесь он в зеркало глядится,
Говоря: «Я сед и стар,
Жизнью дайте ж насладиться;
Жизнь, увы, не вечный дар!»
Здесь, подняв на лиру длани
И нахмуря важно бровь,

Хочет петь он бога брани,
Но поет одну любовь.
Здесь готовится природе
Долг последний заплатить:
Старец пляшет в хороводе,
Жажду просит утолить.
Вкруг любовника седого
Девы скачут и поют;
Он у времени скупого
Крадет несколько минут.
Вот и музы и хариты
В гроб любимца увели;
Плющем, розами увиты,
Игры вслед за ним пошли...
Он исчез, как наслажденье,
Как веселый сон любви.
Смертный, век твой привиденье:
Счастье резвое лови;
Наслаждайся, наслаждайся;
Чаще кубок наливай;
Страстью пылкой утомляйся
И за чашей отдыхай!

1815

ПОСЛАНИЕ К ЮДИНУ

Ты хочешь, милый друг, узнать
Мои мечты, желанья, цели
И тихий глас простой свирели
С улыбкой дружества внимать.
Но можно ль резвому поэту,
Невольнику мечты младой,
В картине быстрой и живой
Изобразить в порядке свету
Все то, что в юности златой
Воображение мне кажет?

Теперь, когда в покое лень,
Укрыв меня в пустынну сень,
Своею цепью чувства вяжет,
И век мой тих, как ясный день,

Пустого неги украшенья
Не видя в хижине моей,
Смотрю с улыбкой сожаленья
На пышность бедных богачей
И, счастливый самим собою,
Не жажду горы серебра,
Не знаю *завтра*, ни *вчера*,
Доволен скромною судьбою
И думаю: «К чему певцам
Алмазы, яхонты, топазы,
Порфирные пустые вазы,
Драгие куклы по углам?
К чему им сукны Альбиона
И пышные чехлы Лиона
На модных креслах и столах,
И ложе шалевое в спальней?
Какая нужда в зеркалах?
Не лучше ли в деревне дальней,
Или в смиренном городке,
Вдали столиц, забот и грома,
Укрыться в мирном уголке,
С которым роскошь незнакома,
Где можно в праздник отдохнуть?»
О, если бы когда-нибудь
Сбылись поэта сновиденья?
Ужель отрад уединенья
Ему вкушать не суждено?
Мне видится мое селенье,
Мое Захарово; оно
С заборами в реке волнистой,
С мостом и рощею тенистой
Зерцалом вод отражено.
На холме домик мой; с балкона
Могу сойти в веселый сад,
Где вместе Флора и Помона
Цветы с плодами мне дарят,
Где старых кленов темный ряд
Возносится до небосклона
И глухо тополы шумят,—
Туда зарею поспешаю
С смиренным заступом в руках,
В лугах тропинку извиваю,
Тюльпан и розу поливаю —
И счастлив в утренних трудах;

Вот здесь под дубом наклоненным
С Горацием и Лафонтеном
В приятных погружен мечтах.
Вблизи ручей шумит и скачет,
И мчится в влажных берегах,
И светлый ток с досадой прячет
В соседних рощах и лугах.
Но вот уж полдень. В светлой зале
Весельем круглый стол накрыт;
Хлеб-соль на чистом покрывале,
Дымятся щи, вино в бокале,
И щука в скатерти лежит.
Соседи шумною толпою
Взошли, прервали тишину,
Садятся; чаш внимаем звону:
Все хвалят Вакха и Помону
И с ними красную весну...

Вот кабинет уединенный,
Где я, Москвою утомленный,
Вдали обманчивых красот,
Вдали нахмуренных забот
И той волшебницы лукавой,
Которая весь мир вертит,
В трубу немолчную гремит,
И — помнится — зовется Славой,—
Живу с природной простотой,
С философической забавой
И с музой резвой и младой...
Вот мой камин — под вечер темный,
Осенней бурною порой,
Люблю под сению укромной
Пред ним задумчиво мечтать,
Вольтера, Виланда читать,
Или в минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потом свои творенья...
Вот здесь... но быстро привиденья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают;
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре.
Меж тем как в келье молчаливой
Во плен отдался я мечтам,

Рукой беспечной и ленивой
Разбросив рифмы здесь и там,
Я слышу топот, слышу ржанье.
Блеснув узорным чепраком,
В блестящем ментии сиянье
Гусар промчался под окном...
И где вы, мирные картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты,
Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым казаком
Лежу — вдали штыки сверкают,
Лихие ржут, бразды кусают,
Да изредка грохочет гром,
Летя с высокого раската...
Трепещет бранью грудь моя
При блеске бранного булата,
Огнем пылает взор,— и я
Лечу на гибель супостата.
Мой конь в ряды врагов орлом
Несется с грозным седоком —
С размаха сыплются удары.
О вы, отеческие лары,
Спасите юношу в боях!
Там свищет саблей он зубчатой,
Там кивер зыблется пернатый;
С черкесской буркой на плечах
И молча преклонясь ко гриве,
Он мчит стрелой по скользкой ниве
С цигарой дымною в зубах...

Но, лаврами побед увиты,
Бойцы из чаши мира пьют.
Военной славою забытый,
Спешу в смиренный свой приют;
Нашед на поле битв и чести
Одни болезни, костыли,
На век оставил саблю мести...
Уж вижу в сумрачной дали
Мой тесный домик, рощи темны,
Калитку, садик, ближний пруд,
И снова я, философ скромный,

Укрылся в милый мне приют
И, мир забыв и им забвенный,
Покой души вкушаю вновь...

Скажи, о сердцу друг бесценный,
Мечта ль и дружба и любовь?
Доселе в резвости беспечной
Брели по розам дни мои;
В невинной ясности сердечной
Не знал мучений я любви,
Но быстро день за днем умчался;
Где ж детства ранние следы?
Прелестный возраст миновался,
Увяли первые цветы!
Уж сердце в радости не бьется
При милом виде мотылька,
Что в воздухе кружит и вьется
С дыханьем тихим ветерка,
И в беспокойстве непонятном
Пылаю, тлею, кровь горит,
И все языком, сердцу внятным,
О нежной страсти говорит...
Подруга возраста златого,
Подруга красных детских лет,
Тебя ли вижу, взоров свет,
Друг сердца, милая Сушкова?
Везде со мною образ твой,
Везде со мною призрак милый:
Во тьме полуночи унылой,
В часы денницы золотой.
То на конце аллеи темной
Вечерней, тихою порой,
Одну, в задумчивости томной,
Тебя я вижу пред собой,
Твой шалью стан не покровенный,
Твой взор, на груди потупленный,
В щеках любви стыдливый цвет.
Все тихо; брезжит лунный свет;
Нахмурясь топол шевелится,
Уж сумрак тусклой пеленой
На холмы дальние ложится,
И завес рощицы струится
Над тихо спящею волной,
Осеребренною луной.

Одна ты в рощице со мною,
На костыли мои склонясь,
Стоишь под ивою густою;
И ветер сумраков, резвясь,
На снежну грудь прохладой дует,
Играет локоном власов
И ногу стройную рисует
Сквозь белоснежный твой покров...
То часом полночи глубоким,
Пред теремом твоим высоким,
Угрюмой зимнею порой,
Я жду красавицу драгую —
Готовы сани; мрак густой;
Все спит, один лишь я тоскую,
Зову часов ленивый бой...
И шорох чудится глухой,
И вот уж шепот слышу сладкой,—
С крыльца прелестная сошла,
Чуть-чуть дыша; идет украдкой,
И дева друга обняла.
Помчались кони, вдаль пустились,
По ветру гривы распустились,
Несутся в снежной глубине,
Прижалась робко ты ко мне,
Чуть-чуть дыша; мы обомлели,
В восторгах чувства онемели...
Но что! мечтанья отлетели!
Увы! я счастлив был во сне...

В отрадной музам тишине
Простыми звуками свирели,
Мой друг, я для тебя воспел
Мечту, младых певцов удел.
Питомец муз и вдохновенья,
Стремясь фантазии вослед,
Находит в сердце наслажденья
И на пути грозящих бед.
Минуты счастья золотые
Пускай мне Клофо не совьет:
В мечтах все радости земные!
Судьбы всемощнее поэт.

1815

У С Ы

Философическая ода

Глаза скосив на ус кудрявый,
Гусар с улыбкой величавой
Вкруг пальца завитки мотал;
Мудрец с обритой бородою,
Качая лысой головою,
Со вздохом усачу сказал:

«За уши ус твой закрученный,
Вином и ромом окропленный,
Гордится юной красотой,
Не знает бритвы; выписною
Он вечно лоснится сурьмою,
Расправлен гребнем и рукой.

Гордись, гусар! но помни вечно,
Что все на свете скоротечно —
Летят губительны часы,
Румяны щеки пожелтеют,
И черны кудри поседеют,
И старость выбелит усы».

1816

С О Н

(Отрывок)

Пускай поэт с кадильницей паемпой
Гоняется за счастьем и молвой,
Мне страшен свет, проходит век мой темный
В безвестности, заглохшею тропой.
Пускай певцы гремящими хвалами
Полубогам бессмертие дают,
Мой голос тих, и звучными струнами
Не оглашу безмолвия приют.
Пускай любовь Овидии поют,
Мне не дает покоя Цитерея,
Счастливых дней амуры мне не вьют:
Я сон пою, бесценный дар Морфея,
И научу, как должно в тишине
Покоиться в приятном, крепком сне.

Приди, о лень! приди в мою пустыню.
Тебя зовут прохлада и покой;
В одной тебе я зрю свою богиню;
Готово все для гостьи молодой.
Все тихо здесь — докучный шум укрылся
За мой порог; на светлое окно
Прозрачное спустилось полотно,
И в темный ниш, где сумрак воцарился,
Чуть крадется неверный свет дневной.
Вот мой диван. Приди ж в обитель мира;
Царицей будь, я пленник ныне твой.
Все, все твое: вот краски, кисть и лира —
Учи меня, води моей рукой.

А вы, друзья моей прелестной музы,
Которыми любви забыты узы,
Которые владычеству земли,
Конечно, сон спокойный предпочли,
О мудрецы! дивиться вам умея,
Для вас одних я ныне трон Морфея
Поэзии цветами обовью,
Для вас одних блаженство воспою.
Внемлите же с улыбкой снисхожденья
Моим стихам, урокам наслажденья.

В назначенный природой неги час
Хотите ли забыться каждый раз
В ночной тиши, средь общего молчанья,
В объятиях игривого мечтанья?
Спешите же под сельский мирный кров,
Там можно жить и праздно и беспечно,
Там прямо рай; но прочь от городов,
Где крик и шум ленивцев мучит вечно.
Согласен я: в них можно целый день
С прелестницей ловить веселья тень;
В платок зевать, блистая в модном свете;
На бале в ночь вертеться на паркете,
Но можно ли вкушать отраду снов?
Настала тень,— уснуть лишь я готов,
Обманутый призра́ками ночными,
И вот уже, при свете фонарей,
На бешеной четверке лошадей,
Стуча, гремя колесами златыми,
Катится *Спесь* под окнами моими.

Я дремлю вновь, вновь улица дрожит —
На скучный бал *Рассеянье* летит...
О боже мой! ужели здесь ложатся,
Чтобы всю ночь бессонницей терзаться?
Еще стучат, а там уже светло,
И где мой сон? не лучше ли в село?
Там рощица листочков трепетаньем,
В лугу поток таинственным журчаньем,
Златых полей, долины тишина —
В деревне все к томлепью клонит сна.
О сладкий сон, ничем не возмущенный!
Один петух, зарею пробужденный,
Свой резкий крик подымет, может быть;
Опасен он — он может разбудить.
Итак, пускай, в сералях удаленны,
Султаны кур гордятся заключенны
Иль поселян сзывают на поля:
Мы спать хотим, любезные друзья.
Стократ блажен, кто может сном забыться
Вдали столиц, карет и петухов!
Но сладостью веселой ночи снов
Не думайте вы даром насладиться
Средь мирных сел, без всякого труда.
Что ж надобно? — Движенье, господа!

Похвальна лень, но есть всему пределы.
Смотрите: Клит, в подушках поседелый,
Размученный, изнеженный, больной,
Весь век сидит с подагрой и тоской.
Наступит день; несчастный, задыхаясь,
Кряхтя, ползет с постели на диван;
Весь день сидит; когда ж ночной туман
Подернет свет, во мраке расстилаясь,
С дивана Клит к постеле поползет.
И как же ночь несчастный проведет?
В покойном сне, в приятном сновиденье?
Нет! сон ему не радость, а мученье;
Не маками, тяжелою рукой
Ему Морфей закроет томны очи,
И медленной проходят чередой
Для бедного часы угрюмой ночи.
Я не хочу, как общий друг Бершу,
Предписывать вам тяжкие движенья:
Упрямый плуг, охоты наслажденья.

Царское Село. Каскады.
Раскрашенная литография А. Е. Мартынова.
Начало 1820-х годов.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

Нет, в рощи я ленивца приглашу:
Друзья мои, как утро здесь прекрасно!
В тиши полей, сквозь тайну сень дубрав
Как юный день сияет гордо, ясно!
Светлеет все; друг друга перегнав,
Журчат ручьи, блестят брега безмолвны;
Еще роса над свежей муравой;
Златых озер недвижно дремлют волны.
Друзья мои! возьмите посох свой,
Идите в лес, бродите по долине,
Крутых холмов устаньте на вершине,
И в долгу ночь глубок ваш будет сон.

Как только тень одепет небосклон,
Пускай войдет отрада жизни нашей,
Веселья бог с широкой, полной чашей,
И царствуй, Вакх, со всем двором своим.
Умеренно пируйте, други, с ним:
Стакана три шипящими волпами
Румяных вин налейте вы полпей;
Но толстый Ком с надутыми щеками,
Не приходи стучаться у дверей.
Я рад ему, но только за обедом,
И дружески я в полдень уберу
Его дары; но, право, ввечеру
Гораздо я дружней с его соседом.
Не ужинать — святой тому закон,
Кому всего дороже легкий сон.
Брегитесь вы, о дети мудрой лени!
Обманчивой успокоенья тени.
Не спите днем: о горе, горе вам,
Когда дремать привыкли по часам!
Что ваш покой? бесчувствие глубоко.
Сон истинный от вас уже далеко.
Не знаете веселой вы мечты;
Ваш целый век — несносное томленье,
И скучен сон, и скучно пробужденье,
И дни текут средь вечной темноты.

Но ежели в глуши, близ водопада,
Что под горой клокочет и кипит,
Прелестный сон, усталости награда,
При шуме волн на дикий брег слетит,
Покроет взор туманной пеленою,

Обнимет вас и тихою рукою
На мягкий мох преклонит, осенит,—
О! сладостно близ шумных вод забвенье.
Пусть долее продлится ваш покой,
Завидно мне счастливца наслажденье.

Случалось ли ненастной вам порой
Дня зимнего, при позднем, тихом свете,
Сидеть одним, без свечки в кабинете:
Все тихо вкруг; березы больше нет;
Час от часу темнеет окон свет;
На потолке какой-то призрак бродит;
Бледнеет угль, и синеватый дым,
Как легкий пар, в трубу, виясь, уходит;
И вот, жезлом невидимым своим
Морфей на все неверный мрак наводит.
Темнеет взор; «Кандид» из ваших рук,
Закрывшися, упал в колени вдруг;
Вздохнули вы; рука на стол валится,
И голова с плеча на грудь катится,
Вы дремлете! над вами мира кров:
Нежданный сон приятней многих снов!

Душевных мук волшебный исцелитель,
Мой друг Морфей, мой давный утешитель!
Тебе всегда я жертвовать любил,
И ты жреца давно благословил:
Забуду ли то время золотое,
Забуду ли блаженный неги час,
Когда, в углу под вечер притаясь,
Я призывал и ждал тебя в покое...
Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.

Под образом простой ночник из глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два стучало,—
Все в душу страх невольно поселяло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских пустыней
Встречал лихих Полканов и Добрыней,
И в вымыслах носился юный ум...

Но вы прошли, о ночи безмятежны!
И юности уж возраст наступил...
Подайте мне Альбана кисти нежны,
И я мечту младой любви вкусил.
И где ж она? Восторгами родилась,
И в тот же миг восторгом истребилась.
Проснулся я; ищу на небе день,
Но все молчит; луна во тьме сокрылась,
И вкруг меня глубокой ночи тень.
Но сон мой тих! беспечный сын Парнаса,
В ночной тиши я с рифмою не бьюсь,
Не вижу ввек ни Феба, ни Пегаса,
Ни старый двор каких-то старых муз.

Я не герой, по лаврам не тоскую;
Спокойствием и негой не торгую,
Не чудится мне ночью грозный бой;
Я не богач — и лаем пес привратный
Не возмущал мечты моей приятной;
Я не злодей, с волненьем и тоской
Не зрю во сне кровавых привидений,
Убийственных детей предрассуждений,
И в поздний час ужасный бледный *Страх*
Не хмурится угрюмо в головах.

1816

ОКНО

Недавно темною порою,
Когда пустынная луна
Текла туманною стезею,
Я видел — дева у окна
Одна задумчиво сидела,
Дышала в тайном страхе грудь,
Она с волнением глядела
На темный под холмами путь.

«Я здесь!» — шепнули торопливо.
И дева трепетной рукой
Окно открыла боязливо...
Луна покрылась темнотой.
«Счастливец! — молвил я с тоскою,—
Тебя веселье ждет одно.
Когда ж вечернею порою
И мне откроется окно?»

1816

ОСЕННЕЕ УТРО

Поднялся шум; свирелью полевой
Оглашено мое уединенье,
И с милою любви моей мечтой
Последнее исчезло сновиденье.
С небес уже скатилась ночи тень,
Взошла заря, сияет бледный день —
А вкруг меня глухое запустенье...
Уж нет ее... я был у берегов,
Где милая ходила в вечер ясный.
Уже нигде не встретил я прекрасной,
Я не нашел нигде ее следов.
Задумчиво бродя в глуши лесов,
Произносил я имя незабвенной;
Я звал ее — лишь глас уединенный
Пустых долин откликнулся вдали.
К ручью пришел, мечтами привлеченный
Его струи медлительно текли,
Не трепетал в них образ несравненной.
Уж нет ее... до сладостной весны
Простился я с блаженством и с душою.

Уж осени холодною рукою
Главы берез и лип обнажены,
Она шумит в дубравах опустелых,
Там день и ночь кружится мертвый лист,
Стоит туман на нивах пожелтелых,
И слышится мгновенный ветра свист.
Поля, холмы, знакомые дубравы!
Хранители священной тишины!
Свидетели минувших дней забавы!
Забыты вы... до сладостной весны!

1816

НАЕЗДНИКИ

Уж полем всадники спешат,
Дубравы кров покинув зыбкой,
Коней ласкают и смирят
И с гордой шепчутся улыбкой;
Сердца их радостью горят,
Огнем пылают гневны очи;
Лишь ты, воинственный поэт,
Уныл, как сумрак полуночи,
И бледен, как осенний свет.
С главою, мрачно преклоненной,
С укрытой горестью в груди,
Печальной думой увлеченный,
Он едет молча впереди.
«Певец печальный, что с тобою?
Один пред боем ты уныл,
Поник бесстрашною главою,
Бразды и саблю опустил.
Тебя ль мы зрели под мечами
С спокойным, дерзостным челом,
Всегда меж первыми рядами,
Все там, где битвы падал гром?
Ужель, невольник праздной неги,
Отрадней мир твоих полей,
Чем наши бурные набеги
И ночью бранный стук мечей?»
Но медленно певец печальный
Главу и взоры приподнял,
Взглянул угрюмо в сумрак дальный
И вздохом грудь поколебал.

«Глубокий сон в долине бранной;
Одни мы мчимся в тьме ночной.
Предчувствую конец желанный,
Меня зовет последний бой.
Расторгну цепь судьбы жестокой,
Влечу я с братьями в огонь;
Удар падет...— и одинокой
В долину выбежит мой конь...
О вы, хранимые судьбами
Для сладостных любви наград;
Любви бесценными слезами
Благословится ль ваш возврат?
Но для певца никто не дышит,
Его настигнет тишина;
Эльвина смерти весть услышит,
И не вздохнет об нем она...
В минуты сладкого спасенья,
О други, вспомните певца,
Его любовь, его мученья
И славу грозного конца».

1816

ПЕВЕЦ

Слыхали ль вы за рощей глас ночной
Певца любви, певца своей печали?
Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук унылый и простой
Слыхали ль вы?

Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?
Следы ли слез, улыбку ль замечали,
Иль тихий взор, исполненный тоской,
Встречали вы?

Вздохнули ль вы, внимая тихий глас
Певца любви, певца своей печали?
Когда в лесах вы юношу видали,
Встречая взор его потухших глаз,
Вздохнули ль вы?

1816

К МОРФЕЮ

Морфей, до утра дай отраду
Моей мучительной любви.
Приди, задуй мою лампаду,
Мои мечты благослови!
Сокрой от памяти унылой
Разлуки страшный приговор!
Пускай увижу милый взор,
Пускай услышу голос милый.
Когда ж умчится ночи мгла
И ты мои покинешь очи,
О, если бы душа могла
Забыть любовь до новой ночи!

1816

ЖЕЛАНИЕ

Я слезы лью; мне слезы утешенье;
И я молчу; не слышен ропот мой,
Моя душа, объятая тоской,
В ней горькое находит наслажденье.
О жизни сон! Лети, не жаль тебя,
Исчезни в тьме, пустое привиденье;
Мне дорого любви моей мученье,
Пускай умру, но пусть умру любя!

1816

ДРУЗЬЯМ

Богами вам еще даны
Златые дни, златые ночи,
И томных дев устремлены
На вас внимательные очи.
Играйте, пойте, о друзья!
Утратьте вечер скоротечный;
И вашей радости беспечной
Сквозь слезы улыбнуся я.

1816

ЗАЗДРАВНЫЙ КУБОК

Кубок янтарный
Полон давно,
Пеной угарной
Блещет вино.
Света дороже
Сердцу оно;
Но за кого же
Выпью вино?

Здравие славы
Выпью ли я?
Бранной забавы
Мы не друзья!
Это веселье
Не веселит,
Дружбы похмелье
Грома бежит.

Жители неба,
Феба жрецы!
Здравие Феба
Пейте, певцы!
Резвой камены
Ласки — беда;
Ток Иппокрены
Просто вода.

Пейте за радость
Юной любви —
Скроется младость,
Дети мои...
Кубок янтарный
Полон давно.
Я — благодарный —
Пью за вино.

1816

АМУР И ГИМЕНЕЙ

Сегодня, добрые мужья,
Повеселю вас новой сказкой.
Знавали ль вы, мои друзья,
Слепого мальчика с повязкой?
Слепого?.. Вот? Помилуй, Феб!
Амур совсем, друзья, не слеп:
Но шалуну пришла ж охота,
Чтоб, людям на смех и назло,
Его безумие вело.
Безумие ведет Эрота:
Но вдруг, не знаю почему,
Оно наскучило ему.
Взялся за новую затею:
Повязку с милых сняв очей,
Идет проказник к Гименею...
А что такое Гименей?
Он сын Вулкана молчаливый,
Холодный, дряхлый и ленивый,
Ворчит и дремлет целый век,
А впрочем добрый человек,
Да нрав имеет он ревнивый.
От ревности печальный бог
Спокойно подремать не мог;
Все трусил маленького брата,
За ним подсматривал тайком
И караулил супостата
С своим докучным фонарем.
Вот мальчик мой к нему подходит
И речь коварную заводит:
«Развеселися, Гименей!
Ну, помиримся, будь умней!
Забудь, товарищ мой любезный,
Раздор смешной и бесполезный!
Да только навсегда, смотри!
Возьми ж повязку в память, милый,
А мне фонарь свой подари!»
И что ж? Поверил бог унылый.
Амур от радости прыгнул,
И на глаза со всей он силы
Обнову брату затянул.
Гимена скучные дозоры
С тех пор пресеклись по ночам;

Его завистливые взоры
Теперь не страшны красотам;
Спокоен он, но брат коварный,
Шутя над честью и над ним,
Войну ведет неблагодарный
С своим союзником слепым.
Лишь сон на смертных налетает,
Амур в молчании ночном
Фонарь любовнику вручает
И сам счастливца провожает
К уснувшему супругу в дом;
Сам от беспечного Гимена
Он охраняет тайну дверь...
Пойми меня, мой друг Елена,
И мудрой повести поверь!

1816

ШИШКОВУ

Шалун, увенчанный Эратой и Венерой,
Ты ль узника манишь в владения свои,
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой,
Где нежился Тибулл, Мелецкий и Парни?
Тебе, балованный питомец Аполлона,
С их лирой соглашать игривую свирель:
Веселье резвое и нимфы Геликона
Твою счастливую качали колыбель.
Друзей любить открытою душою,
В молчанье чувствовать, пленяться красотою –
Вот жребий мой; ему я следовать готов,
Но, милый, сжалься надо мною,
Не требуй от меня стихов!
Не вечно нежиться в приятном ослепленье:
Докучной истины я поздний вижу свет.
По доброте души я верил в упоенье
Мечте, шепнувшей: ты поэт,—
И, презря мудрые угрозы и советы,
С небрежной леностью нанизывал куплеты,
Игрушкою себя невинной веселил;
Угодник Бахуса, я, трезвый меж друзьями,
Бывало, пел вино водяными стихами;
Мечтательных Дорид и славил и бранил,

Иль дружбе плел венок, и дружество зевало
И сонные стихи впросонках величало.
Но долго ли меня лелеял Аполлон?
Душе наскучили парнасские забавы;
Не долго снились мне мечтанья муз и славы;
И, строгим опытом невольно пробужден,
Уснув меж розами, на тернах я проснулся,
Увидел, что еще не гения печать —
Охота смертная на рифмах лепетать,
Сравнив стихи твои с моими, улыбнулся:
И полно мне писать.

1816

ПРОБУЖДЕНИЕ

Мечты, мечты,
Где ваша сладость?
Где ты, где ты,
Ночная радость?
Исчезнул он,
Веселый сон,
И одинокий
Во тьме глубокой
Я пробужден.
Кругом постели
Немая ночь.
Вмиг охладели,
Вмиг улетели
Толпою прочь
Любви мечтанья.
Еще полна
Душа желанья
И ловит сна
Воспоминанья.
Любовь, любовь,
Внемли моленья:
Пошли мне вновь
Свои виденья,
И поутру,
Вновь упоенный,
Пускай умру
Непробужденный.

1816

ЛЮБОПЫТНЫЙ

— Что ж нового? — «Ей-богу, ничего».
— Эй, не хитри: ты, верно, что-то знаешь.
Не стыдно ли, от друга своего,
Как от врага, ты вечно все скрываешь.
Иль ты сердит: помилуй, брат, за что?
Не будь упрям: скажи ты мне хоть слово...
«Ох! отвяжись, я знаю только то,
Что ты дурак, да это уж не ново».

1816

НАДПИСЬ К БЕСЕДКЕ

С благоговейною душой
Приближься, путник молодой,
Любви к пустынному приюту.
Здесь ею счастлив был я раз —
В восторге сладостном погас,
И время самое для нас
Остановилось на минуту.

1816

К КАВЕРИНУ

Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные стихи.
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи.
Все чередой идет определенной,
Всему пора, всему свой миг;
Смешон и ветреный старик,
Смешон и юноша степенный.
Пока живется нам, живи,
Гуляй в мое воспоминанье;
Молись и Вакху и любви
И черни презирай ревнивое роптанье;
Она не ведает, что дружно можно жить
С Киферой, с портиком, и с книгой, и с бокалом;
Что ум высокий можно скрыть
Безумной шалости под легким покрывалом.

1817

ЭЛЕГИЯ

Опять я ваш, о юные друзья!
Печальные сокрылись дни разлуки:
И брату вновь простерлись ваши руки,
Ваш резвый круг увидел снова я.
Все те же вы, но время уж не то же:
Уже не вы душе всего дороже,
Уж я не тот... невидимой стезей
Ушла пора веселости беспечной,
Навек ушла — и жизни скоротечной
Луч утренний бледнеет надо мной.
Отверженный судьбой несправедливой,
И ласки муз, и радость, и покой —
Я все забыл; печали молчаливой
Рука лежит над юною главой...
Перед собой одну печаль я вижу!
Мне скучен мир, мне страшен дневный свет,
Иду в леса, в которых жизни нет,
Где мертвый мрак,— я радость ненавижу,
Во мне застыл ее минутный след.
Чтоб отогнать угрюмые страданья,
Напрасно вы несете лиру мне:
Минувших дней погаснули мечтанья,
И умер глас в бесчувственной струне.
Опали вы, листы вчерашней розы!
Не доцвели до завтрашних лучей.
Умчались вы, дни радости моей!
Умчались вы — невольно льются слезы,
И вяну я на темном утре дней.

О дружество! предай меня забвенью;
В безмолвии покорствую судьбам,
Оставь меня сердечному мученью,
Оставь меня пустыням и слезам.

1817

БЕЗВЕРИЕ

О вы, которые с язвительным упреком,
Считая мрачное безверие пороком,
Бежите в ужасе того, кто с первых лет
Безумно погасил отрадный сердцу свет;
Смирите гордости жестокой исступленье.

Имеет право он на ваше снисхожденье.
С душою тронутой внемлите брата стон,
Несчастный не злодей, собою страждет он.
Кто в мире усладит души его мученья?
Увы! он первого лишился утешенья!
Настигнет ли его глухих судеб удар,
Отъемлется ли вдруг минутный счастья дар,
В любви ли, в дружестве обнимет он измену
И их почувствует обманчивую цену:
Лишенный всех опор, отпадший веры сын
Уж видит с ужасом, что в свете он один,
И мощная рука к нему с дарами мира
Не простирается из-за пределов мира...
Напрасно в пышности свободной простоты
Природы перед ним открыты красоты;
Напрасно вкруг себя печальный взор он водит:
Ум ищет божества, а сердце не находит.

Несчастия, страстей и немощей сыны,
Мы все на страшный гроб, родясь, осуждены.
Всечасно бренных уз готово разрушенье,
Наш век — неверный день, минутное волненье,
Когда, холодной тьмой объемля грозно нас,
Завесу вечности колеблет смертный час,
Ужасно чувствовать слезы последней муку —
И с миром начинать безвестную разлуку!

Тогда, беседуя с раскованной душой,
О вера, ты стоишь у двери гробовой,
Ты ночь могильную ей тихо освещаешь
И ободренную с надеждой отпускаешь...
Но, други! пережить ужаснее друзей!
Лишь вера в тишине отрадою своей
Живит унывший дух и сердца ожиданье:
«Настанет! — говорит,— назначено свиданье!»
А он, слепой мудрец! при гробе стонет он,
С отрадой бытия несчастный разлучен,
Надежды сладкого не внемлет он привета,
Подходит к гробу он, взывает... нет ответа.
Видали ль вы его в безмолвных тех местах,
Где кровных и друзей священный тлеет прах?
Видали ль вы его над хладною могилой,
Где нежной Делии таится пепел милый?

К почившим позванный вечерней тишиной,
К кресту приникнул он бесчувственной главой,
В слезах отчаянья, в слезах ожесточенья,
В молчанье ужаса, в безумстве исступленья,
Рыдает — и меж тем под сенью темных ив,
У гроба матери колена преклонив,
Там дева юная в печали безмятежной
Возводит к небу взор болезненный и нежный,
Одна, туманною луной озарена,
Как ангел горести является она;
Вздыхает медленно, могилу обнимает —
Все тихо вкруг нее, а кажется, внимает.
Несчастный на нее в безмолвии глядит,
Качает головой, трепещет и бежит;
Но тайно вслед за ним немая скука бродит.
Во храм ли вышнего с толпой народа входит,
Там умножает он тоску души своей.
При пышном торжестве священных алтарей,
При гласе пастыря, при сладком хоров пенье,
Тревожится его безверия мученье;
Он бога тайного нигде, нигде не зрит,
С померкшею душой святыне предстоит,
Холодный ко всему и чуждый к умиленью,
С досадой тихому внимает он моленью.
«Счастливцы! — мыслит он,— почто не можно мне
Страстей бунтующих в смиренной тишине,
Забыв о разуме и немощном и строгом,
С единой верою повергнуться пред богом!»
Напрасный сердца крик! нет, нет! не суждено
Ему блаженство знать! безверие одно,
По жизненной стезе во мраке вождь унылый,
Несчастного влечет до хладных врат могилы,
И что зовет его в пустыне гробовой —
Кто ведает? но там лишь видит он покой.

1817

ДЕЛЬВИГУ

Любовью, дружеством и ленью
Укрытый от забот и бед,
Живи под их надежной сенью;
В уединении ты счастлив: ты поэт.

Наперснику богов не страшны бури злые:
Над ним их промысел высокий и святой;
Его баюкают камены молодые
И с перстом на устах хранят его покой.
О милый друг, и мне богини песнопенья
Еще в младенческую грудь
Влияли искру вдохновенья
И тайный указали путь:
Я лирных звуков наслажденья
Младенцем чувствовать умел,
И лира стала мой удел.
Но где же вы, минуты упоенья,
Неизъяснимый сердца жар,
Одушевленный труд и слезы вдохновенья!
Как дым, исчез мой легкий дар.
Как рано зависти привлек я взор кровавый
И злобной клеветы невидимый кинжал!
Нет, нет, ни счастием, ни славой,
Ни гордой жаждою похвал
Не буду увлечен! В бездействии счастливом
Забуду милых муз, мучительниц моих;
Но, может быть, вздохну в восторге молчаливом,
Внимая звуку струн твоих.

1817

В. Л. ПУШКИНУ

Что восхитительней, живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов?
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?
Они живут в своих шатрах,
Вдали забав, и нег, и граций,
Как жил бессмертный трус Гораций
В тибурских сумрачных лесах;
Не знают света принужденья,
Не ведают, что́ скука, страх;
Дают обеды и сраженья,
Поют и рубятся в боях.

Счастлив, кто мил и страшен миру;
О ком за песни, за дела
Гремит правдивая хвала;
Кто славил Марса и Темиру
И бранную повесил лиру
Меж верной сабли и седла!

1817

КНЯЗЮ А. М. ГОРЧАКОВУ

Встречаюсь я с осьмнадцатой весной.
В последний раз, быть может, я с тобой,
Задумчиво внимая шум дубравный,
Над озером иду рука с рукой.
Где вы, лета беспечпости недавной?
С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в новый свет;
Но там удел назначен нам не равный,
И розно наш оставим в жизни след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и славный,—
Моя стезя печальна и темна;
И нежная краса тебе дана,
И нравиться блестящий дар природы,
И быстрый ум, и верный, милый нрав;
Ты сотворен для сладостной свободы,
Для радости, для славы, для забав.
Они пришли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора.
Спеши любить и, счастливый вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;
Амур велит — и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай...
О, скольких слез, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник,
Будь верен всем — пленяйся и пленяй.

А мой удел... но пасмурным туманом
Зачем же мне грядущее скрывать?
Увы! нельзя мне вечным жить обманом
И счастья тень, забывшись, обнимать.
Вся жизнь моя — печальный мрак ненастья.

Две-три весны, младенцем, может быть,
Я счастлив был, не понимая счастья;
Они прошли, но можно ль их забыть?
Они прошли, и скорбными глазами
Смотря на путь, оставленный навек,—
На краткий путь, усыпанный цветами,
Которым я так весело протек,
Я слезы лью, я трачу век напрасно,
Мучительным желанием горя.

Твоя заря — заря весны прекрасной;
Моя ж, мой друг,— осенняя заря.
Я знал любовь, но не знавал надежды,
Страдал один, в безмолвии любил.
Безумный сон покинул томны вежды,
Но мрачные я грезы не забыл.
Душа полна невольной, грустной думой;
Мне кажется: на жизненном пиру
Один с тоской явлюсь я, гость угрюмый,
Явлюсь па час — и одинок умру.
И не придет друг сердца незабвенный
В последний миг мой томный взор сомкнуть,
И не придет на холм уединенный
В последний раз с любовию вздохнуть!
Ужель моя пройдет пустынно младость?
Иль мне чужда счастливая любовь?
Ужель умру, не ведая, что́ радость?
Зачем же жизнь дана мне от богов?
Чего мне ждать? В рядах забытый воин,
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастия какой возьму венец?

Но что?.. Стыжусь!.. Нет, ропот — униженье.
Нет, праведно богов определенье!
Ужель лишь мне не ведать ясных дней?
Нет! и в слезах сокрыто наслажденье,
И в жизни сей мне будет утешенье:
Мой скромный дар и счастие друзей.

1817

ПРОЩАНЬЕ

Промчались годы заточенья;
Недолго, милые друзья,
Нам видеть кров уединенья
И царскосельские поля.
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас света дальний шум,
И всякий смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде
И греться ходит в караул;
Иной, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У плута знатного в прихожей
Покорным шутом зрит себя;
Лишь я, во всем судьбе послушный,
Беспечной лени верный сын,
К честям ничтожным равнодушный,
Я тихо задремал один.
Равны мне писари, уланы,
Равны наказ и кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора;
Друзья! немного снисхожденья —
Оставьте красный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.

1817

РАЗЛУКА

В последний раз, в сени уединенья,
Моим стихам внимает наш пенат.
Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгновенья.

Прошли лета соединенья;
Разорван он, наш верный круг.
Прости! Хранимый небом,
Не разлучайся, милый друг,
С свободою и Фебом!
Узнай любовь, неведомую мне,
Любовь надежд, восторгов, упоенья:
И дни твои полетом сновиденья
Да пролетят в счастливой тишине!
Прости! Где б ни был я: в огне ли смертной битвы,
При мирных ли брегах родимого ручья,
Святому братству верен я.
И пусть (услышит ли судьба мои молитвы?),
Пусть будут счастливы все, все твои друзья!

1817

* * *

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
И легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам.
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.

1817

К ***

Не спрашивай, зачем унылой думой
Среди забав я часто омрачен,
Зачем на все подъемлю взор угрюмый,
Зачем не мил мне сладкой жизни сон;

Не спрашивай, зачем душой остылой
Я разлюбил веселую любовь
И никого не называю *милой* —
Кто раз любил, уж не полюбит вновь;

Кто счастье знал, уж не узнает счастья.
На краткий миг блаженство нам дано:
От юности, от нег и сладострастья
Останется уныние одно...

1817

* * *

Краев чужих неопытный любитель
И своего всегдашний обвинитель,
Я говорил: в отечестве моем
Где верный ум, где гений мы найдем?
Где гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной?
Где женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой?
Где разговор найду непринужденный,
Блистательный, веселый, просвещенный?
С кем можно быть не хладным, не пустым?
Отечество почти я ненавидел —
Но я вчера Голицыну увидел
И примирен с отечеством моим.

1817

К НЕЙ

В печальной праздности я лиру забывал,
Воображение в мечтах не разгоралось,
С дарами юности мой гений отлетал,
И сердце медленно хладело, закрывалось.
Вас вновь я призывал, о дни моей весны,
Вы, пролетевшие под сенью тишины,
Дни дружества, любви, надежд и грусти нежной,
Когда, поэзии поклонник безмятежный,
На лире счастливой я тихо воспевал
Волнение любви, уныние разлуки —
И гул дубрав горам передавал
Мои задумчивые звуки...

Напрасно! Я влачил постыдной лени груз,
В дремоту хладную невольно погружался,
Бежал от радостей, бежал от милых муз
И — слезы на глазах — со славою прощался!
Но вдруг, как молнии стрела,
Зажглась в увядшем сердце младость,
Душа проснулась, ожила,
Узнала вновь любви надежду, скорбь и радость.
Все снова расцвело! Я жизнью трепетал;
Природы вновь восторженный свидетель,
Живее чувствовал, свободнее дышал,
Сильней пленяла добродетель...
Хвала любви, хвала богам!
Вновь лиры сладостной раздался голос юный,
И с звонким трепетом воскреснувшие струны
Несу к твоим ногам!..

1817

ВОЛЬНОСТЬ

Ода

Беги, сокройся от очей,
Цитеры слабая царица!
Где ты, где ты, гроза царей,
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру...
Хочу воспеть Свободу миру,
На тронах поразить порок.

Открой мне благородный след
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед
Ты гимны смелые внушала.
Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;

Везде неправедная Власть
В сгущенной мгле предрассуждений
Воссела — Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.

Лишь там над царскою главой
Народов не легло страданье,
Где крепко с Вольностью святой
Законов мощных сочетанье;
Где всем простерт их твердый щит,
Где сжатый верными руками
Граждан над равными главами
Их меч без выбора скользит

И преступленье свысока
Сражает праведным размахом;
Где не подкупна их рука
Ни алчной скупостью, ни страхом.
Владыки! вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

И горе, горе племенам,
Где дремлет он неосторожно,
Где иль народу, иль царям
Законом властвовать возможно!
Тебя в свидетели зову,
О мученик ошибок славных,
За предков в шуме бурь недавных
Сложивший царскую главу.

Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон — народ молчит,
Падет преступная секира...
И се — злодейская порфира
На галлах скованных лежит.

Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.

Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты богу на земле.

Когда на мрачную Неву
Звезда полуночи сверкает
И беззаботную главу
Спокойный сон отягощает,
Глядит задумчивый певец
На грозно спящий средь тумана
Пустынный памятник тирана,
Забвенью брошенный дворец —

И слышит Клии страшный глас
За сими страшными стенами,
Калигулы последний час
Он видит живо пред очами,
Он видит — в лентах и звездах,
Вином и злобой упоенны,
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце страх.

Молчит неверный часовой,
Опущен молча мост подъемный,
Врата отверсты в тьме ночной
Рукой предательства наемной...
О стыд! о ужас наших дней!
Как звери, вторглись янычары!..
Падут бесславные удары...
Погиб увенчанный злодей.

И днесь учитесь, о цари:
Ни наказанья, ни награды,
Ни кров темниц, ни алтари
Не верные для вас ограды.
Склонитесь первые главой
Под сень надежную Закона,
И станут вечной стражей трона
Народов вольность и покой.

1817

ТОРЖЕСТВО ВАКХА

Откуда чудный шум, неистовые клики?
Кого, куда зовут и бубны и тимпан?
Что значат радостные лики
И песни поселян?
В их круге светлая свобода
Прияла праздничный венок.
Но двинулись толпы народа...
Он приближается... Вот он, вот сильный бог!
Вот Бахус мирный, вечно юный!
Вот он, вот Индии герой!
О радость! Полные тобой
Дрожат, готовы грянуть струны
Нелицемерною хвалой!..

Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!
Вот он! вот Вакх! О час отрадный!
Державный тирс в его руках;
Венец желтеет виноградный
В чернокудрявых волосах...
Течет. Его младые тигры
С покорной яростью влекут;
Кругом летят эроты, игры —
И гимны в честь ему поют.
За ним теснится козлоногий
И фавнов и сатиров рой,
Плющом опутаны их роги;
Бегут смятенною толпой
Вослед за быстрой колесницей,
Кто с тростниковою цевницей,
Кто с верной кружкою своей;
Тот, оступившись, упадает
И бархатный ковер полей
Вином багровым обливает
При диком хохоте друзей.
Там дале вижу дивный ход!
Звучат веселые тимпаны;
Младые нимфы и сильваны,
Составя шумный хоровод,
Несут недвижного Силена...

Вино струится, брызжет пена,
И розы сыплются кругом;
Несут за спящим стариком
И тирс, символ победы мирной,
И кубок тяжко-золотой,
Венчанный крышкою сапфирной,—
Подарок Вакха дорогой.

Но воет берег отдаленный.
Власы раскинув по плечам,
Венчанны гроздьем, обнаженны,
Бегут вакханки по горам.
Тимпаны звонкие, кружась меж их перстами,
Гремят — и вторят их ужасным голосам.
Промчалися, летят, свиваются руками,
Волшебной пляской топчут луг,
И младость пылкая толпами
Стекается вокруг.

Поют неистовые девы;
Их сладострастные напевы
В сердца вливают жар любви;
Их перси дышат вожделеньем;
Их очи, полные безумством и томленьем,
Сказали: счастие лови!
Их вдохновенные движенья
Сперва изображают нам
Стыдливость милого смятенья,
Желанье робкое — а там
Восторг и дерзость наслажденья.
Но вот рассыпались — по холмам и полям;
Махая тирсами, несутся;
Уж издали их вопли раздаются,
И гул им вторит по лесам:
Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

Друзья, в сей день благословенный
Забвенью бросим суеты!
Теки, вино, струею пенной
В честь Вакха, муз и красоты!

Эван, эвое! Дайте чаши!
Несите свежие венцы!
Невольники, где тирсы наши?
Бежим на мирный бой, отважные бойцы!

1818

Кн. ГОЛИЦЫНОЙ, ПОСЫЛАЯ ЕЙ ОДУ «ВОЛЬНОСТЬ»

Простой воспитанник природы,
Так я, бывало, воспевал
Мечту прекрасную свободы
И ею сладостно дышал.
Но вас я вижу, вам внимаю,
И что же?.. слабый человек!..
Свободу потеряв навек,
Неволю сердцем обожаю.

1818

* * *

Когда сожмешь ты снова руку,
Которая тебе дарит
На скучный путь и на разлуку
Святую библию харит?
Амур нашел ее в Цитере,
В архиве шалости младой.
По ней молись своей Венере
Благочестивою душой.
Прости, эпикуреец мой!
Останься век, каков ты ныне,
Лети во мрачный Альбион!
Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон!
Неси в чужой предел пената,
Но, помня прежни дни свои,
Люби недевственного брата,
Страдальца чувственной любви!

1818

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Тебя ль я видел, милый друг?
Или неверное то было сновиденье,
Мечтанье смутное, и пламенный недуг
Обманом волновал мое воображенье?
В минуты мрачные болезни роковой
Ты ль, дева нежная, стояла надо мной
В одежде воина с неловкостью приятной?
Так, видел я тебя; мой тусклый взор узнал
Знакомые красы под сей одеждой ратной:
И слабым шепотом подругу я назвал...
Но вновь в уме моем стеснились мрачны грезы,
Я слабою рукой искал тебя во мгле...
И вдруг я чувствую твое дыханье, слезы
И влажный поцелуй на пламенном челе...
Бессмертные! с каким волненьем
Желанья, жизни огнь по сердцу пробежал!
Я закипел, затрепетал...
И скрылась ты прелестным привиденьем!
Жестокий друг! меня томишь ты упоеньем:
Приди, меня мертвит любовь!
В молчанье благосклонной ночи
Явись, волшебница! пускай увижу вновь
Под грозным кивером твои небесны очи,
И плащ, и пояс боевой,
И бранной обувью украшенные ноги.
Не медли, поспешай, прелестный воин мой,
Приди, я жду тебя. Здоровья дар благой
Мне снова ниспослали боги,
А с ним и сладкие тревоги
Любви таинственной и шалости младой.

1818

ЖУКОВСКОМУ

Когда, к мечтательному миру
Стремясь возвышенной душой,
Ты держишь на коленях лиру
Нетерпеливою рукой;
Когда сменяются виденья
Перед тобой в волшебной мгле,
И быстрый холод вдохновенья
Власы подъемлет на челе,—

Ты прав, творишь ты *для немногих,*
Не для завистливых судей,
Не для сбирателей убогих
Чужих суждений и вестей,
Но для друзей таланта строгих,
Священной истины друзей.
Не всякого полюбит счастье,
Не все родились для венцов.
Блажен, кто знает сладострастье
Высоких мыслей и стихов!
Кто наслажденье прекрасным
В прекрасный получил удел
И твой восторг уразумел
Восторгом пламенным и ясным.

1818

К ПОРТРЕТУ ЖУКОВСКОГО

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

1818

МЕЧТАТЕЛЮ

Ты в страсти горестной находишь наслажденье;
Тебе приятно слезы лить,
Напрасным пламенем томить воображенье
И в сердце тихое уныние таить.
Поверь, не любишь ты, неопытный мечтатель.
О, если бы тебя, унылых чувств искатель,
Постигло страшное безумие любви;
Когда б весь яд ее кипел в твоей крови;
Когда бы в долгие часы бессонной ночи,
На ложе, медленно терзаемый тоской,
Ты звал обманчивый покой,
Вотще смыкая скорбны очи,
Покровы жаркие, рыдая, обнимал
И сохнул в бешенстве бесплодного желанья,—
Поверь, тогда б ты не питал
Неблагодарного мечтанья!

Нет, нет! в слезах упав к ногам
Своей любовницы надменной,
Дрожащий, бледный, исступленный,
Тогда б воскликнул ты к богам:
«Отдайте, боги, мне рассудок омраченный,
Возьмите от меня сей образ роковой!
Довольно я любил; отдайте мне покой!»
Но мрачная любовь и образ незабвенный
Остались вечно бы с тобой.

1818

К Н. Я. ПЛЮСКОВОЙ

На лире скромной, благородной
Земных богов я не хвалил
И силе в гордости свободной
Кадилом лести не кадил.
Свободу лишь учася славить,
Стихами жертвуя лишь ей,
Я не рожден царей забавить
Стыдливой музою моей.
Но, признаюсь, под Геликоном,
Где Касталийский ток шумел,
Я, вдохновенный Аполлоном,
Елисавету втайне пел.
Небесного земной свидетель,
Воспламененною душой
Я пел на троне добродетель
С ее приветною красой.
Любовь и тайная свобода
Внушали сердцу гимн простой,
И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

1818

СКАЗКИ

Noël

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспóт.
Спаситель горько плачет,
За ним и весь народ.
Мария в хлопотах Спасителя стращает:
«Не плачь, дитя, не плачь, судáрь:

Вот бука, бука — русский царь!»
Царь входит и вещает:

«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен.

Послушайте в прибавку,
Что сделаю потом:
Лаврову дам отставку,
А Соца — в желтый дом;
Закон постановлю на место вам Горголи,
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».

От радости в постеле
Запрыгало дитя:
«Неужто в самом деле?
Неужто не шутя?»
А мать ему: «Бай-бай! закрой свои ты глазки;
Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

1818

К ЧААДАЕВУ

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой
Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

1818

НА КАРАМЗИНА

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

1818

ИСТОРИЯ СТИХОТВОРЦА

Внимает он привычным ухом
Свист;
Марает он единым духом
Лист;
Потом всему терзает свету
Слух;
Потом печатает — и в Лету
Бух!

1818

ДОРИДА

В Дориде нравятся и локоны златые,
И бледное лицо, и очи голубые...
Вчера, друзей моих оставя пир ночной,
В ее объятиях я негу пил душой;
Восторги быстрые восторгами сменялись,
Желанья гасли вдруг и снова разгорались;
Я таял; но среди неверной темноты
Другие милые мне виделись черты,
И весь я полон был таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали.

1819

М. Н. Раевская.
Рис. неизвестного художника. Акварель, карандаш.
Начало 1820-х годов.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

N. N.

(В. В. Энгельгардту)

Я ускользнул от Эскулапа
Худой, обритый — но живой;
Его мучительная лапа
Не тяготеет надо мной.
Здоровье, легкий друг Приапа,
И сон, и сладостный покой,
Как прежде, посетили снова
Мой угол тесный и простой.
Утешь и ты полубольного!
Он жаждет видеться с тобой,
С тобой, счастливый беззаконник,
Ленивый Пинда гражданин,
Свободы, Вакха верный сын,
Венеры набожный поклонник
И наслаждений властелин!
От суеты столицы праздной,
От хладных прелестей Невы,
От вредной сплетницы молвы,
От скуки, столь разнообразной,
Меня зовут холмы, луга,
Тенисты клены огорода,
Пустынной речки берега
И деревенская свобода.
Дай руку мне. Приеду я
В начале мрачном сентября:
С тобою пить мы будем снова,
Открытым сердцем говоря
Насчет глупца, вельможи злого,
Насчет холопа записного,
Насчет небесного царя,
А иногда пасчет земного.

1819

ОРЛОВУ

О ты, который сочетал
С душою пылкой, откровенной
(Хотя и русский генерал)
Любезность, разум просвещенный;

О ты, который, с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча
Свою воинственную руку
Презренной палкой палача,
Орлов, ты прав: я забываю
Свои гусарские мечты
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
Смирив немирные желанья,
Без долимана, без усов,
Сокроюсь с тайною свободой,
С цевницей, негой и природой
Под сенью дедовских лесов;
Над озером, в спокойной хате,
Или в траве густых лугов,
Или холма на злачном скате,
В бухарской шапке и в халате
Я буду петь моих богов
И буду ждать. Когда ж восстанет
С одра покоя бог мечей
И брани громкий вызов грянет,
Тогда покину мир полей;
Питомец пламенный Беллоны,
У трона верный гражданин!
Орлов, я стану под знамены
Твоих воинственных дружин;
В шатрах, средь сечи, средь пожаров,
С мечом и с лирой боевой
Рубиться буду пред тобой
И славу петь твоих ударов.

1819

К ЩЕРБИНИНУ

Житье тому, любезный друг,
Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем и всем доволен;
Кто Наденьку, под вечерок,
За тайным ужином ласкает
И жирный страсбургский пирог
Вином душистым запивает;
Кто, удалив заботы прочь,
Как верный сын пафосской веры,
Проводит набожную ночь
С младой монашенкой Цитеры.
Поутру сладко дремлет он,
Читая листик «Инвалида»;
Весь день веселью посвящен,
А в ночь — вновь царствует Киприда.

И мы не так ли дни ведем,
Щербинин, резвый друг забавы,
С Амуром, шалостью, вином,
Покамест молоды и здравы?
Но дни младые пролетят,
Веселье, нега нас покинут,
Желаньям чувства изменят,
Сердца иссохнут и остынут.
Тогда — без песен, без подруг,
Без наслаждений, без желаний,
Найдем отраду, милый друг,
В туманном сне воспоминаний!
Тогда, качая головой,
Скажу тебе у двери гроба:
«Ты помнишь Фанни, милый мой?» —
И тихо улыбнемся оба.

1819

ДЕРЕВНЯ

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льется дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья.

Я твой: я променял порочный двор цирцей,
Роскошные пиры, забавы, заблужденья
На мирный шум дубров, на тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья.

Я твой: люблю сей темный сад
С его прохладой и цветами,
Сей луг, уставленный душистыми скирдами,
Где светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины,
Где парус рыбаря белеет иногда,
За ними ряд холмов и нивы полосаты,
Вдали рассыпанные хаты,
На влажных берегах бродящие стада,
Овины дымные и мельницы крилаты;
Везде следы довольства и труда...

Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе
И не завидовать судьбе
Злодея иль глупца — в величии неправом.

Оракулы веков, здесь вопрошаю вас!
В уединенье величавом
Слышнее ваш отрадный глас.
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождает жар во мне,
И ваши творческие думы
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает:
Среди цветущих нив и гор
Друг человечества печально замечает
Везде невежества убийственный позор.
Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь *барство* дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца.

Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить
Дворовые толпы измученных рабов.
О, если б голос мой умел сердца тревожить!
Почто в груди моей горит бесплодный жар
И не дан мне судьбой витийства грозный дар?
Увижу ль, о друзья! народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

1819

ДОМОВОМУ

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес, и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель!
Да не вредят полям опасный хлад дождей
И ветра поздного осенние набеги;
Да в пору благотворны снеги
Покроют влажный тук полей!
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полунощного вора
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
Ходи вокруг его заботливым дозором,
Люби мой малый сад, и берег сонных вод,
И сей укромный огород
С калиткой ветхою, с обрушенным забором!
Люби зеленый скат холмов,
Луга, измятые моей бродящей ленью,
Прохладу лип и кленов шумный кров —
Они знакомы вдохновенью.

1819

РУСАЛКА

Над озером, в глухих дубровах,
Спасался некогда монах,
Всегда в занятиях суровых,
В посте, молитве и трудах.
Уже лопаткою смиренной
Себе могилу старец рыл —
И лишь о смерти вожделенной
Святых угодников молил.

Однажды летом у порогу
Поникшей хижины своей
Анахорет молился богу.
Дубравы делались черней;
Туман над озером дымился,
И красный месяц в облаках
Тихонько по небу катился.
На воды стал глядеть монах.

Глядит, невольно страха полный;
Не может сам себя понять...
И видит: закипели волны
И присмирели вдруг опять...
И вдруг... легка, как тень ночная,
Бела, как ранний снег холмов,
Выходит женщина нагая
И молча села у брегов.

Глядит на старого монаха
И чешет влажные власы.
Святой монах дрожит со страха
И смотрит на ее красы.
Она манит его рукою,
Кивает быстро головой...
И вдруг — падучею звездою —
Под сонной скрылася волной.

Всю ночь не спал старик угрюмый
И не молился целый день —
Перед собой с невольной думой
Все видел чудной девы тень.
Дубравы вновь оделись тьмою;
Пошла по облакам луна,
И снова дева над водою
Сидит, прелестна и бледна.

Глядит, кивает головою,
Целует издали шутя,
Играет, плещется волною,
Хохочет, плачет, как дитя,
Зовет монаха, нежно стонет...
«Монах, монах! Ко мне, ко мне!..»
И вдруг в волнах прозрачных тонет;
И все в глубокой тишине.

На третий день отшельник страстный
Близ очарованных брегов
Сидел и девы ждал прекрасной,
А тень ложилась средь дубров...
Заря прогнала тьму ночную:
Монаха не нашли нигде,
И только бороду седую
Мальчишки видели в воде.

1819

НЕДОКОНЧЕННАЯ КАРТИНА

Чья мысль восторгом угадала,
Постигла тайну красоты?
Чья кисть, о небо, означала
Сии небесные черты?

Ты, гений!.. Но любви страданья
Его сразили. Взор немой
Вперил он на свое созданье
И гаснет пламенной душой.

1819

УЕДИНЕНИЕ

Блажен, кто в отдаленной сени,
Вдали взыскательных невежд,
Дни делит меж трудов и лени,
Воспоминаний и надежд;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрыт, по милости творца,
От усыпителя глупца,
От пробудителя нахала.

1819

ВЕСЕЛЫЙ ПИР

Я люблю вечерний пир,
Где веселье председатель,
А свобода, мой кумир,
За столом законодатель,
Где до утра слово *пей!*
Заглушает крики песен,
Где просторен круг гостей,
А кружок бутылок тесен.

1819

ВСЕВОЛОЖСКОМУ

Прости, счастливый сын пиров,
Балованный дитя свободы!
Итак, от наших берегов,
От мертвой области рабов,
Капральства, прихотей и моды
Ты скачешь в мирную Москву,
Где наслажденьям знают цену,
Беспечно дремлют наяву
И в жизни любят перемену.
Разнообразной и живой
Москва пленяет пестротой,
Старинной роскошью, пирами,
Невестами, колоколами,
Забавной, легкой суетой,
Невинной прозой и стихами.
Ты там на шумных вечерах
Увидишь важное безделье,
Жеманство в тонких кружевах,
И глупость в золотых очках,
И тяжкой знатности веселье,
И скуку с картами в руках.
Всего минутный наблюдатель,
Ты посмеешься под рукой;
Но вскоре, верный обожатель
Забав и лени золотой,
Держася моего совета
И волю всей душой любя,
Оставишь круг большого света
И жить решишься для себя.

Уже в приюте отдаленном
Я вижу мысленно тебя:
Кипит в бокале опененном
Аи холодная струя;
В густом дыму ленивых трубок,
В халатах, новые друзья
Шумят и пьют! — задорный кубок
Обходит их безумный круг,
И мчится в радостях досуг;
А там египетские девы
Летают, вьются пред тобой;
Я слышу звонкие напевы,
Стон неги, вопли, дикий вой;
Их исступленные движенья,
Огонь неистовых очей
И все, мой друг, в душе твоей
Рождает трепет упоенья...
Но вспомни, милый: здесь одна,
Тебя всечасно ожидая,
Вздыхает пленница младая;
Весь день уныла и томна,
В своей задумчивости сладкой
Тихонько плачет под окном
От грозных аргусов украдкой
И смотрит на пустынный дом,
Где мы так часто пировали
С Кипридой, Вакхом и тобой,
Куда с надеждой и тоской
Ее желанья улетали.
О, скоро ль милого найдут
Ее потупленные взоры,
И пред любовью упадут
Замков ревнивые затворы?

А наш осиротелый круг,
Товарищ, скоро ль оживится?
Когда прискачешь, милый друг?
Душа вослед тебе стремится.
Где б ни был ты, возьми венок
Из рук младого сладострастья
И докажи, что ты знаток
В неведомой науке счастья.

1819

СТАНСЫ ТОЛСТОМУ

Философ ранний, ты бежишь
Пиров и наслаждений жизни,
На игры младости глядишь
С молчаньем хладным укоризны.

Ты милые забавы света
На грусть и скуку променял
И на лампаду Эпиктета
Златой Горациев фиал.

Поверь, мой друг, она придет,
Пора унылых сожалений,
Холодной истины забот
И бесполезных размышлений.

Зевес, балуя смертных чад,
Всем возрастам дает игрушки:
Над сединами не гремят
Безумства резвые гремушки.

Ах, младость не приходит вновь!
Зови же сладкое безделье,
И легкокрылую любовь,
И легкокрылое похмелье!

До капли наслажденье пей,
Живи беспечен, равнодушен!
Мгновенью жизни будь послушен,
Будь молод в юности твоей!

1819

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.

Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуей;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.

Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

1819

ПОСЛАНИЕ К кн. ГОРЧАКОВУ

Питомец мод, большого света друг,
Обычаев блестящий наблюдатель,
Ты мне велишь оставить мирный круг,
Где, красоты беспечный обожатель,
Я провожу незнаемый досуг.
Как ты, мой друг, в неопытные лета,
Опасною прельщенный суетой,
Терял я жизнь, и чувства, и покой;
Но угорел в чаду большого света
И отдохнуть убрался я домой.
И, признаюсь, мне во сто крат милее
Младых повес счастливая семья,
Где ум кипит, где в мыслях волен я,
Где спорю вслух, где чувствую живее,
И где мы все — прекрасного друзья,
Чем вялые, бездушные собранья,
Где ум хранит невольное молчанье,
Где холодом сердца поражены,
Где Бутурлин — невежд законодатель,
Где Шеппипг — царь, а скука — председатель,
Где глупостью единой все равны.
Я помню их, детей самолюбивых,
Злых без ума, без гордости спесивых,
И, разглядев тиранов модных зал,
Чуждаюсь их укоров и похвал!..
Когда в кругу Лаис благочестивых
Затянутый невежда-генерал
Красавицам внимательным и сонным
С трудом острит французский мадригал,
Глядя на всех с нахальством благосклонным,
И все вокруг и дремлют и молчат,
Крутят усы и шпорами бренчат,
Да изредка с улыбкою зевают,—
Тогда, мой друг, забытых шалунов
Свобода, Вакх и музы угощают.

Не слышу я бывало-острых слов,
Политики смешного лепетанья,
Не вижу я изношенных глупцов,
Святых невежд, почетных подлецов
И мистики придворного кривлянья!..
И ты на миг оставь своих вельмож
И тесный круг друзей моих умножь,
О ты, харит любовник своевольный,
Приятный льстец, язвительный болтун,
По-прежнему остряк небогомольный,
По-прежнему философ и шалун.

1819

ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК

Ты прав — несносен Фирс ученый,
Педант надутый и мудреный —
Он важно судит обо всем,
Всего он знает понемногу.
Люблю тебя, сосед Пахом,—
Ты просто глуп, и слава богу.

1819

МАДРИГАЛ М....ОЙ

О вы, которые любовью не горели,
Взгляните на нее — узнаете любовь.
О вы, которые уж сердцем охладели,
Взгляните на нее: полюбите вы вновь.

1819

ДОРИДЕ

Я верю: я любим; для сердца нужно верить.
Нет, милая моя не может лицемерить;
Все непритворно в ней: желаний томный жар,
Стыдливость робкая, харит бесценный дар,
Нарядов и речей приятная небрежность,
И ласковых имен младенческая нежность.

1820

* * *

Мне бой знаком — люблю я звук мечей;
От первых лет поклонник бранной славы,
Люблю войны кровавые забавы,
И смерти мысль мила душе моей.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний не достоин.

1820

Ю Р Ь Е В У

Любимец ветреных Лаис,
Прелестный баловень Киприды —
Умей сносить, мой Адонис,
Ее минутные обиды!
Она дала красы младой
Тебе в удел очарованье,
И черный ус, и взгляд живой,
Любви улыбку и молчанье.
С тебя довольно, милый друг.
Пускай, желаний пылких чуждый,
Ты поцелуями подруг
Не наслаждаешься, что нужды?
В чаду веселий городских,
На легких играх Терпсихоры
К тебе красавиц молодых
Летят задумчивые взоры.
Увы! язык любви немой,
Сей вздох души красноречивый,
Быть должен сладок, милый мой,
Беспечности самолюбивой.
И счастлив ты своей судьбой,
А я, повеса вечно праздный,
Потомок негров безобразный,
Взращенный в дикой простоте,
Любви не ведая страданий,
Я нравлюсь юной красоте
Бесстыдным бешенством желаний;

С невольным пламенем ланит
Украдкой нимфа молодая,
Сама себя не понимая,
На фавна иногда глядит.

1820

* * *

Увы! зачем она блистает
Минутной, нежной красотой?
Она приметпо увядает
Во цвете юности живой...
Увянет! Жизнью молодою
Не долго наслаждаться ей;
Не долго радовать собою
Счастливый круг семьи своей,
Беспечной, милой остротою
Беседы наши оживлять
И тихой, ясною душою
Страдальца душу услаждать...
Спешу в волненье дум тяжелых,
Сокрыв уныние мое,
Наслушаться речей веселых
И наглядеться на нее;
Смотрю на все ее движенья,
Внимаю каждый звук речей,—
И миг единый разлученья
Ужасен для души моей.

1820

К ***

Зачем безвременную скуку
Зловещей думою питать
И неизбежную разлуку
В унынье робком ожидать?
И так уж близок день страданья!
Один, в тиши пустых полей,
Ты будешь звать воспоминанья
Потерянных тобою дней!

Тогда изгнаньем и могилой,
Несчастный! будешь ты готов
Купить хоть слово девы милой,
Хоть легкий шум ее шагов.

1820

* * *

Мне вас не жаль, года весны моей,
Протекшие в мечтах любви напрасной,—
Мне вас не жаль, о таинства ночей,
Воспетые цевницей сладострастной.

Мне вас не жаль, неверные друзья,
Венки пиров и чаши круговые,—
Мне вас не жаль, изменницы младые,—
Задумчивый, забав чуждаюсь я.

Но где же вы, минуты умиленья,
Младых надежд, сердечной тишины?
Где прежний жар и слезы вдохновенья?..
Придите вновь, года моей весны!

1820

* * *

Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Я вижу берег отдаленный,
Земли полуденной волшебные края;
С волненьем и тоской туда стремлюся я,
Воспоминаньем упоенный...
И чувствую: в очах родились слезы вновь;
Душа кипит и замирает;
Мечта знакомая вокруг меня летает;
Я вспомнил прежних лет безумную любовь,
И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило,
Желаний и надежд томительный обман...

Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся под мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей,
Страны, где пламенем страстей
Впервые чувства разгорались,
Где музы нежные мне тайно улыбались,
Где рано в бурях отцвела
Моя потерянная младость,
Где легкокрылая мне изменила радость
И сердце хладное страданью предала.
Искатель новых впечатлений,
Я вас бежал, отечески края;
Я вас бежал, питомцы наслаждений,
Минутной младости минутные друзья;
И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златыя,
И вы забыты мной... Но прежних сердца ран,
Глубоких ран любви, ничто не излечило...
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан...

1820

ДОЧЕРИ КАРАГЕОРГИЯ

Гроза луны, свободы воин,
Покрытый кровию святой,
Чудесный твой отец, преступник и герой,
И ужаса людей, и славы был достоин.
Тебя, младенца, он ласкал
На пламенной груди рукой окровавленной;
Твоей игрушкой был кинжал,
Братоубийством изощренный...
Как часто, возбудив свирепой мести жар,
Он, молча, над твоей невинной колыбелью
Убийства нового обдумывал удар —
И лепет твой внимал, и не был чужд веселью...
Таков был: сумрачный, ужасный до конца.

Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смиренной жизнию пред небом искупила:
С могилы грозной к небесам
Опа, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила.

1820

ЧЕРНАЯ ШАЛЬ

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Когда легковерен и молод я был,
Младую гречанку я страстно любил;

Прелестная дева ласкала меня,
Но скоро я дожил до черного дня.

Однажды я созвал веселых гостей;
Ко мне постучался презренный еврей;

«С тобою пируют (шепнул он) друзья;
Тебе ж изменила гречанка твоя».

Я дал ему злата и проклял его
И верного позвал раба моего.

Мы вышли; я мчался на быстром коне;
И кроткая жалость молчала во мне.

Едва я завидел гречанки порог,
Глаза потемнели, я весь изнемог...

В покой отдаленный вхожу я один...
Неверную деву лобзал армянин.

Невзвидел я света; булат загремел...
Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал
И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моленья... текущую кровь...
Погибла гречанка, погибла любовь!

С главы ее мертвой сняв черную шаль,
Отер я безмолвно кровавую сталь.

Мой раб, как настала вечерняя мгла,
В дунайские волны их бросил тела.

С тех пор не целую прелестных очей,
С тех пор я не знаю веселых ночей.

Гляжу, как безумный, на черную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

1820

НЕРЕИДА

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нереиду.
Сокрытый меж дерев, едва я смел дохнуть:
Над ясной влагою полубогиня грудь
Младую, белую как лебедь, воздымала
И пену из власов струею выжимала.

1820

* * *

Редеет облаков летучая гряда;
Звезда печальная, вечерняя звезда,
Твой луч осеребрил увядшие равнины,
И дремлющий залив, и черных скал вершины;
Люблю твой слабый свет в небесной вышине:
Он думы разбудил, уснувшие во мне.
Я помню твой восход, знакомое светило,
Над мирною страной, где все для сердца мило,
Где стройны тополы в долинах вознеслись,
Где дремлет нежный мирт и темный кипарис,
И сладостно шумят полуденные волны.
Там некогда в горах, сердечной думы полный,
Над морем я влачил задумчивую лепь,
Когда на хижины сходила ночи тень —
И дева юная во мгле тебя искала
И именем своим подругам называла.

1820

К ПОРТРЕТУ ЧААДАЕВА

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Оп в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.

1820

К ПОРТРЕТУ ВЯЗЕМСКОГО

Судьба свои дары явить желала в нем,
В счастливом баловне соединив ошибкой
Богатство, знатный род — с возвышенным умом
И простодушие с язвительной улыбкой.

1820

НА АРАКЧЕЕВА

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? *Преданный без лести,*
<----> грошевой солдат.

1820

* * *

Как брань тебе не надоела?
Расчет короток мой с тобой:
Ну, так! я праздеи, я без дела,
А ты бездельник деловой.

1820

ЗЕМЛЯ И МОРЕ

Когда по синеве морей
Зефир скользит и тихо веет
В ветрила гордых кораблей
И челны на волнах лелеет;
Забот и дум слагая груз,
Тогда ленюсь я веселее —
И забываю песни муз:
Мне моря сладкий шум милее.
Когда же волны по брегам
Ревут, кипят и пеной плещут,
И гром гремит по небесам,
И молнии во мраке блещут,—
Я удаляюсь от морей
В гостеприимные дубровы;
Земля мне кажется верней,
И жалок мне рыбак суровый:
Живет на утлом он челне,
Игралище слепой пучины.
А я в надежной тишине
Внимаю шум ручья долины.

1821

МУЗА

В младенчестве моем она меня любила
И семиствольную цевницу мне вручила.
Она внимала мне с улыбкой — и слегка,
По звонким скважинам пустого тростника,
Уже наигрывал я слабыми перстами
И гимны важные, внушенные богами,
И песни мирные фригийских пастухов.
С утра до вечера в немой тени дубов
Прилежно я внимал урокам девы тайной,
И, радуя меня наградою случайной,
Откинув локоны от милого чела,
Сама из рук моих свирель она брала.
Тростник был оживлен божественным дыханьем
И сердце наполнял святым очарованьем.

1821

* * *

Я пережил свои желанья,
Я разлюбил свои мечты;
Остались мне одни страданья,
Плоды сердечной пустоты.

Под бурями судьбы жестокой
Увял цветущий мой венец —
Живу печальный, одинокой,
И жду: придет ли мой конец?

Так, поздним хладом пораженный,
Как бури слышен зимний свист,
Один — на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..

1821

ВОЙНА

Война! Подъяты наконец,
Шумят знамена бранной чести!
Увижу кровь, увижу праздник мести;
Засвищет вкруг меня губительный свинец.
И сколько сильных впечатлений
Для жаждущей души моей!
Стремленье бурных ополчений,
Тревоги стана, звук мечей,
И в роковом огне сражений
Паденье ратных и вождей!
Предметы гордых песнопений
Разбудят мой уснувший гений! —
Все ново будет мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушки, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.
Родишься ль ты во мне, слепая славы страсть,
Ты, жажда гибели, свирепый жар героев?
Венок ли мне двойной достанется на часть,
Кончину ль темную судил мне жребий боев?
И все умрет со мной: надежды юных дней,
Священный сердца жар, к высокому стремленье,
Воспоминание и брата и друзей,

И мыслей творческих напрасное волненье,
И ты, и ты, любовь!.. Ужель ни бранный шум,
Ни ратные труды, ни ропот гордой славы,
Ничто не заглушит моих привычных дум?
Я таю, жертва злой отравы:
Покой бежит меня, нет власти над собой,
И тягостная лень душою овладела...
Что ж медлит ужас боевой?
Что ж битва первая еще не закипела?

1821

ИЗ ПИСЬМА К ГНЕДИЧУ

В стране, где Юлией венчанный
И хитрым Августом изгнанный
Овидий мрачны дни влачил,
Где элегическую лиру
Глухому своему кумиру
Он малодушно посвятил,
Далече северной столицы
Забыл я вечный ваш туман,
И вольный глас моей цевницы
Тревожит сонных молдаван.
Все тот же я — как был и прежде;
С поклоном не хожу к невежде,
С Орловым спорю, мало пью,
Октавию — в слепой надежде —
Молебнов лести не пою.
И дружбе легкие посланья
Пишу без строгого старанья.
Ты, коему судьба дала
И смелый ум и дух высокой,
И важным песням обрекла,
Отраде жизни одинокой;
О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый,
Гомера музу нам явил
И смелую певицу славы
От звонких уз освободил,—
Твой глас достиг уединенья,
Где я сокрылся от гоненья
Ханжи и гордого глупца,

И вновь он оживил певца,
Как сладкий голос вдохновенья.
Избранник Феба! твой привет,
Твои хвалы мне драгоценны;
Для муз и дружбы жив поэт.
Его враги ему презренны —
Он музу битвой площадной
Не унижает пред народом;
И поучительной лозой
Зоила хлещет — мимоходом.

1821

КИНЖАЛ

Лемносский бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды.

Где Зевса гром молчит, где дремлет меч закона,
Свершитель ты проклятий и надежд,
Ты кроешься под сенью трона,
Под блеском праздничных одежд.

Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет,
И, озираясь, он трепещет
Среди своих пиров.

Везде его найдет удар нежданный твой:
На суше, на морях, во храме, под шатрами,
За потаенными замками,
На ложе сна, в семье родной.

Шумит под Кесарем заветный Рубикон,
Державный Рим упал, главой поник закон;
Но Брут восстал вольнолюбивый:
Ты Кесаря сразил — и, мертв, объемлет он
Помпея мрамор горделивый.

Исчадье мятежей подъемлет злобный крик:
Презренный, мрачный и кровавый.
Над трупом вольности безглавой
Палач уродливый возник.

Апостол гибели, усталому Аиду
Перстом он жертвы назначал,
Но вышний суд ему послал
Тебя и деву Эвмениду.

О юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе;
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.

В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

1821

В. Л. ДАВЫДОВУ

Меж тем как генерал Орлов —
Обритый рекрут Гименея —
Священной страстью пламенея,
Под меру подойти готов;
Меж тем как ты, проказник умный,
Проводишь ночь в беседе шумной,
И за бутылками аи
Сидят Раевские мои,
Когда везде весна младая
С улыбкой распустила грязь,
И с горя на брегах Дуная
Бунтует наш безрукий князь...
Тебя, Раевских и Орлова,
И память Каменки любя,—
Хочу сказать тебе два слова
Про Кишинев и про себя.

На этих днях, среди собора,
Митрополит, седой обжора,
Перед обедом невзначай
Велел жить долго всей России
И с сыном птички и Марии
Пошел христосоваться в рай...
Я стал умен, я лицемерю —
Пощусь, молюсь и твердо верю,
Что бог простит мои грехи,
Как государь мои стихи.

Говеет Инзов, и намедни
Я променял парнасски бредни
И лиру, грешный дар судьбы,
На часослов и на обедни,
Да на сушеные грибы.
Однако ж гордый мой рассудок
Мое раскаянье бранит,
А мой ненабожный желудок
«Помилуй, братец,— говорит,—
Еще когда бы кровь Христова
Была хоть, например, лафит...
Иль кло-д-вужо, тогда б ни слова,
А то — подумай, как смешно! —
С водой молдавское вино».
Но я молюсь — и воздыхаю...
Крещусь, не внемлю сатане...
А все невольно вспоминаю,
Давыдов, о твоем вине...

Вот эвхаристия другая,
Когда и ты, и милый брат,
Перед камином надевая
Демократический халат,
Спасенья чашу наполняли
Беспенной, мерзлою струей
И за здоровье *тех* и *той*
До дна, до капли выпивали!..
Но *те* в Неаполе шалят,
А *та* едва ли там воскреснет...
Народы тишины хотят,
И долго их ярем не треснет.
Ужель надежды луч исчез?
Но нет! — мы счастьем насладимся,
Кровавой чаши причастимся —
И я скажу: Христос воскрес.

1821

ДЕВА

Я говорил тебе: страшися девы милой!
Я знал, она сердца влечет невольной силой.
Неосторожный друг! я знал, нельзя при ней
Иную замечать, иных искать очей.

Надежду потеряв, забыв измены сладость,
Пылает близ нее задумчивая младость;
Любимцы счастия, наперсники судьбы
Смиренно ей несут влюбленные мольбы;
Но дева гордая их чувства ненавидит
И, очи опустив, не внемлет и не видит.

1821

КАТЕНИНУ

Кто мне пришлет ее портрет,
Черты волшебницы прекрасной?
Талантов обожатель страстный,
Я прежде был ее поэт.
С досады, может быть, неправой,
Когда одна в дыму кадил
Красавица блистала славой,
Я свистом гимны заглушил.
Погибни злобы миг единый,
Погибни лиры ложный звук:
Она виновна, милый друг,
Пред Селименой и Мопной.
Так легкомысленной душой,
О боги! смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые припосит.

1821

ЧААДАЕВУ

В стране, где я забыл тревоги прежних лет,
Где прах Овидиев пустынный мой сосед,
Где слава для меня предмет заботы малой,
Тебя недостает душе моей усталой.
Врагу стеснительных условий и оков,
Не трудно было мне отвыкнуть от пиров,
Где праздный ум блестит, тогда как сердце дремлет,
И правду пылкую приличий хлад объемлет,
Оставя шумный круг безумцев молодых,
В изгнании моем я не жалел об них;
Вздохнув, оставил я другие заблужденья,

Врагов моих предал проклятию забвенья,
И, сети разорвав, где бился я в плену,
Для сердца новую вкушаю тишину.
В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.
Богини мира, вновь явились музы мне
И независимым досугам улыбнулись;
Цевницы брошенной уста мои коснулись;
Старинный звук меня обрадовал — и вновь
Пою мои мечты, природу и любовь,
И дружбу верную, и милые предметы,
Пленявшие меня в младенческие леты,
В те дни, когда, еще не знаемый никем,
Не зная ни забот, ни цели, ни систем,
Я пеньем оглашал приют забав и лени
И царскосельские хранительные сени.

Но дружбы нет со мной. Печальный, вижу я
Лазурь чужих небес, полдневные края;
Ни музы, ни труды, ни радости досуга —
Ничто не заменит единственного друга.
Ты был целителем моих душевных сил;
О неизменный друг, тебе я посвятил
И краткий век, уже испытанный судьбою,
И чувства — может быть, спасенные тобою!
Ты сердце знал мое во цвете юных дней;
Ты видел, как потом в волнении страстей
Я тайно изнывал, страдалец утомленный;
В минуту гибели над бездной потаенной
Ты поддержал меня педремлющей рукой;
Ты другу заменил надежду и покой;
Во глубину души вникая строгим взором,
Ты оживлял ее советом иль укором;
Твой жар воспламенял к высокому любовь;
Терпенье смелое во мне рождалось вновь;
Уж голос клеветы не мог меня обидеть,
Умел я презирать, умея ненавидеть.
Что нужды было мне в торжественном суде
Холопа знатного, невежды при звезде,

Или философа, который в прежни лета
Развратом изумил четыре части света,
Но, просветив себя, загладил свой позор:
Отвыкнул от вина и стал картежный вор?
Оратор Лужников, никем не замечаем,
Мне мало досаждал своим безвредным лаем.
Мне ль было сетовать о толках шалунов,
О лепетанье дам, зоилов и глупцов
И сплетней разбирать игривую затею,
Когда гордиться мог я дружбою твоею?
Благодарю богов: прешел я мрачный путь;
Печали ранние мою теснили грудь;
К печалям я привык, расчелся я с судьбою
И жизнь перенесу стоической душою.

Одно желание: останься ты со мной!
Небес я не томил молитвою другой.
О скоро ли, мой друг, настанет срок разлуки?
Когда соединим слова любви и руки?
Когда услышу я сердечный твой привет?..
Как обниму тебя! Увижу кабинет,
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель
И ветреной толпы бесстрастный наблюдатель.
Приду, приду я вновь, мой милый домосед,
С тобою вспоминать беседы прежних лет,
Младые вечера, пророческие споры,
Знакомых мертвецов живые разговоры;
Поспорим, перечтем, посудим, побраним,
Вольнолюбивые надежды оживим,
И счастлив буду я; но только, ради бога,
Гони ты Шеппинга от нашего порога.

1821

К МОЕЙ ЧЕРНИЛЬНИЦЕ

Подруга думы праздной,
Чернильница моя;
Мой век разнообразный
Тобой украсил я.
Как часто друг веселья
С тобою забывал

Условный час похмелья
И праздничный бокал;
Под сенью хаты скромной,
В часы печали томной
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
И музу призывал
На пир воображенья.
Прозрачный, легкий дым
Носился над тобою,
И с трепетом живым
В нем быстрой чередою

. . . . . .

Сокровища мои
На дне твоем таятся.
Тебя я посвятил
Занятиям досуга
И с ленью примирил:
Она твоя подруга.
С тобой успех узнал
Отшельник неизвестный...
Заветный твой кристалл
Хранит огонь небесный;
И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без вялого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов
И верность выраженья;
То звуков или слов
Нежданное стеченье,
То едкой шутки соль,
То правды слог суровый,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль.
С глупцов сорвав одежду,
Я весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном твоих чернил...
Но их не разводил
Ни тайной злости пеной,
Ни ядом клеветы.

И сердца простоты
Ни лестью, ни изменой
Не замарала ты.

Но здесь, на лоне лени,
Я слышу нежны пени
Заботливых друзей...
Ужели их забуду,
Друзей души моей,
И им неверен буду?
Оставь, оставь порой
Привычные затеи,
И дактил, и хореи
Для прозы почтовой.
Минуты хладной скуки,
Сердечной пустоты,
Уныние разлуки,
Всегдашние мечты,
Мои надежды, чувства
Без лести, без искусства
Бумаге передай...
Болтливостью небрежной,
И ветреной, и нежной
Их сердце утешай...

Беспечный сын природы,
Пока златые годы
В забвенье трачу я,
Со мною неразлучно
Живи благополучно,
Наперсница моя.

Когда же берег ада
Навек меня возьмет,
Когда навек уснет
Перо, моя отрада,
И ты, в углу пустом
Осиротев, остынешь
И навсегда покинешь
Поэта тихий дом...
Чадаев, друг мой милый,
Тебя возьмет, унылый;
Последний будь привет
Любимцу прежних лет.

Иссохшая, пустая,
Меж двух его картин
Останься век немая,
Укрась его камин.
Взыскательного света
Очей не привлекай,
Но верного поэта
Друзьям напоминай.

1821

* * *

Кто видел край, где роскошью природы
Оживлены дубравы и луга,
Где весело шумят и блещут воды
И мирные ласкают берега,
Где на холмы под лавровые своды
Не смеют лечь угрюмые снега?
Скажите мне: кто видел край прелестный,
Где я любил, изгнанник неизвестный?

Златой предел! любимый край Эльвины,
К тебе летят желания мои!
Я помню скал прибрежные стремнины,
Я помню вод веселые струи,
И тень, и шум, и красные долины,
Где в тишине простых татар семьи
Среди забот и с дружбою взаимной
Под кровлею живут гостеприимной.

Все живо там, все там очей отрада,
Сады татар, селенья, города;
Отражена волнами скал громада,
В морской дали теряются суда,
Янтарь висит на лозах винограда;
В лугах шумят бродящие стада...
И зрит пловец — могила Митридата
Озарена сиянием заката.
И там, где мирт шумит над падшей урной,
Увижу ль вновь сквозь темные леса
И своды скал, и моря блеск лазурный,
И ясные, как радость, небеса?

Утихнет ли волненье жизни бурной?
Минувших лет воскреснет ли краса?
Приду ли вновь под сладостные тени
Душой уснуть на лоне мирной лени?

1821

ДИОНЕЯ

Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз
Украдкою вдвоем мы замечали вас;
Ты слушаешь его, в безмолвии краснея;
Твой взор потупленный желанием горит,
И долго после, Дионея,
Улыбку нежную лицо твое хранит.

1821

* * *

Умолкну скоро я!.. Но если в день печали
Задумчивой игрой мне струны отвечали;
Но если юноши, внимая молча мне,
Дивились долгому любви моей мученью;
Но если ты сама, предавшись умиленью,
Печальные стихи твердила в тишине
И сердца моего язык любила страстный...
Но если я любим... позволь, о милый друг,
Позволь одушевить прощальный лиры звук
Заветным именем любовницы прекрасной!..
Когда меня навек обымет смертный сон,
Над урною моей промолви с умиленьем:
Он мною был любим, он мне был одолжен
И песен и любви последним вдохновеньем.

1821

* * *

Мой друг, забыты мной следы минувших лет
И младости моей мятежное теченье.
Не спрашивай меня о том, чего уж нет,
Что было мне дано в печаль и в наслажденье,
Что я любил, что изменило мне.
Пускай я радости вкушаю не вполне;
Но ты, невинная! ты рождена для счастья.

Е. К. Воронцова.
Гравюра К. Тернера с оригинала Д. Доу.
1829 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

Беспечно верь ему, летучий миг лови:
Душа твоя жива для дружбы, для любви,
Для поцелуев сладострастья;
Душа твоя чиста; унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть.
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Она твой тихий ум невольно возмутит;
Ты слезы будешь лить, ты сердцем содрогнешься;
Доверчивой души беспечность улетит,
И ты моей любви... быть может, ужаснешься.
Быть может, навсегда... Нет, милая моя,
Лишиться я боюсь последних наслаждений.
Не требуй от меня опасных откровений:
Сегодня я люблю, сегодня счастлив я.

1821

НАПОЛЕОН

Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек.
В неволе мрачной закатился
Наполеона грозный век.
Исчез властитель осужденный,
Могучий баловень побед,
И для изгнанника вселенной
Уже потомство настает.

О ты, чьей памятью кровавой
Мир долго, долго будет полн,
Приосенен твоею славой,
Почий среди пустынных волн...
Великолепная могила!
Над урной, где твой прах лежит,
Народов ненависть почила
И луч бессмертия горит.

Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упадали
При громах силы роковой;

Послушны воле своенравной,
Бедой шумели знамена,
И налагал ярем державный
Ты на земные племена?

Когда надеждой озаренный
От рабства пробудился мир,
И галл десницей разъяренной
Низвергнул ветхий свой кумир;
Когда на площади мятежной
Во прахе царский труп лежал,
И день великий, неизбежный —
Свободы яркий день вставал,—

Тогда в волненье бурь народных
Предвидя чудный свой удел,
В его надеждах благородных
Ты человечество презрел.
В свое погибельное счастье
Ты дерзкой веровал душой,
Тебя пленяло самовластье
Разочарованной красой.

И обновленного народа
Ты буйность юную смирил,
Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил;
Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил,
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил.

И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор.
Ты вел мечи на пир обильный;
Все пало с шумом пред тобой:
Европа гибла — сон могильный
Носился над ее главой.

И се, в величии постыдном
Ступил на грудь ее колосс.
Тильзит!.. (при звуке сем обидном
Теперь не побледнеет росс) —

Тильзит надменного героя
Последней славою венчал,
Но скучный мир, но хлад покоя
Счастливца душу волновал.

Надменный! кто тебя подвигнул?
Кто обуял твой дивный ум?
Как сердца русских не постигнул
Ты с высоты отважных дум?
Великодушного пожара
Не предузнав, уж ты мечтал,
Что мира вновь мы ждем, как дара;
Но поздно русских разгадал...

Россия, бранная царица,
Воспомни древние права!
Померкни, солнце Австерлица!
Пылай, великая Москва!
Настали времена другие,
Исчезни, краткий наш позор!
Благослови Москву, Россия!
Война по гроб — наш договор!

Оцепенелыми руками
Схватив железный свой венец,
Он бездну видит пред очами,
Он гибнет, гибнет наконец.
Бежат Европы ополченья!
Окровавленные снега
Провозгласили их падепье,
И тает с ними след врага.

И все, как буря, закипело;
Европа свой расторгла плен;
Во след тирану полетело,
Как гром, проклятие племен.
И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

Искуплены его стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес.

И знойный остров заточенья
Полнощный парус посетит,
И путник слово примиренья
На оном камне начертит,

Где, устремив на волны очи,
Изгнанник помнил звук мечей,
И льдистый ужас полуночи,
И небо Франции своей;
Где иногда, в своей пустыне
Забыв войну, потомство, трон,
Один, один о милом сыне
В унынье горьком думал он.

Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала! он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

1821

* * *

Гречанка верная! не плачь,— он пал героем,
Свинец врага в его вонзился грудь.
Не плачь — не ты ль сама ему пред первым боем
Назначила кровавый чести путь?
Тогда, тяжелую предчувствуя разлуку,
Супруг тебе простер торжественную руку,
Младенца своего в слезах благословил,
Но знамя черное свободой воспумело.
Как Аристогитон, он миртом меч обвил,
Он в сечу ринулся — и, падши, совершил
Великое, святое дело.

1821

К ОВИДИЮ

Овидий, я живу близ тихих берегов,
Которым изгнанных отеческих богов
Ты некогда принес и пепел свой оставил.
Твой безотрадный плач места сии прославил;
И лиры нежный глас еще не онемел;
Еще твоей молвой наполнен сей предел.
Ты живо впечатлел в моем воображенье
Пустыню мрачную, поэта заточенье,
Туманный свод небес, обычные снега
И краткой теплотой согретые луга.
Как часто, увлечен унылых струн игрою,
Я сердцем следовал, Овидий, за тобою!
Я видел твой корабль игралищем валов
И якорь, верженный близ диких берегов,
Где ждет певца любви жестокая награда.
Там нивы без теней, холмы без винограда;
Рожденные в снегах для ужасов войны,
Там хладной Скифии свирепые сыны,
За Истром утаясь, добычи ожидают
И селам каждый миг набегом угрожают.
Преграды нет для них: в волнах они плывут
И по́ льду звучному бестрепетно идут.
Ты сам (дивись, Назон, дивись судьбе превратной!),
Ты, с юных лет презрев волненье жизни ратной,
Привыкнув розами венчать свои власы
И в неге провождать беспечные часы,
Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый,
И грозный меч хранить близ лиры оробелой.
Ни дочерь, ни жена, ни верный сонм друзей,
Ни музы, легкие подруги прежних дней,
Изгнанного певца не усладят печали.
Напрасно грации стихи твои венчали,
Напрасно юноши их помнят наизусть:
Ни слава, ни лета, ни жалобы, ни грусть,
Ни песни робкие Октавия не тронут;
Дни старости твоей в забвении потонут.
Златой Италии роскошный гражданин,
В отчизне варваров безвестен и один,
Ты звуков родины вокруг себя не слышишь;
Ты в тяжкой горести далекой дружбе пишешь:
«О, возвратите мне священный град отцов
И тени мирные наследственных садов!

О други, Августу мольбы мои несите,
Карающую длань слезами отклоните,
Но если гневный бог досель неумолим
И век мне не видать тебя, великий Рим,—
Последнею мольбой смягчая рок ужасный,
Приближьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!»
Чье сердце хладное, презревшее харит,
Твое уныние и слезы укорит?
Кто в грубой гордости прочтет без умиленья
Сии элегии, последние творенья,
Где ты свой тщетный стон потомству передал?

Суровый славянин, я слез не проливал,
Но понимаю их; изгнанник самовольный,
И светом, и собой, и жизнью недовольный,
С душой задумчивой, я ныне посетил
Страну, где грустный век ты некогда влачил.
Здесь, оживив тобой мечты воображенья,
Я повторил твои, Овидий, песнопенья
И их печальные картины поверял;
Но взор обманутым мечтаньям изменял.
Изгнание твое пленяло втайне очи,
Привыкшие к снегам угрюмой полуночи.
Здесь долго светится небесная лазурь;
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь.
На скифских берегах переселенец новый,
Сын юга, виноград блистает пурпуровый.
Уж пасмурный декабрь на русские луга
Слоями расстилал пушистые снега;
Зима дышала там — а с вешней теплотою
Здесь солнце ясное катилось надо мною;
Младою зеленью пестрел увядший луг;
Свободные поля взрывал уж ранний плуг;
Чуть веял ветерок, под вечер холодея;
Едва прозрачный лед, над озером тускнея,
Кристаллом покрывал недвижные струи.
Я вспомнил опыты несмелые твои,
Сей день, замеченный крылатым вдохновеньем,
Когда ты в первый раз вверял с недоуменьем
Шаги свои волнам, окованным зимой...
И по́ льду новому, казалось, предо мной
Скользила тень твоя, и жалобные звуки
Неслися издали, как томный стон разлуки.

Утешься; не увял Овидиев венец!
Увы, среди толпы затерянный певец,
Безвестен буду я для новых поколений,
И, жертва темная, умрет мой слабый гений
С печальной жизнию, с минутною молвой...
Но если, обо мне потомок поздний мой
Узнав, придет искать в стране сей отдаленной
Близ праха славного мой след уединенный —
Брегов забвения оставя хладну сень,
К нему слетит моя признательная тень,
И будет мило мне его воспоминанье.
Да сохранится же заветное преданье:
Как ты, враждующей покорствуя судьбе,
Не славой — участью я равен был тебе.
Здесь, лирой северной пустыни оглашая,
Скитался я в те дни, как на брега Дуная
Великодушный грек свободу вызывал,
И ни единый друг мне в мире не внимал;
Но чуждые холмы, поля, и рощи сонны,
И музы мирные мне были благосклонны.

1821

ПРИМЕТЫ

Старайся наблюдать различные приметы:
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди, на лоне тихих вод
Плескаясь вечером, окличут твой приход,
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи,
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ревучий
Иль бьющий в окны град — а ранний селянин,
Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услыша бури шум, не выйдет на работу
И погрузится вновь в ленивую дремоту.

1821

КОКЕТКЕ

И вы поверить мне могли,
Как простодушная Аньеса?
В каком романе вы нашли,
Чтоб умер от любви повеса?
Послушайте: вам тридцать лет,
Да, тридцать лет — не многим боле.
Мне за двадцать; я видел свет,
Кружился долго в нем на воле;
Уж клятвы, слезы мне смешны;
Проказы утомить успели;
Вам также с вашей стороны
Измены, верно, надоели;
Остепенясь, мы охладели,
Некстати нам учиться вновь.
Мы знаем: вечная любовь
Живет едва ли три недели.
Сначала были мы друзья,
Но скука, случай, муж ревнивый...
Безумным притворился я,
И притворились вы стыдливой,
Мы поклялись... потом... увы!
Потом забыли клятву нашу;
Клеона полюбили вы,
А я наперсницу Наташу.
Мы разошлись; до этих пор
Все хорошо, благопристойно,
Могли б мы жить без дальних ссор
Опять и дружно и спокойно;
Но нет! сегодня поутру
Вы вдруг в трагическом жару
Седую воскресили древность —
Вы проповедуете вновь
Покойных рыцарей любовь,
Учтивый жар, и грусть, и ревность.
Помилуйте — нет, право нет.
Я не дитя, хоть и поэт.
Когда мы клонимся к закату,
Оставим юный пыл страстей —
Вы старшей дочери своей,
Я своему меньшому брату:

Им можно с жизнию шалить
И слезы впредь себе готовить;
Еще пристало им любить,
А нам уже пора злословить.

1821

АЛЕКСЕЕВУ

Мой милый, как несправедливы
Твои ревнивые мечты:
Я позабыл любви призывы
И плен опасной красоты;
Свободы друг миролюбивый,
В толпе красавиц молодых,
Я, равнодушпый и ленивый,
Своих богов не вижу в них.
Их томный взор, приветный лепет
Уже не властны надо мной.
Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой.
Теперь уж мне влюбиться трудно,
Вздыхать неловко и смешно,
Надежде верить безрассудно,
Мужей обманывать грешно.
Прошел веселый жизни праздник.
Как мой задумчивый проказник,
Как Баратынский, я твержу:
«Нельзя ль найти подруги нежной?
Нельзя ль найти любви надежной?»
И ничего не нахожу.
Оставя счастья призрак ложный,
Без упоительных страстей,
Я стал наперсник осторожный
Моих неопытных друзей.
Когда любовник исступленный,
Тоскуя, плачет предо мной
И для красавицы надменной
Клянется жертвовать собой;
Когда в жару своих желаний
С восторгом изъясняет он
Неясных, темных ожиданий

Обманчивый, но сладкий сон
И, крепко руку сжав у друга,
Клянет ревнивого супруга
Или докучливую мать,—
Его безумным увереньям
И поминутным повтореньям
Люблю с участием внимать;
Я льщу слепой его надежде,
Я молод юностью чужой
И говорю: так было прежде
Во время оно и со мной.

1821

ДЕСЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ

Добра чужого не желать
Ты, боже, мне повелеваешь;
Но меру сил моих ты знаешь —
Мне ль нежным чувством управлять?
Обидеть друга не желаю,
И не хочу его села,
Не нужно мне его вола,
На все спокойно я взираю:
Ни дом его, ни скот, ни раб,
Не лестна мне вся благостыня.
Но ежели его рабыня
Прелестна... Господи! я слаб!
И ежели его подруга
Мила, как ангел во плоти,—
О боже праведный! прости
Мне зависть ко блаженству друга.
Кто сердцем мог повелевать?
Кто раб усилий бесполезных?
Как можно не любить любезных?
Как райских благ не пожелать?
Смотрю, томлюся и вздыхаю,
Но строгий долг умею чтить,
Страшусь желаньям сердца льстить,
Молчу... и втайне я страдаю.

1821

* * *

«Хоть, впрочем, он поэт изрядный,
Эмилий человек *пустой*».
— «Да ты чем *полон*, шут нарядный?
А, понимаю: сам собой;
Ты полон дряни, милый мой!»

1821

БАРАТЫНСКОМУ

Из Бессарабии

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна.
Еще доныне тень Назона
Дунайских ищет берегов;
Она летит на сладкий зов
Питомцев муз и Аполлона,
И с нею часто при луне
Брожу вдоль берега крутого;
Но, друг, обнять милее мне
В тебе Овидия живого.

1822

ДРУЗЬЯМ

Вчера был день разлуки шумной,
Вчера был Вакха буйный пир,
При кликах юности безумной,
При громе чаш, при звуке лир.

Так! Музы вас благословили,
Венками свыше осеня,
Когда вы, други, отличили
Почетной чашею меня.

Честолюбивой позолотой
Не ослепляя наших глаз,
Она не суетной работой,
Не резьбою пленяла нас;

Но тем одним лишь отличалась,
Что, жажду скифскую поя,
Бутылка полная вливалась
В ее широкие края.

Я пил — и думою сердечной
Во дни минувшие летал
И горе жизни скоротечной,
И сны любви воспоминал;

Меня смешила их измена:
И скорбь исчезла предо мной,
Как исчезает в чашах пена
Под зашипевшею струей.

1822

ПЕСНЬ О ВЕЩЕМ ОЛЕГЕ

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хозарам,
Их селы и нивы за буйный набег
Обрек он мечам и пожарам;
С дружиной своей, в цареградской броне,
Князь по полю едет на верном коне.

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег.

«Скажи мне, кудесник, любимец богов,
Что сбудется в жизни со мною?
И скоро ль, на радость соседей-врагов,
Могильной засыплюсь землею?
Открой мне всю правду, не бойся меня:
В награду любого возьмешь ты коня».

«Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен;
Правдив и свободен их вещий язык
И с волей небесною дружен.
Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий на светлом челе.

Запомни же ныне ты слово мое:
Воителю слава — отрада;
Победой прославлено имя твое;
Твой щит на вратах Цареграда;
И волны и суша покорны тебе;
Завидует недруг столь дивной судьбе.

И синего моря обманчивый вал
В часы роковой непогоды,
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал
Щадят победителя годы...
Под грозной броней ты не ведаешь ран;
Незримый хранитель могущему дан.

Твой конь не боится опасных трудов;
Он, чуя господскую волю,
То смирный стоит под стрелами врагов,
То мчится по бранному полю.
И холод и сеча ему ничего...
Но примешь ты смерть от коня своего».

Олег усмехнулся — однако чело
И взор омрачился думой.
В молчанье, рукой опершись на седло,
С коня он слезает угрюмый;
И верного друга прощальной рукой
И гладит и треплет по шее крутой.

«Прощай, мой товарищ, мой верный слуга,
Расстаться настало нам время;
Теперь отдыхай! уж не ступит нога
В твое позлащенное стремя.
Прощай, утешайся — да помни меня.
Вы, отроки-други, возьмите коня,

Покройте попоной, мохнатым ковром;
В мой луг под уздцы отведите;
Купайте; кормите отборным зерном;
Водой ключевою поите».
И отроки тотчас с конем отошли,
А князю другого коня подвели.

Пирует с дружиною вещий Олег
При звоне веселом стакана.
И кудри их белы, как утренний снег
Над славной главою кургана...
Они поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они...

«А где мой товарищ? — промолвил Олег,—
Скажите, где конь мой ретивый?
Здоров ли? все также ль легóк его бег?
Все тот же ль он бурный, игривый?»
И внемлет ответу: на холме крутом
Давно уж почил непробудным он спом.

Могучий Олег головою поник
И думает: «Что же гаданье?
Кудесник, ты лживый, безумный старик!
Презреть бы твое предсказанье!
Мой конь и доныне носил бы меня».
И хочет увидеть он кости коня.

Вот едет могучий Олег со двора,
С ним Игорь и старые гости,
И видят — на холме, у брега Днепра,
Лежат благородные кости;
Их моют дожди, засыпает их пыль,
И ветер волнует над ними ковыль.

Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокой!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!

Так вот где таилась погибель моя!
Мне смертию кость угрожала!»
Из мертвой главы гробовая змия,
Шипя, между тем выползала;
Как черная лента, вкруг ног обвилась,
И вскрикнул внезапно ужаленный князь.

Ковши круговые, запенясь, шипят
На тризне плачевной Олега;
Князь Игорь и Ольга на холме сидят;
Дружина пирует у брега;
Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.

1822

* * *

Люблю ваш сумрак неизвестный
И ваши тайные цветы,
О вы, поэзии прелестной
Благословенные мечты!
Вы нас уверили, поэты,
Что тени легкою толпой
От берегов холодной Леты
Слетаются на брег земной
И невидимо навещают
Места, где было все милей,
И в сновиденьях утешают
Сердца покинутых друзей;
Они, бессмертие вкушая,
Их поджидают в Элизей,
Как ждет на пир семья родная
Своих замедливших гостей...

Но, может быть, мечты пустые —
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,
Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений,
Тоску любви забуду я?..

1822

ГРЕЧАНКЕ

Ты рождена воспламенять
Воображение поэтов,
Его тревожить и пленять
Любезной живостью приветов,
Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной...
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.
Скажи — когда певец Леилы
В мечтах небесных рисовал
Свой неизменный идеал,
Уж не тебя ль изображал
Поэт мучительный и милый?
Быть может, в дальной стороне,
Под небом Греции священной,
Тебя страдалец вдохновенный
Узнал иль видел, как во сне,
И скрылся образ незабвенный
В его сердечной глубине?
Быть может, лирою счастливой
Тебя волшебник искушал;
Невольный трепет возникал
В твоей груди самолюбивой,
И ты, склонясь к его плечу...
Нет, нет, мой друг, мечты ревнивой
Питать я пламя не хочу;
Мне долго счастье чуждо было,
Мне ново наслаждаться им,
И, тайной грустию томим,
Боюсь: неверно все, что мило.

1822

ИЗ ПИСЬМА К Я. Н. ТОЛСТОМУ

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, златая чаша,
В руках веселых остряков?
Все те же ль вы, друзья веселья,
Друзья Киприды и стихов?

Часы любви, часы похмелья
По-прежнему ль летят на зов
Свободы, лени и безделья?
В изгнанье скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем,
Воображаю, вижу вас:
Вот он, приют гостеприимный,
Приют любви и вольных муз,
Где с ними клятвою взаимной
Скрепили вечный мы союз,
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна;
И разгорались наши споры
От искр, и шуток, и вина.
Вновь слышу, верные поэты,
Ваш очарованный язык...
Налейте мне вина кометы,
Желай мне здравия, калмык!

1822

ПОСЛАНИЕ ЦЕНЗОРУ

Угрюмый сторож муз, гонитель давний мой,
Сегодня рассуждать задумал я с тобой.
Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью ложной,
Цензуру поносить хулой неосторожной;
Что нужно Лондону, то рано для Москвы.
У нас писатели, я знаю, каковы;
Их мыслей не теснит цензурная расправа,
И чистая душа перед тобою права.

Во-первых, искренно я признаюсь тебе,
Нередко о твоей жалею я судьбе:
Людской бессмыслицы присяжный толкователь,
Хвостова, Буниной единственный читатель,
Ты вечно разбирать обязан за грехи
То прозу глупую, то глупые стихи.
Российских авторов нелегкое встревожит:

Кто английский роман с французского преложит,
Тот оду сочинит, потея да кряхтя,
Другой трагедию напишет нам шутя —
До них нам дела нет; а ты читай, бесися,
Зевай, сто раз засни — а после подпишися.

Так, цензор мученик; порой захочет он
Ум чтеньем освежить; Руссо, Вольтер, Бюфон,
Державин, Карамзин манят его желанье,
А должен посвятить бесплодное вниманье
На бредни новые какого-то враля,
Которому досуг петь рощи да поля,
Да связь утратя в них, ищи ее с начала,
Или вымарывай из тощего журнала
Насмешки грубые и площадную брань,
Учтивых остряков затейливую дань.

Но цензор гражданин, и сан его священный:
Он должен ум иметь прямой и просвещенный;
Он сердцем почитать привык алтарь и трон;
Но мнений не теснит и разум терпит он.
Блюститель тишины, приличия и нравов,
Не преступает сам начертанных уставов,
Закону преданный, отечество любя,
Принять ответственность умеет на себя;
Полезной истине пути не заграждает,
Живой поэзии резвиться не мешает.
Он друг писателю, пред знатью не труслив,
Благоразумен, тверд, свободен, справедлив.

А ты, глупец и трус, что делаешь ты с нами?
Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами;
Не понимая нас, мараешь и дерешь;
Ты черным белое по прихоти зовешь;
Сатиру пасквилем, поэзию развратом,
Глас правды мятежом, Куницына Маратом.
Решил, а там поди, хоть на тебя проси.
Скажи: не стыдно ли, что на святой Руси,
Благодаря тебя, не видим книг доселе?
И если говорить задумают о деле,
То, славу русскую и здравый ум любя,
Сам государь велит печатать без тебя.
Остались нам стихи: поэмы, триолеты,
Баллады, басенки, элегии, куплеты,

Досугов и любви невинные мечты,
Воображения минутные цветы.
О варвар! кто из нас, владельцев русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз;
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца *Пиров*, столь чистый, благородный –
Ничто не трогает души твоей холодной.
На все кидаешь ты косой, неверный взгляд.
Подозревая все, во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, нимало не похвальный:
Парнас не монастырь и не гарем печальный,
И право никогда искусный коновал
Излишней пылкости Пегаса не лишал.
Чего боишься ты? поверь мне, чьи забавы —
Осмеивать закон, правительство иль нравы,
Тот не подвергнется взысканью твоему;
Тот не знаком тебе, мы знаем почему —
И рукопись его, не погибая в Лете,
Без подписи твоей разгуливает в свете.
Барков шутливых од тебе не посылал,
Радищев, рабства враг, цензуры избежал,
И Пушкина стихи в печати не бывали;
Что нужды? их и так иные прочитали.
Но ты свое несешь, и в наш премудрый век
Едва ли Шаликов не вредпый человек.
Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты *Наказ* Екатерины?
Прочти, пойми его; увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права, пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной,
Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкип и Христос два равные лица.
Державип, бич вельмож, при звуке грозной лиры
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер истину с улыбкой говорил,
Наперсник Душеньки двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что-то хмуришься; признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они?
Кто ж в этом виноват? перед тобой зерцало:
Дней Александровых прекрасное начало.

Проведай, что в те дни произвела печать.
На поприще ума нельзя нам отступать.
Старинной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать
И в рабстве ползали и люди и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя.
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец...
Исправься ж: будь умней и примирися с нами.

«Все правда,— скажешь ты,— не стану спорить
с вами:
Но можно ль цензору по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно — а я нередко плачу,
Читаю да крещусь, мараю наудачу —
На все есть мода, вкус; бывало, например,
У нас в большой чести Бентам, Руссо, Вольтер,
А нынче и Милот попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети...»

Жена и дети, друг, поверь — большое зло:
От них все скверное у нас произошло.
Но делать нечего; так если невозможно
Тебе скорей домой убраться осторожно
И службою своей ты нужен для царя,
Хоть умного себе возьми секретаря.

1822

ИНОСТРАНКЕ

На языке, тебе невнятном,
Стихи прощальные пишу,
Но в заблуждении приятном
Вниманья твоего прошу:
Мой друг, доколе не увяну,
В разлуке чувство погубя,
Боготворить не перестану
Тебя, мой друг, одну тебя.

На чуждые черты взирая,
Верь только сердцу моему,
Как прежде верила ему,
Его страстей не понимая.

1822

* * *

Наперсница волшебной старины,
Друг вымыслов игривых и печальных,
Тебя я знал во дни моей весны,
Во дни утех и снов первоначальных.
Я ждал тебя; в вечерней тишине
Являлась ты веселою старушкой
И надо мной сидела в шушуне,
В больших очках и с резвою гремушкой.
Ты, детскую качая колыбель,
Мой юный слух напевами пленила
И меж пелен оставила свирель,
Которую сама заворожила.
Младенчество прошло, как легкий сон.
Ты отрока беспечного любила,
Средь важных муз тебя лишь помнил он,
И ты его тихонько посетила;
Но тот ли был твой образ, твой убор?
Как мило ты, как быстро изменилась!
Каким огнем улыбка оживилась!
Каким огнем блеснул приветный взор!
Покров, клубясь волною непослушной,
Чуть осенял твой стан полувоздушный;
Вся в локонах, обвитая венком,
Прелестницы глава благоухала;
Грудь белая под желтым жемчугом
Румянилась и тихо трепетала...

1822

Ф. Н. ГЛИНКЕ

Когда средь оргий жизни шумной
Меня постигнул остракизм,
Увидел я толпы безумной
Презренный, робкий эгоизм.
Без слез оставил я с досадой
Венки пиров и блеск Афин,

Но голос твой мне был отрадой,
Великодушный гражданин!
Пускай судьба определила
Гоненья грозные мне вновь,
Пускай мне дружба изменила,
Как изменяла мне любовь,
В моем изгнанье позабуду
Несправедливость их обид:
Они ничтожны — если буду
Тобой оправдан, Аристид.

1822

АДЕЛИ

Играй, Адель,
Не знай печали;
Хариты, Лель
Тебя венчали
И колыбель
Твою качали;
Твоя весна
Тиха, ясна;
Для наслажденья
Ты рождена;
Час упоенья
Лови, лови!
Младые лета
Отдай любви,
И в шуме света
Люби, Адель,
Мою свирель.

1822

УЗНИК

Сижу за решеткой в темнице сырой.
Вскормленный в неволе орел молодой,
Мой грустный товарищ, махая крылом,
Кровавую пищу клюет под окном,

Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно.
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!

Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Туда, где за тучей белеет гора,
Туда, где синеют морские края,
Туда, где гуляем лишь ветер... да я!..»

1822

ПТИЧКА

В чужбине свято наблюдаю
Родной обычай старины:
На волю птичку выпускаю
При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;
За что на бога мне роптать,
Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!

1823

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,
О ты, певцу дубрав давпо знакомый гений,
Воспоминание, рисуй передо мной
Волшебные места, где я живу душой,
Леса, где я любил, где чувство развивалось,
Где с первой юностью младенчество сливалось
И где, взлелеянный природой и мечтой,
Я знал поэзию, веселость и покой...

Веди, веди меня под липовые сени,
Всегда любезные моей свободной лени,
На берег озера, на тихий скат холмов!..
Да вновь увижу я ковры густых лугов,
И дряхлый пук дерев, и светлую долину,
И злачных берегов знакомую картину,
И в тихом озере, средь блещущих зыбей,
Станицу гордую спокойных лебедей.

1823

* * *

Кто, волны, вас остановил,
Кто оковал ваш бег могучий,
Кто в пруд безмолвный и дремучий
Поток мятежный обратил?
Чей жезл волшебный поразил
Во мне надежду, скорбь и радость
И душу бурную
Дремотой лени усыпил?
Взыграйте, ветры, взройте воды,
Разрушьте гибельный оплот!
Где ты, гроза — символ свободы?
Промчись поверх невольных вод.

1823

НОЧЬ

Мой голос для тебя и ласковый и томный
Тревожит поздное молчанье ночи темной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются, и звуки слышу я:
Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!..

1823

* * *

Завидую тебе, питомец моря смелый,
Под сенью парусов и в бурях поседелый!
Спокойной пристани давно ли ты достиг —
Давно ли тишины вкусил отрадный миг —
И вновь тебя зовут заманчивые волны.
Дай руку — в нас сердца единой страстью полны.
Для неба дальнего, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.

1823

* * *

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тленья убежав, уносит мысли вечны,
И память, и любовь в пучины бесконечны,—
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...

Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно... И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

1823

ДЕМОН

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия —
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,—
Когда возвышенные чувства,
Свобода, слава и любовь
И вдохновенные искусства
Так сильно волновали кровь,—
Часы надежд и наслаждений
Тоской внезапной осеня,
Тогда какой-то злобный гений
Стал тайно навещать меня.
Печальны были наши встречи:
Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.
Неистощимой клеветою
Он провиденье искушал;
Он звал прекрасное мечтою;
Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;
На жизнь насмешливо глядел —
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

1823

* * *

Простишь ли мне ревнивые мечты,
Моей любви безумное волненье?
Ты мне верна: зачем же любишь ты
Всегда пугать мое воображенье?
Окружена поклонников толпой,
Зачем для всех казаться хочешь милой,
И всех дарит надеждою пустой
Твой чудный взор, то нежный, то унылый?
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокой!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмысленный со мною разговор —
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
Но я любим... Наедине со мною
Ты так нежна! Лобзания твои
Так пламенны! Слова твоей любви
Так искренно полны твоей душою!
Тебе смешны мучения мои;
Но я любим, тебя я понимаю.

Мой милый друг, не мучь меня, молю:
Не знаешь ты, как сильно я люблю,
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю.

1823

* * *

Изыде сеятель сеяти семена своя.

Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной
В порабощенные бразды
Бросал живительное семя —
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...

Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

1823

Кн. М. А. ГОЛИЦЫНОЙ

Давно об ней воспоминанье
Ношу в сердечной глубине,
Ее минутное вниманье
Отрадой долго было мне.
Твердил я стих обвороженный,
Мой стих, унынья звук живой,
Так мило ею повторенный,
Замеченный ее душой.
Вновь лире слез и тайной муки
Она с участием вняла —
И ныне ей передала
Свои пленительные звуки...

Довольно! в гордости моей
Я мыслить буду с умиленьем:
Я славой был обязан ей —
А может быть и вдохновеньем.

1823

ТЕЛЕГА ЖИЗНИ

Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везет, не слезет с облучка.

С утра садимся мы в телегу;
Мы рады голову сломать
И, презирая лень и негу,
Кричим: пошел! . . . .

Но в полдень нет уж той отваги;
Порастрясло нас; нам страшней
И косогоры и овраги;
Кричим: полегче, дуралей!

Катит по-прежнему телега;
Под вечер мы привыкли к ней
И, дремля, едем до ночлега —
А время гонит лошадей.

1823

* * *

1

Недвижный страж дремал на царственном пороге,
Владыка севера один в своем чертоге
Безмолвно бодрствовал, и жребии земли
В увенчанной главе стесненные лежали,
Чредою выпадали
И миру тихую неволю в дар несли,—

2

И делу своему владыка сам дивился.
Се благо, думал он, и взор его носился
От Тибровых валов до Вислы и Невы,

От сарскосельских лип до башен Гибралтара:
Все молча ждет удара,
Все пало — под ярем склонились все главы.

3

«Свершилось! — молвил он.— Давно ль народы мира
Паденье славили великого кумира,
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

4

Давно ли ветхая Европа свирепела?
Надеждой новою Германия кипела,
Шаталась Австрия, Неаполь восставал,
За Пиренеями давно ль судьбой народа
Уж правила свобода,
И самовластие лишь север укрывал?

5

Давно ль — и где же вы, зиждители свободы?
Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы,
Волнуйте, мудрецы, безумную толпу —
Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии,
Целуйте жезл России
И вас поправшую железную стопу».

6

Он рек, и некий дух повеял невидимо,
Повеял и затих, и вновь повеял мимо,
Владыку севера мгновенный хлад объял,
На царственный порог вперил, смутясь, он очи —
Раздался бой полночи —
И се внезапный гость в чертог царя предстал.

7

То был сей чудный муж, посланник провиденья,
Свершитель роковой безвестного веленья,
Сей всадник, перед кем склонилися цари,

Мятежной вольности наследник и убийца,
Сей хладный кровопийца,
Сей царь, исчезнувший, как сон, как тень зари.

8

Ни тучной праздности ленивые морщины,
Ни поступь тяжкая, ни ранние седины,
Ни пламя бледное нахмуренных очей
Не обличали в нем изгнанного героя,
Мучением покоя
В морях казненного по манию царей.

9

Нет, чудный взор его, живой, неуловимый,
То вдаль затерянный, то вдруг неотразимый,
Как боевой перун, как молния сверкал;
Во цвете здравия и мужества и мощи,
Владыке полунощи
Владыка запада, грозящий, предстоял.

10

Таков он был, когда в равнинах Австерлица
Дружины севера гнала его десница,
И русский в первый раз пред гибелью бежал,
Таков он был, когда с победным договором,
И с миром, и с позором
Пред юным он царем в Тильзите предстоял.

1824

* * *

Все кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
Произносил я горестные пени.
Все кончено — я слышу твой ответ.
Обманывать себя не стану вновь,
Тебя тоской преследовать не буду,

Прошедшее, быть может, позабуду —
Не для меня сотворена любовь.
Ты молода: душа твоя прекрасна,
И многими любима будешь ты.

1824

ДАВЫДОВУ

Нельзя, мой толстый Аристип:
Хоть я люблю твои беседы,
Твой милый нрав, твой милый хрип,
Твой вкус и жирные обеды,
Но не могу с тобою плыть
К брегам полуденной Тавриды.
Пропу меня не позабыть,
Любимец Вакха и Киприды!
Когда чахоточный отец
Немного тощей Энеиды
Пускался в море наконец,
Ему Гораций, умный льстец,
Прислал торжественную оду,
Где другу Августов певец
Сулил хорошую погоду.
Но льстивых од я не пишу;
Ты не в чахотке, слава богу:
У неба я тебе прошу
Лишь аппетита на дорогу.

1824

ПРОЗЕРПИНА

Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из аида бога мчат.
Вдоль пустынного залива
Прозерпина вслед за ним,
Равнодушна и ревнива,
Потекла путем одним.
Пред богинею колена
Робко юноша склонил.

И богиням льстит измена:
Прозерпине смертный мил.
Ада гордая царица
Взором юношу зовет,
Обняла — и колесница
Уж к аиду их несет;
Мчатся, облаком одеты;
Видят вечные луга,
Элизей и томной Леты
Усыпленные брега.
Там бессмертье, там забвенье,
Там утехам нет конца.
Прозерпина в упоенье,
Без порфиры и венца,
Повинуется желаньям,
Предает его лобзаньям
Сокровенные красы,
В сладострастной неге тонет,
И молчит, и томно стонет...
Но бегут любви часы;
Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат:
Кони бледного Плутона
Быстро мчат его назад.
И Кереры дочь уходит,
И счастливца за собой
Из Элизия выводит
Потаенною тропой;
И счастливец отпирает
Осторожною рукой
Дверь, откуда вылетает
Сновидений ложный рой.

1824

ИЗ ПИСЬМА К ВУЛЬФУ

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.

Лайон, мой курчавый брат
(Не михайловский приказчик),
Привезет нам, право, клад...
Что? — бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи!
Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

1824

К ЯЗЫКОВУ

(Михайловское, 1824)

Издревле сладостный союз
Поэтов меж собой связует:
Они жрецы единых муз;
Единый пламень их волнует;
Друг другу чужды по судьбе,
Они родня по вдохновенью.
Клянусь Овидиевой тенью:
Языков, близок я тебе.
Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой,
И возвратился б, оживленный
Картиной беззаботных дней,
Беседой вольно-вдохновенной
И звучной лирою твоей.
Но злобно мной играет счастье:
Давно без крова я ношусь,
Куда подует самовластье;
Уснув, не знаю где проснусь.
Всегда гоним, теперь в изгнанье
Влачу закованные дни.
Услышь, поэт, мое призванье,
Моих надежд не обмани.
В деревне, где Петра питомец,
Царей, цариц любимый раб
И их забытый однодомец,
Скрывался прадед мой арап,

Где, позабыв Елисаветы
И двор, и пышные обеты,
Под сенью липовых аллей
Он думал в охлажденны леты
О дальней Африке своей,—
Я жду тебя. Тебя со мною
Обнимет в сельском шалаше
Мой брат по крови, по душе,
Шалун, замеченный тобою;
И муз возвышенный пророк,
Наш Дельвиг все для нас оставит,
И наша троица прославит
Изгнанья темный уголок.
Надзор обманем караульный,
Восхвалим вольности дары
И нашей юности разгульной
Пробудим шумные пиры,
Вниманье дружное преклоним
Ко звону рюмок и стихов,
И скуку зимних вечеров
Вином и песнями прогоним.

1824

РАЗГОВОР КНИГОПРОДАВЦА С ПОЭТОМ

Книгопродавец

Стишки для вас одна забава,
Немножко стоит вам присесть,
Уж разгласить успела слава
Везде приятнейшую весть:
Поэма, говорят, готова,
Плод новый умственных затей.
Итак, решите; жду я слова:
Назначьте сами цену ей.
Стишки любимца муз и граций
Мы вмиг рублями заменим
И в пук наличных ассигнаций
Листочки ваши обратим...
О чем вздохнули так глубоко,
Нельзя ль узнать?

Поэт

Я был далеко:
Я время то воспоминал,
Когда, надеждами богатый,
Поэт беспечный, я писал
Из вдохновенья, не из платы.
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
Где я на пир воображенья,
Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимою красой,
Вились, летали надо мной
В часы ночного вдохновенья!..
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, луны блистанье,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом;
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким, пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размеры стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались.
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
Иль ночью моря гул глухой,
Иль шепот речки тихоструйной.
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом,
И музы сладостных даров
Не унижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный.

Книгопродавец

Но слава заменила вам
Мечтанья тайного отрады:
Вы разошлися по рукам,
Меж тем как пыльные громады
Лежалой прозы и стихов
Напрасно ждут себе чтецов
И ветреной ее награды.

Поэт

Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувство воздаянья!
Блажен, кто молча был поэт
И, терном славы не увитый,
Презренной чернию забытый,
Без имени покинул свет!
Обманчивей и снов надежды,
Что слава? шепот ли чтеца?
Гоненье ль низкого невежды?
Иль восхищение глупца?

Книгопродавец

Лорд Байрон был того же мненья;
Жуковский то же говорил;
Но свет узнал и раскупил
Их сладкозвучные творенья.
И впрям, завиден ваш удел:
Поэт казнит, поэт венчает;
Злодеев громом вечных стрел
В потомстве дальном поражает;
Героев утешает он;
С Коринной на киферский трон
Свою любовницу возносит.
Хвала для вас докучный звон;
Но сердце женщин славы просит:
Для них пишите; их ушам
Приятна лесть Анакреона:
В младые лета розы нам
Дороже лавров Геликона.

Поэт

Самолюбивые мечты,
Утехи юности безумной!
И я, средь бури жизни шумной,
Искал вниманья красоты.
Глаза прелестные читали
Меня с улыбкою любви;
Уста волшебные шептали
Мне звуки сладкие мои...
Но полно! в жертву им свободы
Мечтатель уж не принесет;
Пускай их юноша поет,
Любезный баловень природы.
Что мне до них? Теперь в глуши
Безмолвно жизнь моя несется;
Стон лиры верной не коснется
Их легкой, ветреной души;
Не чисто в них воображенье:
Не понимает нас оно,
И, признак бога, вдохновенье
Для них и чуждо и смешно.
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?..

Книгопродавец

Люблю ваш гнев. Таков поэт!
Причины ваших огорчений
Мне знать нельзя; но исключений
Для милых дам ужели нет?
Ужели ни одна не стоит
Ни вдохновенья, ни страстей
И ваших песен не присвоит
Всесильной красоте своей?
Молчите вы?

Поэт

Зачем поэту
Тревожить сердца тяжкий сон?

Бесплодно память мучит он.
И что ж? какое дело свету?
Я всем чужой!.. Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
Тоскою ль долгой изнуренный,
Таил я слезы в тишине?
Где та была, которой очи,
Как небо, улыбались мне?
Вся жизнь, одна ли, две ли ночи?
. . . . . .
И что ж? Докучный стон любви,
Слова покажутся мои
Безумца диким лепетаньем.
Там сердце их поймет одно,
И то с печальным содроганьем:
Судьбою так уж решено.
Ах, мысль о той души завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!..
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви!
Увы, напрасные желанья!
Она отвергла заклинанья,
Мольбы, тоску души моей:
Земных восторгов излиянья,
Как божеству, не нужно ей!..

Книгопродавец

Итак, любовью утомленный,
Наскуча лепетом молвы,
Заране отказались вы
От вашей лиры вдохновенной.
Теперь, оставя шумный свет,
И муз, и ветреную моду,
Что ж изберете вы?

Поэт

Свободу.

Книгопродавец

Прекрасно. Вот же вам совет;
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век железный
Без денег и свободы нет.
Что слава? — Яркая заплата
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!
Предвижу ваше возраженье;
Но вас я знаю, господа:
Вам ваше дорого творенье,
Пока на пламени труда
Кипит, бурлит воображенье;
Оно застынет, и тогда
Постыло вам и сочиненье.
Позвольте просто вам сказать:
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать.
Что ж медлить? уж ко мне заходят
Нетерпеливые чтецы;
Вкруг лавки журналисты бродят,
За ними тощие певцы:
Кто просит пищи для сатиры,
Кто для души, кто для пера;
И признаюсь — от вашей лиры
Предвижу много я добра.

Поэт

Вы совершенно правы. Вот вам моя рукопись. Условимся.

1824

К МОРЮ

Прощай, свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой.

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

Моей души предел желанный!
Как часто по брегам твоим
Бродил я тихий и туманный,
Заветным умыслом томим!

Как я любил твои отзывы,
Глухие звуки, бездны глас,
И тишину в вечерний час,
И своенравные порывы!

Смиренный парус рыбарей,
Твоею прихотью хранимый,
Скользит отважно средь зыбей:
Но ты взыграл, неодолимый,
И стая тонет кораблей.

Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтический побег!

Ты ждал, ты звал... я был окован;
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

О чем жалеть? Куда бы ныне
Я путь беспечный устремил?
Один предмет в твоей пустыне
Мою бы душу поразил.

Одна скала, гробница славы...
Там погружались в хладный сон
Воспоминанья величавы:
Там угасал Наполеон.

Там он почил среди мучений.
И вслед за ним, как бури шум,
Другой от нас умчался гений,
Другой властитель наших дум.

Исчез, оплаканный свободой,
Оставя миру свой венец.
Шуми, взволнуйся непогодой:
Он был, о море, твой певец.

Твой образ был на нем означен,
Он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен,
Как ты, ничем неукротим.

Мир опустел... Теперь куда же
Меня б ты вынес, океан?
Судьба земли повсюду та же:
Где капля блага, там на страже
Уж просвещенье иль тиран.

Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.

В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.

1824

КОВАРНОСТЬ

Когда твой друг на глас твоих речей
Ответствует язвительным молчаньем;
Когда свою он от руки твоей,
Как от змеи, отдернет с содроганьем;
Как, на тебя взор острый пригвоздя,
Качает он с презреньем головою,—
Не говори: «Он болен, он дитя,
Он мучится безумною тоскою»;
Не говори: «Неблагодарен он;
Он слаб и зол, он дружбы недостоин;
Вся жизнь его какой-то тяжкий сон»...
Ужель ты прав? Ужели ты спокоен?

Ах, если так, он в прах готов упасть,
Чтоб вымолить у друга примиренье.
Но если ты святую дружбы власть
Употреблял на злобное гоненье;
Но если ты затейливо язвил
Пугливое его воображенье
И гордую забаву находил
В его тоске, рыданьях, униженье;
Но если сам презренной клеветы
Ты про него невидимым был эхом;
Но если цепь ему накинул ты
И сонного врагу предал со смехом,
И он прочел в немой душе твоей
Все тайное своим печальным взором,—
Тогда ступай, не трать пустых речей —
Ты осужден последним приговором.

1824

* * *

О дева-роза, я в оковах;
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живет
И нежно песни ей поет
Во мраке ночи сладострастной.

1824

* * *

Туманский прав, когда так верно вас
Сравнил он с радугой живою:
Вы милы, как она, для глаз
И как она пременчивы душою;
И с розой сходны вы, блеснувшею весной:
Вы так же, как она, пред нами
Цветете пышною красой
И так же колетесь, бог с вами.
Но более всего сравнение с ключом
Мне нравится — я рад ему сердечно:

Да, чисты вы, как он, и сердцем и умом,
И холодней его, конечно.
Сравненья прочие не столько хороши;
Поэт не виноват — сравненья неудобны.
Вы прелестью лица и прелестью души,
К несчастью, бесподобны.

1824

ВИНОГРАД

Не стану я жалеть о розах,
Увядших с легкою весной;
Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,
Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

1824

ФОНТАНУ БАХЧИСАРАЙСКОГО ДВОРЦА

Фонтан любви, фонтан живой!
Принес я в дар тебе две розы.
Люблю немолчный говор твой
И поэтические слезы.

Твоя серебряная пыль
Меня кропит росою хладной:
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль...

Фонтан любви, фонтан печальный!
И я твой мрамор вопрошал:
Хвалу стране прочел я дальной;
Но о Марии ты молчал...

Светило бледное гарема!
И здесь ужель забвенно ты?
Или Мария и Зарема
Одни счастливые мечты?

Иль только сон воображенья
В пустынной мгле нарисовал
Свои минутные виденья,
Души неясный идеал?

1824

* * *

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Вот взошла луна златая,
Тише... чу... гитары звон...
Вот испанка молодая
Оперлася на балкон.

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

Скинь мантилью, ангел милый,
И явись как яркий день!
Сквозь чугунные перилы
Ножку дивную продень!

Ночной зефир
Струит эфир.
Шумит,
Бежит
Гвадалквивир.

1824

* * *

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...

Все мрачную тоску на душу мне наводит.
Далеко, там, луна в сиянии восходит;
Там воздух напоен вечерней теплотой;
Там море движется роскошной пеленой
Под голубыми небесами...
Вот время: по горе теперь идет она
К брегам, потопленным шумящими волнами;
Там, под заветными скалами,
Теперь она сидит печальна и одна...
Одна... никто пред ней не плачет, не тоскует;
Никто ее колен в забвенье не целует;
Одна... ничьим устам она не предает
Ни плеч, ни влажных уст, ни персей белоснежных.
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Никто ее любви небесной не достоин.
Не правда ль: ты одна... ты плачешь... я спокоен;
. . . . . .
Но если . . . . . .

1824

ДРУЖБА

Что дружба? Легкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор,
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

1824

ПОДРАЖАНИЯ КОРАНУ[1]

Посвящено П. А. Осиповой

I

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечом и правой битвой,
Клянуся утренней звездой,
Клянусь вечернею молитвой: [2]

Нет, не покинул я тебя.
Кого же в сень успокоенья
Я ввел, главу его любя,
И скрыл от зоркого гоненья?

Не я ль в день жажды напоил
Тебя пустынными водами?
Не я ль язык твой одарил
Могучей властью над умами?

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

II

О жены чистые пророка,
От всех вы жен отличены:
Страшна для вас и тень порока.
Под сладкой сенью тишины
Живите скромно: вам пристало
Безбрачной девы покрывало.
Храните верные сердца
Для нег законных и стыдливых,
Да взор лукавый нечестивых
Не узрит вашего лица!

А вы, о гости Магомета,
Стекаясь к вечери его,
Брегитесь суетами света
Смутить пророка моего.
В паренье дум благочестивых,
Не любит он велеречивых
И слов нескромных и пустых:
Почтите пир его смиреньем,
И целомудренным склоненьем
Его невольниц молодых [3].

III

Смутясь, нахмурился пророк,
Слепца послышав приближенье: [4]
Бежит, да не дерзнет порок
Ему являть недоуменье.

С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

Почто ж кичится человек?
За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век,
Что слаб умрет, как слаб родился?

За то ль, что бог и умертвит
И воскресит его — по воле?
Что с неба дни его хранит
И в радостях и в горькой доле?

За то ль, что дал ему плоды,
И хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды,
И вертоград, и холм, и ниву?

Но дважды ангел вострубит;
На землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет.

И все пред бога притекут,
Обезображенные страхом;
И нечестивые падут,
Покрыты пламенем и прахом.

IV

С тобою древле, о всесильный,
Могучий состязаться мнил,
Безумной гордостью обильный;
Но ты, господь, его смирил.
Ты рек: я миру жизнь дарую,
Я смертью землю наказую,
На все подъята длань моя.
Я также, рек он, жизнь дарую
И также смертью наказую:
С тобою, боже, равен я.
Но смолкла похвальба порока
От слова гнева твоего:
Подъемлю солнце я с востока;
С заката подыми его!

Земля недвижна — неба своды,
Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды
И не подавят нас собой [5].

Зажег ты солнце во вселенной,
Да светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный,
В лампадном светит хрустале.

Творцу молитесь; он могучий:
Он правит ветром; в знойный день
На небо насылает тучи;
Дает земле древесну сень.

Он милосерд: он Магомету
Открыл сияющий Коран,
Да притечем и мы ко свету,
И да падет с очей туман.

VI

Недаром вы приснились мне
В бою с обритыми главами,
С окровавленными мечами,
Во рвах, на башне, на стене.

Внемлите радостному кличу,
О дети пламенных пустынь!
Ведите в плен младых рабынь,
Делите бранную добычу!

Вы победили: слава вам,
А малодушным посмеянье!
Они на бранное призванье
Не шли, не веря дивным снам.

Прельстясь добычей боевою,
Теперь в раскаянье своем
Рекут: возьмите нас с собою;
Но вы скажите: не возьмем.

Блаженны падшие в сраженье:
Теперь они вошли в эдем
И потонули в наслажденье,
Не отравляемом ничем.

VII

Восстань, боязливый:
В пещере твоей
Святая лампада
До утра горит.
Сердечной молитвой,
Пророк, удали
Печальные мысли,
Лукавые сны!
До утра молитву
Смиренно твори;
Небесную книгу
До утра читай!

VIII

Торгуя совестью пред бледной нищетою,
Не сыпь своих даров расчетливой рукою:
Щедрота полная угодна небесам.
В день грозного суда, подобно ниве тучной,
О сеятель благополучный!
Сторицею воздаст она твоим трудам.

Но если, пожалев трудов земных стяжанья,
Вручая нищему скупое подаянье,
Сжимаешь ты свою завистливую длань,—
Знай: все твои дары, подобно горсти пыльной,
Что с камня моет дождь обильный,
Исчезнут — господом отверженная дань.

IX

И путник усталый на бога роптал:
Он жаждой томился и тени алкал.
В пустыне блуждая три дня и три ночи,
И зноем и пылью тягчимые очи
С тоской безнадежной водил он вокруг,
И кладез под пальмою видит он вдруг.

И к пальме пустынной он бег устремил,
И жадно холодной струей освежил
Горевшие тяжко язык и зеницы,
И лег, и заснул он близ верной ослицы —
И многие годы над ним протекли
По воле владыки небес и земли.

Настал пробужденья для путника час;
Встает он и слышит неведомый глас:
«Давно ли в пустыне заснул ты глубоко?»
И он отвечает: уж солнце высоко
На утреннем небе сияло вчера;
С утра я глубоко проспал до утра.

Но голос: «О путник, ты долее спал;
Взгляни: лег ты молод, а старцем восстал;
Уж пальма истлела, а кладез холодный
Иссяк и засохнул в пустыне безводной,
Давно занесенный песками степей;
И кости белеют ослицы твоей».

И горем объятый мгновенный старик,
Рыдая, дрожащей главою поник...
И чудо в пустыне тогда совершилось:
Минувшее в новой красе оживилось;
Вновь зыблется пальма тенистой главой;
Вновь кладез наполнен прохладой и мглой.

И ветхие кости ослицы встают,
И телом оделись, и рев издают;
И чувствует путник и силу, и радость;
В крови заиграла воскресшая младость;
Святые восторги наполнили грудь:
И с богом он дале пускается в путь.

1824

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] «Нечестивые, пишет Магомет (глава *Награды*), думают, что Коран есть собрание новой лжи и старых басен». Мнение сих *нечестивых,* конечно, справедливо; но, несмотря на сие, многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний. В подлиннике Алла везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице.

[2] В других местах Корана Алла клянется копытами кобылиц, плодами смоковницы, свободою Мекки, добродетелию и пороком, ангелами и человеком и проч. Странный сей реторический оборот встречается в Коране помминутно.

[3] «Мой пророк, прибавляет Алла, вам этого не скажет, ибо он весьма учтив и скромен; но я не имею нужды с вами чиниться» и проч. Ревность араба так и дышит в сих заповедях.

[4] Из книги *Слепец*.

[5] Плохая физика; но зато какая смелая поэзия!

* * *

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает;
На девственных устах улыбка замирает.
Давно твоей иглой узоры и цветы
Не оживлялися. Безмолвно любишь ты
Грустить. О, я знаток в девической печали;
Давно глаза мои в душе твоей читали.
Любви не утаишь: мы любим, и как нас,
Девицы нежные, любовь волнует вас.
Счастливы юноши! Но кто, скажи, меж ими
Красавец молодой с очами голубыми,
С кудрями черными?.. Краснеешь? Я молчу,
Но знаю, знаю все; и если захочу,
То назову его. Не он ли вечно бродит
Вкруг дома твоего и взор к окну возводит?
Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь,
И долго вслед за ним незримая глядишь.
Никто на празднике блистательного мая,
Меж колесницами роскошными летая,
Никто из юношей свободней и смелей
Не властвует конем по прихоти своей.

1824

ЧААДАЕВУ

К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм,
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья;
Здесь успокоена была
Вражда свирепой Эвмениды:
Здесь провозвестница Тавриды
На брата руку занесла;

На сих развалинах свершилось
Святое дружбы торжество,
И душ великих божество
Своим созданьем возгордилось.

. . . . . .

Чадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

1824

АКВИЛОН

Зачем ты, грозный аквилон,
Тростник прибрежный долу клонишь?
Зачем на дальний небосклон
Ты облачко столь гневно гонишь?

Недавно черных туч грядой
Свод неба глухо облекался,
Недавно дуб над высотой
В красе надменной величался...

Но ты поднялся, ты взыграл,
Ты прошумел грозой и славой —
И бурны тучи разогнал,
И дуб низвергнул величавый.

Пускай же солнца ясный лик
Отныне радостью блистает,
И облачком зефир играет,
И тихо зыблется тростник.

1824

* * *

Пускай увенчанный любовью красоты
В заветном золоте хранит ее черты
И письма тайные, награды долгой муки,
Но в тихие часы томительной разлуки
Ничто, ничто моих не радует очей,
И ни единый дар возлюбленной моей,
Святой залог любви, утеха грусти нежной —
Не лечит ран любви безумной, безнадежной.

1824

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ К ЦЕНЗОРУ

На скользком поприще Тимковского наследник!
Позволь обнять себя, мой прежний собеседник.
Недавно, тяжкою цензурой притеснен,
Последних, жалких прав без милости лишен,
Со всею братией гонимый совокупно,
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно,
Потешил дерзости бранчивую свербежь —
Но извини меня: мне было невтерпеж.
Теперь в моей глуши журналы раздирая,
И бедной братии стишонки разбирая
(Теперь же мне читать охота и досуг),
Обрадовался я, по ним заметя вдруг
В тебе и правила, и мыслей образ новый!
Ура! ты заслужил венок себе лавровый
И твердостью души, и смелостью ума.
Как изумилася поэзия сама,
Когда ты разрешил по милости чудесной
Заветные слова *божественный, небесный,*
И ими назвалась (для рифмы) красота,
Не оскорбляя тем уж господа Христа!
Но что же вдруг тебя, скажи, переменило
И нрава твоего кичливость усмирило?
Свои послания хоть очень я люблю,
Хоть знаю, что прочел ты жалобу мою,
Но, подразнив тебя, я переменой сею
Приятно изумлен, гордиться не посмею.

Отнесся я к тебе по долгу моему;
Но мне ль исправить вас? Нет, ведаю, кому
Сей важной новостью обязана Россия.
Обдумав наконец намеренья благие,
Министра честного наш добрый царь избрал,
Шишков наук уже правленье восприял.
Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года;
Один в толпе вельмож он русских муз любил,
Их, незамеченных, созвал, соединил;
Осиротелого венца Екатерины
От хлада наших дней укрыл он лавр единый.
Он с нами сетовал, когда святой отец,
Омара да Гали прияв за образец,
В угодность господу, себе во утешенье,
Усердно задушить старался просвещенье.
Благочестивая, смиренная душа
Карала чистых муз, спасая Бантыша,
И помогал ему Магницкий благородный,
Муж твердый в правилах, душою превосходный,
И даже бедный мой Кавелин-дурачок,
Крститель Галича, Магницкого дьячок.
И вот, за все грехи, в чьи пакостные руки
Вы были вверены, печальные науки!
Цензура! вот кому подвластна ты была!

Но полно: мрачная година протекла,
И ярче уж горит светильник просвещенья.
Я с переменою несчастного правленья
Отставки цензоров, признаться, ожидал,
Но, сам не зная как, ты, видно, устоял.
Итак, я поспешил приятелей поздравить,
А между тем совет на память им оставить.

Будь строг, но будь умен. Не просят у тебя,
Чтоб все законные преграды истребя,
Все мыслить, говорить, печатать безопасно
Ты нашим господам позволил самовластно.
Права свои храни по долгу своему.
Но скромной истине. но мирному уму
И даже глупости невинной и довольной
Не заграждай пути заставой своевольной.
И если ты в плодах досужного пера
Порою не найдешь великого добра,

Когда не видишь в них безумного разврата,
Престолов, алтарей и нравов супостата,
То, славы автору желая от души,
Махни, мой друг, рукой и смело подпиши.

1824

* * *

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

1824

* * *

Не знаю где, но не у нас,
Достопочтенный лорд Мидас,
С душой посредственной и низкой,—
Чтоб не упасть дорогой склизкой,
Ползком прополз в известный чин
И стал известный господин.
Еще два слова об Мидасе:
Он не хранил в своем запасе
Глубоких замыслов и дум;
Имел он не блестящий ум,
Душой не слишком был отважен;
Зато был сух, учтив и важен.
Льстецы героя моего,
Не зная, как хвалить его,
Провозгласить решились тонким...

1824

* * *

Охотник до журнальной драки,
Сей усыпительный зоил
Разводит опиум чернил
Слюнею бешеной собаки.

1824

СОЖЖЕННОЕ ПИСЬМО

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым,
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...

1825

КОЗЛОВУ

Певец, когда перед тобой
Во мгле сокрылся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

О милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им.
Небесным пением своим
Он усыпил земные муки;
Тебе он создал новый мир,
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И вновь живешь, и обнимаешь
Разбитый юности кумир.

А я, коль стих единый мой
Тебе мгновенье дал отрады,
Я не хочу другой награды —

Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира;
О нет! недаром жизнь и лира
Мне были вверены судьбой!

1825

ЖЕЛАНИЕ СЛАВЫ

Когда, любовию и негой упоенный,
Безмолвно пред тобой коленопреклоненный,
Я на тебя глядел и думал: ты моя,—
Ты знаешь, милая, желал ли славы я;
Ты знаешь: удален от ветреного света,
Скучая суетным прозванием поэта,
Устав от долгих бурь, я вовсе не внимал
Жужжанью дальному упреков и похвал.
Могли ль меня молвы тревожить приговоры,
Когда, склонив ко мне томительные взоры
И руку на главу мне тихо наложив,
Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив?
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?
Ты никогда, мой друг, меня не позабудешь?
А я стесненное молчание хранил,
Я наслаждением весь полон был, я мнил,
Что нет грядущего, что грозный день разлуки
Не придет никогда... И что же? Слезы, муки,
Измены, клевета, все на главу мою
Обрушилося вдруг... Что я, где я? Стою,
Как путник, молнией постигнутый в пустыне,
И все передо мной затмилося! И ныне
Я новым для меня желанием томим:
Желаю славы я, чтоб именем моим
Твой слух был поражен всечасно, чтоб ты мною
Окружена была, чтоб громкою молвою
Все, все вокруг тебя звучало обо мне,
Чтоб, гласу верному внимая в тишине,
Ты помнила мои последние моленья
В саду, во тьме ночной, в минуту разлученья.

1825

П. А. ОСИПОВОЙ

Быть может, уж недолго мне
В изгнанье мирном оставаться,
Вздыхать о милой старине
И сельской музе в тишине
Душой беспечной предаваться.

Но и в дали, в краю чужом
Я буду мыслию всегдашней
Бродить Тригорского кругом,
В лугах, у речки, над холмом,
В саду под сенью лип домашней.

Когда померкнет ясный день,
Одна из глубины могильной
Так иногда в родную сень
Летит тоскующая тень
На милых бросить взор умильный.

1825

* * *

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.

Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи,—
Храни меня, мой талисман.

В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.

Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.

1825

АНДРЕЙ ШЕНЬЕ

Посвящено Н. Н. Раевскому

Ainsi, triste et captif, ma lyre toutefois
S'éveillait... [1]

Меж тем, как изумленный мир
На урну Байрона взирает,
И хору европейских лир
Близ Данте тень его внимает,

Зовет меня другая тень,
Давно без песен, без рыданий
С кровавой плахи в дни страданий
Сошедшая в могильну сень.

Певцу любви, дубрав и мира
Несу надгробные цветы.
Звучит незнаемая лира.
Пою. Мне внемлет он и ты.

Подъялась вновь усталая секира
И жертву новую зовет.
Певец готов; задумчивая лира
В последний раз ему поет [1].

---

[1] Так, когда я был печальным и пленным, моя лира все же Пробуждалась... *(франц.)*

Заутра казнь, привычный пир народу;
Но лира юного певца
О чем поет? Поет она свободу:
Не изменилась до конца!

«Приветствую тебя, мое светило!
Я славил твой небесный лик,
Когда он искрою возник,
Когда ты в буре восходило.
Я славил твой священный гром,
Когда он разметал позорную твердыню
И власти древнюю гордыню
Развеял пеплом и стыдом;
Я зрел твоих сынов гражданскую отвагу,
Я слышал братский их обет,
Великодушную присягу
И самовластию бестрепетный ответ.
Я зрел, как их могущи волны
Все ниспровергли, увлекли,
И пламенный трибун предрек, восторга полный,
Перерождение земли.
Уже сиял твой мудрый гений,
Уже в бессмертный Пантеон
Святых изгнанников входили славны тени,
От пелены предрассуждений
Разоблачался ветхий трон;
Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство,
И мы воскликнули: *Блаженство!*
О горе! о безумный сон!
Где вольность и закон? Над нами
Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари. О ужас! о позор!
Но ты, священная свобода,
Богиня чистая, нет,— не виновна ты,
В порывах буйной слепоты,
В презренном бешенстве народа,
Сокрылась ты от нас; целебный твой сосуд
Завешен пеленой кровавой;
Но ты придешь опять со мщением и славой,
И вновь твои враги падут;
Народ, вкусивший раз твой нектар освященный,

Все ищет вновь упиться им;
Как будто Вакхом разъяренный,
Он бродит, жаждою томим;
Так — он найдет тебя. Под сению равенства
В объятиях твоих он сладко отдохнет;
Так буря мрачная минет!
Но я не узрю вас, дни славы, дни блаженства:
Я плахе обречен. Последние часы
Влачу. Заутра казнь. Торжественной рукою
Палач мою главу подымет за власы
Над равнодушною толпою.
Простите, о друзья! Мой бесприютный прах
Не будет почивать в саду, где провождали
Мы дни беспечные в науках и в пирах
И место наших урн заране назначали.
Но, други, если обо мне
Священно вам воспоминанье,
Исполните мое последнее желанье:
Оплачьте, милые, мой жребий в тишине;
Страшитесь возбудить слезами подозренье;
В наш век, вы знаете, и слезы преступленье:
О брате сожалеть не смеет ныне брат.
Еще ж одна мольба: вы слушали стократ
Стихи, летучих дум небрежные созданья,
Разнообразные, заветные преданья
Всей младости моей. Надежды, и мечты,
И слезы, и любовь, друзья, сии листы
Всю жизнь мою хранят. У Авеля, у Фанни [2],
Молю, найдите их; невинной музы дани
Сберите. Строгий свет, надменная молва
Не будут ведать их. Увы, моя глава
Безвременно падет: мой недозрелый гений
Для славы не свершил возвышенных творений;
Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдет, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь, и вашими слезами
Упьюсь... и, может быть, утешен буду я
Любовью; может быть, и *Узница* моя [3],
Уныла и бледна, стихам любви внимая...»

Но, песни нежные мгновенно прерывая,
Младой певец поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Все вместе ожило; и сердце понеслось
Далече... и стихов журчанье излилось:

«Куда, куда завлек меня враждебный гений?
Рожденный для любви, для мирных искушений,
Зачем я покидал безвестной жизни тень,
Свободу и друзей, и сладостную лень?
Судьба лелеяла мою златую младость;
Беспечною рукой меня венчала радость,
И муза чистая делила мой досуг.
На шумных вечерах друзей любимый друг,
Я сладко оглашал и смехом и стихами
Сень, охраненную домашними богами.
Когда ж, вакхической тревогой утомясь
И новым пламенем незапно воспалясь,
Я утром наконец являлся к милой деве
И находил ее в смятении и гневе;
Когда, с угрозами, и слезы на глазах,
Мой проклиная век, утраченный в пирах,
Она меня гнала, бранила и прощала:
Как сладко жизнь моя лилась и утекала!
Зачем от жизни сей, ленивой и простой,
Я кинулся туда, где ужас роковой,
Где страсти дикие, где буйные невежды,
И злоба, и корысть! Куда, мои надежды,
Вы завлекли меня! Что делать было мне,
Мне, верному любви, стихам и тишипе,
На низком поприще с презренными бойцами!
Мне ль было управлять строптивыми конями
И круто напрягать бессильные бразды?
И что ж оставлю я? Забытые следы
Безумной ревности и дерзости ничтожной.
Погибни, голос мой, и ты, о призрак ложный,
Ты, слово, звук пустой...
О нет!
Умолкни, ропот малодушный!
Гордись и радуйся, поэт:
Ты не поник главой послушной
Перед позором наших лет;

Ты презрел мощного злодея;
Твой светоч, грозно пламенея,
Жестоким блеском озарил
Совет правителей бесславных; [4]
Твой бич настигнул их, казнил
Сих палачей самодержавных;
Твой стих свистал по их главам;
Ты звал на них, ты славил Немезиду;
Ты пел Маратовым жрецам
Кинжал и деву-эвмениду!
Когда святой старик от плахи отрывал
Венчанную главу рукой оцепенелой,
Ты смело им обоим руку дал,
И перед вами трепетал
Ареопаг остервенелый.
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь,
Моей главой играй теперь:
Она в твоих когтях. Но слушай, знай, безбожный
Мой крик, мой ярый смех преследует тебя!
Пей нашу кровь, живи, губя:
Ты все пигмей, пигмей ничтожный.
И час придет... и он уж недалек:
Падешь, тиран! Негодованье
Воспрянет наконец. Отечества рыданье
Разбудит утомленный рок.
Теперь иду... пора... но ты ступай за мною;
Я жду тебя».

Так пел восторженный поэт.
И все покоилось. Лампады тихий свет
Бледнел пред утренней зарею,
И утро веяло в темницу. И поэт
К решетке поднял важны взоры...
Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! Надежды нет!
Звучат ключи, замки, запоры.
Зовут... Постой, постой; день только, день один:
И казней нет, и всем свобода,
И жив великий гражданин
Среди великого народа [5].
Не слышат. Шествие безмолвно. Ждет палач.
Но дружба смертный путь поэта очарует [6].
Вот плаха. Он взошел. Он славу именует... [7]
Плачь, муза, плачь!..

1825

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Comme un dernier rayon, comme un dernier zéphyre
Anime le soir d'un beau jour,
Au pied de l'échafaud j'essaie encor ma lyre.

(V. Les derniers vers d'André Chénier.) [1]

[2] *У Авеля, у Фанни.*

Abel, doux confident des mes jeunes mystères (El. I): [2] один из друзей А. Ш.

Fanni, l'une des maîtresses d'An. Ch. Voyez les odes qui lui sont adressées [3].

[3] *И Узница моя.*

V. La jeune Captive (M-lle de Coigny) [4].

[4] Voyes ses ïambes.

Chénier avait mérité la haine des factieux. Il avait célébré Charlotte Corday, flétri Collot d'Herbois, attaqué Robespierre.— On sait que le roi avait demandé à l'Assemblée, par une lettre pleine de calme et de dignité, le droit d'appeler au peuple du jugement qui le condamnait. Cette lettre signée dans la nuit du 17 au 18 janvier est d'André Chénier.

(H. de la Touche.) [5]

[5] Он был казнен 8 термидора, т. е. накануне низвержения Робеспиерра.

[6] На роковой телеге везли на казнь с Ан. Шенье и поэта Руше, его друга. Ils parlèrent de poésie à leurs derniers moments: pour eux après l'amitié c'était la plus belle chose de la terre. Racine fut l'objet de leur entretien et de leur dernière admiration. Ils voulurent réciter ses vers. Ils choisirent la première scène d'Andromaque.

(H. de la Touche.) [6]

[7] На месте казни он ударил себя в голову и сказал: pourtant j'avais quelque chose là [7].

---

[1] Как последний луч, как последнее веяние ветра
Оживляет вечер прекрасного дня,
Так у подножья эшафота я еще пробую свою лиру.
(См. Последние стихи Андрея Шенье) (франц.).

[2] Авель, милый наперсник моих юношеских тайн (Элегия I) *(франц.).*

[3] Фанни, одна из любовниц Андрея Шенье. См. оды, к ней обращенные *(франц.).*

[4] См. Юная Пленница (М-ль де Куаньи) *(франц.).*

[5] См. его ямбы.

Шенье заслужил ненависть мятежников. Он прославлял Шарлотту Корде, клеймил Колло д'Эрбуа, нападал на Робеспьера.— Известно, что король испрашивал у Конвента письмом, исполненным спокойствия и достоинства, права апеллировать к народу на вынесенный ему приговор. Это письмо, подписанное в ночь с 17 на 18 января, составлено Андреем Шенье.

(А. де ла Туш) (франц.).

[6] В свои последние минуты они беседовали о поэзии. Она была для них, после дружбы, прекраснее всего на свете. Предметом их разговора и последнего восхищения был Расин. Они решили читать его стихи. Выбрали они первую сцену Андромахи.

(А. де ла Туш) (франц.).

[7] Все же здесь у меня кое-что было *(франц.).*

К ***

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

1825

ЖЕНИХ

Три дня купеческая дочь
Наташа пропадала;
Она на двор на третью ночь
Без памяти вбежала.
С вопросами отец и мать
К Наташе стали приступать.
Наташа их не слышит,
Дрожит и еле дышит.

Тужила мать, тужил отец,
И долго приступали,
И отступились наконец,
А тайны не узнали.
Наташа стала, как была,
Опять румяна, весела,
Опять пошла с сестрами
Сидеть за воротами.

Раз у тесовых у ворот,
С подружками своими,
Сидела девица — и вот
Промчалась перед ними
Лихая тройка с молодцом.
Конями, крытыми ковром,
В санях он стоя правит,
И гонит всех, и давит.

Он, поровнявшись, поглядел,
Наташа поглядела,
Он вихрем мимо пролетел,
Наташа помертвела.
Стремглав домой она бежит.
«Он! он! узнала! — говорит,—
Он, точно он! держите,
Друзья мои, спасите!»

Печально слушает семья,
Качая головою;
Отец ей: «Милая моя,
Откройся предо мною.
Обидел кто тебя, скажи,
Хоть только след нам укажи».
Наташа плачет снова.
И более ни слова.

Наутро сваха к ним на двор
Нежданная приходит.
Наташу хвалит, разговор
С отцом ее заводит:
«У вас товар, у нас купец;
Собою парень молодец,
И статный, и проворный,
Не вздорный, не зазорный.

Богат, умен, ни перед кем
Не кланяется в пояс,
А как боярин между тем
Живет, не беспокоясь;
А подарит невесте вдруг
И лисью шубу, и жемчуг,
И перстни золотые,
И платья парчевые.

Катаясь, видел он вчера
Ее за воротами;
Не по рукам ли, да с двора,
Да в церковь с образами?»
Она сидит за пирогом,
Да речь ведет обиняком,
А бедная невеста
Себе не видит места.

«Согласен,— говорит отец; —
Ступай благополучно,
Моя Наташа, под венец:
Одной в светелке скучно.
Не век девицей вековать,
Не все косатке распевать,
Пора гнездо устроить,
Чтоб детушек покоить».

Наташа к стенке уперлась
И слово молвить хочет —
Вдруг зарыдала, затряслась,
И плачет и хохочет.
В смятенье сваха к ней бежит,
Водой студеною поит
И льет остаток чаши
На голову Наташи.

Крушится, охает семья.
Опомнилась Наташа
И говорит: «Послушна я,
Святая воля ваша.
Зовите жениха на пир,
Пеките хлебы на весь мир,
На славу мед варите,
Да суд на пир зовите».

«Изволь, Наташа, ангел мой!
Готов тебе в забаву
Я жизнь отдать!» — И пир горой;
Пекут, варят на славу.
Вот гости честные нашли,
За стол невесту повели;
Поют подружки, плачут,
А вот и сани скачут.

Вот и жених — и все за стол.
Звенят, гремят стаканы,
Заздравный ковш кругом пошел;
Все шумно, гости пьяны.

Жених

«А что же, милые друзья,
Невеста красная моя
Не пьет, не ест, не служит:
О чем невеста тужит?»

Невеста жениху в ответ:
«Откроюсь наудачу.
Душе моей покоя нет,
И день и ночь я плачу:
Недобрый сон меня крушит».
Отец ей: «Что ж твой сон гласит?
Скажи нам, что такое,
Дитя мое родное?»

«Мне снилось,— говорит она,—
Запла я в лес дремучий,
И было поздно; чуть луна
Светила из-за тучи;
С тропинки сбилась я: в глуши
Не слышно было ни души,
И сосны лишь да ели
Вершинами шумели.

И вдруг, как будто наяву,
Изба передо мною.
Я к ней, стучу — молчат. Зову —
Ответа нет; с мольбою
Дверь отворила я. Вхожу —

В избе свеча горит; гляжу —
Везде сребро да злато,
Все светло и богато».

Жених

«А чем же худ, скажи, твой сон?
Знать, жить тебе богато».

Невеста

«Постой, сударь, не кончен он.
На серебро, на злато,
На сукна, коврики, парчу,
На новгородскую камчу
Я молча любовалась
И диву дивовалась.

Вдруг слышу крик и конский топ...
Подъехали к крылечку.
Я поскорее дверью хлоп
И спряталась за печку.
Вот слышу много голосов...
Взошли двенадцать молодцов,
И с ними голубица
Красавица девица.

Взошли толпой, не поклонясь,
Икон не замечая;
За стол садятся, не молясь
И шапок не снимая.
На первом месте брат большой,
По праву руку брат меньшой,
По леву голубица
Красавица девица.

Крик, хохот, песни, шум и звон,
Разгульное похмелье...»

Жених

«А чем же худ, скажи, твой сон?
Вещает он веселье».

Невеста

«Постой, сударь, не кончен он.
Идет похмелье, гром и звон,

Пир весело бушует,
Липь девица горюст.

Сидит, молчит, ни ест, ни пьет
И током слезы точит,
А старший брат свой нож берет,
Присвистывая точит;
Глядит на девицу-красу
И вдруг хватает за косу,
Злодей девицу губит,
Ей праву руку рубит».

«Ну это,— говорит жених,—
Прямая небылица!
Но не тужи, твой сон не лих,
Поверь, душа-девица».
Опа глядит ему в лицо.
«А это с чьей руки кольцо?»
Вдруг молвила невеста,
И все привстали с места.

Кольцо катится и звенит,
Жених дрожит бледнея;
Смутились гости.— Суд гласит:
«Держи, вязать злодея!»
Злодей окован, обличен
И скоро смертию казнен.
Прославилась Наташа!
И вся тут песня наша.

1825

* * *

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.

1825

ВАКХИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!
Да здравствуют нежные девы
И юные жены, любившие нас!
Полнее стакан наливайте!
На звонкое дно
В густое вино
Заветные кольца бросайте!
Подымем стаканы, содвинем их разом!
Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

1825

* * *

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.

1825

19 ОКТЯБРЯ

Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле,
Проглянет день как будто поневоле
И скроется за край окружных гор.
Пылай, камин, в моей пустынной келье;
А ты, вино, осенней стужи друг,
Пролей мне в грудь отрадное похмелье,
Минутное забвенье горьких мук.

Печален я: со мною друга нет,
С кем долгую запил бы я разлуку,
Кому бы мог пожать от сердца руку
И пожелать веселых много лет.

Я пью один; вотще воображенье
Вокруг меня товарищей зовет;
Знакомое не слышно приближенье,
И милого душа моя не ждет.

Я пью один, и на брегах Невы
Меня друзья сегодня именуют...
Но многие ль и там из вас пируют?
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж вами нет?

Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскою могилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полунощных морей?
Счастливый путь!.. С лицейского порога
Ты на корабль перешагнул шутя,
И с той поры в морях твоя дорога,
О волн и бурь любимое дитя!

Ты сохранил в блуждающей судьбе
Прекрасных лет первоначальны нравы:
Лицейский шум, лицейские забавы
Средь бурных волн мечталися тебе;
Ты простирал из-за моря нам руку,
Ты нас одних в младой душе носил
И повторял: «На долгую разлуку
Нас тайный рок, быть может, осудил!»

Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он как душа неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз.

Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.

Из края в край преследуем грозой,
Запутанный в сетях судьбы суровой,
Я с трепетом на лоно дружбы новой,
Устав, приник ласкающей главой...
С мольбой моей печальной и мятежной,
С доверчивой надеждой первых лет,
Друзьям иным душой предался нежной;
Но горек был небратский их привет.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада:
Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом опальный,
О Пущин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лицея превратил.

Ты, Горчаков, счастливец с первых дней,
Хвала тебе — фортуны блеск холодный
Не изменил души твоей свободной:
Все тот же ты для чести и друзей.
Нам разный путь судьбой назначен строгой;
Ступая в жизнь, мы быстро разошлись:
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встретились и братски обнялись.

Когда постиг меня судьбины гнев,
Для всех чужой, как сирота бездомный,
Под бурею главой поник я томной
И ждал тебя, вещун пермесских дев,
И ты пришел, сын лени вдохновенный,
О Дельвиг мой: твой голос пробудил
Сердечный жар, так долго усыпленный,
И бодро я судьбу благословил.

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали,
И сладок был их лаской наш удел:

Но я любил уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пел для муз и для души;
Свой дар как жизнь я тратил без вниманья,
Ты гений свой воспитывал в тиши.

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво:
Но юность нам советует лукаво,
И шумные нас радуют мечты...
Опомнимся — но поздно! и уныло
Глядим назад, следов не видя там.
Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?

Пора, пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.

Пора и мне... пируйте, о друзья!
Предчувствую отрадное свиданье;
Запомните ж поэта предсказанье:
Промчится год, и с вами снова я,
Исполнится завет моих мечтаний;
Промчится год, и я явлюся к вам!
О сколько слез и сколько восклицаний,
И сколько чаш, подъятых к небесам!

И первую полней, друзья, полней!
И всю до дна в честь нашего союза!
Благослови, ликующая муза,
Благослови: да здравствует лицей!
Наставникам, хранившим юность нашу,
Всем честию, и мертвым и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Полней, полней! и, сердцем возгоря,
Опять до дна, до капли выпивайте!
Но за кого? о други, угадайте...
Ура, наш царь! так! выпьем за царя.

Он человек! им властвует мгновенье.
Он раб молвы, сомнений и страстей;
Простим ему неправое гоненье:
Он взял Париж, он основал лицей.

Пируйте же, пока еще мы тут!
Увы, наш круг час от часу редеет;
Кто в гробе спит, кто, дальный, сиротеет;
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут;
Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу своему...
Кому ж из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный друг! средь новых поколений
Докучный гость и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...
Пускай же он с отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведет,
Как ныне я, затворник ваш опальный,
Его провел без горя и забот.

1825

* * *

Все в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.

1825

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,

То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завыванье
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?

Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

1825

* * *

Вертоград моей сестры,
Вертоград уединенный;
Чистый ключ у ней с горы
Не бежит запечатленный.
У меня плоды блестят
Наливные, золотые;
У меня бегут, шумят
Воды чистые, живые.

Нард, алой и киннамон
Благовонием богаты:
Лишь повеет аквилон,
И закаплют ароматы.

1825

* * *

В крови горит огонь желанья,
Душа тобой уязвлена,
Лобзай меня: твои лобзанья
Мне слаще мирра и вина.
Склонись ко мне главою нежной,
И да почию безмятежный,
Пока дохнет веселый день
И двигнется ночная тень.

1825

БУРЯ

Ты видел деву на скале
В одежде белой над волнами,
Когда, бушуя в бурной мгле,
Играло море с берегами,
Когда луч молний озарял
Ее всечасно блеском алым
И ветер бился и летал
С ее летучим покрывалом?
Прекрасно море в бурной мгле
И небо в блесках без лазури;
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

1825

С ПОРТУГАЛЬСКОГО

Там звезда зари взошла,
Пышно роза процвела.
Это время нас, бывало,
Друг ко другу призывало.

На постеле пуховой,
Дева сонною рукой
Отирала томны очи,
Удаляя грезы почи.

И являлася она
У дверей иль у окна
Ранней звездочки светлее,
Розы утренней свежее.

Лишь ее завижу я,
Мнилось, легче вкруг меня
Воздух утренний струился;
Я вольнее становился.

Меж овец деревни всей
Я красавицы моей
Знал любимую овечку —
Я водил ее на речку,

На тенистые брега,
На зеленые луга;
Я поил ее, лелеял,
Перед ней цветы я сеял.

Дева издали ко мне
Приближалась в тишине,
Я, прекрасную встречая,
Пел, гитарою бряцая:

«Девы, радости моей,
Нет! на свете нет милей!
Кто посмеет под луною
Спорить в счастии со мною?

Не завидую царям,
Не завидую богам,
Как увижу очи томны,
Тонкий стан и косы темны».

Так певал, бывало, ей,
И красавицы моей
Сердце песнью любовалось;
Но блаженство миновалось.

Где ж красавица моя!
Одинокий плачу я —
Заменили песни нежны
Стон и слезы безнадежны.

1825

* * *

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич!
Не нужно мне гремящей лиры,
Вручи мне Ювеналов бич!
Не подражателям холодным,
Не переводчикам голодным,
Не безответным рифмачам
Готовлю язвы эпиграмм!
Мир вам, несчастные поэты,
Мир вам, журнальные клеврсты,
Мир вам, смиренные глупцы!
А вы, ребята подлецы,—
Вперед! Всю вашу сволочь буду
Я мучить казнию стыда!
Но если же кого забуду,
Прошу напомнить, господа!
О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!

1825

* * *

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь, Риэго, был удавлен.
«Я очень рад,— сказал усердный льстец,–
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риэго был пред Фердинандом грешен,
Согласен я. Но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?

Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

1825

ПРИЯТЕЛЯМ

Враги мои, покамест я ни слова...
И, кажется, мой быстрый гнев угас;
Но из виду не выпускаю вас
И выберу когда-нибудь любого:
Не избежит пронзительных когтей,
Как налечу нежданный, беспощадный.
Так в облаках кружится ястреб жадный
И сторожит индеек и гусей.

1825

СОВЕТ

Поверь: когда слепней и комаров
Вокруг тебя летает рой журнальный,
Не рассуждай, не трать учтивых слов,
Не возражай на писк и шум нахальный:
Ни логикой, ни вкусом, милый друг,
Никак нельзя смирить их род упрямый.
Сердиться грех — но замахнись и вдруг
Прихлопни их проворной эпиграммой.

1825

ПРОЗАИК И ПОЭТ

О чем, прозаик, ты хлопочешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я завострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

1825

ЖИВ, ЖИВ КУРИЛКА!

Как! жив еще Курилка-журналист?
— Живехонек! все так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Все тискает в свой непотребный лист —
И старый вздор, и вздорную новинку.
— Фу! надоел Курилка-журналист!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Курилку моего?
Дай мне совет.— Да... плюнуть на него.

1825

EX UNGUE LEONEM[1]

Недавно я стихами как-то свистнул
И выдал их без подписи моей;
Журнальный шут о них статейку тиснул,
Без подписи ж пустив ее, злодей.
Но что ж? Ни мне, ни площадному шуту
Не удалось прикрыть своих проказ:
Он по когтям узнал меня в минуту,
Я по ушам узнал его как раз.

1825

СОЛОВЕЙ И КУКУШКА

В лесах, во мраке ночи праздной,
Весны певец разнообразный
Урчит, и свищет, и гремит;
Но бестолковая кукушка,
Самолюбивая болтушка,
Одно куку свое твердит,
И эхо вслед за нею то же.
Накуковали нам тоску!
Хоть убежать. Избавь нас, боже,
От элегических куку!

1825

---

[1] По когтям льва (узнают) *(лат.)*.

ДВИЖЕНИЕ

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.

1825

* * *

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

1825

* * *

От многоречия отрекшись добровольно,
В собранье полном слов не вижу пользы я;
Для счастия души, поверьте мне, друзья,
Иль слишком мало всех, иль одного довольно.

1825

* * *

Нет ни в чем вам благодати;
С счастием у вас разлад:
И прекрасны вы некстати
И умны вы невпопад.

1825

* * *

Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я:
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.

1826

К ВЯЗЕМСКОМУ

Так море, древний душегубец,
Воспламеняет гений твой?
Ты славишь лирой золотой
Нептуна грозного трезубец.

Не славь его. В наш гнусный век
Седой Нептун земли союзник.
На всех стихиях человек —
Тиран, предатель или узник.

1826

К ЯЗЫКОВУ

Языков, кто тебе впушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь, и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!
Нет, не кастальскою водой
Ты воспоил свою камену;
Пегас иную Иппокрену
Копытом вышиб пред тобой.

Она не хладной льется влагой,
Но пенится хмельно́ю брагой;
Она разымчива, пьяна,
Как сей напиток благородный,
Слиянье рому и вина,
Без примеси воды негодной,
В Тригорском жаждою свободной
Открытый в наши времена.

1826

ПЕСНИ О СТЕНЬКЕ РАЗИНЕ

1

Как по Волге-реке, по широкой
Выплывала востроносая лодка,
Как на лодке гребцы удалые,
Казаки, ребята молодые.
На корме сидит сам хозяин,
Сам хозяин, грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,
А глядит на матушку на Волгу.
Как промолвит грозен Стенька Разин:
«Ой ты гой еси, Волга, мать родная!
С глупых лет меня ты воспоила,
В долгу ночь баюкала, качала,
В волновую погоду выносила,
За меня ли молодца не дремала,
Казаков моих добром наделила.
Что ничем тебя еще мы не дарили».
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ею поклонился.

2

Ходил Стенька Разин
В Астрахань-город
Торговать товаром.

Стал воевода
Требовать подарков.
Поднес Стенька Разин
Камки хрущатые,
Камки хрущатые —
Парчи золотые.
Стал воевода
Требовать шубы.
Шуба дорогая:
Полы-то новы,
Одна боброва,
Друга соболья.
Ему Стенька Разин
Не отдает шубы.
«Отдай, Стенька Разин,
Отдай с плеча шубу!
Отдашь, так спасибо;
Не отдашь — повешу
Что во чистом поле
На зеленом дубе,
На зеленом дубе
Да в собачьей шубе».
Стал Стенька Разин
Думати думу:
«Добро, воевода,
Возьми себе шубу.
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму».

3

Что не конский топ, не людская молвь,
Не труба трубача с поля слышится,
А погодушка свищет, гудит,
Свищет, гудит, заливается.
Зазывает меня, Стеньку Разина,
Погулять по морю, по синему:
«Молодец удалой, ты разбойник лихой,
Ты разбойник лихой, ты разгульный буян,
Ты садись на ладьи свои скорые,
Распусти паруса полотняные,
Побеги по морю по синему.

Пригоню тебе три кораблика:
На первом корабле красно золото,
На втором корабле чисто серебро,
На третьем корабле душа-девица».

1826

ПРИЗНАНИЕ

Я вас люблю,— хоть я бешусь,
Хоть это труд и стыд напрасный,
И в этой глупости несчастной
У ваших ног я признаюсь!
Мне не к лицу и не по летам...
Пора, пора мне быть умней!
Но узнаю по всем приметам
Болезнь любви в душе моей:
Без вас мне скучно,— я зеваю;
При вас мне грустно,— я терплю;
И, мочи нет, сказать желаю,
Мой ангел, как я вас люблю!
Когда я слышу из гостиной
Ваш легкий шаг, иль платья шум,
Иль голос девственный, невинный,
Я вдруг теряю весь свой ум.
Вы улыбнетесь — мне отрада;
Вы отвернетесь — мне тоска;
За день мучения — награда
Мне ваша бледная рука.
Когда за пяльцами прилежно
Сидите вы, склонясь небрежно,
Глаза и кудри опустя,—
Я в умиленье, молча, нежно
Любуюсь вами, как дитя!..
Сказать ли вам мое несчастье,
Мою ревнивую печаль,
Когда гулять, порой в ненастье,
Вы собираетеся вдаль?
И ваши слезы в одиночку,
И речи в уголку вдвоем,
И путешествия в Опочку,
И фортепьяно вечерком?..
Алина! сжальтесь надо мною.
Не смею требовать любви.

Быть может, за грехи мои,
Мой ангел, я любви не стою!
Но притворитесь! Этот взгляд
Все может выразить так чудно!
Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!..

1826

ПРОРОК

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,—
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,—
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

1826

НЯНЕ

Подруга дней моих суровых,
Голубка дряхлая моя!
Одна в глуши лесов сосновых
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты под окном своей светлицы
Горюешь, будто на часах,
И медлят поминутно спицы
В твоих наморщенных руках.
Глядишь в забытые вороты
На черный отдаленный путь:
Тоска, предчувствия, заботы
Теснят твою всечасно грудь.
То чудится тебе...

1826

* * *

Как счастлив я, когда могу покинуть
Докучный шум столицы и двора
И убежать в пустынные дубровы,
На берега сих молчаливых вод.

О, скоро ли она со дна речного
Подымется, как рыбка золотая?

Как сладостно явление ее
Из тихих волн, при свете ночи лунной!
Опутана зелеными власами,
Она сидит на берегу крутом.
У стройных ног, как пена белых, волны
Ласкаются, сливаясь и журча.
Ее глаза то меркнут, то блистают,
Как на небе мерцающие звезды;
Дыханья нет из уст ее, но сколь
Пронзительно сих влажных синих уст
Прохладное лобзанье без дыханья,
Томительно и сладко — в летний зной
Холодный мед не столько сладок жажде.
Когда она игривыми перстами
Кудрей моих касается, тогда
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает

Мне голову, и сердце громко бьется,
Томительно любовью замирая.
И в этот миг я рад оставить жизнь,
Хочу стонать и пить ее лобзанье —
А речь ее... Какие звуки могут
Сравниться с ней — младенца первый лепет,
Журчанье вод, иль майский шум небес,
Иль звонкие Бояна Славья гусли.

1826

* * *

Tel j'étais autrefois et tel je suis encor.

Каков я прежде был, таков и ныне я:
Беспечный, влюбчивый. Вы знаете, друзья,
Могу ль на красоту взирать без умиленья,
Без робкой нежности и тайного волненья.
Уж мало ли любовь играла в жизни мной?
Уж мало ль бился я, как ястреб молодой,
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой,
А не исправленный стократною обидой,
Я новым идолам несу мои мольбы...

1826

И. И. ПУЩИНУ

Мой первый друг, мой друг бесценный!
И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье
Лучом лицейских ясных дней!

1826

СТАНСЫ

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни.

Но правдой он привлек сердца,
Но нравы укротил наукой,
И был от буйного стрельца
Пред ним отличен Долгорукой.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал ее предназначенье.

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

Семейным сходством будь же горд;
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.

1826

ОТВЕТ Ф. Т***

Нет, не черкешенка она;
Но в долы Грузии от века
Такая дева не сошла
С высот угрюмого Казбека.

Нет, не агат в глазах у ней,
Но все сокровища Востока
Не стоят сладостных лучей
Ее полуденного ока.

1826

ЗИМНЯЯ ДОРОГА

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.

Что-то слышится родное
В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска...

Ни огня, ни черной хаты,
Глушь и снег... Навстречу мне
Только версты полосаты
Попадаются одне...

Скучно, грустно... Завтра, Нина,
Завтра к милой возвратясь,
Я забудусь у камина,
Загляжусь не наглядясь.

Звучно стрелка часовая
Мерный круг свой совершит,
И, докучных удаляя,
Полночь нас не разлучит.

Грустно, Нина: путь мой скучен,
Дремля смолкнул мой ямщик,
Колокольчик однозвучен,
Отуманен лунный лик.

1826

К **

Ты богоматерь, нет сомненья,
Не та, которая красой
Плепила только дух святой,
Мила ты всем без исключенья;

Не та, которая Христа
Родила, не спросясь супруга.
Есть бог другой земного круга —
Ему послушна красота,
Он бог Парни, Тибулла, Мура,
Им мучусь, им утешен я.
Он весь в тебя — ты мать Амура,
Ты богородица моя!

1826

МОРДВИНОВУ

Под хладом старости угрюмо угасал
Единый из седых орлов Екатерины.
В крылах отяжелев, он небо забывал
И Пинда острые вершины.

В то время ты вставал: твой луч его согрел,
Он поднял к небесам и крылья и зеницы
И с шумной радостью взыграл и полетел
Во сретенье твоей денницы.

Мордвинов, не вотще Петров тебя любил,
Тобой гордится он и на брегах Коцита:
Ты лиру оправдал, ты ввек не изменил
Надеждам вещего пиита.

Как славно ты сдержал пророчество его!
Сияя доблестью, и славой, и наукой,
В советах недвижим у места своего,
Стоишь ты, новый Долгорукой.

Так, в пенистый поток с вершины гор скатясь,
Стоит седой утес, вотще брега трепещут,
Вотще грохочет гром и волны, вкруг мутясь,
И увиваются и плещут.

Один, на рамена поднявши мощный труд,
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною,
Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд
Равно священны пред тобою.

1826

ЗОЛОТО И БУЛАТ

«Все мое»,— сказало злато;
«Все мое»,— сказал булат.
«Все куплю»,— сказало злато;
«Все возьму»,— сказал булат.

1826

* * *

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

1827

СОЛОВЕЙ И РОЗА

В безмолвии садов, весной, во мгле ночей,
Поет над розою восточный соловей.
Но роза милая не чувствует, не внемлет,
И под влюбленный гимн колеблется и дремлет.
Не так ли ты поешь для хладной красоты?
Опомнись, о поэт, к чему стремишься ты?
Она не слушает, не чувствует поэта;
Глядишь — она цветет; взываешь — нет ответа.

1827

* * *

Есть роза дивная: она
Пред изумленною Киферой
Цветет, румяна и пышна,
Благословенная Венерой.
Вотще Киферу и Пафос
Мертвит дыхание мороза —
Блестит между минутных роз
Неувядаемая роза...

1827

Ек. Н. УШАКОВОЙ

Когда, бывало, в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
«Аминь, аминь, рассыпься!» В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений;
Бог ведает, куда девалися они.
Но ты, мой злой иль добрый гений,
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые —
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердцу, полному мечтою,
«Аминь, аминь, рассыпься!» — говорю.

1827

КНЯГИНЕ З. А. ВОЛКОНСКОЙ

Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,

И пад задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плепенного тобой,
Не отвергай смиренной дани,
Внемли с улыбкой голос мой,
Как мимоездом Каталани
Цыганке внемлет кочевой.

1827

* * *

В степи мирской, печальной и безбрежной,
Таипственно пробились три ключа:
Ключ юпости, ключ быстрый и мятежпый,
Кипит, бежит, сверкая и журча.
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанников поит.
Последний ключ — холодный ключ забвенья,
Он слаще всех жар сердца утолит.

1827

АРИОН

Нас было много на челне;
Иные парус напрягали,
Другие дружно упирали
В глубь мощны веслы. В тишине
На руль склонясь, наш кормщик умный
В молчанье правил грузный челн;
А я — беспечной веры полн,—
Пловцам я пел... Вдруг лоно волн
Измял с налету вихорь шумный...
Погиб и кормщик и пловец! —
Лишь я, таинственный певец,
На берег выброшен грозою,
Я гимны прежние пою
И ризу влажную мою
Сушу на солнце под скалою.

1827

АНГЕЛ

В дверях эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

«Прости,— он рек,— тебя я видел,
И ты недаром мне сиял:
Не всё я в небе ненавидел,
Не всё я в мире презирал».

1827

* * *

Какая ночь! Мороз трескучий,
На небе ни единой тучи;
Как шитый полог, синий свод
Пестреет частыми звездами.
В домах все темно. У ворот
Затворы с тяжкими замками.
Везде покоится народ;
Утих и шум, и крик торговый;
Лишь только лает страж дворовый
Да цепью звонкою гремит.

И вся Москва покойно спит,
Забыв волнение боязни.
А площадь в сумраке ночном
Стоит, полна вчерашней казни.
Мучений свежий след кругом:
Где труп, разрубленный с размаха,
Где столп, где вилы; там котлы,
Остывшей полные смолы;
Здесь опрокинутая плаха;
Торчат железные зубцы,
С костями груды пепла тлеют,
На кольях, скорчась, мертвецы
Оцепенелые чернеют...

Сельцо Михайловское.
Литография П. А. Александрова по рисунку И. С. Иванова.
1837 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

Недавно кровь со всех сторон
Струею тощей снег багрила,
И подымался томный стон,
Но смерть коснулась к ним как сон,
Свою добычу захватила.
Кто там? Чей конь во весь опор
По грозной площади несется?
Чей свист, чей громкий разговор
Во мраке ночи раздается?
Кто сей? — Кромешник удалой.
Спешит, летит он на свиданье,
В его груди кипит желанье.
Он говорит: «Мой конь лихой,
Мой верный конь! лети стрелой!
Скорей, скорей!..» Но конь ретивый
Вдруг размахнул плетеной гривой
И стал. Во мгле между столпов
На перекладине дубовой
Качался труп. Ездок суровый
Под ним промчаться был готов,
Но борзый конь под плетью бьется,
Храпит, и фыркает, и рвется
Назад. «Куда? мой конь лихой!
Чего боишься? Что с тобой?
Не мы ли здесь вчера скакали,
Не мы ли яростно топтали,
Усердной местию горя,
Лихих изменников царя?
Не их ли кровию омыты
Твои булатные копыты!
Теперь ужель их не узнал?
Мой борзый конь, мой конь удалый,
Несись, лети!..» И конь усталый
В столбы проскакал.

1827

КИПРЕНСКОМУ

Любимец моды легкокрылой,
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник милый,

Меня, питомца чистых муз,—
И я смеюся над могилой,
Ушед навек от смертных уз.

Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.

1827

ПОЭТ

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

1827

* * *

Близ мест, где царствует Венеция златая,
Один, ночной гребец, гондолой управляя,
При свете Веспера по взморию плывет,
Ринальда, Годфреда, Эрминию поет.

Он любит песнь свою, поет он для забавы,
Без дальных умыслов; не ведает ни славы,
Ни страха, ни надежд, и, тихой музы полн,
Умеет услаждать свой путь над бездной волн.
На море жизненном, где бури так жестоко
Преследуют во мгле мой парус одинокой,
Как он, без отзыва утешно я пою
И тайные стихи обдумывать люблю.

1827

* * *

Всем красны боярские конюшни:
Чистотой, прислугой и конями;
Всем довольны добрые кони:
Кормом, стойлами и надзором.
Сбруя блещет на стойках дубовых,
В стойлах лоснятся борзые кони.
Лишь одним конюшни непригожи —
Домовой повадился в конюшни.
По ночам ходит он в конюшни,
Чистит, холит коней боярских,
Заплетает гриву им в косички,
Туго хвост завязывает в узел.
Как невзлюбит он вороного.
На вечерней заре с водопою
Обойду я боярские конюшни
И зайду в стойло к вороному —
Конь стоит исправен и смирен.
А поутру отопрешь конюшню,
Конь не тих, весь в мыле, жаром пышет,
С морды каплет кровавая пена.
Во всю ночь домовой на нем ездил
По горам, по лесам, по болотам,
С полуночи до белого света —
До заката месяца...

Ах ты, старый конюх, неразумный,
Разгадаешь ли, старый, загадку?
Полюбил красну девку младой конюх,
Младой конюх, разгульный парень —
Он конюшню ночью отпирает,

Потихонько вороного седлает,
Полегонько выводит за вороты,
На коня на борзого садится,
К красной девке в гости скачет.

1827

ПОСЛАНИЕ ДЕЛЬВИГУ

Прими сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу.

Почтенный череп сей не раз
Парами Вакха нагревался;
Литовский меч в недобрый час
По нем со звоном ударялся;
Сквозь эту кость не проходил
Луч животворный Аполлона;
Ну словом, череп сей хранил
Тяжеловесный мозг барона,
Барона Дельвига. Барон
Конечно был охотник славный,
Наездник, чаши друг исправный,
Гроза вассалов и их жен.
Мой друг, таков был век суровый,
И предок твой крепкоголовый
Смутился б рыцарской душой,
Когда б тебя перед собой
Увидел без одежды бранной,
С главою, миртами венчанной,
В очках и с лирой золотой.

Покойником в церковной книге
Уж был давно записан он,
И с предками своими в Риге
Вкушал непробудимый сон.
Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.

Но в наши беспокойны годы
Покойникам покоя нет.
Косматый баловень природы,
И математик, и поэт,
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
Идеолог и филолог,
Короче вам — студент присяжный,
С витою трубкою в зубах,
В плаще, с дубиной и в усах
Явился в Риге. Там спесиво
В трактирах стал он пенить пиво,
В дыму табачных облаков;
Бродить над берегами моря,
Мечтать об Лотхен, или с горя
Стихи писать да бить жидов.
Студент под лестницей трактира
В каморке темной жил один;
Там, в виде зеркал и картин,
Короткий плащ, картуз, рапира
Висели на стене рядком.
Полуизмаранный альбом,
Творенья Фихте и Платона
Да два восточных лексикона
Под паутиною в углу
Лежали грудой на полу,—
Предмет занятий разнородных
Ученого да крыс голодных.
Мы знаем: роскоши пустой
Почтенный мыслитель не ищет;
Смеясь над глупой суетой,
В чулане он беспечно свищет.
Умеренность, вещал мудрец,
Сердец высоких отпечаток.
Студент, однако ж, наконец
Заметил важный недостаток
В своем быту: ему предмет
Необходимый был... скелет,
Предмет, философам любезный,
Предмет приятный и полезный
Для глаз и сердца, слова нет;
Но где достанет он скелет?
Вот он однажды в воскресенье
Сошелся с кистером градским

И, тотчас взяв в соображенье
Его характер и служенье,
Решился подружиться с ним.
За кружкой пива мой мечтатель
Открылся кистеру душой
И говорит: «Нельзя ль, приятель,
Тебе досужною порой
Свести меня в подвал могильный,
Костями праздными обильный,
И между тем один скелет
Помочь мне вынести па свет?
Клянусь тебе айдесским богом:
Он будет дружбы мне залогом
И до моих последних дней
Красой обители моей».
Смутился кистер изумленный.
«Что за желанье? что за страсть?
Идти в подвал уединенный,
Встревожить мертвых сонм почтенный
И одного из них украсть!
И кто же?.. Он, гробов хранитель!
Что скажут мертвые потом?»
Но пиво, страха усыпитель
И гневной совести смиритель,
Сомненья разрешило в нем.
Ну, так и быть! Дает он слово,
Что к ночи будет все готово,
И другу назначает час.
Они расстались.
День угас;
Настала ночь. Плащом покрытый,
Стоит герой наш знаменитый
У галереи гробовой,
И с ним преступный кистер мой,
Держа в руке фонарь разбитый,
Готов на подвиг роковой.
И вот визжит замок заржавый,
Визжит предательская дверь —
И сходят витязи теперь
Во мрак подвала величавый;
Сияньем тощим фонаря
Глухие своды озаря,
Идут — и эхо гробовое,
Смущенное в своем покое,

Протяжно вторит звук шагов.
Пред ними длинный ряд гробов;
Везде щиты, гербы, короны;
В тщеславном тлении кругом
Почиют непробудным сном
Высокородные бароны...

Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступиться, ухватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или как-нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастию, похищенье совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокою и таким образом составил себе скелет очень порядочный. Но вскоре молва о перенесении бароновых костей из погреба в трактирный чулан разнеслася по городу. Преступный кистер лишился места, а студент принужден был бежать из Риги, и как обстоятельства не позволяли ему брать с собою *будущего*, то, разобрав опять барона, раздарил он его своим друзьям. Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нем табак. Он рассказал мне его историю и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием.

Прими ж сей череп, Дельвиг, он
Принадлежит тебе по праву.
Обделай ты его, барон,
В благопристойную оправу,
Изделье гроба преврати
В увеселительную чашу,
Вином кипящим освяти
Да запивай уху да кашу.
Певцу Корсара подражай
И скандинавов рай воинский
В пирах домашних воскрешай,
Или как Гамлет-Баратынский
Над ним задумчиво мечтай:
О жизни мертвый проповедник,
Вином ли полный, иль пустой,
Для мудреца, как собеседник,
Он стоит головы живой.

1827

* * *

Блажен в златом кругу вельмож
Пиит, внимаемый царями.
Владея смехом и слезами,
Приправя горькой правдой ложь,
Он вкус притупленный щекотит
И к славе спесь бояр охотит,
Он украшает их пиры
И внемлет умные хвалы.
Меж тем, за тяжкими дверями,
Теснясь у черного крыльца,
Народ, гоняемый слугами,
Поодаль слушает певца.

1827

19 ОКТЯБРЯ 1827

Бог помочь вам, друзья мои,
В заботах жизни, царской службы,
И на пирах разгульной дружбы,
И в сладких таинствах любви!

Бог помочь вам, друзья мои,
И в бурях, и в житейском горе,
В краю чужом, в пустынном море
И в мрачных пропастях земли!

1827

ТАЛИСМАН

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.

И, ласкаясь, говорила:
«Сохрани мой талисман:
В нем таинственная сила!
Он тебе любовью дан.
От недуга, от могилы,
В бурю, в грозный ураган,
Головы твоей, мой милый,
Не спасет мой талисман.

И богатствами Востока
Он тебя не одарит,
И поклонников пророка
Он тебе не покорит;
И тебя на лоно друга,
От печальных чуждых стран,
В край родной на север с юга
Не умчит мой талисман...

Но когда коварны очи
Очаруют вдруг тебя
Иль уста во мраке ночи
Поцелуют не любя —
Милый друг! от преступленья,
От сердечных новых ран,
От измены, от забвенья
Сохранит мой талисман!»

1827

ЭПИГРАММА

(Из антологии)

Лук звенит, стрела трепещет,
И, клубясь, издох Пифон;
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон!
Кто ж вступился за Пифона,
Кто разбил твой истукан?
Ты, соперник Аполлона,
Бельведерский Митрофан.

1827

ДРУЗЬЯМ

Нет, я не льстец, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю,
Языком сердца говорю.

Его я просто полюбил:
Он бодро, честно правит нами;
Россию вдруг он оживил
Войной, надеждами, трудами.

О нет, хоть юность в нем кипит,
Но не жесток в нем дух державный:
Тому, кого карает явно,
Он втайне милости творит.

Текла в изгнанье жизнь моя,
Влачил я с милыми разлуку,
Но он мне царственную руку
Простер — и с вами снова я.

Во мне почтил он вдохновенье,
Освободил он мысль мою,
И я ль, в сердечпом умиленье,
Ему хвалы не воспою?

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя накличет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.

Он скажет: презирай народ,
Глуши природы голос нежный,
Он скажет: просвещенья плод —
Разврат и некий дух мятежный!

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

1828

* * *

Kennst du das Land...

Wilh. Meist.[1]

По клюкву, по клюкву,
По ягоду, по клюкву...

Кто знает край, где небо блещет
Неизъяснимой синевой,
Где море теплою волной
Вокруг развалин тихо плещет;
Где вечный лавр и кипарис
На воле гордо разрослись;
Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял,
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал?
— — — — — — — — — — —
Волшебный край, волшебный край,
Страна высоких вдохновений,
Людмила зрит твой древний рай,
Твои пророческие сени.

На берегу роскошных вод
Порою карнавальных оргий
Кругом ее кипит народ;
Ее приветствуют восторги.
Людмила северной красой,
Всё вместе — томной и живой,
Сынов Авзонии пленяет
И поневоле увлекает
Их пестры волны за собой.

На рай полуденной природы,
На блеск небес, на ясны воды,
На чудеса немых искусств
В стесненье вдохновенных чувств

[1] Ты знаешь край... *Вильгельм Мейстер (нем.).*

Людмила светлый взор возводит,
Дивясь и радуясь душой,
И ничего перед собой
Себя прекрасней не находит.
Стоит ли с важностью очей
Пред флорентинскою Кипридой,
Их две... и мрамор перед ней
Страдает, кажется, обидой.
Мечты возвышенной полна,
В молчанье смотрит ли опа
На образ нежный Форнарины
Или Мадоны молодой,
Она задумчивой красой
Очаровательней картины...

Скажите мне: какой певец,
Горя восторгом умиленным,
Чья кисть, чей пламенный резец
Предаст потомкам изумленным
Ее небесные черты?
Где ты, ваятель безымянный
Богини вечной красоты?
И ты, харитою венчанный,
Ты, вдохновенный Рафаэль?
Забудь еврейку молодую,
Младенца-бога колыбель,
Постигни прелесть неземную,
Постигни радость в небесах,
Пиши Марию нам другую,
С другим младенцем па руках.
— — — — — — — — — — — —

1828

TO DAWE, ESQr [1]

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.

[1] Господину Дау *(англ.)*.

Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

1828

ВОСПОМИНАНИЕ

Когда для смертного умолкнет шумный день
И на немые стогны града
Полупрозрачпая наляжет ночи тень
И сон, дневных трудов награда,
В то время для меня влачатся в тишине
Часы томительного бденья:
В бездействии ночном живей горят во мне
Змеи сердечной угрызенья;
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

1828

ТЫ И ВЫ

Пустое *вы* сердечным *ты*
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как *вы* милы!
И мыслю: как *тебя* люблю!

1828

* * *

26 мая 1828

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

1828

* * *

Еще дуют холодные ветры
И наносят утренни морозы,
Только что на проталинах весенпих
Показались рапние цветочки;
Как из чудного царства воскового,
Из душистой келейки медовой
Вылетала первая пчелка,
Полетела по ранним цветочкам
О красной весне поразведать,
Скоро ль будет гостья дорогая,
Скоро ли луга позеленеют,
Скоро ль у кудрявой у березы
Распустятся клейкие листочки,
Зацветет черемуха душиста.

1828

* * *

Кобылица молодая,
Честь кавказского тавра́,
Что ты мчишься, удалая?
И тебе пришла пора;

Не косись пугливым оком,
Ног на воздух не мечи,
В поле гладком и широком
Своенравно не скачи.
Погоди; тебя заставлю
Я смириться подо мной:
В мерный круг твой бег направлю
Укороченной уздой.

1828

ЕЕ ГЛАЗА

Она мила — скажу меж нами —
Придворных витязей гроза,
И можно с южными звездами
Сравнить, особенно стихами,
Ее черкесские глаза,
Она владеет ими смело,
Они горят огня живей;
Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля —
В них скромных граций торжество;
Поднимет — ангел Рафаэля
Так созерцает божество.

1828

* * *

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, бедной девы.

Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поешь — и предо мной
Его я вновь воображаю.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.

1828

К ЯЗЫКОВУ

К тебе сбирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый,
С тобой попить, как пьют поэты,
Тобой воспетое випо.
Уж зазывал меня с собою
Тобой воспетый Киселев,
И я с веселою душою
Оставить был совсем готов
Неволю невских берегов.
И что ж? Гербовые заботы
Схватили за полы меня,
И на Неве, хоть нет охоты,
Прикованным остался я.
О юность, юность удалая!
Могу ль тебя не пожалеть?
В долгах, бывало, утопая,
Заимодавцев убегая,
Готов был всюду я лететь;
Теперь докучно посещаю
Своих ленивых должников,
Остепенившись, проклинаю
Я тяжесть денег и годов.

Прости, певец! играй, пируй,
С Кипридой, Фебом торжествуй,
Не знай сиятельного чванства,
Не знай любезных должников
И не плати своих долгов
По праву русского дворянства.

1828

ПОРТРЕТ

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены Севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

1828

НАПЕРСНИК

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

1828

* * *

Счастлив, кто избран своенравно
Твоей тоскливою мечтой,
При ком любовью млеешь явно,
Чьи взоры властвуют тобой;
Но жалок тот, кто молчаливо,
Сгорая пламенем любви,
Потупя голову, ревниво
Признанья слушает твои.

1828

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?

Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.

Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: *прости*,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

1828

УТОПЛЕННИК

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца».
«Врите, врите, бесенята,—
Заворчал на них отец; —
Ох, уж эти мне робята!
Будет вам ужо мертвец!

Суд наедет, отвечай-ка;
С ним я ввек не разберусь;
Делать нечего; хозяйка,
Дай кафтан: уж поплетусь...
Где ж мертвец?» — «Вон, тятя, э-вот!»
В самом деле, при реке,
Где разостлан мокрый невод,
Мертвый виден на песке.

Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух,
Рыболов ли взят волнами,
Али хмельный молодец,
Аль ограбленный ворами
Недогадливый купец?

Мужику какое дело?
Озираясь, он спешит;
Он потоплепное тело
В воду за ноги тащит,
И от берега крутого
Оттолкнул его веслом,
И мертвец вниз поплыл снова
За могилой и крестом.

Долго мертвый меж волнами
Плыл качаясь, как живой;
Проводив его глазами,
Наш мужик пошел домой.
«Вы, щенки! за мной ступайте!
Будет вам по калачу,
Да смотрите ж, не болтайте,
А не то поколочу».

В ночь погода зашумела,
Взволновалася река,
Уж лучина догорела
В дымной хате мужика,
Дети спят, хозяйка дремлет,
На полатях муж лежит,
Буря воет; вдруг он внемлет:
Кто-то там в окно стучит.

«Кто там?» — «Эй, впусти, хозяин!» –
«Ну, какая там беда?
Что ты ночью бродишь, Каин?
Черт занес тебя сюда;
Где возиться мне с тобою?
Дома тесно и темно».
И ленивою рукою
Подымает он окно.

Из-за туч луна катится —
Что же? голый перед ним:
С бороды вода струится,
Взор открыт и недвижим,
Все в нем страшно онемело,
Опустились руки вниз,
И в распухнувшее тело
Раки черные впились.

И мужик окно захлопнул:
Гостя голого узнав,
Так и обмер: «Чтоб ты лопнул!» —
Прошептал он, задрожав.
Страшно мысли в нем мешались,
Трясся ночь он напролет,
И до утра всё стучались
Под окном и у ворот.

Есть в народе слух ужасный:
Говорят, что каждый год
С той поры мужик несчастный
В день урочный гостя ждет;
Уж с утра погода злится,
Ночью буря настает,
И утопленник стучится
Под окном и у ворот.

1828

* * *

Рифма, звучная подруга
Вдохновенного досуга,
Вдохновенного труда,
Ты умолкла, онемела;
Ах, ужель ты улетела,
Изменила навсегда!

В прежни дни твой милый лепет
Усмирял сердечный трепет,
Усыплял мою печаль,
Ты ласкалась, ты манила
И от мира уводила
В очарованную даль.

Ты, бывало, мне внимала,
За мечтой моей бежала,
Как послушная дитя;
То, свободна и ревнива,
Своенравна и ленива,
С нею спорила шутя.

Я с тобой не расставался,
Сколько раз повиновался
Резвым прихотям твоим;
Как любовник добродушный,
Снисходительно послушный,
Был я мучим и любим.

О, когда бы ты явилась
В дни, как на небе толпилась
Олимпийская семья!
Ты бы с нею обитала,
И божественно б сияла
Родословная твоя.

Взяв божественную лиру,
Так поведали бы миру
Гезиод или Омир:
Феб однажды у Адмета
Близ тенистого Тайгета
Стадо пас, угрюм и сир.

Он бродил во мраке леса,
И никто, страшась Зевеса,
Из богинь иль из богов
Навещать его не смели —
Бога лиры и свирели,
Бога света и стихов.

Помня первые свиданья,
Усладить его страданья
Мнемозина притекла.
И подруга Аполлона
В тихой роще Геликона
Плод восторгов родила.

1828

* * *

Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
Ворон! где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?

Ворон ворону в ответ:
Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый.

Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Сокол в рощу улетел,
На кобылку недруг сел,
А хозяйка ждет мило́го,
Не убитого, живого.

1828

* * *

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит —
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.

1828

19 ОКТЯБРЯ 1828

Усердно помоливши́сь богу,
Лицею прокричав *ура*,
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.

1828

* * *

В прохладе сладостной фонтанов
И стен, обрызганных кругом,
Поэт, бывало, тешил ханов
Стихов гремучим жемчугом.

На нити праздного веселья
Низал он хитрою рукой
Прозрачной лести ожерелья
И четки мудрости златой.

Любили Крым сыны Саади,
Порой восточный краснобай
Здесь развивал свои тетради
И удивлял Бахчисарай.

Его рассказы расстилались,
Как эриванские ковры,
И ими ярко украшались
Гиреев ханские пиры.

Но ни один волшебник милый,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,

Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.

1828

АНЧАР[1]

В пустыне чахлой и скупой,
На почве, зноем раскаленной,
Анчар, как грозный часовой,
Стоит — один во всей вселенной.

Природа жаждущих степей
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.

Яд каплет сквозь его кору,
К полудню растопясь от зною,
И застывает ввечеру
Густой прозрачною смолою.

К нему и птица не летит,
И тигр нейдет: лишь вихорь черный
На древо смерти набежит —
И мчится прочь, уже тлетворный.

И если туча оросит,
Блуждая, лист его дремучий,
С его ветвей, уж ядовит,
Стекает дождь в песок горючий.

Но человека человек
Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.

Принес он смертную смолу
Да ветвь с увядшими листами,
И пот по бледному челу
Струился хладными ручьями;

Принес — и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.

---

[1] Древо яда.

А царь тем ядом напитал
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал
К соседям в чуждые пределы.

1828

ОТВЕТ КАТЕНИНУ

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!
Товарищ милый, но лукавый,
Твой кубок полон не вином,
Но упоительной отравой:
Он заманит меня потом
Тебе во след опять за славой.
Не так ли опытный гусар,
Вербуя рекрута, подносит
Ему веселый Вакха дар,
Пока воинственный угар
Его на месте не подкосит?
Я сам служивый — мне домой
Пора убраться на покой.
Останься ты в строях Парнаса;
Пред делом кубок наливай
И лавр Корнеля или Тасса
Один с похмелья пожинай.

1828

ОТВЕТ А. И. ГОТОВЦОВОЙ

И недоверчиво и жадно
Смотрю я на твои цветы.
Кто, строгий стоик, примет хладно
Привет харит и красоты?
Горжуся им — но и робею;
Твой недосказанный упрек
Я разгадать вполне не смею.
Твой гнев ужели я навлек?
О, сколько б мук себе готовил
Красавиц ветреный зоил,

Когда б предательски злословил
Сей пол, которому служил!
Любви безумством и волненьем
Наказан был бы он: а ты
Была всегда б опроверженьем
Его печальной клеветы.

1828

ЦВЕТОК

Цветок засохший, безуханный,
Забытый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя:

Где цвел? когда? какой весною?
И долго ль цвел? и сорван кем,
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?

На память нежного ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокого гулянья
В тиши полей, в тени лесной?

И жив ли тот, и та жива ли?
И нынче где их уголок?
Или уже они увяли,
Как сей неведомый цветок?

1828

ПОЭТ И ТОЛПА

Procul este, profani [1].

Поэт по лире вдохновенной
Рукой рассеянной бряцал.
Он пел — а хладный и надменный
Кругом народ непосвященный
Ему бессмысленно внимал.

---

[1] Прочь, непосвященные *(лат.)*.

И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»

Поэт

Молчи, бессмысленный народ,
Поденщик, раб нужды, забот!
Несносен мне твой ропот дерзкий,
Ты червь земли, не сын небес;
Тебе бы пользы всё — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский.
Ты пользы, пользы в нем не зришь.
Но мрамор сей ведь бог!.. так что же?
Печной горшок тебе дороже:
Ты пищу в нем себе варишь.

Чернь

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй:
Сердца собратьев исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Бесстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцем хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнездятся клубом в нас пороки.
Ты можешь, ближнего любя,
Давать нам смелые уроки,
А мы послушаем тебя.

Поэт

Подите прочь — какое дело
Поэту мирному до вас!
В разврате каменейте смело,
Не оживит вас лиры глас!
Душе противны вы, как гробы.
Для вашей глупости и злобы

Имели вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры; —
Довольно с вас, рабов безумных!
Во градах ваших с улиц шумных
Сметают сор,— полезный труд! —
Но, позабыв свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы ль у вас метлу берут?
Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв.

1828

ЩЕРБИНИНУ

Житье тому, мой милый друг,
Кто страстью глупою не болен,
Кому влюбиться недосуг,
Кто занят всем и всем доволен —
Его не ведает печаль;
Его забавы бесконечны,
Он создал мысленно сераль
И в нем блаженствует, беспечный!

1828

Е. Н. УШАКОВОЙ

Вы избалованы природой;
Она пристрастна к вам была,
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой.
Вы сами знаете давно,
Что вас любить немудрено,
Что нежным взором вы Армида,
Что легким станом вы Сильфида,
Что ваши алые уста
Как гармоническая роза...
И наши рифмы, наша проза
Пред вами шум и суета.
Но красоты воспоминанье
Нам сердце трогает тайком —

И строк небрежных начертанье
Вношу смиренно в ваш альбом.
Авось на память поневоле
Придет вам тот, кто вас певал
В те дни, как Пресненское поле
Еще забор не заграждал.

1829

* * *

Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса
И воспомнил ваши взоры,
Ваши синие глаза.
Хоть я грустно очарован
Вашей девственной красой,
Хоть вампиром именован
Я в губернии Тверской,
Но колен моих пред вами
Преклонить я не посмел
И влюбленными мольбами
Вас тревожить не хотел.
Упиваясь неприятно
Хмелем светской суеты,
Позабуду, вероятно,
Ваши милые черты,
Легкий стан, движений стройность,
Осторожный разговор,
Эту скромную спокойность,
Хитрый смех и хитрый взор.
Если ж нет... по прежню следу
В ваши мирные края
Через год опять заеду
И влюблюсь до ноября.

1829

ПРИМЕТЫ

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой,
И месяц с правой стороны
Сопровождал мой бег ретивый.

Я ехал прочь: иные сны...
Душе влюбленной грустно было,
И месяц с левой стороны
Сопровождал меня уныло.

Мечтанью вечному в тиши
Так предаемся мы, поэты;
Так суеверные приметы
Согласны с чувствами души.

1829

ЭПИТАФИЯ МЛАДЕНЦУ

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

1829

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого,
Что не любить оно не может.

1829

КАЛМЫЧКЕ

Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, назло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза, конечно, узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног,

По-английски пред самоваром
Узором хлеба не крошишь,
Не восхищаешься Сен-Маром,
Слегка Шекспира не ценишь,
Не погружаешься в мечтанье,
Когда нет мысли в голове,
Не распеваешь: Ma dov'è [1],
Галоп не прыгаешь в собранье...
Что нужды? — Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе
Или в кибитке кочевой?

1829

ИЗ ГАФИЗА

(Лагерь при Евфрате)

Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
Знаю, смерть тебя не встретит:
Азраил, среди мечей,
Красоту твою заметит —
И пощада будет ей!
Но боюсь: среди сражений
Ты утратишь навсегда
Скромность робкую движений,
Прелесть неги и стыда!

1829

ОЛЕГОВ ЩИТ

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победы стяг,

[1] Но где *(итал.)*.

Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На цареградских воротах.

Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

1829

* * *

Зорю бьют... из рук моих
Ветхий Данте выпадает,
На устах начатый стих
Недочитанный затих —
Дух далече улетает.
Звук привычный, звук живой,
Сколь ты часто раздавался
Там, где тихо развивался
Я давнишнею порой.

1829

* * *

Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.

На походе, на войне
Сохранил я балалайку —
С нею рядом, на стене
Я повешу и нагайку.

Что таиться от друзей —
Я люблю свою хозяйку,
Часто думал я об ней
И берег свою нагайку.

1829

А. Г. Муравьева.
Рис. П. Ф. Соколова. Акварель. Копия.
1826 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

ДОН

Блеща средь полей широких,
Вон он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.

Как прославленного брата,
Реки знают тихий Дон;
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.

Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.

Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

1829

* * *

(2 ноября)

Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю
Слугу, несущего мне утром чашку чаю,
Вопросами: тепло ль? утихла ли метель?
Пороша есть иль нет? и можно ли постель
Покинуть для седла, иль лучше до обеда
Возиться с старыми журналами соседа?
Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня,
И рысью по полю при первом свете дня;
Арапники в руках, собаки вслед за нами;
Глядим на бледный снег прилежными глазами;
Кружимся, рыскаем и поздней уж порой,
Двух зайцев протравив, являемся домой.
Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет;
Свеча темно горит; стесняясь, сердце ноет;
По капле, медленно глотаю скуки яд.
Читать хочу; глаза над буквами скользят,
А мысли далеко... Я книгу закрываю;

Беру перо, сижу; насильно вырываю
У музы дремлющей несвязные слова.
Ко звуку звук нейдет... Теряю все права
Над рифмой, над моей прислужницею странноï:
Стих вяло тянется, холодный и туманный.
Усталый, с лирою я прекращаю спор,
Иду в гостиную; там слышу разговор
О близких выборах, о сахарном заводе;
Хозяйка хмурится в подобие погоде,
Стальными спицами проворно шевеля,
Иль про червонного гадает короля.
Тоска! Так день за днем идет в уединенье!
Но если под вечер в печальное селенье,
Когда за шашками сижу я в уголке,
Приедет издали в кибитке иль возке
Нежданная семья: старушка, две девицы
(Две белокурые, две стройные сестрицы),—
Как оживляется глухая сторона!
Как жизнь, о боже мой, становится полна!
Сначала косвенно-внимательные взоры,
Потом слов несколько, потом и разговоры,
А там и дружный смех, и песни вечерком,
И вальсы резвые, и шепот за столом,
И взоры томные, и ветреные речи,
На узкой лестнице замедленные встречи;
И дева в сумерки выходит на крыльцо:
Открыты шея, грудь, и вьюга ей в лицо!
Но бури севера не вредны русской розе.
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!

1829

ЗИМНЕЕ УТРО

Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный —
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры,
Звездою севера явись!

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась,
На мутном небе мгла носилась;

Луна, как бледное пятно,
Сквозь тучи мрачные желтела,
И ты печальная сидела —
А нынче... погляди в окно:

Под голубыми небесами
Великолепными коврами,
Блестя на солнце, снег лежит;
Прозрачный лес один чернеет,
И ель сквозь иней зеленеет,
И речка подо льдом блестит.

Вся комната янтарным блеском
Озарена. Веселым треском
Трещит затопленная печь.
Приятно думать у лежанки.
Но знаешь: не велеть ли в санки
Кобылку бурую запречь?

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

1829

* * *

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

1829

* * *

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:

К подножию ль стены далекого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поет уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем... но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
Забуду ль гордую, мучительную деву,
Или к ее ногам, ее младому гневу,
Как дань привычную, любовь я принесу?

— — — — — — — — — — — —

1829

* * *

Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.

Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час.

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю: прости!
Тебе я место уступаю:
Мне время тлеть, тебе цвести.

День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.

И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

1829

КАВКАЗ

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орел, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады;
Под ними утесов нагие громады;
Там ниже мох тощий, кустарник сухой;
А там уже рощи, зеленые сени,
Где птицы щебечут, где скачут олени.

А там уж и люди гнездятся в горах,
И ползают овцы по злачным стремнинам,
И пастырь нисходит к веселым долинам,
Где мчится Арагва в тенистых брегах,
И нищий наездник таится в ущелье,
Где Терек играет в свирепом веселье;

Играет и воет, как зверь молодой,
Завидевший пищу из клетки железной;
И бьется о берег в вражде бесполезной
И лижет утесы голодной волной...
Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады:
Теснят его грозно немые громады.

1829

ОБВАЛ

Дробясь о мрачные скалы,
Шумят и пенятся валы,
И надо мной кричат орлы,
И ропщет бор,
И блещут средь волнистой мглы
Вершины гор.

Оттоль сорвался раз обвал,
И с тяжким грохотом упал,
И всю теснину между скал
Загородил,
И Терека могущий вал
Остановил.

Вдруг, истощась и присмирев,
О Терек, ты прервал свой рев;
Но задних волн упорный гнев
Прошиб снега...
Ты затопил, освирепев,
Свои брега.

И долго прорванный обвал
Неталой грудою лежал,
И Терек злой под ним бежал.
И пылью вод
И шумной пеной орошал
Ледяный свод.

И путь по нем широкий шел:
И конь скакал, и влекся вол,
И своего верблюда вел
Степной купец,
Где ныне мчится лишь Эол,
Небес жилец.

1829

МОНАСТЫРЬ НА КАЗБЕКЕ

Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.

Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.

Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..

1829

ДЕЛИБАШ

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;
На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к *лаве*,
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье.

Эй, казак! не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.

Мчатся, сшиблись в общем крике...
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.

1829

* * *

Когда твои младые лета
Позорит шумная молва,
И ты по приговору света
На честь утратила права;

Один среди толпы холодной
Твои страданья я делю
И за тебя мольбой бесплодной
Кумир бесчувственный молю.

Но свет... Жестоких осуждений
Не изменяет он своих:
Он не карает заблуждений,
Но тайны требует для них.

Достойны равного презренья
Его тщеславная любовь
И лицемерные гоненья:
К забвенью сердце приготовь;

Не пей мутительной отравы;
Оставь блестящий, душный круг;
Оставь безумные забавы:
Тебе один остался друг.

1829

К БЮСТУ ЗАВОЕВАТЕЛЯ

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

1829

ЭПИГРАММА

Журналами обиженный жестоко,
Зоил Пахом печалился глубоко;
На цензора вот подал он донос;
Но цензор прав, нам смех, зоилу нос.
Иная брань, конечно, неприличность,
Нельзя писать: *Такой-то де старик,*
Козел в очках, плюгавый клеветник,
И зол и подл: все это будет личность.

Но можете печатать, например,
Что господин парнасский старовер
(В своих статьях) бессмыслицы оратор,
Отменно вял, отменно скучноват,
Тяжеловат и даже глуповат;
Тут не лицо, а только литератор.

1829

* * *

Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций,
Проигрывал ты кучки ассигнаций,
И серебро, наследие отцов,
И лошадей, и даже кучеров —
И с радостью на карту б, на злодейку,
Поставил бы тетрадь своих стихов,
Когда б твой стих ходил хотя в копейку.

1829

* * *

Как сатирой безымянной
Лик зоила я пятнал,
Признаюсь: на вызов бранный
Возражений я не ждал.
Справедливы ль эти слухи?
Отвечал он? Точно ль так?
В полученье оплеухи
Расписался мой дурак?

1829

САПОЖНИК

(Притча)

Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво...
А эта грудь не слишком ли нага?»...
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!

1829

ЭПИГРАММА

Мальчишка Фебу гимн поднес.
«Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?» —
«Пятнадцать».— «Только-то? Эй, розгу!»
За сим принес семинарист
Тетрадь лакейских диссертаций,
И Фебу вслух прочел Гораций,
Кусая губы, первый лист.
Отяжелев, как от дурмана,
Сердито Феб его прервал
И тотчас взрослого болвана
Поставить в палки приказал.

1829

СОБРАНИЕ НАСЕКОМЫХ

Какие крохотны коровки!
Есть, право, менее булавочной головки.

Крылов

Мое собранье насекомых
Открыто для моих знакомых:
Ну, что за пестрая семья!
За ними где ни рылся я!
Зато какая сортировка!
Вот Глинка — божия коровка,
Вот Каченовский — злой паук,
Вот и Свиньин — российский жук,
Вот Олин — черная мурашка,
Вот Раич — мелкая букашка.

Куда их много набралось!
Опрятно за стеклом и в рамах
Они, пронзенные насквозь,
Рядком торчат на эпиграммах.

1829

ЦИКЛОП

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:
Единый глаз в главе моей.
Когда б судьбы того хотели,
Когда б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

1830

* * *

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальный,
Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Что в нем? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

1830

ОТВЕТ

Я вас узнал, о мой оракул,
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул,
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву, в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.

1830

* * *

В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звуки
Безумства, лени и страстей.

Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал.

Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.

И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.

Твоим огнем душа палима
Отвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе серафима
В священном ужасе поэт.

1830

СОНЕТ

Scorn not the sonnet, critic.
Wordsworth [1].

Суровый Дант не презирал сонета;
В нем жар любви Петрарка изливал;
Игру его любил творец Макбета;
Им скорбну мысль Камоэнс облекал.

И в наши дни пленяет он поэта:
Вордсворт его орудием избрал,
Когда вдали от суетного света
Природы он рисует идеал.

Под сенью гор Тавриды отдаленной
Певец Литвы в размер его стесненный
Свои мечты мгновенно заключал.

У нас еще его не знали девы,
Как для него уж Дельвиг забывал
Гекзаметра священные напевы.

1830

К ВЕЛЬМОЖЕ

(Москва)

От северных оков освобождая мир,
Лишь только на поля, струясь, дохнет зефир,
Лишь только первая позеленеет липа,
К тебе, приветливый потомок Аристиппа,
К тебе явлюся я; увижу сей дворец,
Где циркуль зодчего, палитра и резец
Ученой прихоти твоей повиновались
И вдохновенные в волшебстве состязались.

---

[1] Не презирай сонета, критик. *Вордсворт (англ.).*

Ты понял жизни цель: счастливый человек,
Для жизни ты живешь. Свой долгий ясный век
Еще ты смолоду умно разнообразил,
Искал возможного, умеренно проказил;
Чредою шли к тебе забавы и чины.
Посланник молодой увенчанной жены,
Явился ты в Ферней — и циник поседелый,
Умов и моды вождь пронырливый и смелый,
Свое владычество на Севере любя,
Могильным голосом приветствовал тебя.
С тобой веселости он расточал избыток,
Ты лесть его вкусил, земных богов напиток.
С Фернеем распростясь, увидел ты Версаль.
Пророческих очей не простирая вдаль,
Там ликовало все. Армида молодая,
К веселью, роскоши знак первый подавая,
Не ведая, чему судьбой обречена,
Резвилась, ветреным двором окружена.
Ты помнишь Трианон и шумные забавы?
Но ты не изнемог от сладкой их отравы;
Ученье делалось на время твой кумир:
Уединялся ты. За твой суровый пир
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал. И скромно ты внимал
За чашей медленной афею иль деисту,
Как любопытный скиф афинскому софисту.

Но Лондон звал твое внимание. Твой взор
Прилежно разобрал сей двойственный собор:
Здесь натиск пламенный, а там отпор суровый,
Пружины смелые гражданственности новой.

Скучая, может быть, над Темзою скупой,
Ты думал дале плыть. Услужливый, живой,
Подобный своему чудесному герою,
Веселый Бомарше блеснул перед тобою.
Он угадал тебя: в пленительных словах
Он стал рассказывать о ножках, о глазах,
О неге той страны, где небо вечно ясно,
Где жизнь ленивая проходит сладострастно,
Как пылкий отрока восторгов полный сон,
Где жены вечером выходят на балкон,

Глядят и, не страшась ревнивого испанца,
С улыбкой слушают и манят иностранца.
И ты, встревоженный, в Севиллу полетел.
Благословенный край, пленительный предел!
Там лавры зыблются, там апельсины зреют...
О, расскажи ж ты мне, как жены там умеют
С любовью набожность умильно сочетать,
Из-под мантильи знак условный подавать;
Скажи, как падает письмо из-за решетки,
Как златом усыплен надзор угрюмой тетки;
Скажи, как в двадцать лет любовник под окном
Трепещет и кипит, окутанный плащом.

Все изменилося. Ты видел вихорь бурь,
Падение всего, союз ума и фурий,
Свободой грозною воздвигнутый закон,
Под гильотиною Версаль и Трианон
И мрачным ужасом смененные забавы.
Преобразился мир при громах новой славы.
Давно Ферней умолк. Приятель твой Вольтер,
Превратности судеб разительный пример,
Не успокоившись и в гробовом жилище,
Доныне странствует с кладбища на кладбище.
Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, Дидерот,
Энциклопедии скептический причет,
И колкий Бомарше, и твой безносый Касти,
Все, все уже прошли. Их мненья, толки, страсти
Забыты для других. Смотри: вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.
Им некогда шутить, обедать у Темиры
Иль спорить о стихах. Звук новой, чудной лиры,
Звук лиры Байрона развлечь едва их мог.

Один все тот же ты. Ступив за твой порог,
Я вдруг переношусь во дни Екатерины.
Книгохранилище, кумиры, и картины,
И стройные сады свидетельствуют мне,
Что благосклонствуешь ты музам в тишине,
Что ими в праздности ты дышишь благородной.

Я слушаю тебя: твой разговор свободный
Исполнен юности. Влиянье красоты
Ты живо чувствуешь. С восторгом ценишь ты
И блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой.
Беспечно окружась Корреджием, Кановой,
Ты, не участвуя в волнениях мирских,
Порой насмешливо в окно глядишь на них
И видишь оборот во всем кругообразный.

Так, вихорь дел забыв для муз и неги праздной,
В тени порфирных бань и мраморных палат,
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то оратор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.

1830

НОВОСЕЛЬЕ

Благословляю новоселье,
Куда домашний свой кумир
Ты перенес — а с ним веселье,
Свободный труд и сладкий мир.

Ты счастлив: ты свой домик малый,
Обычай мудрости храня,
От злых забот и лени вялой
Застраховал, как от огня.

1830

* * *

Когда в объятия мои
Твой стройный стан я заключаю
И речи нежные любви
Тебе с восторгом расточаю,
Безмолвна, от стесненных рук
Освобождая стан свой гибкой,
Ты отвечаешь, милый друг,
Мне недоверчивой улыбкой;

Прилежно в памяти храня
Измен печальные преданья,
Ты без участья и вниманья
Уныло слушаешь меня...
Кляну коварные старанья
Преступной юности моей
И встреч условных ожиданья
В садах, в безмолвии ночей.
Кляну речей любовный шепот,
Стихов таинственный напев,
И ласки легковерных дев,
И слезы их, и поздний ропот.

1830

ПОЭТУ

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.

Ты царь: живи один. Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

Они в самом тебе. Ты сам свой высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

Доволен? Так пускай толпа его бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,
И в детской резвости колеблет твой треножник.

1830

МАДОНА

Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.

В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель —

Она с величием, он с разумом в очах —
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.

Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона,
Чистейшей прелести чистейший образец.

1830

БЕСЫ

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

«Эй, пошел, ямщик!..» — «Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.

Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вот — теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой».

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... «Что там в поле?» —
«Кто их знает? пень иль волк?»

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вон уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

1830

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.

Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

1830

ОТВЕТ АНОНИМУ

О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье
Приветствует мое к блаженству возрожденье,
Чья скрытая рука мне крепко руку жмет,
Указывает путь и посох подает;
О, кто бы ни был ты: старик ли вдохновенный,
Иль юности моей товарищ отдаленный,
Иль отрок, музами таинственно храним,
Иль пола кроткого стыдливый херувим,—
Благодарю тебя душою умиленной.
Вниманья слабого предмет уединенный,
К доброжелательству досель я не привык —
И странен мне его приветливый язык.
Смешон, участия кто требует у света!
Холодная толпа взирает на поэта,
Как на заезжего фигляра: если он
Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон,
И выстраданный стих, пронзительно-унылый,
Ударит по сердцам с неведомою силой,—
Она в ладони бьет и хвалит, иль порой
Неблагосклонною кивает головой.
Постигнет ли певца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье,—
«Тем лучше,— говорят любители искусств,—
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств
И нам их передаст». Но счастие поэта
Меж ими не найдет сердечного привета,
Когда боязненно безмолвствует оно...
— — — — — —

1830

ТРУД

Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний.
Что ж непонятная грусть тайно тревожит меня?
Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный,
Плату приявший свою, чуждый работе другой?
Или жаль мне труда, молчаливого спутника ночи,
Друга Авроры златой, друга пенатов святых?

1830

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой;
Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит.

1830

* * *

Глухой глухого звал к суду судьи глухого,
Глухой кричал: «Моя им сведена корова!» —
«Помилуй,— возопил глухой тому в ответ,—
Сей пустошью владел еще покойный дед».
Судья решил: «Чтоб не было разврата,
Жените молодца, хоть девка виновата».

1830

ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?

Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,

На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.

Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!

То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..

1830

ПРОЩАНИЕ

В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.

Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя все, меняя нас.
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.

Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.

1830

П А Ж,
и л и
П Я Т Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д

C'est l'âge de Chérubin...

Пятнадцать лет мне скоро минет;
Дождусь ли радостного дня?
Как он вперед меня подвинет!
Но и теперь никто не кинет
С презреньем взгляда на меня.

Уж я не мальчик — уж над губой
Могу свой ус я защипнуть;
Я важен, как старик беззубый;
Вы слышите мой голос грубый,
Попробуй кто меня толкнуть.

Я нравлюсь дамам, ибо скромен,
И между ими есть одна...
И гордый взор ее так томен,
И цвет ланит ее так тёмен,
Что жизни мне милей она.

Она строга, властолюбива,
Я сам дивлюсь ее уму —
И ужас как она ревнива;
Зато со всеми горделива
И мне доступна одному.

---

[1] Это возраст Керубино... *(франц.)*

Вечор она мне величаво
Клялась, что если буду вновь
Глядеть налево и направо,
То даст она мне яду; право —
Вот какова ее любовь!

Она готова хоть в пустыню
Бежать со мной, презрев молву.
Хотите знать мою богиню,
Мою севильскую графиню?..
Нет! ни за что не назову!

1830

* * *

Румяный критик мой, насмешник толстопузый,
Готовый век трунить над нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладим ли с проклятою хандрой.
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,
За ними чернозем, равнины скат отлогий,
Над ними серых туч густая полоса.
Где нивы светлые? где темные леса?
Где речка? На дворе у низкого забора
Два бедных деревца стоят в отраду взора,
Два только деревца. И то из них одно
Дождливой осенью совсем обнажено,
И листья на другом, размокнув и желтея,
Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.
И только. На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед.
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил.
Скорей! ждать некогда! давно бы схоронил.

Что ж ты нахмурился? — Нельзя ли блажь оставить!
И песенкою нас веселой позабавить? —

———

Куда же ты? — В Москву, чтоб графских именин
Мне здесь не прогулять.
— Постой, а карантин!

Ведь в нашей стороне индейская зараза.
Сиди, как у ворот угрюмого Кавказа,
Бывало, сиживал покорный твой слуга;
Что, брат? уж не трунишь, тоска берет — ага!

1830

* * *

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.

Исполнен отвагой,
Окутан плащом,
С гитарой и шпагой
Я здесь под окном.

Ты спишь ли? Гитарой
Тебя разбужу.
Проснется ли старый,
Мечом уложу.

Шелковые петли
К окошку привесь...
Что медлишь?.. Уж нет ли
Соперника здесь?..

Я здесь, Инезилья,
Я здесь под окном.
Объята Севилья
И мраком и сном.

1830

РИФМА

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея.
Феб, увидев ее, страстию к ней воспылал.
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного бога;
Меж говорливых наяд, мучась, она родила

Милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина.
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,
Матери чуткой подобна, послушна памяти строгой,
Музам мила; на земле Рифмой зовется она.

1830

ОТРОК

Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря;
Мальчик отцу помогал. Отрок, оставь рыбака!
Мрежи иные тебя ожидают, иные заботы:
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

1830

ЗАКЛИНАНИЕ

О, если правда, что в ночи,
Когда покоятся живые,
И с неба лунные лучи
Скользят на камни гробовые,
О, если правда, что тогда
Пустеют тихие могилы,—
Я тень зову, я жду Леилы:
Ко мне, мой друг, сюда, сюда!

Явись, возлюбленная тень,
Как ты была перед разлукой,
Бледна, хладна, как зимний день,
Искажена последней мукой.
Приди, как дальная звезда,
Как легкий звук иль дуновенье,
Иль как ужаспое виденье,
Мне все равно: сюда, сюда!..

Зову тебя не для того,
Чтоб укорять людей, чья злоба
Убила друга моего,
Иль чтоб изведать тайны гроба,
Не для того, что иногда
Сомненьем мучусь... но, тоскуя,
Хочу сказать, что все люблю я,
Что все я твой: сюда, сюда!

1830

СТИХИ, СОЧИНЕННЫЕ НОЧЬЮ ВО ВРЕМЯ БЕССОННИЦЫ

Мне не спится, нет огня;
Всюду мрак и сон докучный.
Ход часов лишь однозвучный
Раздается близ меня,
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья беготня...
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шепот?
Укоризна, или ропот
Мной утраченного дня?
От меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?
Я понять тебя хочу,
Смысла я в тебе ищу...

1830

ГЕРОЙ

Что есть истина?

Друг

Да, слава в прихотях вольна.
Как огненный язык, она
По избранным главам летает,
С одной сегодня исчезает
И на другой уже видна.
За новизной бежать смиренно
Народ бессмысленный привык;
Но нам уж то чело священно,
Над коим вспыхнул сей язык.
На троне, на кровавом поле,
Меж граждан на чреде иной
Из сих избранных кто всех боле
Твоею властвует душой?

Поэт

Все он, все он — пришлец сей бранный,
Пред кем смирилися цари,
Сей ратник, вольностью венчанный,
Исчезнувший, как тень зари.

Друг

Когда ж твой ум он поражает
Своею чудною звездой?
Тогда ль, как с Альпов он взирает
На дно Италии святой;
Тогда ли, как хватает знамя
Иль жезл диктаторский; тогда ль,
Как водит и кругом и вдаль
Войны стремительное пламя,
И пролетает ряд побед
Над ним одна другой вослед;
Тогда ль, как рать героя плещет
Перед громадой пирамид,
Иль как Москва пустынно блещет,
Его приемля,— и молчит?

Поэт

Нет, не у счастия на лоне
Его я вижу, не в бою,
Не зятем кесаря на троне,
Не там, где на скалу свою
Сев, мучим казнию покоя,
Осмеян прозвищем героя,
Он угасает недвижим,
Плащом закрывшись боевым.
Не та картина предо мною!
Одров я вижу длинный строй,
Лежит на каждом труп живой,
Клейменный мощною чумою,
Царицею болезней... он,
Не бранной смертью окружен,
Нахмурясь ходит меж одрами
И хладно руку жмет чуме
И в погибающем уме
Рождает бодрость... Небесами
Клянусь: кто жизнию своей
Играл пред сумрачным недугом,
Чтоб ободрить угасший взор,
Клянусь, тот будет небу другом,
Каков бы ни был приговор
Земли слепой...

Друг

Мечты поэта —
Историк строгий гонит вас!
Увы! его раздался глас [1],—
И где ж очарованье света!

Поэт

Да будет проклят правды свет,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно! — Нет!
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран...

Друг

Утешься . . . . . .

29 сентября 1830
Москва

* * *

В начале жизни школу помню я;
Там нас, детей беспечных, было много;
Неровная и резвая семья.

Смиренная, одетая убого,
Но видом величавая жена
Над школою надзор хранила строго.

Толпою нашею окружена,
Приятным, сладким голосом, бывало,
С младенцами беседует она.

Ее чела я помню покрывало
И очи светлые, как небеса.
Но я вникал в ее беседы мало.

---

[1] Mémoires de Bourrienne.

Меня смущала строгая краса
Ее чела, спокойных уст и взоров,
И полные святыни словеса.

Дичась ее советов и укоров,
Я про себя превратно толковал
Понятный смысл правдивых разговоров,

И часто я украдкой убегал
В великолепный мрак чужого сада,
Под свод искусственный порфирных скал.

Там нежила меня теней прохлада;
Я предавал мечтам свой юный ум,
И праздномыслить было мне отрада.

Любил я светлых вод и листьев шум,
И белые в тени дерев кумиры,
И в ликах их печать недвижных дум.

Всё — мраморные циркули и лиры,
Мечи и свитки в мраморных руках,
На главах лавры, на плечах порфиры —

Все наводило сладкий некий страх
Мне на сердце; и слезы вдохновенья,
При виде их, рождались на глазах.

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.

Один (Дельфийский идол)' лик младой —
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал —
Волшебный демон — лживый, но прекрасный.

Пред ними сам себя я забывал;
В груди младое сердце билось — холод
Бежал по мне и кудри подымал.

Безвестных наслаждений ранний голод
Меня терзал — уныние и лень
Меня сковали — тщетно был я молод.

Средь отроков я молча целый день
Бродил угрюмый — всё кумиры сада
На душу мне свою бросали тень.

1830

НА ПЕРЕВОД ИЛИАДЫ

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.

1830

* * *

Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.

Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».

Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...

1830

ОТРЫВОК

Не розу пафосскую,
Росой оживленную,
Я ныне пою,
Не розу феосскую,
Вином окропленную,
Стихами хвалю;
Но розу счастливую,
На персях увядшую
Элизы моей...

1830

ИЗ BARRY CORNWALL

Here's a health to thee, Mary [1].

Пью за здравие Мери,
Милой Мери моей.
Тихо запер я двери
И один без гостей
Пью за здравие Мери.

Можно краше быть Мери,
Краше Мери моей,
Этой маленькой пери;
Но нельзя быть милей
Резвой, ласковой Мери.

Будь же счастлива, Мери,
Солнце жизни моей!
Ни тоски, ни потери,
Ни ненастливых дней
Пусть не ведает Мери.

1830

* * *

Пред испанкой благородной
Двое рыцарей стоят.
Оба смело и свободно
В очи прямо ей глядят.

---

[1] Твое здоровье, Мери *(англ.)*.

Блещут оба красотою,
Оба сердцем горячи,
Оба мощною рукою
Оперлися на мечи.

Жизни им она дороже
И, как слава, им мила;
Но один ей мил — кого же
Дева сердцем избрала?
«Кто, реши, любим тобою?» —
Оба деве говорят
И с надеждой молодою
В очи прямо ей глядят.

1830

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ

Смеясь жестоко над собратом,
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.

Понятна мне времен превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У нас нова рожденьем знатность,
И чем новее, тем знатней.
Родов дряхлеющих обломок
(И по несчастью, не один),
Бояр старинных я потомок;
Я, братцы, мелкий мещанин.

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князья не прыгал из хохлов,
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудреных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

Мой предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил;
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.
Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.

Смирив крамолу и коварство
И ярость бранных непогод,
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили,
Нас жаловал страдальца сын.
Бывало, нами дорожили;
Бывало... но — я мещанин.

Упрямства дух нам всем подгадил:
В родню свою неукротим,
С Петром мой пращур не поладил
И был за то повешен им.
Его пример будь нам наукой:
Не любит споров властелин.
Счастлив князь Яков Долгорукой,
Умен покорный мещанин.

Мой дед, когда мятеж поднялся
Средь петергофского двора,
Как Миних, верен оставался
Паденью третьего Петра.
Попали в честь тогда Орловы,
А дед мой в крепость, в карантин,
И присмирел наш род суровый,
И я родился мещанин.

Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин,
Я не богач, не царедворец,
Я сам большой: я мещанин.

Post scriptum

Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля.

Сей шкипер деду был доступен,
И сходно купленный арап
Возрос усерден, неподкупен,
Царю наперсник, а не раб.

И был отец он Ганнибала,
Пред кем средь чесменских пучин
Громада кораблей вспылала,
И пал впервые Наварин.

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. он в Мещанской дворянин.

1830

ЦЫГАНЫ

Над лесистыми брегами,
В час вечерней тишины,
Шум и песни под шатрами,
И огни разложены.

Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное время
Провождал сии шатры.

Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след,
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уж ваш поэт.

Он бродящие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.

1830

* * *

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

1831

КЛЕВЕТНИКАМ РОССИИ

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага —
И ненавидите вы нас...

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах — попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,

Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

1831

БОРОДИНСКАЯ ГОДОВЩИНА

Великий день Бородина
Мы братской тризной поминая,
Твердили: «Шли же племена,
Бедой России угрожая;
Не вся ль Европа тут была?
А чья звезда ее вела!..
Но стали ж мы пятою твердой
И грудью приняли напор
Племен, послушных воле гордой,
И равен был неравный спор.

И что ж? свой бедственный побег,
Кичась, они забыли ныне;
Забыли русский штык и снег,
Погребший славу их в пустыне.
Знакомый пир их манит вновь —
Хмельна для них славянов кровь;
Но тяжко будет им похмелье;
Но долог будет сон гостей
На тесном, хладном новоселье,
Под злаком северных полей!

Ступайте ж к нам: вас Русь зовет!
Но знайте, прошеные гости!
Уж Польша вас не поведет:
Через ее шагнете кости!..»
Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы;
И Польша, как бегущий полк,
Во прах бросает стяг кровавый —
И бунт раздавленный умолк.

В боренье падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали;
Мы не напомним ныне им
Того, что старые скрижали
Хранят в преданиях немых;
Мы не сожжем Варшавы их;
Они народной Немезиды
Не узрят гневного лица
И не услышат песнь обиды
От лиры русского певца.

Но вы, мутители палат,
Легкоязычные витии,
Вы, черни бедственный набат,
Клеветники, враги России!
Что взяли вы?.. Еще ли росс
Больной, расслабленный колосс?
Еще ли северная слава
Пустая притча, лживый сон?
Скажите: скоро ль нам Варшава
Предпишет гордый свой закон?

Куда отдвинем строй твердынь?
За Буг, до Ворсклы, до Лимана?
За кем останется Волынь?
За кем наследие Богдана?
Признав мятежные права,
От нас отторгнется ль Литва?
Наш Киев дряхлый, златоглавый,
Сей пращур русских городов,
Сроднит ли с буйною Варшавой
Святыню всех своих гробов?

Ваш бурный шум и хриплый крик
Смутили ль русского владыку?
Скажите, кто главой поник?
Кому венец: мечу иль крику?
Сильна ли Русь? Война, и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!
А вкруг ее волненья пали —
И Польши участь решена...

Победа! сердцу сладкий час!
Россия! встань и возвышайся!
Греми, восторгов общий глас!..
Но тише, тише раздавайся
Вокруг одра, где он лежит,
Могучий мститель злых обид,
Кто покорил вершины Тавра,
Пред кем смирилась Эривань,
Кому суворовского лавра
Венок сплела тройная брань.

Восстав из гроба своего,
Суворов видит плен Варшавы;
Вострепетала тень его
От блеска им начатой славы!
Благословляет он, герой,
Твое страданье, твой покой,
Твоих сподвижников отвагу,
И весть триумфа твоего,
И с ней летящего за Прагу
Младого внука своего.

1831

ЭХО

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов,
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

1831

* * *

Чем чаще празднует лицей
Свою святую годовщину,
Тем робче старый круг друзей
В семью стесняется едину,
Тем реже он; тем праздник наш
В своем веселии мрачнее;
Тем глуше звон заздравных чаш
И наши песни тем грустнее.

Так дуновенья бурь земных
И нас нечаянно касались,
И мы средь пиршеств молодых
Душою часто омрачались;
Мы возмужали; рок судил
И нам житейски испытанья,
И смерти дух средь нас ходил
И назначал свои закланья.

Шесть мест упраздненных стоят,
Шести друзей не узрим боле,
Они разбросанные спят —
Кто здесь, кто там на ратном поле,
Кто дома, кто в земле чужой,
Кого недуг, кого печали
Свели во мрак земли сырой,
И надо всеми мы рыдали.

И мнится, очередь за мной,
Зовет меня мой Дельвиг милый,
Товарищ юпости живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и чистых помышлений,
Туда, в толпу тепей родных
Навек от нас утекший гений.

Тесней, о милые друзья,
Тесней наш верный круг составим,
Почившим песнь окончил я,
Живых надеждою поздравим,

Надеждой некогда опять
В пиру лицейском очутиться,
Всех остальных еще обнять
И новых жертв уж не страшиться.

1831

* * *

Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем.
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле!

1831

* * *

I

И дале мы пошли — и страх обнял меня.
Бесенок, под себя поджав свое копыто,
Крутил ростовщика у адского огня.

Горячий капал жир в копченое корыто,
И лопал на огне печеный ростовщик.
А я: «Поведай мне: в сей казни что сокрыто?»

Виргилий мне: «Мой сын, сей казни смысл велик:
Одно стяжание имев всегда в предмете,
Жир должников своих сосал сей злой старик

И их безжалостно крутил на вашем свете».
Тут грешник жареный протяжно возопил:
«О, если б я теперь тонул в холодной Лете!

О, если б зимний дождь мне кожу остудил!
Сто на сто я терплю: процент неимоверный!»
Тут звучно лопнул он — я взоры потупил.

Тогда услышал я (о диво!) запах скверный,
Как будто тухлое разбилось яицо,
Иль карантинный страж курил жаровней серной.

Я, нос себе зажав, отворотил лицо.
Но мудрый вождь тащил меня все дале, дале —
И, камень приподняв за медное кольцо,

Сошли мы вниз — и я узрел себя в подвале.

II

Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной —
И бесы тешились проклятою игрой:

До свода адского касалася вершиной
Гора стеклянная, как Арарат остра —
И разлегалася над темною равниной.

И бесы, раскалив как жар чугун ядра,
Пустили вниз его смердящими когтями;
Ядро запрыгало — и гладкая гора,

Звеня, растрескалась колючими звездами.
Тогда других чертей нетерпеливый рой
За жертвой кинулся с ужасными словами.

Схватили под руки жену с ее сестрой.
И заголили их, и вниз пихнули с криком —
И обе, сидючи, пустились вниз стрелой...

Порыв отчаянья я внял в их вопле диком;
Стекло их резало, впивалось в тело им —
А бесы прыгали в веселии великом.

Я издали глядел — смущением томим.

1832

МАЛЬЧИКУ

(Из Катулла)

Minister vetuli, puer [1].

Пьяной горечью Фалерна
Чашу мне наполни, мальчик!
Так Постумия велела,
Председательница оргий.
Вы же, воды, прочь теките
И струей, вину враждебной,
Строгих постников поите:
Чистый нам любезен Бахус.

1832

В АЛЬБОМ А. О. СМИРНОВОЙ

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

1832

В АЛЬБОМ к ж. А. Д. АБАМЕЛЕК

Когда-то (помню с умиленьем)
Я смел вас нянчить с восхищеньем,
Вы были дивное дитя.
Вы расцвели — с благоговеньем
Вам ныне поклоняюсь я.
За вами сердцем и глазами
С невольным трепетом ношусь
И вашей славою и вами,
Как нянька старая, горжусь.

1832

---

[1] Старого фалернского, мальчик *(лат.)*.

ГНЕДИЧУ

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали,
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей,
Разбил ли ты свои скрижали?
О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
Скрываться в тень долины малой,
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты
Жужжанью пчел над розой алой.
Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены,
То Рим его зовет, то гордый Илион,
То скалы старца Оссиана,
И с дивной легкостью меж тем летает он
Вослед Бовы иль Еруслана.

1832

КРАСАВИЦА

Всё в ней гармония, всё диво,
Всё выше мира и страстей;
Она покоится стыдливо
В красе торжественной своей;
Она кругом себя взирает:
Ей нет соперниц, нет подруг;
Красавиц наших бледный круг
В ее сиянье исчезает.

Куда бы ты ни поспешал,
Хоть на любовное свиданье,
Какое б в сердце ни питал
Ты сокровенное мечтанье,—

Но, встретясь с ней, смущенный, ты
Вдруг остановишься невольно,
Благоговея богомольно
Перед святыней красоты.

1832

К ***

Нет, нет, не должен я, не смею, не могу
Волнениям любви безумно предаваться;
Спокойствие мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться;
Нет, полно мне любить; но почему ж порой
Не погружуся я в минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдет передо мной
Младое, чистое, небесное созданье,
Пройдет и скроется?.. Ужель не можно мне,
Любуясь девою в печальном сладострастье,
Глазами следовать за ней и в тишине
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцем ей желать все блага жизни сей,
Веселый мир души, беспечные досуги,
Всё — даже счастие того, кто избран ей,
Кто милой деве даст название супруги.

1832

В АЛЬБОМ

Гонимый рока самовластьем
От пышной далеко Москвы,
Я буду вспоминать с участьем
То место, где цветете вы.
Столичный шум меня тревожит;
Всегда в нем грустно я живу —
И ваша память только может
Одна напомнить мне Москву.

1832

(ИЗ КСЕНОФАНА КОЛОФОНСКОГО)

Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают;
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь,
Ладана сладостный дым; другой открывает амфору,
Запах веселый вина разливая далече; сосуды

Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный
Мед и сыр молодой — все готово; весь убран цветами
Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други,
Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи,
Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой
душою
Правду блюсти: ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим:
Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика
В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава
Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!

1833

* * *

Бог веселый винограда
Позволяет нам три чаши
Выпивать в пиру вечернем.
Первую во имя граций,
Обнаженных и стыдливых,
Посвящается вторая
Краснощекому здоровью,
Третья дружбе многолетней.
Мудрый после третьей чаши
Все венки с главы слагает
И творит уж возлиянья
Благодатному Морфею.

1833

* * *

Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу
С трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай.

1833

ВИНО

(Ион Хиосский)

Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный,
Гордость внушающий нам, шумный заступник любви!

1833

ГУСАР

Скребницей чистил он коня,
А сам ворчал, сердясь не в меру:
«Занес же вражий дух меня
На распроклятую квартеру!

Здесь человека берегут,
Как на турецкой перестрелке,
Насилу щей пустых дадут,
А уж не думай о горелке.

Здесь на тебя как лютый зверь
Глядит хозяин, а с хозяйкой...
Небось не выманишь за дверь
Ее ни честью, ни нагайкой.

То ль дело Киев! Что за край!
Валятся сами в рот галушки,
Вином — хоть пару поддавай,
А молодицы-молодушки!

Ей-ей, не жаль отдать души
За взгляд красотки *чернобривой.*
Одним, одним не хороши...»
— А чем же? расскажи, служивый.

Он стал крутить свой длинный ус
И начал: «Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.

Ну, слушай: около Днепра
Стоял наш полк; моя хозяйка
Была пригожа и добра,
А муж-то помер, замечай-ка!

Вот с ней и подружился я;
Живем согласно, так что любо:
Прибью — Марусенька моя
Словечка не промолвит грубо;

Напьюсь — уложит, и сама
Опохмелиться приготовит;
Мигну, бывало: «Эй, кума!» —
Кума ни в чем не прекословит.

Кажись: о чем бы горевать?
Живи в довольстве, безобидно;
Да нет: я вздумал ревновать.
Что делать? враг попутал, видно.

Зачем бы ей, стал думать я,
Вставать до петухов? кто просит?
Шалит Марусенька моя;
Куда ее лукавый носит?

Я стал присматривать за ней.
Раз я лежу, глаза прищуря
(А ночь была тюрьмы черней,
И на дворе шумела буря),

И слышу: кумушка моя
С печи тихохонько прыгнула,
Слегка обшарила меня,
Присела к печке, уголь вздула

И свечку тонкую зажгла,
Да в уголок пошла со свечкой,
Там с полки скляночку взяла
И, сев на веник перед печкой,

Разделась донага; потом
Из склянки три раза хлебнула,
И вдруг на венике верхом
Взвилась в трубу — и улизнула.

Эге! смекнул в минуту я:
Кума-то, видно, басурманка!
Постой, голубушка моя!..
И с печки слез — и вижу: склянка.

Понюхал: кисло! что за дрянь!
Плеснул я на пол: что за чудо?
Прыгнул ухват, за ним лохань,
И оба в печь. Я вижу: худо!

Гляжу: под лавкой дремлет кот;
И на него я брызнул склянкой —
Как фыркнет он! я: брысь!.. И вот
И он туда же за лоханкой.

Я ну кропить во все углы
С плеча, во что уж ни попало;
И всё: горшки, скамьи, столы,
Марш! марш! все в печку поскакало.

Кой черт! подумал я: теперь
И мы попробуем! и духом
Всю склянку выпил; верь не верь —
Но кверху вдруг взвился я пухом.

Стремглав лечу, лечу, лечу,
Куда, не помню и не знаю;
Лишь встречным звездочкам кричу:
Правей!.. и наземь упадаю.

Гляжу: гора. На той горе
Кипят котлы; поют, играют,
Свистят и в мерзостной игре
Жида с лягушкою венчают.

Я плюнул и сказать хотел...
И вдруг бежит моя Маруся:
Домой! кто звал тебя, пострел?
Тебя съедят! Но я, не струся:

Домой? да! черта с два! почем
Мне знать дорогу? — Ах, он странный!
Вот кочерга, садись верхом
И убирайся, окаянный.

— Чтоб я, я сел на кочергу,
Гусар присяжный! Ах ты, дура!
Или предался я врагу?
Иль у тебя двойная шкура?

Коня! — На, дурень, вот и конь.—
И точно: конь передо мною,
Скребет копытом, весь огонь,
Дугою шея, хвост трубою.

— Садись.— Вот сел я на коня,
Ищу уздечки,— нет уздечки.
Как взвился, как понес меня —
И очутились мы у печки.

Гляжу: всё так же; сам же я
Сижу верхом, и подо мною
Не конь — а старая скамья:
Вот что случается порою».

И стал крутить он длинный ус,
Прибавя: «Молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды».

1833

* * *

В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой,
Светит месяц, тройка мчится
По дороге столбовой.

Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки,
Звуки песни удалой.

Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальный вой.

Пой: «Лучинушка, лучина,
Что же не светло горишь?»

1833

* * *

Сват Иван, как пить мы станем,
Непременно уж помянем
Трех Матрен, Луку с Петром
Да Пахомовну потом.
Мы живали с ними дружно,

Уж как хочешь — будь что будь —
Этих надо помянуть,
Помянуть нам этих нужно.
Поминать так поминать,
Начинать так начинать,
Лить так лить, разлив разливом.
Начинай-ка, сват, пора.
Трех Матрен, Луку, Петра
В первый раз помянем пивом,
А Пахомовну потом
Пирогами да вином,
Да еще ее помянем:
Сказки сказывать мы станем —
Мастерица ведь была
И откуда что брала.
А куда разумны шутки,
Приговорки, прибаутки,
Небылицы, былины
Православной старины!..
Слушать, так душе отрадно.
И не пил бы и не ел,
Всё бы слушал да сидел.
Кто придумал их так ладно?
Стариков когда-нибудь
(Жаль, теперь нам не досужно)
Надо будет помянуть —
Помянуть и этих нужно...—
Слушай, сват, начну первой,
Сказка будет за тобой.

1833

БУДРЫС И ЕГО СЫНОВЬЯ

Три у Будрыса сына, как и он, три литвина.
Он пришел толковать с молодцами.
«Дети! седла чините, лошадей проводите
Да точите мечи с бердышами.

Справедлива весть эта: на три стороны света
Три замышлены в Вильне похода.
Паз идет на поляков, а Ольгерд на прусаков,
А на русских Кестут воевода.

Люди вы молодые, силачи удалые
(Да хранят вас литовские боги!),
Нынче сам я не еду, вас я шлю на победу;
Трое вас, вот и три вам дороги.

Будет всем по награде: пусть один в Новеграде
Поживится от русских добычей.
Жены их, как в окладах, в драгоценных нарядах;
Домы полны; богат их обычай.

А другой от прусаков, от проклятых крыжаков,
Может много достать дорогого,
Денег с целого света, сукон яркого цвета;
Янтаря — что песку там морского.

Третий с Пазом на ляха пусть ударит без страха;
В Польше мало богатства и блеску,
Сабель взять там не худо; но уж верно оттуда
Привезет он мне на дом невестку.

Нет на свете царицы краше польской девицы.
Весела — что котенок у печки —
И как роза румяна, а бела, что сметана;
Очи светятся будто две свечки!

Был я, дети, моложе, в Польшу съездил я тоже
И оттуда привез себе женку;
Вот и век доживаю, а всегда вспоминаю
Про нее, как гляжу в ту сторонку».

Сыновья с ним простились и в дорогу пустились.
Ждет, пождет их старик домовитый,
Дни за днями проводит, ни один не приходит.
Будрыс думал: уж, видно, убиты!

Снег на землю валится, сын дорогою мчится,
И под буркою ноша большая.
«Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли ли?»
«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег пушистый валится; всадник с ношею мчится,
Черной буркой ее покрывая.
«Что под буркой такое? Не сукно ли цветное?»
«Нет, отец мой; полячка младая».

Снег на землю валится, третий с ношею мчится,
Черной буркой ее прикрывает.
Старый Будрыс хлопочет и спросить уж не хочет,
А гостей на три свадьбы сзывает.

1833

ВОЕВОДА

Поздно ночью из похода
Воротился воевода.
Он слугам велит молчать;
В спальню кинулся к постеле;
Дернул полог... В самом деле!
Никого; пуста кровать.

И, мрачнее черной ночи,
Он потупил грозны очи,
Стал крутить свой сивый ус...
Рукава назад закинул,
Вышел вон, замок задвинул;
«Гей, ты, кликнул, чертов кус!

А зачем нет у забора
Ни собаки, ни затвора?
Я вас, хамы!.. Дай ружье;
Приготовь мешок, веревку
Да сними с гвоздя винтовку.
Ну, за мною!.. Я ж ее!»

Пан и хлопец под забором
Тихим крадутся дозором,
Входят в сад — и сквозь ветвей,
На скамейке у фонтана,
В белом платье, видят, панна
И мужчина перед ней.

Говорит он: «Все пропало,
Чем лишь только я, бывало,
Наслаждался, что любил:

Белой груди воздыханье,
Нежной ручки пожиманье...
Воевода все купил.

Сколько лет тобой страдал я,
Сколько лет тебя искал я!
От меня ты отперлась.
Не искал он, не страдал он,
Серебром лишь побряцал он,
И ему ты отдалась.

Я скакал во мраке ночи
Милой панны видеть очи,
Руку нежную пожать;
Пожелать для новоселья
Много лет ей и веселья,
И потом навек бежать».

Панна плачет и тоскует,
Он колени ей целует,
А сквозь ветви те глядят,
Ружья наземь опустили,
По патрону откусили,
Вбили шомполом заряд.

Подступили осторожно.
«Пан мой, целить мне не можно,—
Бедный хлопец прошептал: —
Ветер, что ли, плачут очи,
Дрожь берет; в руках нет мочи,
Порох в полку не попал».

«Тише ты, гайдучье племя!
Будешь плакать, дай мне время!
Сыпь на полку... Наводи...
Цель ей в лоб. Левее... выше.
С паном справлюсь сам. Потише;
Прежде я; ты погоди».

Выстрел по саду раздался.
Хлопец пана не дождался;

Воевода закричал,
Воевода пошатнулся...
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.

1833

* * *

Когда б не смутное влеченье
Чего-то жаждущей души,
Я здесь остался б — наслажденье
Вкушать в неведомой тиши:
Забыл бы всех желаний трепет,
Мечтою б целый мир назвал —
  И всё бы слушал этот лепет,
  Всё б эти ножки целовал...

1833

* * *

Колокольчики звенят,
Барабанчики гремят,
  А люди-то люди —
  Ой люшеньки-люли!
  А люди-то, люди
На цыганочку глядят.

А цыганочка-то пляшет,
В барабанчики-то бьет,
Голубой ширинкой машет,
Заливается-поет:
«Я плясунья, я певица,
Ворожить я мастерица».

1833

ОСЕНЬ

(Отрывок)

Чего в мой дремлющий тогда не входит ум?

Державин

I

Октябрь уж наступил — уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает.

Журча еще бежит за мельницу ручей,
Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает
В отъезжие поля с охотою своей,
И страждут озими от бешеной забавы,
И будит лай собак уснувшие дубравы.

II

Теперь моя пора: я не люблю весны;
Скучна мне оттепель; вонь, грязь — весной я болен;
Кровь бродит; чувства, ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более доволен,
Люблю ее снега; в присутствии луны
Как легкий бег саней с подругой быстр и волен,
Когда под соболем, согрета и свежа,
Она вам руку жмет, пылая и дрожа!

III

Как весело, обув железом острым ноги,
Скользить по зеркалу стоячих, ровных рек!
А зимних праздников блестящие тревоги?..
Но надо знать и честь; полгода снег да снег,
Ведь это наконец и жителю берлоги,
Медведю, надоест. Нельзя же целый век
Кататься нам в санях с Армидами младыми
Иль киснуть у печей за стеклами двойными.

IV

Ох, лето красное! любил бы я тебя,
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи.
Ты, все душевные способности губя,
Нас мучишь; как поля, мы страждем от засухи;
Лишь как бы напоить да освежить себя —
Иной в нас мысли нет, и жаль зимы старухи,
И, проводив ее блинами и вином,
Поминки ей творим мороженым и льдом.

V

Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.

Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной.

VI

Как это объяснить? Мне нравится она,
Как, вероятно, вам чахоточная дева
Порою нравится. На смерть осуждена,
Бедняжка клонится без ропота, без гнева.
Улыбка на устах увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет.
Она жива еще сегодня, завтра нет.

VII

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

VIII

И с каждой осенью я расцветаю вновь;
Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят — я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

IX

Ведут ко мне коня; в раздолии открытом,
Махая гривою, он всадника несет,
И звонко под его блистающим копытом
Звенит промерзлый дол и трескается лед.

Но гаснет краткий день, и в камельке забытом
Огонь опять горит — то яркий свет лиет,
То тлеет медленно — а я пред ним читаю
Иль думы долгие в душе моей питаю.

X

И забываю мир — и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

XI

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.

XII

Плывет. Куда ж нам плыть? . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1833

* * *

Не дай мне бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума;
  Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
  Расстаться был не рад:

Когда б оставили меня
На воле, как бы резво я
  Пустился в темный лес!
Я пел бы в пламенном бреду,
Я забывался бы в чаду
  Нестройных, чудных грез.

И я б заслушивался волн,
И я глядел бы, счастья полн,
  В пустые небеса;
И силен, волен был бы я,
Как вихорь, роющий поля,
  Ломающий леса.

Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
  Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверка
  Дразнить тебя придут.

А ночью слышать буду я
Не голос яркий соловья,
  Не шум глухой дубров —
А крик товарищей моих,
Да брань смотрителей ночных,
  Да визг, да звон оков.

1833

* * *

Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь.

Надолго ли?.. а кажется, прошли
Дни мрачных бурь, дни горьких искушений...

1834

* * *

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит —
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

1834

* * *

Он между нами жил
Средь племени ему чужого; злобы
В душе своей к нам не питал, и мы
Его любили. Мирный, благосклонпый,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песпями (он вдохновен был свыше
И свысока взирал на жизнь). Нередко
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.
Мы жадно слушали поэта. Он
Ушел на запад — и благословеньем
Его мы проводили. Но теперь
Наш мирный гость нам стал врагом — и ядом
Стихи свои, в угоду черни буйной,
Он напояет. Издали до нас
Доходит голос злобного поэта,
Знакомый голос!.. боже! освяти
В нем сердце правдою твоей и миром,
И возврати ему...

1834

ПЕСНИ ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большая часть этих песен взята мною из книги, вышедшей в Париже в конце 1827 года, под названием La Guzla, ou choix de Poésies Illyriques, recueillies dans la Dalmatie, a Bosnie, la Croatie

et l'Herzégowine [1]. *Неизвестный издатель говорил в своем предисловии, что, собирая некогда безыскусственные песни полудикого племени, он не думал их обнародовать, но что потом, заметив распространяющийся вкус к произведениям иностранным, особенно к тем, которые в своих формах удаляются от классических образцов, вспомнил он о собрании своем и, по совету друзей, перевел некоторые из сих поэм и проч. Сей неизвестный собиратель был не кто иной, как Мериме, острый и оригинальный писатель, автор Театра Клары Газюль, Хроники времен Карла IX, Двойной Ошибки и других произведений, чрезвычайно замечательных в глубоком и жалком упадке нынешней французской литературы. Поэт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в славенской поэзии, не усумнился в подлинности сих песен, а какой-то ученый немец написал о них пространную диссертацию.*

Мне очень хотелось знать, на чем основано изобретение странных сих песен: С. А. Соболевский, по моей просьбе, писал о том к Мериме, с которым был он коротко знаком, и в ответ получил следующее письмо:

Paris, 18 janvier 1835.

Je croyais, Monsieur, que la Guzla n'avait eu que sept lecteurs, vous, moi et le prote compris; je vois avec bien du plaisir que j'en puis compter deux de plus ce qui forme un joli total de neuf et confirme le proverbe que nul n'est prophète en son pays. Je répondrai candidement à vos questions. La Guzla a été composée par moi pour deux motifs, dont le premier était de me moquer de la couleur locale dans laquelle nous nous jetions à plein collier vers l'an de grâce 1827. Pour vous rendre compte de l'autre motif je suis obligé de vous conter une histoire. En cette même année 1827, un de mes amis et moi nous avions formé le projet de faire un voyage en Italie. Nous étions devant une carte traçant au crayon notre itinéraire; arrivés à Venise, sur la carte s'entend, et ennuyés des Anglais et des Allemands que nous rencontrions, je proposai d'aller à Trieste puis de là à Raguse. La proposition fut adoptée, mais nous étions fort légers d'argent et cette «douleur nonpareille» comme dit Rabelais nous arrêtait au milieu de nos plans. Je proposai alors d'écrire d'avance notre voyage, de le vendre à un libraire et d'emloyer le prix à voir si nous nous étions beaucoup trompés. Je demandai pour ma part à colliger les poésies populaires et à les traduire, on me mit au défi, et le lendemain j'apportai à mon compagnon de voyage cinq ou six de ces traductions. Je passais l'automne à la campagne. On déjeunait à midi et je me levais à dix heu-

---

[1] Гузла, или сборник иллирийских стихотворений, собранный в Далмации, Боснии, Хорватии и Герцеговине *(франц.)*.

res, quand j'avais fumé un ou deux cigares ne sachant que faire, avant que les femmes ne paraissent au salon, j'écrivais une ballade. Il en résulta un petit volume que je publiai en grand secret et qui mystifia deux ou trois personnes. Voici les sources où j'ai puisé cette couleur locale tant vantée: d'abord une petite brochure d'un consul de France à Banialouka. J'en ai oublié le titre, l'analyse en serait facile. L'auteur cherche à prouver que les Bosniaques sont de fiers cochons, et il en donne d'assez bonnes raisons. Il cite par-ci par-là quelques mots illyriques pour faire parade de son savoir (il en savait peut-être autant que moi). J'ai recueilli ces mots avec soin et les ai mis dans mes notes. Puis j'avais lu le chapitre intitulé: De'costumi dei Morlachi dans le voyage en Dalmatie de Fortis. Il a donné le texte et la traduction de la complainte de la femme de Hassan Aga qui est réellement illyrique; mais cette traduction était en vers. Je me donnai une peine infinie pour avoir une traduction littérale en comparant les mots du texte qui étaient répétés avec l'interprétation de l'abbé Fortis. A force de patience, j'obtins un mot à mot, mais j'étais embarrassé encore sur quelques points. Je m'adressai à un de mes amis qui sait le russe. Je lui lisais le texte en le prononçant à l'italienne, et il le comprit presque entièrement. Le bon fut, que Nodier qui avait déterré Fortis et la ballade de Hassan Aga, et l'avait traduite sur la traduction poétique de l'abbé en la poétisant encore dans sa prose, Nodier cria comme un aigle que je l'avais pillé. Le premier vers illyrique est:

Scto se bieli u *gorje* zelenoï

Fortis a traduit:

Che mai biancheggia nel verde *Bosco*

Nodier a traduit bosco par *plaine verdoyante;* c'était mal tomber, car on me dit que *gorje* veut dire colline. Voilà mon histoire. Faites mes excuses à M. Pouchkine. Je suis fier et honteux à la fois de l'avoir attrapé, и проч.

<Перевод:

Париж, 18 января 1835.

Я думал, милостивый государь, что у Гузлы было только семь читателей, в том числе вы, я и корректор: с большим удовольствием узнаю, что могу причислить к ним еще двух, что составляет в итоге приличное число девять и подтверждает поговорку — никто не пророк в своем отечестве. Буду отвечать на ваши вопросы чистосердечно. Гузлу я написал по двум мотивам,— во-первых, я хотел посмеяться над «местным колоритом», в который мы слепо ударились в лето от рождества Христова 1827. Для объяснения второго мотива мне необходимо рассказать вам следующую историю. В том же 1827 году мы с одним из моих друзей задумали путешествие по Италии. Мы набрасывали карандашом по карте наш маршрут. Так мы прибыли в Венецию — разумеется, на карте,— где нам надоели встречавшиеся англичане и немцы, и я предложил отправиться в Триест, а оттуда в Рагузу. Предложение было принято, но кошельки

наши были почти пусты, и эта «несравненная скорбь», как говорил Рабле, остановила нас на полдороге. Тогда я предложил сначала описать наше путешествие, продать книгопродавцу и вырученные деньги употребить на то, чтобы проверить, во многом ли мы ошиблись. На себя я взял собирание народных песен и перевод их: мне было выражено недоверие, но на другой же день я доставил моему товарищу по путешествию пять или шесть переводов. Осень я провел в деревне. Завтрак у нас был в полдень, я же вставал в десять часов; выкурив одну или две сигары и не зная, что делать до прихода дам в гостиную, я писал балладу. Из них составился томик, который я издал под большим секретом, и мистифицировал им двух или трех лиц. Вот мои источники, откуда я почерпнул этот столь превознесенный «местный колорит»: во-первых, небольшая брошюра одного французского консула в Банялуке. Ее заглавие я позабыл, но дать о ней понятие нетрудно. Автор старается доказать, что босняки — настоящие свиньи, и приводит этому довольно убедительные доводы. Местами он употребляет иллирийские слова, чтобы выставить напоказ свои знания (на самом деле, быть может, он знал не больше моего). Я старательно собрал все эти слова и поместил их в примечания. Затем я прочел главу: De'costumi dei Morlachi [1] из «Путешествия по Далмации» Фортиса. Там я нашел текст и перевод чисто иллирийской заплачки жены Ассана-Аги; но песня эта переведена стихами. Мне стоило большого труда получить построчный перевод, для чего приходилось сопоставлять повторяющиеся слова самого подлинника, с переложением аббата Фортиса. При некотором терпении я получил дословный перевод, но относительно некоторых мест все еще затруднялся. Я обратился к одному из моих друзей, знающему по-русски, прочел ему подлинник, выговаривая его на итальянский манер, и он почти вполне понял его. Замечательно, что Нодье, откопавший Фортиса и балладу Ассана-Аги и переведший со стихотворного перевода аббата, еще более опоэтизировав его в своей прозе,— прокричал на всех перекрестках, что я обокрал его. Вот первый стих в иллирийском тексте: «Scto se bieli u *gorje* zelenoï» [2]. Фортис перевел: «Che mai biancheggia nel verde *Bosco*» [3]. Нодье перевел *Bosco* — *зеленеющая равнина;* он промахнулся, потому что, как мне объяснили, *gorje* означает: *гора.* Вот и вся история. Передайте г. Пушкину мои извинения. Я горжусь и стыжусь вместе с тем, что и он попался, и пр.>

1

ВИДЕНИЕ КОРОЛЯ[1]

Король ходит большими шагами
Взад и вперед по палатам;
Люди спят — королю лишь не спится:
Короля султан осаждает,
Голову отсечь ему грозится
И в Стамбул отослать ее хочет.

Часто он подходит к окошку;
Не услышит ли какого шума?

---

[1] О нравах морлаков *(итал.).*
[2] Что белеет на *горе* зелепой *(серб.).*
[3] Что же белеет в зеленой роще *(итал.).*

А. А. Оленина.
Рис. В. И. Гау. Акварель, белила.
1839 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

Слышит, воет ночная птица,
Она чует беду неминучу,
Скоро ей искать новой кровли
Для своих птенцов горемычных.

Не сова воет в Ключе-граде,
Не луна Ключ-город озаряет,
В церкви божией гремят барабаны,
Вся свечами озарена церковь.

Но никто барабанов не слышит,
Никто света в церкви божией не видит,
Лишь король то слышал и видел;
Из палат своих он выходит
И идет один в божию церковь.

Стал на паперти, дверь отворяет...
Ужасом в нем замерло сердце,
Но великую творит он молитву
И спокойно в церковь божию входит.

Тут он видит чудное виденье:
На помосте валяются трупы,
Между ими хлещет кровь ручьями.
Как потоки осени дождливой,
Он идет, шагая через трупы,
Кровь по щиколку [2] ему досягает...

Горе! в церкви турки, и татары,
И предатели, враги *богумилы* [3].
На амвоне сам султан безбожный,
Держит он наголо саблю,
Кровь по сабле свежая струится
С вострия до самой рукояти.

Короля незапный обнял холод.
Тут же видит он отца и брата.
Пред султаном старик бедный справа,
Униженно стоя на коленях,
Подает ему свою корону;
Слева, также стоя на коленях,
Его сын, Радивой окаянный,
Бусурманскою чалмою покрытый

(С тою самою веревкою, которой
Удавил он несчастного старца),
Край полы у султана целует,
Как холоп, наказанный *фалангой* [4].

И султан безбожный, усмехаясь,
Взял корону, растоптал ногами
И промолвил потом Радивою:
«Будь над Боснией моей ты властелином,
Для гяур-христиан беглербеем» [5].
И отступник бил челом султану,
Трижды пол окровавленный целуя.

И султан прислужников кликнул
И сказал: «Дать кафтан Радивою! [6]
Не бархатный кафтан, не парчовый,
А содрать на кафтан Радивоя
Кожу с брата его родного».
Бусурмане на короля наскочили,
Донага всего его раздели,
Атаганом ему кожу вспороли,
Стали драть руками и зубами,
Обнажили мясо и жилы,
И до самых костей ободрали,
И одели кожею Радивоя.

Громко мученик господу взмолился:
«Прав ты, боже, меня наказуя!
Плоть мою предай на растерзанье,
Лишь помилуй мне душу, Иисусе!»

При сем имени церковь задрожала,
Все внезапно утихнуло, померкло,—
Все исчезло — будто не бывало.

И король ощупью в потемках
Кое-как до двери добрался
И с молитвою на улицу вышел.

Было тихо. С высокого неба
Город белый луна озаряла.
Вдруг взвилась из-за города бомба [7],
И пошли бусурмане на приступ.

ЯНКО МАРНАВИЧ

Что в разъездах бей Янко Марнавич?
Что ему дома не сидится?
Отчего двух ночей он сряду
Под одною кровлей не ночует?
Али недруги его могучи?
Аль боится он кровомщенья?

Не боится бей Янко Марнавич
Ни врагов своих, ни кровомщенья.
Но он бродит, как гайдук бездомный,
С той поры, как Кирила умер.

В церкви Спаса они братовались [8],
И были по богу братья;
Но Кирила несчастливый умер
От руки им избранного брата.

Веселóе было пированье,
Много пили меду и горелки;
Охмелели, обезумели гости,
Два могучие беи побранились.

Янко выстрелил из своего пистоля,
Но рука его пьяная дрожала.
В супротивника своего не попал он,
А попал он в своего друга.
С того времени он, тоскуя, бродит,
Словно вол, ужаленный змиею.

Наконец он на родину воротился
И вошел в церковь святого Спаса.
Там день целый он молился богу,
Горько плача и жалостно рыдая.
Ночью он пришел к себе на дом
И отужинал со своей семьею,
Потом лег и жене своей молвил:
«Посмотри, жена, ты в окошко.
Видишь ли церковь Спаса отселе?»
Жена встала, в окошко поглядела
И сказала: «На дворе полночь,

За рекою густые туманы,
За туманом ничего не видно».
Повернулся Янко Марнавич
И тихонько стал читать молитву.

Помолившись, он опять ей молвил:
«Посмотри, что ты видишь в окошко?»
И жена, поглядев, отвечала:
«Вижу, вон, малый огонечек
Чуть-чуть брезжит в темноте за рекою».
Улыбнулся Янко Марнавич
И опять стал тихонько молиться.

Помолясь, он опять жене молвил:
«Отвори-ка, женка, ты окошко:
Посмотри, что там еще видно?»
И жена, поглядев, отвечала:
«Вижу я на реке сиянье,
Близится оно к нашему дому».
Бей вздохнул и с постели свалился.
Тут и смерть ему приключилась.

3

БИТВА У ЗЕНИЦЫ-ВЕЛИКОЙ[9]

Радивой поднял желтое знамя:
Он идет войной на бусурмана.
А далматы, завидя наше войско,
Свои длинные усы закрутили,
Набекрень надели свои шапки
И сказали: «Возьмите нас с собою: [10]
Мы хотим воевать бусурманов».
Радивой дружелюбно их принял
И сказал им: «Милости просим!»
Перешли мы заповедную речку,
Стали жечь турецкие деревни,
А жидов на деревьях вешать [11].
Беглербей со своими бошняками
Против нас пришел из Банялуки; [12]
Но лишь только заржали их кони
И на солнце их кривые сабли
Засверкали у Зеницы-Великой,
Разбежались изменники далматы;
Окружили мы тогда Радивоя
И сказали: «Господь бог поможет,

Мы домой воротимся с тобою
И расскажем эту битву нашим детям».
Стали биться мы тогда жестоко,
Всяк из нас троих воинов стоил;
Кровью были покрыты наши сабли
С острия по самой рукояти.
Но когда через речку стали
Тесной кучкою мы переправляться,
Селихтар [13] с крыла на нас ударил
С новым войском, с конницею свежей.
Радивой сказал тогда нам: «Дети,
Слишком много собак-бусурманов,
Нам управиться с ними невозможно.
Кто не ранен, в лес беги скорее
И спасайся там от селихтара».
Всех-то нас оставалось двадцать,
Все друзья, родные Радивою,
Но и тут нас пало девятнадцать.
Закричал Георгий Радивою:
«Ты садись, Радивой, поскорее
На коня моего вороного;
Через речку вплавь переправляйся,
Конь тебя из погибели вымчит».
Радивой Георгия не послушал,
Наземь сел, поджав под себя ноги.
Тут враги на него наскочили,
Отрубили голову Радивою.

4

ФЕОДОР И ЕЛЕНА

. . . . . .
. . . . . .
Стамати был стар и бессилен,
А Елена молода и проворна;
Она так-то его оттолкнула,
Что ушел он охая да хромая.
Поделом тебе, старый бесстыдник!
Ай да баба! отделалась славно!

Вот Стамати стал думать думу:
Как ему погубить бы Елену?
Он к жиду лиходею приходит,
От него он требует совета.

Жид сказал: «Ступай на кладбище,
Отыщи под каменьями жабу
И в горшке сюда принеси мне».

На кладбище приходит Стамати,
Отыскал под каменьями жабу [14]
И в горшке жиду ее приносит.
Жид на жабу проливает воду,
Нарекает жабу Иваном
(Грех велик христианское имя
Нарещи такой поганой твари!).
Они жабу всю потом искололи,
И ее — ее ж кровью напоили;
Напоивши, заставили жабу
Облизать поспелую сливу.

И Стамати мальчику молвил:
«Отнеси ты Елене эту сливу
От моей племянницы в подарок».
Принес мальчик Елене сливу,
А Елена тотчас ее съела.

Только съела поганую сливу,
Показалось бедной молодице,
Что змия у ней в животе шевелится.
Испугалась молодая Елена;
Она кликнула сестру свою меньшую.
Та ее молоком напоила,
Но змия в животе все шевелилась.

Стала пухнуть прекрасная Елена,
Стали баить: Елена брюхата.
Каково-то будет ей от мужа,
Как воротится он из-за моря!
И Елена стыдится и плачет,
И на улицу выйти не смеет,
День сидит, ночью ей не спится,
Поминутно сестрице повторяет:
«Что скажу я милому мужу?»

Круглый год проходит, и — Феодор
Воротился на свою сторонку.
Вся деревня бежит к нему навстречу,
Все его приветно поздравляют;

Но в толпе не видит он Елены,
Как ни ищет он ее глазами.
«Где ж Елена?» — наконец он молвил.
Кто смутился, а кто усмехнулся,
Но никто не отвечал ни слова.

Пришел он в дом свой,— и видит,
На постеле сидит его Елена.
«Встань, Елена»,— говорит Феодор.
Она встала,— он взглянул сурово.
«Господин ты мой, клянусь богом
И пречистым именем Марии,
Пред тобою я не виновата,
Испортили меня злые люди».

Но Феодор жене не поверил:
Он отсек ей голову по плечи.
Отсекши, он сам себе молвил:
«Не сгублю я невинного младенца,
Из нее выну его живого,
При себе воспитывать буду.
Я увижу, на кого он походит,
Так наверно отца его узнаю,
И убью своего злодея».

Распорол он мертвое тело.
Что ж! — на место милого дитяти
Он черную жабу находит.
Взвыл Феодор: «Горе мне, убийце!
Я сгубил Елену понапрасну:
Предо мной она была невинна,
А испортили ее злые люди».

Поднял он голову Елены,
Стал ее целовать умиленно,
И мертвые уста отворились,
Голова Елены провещала:

«Я невинна. Жид и старый Стамати
Черной жабой меня окормили».
Тут опять уста ее сомкнулись,
И язык перестал шевелиться.

И Феодор Стамати зарезал,
А жида убил, как собаку,
И отпел по жене панихиду.

5

ВЛАХ В ВЕНЕЦИИ[15]

Как покинула меня Парасковья,
И как я с печали промотался,
Вот далмат пришел ко мне лукавый:
«Ступай, Дмитрий, в морской ты город,
Там цехины, что у нас каменья.

Там солдаты в шелковых кафтанах,
И только что пьют да гуляют:
Скоро там ты разбогатеешь
И воротишься в шитом долимане
С кинжалом на серебряной цепочке.

И тогда-то играй себе на гуслях;
Красавицы побегут к окошкам
И подарками тебя закидают.
Эй, послушайся! отправляйся морем;
Воротись, когда разбогатеешь».

Я послушался лукавого далмата.
Вот живу в этой мраморной лодке,
Но мне скучно, хлеб их мне, как камень,
Я неволен, как на привязи собака.

Надо мною женщины смеются,
Когда слово я по-нашему молвлю;
Наши здесь язык свой позабыли,
Позабыли и наш родной обычай;
Я завял, как пересаженный кустик.

Как у нас, бывало, кого встречу,
Слышу: «Здравствуй, Дмитрий Алексеич!»
Здесь не слышу доброго привета,
Не дождуся ласкового слова;
Здесь я точно бедная мурашка,
Занесенная в озеро бурей.

6

ГАЙДУК ХРИЗИЧ

В пещере, на острых каменьях
Притаился храбрый гайдук Хризич [16].
С ним жена его Катерина,
С ним его два милые сына,
Им нельзя из пещеры выйти.
Стерегут их недруги злые.
Коли чуть они голову подымут,
В них прицелятся тотчас сорок ружей.
Они три дня, три ночи не ели,
Пили только воду дождевую,
Накопленную во впадине камня.
На четвертый взошло красно солнце,
И вода во впадине иссякла.
Тогда молвила, вздохнувши, Катерина:
«Господь бог! помилуй наши души!» —
И упала мертвая на землю.
Хризич, глядя на нее, не заплакал,
Сыновья плакать при нем не смели;
Они только очи отирали,
Как от них отворачивался Хризич.
В пятый день старший сын обезумел,
Стал глядеть он на мертвую матерь,
Будто волк на спящую ко́зу.
Его брат, видя то, испугался.
Закричал он старшему брату:
«Милый брат! не губи свою душу;
Ты напейся горячей моей крови,
А умрем мы голодною смертью,
Станем мы выходить из могилы
Кровь сосать наших недругов спящих» [17].
Хризич встал и промолвил: «Полно!
Лучше пуля, чем голод и жажда».
И все трое со скалы в долину
Сбежали, как бешеные волки.
Семерых убил из них каждый,
Семью пулями каждый из них прострелен,
Головы враги у них отсекли
И на копья свои насадили,—
А и тут глядеть на них не смели.
Так им страшен был Хризич с сыновьями.

7

ПОХОРОННАЯ ПЕСНЯ ИАКИНФА МАГЛАНОВИЧА[18]

С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

Пуля легче лихорадки;
Волен умер ты, как жил.
Враг твой мчался без оглядки;
Но твой сын его убил.

Вспоминай нас за могилой,
Коль сойдетесь как-нибудь;
От меня отцу, брат милый,
Поклониться не забудь!

Ты скажи ему, что рана
У меня уж зажила;
Я здоров,— и сына Яна
Мне хозяйка родила.

Деду в честь он назван Яном;
Умный мальчик у меня;
Уж владеет атаганом
И стреляет из ружья.

Дочь моя живет в Лизгоре;
С мужем ей не скучно там.
Тварк ушел давно уж в море;
Жив иль нет,— узнаешь сам.

С богом, в дальнюю дорогу!
Путь найдешь ты, слава богу.
Светит месяц; ночь ясна;
Чарка выпита до дна.

8

МАРКО ЯКУБОВИЧ

У ворот сидел Марко Якубович;
Перед ним сидела его Зоя,
А мальчишка их играл у порогу.

По дороге к ним идет незнакомец,
Бледен он и чуть ноги волочит,
Просит он напиться, ради бога.
Зоя встала и пошла за водою
И прохожему вынесла ковшик,
И прохожий до дна его выпил.
Вот, напившись, говорит он Марке:
«Это что под горою там видно?»
Отвечает Марко Якубович:
«То кладбище наше родовое».
Говорит незнакомый прохожий:
«Отдыхать мне на вашем кладбище,
Потому что мне жить уж не долго».
Тут широкий розвил он пояс,
Кажет Марке кровавую рану.
«Три дня, молвил, ношу я под сердцем
Бусурмана свинцовую пулю.
Как умру, ты зарой мое тело
За горой, под зеленою ивой.
И со мной положи мою саблю,
Потому что я славный был воин».

Поддержала Зоя незнакомца,
А Марко стал осматривать рану.
Вдруг сказала молодая Зоя:
«Помоги мне, Марко, я не в силах
Поддержать гостя нашего доле».
Тут увидел Марко Якубович,
Что прохожий на руках ее умер.

Марко сел на коня вороного,
Взял с собою мертвое тело
И поехал с ним на кладбище.
Там глубокую вырыли могилу
И с молитвой мертвеца схоронили.
Вот проходит неделя, другая,
Стал худеть сыночек у Марка;
Перестал он бегать и резвиться,
Все лежал на рогоже да охал.
К Якубовичу калуер приходит,—
Посмотрел на ребенка и молвил:
«Сын твой болен опасною болезнью;
Посмотри на белую его шею:
Видишь ты кровавую ранку?
Это зуб вурдалака [19], поверь мне».

Вся деревня за старцем калуером
Отправилась тотчас на кладбище;
Там могилу прохожего разрыли,
Видят,— труп румяный и свежий,—
Ногти выросли, как вороньи когти,
А лицо обросло бородою,
Алой кровью вымазаны губы,—
Полна крови глубокая могила.
Бедный Марко колом замахнулся,
Но мертвец завизжал и проворно
Из могилы в лес бегом пустился.
Он бежал быстрее, чем лошадь,
Стременами острыми язвима;
И кусточки под ним так и гнулись,
А суки дерев так и трещали,
Ломаясь, как замерзлые прутья.

Калуер могильною землею [20]
Ребенка больного всего вытер,
И весь день творил над ним молитвы.
На закате красного солнца
Зоя мужу своему сказала:
«Помнишь? ровно тому две недели,
В эту пору умер злой прохожий».

Вдруг собака громко завыла,
Отворилась дверь сама собою,
И вошел великан, наклонившись,
Сел он, ноги под себя поджавши,
Потолка головою касаясь.
Он на Марка глядел неподвижно,
Неподвижно глядел на него Марко,
Очарован ужасным его взором;
Но старик, молитвенник раскрывши,
Запалил кипарисную ветку,
И подул дым на великана.
И затрясся вурдалак проклятый,
В двери бросился и бежать пустился,
Будто волк, охотником гонимый.

На другие сутки в ту же пору
Пес залаял, дверь отворилась,
И вошел человек незнакомый.

Был он ростом, как цесарский рекрут.
Сел он молча и стал глядеть на Марка;
Но старик молитвой его прóгнал.

В третий день вошел карлик малый,–
Мог бы он верхом сидеть на крысе,
Но сверкали у него злые глазки.
И старик в третий раз его прóгнал,
И с тех пор уж он не возвращался.

9

БОНАПАРТ И ЧЕРНОГОРЦЫ

«Черногорцы? что такое? —
Бонапарте вопросил.—
Правда ль: это племя злое,
Не боится наших сил?

Так раскаятся ж нахалы:
Объявить их старшинам,
Чтобы ружья и кинжалы
Все несли к моим ногам».

Вот он шлет на нас пехоту
С сотней пушек и мортир,
И своих мамлюков роту,
И косматых кирасир.

Нам сдаваться нет охоты,—
Черногорцы таковы!
Для коней и для пехоты
Камни есть у нас и рвы...

Мы засели в наши норы
И гостей незваных ждем,—
Вот они вступили в горы,
Истребляя все кругом.

. . . . . .
. . . . . .

Идут тесно под скалами.
Вдруг смятение!.. Глядят:
У себя над головами
Красных шапок видят ряд.

«Стой! пали! Пусть каждый сбросит
Черногорца одного.
Здесь пощады враг не просит:
Не щадите ж никого!»

Ружья грянули,— упали
Шапки красные с шестов:
Мы под ними ниц лежали,
Притаясь между кустов.

Дружным залпом отвечали
Мы французам.— «Это что? —
Удивясь, они сказали,—
Эхо, что ли?» Нет, не то!

Их полковник повалился.
С ним сто двадцать человек.
Весь отряд его смутился,
Кто, как мог, пустился в бег.

И французы ненавидят
С той поры наш вольный край
И краснеют, коль завидят
Шапку нашу невзначай.

10
СОЛОВЕЙ

Соловей мой, соловейко,
Птица малая лесная!
У тебя ль, у малой птицы,
Незаменные три песни,
У меня ли, у молодца,
Три великие заботы!
Как уж первая забота —
Рано молодца женили;
А вторая-то забота —
Ворон конь мой притомился;
Как уж третья-то забота —
Красну-девицу со мною
Разлучили злые люди.
Вы копайте мне могилу
Во поле, поле широком,

В головах мне посадите
Алы цветики-цветочки,
А в ногах мне проведите
Чисту воду ключевую.
Пройдут мимо красны девки,
Так сплетут себе веночки.
Пойдут мимо стары люди,
Так воды себе зачерпнут.

11

ПЕСНЯ О ГЕОРГИИ ЧЕРНОМ

Не два волка в овраге грызутся,
Отец с сыном в пещере бранятся.
Старый Петро сына укоряет:
«Бунтовщик ты, злодей проклятый!
Не боишься ты господа бога,
Где тебе с султаном тягаться,
Воевать с белградским пашою!
Аль о двух головах ты родился?
Пропадай ты себе, окаянный,
Да зачем ты всю Сербию губишь?»
Отвечает Георгий угрюмо:
«Из ума, старик, видно, выжил,
Коли лаешь безумные речи».
Старый Петро пуще осердился,
Пуще он бранится, бушует.
Хочет он отправиться в Белград,
Туркам выдать ослушного сына,
Объявить убежище сербов.
Он из темной пещеры выходит;
Георгий старика догоняет:
«Воротися, отец, воротися!
Отпусти мне невольное слово».
Старый Петро не слушает, грозится:
«Вот ужо, разбойник, тебе будет!»
Сын ему вперед забегает,
Старику кланяется в ноги.
Не взглянул на сына старый Петро.
Догоняет вновь его Георгий
И хватает за сивую косу.
«Воротись, ради господа бога:
Не введи ты меня в искушенье!»

Отпихнул старик его сердито
И пошел по белградской дороге.
Горько, горько Георгий заплакал,
Пистолет из-за пояса вынул,
Взвел курок, да и выстрелил тут же.
Закричал Петро, зашатавшись:
«Помоги мне, Георгий, я ранен!»
И упал на дорогу бездыханен.
Сын бегом в пещеру воротился;
Его мать вышла ему навстречу.
«Что, Георгий, куда делся Петро?»
Отвечает Георгий сурово:
«За обедом старик пьян напился
И заснул на белградской дороге» [21].
Догадалась она, завопила:
«Будь же богом проклят ты, черный,
Коль убил ты отца родного!»
С той поры Георгий Петрович
У людей прозывается Черный.

12

ВОЕВОДА МИЛОШ

Над Сербией смилуйся ты, боже!
Заедают нас волки янычары!
Без вины нам головы режут,
Наших жен обижают, позорят,
Сыновей в неволю забирают,
Красных девок заставляют в насмешку
Распевать зазорные песни
И плясать бусурманские пляски.
Старики даже с нами согласны:
Унимать нас они перестали,—
Уж и им нестерпимо насилье.
Гусляры нас в глаза укоряют:
Долго ль вам мирволить янычарам?
Долго ль вам терпеть оплеухи?
Или вы уж не сербы,— цыганы?
Или вы не мужчины,— старухи?
Вы бросайте ваши белые домы,
Уходите в Велийское ущелье,—
Там гроза готовится на турок,
Там дружину свою собирает
Старый сербин, воевода Милош.

13

ВУРДАЛАК

Трусоват был Ваня бедный:
Раз он позднею порой,
Весь в поту, от страха бледный,
Чрез кладбище шел домой.

Бедный Ваня еле дышит,
Спотыкаясь, чуть бредет
По могилам; вдруг он слышит,—
Кто-то кость, ворча, грызет.

Ваня стал; — шагнуть не может.
Боже! думает бедняк,
Это, верно, кости гложет
Красногубый вурдалак.

Горе! малый я не сильный;
Съест упырь меня совсем,
Если сам земли могильной
Я с молитвою не съем.

Что же? вместо вурдалака —
(Вы представьте Вани злость!)
В темноте пред ним собака
На могиле гложет кость.

14

СЕСТРА И БРАТЬЯ[22]

Два дубочка выростали рядом,
Между ими тонковерхая елка.
Не два дуба рядом выростали,
Жили вместе два братца родные:
Один Павел, а другой Радула,
А меж ими сестра их Елица.
Сестру братья любили всем сердцем,
Всякую ей оказывали милость;
Напоследок ей нож подарили
Золоченый в серебряной оправе.
Огорчилась молодая Павлиха
На золовку, стало ей завидно;
Говорит она Радуловой любе:
«Невестушка, по богу сестрица!

Не знаешь ли ты зелия такого,
Чтоб сестра омерзела братьями?»
Отвечает Радулова люба:
«По богу сестра моя, невестка,
Я не знаю зелия такого;
Хоть бы знала, тебе б не сказала;
И меня братья мои любили,
И мне всякую оказывали милость».
Вот пошла Павлиха к водопою
Да зарезала коня вороного
И сказала своему господину:
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ей подарки:
Извела она коня вороного».
Стал Елицу допытывать Павел:
«За что это? скажи, бога ради».
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!»
В ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха пошла в сад зеленый,
Сивого сокола там заколола
И сказала своему господину:
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Ведь она сокола заколола».
Стал Елицу допытывать Павел:
«За что это? скажи, бога ради».
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!»
И в ту пору брат сестре поверил.
Вот Павлиха по вечеру поздно
Нож украла у своей золовки
И ребенка своего заколола
В колыбельке его золоченой.
Рано утром к мужу прибежала,
Громко воя и лицо терзая.
«Сам себе на зло сестру ты любишь,
На беду даришь ты ей подарки:
Заколола у нас она ребенка.
А когда еще ты мне не веришь,
Осмотри ты нож ее злаченый».
Вскочил Павел, как услышал это,

Побежал к Елице во светлицу:
На перине Елица почивала,
В головах нож висел злаченый.
Из ножен вынул его Павел,—
Нож злаченый весь был окровавлен.
Дернул он сестру за белу руку:
«Ой, сестра, убей тебя боже!
Извела ты коня вороного
И в саду сокола заколола,
Да за что ты зарезала ребенка?»
Сестра брату с плачем отвечает:
«Не я, братец, клянусь тебе жизнью,
Клянусь жизнью твоей и моею!
Коли ж ты не веришь моей клятве,
Выведи меня в чистое поле,
Привяжи к хвостам коней борзых,
Пусть они мое белое тело
Разорвут на четыре части».
В ту пору брат сестре не поверил;
Вывел он ее в чистое поле,
Привязал ко хвостам коней борзых
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросли там алые цветочки;
Где осталось ее белое тело,
Церковь там над ней соорудилась.
Прошло малое после того время,
Захворала молодая Павлиха.
Девять лет Павлиха все хворает,—
Выросла трава сквозь ее кости,
В той траве лютый змей гнездится,
Пьет ей очи, сам уходит к ночи.
Люто страждет молода Павлиха;
Говорит она своему господину:
«Слышишь ли, господин ты мой, Павел,
Сведи меня к золовкиной церкви,
У той церкви авось исцелюся».
Он повел ее к сестриной церкви,
И как были они уже близко,
Вдруг из церкви услышали голос:
«Не входи, молодая Павлиха,
Здесь не будет тебе исцеленья».
Как услышала то молодая Павлиха,
Она молвила своему господину:

«Господин ты мой! прошу тебя богом,
Не веди меня к белому дому,
А вяжи меня к хвостам твоих ко́ней
И пусти их по чистому полю».
Своей любы послушался Павел,
Привязал ее к хвостам своих ко́ней
И погнал их по чистому полю.
Где попала капля ее крови,
Выросло там тернье да крапива;
Где осталось ее белое тело,
На том месте озеро провалило.
Ворон конь по озеру выплывает,
За конем золоченая люлька,
На той люльке сидит сокол-птица,
Лежит в люльке маленькой мальчик;
Рука матери у него под горлом,
В той руке теткин нож золоченый.

15

ЯНЫШ КОРОЛЕВИЧ[23]

Полюбил королевич Яныш
Молодую красавицу Елицу,
Любит он ее два красные лета,
В третье лето вздумал он жениться
На Любусе, чешской королевне.
С прежней любой идет он проститься.
Ей приносит с червонцами черес,
Да гремучие серьги золотые,
Да жемчужное тройное ожерелье;
Сам ей вдел он серьги золотые,
Навязал на шею ожерелье,
Дал ей в руки с червонцами черес,
В обе щеки поцеловал молча
И поехал своею дорогой.
Как одна осталася Елица,
Деньги наземь она пометала,
Из ушей выдернула серьги,
Ожерелье надвое разорвала,
А сама кинулась в Мораву.
Там на дне молодая Елица
Водяною царицей очнулась
И родила маленькую дочку
И ее нарекла Водяницей.

Вот проходят три года и боле,
Королевич ездит на охоте,
Ездит он по берегу Моравы;
Захотел он коня вороного
Напоить студеною водою.
Но лишь только запененную морду
Сунул конь в студеную воду,
Из воды вдруг высунулась ручка:
Хвать коня за узду золотую!
Конь отдернул голову в испуге,
На узде висит Водяница,
Как на уде пойманная рыбка,—
Конь кружится по чистому лугу,
Потрясая уздой золотою;
Но стряхнуть Водяницы не может.
Чуть в седле усидел королевич,
Чуть сдержал коня вороного,
Осадив могучею рукою.
На траву Водяница прыгнула.
Говорит ей Яныш королевич:
«Расскажи, какое ты творенье:
Женщина ль тебя породила,
Иль богом проклятая Вила?»
Отвечает ему Водяница:
«Родила меня молодая Елица,
Мой отец Яныш королевич,
А зовут меня Водяницей».
Королевич при таком ответе
Соскочил с коня вороного,
Обнял дочь свою Водяницу
И, слезами заливаясь, молвил:
«Где, скажи, твоя мать Елица?
Я слыхал, что она потонула».
Отвечает ему Водяница:
«Мать моя царица водяная;
Она властвует над всеми реками,
Над реками и над озерами;
Лишь не властвует она синим морем,
Синим морем властвует Див-Рыба».
Водянице молвил королевич:
«Так иди же к водяной царице
И скажи ей: Яныш королевич
Ей поклон усердный посылает
И у ней свидания просит

На зеленом берегу Моравы.
Завтра я заеду за ответом».
Они после того расстались.

Рано утром, чуть заря зарделась.
Королевич над рекою ходит;
Вдруг из речки, по белые груди,
Поднялась царица водяная
И сказала: «Яныш королевич,
У меня свидания просил ты:
Говори, чего еще ты хочешь?»
Как увидел он свою Елицу,
Разгорелись снова в нем желанья,
Стал манить ее к себе на берег.
«Люба ты моя, млада Елица,
Выдь ко мне на зеленый берег,
Поцелуй меня по-прежнему сладко,
По-прежнему полюблю тебя крепко».
Королевичу Елица не внимает,
Не внимает, головою кивает:
«Нет, не выду, Яныш королевич,
Я к тебе на зеленый берег.
Слаще прежнего нам не целоваться,
Крепче прежнего меня не полюбишь.
Расскажи-ка ты мне лучше хорошенько,
Каково, счастливо ль поживаешь
С новой любой, с молодой женою?»
Отвечает Яныш королевич:
«Против солнышка луна не пригреет,
Против милой жена не утешит».

16
КОНЬ

«Что ты ржешь, мой конь ретивый,
Что ты шею опустил,
Не потряхиваешь гривой,
Не грызешь своих удил?
Али я тебя не холю?
Али ешь овса не вволю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?»

Отвечает конь печальный:
«Оттого я присмирел,
Что я слышу топот дальный,
Трубный звук и пенье стрел;
Оттого я ржу, что в поле
Уж не долго мне гулять,
Проживать в красе и в холе,
Светлой сбруей щеголять;
Что уж скоро враг суровый
Сбрую всю мою возьмет
И серебряны подковы
С легких ног моих сдерет;
Оттого мой дух и ноет,
Что наместо чепрака
Кожей он твоей покроет
Мне вспотевшие бока».

1834

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Фома I был тайно умерщвлен своими двумя сыновьями Стефаном и Радивоем в 1460 году. Стефан ему наследовал. Радивой, негодуя на брата за похищение власти, разгласил ужасную тайну и бежал в Турцию к Магомету II. Стефан, по внушению папского легата, решился воевать с турками. Он был побежден и бежал в Ключ-город, где Магомет осадил его. Захваченный в плен, он не согласился принять магометанскую веру, и с него содрали кожу.

[2] *Щиколодка,* по московскому наречию щиколка.

[3] Так называют себя некоторые иллирийские раскольники.

[4] *Фаланга,* палочные удары по пятам.

[5] Радивой никогда не имел этого сана; и все члены королевского семейства истреблены были султаном.

[6] *Кафтан,* обыкновенный подарок султанов.

[7] Анахронизм.

[8] Трогательный обычай *братования,* у сербов и других западных славян, освящается духовными обрядами.

[9] Неизвестно, к какому происшествию относится эта песня.

[10] Потеря сражения приписывается далматам, ненавистным для влахов.

[11] Жиды в турецких областях суть вечные предметы гонения и ненависти. Во время войны им доставалось от мусульман и христиан. Участь их, замечает В. Скотт, походит на участь летучей рыбы.— Мериме.

[12] *Банялука,* прежняя столица Боснийского пашалыка.

[13] *Селихтар*, меченосец.

[14] Все народы почитали жабу ядовитым животным.

[15] Мицкевич перевел и украсил эту песню.

[16] Гайдук, глава, начальник. Гайдуки не имеют пристанища и живут разбоями.

[17] Западные славяне верят существованию упырей *(vampire)*. См. песню о *Марке Якубовиче.*

[18] Мериме поместил в начале своей *Guzla* известие о старом гусляре Иакинфе Маглановиче; неизвестно, существовал ли он когда-нибудь; но статья его биографа имеет необыкновенную прелесть оригинальности и правдоподобия. Книга Мериме редка, и читатели, думаю, с удовольствием найдут здесь жизнеописание славянина-поэта.

Notice sur Hyacinthe Maglanovich.

Hyacinthe Maglanovich est le seul joueur de guzla que j'aie vu, qui fût aussi poète; car la plupart ne font que répéter d'anciennes chansons, ou tout au plus ne composent que des pastiches en prenant vingt vers d'une ballade, autant d'une autre, et liant le tout au moyen de mauvais vers de leur façon.

Notre poète est né à Zuonigrad, comme il le dit lui-même dans sa baliade intitulée *L'Aubépine de Veliko.* Il était fils d'un cordonnier, et ses parents ne semblent pas s'être donné beaucoup de mal pour son éducation, car il ne sait ni lire ni écrire. A l'âge de huit ans il fut enlevé par des *Tchingénehs* ou Bohémiens. Ces gens le menèrent en Bosnie, où ils lui apprirent leurs tours et le convertirent sans peine á l'islamisme, qu'ils professent pour la plupart [1]. Un *ayan* ou maire de Livno le tira de leurs mains et le prit à son service, où il passa quelques années.

Il avait quinze ans, quand un moine catholique réussit à le convertir au christianisme, au risque de se faire empaler s'il était découvert: car les Turcs n'encouragent point les travaux des missionnaires. Le jeune Hyacinthe n'eut pas de peine à se décider à quitter un maître assez dur, comme sont la plupart des Bosniaques; mais, en se sauvant de sa maison, il voulut tirer vengeance de ses mauvais traitements. Profitant d'une nuit orageuse, il sortit de Livno, emportant une pelisse et le sabre de son maître, avec quelques sequins qu'il put dérober. Le moine qui l'avait rebaptisé l'accompagna dans sa fuite, que peut-être il avail conseillée.

De Livno à Scign en Dalmatie il n'y a qu'une douzaine de lieues. Les fugitifs s'y trouvèrent bientôt sous la protection du gouvernement vénitien et à l'abri des poursuites de l'ayan. Ce fut dans cette ville que Maglanovich fit sa première chanson: il célébra sa fuite dans une ballade, qui trouva quelques admirateurs et qui commença sa réputation [2].

Mais il était sans ressources d'ailleurs pour subsister, et la nature lui avait donné peu de goût pour le travail. Grâce à l'hospitalité morlaque, il vécut quelque temps de la charité des habitants des campagnes, payant son écot en chantant sur la guzla quelque vieille romance qu'il savait par coeur. Bientôt il en composa lui-même pour des mariages et des enterrements, et sut si bien se rendre nécessaire, qu'il n'y avait pas de bonne fête si Maglanovich et sa guzla n'en étaient pas.

Il vivait ainsi dans les environs de Scign, se souciant fort peu de ses parents, dont il ignore encore le destin car il n'a jamais été à Zuonigrad depuis son enlèvement.

A vingt-cinq ans c'était un beau jeune homme, fort, adroit, bon chasseur et de plus poète et musicien célèbre; il était bien vu de tout le monde, et surtout des jeunes filles. Celle qu'il préférait se nommait Marie et était fille d'un

---

[1] Tous ces détails m'ont été donnés en 1817 par Maglanovich lui-même.

[2] J'ai fait de vains éfforts pour me la procurer. Maglanovich lui-même l'avait oubliée, ou peut-être eut-il honte de me réciter son premier essai dans la poésie.

riche morlaque, nommé Zlarinovich. Il gagna facilement son affection et, suivant la coutume, il l'enleva. Il avait pour rival une espèce de seigneur du pays, nommé Uglian, lequel eut connaissance de l'enlèvement projeté. Dans les mœurs illyriennes l'amant dédaigné se console facilement et n'en fait pas plus mauvaise mine à son rival heureux; mais cet Uglian s'avisa d'être jaloux et voulut mettre obstacle au bonheur de Maglanovich. La nuit de l'enlèvement, il parut accompagné de deux de ses domestiques, au moment où Marie était déjà montée sur un cheval et prête à suivre son amant. Uglian leur cria de s'arrêter d'une voix menaçante. Les deux rivaux étaient armés suivant l'usage. Maglanovich tira le premier et tua le seigneur Uglian. S'il avait eu une famille, elle aurait épousé sa querelle, et il n'aurait pas quitté le pays pour si peu de chose; mais il était sans parents pour l'aider, et il restait seul exposé à la vengeance de toute la famille du mort. Il prit son parti promptement et s'enfuit avec sa femme dans les montagnes, où il s'associa avec des heyduques [1].

Il vécut longtemps avec eux, et même il fut blessé au visage dans une escarmouche avec les pandours [2]. Enfin, ayant gagné quelque argent d'une manière assez peu honnête, je crois, il quitta les montagnes, acheta des bestiaux et vint s'établir dans le Kotar avec sa femme et quelques enfants. Sa maison est près de Smocovich, sur le bord d'une petite rivière ou d'un torrent, qui se jette dans le lac de Vrana. Sa femme et ses enfants s'occupent de leurs vaches et de leur petite ferme; mais lui est toujours en voyage; souvent il va voir ses anciens amis les heyduques, sans toutefois prendre part à leur dangereux métier.

Je l'ai vu à Zara pour la première fois en 1816. Je parlais alors très facilement l'illyrique, et je désirais beaucoup entendre un poète en réputation. Mon ami, l'estimable voivode Nicolas ***, avait rencontré à Biograd, où il demeure, Hyacinthe Maglanovich, qu'il connaissait déjà, et sachant qu'il allait à Zara, il lui donna une lettre pour moi. Il me disait que, si je voulais tirer quelque chose du joueur de guzla, il fallait le faire boire; car il ne se sentait inspiré que lorsqu'il était à peu près ivre.

Hyacinthe avait alors près de soixante ans. C'est un grand homme, vert et robuste pour son âge, les épaules larges et le cou remarquablement gros; sa figure est prodigieusement basanée; ses yeux sont petits et un peu relevés du coin; son nez aquilin, assez enflammé par l'usage des liqueurs fortes, sa longue moustache blanche et ses gros sourcils noirs forment un ensemble que l'on oublie difficilement quand on l'a vu une fois. Ajoutez à cela une longue cicatrice qu'il porte sur le sourcil et sur une partie de la joue. Il est très extraordinaire qu'il n'ait pas perdu l'oeil en recevant cette blessure. Sa tête était rasée, suivant l'usage presque général, et il portait un bonnet d'agneau noir: ses vêtements étaient assez vieux, mais encore très propres.

En entrant dans ma chambre, il me donna la lettre du voivode et s'assit sans cérémonie. Quand j'eus fini de lire: vous parlez donc l'illyrique, me dit-il d'un air de doute assez méprisant. Je lui répondis sur-le-champ dans cette langue que je l'entendais assez bien pour pouvoir apprécier ses chansons, qui m'avaient été extrêmement vantées. Bien, bien, dit-il; mais j'ai faim et soif: je chanterai quand je serai rassasié. Nous dinâmes ensemble. Il me semblait qu'il avait jeûné quatre jours au moins, tant il mangeait avec avidité. Suivant l'avis du voivode, j'eus soin de le faire boire, et mes amis, qui étaient venus nous tenir compagnie sur le bruit de son arrivée, remplissaient son verre à chaque instant. Nous espérions que quand cette faim et cette soif si extraordinaires seraient appaisées, notre homme voudrait bien nous faire entendre quelques-

---

[1] Espèce de bandits.
[2] Soldats de la police.

uns de ses chants. Mais notre attente fut bien trompée. Tout d'un coup il se leva de table et se laissant tomber sur un tapis près du feu (nous étions en décembre), il s'endormit en moins de cinq minutes, sans qu'il y eût moyen de le réveiller.

Je fus plus heureux, une autre fois: j'eus soin de le faire boire seulement assez pour l'animer et alors il nous chanta plusieurs des ballades que l'on trouvera dans ce recueil.

Sa voix a dû être fort belle; mais alors elle était un peu cassée. Quand il chantait sur sa guzla, ses yeux s'animaient et sa figure prenait une expression de beauté sauvage, qu'un peintre aimerait à exprimer sur la toile.

Il me quitta d'une façon étrange: il demeurait depuis cinq jours chez moi, quand un matin il sortit, et je l'attendis inutilement jusqu'au soir. J'appris qu'il avait quitté Zara pour retourner chez lui; mais en même temps je m'aperçus qu'il me manquait une paire de pistolets anglais qui, avant son départ précipité, étaient pendus dans ma chambre. Je dois dire à sa louange qu'il aurait pu emporter également ma bourse et une montre d'or qui valaient dix fois plus que les pistolets, qu'il m'avait pris.

En 1817 je passai deux jours dans sa maison, où il me reçut avec toutes les marques de la joie la plus vive. Sa femme et tous ses enfants et petits-enfants me sautèrent au cou et quand je le quittai, son fils aîné me servit de guide dans les montagnes pendant plusieurs jours, sans qu'il me fût possible de lui faire accepter quelque récompense.

<Перевод:

Заметка об Иакинфе Маглановиче.

Иакинф Магланович — единственный мне знакомый гусляр, который в то же время был поэтом; большинство гусляров повторяют старые песни или самое большее — сочиняют подражания, заимствуя стихов двадцать из одной баллады, столько же из другой и связывая все это при помощи скверных стихов собственного изделия.

Поэт наш родился в Звонограде, как он сам говорит об этом в балладе «Боярышник рода Велико». Он был сын сапожника, и его родители, по-видимому, не сильно беспокоились о его образовании, ибо он не умеет ни читать, ни писать. В возрасте восьми лет он был похищен *чинженегами,* или цыганами. Эти люди увели его в Боснию, где и обучили своим штукам и без труда обратили его в магометанство, исповедываемое большинством среди них [1]. Один *«айан»,* или старшина, в Ливно отобрал его у цыган и взял себе в услужение, где он и пробыл несколько лет.

Ему было пятнадцать лет, когда один католический монах обратил его в христианство, рискуя быть посаженным на кол в случае обнаружения этого, ибо турки отнюдь не поощряют миссионерской деятельности. Юный Иакинф недолго задумывался над тем, чтобы покинуть своего хозяина, достаточно сурового, как и большинство босняков; но, уходя из его дома, он задумал отмстить за дурное обращение. Однажды ночью, в грозу, он ушел из Ливно, захватив с собой шубу и саблю хозяина, с несколькими цехинами, какие ему удалось похитить. Монах, окрестивший его, сопровождал его в бегстве, совершенном, вероятно, по его совету.

От Ливно до Синя, в Далмации, не больше чем миль двенадцать. Беглецы скоро прибыли туда, под покровительство венецианского правительства, в безопасности от преследований айана. Здесь-то Магланович сочинил свою

---

[1] Все эти подробности были сообщены мне в 1817 году самим Маглановичем.

первую песню: он воспел свое бегство в балладе, которая привлекла внимание некоторых, и с нее-то началась его известность [1].

Но он был без средств к существованию, а по природе своей не слишком был расположен к труду. Благодаря морлацкому гостеприимству некоторое время он жил на подаяния сельских жителей, отплачивая им пением какой-нибудь заученной им старой песни. Вскоре он сам сочинил несколько новых песен на случай свадеб и погребений, и его присутствие стало настолько необходимым, что праздник был не в праздник, если на нем не было Маглановича с его гузлой.

Так он жил в окрестностях Синя, мало беспокоясь о своих родных, судьба которых ему доныне осталась неизвестной, так как со дня похищения он ни разу не бывал в Звонограде.

В двадцать пять лет это был красивый молодой человек, сильный, ловкий, прекрасный охотник и сверх того знаменитый поэт и музыкант, его уважали все, в особенности девушки. Та, которой он отдавал предпочтение, звалась Марией и была дочерью богатого морлака по имени Зариновича. Он легко добился взаимности и, по обычаю, похитил ее. У него был соперник по имени Ульян, нечто вроде местного сеньора, который заранее проведал о похищении. Иллирийские нравы таковы, что отвергнутый любовник легко утешается и не косится на своего счастливого соперника; но этот Ульян решил ревновать и препятствовать счастью Маглановича. В ночь похищения он явился с двумя слугами в ту минуту, когда Мария уже села на лошадь, чтобы следовать за возлюбленным. Ульян угрожающим голосом приказал остановиться. Соперники, по обычаю, были вооружены. Магланович выстрелил первый и убил сеньора Ульяна. Если бы у него была семья, то она поддержала бы его, и он не покинул бы страны из-за таких пустяков, но он был одинок, против него — готовая на месть вся семья убитого. Он быстро пришел к решению и скрылся с женой в горах, где присоединился к гайдукам [2].

Он долго жил с ними и даже был ранен в лицо при схватке с пандурами [3]. Наконец, заработав кое-какие деньги, как я полагаю, не особенно честным способом, он оставил горы, купил скот и поселился в Каттаро с женой и детьми. Дом его около Смоковича, на берегу речонки или потока, впадающего в озеро Врана. Жена и дети заняты коровами и фермой, он же вечно в разъездах; часто посещает он своих старинных друзей гайдуков, но не принимает уже участия в их опасном промысле.

Я встретил его в Заре впервые в 1816 г. В то время я свободно говорил по-иллирийски и сильно желал услышать какого-нибудь известного поэта. Мой друг, уважаемый воевода Николай ***, встретил в Белграде — месте своего жительства — Иакинфа Маглановича, ему ранее известного, и, зная, что он направлялся в Зару, снабдил его письмом ко мне. Он писал мне, что если я желаю послушать гусляра, то должен сперва подпоить его, ибо вдохновение на него сходило лишь тогда, когда он бывал почти пьян.

Иакинфу было в то время около шестидесяти лет. Это — высокий человек, еще крепкий и сильный для своего возраста, широкоплечий, с необычайно толстой шеей; лицо его удивительно загорелое, глаза маленькие и слегка приподнятые по углам, орлиный нос, довольно красный от крепких напитков, длинные белые усы и густые черные брови, все это вместе дает образ, незабываемый для того, кто видел его хоть раз. Прибавьте к тому длинный шрам через бровь и вдоль щеки. Непостижимо, как он не лишил-

---

[1] Я тщетно разыскивал эту балладу. Сам Магланович ее забыл или, может быть, стыдился петь мне первый свой поэтический опыт.

[2] Род разбойников.

[3] Полицейские солдаты.

ся глаза при таком ранении. Голова у него была бритая, по почти всеобщему обычаю, и носил он черную барашковую шапку; платье его было очень поношенное, но притом весьма опрятное.

Войдя ко мне в комнату, он передал мне письмо воеводы и присел без стеснения. Когда я прочел письмо, он сказал тоном довольно презрительного сомнения: — Так вы говорите по-иллирийски.— Я отвечал немедленно на этом языке, что достаточно понимаю по-иллирийски, чтобы оценить его песни, которые мне очень хвалили.— Ладно, ладно,— отвечал он,— но я хочу есть и пить; я буду петь, когда поем.— Мы вместе пообедали. Мне показалось, что он голодал по меньшей мере дня четыре, с такой жадностью он ел. По совету воеводы, я подливал ему, и друзья мои, которые, услышав о его приходе, пришли ко мне, наполняли его стакан ежеминутно. Мы надеялись, что, когда этот необычайный голод и жажда будут удовлетворены, наш гость соблаговолит нам что-нибудь спеть. Но ожидания наши оказались напрасны. Вдруг он встал из-за стола и, опустившись на ковер у огня (дело было в декабре), заснул в пять минут, и не было никакой возможности разбудить его.

Я был удачливее в другой раз: я постарался напоить его лишь настолько, чтобы воодушевить его, и тогда он спел мне много баллад, находящихся в этом сборнике.

Должно быть, голос его был прежде хорош, но тогда он был немного разбит. Когда он пел, играя на гузле, глаза его оживали и лицо принимало выражение дикой красоты, которую художники охотно заносят на полотно.

Он расстался со мною довольно странным способом: пять дней жил он у меня и на шестой утром ушел, и я тщетно ждал его до вечера. Мне сказали, что он ушел из Зары к себе домой; но в то же время я заметил исчезновение пары английских пистолетов, которые, до его поспешного ухода, висели у меня в комнате. Я должен добавить, к его чести, что он мог равным образом унести и мой кошелек, и золотые часы, которые были раз в десять дороже, чем взятые им пистолеты.

В 1817 году я провел два дня в его доме, где он принял меня, выказав живейшую радость. Жена его и все дети и внуки окружили меня и обнимали, а когда я ушел от них, старший сын служил мне проводником в горах в течение нескольких дней, причем невозможно было уговорить его принять какое бы то ни было вознаграждение *(франц.)*.>

[19] *Вурдалаки, вудкодлаки, упыри* — мертвецы, выходящие из своих могил и сосущие кровь живых людей.

[20] Лекарством от укушения упыря служит земля, взятая из его могилы.

[21] По другому преданию, Георгий сказал товарищам: «Старик мой умер, возьмите его с дороги».

[22] Прекрасная эта поэма взята мною из Собрания сербских песен Вука Стефановича.

[23] Песня о Яныше королевиче в подлиннике очень длинна и разделяется на несколько частей. Я перевел только первую, и то не всю.

(ИЗ АНАКРЕОНА)

Отрывок

Узнают коней ретивых
По их выжженным таврам;
Узнают парфян кичливых
По высоким клобукам;

Я любовников счастливых
Узнаю по их глазам:
В них сияет пламень томный —
Наслаждений знак нескромный.

1835

ОДА LVI

(Из Анакреона)

Поредели, побелели
Кудри, честь главы моей,
Зубы в деснах ослабели,
И потух огонь очей.
Сладкой жизни мне не много
Провожать осталось дней:
Парка счет ведет им строго,
Тартар тени ждет моей.
Не воскреснем из-под спуда,
Всяк навеки там забыт:
Вход туда для всех открыт —
Нет исхода уж оттуда.

1835

ОДА LVII

Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно:
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно.

1835

* * *

Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила;
К ней на плечо преклонен, юноша вдруг задремал.
Дева тотчас умолкла, сон его легкий лелея,
И улыбалась ему, тихие слезы лия.

1835

ПОЛКОВОДЕЦ

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот,— а всё плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.
Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой...
Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,
Тем более томим я грустию тяжелой.

Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,—
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,

Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко,—
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти,—
Вотще! —

. . . . . .
. . . . . .

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведет в восторг и в умиленье!

1835

ТУЧА

Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несешься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

Довольно, сокройся! Пора миновалась,
Земля освежилась, и буря промчалась,
И ветер, лаская листочки древес,
Тебя с успокоенных гонит небес.

1835

ИЗ А. ШЕНЬЕ

Покров, упитанный язвительною кровью,
Кентавра мстящий дар, ревнивою любовью
Алкиду передан. Алкид его приял.
В божественной крови яд быстрый побежал.
Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет;
Стопами тяжкими вершину Эты роет;
Гнет, ломит древеса; исторженные пни
Высоко громоздит; его рукой они
В костер навалены; он их зажег; он всходит;
Недвижим на костре он в небо взор возводит;
Под мышцей палица; в ногах немейский лев
Разостлан. Дунул ветр; поднялся свист и рев;
Треща горит костер; и вскоре пламя, воя,
Уносит к небесам бессмертный дух героя.

1835

* * *

Кто из богов мне возвратил
Того, с кем первые походы
И браней ужас я делил,
Когда за призраком свободы
Нас Брут отчаянный водил?
С кем я тревоги боевые
В шатре за чашей забывал
И кудри, плющем увитые,
Сирийским мирром умащал?

Ты помнишь час ужасный битвы,
Когда я, трепетный квирит,
Бежал, нечестно брося щит,
Творя обеты и молитвы?
Как я боялся! как бежал!
Но Эрмий сам незапной тучей
Меня покрыл и вдаль умчал
И спас от смерти неминучей.

А ты, любимец первый мой,
Ты снова в битвах очутился...
И ныне в Рим ты возвратился
В мой домик темный и простой.

Н. Н. Пушкина.
Рис. А. П. Брюллова. Акварель. Копия.
1831 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

Садись под сень моих пенатов.
Давайте чаши. Не жалей
Ни вин моих, ни ароматов.
Венки готовы. Мальчик! лей.
Теперь некстати воздержанье:
Как дикий скиф хочу я пить.
Я с другом праздную свиданье,
Я рад рассудок утопить.

1835

СТРАННИК

I

Однажды странствуя среди долины дикой,
Незапно был объят я скорбию великой
И тяжким бременем подавлен и согбен,
Как тот, кто на суде в убийстве уличен.
Потупя голову, в тоске ломая руки,
Я в воплях изливал души пронзенной муки
И горько повторял, метаясь как больной:
«Что делать буду я? что станется со мной?»

II

И так я, сетуя, в свой дом пришел обратно.
Уныние мое всем было непонятно.
При детях и жене сначала я был тих
И мысли мрачные хотел таить от них:
Но скорбь час от часу меня стесняла боле;
И сердце наконец раскрыл я поневоле.

«О горе, горе нам! Вы, дети, ты, жена! —
Сказал я,— ведайте: моя душа полна
Тоской и ужасом, мучительное бремя
Тягчит меня. Идет! уж близко, близко время:
Наш город пламени и ветрам обречен;
Он в угли и золу вдруг будет обращен,
И мы погибнем все, коль не успеем вскоре
Обресть убежище; а где? о горе, горе!»

III

Мои домашние в смущение пришли
И здравый ум во мне расстроенным почли.
Но думали, что ночь и сна покой целебный
Охолодят во мне болезни жар враждебный.
Я лег, но во всю ночь все плакал и вздыхал
И ни на миг очей тяжелых не смыкал.
Поутру я один сидел, оставя ложе.
Они пришли ко мне; на их вопрос я то же,
Что прежде, говорил. Тут ближние мои,
Не доверяя мне, за должное почли
Прибегнуть к строгости. Они с ожесточеньем
Меня на правый путь и бранью и презреньем
Старались обратить. Но я, не внемля им,
Все плакал и вздыхал, унынием тесним.
И наконец они от крика утомились
И от меня, махнув рукою, отступились,
Как от безумного, чья речь и дикий плач
Докучны и кому суровый нужен врач.

IV

Пошел я вновь бродить, унываньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая,
Как узник, из тюрьмы замысливший побег,
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Он тихо поднял взор — и вопросил меня,
О чем, бродя один, так горько плачу я?
И я в ответ ему: «Познай мой жребий злобный:
Я осужден на смерть и позван в суд загробный —
И вот о чем крушусь: к суду я не готов,
И смерть меня страшит».
«Коль жребий твой таков,–
Он возразил,— и ты так жалок в самом деле,
Чего ж ты ждешь? зачем не убежишь отселе?»
И я: «Куда ж бежать? какой мне выбрать путь?»
Тогда: «Не видишь ли, скажи, чего-нибудь»,—
Сказал мне юноша, даль указуя перстом.
Я оком стал глядеть болезненно-отверстым,
Как от бельма врачом избавленный слепец.
«Я вижу некий свет»,— сказал я наконец.

«Иди ж,— он продолжал,— держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.

V

Побег мой произвел в семье моей тревогу,
И дети и жена кричали мне с порогу,
Чтоб воротился я скорее. Крики их
На площадь привлекли приятелей моих;
Один бранил меня, другой моей супруге
Советы подавал, иной жалел о друге,
Кто поносил меня, кто на смех подымал,
Кто силой воротить соседям предлагал;
Иные уж за мной гнались; но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть — оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

1835

* * *

...Вновь я посетил
Тот уголок земли, где я провел
Изгнанником два года незаметных.
Уж десять лет ушло с тех пор — и много
Переменилось в жизни для меня,
И сам, покорный общему закону,
Переменился я — но здесь опять
Минувшее меня объемлет живо,
И, кажется, вечор еще бродил
Я в этих рощах.
Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет — уж за стеною
Не слышу я шагов ее тяжелых,
Ни кропотливого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто
Я сиживал недвижим — и глядел
На озеро, воспоминая с грустью
Иные берега, иные волны...

Меж нив златых и пажитей зеленых
Оно, синея, стелется широко;
Через его неведомые воды
Плывет рыбак и тянет за собой
Убогий невод. По брегам отлогим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилу крылья
Ворочая при ветре...
На границе
Владений дедовских, на месте том,
Где в гору подымается дорога,
Изрытая дождями, три сосны
Стоят — одна поодаль, две другие
Друг к дружке близко,— здесь, когда их мимо
Я проезжал верхом при свете лунном,
Знакомым шумом шорох их вершин
Меня приветствовал. По той дороге
Теперь поехал я и пред собою
Увидел их опять. Они всё те же,
Все тот же их, знакомый уху шорох —
Но около корней их устарелых
(Где некогда все было пусто, голо)
Теперь младая роща разрослась,
Зеленая семья; кусты теснятся
Под сенью их как дети. А вдали
Стоит один угрюмый их товарищ,
Как старый холостяк, и вкруг него
По-прежнему все пусто.
Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего. Но пусть мой внук
Услышит ваш приветный шум, когда,
С приятельской беседы возвращаясь,
Веселых и приятных мыслей полон,
Пройдет он мимо вас во мраке ночи
И обо мне вспомянет.

1835

* * *

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты...
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

1835

НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЛУКУЛЛА

Подражание латинскому

Ты угасал, богач младой!
Ты слышал плач друзей печальных.
Уж смерть являлась за тобой
В дверях сеней твоих хрустальных.
Она, как втершийся с утра
Заимодавец терпеливый,
Торча в передней молчаливой,
Не трогалась с ковра.

В померкшей комнате твоей
Врачи угрюмые шептались.
Твоих нахлебников, цирцей
Смущеньем лица омрачались;
Вздыхали верные рабы
И за тебя богов молили,
Не зная в страхе, что́ сулили
Им тайные судьбы.

А между тем наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий,
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.
Уже скупой его сургуч
Пятнал замки твоей конторы;
И мнил загресть он злата горы
В пыли бумажных куч.

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»

Но ты воскрес. Твои друзья,
В ладони хлопая, ликуют;
Рабы, как добрая семья,
Друг друга в радости целуют;
Бодрится врач, подняв очки;
Гробовый мастер взоры клонит;
А вместе с ним приказчик гонит
Наследника в толчки.

Так жизнь тебе возвращена
Со всею прелестью своею;
Смотри: бесценный дар она;
Умей же пользоваться ею;
Укрась ее; года летят,
Пора! Введи в свои чертоги
Жену красавицу — и боги
Ваш брак благословят.

1835

ПИР ПЕТРА ПЕРВОГО

Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов;
Звучно с лодок раздаются
Песни дружные гребцов;
В царском доме пир веселый;
Речь гостей хмельна, шумна;
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

Что пирует царь великий
В Питербурге-городке?
Отчего пальба и клики
И эскадра на реке?

Озарен ли честью новой
Русский штык иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Иль в отъятый край у шведа
Прибыл Брантов утлый бот,
И пошел навстречу *деда*
Всей семьей наш юный флот,
И воинственные внуки
Стали в строй пред стариком,
И раздался в честь Науки
Песен хор и пушек гром?

Годовщину ли Полтавы
Торжествует государь,
День, как жизнь своей державы
Спас от Карла русский царь?
Родила ль Екатерина?
Именинница ль она,
Чудотворца-исполина
Чернобровая жена?

Нет! Он с подданным мирится;
Виноватому вину
Отпуская, веселится;
Кружку пенит с ним одну;
И в чело его целует,
Светел сердцем и лицом;
И прощенье торжествует,
Как победу над врагом.

Оттого-то шум и клики
В Питербурге-городке,
И пальба и гром музыки
И эскадра на реке;
Оттого-то в час веселый
Чаша царская полна
И Нева пальбой тяжелой
Далеко потрясена.

1835

ПОДРАЖАНИЕ АРАБСКОМУ

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюся я насмешек:
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь-в-точь двойной орешек
Под единой скорлупой.

1835

Д. В. ДАВЫДОВУ

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса,
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир.
Вот мой Пугач: при первом взгляде
Он виден — плут, казак прямой!
В передовом твоем отряде
Урядник был бы он лихой.

1836

МИРСКАЯ ВЛАСТЬ

Когда великое свершалось торжество
И в муках на кресте кончалось божество,
Тогда по сторонам животворяща древа
Мария-грешница и пресвятая дева
Стояли две жены,
В неизмеримую печаль погружены.
Но у подножия теперь креста честнаго,
Как будто у крыльца правителя градскаго,
Мы зрим поставленных на место жен святых
В ружье и кивере двух грозных часовых.

К чему, скажите мне, хранительная стража?
Или распятие казенная поклажа,
И вы боитеся воров или мышей?
Иль мните важности придать царю царей?
Иль покровительством спасаете могучим
Владыку, тернием венчанного колючим,
Христа, предавшего послушно плоть свою
Бичам мучителей, гвоздям и копию?
Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила
Того, чья казнь весь род Адамов искупила,
И, чтоб не потеснить гуляющих господ,
Пускать не велено сюда простой народ?

1836

(ПОДРАЖАНИЕ ИТАЛИЯНСКОМУ)

Как с древа сорвался предатель ученик,
Диявол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей
смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Прияли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

1836

(ИЗ ПИНДЕМОНТИ)

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспоривать налоги
Или мешать царям друг с другом воевать;
И мало горя мне, свободно ли печать
Морочит олухов, иль чуткая цензура
В журнальных замыслах стесняет балагура.
Все это, видите ль, *слова, слова, слова* [1].

[1] Hamlet.

Иные, лучшие, мне дороги права;
Иная, лучшая, потребна мне свобода:
Зависеть от царя, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

1836

* * *

Альфонс садится на коня;
Ему хозяин держит стремя.
«Сеньор, послушайтесь меня:
Пускаться в путь теперь не время,
В горах опасно, ночь близка,
Другая вента далека.
Останьтесь здесь: готов вам ужин;
В камине разложен огонь;
Постеля есть — покой вам нужен,
А к стойлу тянется ваш конь».
«Мне путешествие привычно
И днем и ночью — был бы путь,—
Тот отвечает.— Неприлично
Бояться мне чего-нибудь;
Я дворянин,— ни черт, ни воры
Не могут удержать меня,
Когда спешу на службу я».
И дон Альфонс коню дал шпоры
И едет рысью. Перед ним
Одна идет дорога в горы
Ущельем тесным и глухим.
Вот выезжает он в долину;
Какую ж видит он картину?
Кругом пустыня, дичь и голь...

А в стороне торчит глаголь,
И па глаголе том два тела
Висят. Закаркав, отлетела
Ватага черная ворон,
Лишь только к ним подъехал он.
То были трупы двух гитанов,
Двух славных братьев-атаманов,
Давно повешенных и там
Оставленных в пример ворам.
Дождями небо их мочило,
А солнце знойное сушило,
Пустынный ветер их качал,
Клевать их ворон прилетал.
И шла молва в простом народе,
Что, обрываясь по ночам,
Они до утра на свободе
Гуляли, мстя своим врагам.

Альфонсов конь всхрапел и боком
Прошел их мимо, и потом
Понесся резво, легким скоком,
С своим бесстрашным седоком.

1836

* * *

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

1836

* * *

Когда за городом, задумчив, я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные рядком,
Как гости жадные за нищенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолеи,
Дешевого резца нелепые затеи,
Над ними надписи и в прозе и в стихах
О добродетелях, о службе и чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами со столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, которы также тут,
Зеваючи, жильцов к себе на утро ждут,—
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит.
Хоть плюнуть да бежать...
Но как же любо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор,
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
На место праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит
Стоит широко дуб над важными гробами,
Колеблясь и шумя...

1836

* * *

Exegi monumentum [1]

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К нему не зарастет народная тропа,
Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

---

[1] Я воздвиг памятник *(лат.)*.

Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я Свободу
И милость к падшим призывал.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.

1836

ХУДОЖНИКУ

Грустеп и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даешь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!.. Вот Зевс громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — печаль...
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых кумиров —
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! как бы гордился тобой!

1836

* * *

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.

Тогда, душой беспечные певежды,
Мы жили все и легче и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности и всех ее затей.

Теперь не то: разгульный праздник наш
С приходом лет, как мы, перебесился,
Он присмирел, утих, остепенился,
Стал глуше звон его заздравных чаш;
Меж нами речь не так игриво льется,
Просторнее, грустнее мы сидим,
И реже смех средь песен раздается,
И чаще мы вздыхаем и молчим.

Всему пора: уж двадцать пятый раз
Мы празднуем лицея день заветный.
Прошли года чредою незаметной,
И как они переменили нас!
Недаром — нет! — промчалась четверть века!
Не сетуйте: таков судьбы закон;
Вращается весь мир вкруг человека,—
Ужель один недвижим будет он?

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Метались смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то Славы, то Свободы,
То Гордости багрила алтари.

Вы помните: когда возник лицей,
Как царь для нас открыл чертог царицын,
И мы пришли. И встретил нас Куницын
Приветствием меж царственных гостей.
Тогда гроза двенадцатого года
Еще спала. Еще Наполеон
Не испытал великого народа —
Еще грозил и колебался он.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,

Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас... и племена сразились,
Русь обняла кичливого врага,
И заревом московским озарились
Его полкам готовые снега.

Вы помпите, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздался!
Как был велик, как был прекрасен он,
Народов друг, спаситель их свободы!
Вы помпите — как оживились вдруг
Сии сады, сии живые воды,
Где проводил он славный свой досуг.

И нет его — и Русь оставил он,
Взнесенну им над миром изумленным,
И на скале изгпанником забвепным,
Всему чужой, угас Наполеон.
И повый царь, суровый и могучий,
На рубеже Европы бодро стал,
И над землей сошлися новы тучи,
И урагап их...

1836

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В СВАЙКУ

Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый,
Строен, легок и могуч,— тешится быстрой игрой!
Вот и товарищ тебе, дискобол! Он достоин, клянуся,
Дружно обнявшись с тобой, после игры отдыхать.

1836

НА СТАТУЮ ИГРАЮЩЕГО В БАБКИ

Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено
Бодро опе́рся, другой поднял меткую кость.
Вот уж прицелился... прочь! раздайся, народ любопытпый.
Врозь расступись; не мешай русской уда́лой игре.

1836

* * *

От меня вечор Леила
Равнодушно уходила.
Я сказал: «Постой, куда?»
А она мне возразила:
«Голова твоя седа».
Я насмешнице нескромной
Отвечал: «Всему пора!
То, что было мускус темный,
Стало нынче камфора».
Но Леила неудачным
Посмеялася речам
И сказала: «Знаешь сам:
Сладок мускус новобрачным,
Камфора годна гробам».

1836

ПОЭМЫ

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА

ПОСВЯЩЕНИЕ

Для вас, души моей царицы,
Красавицы, для вас одних
Времен минувших небылицы,
В часы досугов золотых,
Под шепот старины болтливой,
Рукою верной я писал;
Примите ж вы мой труд игривый!
Ничьих не требуя похвал,
Счастлив уж я надеждой сладкой,
Что дева с трепетом любви
Посмотрит, может быть, украдкой
На песни грешные мои.

У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.

Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;

Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.
Одну я помню: сказку эту
Поведаю теперь я свету...

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал
За князя храброго Руслана
И мед из тяжкого стакана
За их здоровье выпивал.
Не скоро ели предки наши,
Не скоро двигались кругом
Ковши, серебряные чаши

С кипящим пивом и вином.
Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям.

Слилися речи в шум невнятный;
Жужжит гостей веселый круг;
Но вдруг раздался глас приятный
И звонких гуслей беглый звук;
Все смолкли, слупают Баяна:
И славит сладостный певец
Людмилу-прелесть, и Руслана,
И Лелем свитый им венец.

Но, страстью пылкой утомленный,
Не ест, не пьет Руслан влюбленный;
На друга милого глядит,
Вздыхает, сердится, горит
И, щипля ус от нетерпенья,
Считает каждые мгновенья.
В унынье, с пасмурным челом,
За шумным, свадебным столом
Сидят три витязя младые;
Безмолвны, за ковшом пустым,
Забыты кубки круговые,
И брашна неприятны им;
Не слышат вещего Баяна;
Потупили смущенный взгляд:
То три соперника Руслана;
В душе несчастные таят
Любви и ненависти яд.
Один — Рогдай, воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей;
Другой — Фарлаф, крикун надменный,
В пирах никем не побежденный,
Но воин скромный средь мечей;
Последний, полный страстной думы,
Младой хазарский хан Ратмир:
Все трое бледны и угрюмы,
И пир веселый им не в пир.

Вог кончен он; встают рядами,
Смешались шумными толпами,
И все глядят на молодых:
Невеста очи опустила,
Как будто сердцем приуныла,
И светел радостный жених.
Но тень объемлет всю природу,
Уж близко к полночи глухой;
Бояре, задремав от меду,
С поклоном убрались домой.
Жених в восторге, в упоенье:
Ласкает он в воображепье
Стыдливой девы красоту;
Но с тайным, грустпым умиленьем
Великий князь благословеньем
Дарует юную чету.

И вот невесту молодую
Ведут на брачную постель;
Огни погасли... и ночную
Лампаду зажигает Лель.
Свершились милые надежды,
Любви готовятся дары;
Падут ревнивые одежды
На цареградские ковры...
Вы слышите ль влюбленный шепот,
И поцелуев сладкий звук,
И прерывающийся ропот
Послєдней робости?.. Супруг
Восторги чувствует заране;
И вот они настали... Вдруг
Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом все смерклось, все дрожит,
И замерла душа в Руслане...
Все смолкло. В грозной тишине
Раздался дважды голос странный,
И кто-то в дымной глубине
Взвился чернее мглы туманной...
И снова терем пуст и тих;
Встает испуганный жених,
С лица катится пот остылый;
Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой...

О горе: нет подруги милой!
Хватает воздух он пустой;
Людмилы нет во тьме густой,
Похищена безвестной силой.

Ах, если мученик любви
Страдает страстью безнадежно,
Хоть грустно жить, друзья мои,
Однако жить еще возможно.
Но после долгих, долгих лет
Обнять влюбленную подругу,
Желаний, слез, тоски предмет,
И вдруг минутную супругу
Навек утратить... о друзья,
Конечно лучше б умер я!

Однако жив Руслан несчастный.
Но что сказал великий князь?
Сраженный вдруг молвой ужасной,
На зятя гневом распалясь,
Его и двор он созывает:
«Где, где Людмила?» — вопрошает
С ужасным, пламенным челом.
Руслан не слышит. «Дети, други!
Я помню прежние заслуги:
О, сжальтесь вы над стариком!
Скажите, кто из вас согласен
Скакать за дочерью моей?
Чей подвиг будет не напрасен,
Тому — терзайся, плачь, злодей!
Не мог сберечь жены своей! —
Тому я дам ее в супруги
С полцарством прадедов моих.
Кто ж вызовется, дети, други?..»
«Я!» — молвил горестный жених.
«Я! я!» — воскликнули с Рогдаем
Фарлаф и радостный Ратмир:
«Сейчас коней своих седлаем;
Мы рады весь изъездить мир.
Отец наш, не продлим разлуки;
Не бойся: едем за княжной».
И с благодарностью немой
В слезах к ним простирает руки
Старик, измученный тоской.

Все четверо выходят вместе;
Руслан унынъем как убит;
Мысль о потерянной невесте
Его терзает и мертвит.
Садятся на коней ретивых;
Вдоль берегов Днепра счастливых
Летят в клубящейся пыли;
Уже скрываются вдали;
Уж всадников не видно боле...
Но долго все еще глядит
Великий князь в пустое поле
И думой им вослед летит.

Руслан томился молчаливо,
И смысл и память потеряв.
Через плечо глядя спесиво
И важно подбочась, Фарлаф,
Надувшись, ехал за Руслапом.
Он говорит: «Насилу я
На волю вырвался, друзья!
Ну, скоро ль встречусь с великаном?
Уж то-то крови будет течь,
Уж то-то жертв любви ревнивой!
Повеселись, мой верный меч,
Повеселись, мой конь ретивый!»

Хазарский хан, в уме своем
Уже Людмилу обнимая,
Едва не пляшет над седлом;
В нем кровь играет молодая,
Огня надежды полон взор:
То скачет он во весь опор,
То дразнит бегуна лихого,
Кружит, подъемлет на дыбы
Иль дерзко мчит на холмы снова.

Рогдай угрюм, молчит — ни слова...
Страшась неведомой судьбы
И мучась ревностью напрасной,
Всех больше беспокоен он,
И часто взор его ужаспый
На князя мрачно устремлен.

Соперники одной дорогой
Всё вместе едут целый день.
Днепра стал темен брег отлогий;
С востока льется ночи тень;
Туманы над Днепром глубоким;
Пора коням их отдохнуть.
Вот под горой путем широким
Широкий пересекся путь.
«Разъедемся, пора! — сказали,—
Безвестной вверимся судьбе».
И каждый конь, не чуя стали,
По воле путь избрал себе.

Что делаешь, Руслан несчастный,
Один в пустынной тишине?
Людмилу, свадьбы день ужасный,
Все, мнится, видел ты во сне.
На брови медный шлем надвинув,
Из мощных рук узду покинув,
Ты шагом едешь меж полей,
И медлепно в душе твоей
Надежда гибнет, гаснет вера.

Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет. Он прямо к ней
Идет под дремлющие своды,
Ровесники самой природы.
Вошел с уныньем: что же зрит?
В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит,
Ее внимательно читая.
«Добро пожаловать, мой сын! —
Сказал с улыбкой он Руслану.—
Уж двадцать лет я здесь один
Во мраке старой жизни вяну;
Но наконец дождался дня,
Давно предвиденного мною.
Мы вместе сведены судьбою;
Садись и выслушай меня.
Руслан, лишился ты Людмилы;
Твой твердый дух теряет силы;

Но зла промчится быстрый миг:
На время рок тебя постиг.
С надеждой, верою весслой
Иди на все, не унывай;
Вперед! мечом и грудью смелой
Свой путь на полночь пробивай.

Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.
Еще ничей в его обитель
Не проникал доныне взор;
Но ты, злых козней истребитель,
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей.
Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воле».

Наш витязь старцу пал к ногам
И в радости лобзает руку.
Светлеет мир его очам,
И сердце позабыло муку.
Вновь ожил он; и вдруг опять
На вспыхнувшем лице кручина...
«Ясна тоски твоей причина;
Но грусть не трудно разогнать,—
Сказал старик,— тебе ужасна
Любовь седого колдуна;
Спокойся, знай: она напрасна
И юной деве не страшна.
Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.
Ревнивый, трепетный хранитель
Замков безжалостных дверей,
Он только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей.
Вокруг нее он молча бродит,
Клянет жестокий жребий свой...
Но, добрый витязь, день проходит,
А нужен для тебя покой».

Руслан на мягкий мох ложится
Пред умирающим огнем;
Он ищет позабыться сном,
Вздыхает, медленно вертится...
Напрасно! Витязь наконец:
«Не спится что-то, мой отец!
Что делать: болен я душою,
И сон не в сон, как тошно жить.
Позволь мне сердце освежить
Твоей беседою святою.
Прости мне дерзостный вопрос.
Откройся: кто ты, благодатный,
Судьбы наперсник непонятный?
В пустыню кто тебя занес?»

Вздохнув с улыбкою печальной,
Старик в ответ: «Любезный сын,
Уж я забыл отчизны дальной
Угрюмый край. Природный финн,
В долинах, нам одним известных,
Гоняя стадо сел окрестных,
В беспечной юности я знал
Одни дремучие дубравы,
Ручьи, пещеры наших скал
Да дикой бедности забавы.
Но жить в отрадной тишине
Дано не долго было мне.

Тогда близ нашего селенья,
Как милый цвет уединенья,
Жила Наина. Меж подруг
Она гремела красотою.
Однажды утренней порою
Свои стада на темный луг
Я гнал, волынку надувая;
Передо мной шумел поток.
Одна, красавица младая
На берегу плела венок.
Меня влекла моя судьбина...
Ах, витязь, то была Наина!
Я к ней — и пламень роковой
За дерзкий взор мне был наградой,

И я любовь узнал душой
С ее небесною отрадой,
С ее мучительной тоской.

Умчалась года половина;
Я с трепетом открылся ей,
Сказал: люблю тебя, Наина.
Но робкой горести моей
Наина с гордостью внимала,
Лишь прелести свои любя,
И равнодушно отвечала:
«Пастух, я не люблю тебя!»

И все мне дико, мрачно стало:
Родная куща, тень дубров,
Веселы игры пастухов —
Ничто тоски не утешало.
В унынье сердце сохло, вяло.
И наконец задумал я
Оставить финские поля;
Морей неверные пучины
С дружиной братской переплыть
И бранной славой заслужить
Вниманье гордое Наины.
Я вызвал смелых рыбаков
Искать опасностей и злата.
Впервые тихий край отцов
Услышал бранный звук булата
И шум немирных челноков.
Я вдаль уплыл, надежды полный,
С толпой бесстрашных земляков;
Мы десять лет снега и волны
Багрили кровию врагов.
Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.
Мы весело, мы грозно бились,
Делили дани и дары,
И с побежденными садились
За дружелюбные пиры.
Но сердце, полное Наиной,
Под шумом битвы и пиров,
Томилось тайною кручиной,
Искало финских берегов.

Пора домой, сказал я, други!
Повесим праздные кольчуги
Под сенью хижины родной.
Сказал — и весла зашумели;
И, страх оставя за собой,
В залив отчизны дорогой
Мы с гордой радостью влетели.

Сбылись давнишние мечты,
Сбылися пылкие желанья!
Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты!
К ногам красавицы надменной
Принес я меч окровавленный,
Кораллы, злато и жемчуг;
Пред нею, страстью упоенный,
Безмолвным роем окруженный
Ее завистливых подруг,
Стоял я пленником послушным;
Но дева скрылась от меня,
Примолвя с видом равнодушным:
«Герой, я не люблю тебя!»

К чему рассказывать, мой сын,
Чего пересказать нет силы?
Ах, и теперь один, один,
Душой уснув, в дверях могилы,
Я помню горесть, и порой,
Как о минувшем мысль родится,
По бороде моей седой
Слеза тяжелая катится.

Но слушай: в родине моей
Между пустынных рыбарей
Наука дивная таится.
Под кровом вечной тишины,
Среди лесов, в глуши далекой
Живут седые колдуны;
К предметам мудрости высокой
Все мысли их устремлены;
Все слышит голос их ужасный,
Что было и что будет вновь,
И грозной воле их подвластны
И гроб, и самая любовь.

И я, любви искатель жадный,
Решился в грусти безотрадной
Наину чарами привлечь
И в гордом сердце девы хладной
Любовь волшебствами зажечь.
Спешил в объятия свободы,
В уединенный мрак лесов;
И там, в ученье колдунов,
Провел невидимые годы.
Настал давно желанный миг,
И тайну страшную природы
Я светлой мыслию постиг:
Узнал я силу заклинаньям.
Венец любви, венец желаньям!
Теперь, Наина, ты моя!
Победа наша, думал я.
Но в самом деле победитель
Был рок, упорный мой гонитель.

В мечтах надежды молодой,
В восторге пылкого желанья,
Творю поспешно заклинанья,
Зову духов — и в тьме лесной
Стрела промчалась громовая,
Волшебный вихорь поднял вой,
Земля вздрогнула под ногой...
И вдруг сидит передо мной
Старушка дряхлая, седая,
Глазами впалыми сверкая,
С горбом, с трясучей головой,
Печальной ветхости картина.
Ах, витязь, то была Наина!..
Я ужаснулся и молчал,
Глазами страшный призрак мерил,
В сомненье все еще не верил
И вдруг заплакал, закричал:
«Возможно ль! ах, Наина, ты ли!
Наина, где твоя краса?
Скажи, ужели небеса
Тебя так страшно изменили?
Скажи, давно ль, оставя свет,
Расстался я с душой и с милой?
Давно ли?..» — «Ровно сорок лет,—
Был девы роковой ответ,—

Сегодня семьдесят мне било.
Что делать,— мне пищит она,—
Толпою годы пролетели.
Прошла моя, твоя весна —
Мы оба постареть успели.
Но, друг, послушай: не беда
Неверной младости утрата.
Конечно, я теперь седа,
Немножко, может быть, горбата;
Не то, что в старину была,
Не так жива, не так мила;
Зато (прибавила болтунья)
Открою тайну: я колдунья!»

И было в самом деле так.
Немой, недвижный перед нею,
Я совершенный был дурак
Со всей премудростью моею.

Но вот ужасно: колдовство
Вполне свершилось по несчастью.
Мое седое божество
Ко мне пылало новой страстью.
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Я трепетал, потупя взор;
Она сквозь кашель продолжала
Тяжелый, страстный разговор:
«Так, сердце я теперь узнала;
Я вижу, верный друг, оно
Для нежной страсти рождено;
Проснулись чувства, я сгораю,
Томлюсь желаньями любви...
Приди в объятия мои...
О милый, милый! умираю...»

И между тем она, Руслан,
Мигала томными глазами;
И между тем за мой кафтан
Держалась тощими руками;
И между тем — я обмирал,
От ужаса зажмуря очи;

И вдруг терпеть не стало мочи;
Я с криком вырвался, бежал.
Она вослед: «О недостойный!
Ты возмутил мой век спокойный,
Невинной девы ясны дни!
Добился ты любви Наины,
И презираешь — вот мужчины!
Изменой дышат все они!
Увы, сама себя вини;
Он обольстил меня, несчастный!
Я отдалась любови страстной...
Изменник, изверг! о позор!
Но трепещи, девичий вор!»

Так мы расстались. С этих пор
Живу в моем уединенье
С разочарованной душой;
И в мире старцу утешенье
Природа, мудрость и покой.
Уже зовет меня могила;
Но чувства прежние свои
Еще старушка не забыла
И пламя поздное любви
С досады в злобу превратила.
Душою черной зло любя,
Колдунья старая, конечно,
Возненавидит и тебя;
Но горе на земле не вечно».

Наш витязь с жадностью внимал
Рассказы старца; ясны очи
Дремотой легкой не смыкал
И тихого полета ночи
В глубокой думе не слыхал.
Но день блистает лучезарный...
Со вздохом витязь благодарный
Объемлет старца-колдуна;
Душа надеждою полна;
Выходит вон. Ногами стиснул
Руслан заржавшего коня,
В седле оправился, присвистнул.
«Отец мой, не оставь меня».
И скачет по пустому лугу.

М. Н. Волконская.
Рис. Н. Бестужева. Акварель.
Петровский завод. 1837 г.
Исторический музей. Москва.

Сёдой мудрец младому другу
Кричит вослед: «Счастливый путь!
Прости, люби свою супругу,
Советов старца не забудь!»

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Соперники в искусстве брани,
Не знайте мира меж собой;
Несите мрачной славе дани
И упивайтеся враждой!
Пусть мир пред вами цепенсет,
Дивяся грозным торжествам:
Никто о вас не пожалеет,
Никто не помешает вам.
Соперники другого рода,
Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь — только осторожно.
Но вы, соперники в любви,
Живите дружно, если можно!
Поверьте мне, друзья мои:
Кому судьбою непременной
Девичье сердце суждено,
Тот будет мил назло вселенной;
Сердиться глупо и грешно.

Когда Рогдай неукротимый,
Глухим предчувствием томимый,
Оставя спутников своих,
Пустился в край уединенный
И ехал меж пустынь лесных,
В глубоку думу погруженный —
Злой дух тревожил и смущал
Его тоскующую душу,
И витязь пасмурный шептал:
«Убью!.. преграды все разрушу...
Руслан!.. узнаешь ты меня...
Теперь-то девица поплачет...»
И вдруг, поворотив коня,
Во весь опор назад он скачет.

В то время доблестный Фарлаф,
Все утро сладко продремав,
Укрывшись от лучей полдневных,
У ручейка, наедине,
Для подкрепленья сил душевных,
Обедал в мирной тишине.
Как вдруг он видит: кто-то в поле,
Как буря, мчится на копе;
И, времени не тратя боле,
Фарлаф, покинув свой обед,
Копье, кольчугу, шлем, перчатки,
Вскочил в седло и без оглядки
Летит — а тот за ним вослед.
«Остановись, беглец бесчестный! —
Кричит Фарлафу неизвестный.—
Презренный, дай себя догнать!
Дай голову с тебя сорвать!»
Фарлаф, узнавши глас Рогдая,
Со страха скорчась, обмирал
И, верной смерти ожидая,
Коня еще быстрее гнал.
Так точно заяц торопливый,
Прижавши уши боязливо,
По кочкам, полем, сквозь леса
Скачками мчится ото пса.
На месте славного побега
Весной растопленного снега
Потоки мутные текли
И рыли влажну грудь земли.
Ко рву примчался конь ретивый,
Взмахнул хвостом и белой гривой,
Бразды стальные закусил
И через ров перескочил;
Но робкий всадник вверх ногами
Свалился тяжко в грязный ров,
Земли не взвидел с небесами
И смерть принять уж был готов.
Рогдай к оврагу подлетает;
Жестокий меч уж занесен,
«Погибни, трус! умри!» — вещает...
Вдруг узнает Фарлафа он;
Глядит, и руки опустились;
Досада, изумленье, гнев
В его чертах изобразились;

Скрыпя зубами, онемев,
Герой, с поникшею главою
Скорей отъехав ото рва,
Бесился... но едва, едва
Сам не смеялся над собою.

Тогда он встретил под горой
Старушечку чуть-чуть живую,
Горбатую, совсем седую.
Она дорожною клюкой
Ему на север указала.
«Ты там найдешь его»,— сказала.
Рогдай весельем закипел
И к верной смерти полетел.

А наш Фарлаф? Во рву остался,
Дохнуть не смея; про себя
Он, лежа, думал: жив ли я?
Куда соперник злой девался?
Вдруг слышит прямо над собой
Старухи голос гробовой:
«Встань, молодец: все тихо в поле;
Ты никого не встретишь боле;
Я привела тебе коня;
Вставай, послушайся меня».

Смущенный витязь поневоле
Ползком оставил грязный ров;
Окрестность робко озирая,
Вздохнул и молвил оживая:
«Ну, слава богу, я здоров!»

«Поверь! — старуха продолжала,-
Людмилу мудрено сыскать;
Она далеко забежала;
Не нам с тобой ее достать.
Опасно разъезжать по свету;
Ты, право, будешь сам не рад.
Последуй моему совету,
Ступай тихохонько назад.
Под Киевом, в уединенье,
В своем наследственном селенье
Останься лучше без забот:
От нас Людмила не уйдет».

Сказав, исчезла. В нетерпенье
Благоразумный наш герой
Тотчас отправился домой,
Сердечно позабыв о-славе
И даже о княжне младой;
И шум малейший по дубраве,
Полет синицы, ропот вод
Его бросали в жар и в пот.

Меж тем Руслан далеко мчится;
В глуши лесов, в глуши полей
Привычной думою стремится
К Людмиле, радости своей,
И говорит: «Найду ли друга?
Где ты, души моей супруга?
Увижу ль я твой светлый взор?
Услышу ль нежный разговор?
Иль суждено, чтоб чародея
Ты вечной пленницей была
И, скорбной девою старея,
В темнице мрачной отцвела?
Или соперник дерзновенный
Придет?.. Нет, нет, мой друг бесценный:
Еще при мне мой верный меч,
Еще глава не пала с плеч».

Однажды, темною порою,
По камням берегом крутым
Наш витязь ехал над рекою.
Все утихало. Вдруг за ним
Стрелы мгновенное жужжанье,
Кольчуги звон, и крик, и ржанье,
И топот по полю глухой.
«Стой!» — грянул голос громовой.
Он оглянулся: в поле чистом,
Подняв копье, летит со свистом
Свирепый всадник, и грозой
Помчался князь ему навстречу.
«Ага! догнал тебя! постой! —
Кричит наездник удалой,—
Готовься, друг, на смертну сечу;
Теперь ложись средь здешних мест;
А там ищи своих невест».
Руслан вспылал, вздрогнул от гнева;
Он узнает сей буйный глас...

Друзья мои! а наша дева?
Оставим витязей на час;
О них опять я вспомню вскоре.
А то давно пора бы мне
Подумать о младой княжне
И об ужасном Черноморе.

Моей причудливой мечты
Наперсник иногда нескромный,
Я рассказал, как ночью темной
Людмилы нежной красоты
От воспаленного Руслана
Сокрылись вдруг среди тумана.
Несчастная! когда злодей,
Рукою мощною своей
Тебя сорвав с постели брачной,
Взвился, как вихорь, к облакам
Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный
И вдруг умчал к своим горам —
Ты чувств и памяти лишилась
И в страшном замке колдуна,
Безмолвна, трепетна, бледна,
В одно мгновенье очутилась.

С порога хижины моей
Так видел я, средь летних дней,
Когда за курицей трусливой,
Султан курятника спесивый,
Петух мой по двору бежал
И сладострастными крылами
Уже подругу обнимал;
Над ними хитрыми кругами
Цыплят селенья старый вор,
Прияв губительные меры,
Носился, плавал коршун серый
И пал как молния на двор.
Взвился, летит. В когтях ужасных
Во тьму расселин безопасных
Уносит бедную злодей.
Напрасно, горестью своей
И хладным страхом пораженный,
Зовет любовницу петух...
Он видит лишь летучий пух,
Летучим ветром занесенный.

До утра юная княжна
Лежала, тягостным забвеньем,
Как будто страшным сновиденьем,
Объята — наконец она
Очнулась, пламенным волненьем
И смутным ужасом полна;
Душой летит за наслажденьем,
Кого-то ищет с упоеньем;
«Где ж милый,— шепчет,— где супруг?»
Зовет и помертвела вдруг.
Глядит с боязнию вокруг.
Людмила, где твоя светлица?
Лежит несчастная девица
Среди подушек пуховых,
Под гордой сенью балдахина;
Завесы, пышная перина
В кистях, в узорах дорогих;
Повсюду ткани парчевые;
Играют яхонты, как жар;
Кругом курильницы златые
Подъемлют ароматный пар;
Довольно... благо мне не надо
Описывать волшебный дом:
Уже давно Шехеразада
Меня предупредила в том.
Но светлый терем не отрада,
Когда не видим друга в нем.

Три девы, красоты чудесной,
В одежде легкой и прелестной
Княжне явились, подошли
И поклонились до земли.
Тогда неслышными шагами
Одна поближе подошла;
Княжне воздушными перстами
Златую косу заплела
С искусством, в наши дни не новым,
И обвила венцом перловым
Окружность бледного чела.
За нею, скромно взор склоняя,
Потом приближилась другая;
Лазурный, пышный сарафан
Одел Людмилы стройный стан;

Покрылись кудри золотые,
И грудь, и плечи молодые
Фатой, прозрачной, как туман.
Покров завистливый лобзает
Красы, достойные небес,
И обувь легкая сжимает
Две ножки, чудо из чудес.
Княжне последняя девица
Жемчужный пояс подает.
Меж тем незримая певица
Веселы песни ей поет.
Увы, ни камни ожерелья,
Ни сарафан, ни перлов ряд,
Ни песни лести и веселья
Ее души не веселят;
Напрасно зеркало рисует
Ее красы, ее наряд:
Потупя неподвижный взгляд,
Она молчит, она тоскует.

Те, кои, правду возлюбя,
На темном сердца дне читали,
Конечно знают про себя,
Что если женщина в печали
Сквозь слез, украдкой, как-нибудь,
Назло привычке и рассудку,
Забудет в зеркало взглянуть,—
То грустно ей уж не на шутку.

Но вот Людмила вновь одна.
Не зная, что начать, она
К окну решетчату подходит,
И взор ее печально бродит
В пространстве пасмурной дали.
Все мертво. Снежные равнины
Коврами яркими легли;
Стоят угрюмых гор верши́ны
В однообразной белизне
И дремлют в вечной тишине;
Кругом не видно дымной кровли,
Не видно путника в снегах,
И звонкий рог веселой ловли
В пустынных не трубит горах;

Лишь изредка с унылым свистом
Бунтует вихорь в поле чистом
И на краю седых небес
Качает обнаженный лес.

В слезах отчаянья, Людмила
От ужаса лицо закрыла.
Увы, что ждет ее теперь!
Бежит в серебряную дверь;
Она с музыкой отворилась,
И наша дева очутилась
В саду. Пленительный предел:
Прекраснее садов Армиды
И тех, которыми владел
Царь Соломон иль князь Тавриды.
Пред нею зыблются, шумят
Великолепные дубровы,
Аллеи пальм, и лес лавровый,
И благовонных миртов ряд,
И кедров гордые вершины,
И золотые апельсины
Зерцалом вод отражены;
Пригорки, рощи и долины
Весны огнем оживлены;
С прохладой вьется ветер майский
Средь очарованных полей,
И свищет соловей китайский
Во мраке трепетных ветвей;
Летят алмазные фонтаны
С веселым шумом к облакам:
Под ними блещут истуканы
И, мнится, живы; Фидий сам,
Питомец Феба и Паллады,
Любуясь ими, наконец,
Свой очарованный резец
Из рук бы выронил с досады.
Дробясь о мраморны преграды,
Жемчужной, огненной дугой
Валятся, плещут водопады;
И ручейки в тени лесной
Чуть вьются сонною волной.
Приют покоя и прохлады,
Сквозь вечну зелень здесь и там
Мелькают светлые беседки;

Повсюду роз живые ветки
Цветут и дышат по тропам.
Но безутешная Людмила
Идет, идет и не глядит;
Волшебства роскошь ей постыла,
Ей грустен неги светлый вид;
Куда, сама не зная, бродит,
Волшебный сад кругом обходит,
Свободу горьким дав слезам,
И взоры мрачные возводит
К неумолимым небесам.
Вдруг осветился взор прекрасный:
К устам она прижала перст;
Казалось, умысел ужасный
Рождался... Страшный путь отверст:
Высокий мостик над потоком
Пред ней висит на двух скалах;
В унынье тяжком и глубоком
Она подходит — и в слезах
На воды шумные взглянула,
Ударила, рыдая, в грудь,
В волнах решилась утонуть —
Однако в воды не прыгнула
И далѣ продолжала путь.

Моя прекрасная Людмила,
По солнцу бегая с утра,
Устала, слезы осушила,
В душе подумала: пора!
На травку села, оглянулась —
И вдруг над нею сень шатра,
Шумя, с прохладой развернулась;
Обед роскошный перед ней;
Прибор из яркого кристалла;
И в тишине из-за ветвей
Незрима арфа заиграла.
Дивится пленная княжна,
Но втайне думает она:
«Вдали от милого, в неволе,
Зачем мне жить на свете боле?
О ты, чья гибельная страсть
Меня терзает и лелеет,
Мне не страшна злодея власть:
Людмила умереть умеет!

Не нужно мне твоих шатров,
Ни скучных песен, ни пиров —
Не стану есть, не буду слушать,
Умру среди твоих садов!»
Подумала — и стала кушать.

Княжна встает, и вмиг шатер,
И пышной роскоши прибор,
И звуки арфы... все пропало;
По-прежнему все тихо стало;
Людмила вновь одна в садах
Скитается из рощи в рощи;
Меж тем в лазурных небесах
Плывет луна, царица нощи,
Находит мгла со всех сторон
И тихо на холмах почила;
Княжну невольно клонит сон,
И вдруг неведомая сила,
Нежней, чем вешний ветерок,
Ее на воздух поднимает,
Несет по воздуху в чертог
И осторожно опускает
Сквозь фимиам вечерних роз
На ложе грусти, ложе слез.
Три девы вмиг опять явились
И вкруг нее засуетились,
Чтоб на ночь пышный снять убор;
Но их унылый, смутный взор
И принужденное молчанье
Являли втайне состраданье
И немощный судьбам укор.
Но поспешим: рукой их нежной
Раздета сонная княжна;
Прелестна прелестью небрежной,
В одной сорочке белоснежной
Ложится почивать она.
Со вздохом девы поклонились,
Скорей как можно удалились
И тихо притворили дверь.
Что ж наша пленница теперь!
Дрожит как лист, дохнуть не смеет
Хладеют перси, взор темнеет;
Мгновенный сон от глаз бежит;

Не спит, удвоила вниманье,
Недвижно в темноту глядит...
Все мрачно, мертвое молчанье!
Лишь сердца слышит трепетанье...
И мнится... шепчет тишина,
Идут — идут к ее постели;
В подушки прячется княжна —
И вдруг... о страх!.. и в самом деле
Раздался шум; озарена
Мгновенным блеском тьма ночная,
Мгновенно дверь отворена;
Безмолвно, гордо выступая,
Нагими саблями сверкая,
Арапов длинный ряд идет
Попарно, чинно, сколь возможно,
И на подушках осторожно
Седую бороду несет;
И входит с важностью за нею,
Подъяв величественно шею,
Горбатый карлик из дверей:
Его-то голове обритой,
Высоким колпаком покрытой,
Принадлежала борода.
Уж он приближился: тогда
Княжна с постели соскочила,
Седого карлу за колпак
Рукою быстрой ухватила,
Дрожащий занесла кулак
И в страхе завизжала так,
Что всех арапов оглушила.
Трепеща, скорчился бедняк,
Княжны испуганной бледнее;
Зажавши уши поскорее,
Хотел бежать, но в бороде
Запутался, упал и бьется;
Встает, упал; в такой беде
Арапов черный рой мятется;
Шумят, толкаются, бегут,
Хватают колдуна в охапку
И вон распутывать несут,
Оставя у Людмилы шапку.

Но что-то добрый витязь наш?
Вы помните ль нежданну встречу?

Бери свой быстрый карандаш,
Рисуй, Орловский, ночь и сечу!
При свете трепетном луны
Сразились витязи жестоко;
Сердца их гневом стеснены,
Уж копья брошены далеко,
Уже мечи раздроблены,
Кольчуги кровию покрыты,
Щиты трещат, в куски разбиты...
Они схватились на конях;
Взрывая к небу черный прах,
Под ними борзы кони бьются;
Борцы, недвижно сплетены,
Друг друга стиснув, остаются,
Как бы к седлу пригвождены;
Их члены злобой сведены;
Переплелись и костенеют;
По жилам быстрый огнь бежит;
На вражьей груди грудь дрожит —
И вот колеблются, слабеют —
Кому-то пасть... вдруг витязь мой,
Вскипев, железною рукой
С седла наездника срывает,
Подъемлет, держит над собой
И в волны с берега бросает.
«Погибни! — грозно восклицает; —
Умри, завистник злобный мой!»

Ты догадался, мой читатель,
С кем бился доблестный Руслан:
То был кровавых битв искатель,
Рогдай, надежда киевлян,
Людмилы мрачный обожатель.
Он вдоль днепровских берегов
Искал соперника следов;
Нашел, настиг, но прежня сила
Питомцу битвы изменила,
И Руси древний удалец
В пустыне свой нашел конец.
И слышно было, что Рогдая
Тех вод русалка молодая
На хладны перси приняла
И, жадно витязя лобзая,
На дно со смехом увлекла,

И долго после, ночью темной
Бродя близ тихих берегов,
Богатыря призрак огромный
Пугал пустынных рыбаков.

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ

Напрасно вы в тени таились
Для мирных, счастливых друзей,
Стихи мои! Вы не сокрылись
От гневных зависти очей.
Уж бледный критик, ей в услугу,
Вопрос мне сделал роковой:
Зачем Русланову подругу,
Как бы на смех ее супругу,
Зову и девой и княжной?
Ты видишь, добрый мой читатель,
Тут злобы черную печать!
Скажи, Зоил, скажи, предатель,
Ну как и что мне отвечать?
Красней, несчастный, бог с тобою!
Красней, я спорить не хочу;
Довольный тем, что прав душою,
В смиренной кротости молчу.
Но ты поймешь меня, Климена,
Потупишь томные глаза,
Ты, жертва скучного Гимена...
Я вижу: тайная слеза
Падет на стих мой, сердцу внятный;
Ты покраснела, взор погас;
Вздохнула молча... вздох понятный!
Ревнивец: бойся, близок час;
Амур с Досадой своенравной
Вступили в смелый заговор,
И для главы твоей бесславной
Готов уж мстительный убор.

Уж утро хладное сияло
На темени полнощных гор;
Но в дивном замке все молчало.
В досаде скрытой Черномор,
Без шапки, в утреннем халате,
Зевал сердито на кровати.

Вокруг брады его седой
Рабы толпились молчаливы,
И нежно гребень костяной
Расчесывал ее извивы;
Меж тем, для пользы и красы,
На бесконечные усы
Лились восточны ароматы,
И кудри хитрые вились;
Как вдруг, откуда ни возьмись,
В окно влетает змий крылатый;
Гремя железной чешуей,
Он в кольца быстрые согнулся
И вдруг Наиной обернулся
Пред изумленною толпой.
«Приветствую тебя,— сказала,—
Собрат, издавна чтимый мной!
Досель я Черномора знала
Одною громкою молвой;
Но тайный рок соединяет
Теперь нас общею враждой;
Тебе опасность угрожает,
Нависла туча над тобой;
И голос оскорбленной чести
Меня к отмщению зовет».

Со взором, полным хитрой лести,
Ей карла руку подает,
Вещая: «Дивная Наина!
Мне драгоценен твой союз.
Мы посрамим коварство Финна;
Но мрачных козней не боюсь:
Противник слабый мне не страшен;
Узнай чудесный жребий мой:
Сей благодатной бородой
Недаром Черномор украшен.
Доколь власов ее седых
Враждебный меч не перерубит,
Никто из витязей лихих,
Никто из смертных не погубит
Малейших замыслов моих;
Моею будет век Людмила,
Руслан же гробу обречен!»
И мрачно ведьма повторила:
«Погибнет он! погибпет он!»

Потом три раза прошипела,
Три раза топнула ногой
И черным змием улетела.

Блистая в ризе парчевой,
Колдун, колдуньей ободренный,
Развеселясь, решился вновь
Нести к погам девицы пленной
Усы, покорность и любовь.
Разряжен карлик бородатый,
Опять идет в ее палаты;
Проходит длинный комнат ряд:
Княжны в них нет. Он дале, в сад,
В лавровый лес, к решетке сада,
Вдоль озера, вкруг водопада,
Под мостики, в беседки... нет!
Княжна ушла, пропал и след!
Кто выразит его смущенье,
И рев, и трепет исступленья?
С досады дня не взвидел он.
Раздался карлы дикий стон:
«Сюда, невольники, бегите!
Сюда, надеюсь я на вас!
Сейчас Людмилу мне сыщите!
Скорее, слышите ль? сейчас!
Не то — шутите вы со мною —
Всех удавлю вас бородою!»

Читатель, расскажу ль тебе,
Куда красавица девалась?
Всю ночь она своей судьбе
В слезах дивилась и — смеялась.
Ее пугала борода,
Но Черномор уж был известен,
И был смешон, а никогда
Со смехом ужас несовместен.
Навстречу утренним лучам
Постель оставила Людмила
И взор невольный обратила
К высоким, чистым зеркалам;
Невольно кудри золотые
С лилейных плеч приподняла;
Невольно волосы густые
Рукой небрежной заплела;

Свои вчерашние наряды
Нечаянно в углу нашла;
Вздохнув, оделась и с досады
Тихонько плакать начала;
Однако с верного стекла,
Вздыхая, не сводила взора,
И девице пришло на ум,
В волненье своенравных дум,
Примерить шапку Черномора.
Все тихо, никого здесь нет;
Никто на девушку не взглянет...
А девушке в семнадцать лет
Какая шапка не пристанет!
Рядиться никогда не лень!
Людмила шапкой завертела;
На брови, прямо, набекрень
И задом наперед надела.
И что ж? о чудо старых дней!
Людмила в зеркале пропала;
Перевернула — перед ней
Людмила прежняя предстала;
Назад надела — снова нет;
Сняла — и в зеркале! «Прекрасно!
Добро, колдун, добро, мой свет!
Теперь мне здесь уж безопасно;
Теперь избавлюсь от хлопот!»
И шапку старого злодея
Княжна, от радости краснея,
Надела задом наперед.

Но возвратимся же к герою.
Не стыдно ль заниматься нам
Так долго шапкой, бородою,
Руслана поруча судьбам?
Свершив с Рогдаем бой жестокий,
Проехал он дремучий лес;
Пред ним открылся дол широкий
При блеске утренних небес.
Трепещет витязь поневоле:
Он видит старой битвы поле.
Вдали все пусто; здесь и там
Желтеют кости; по холмам
Разбросаны колчаны, латы;
Где сбруя, где заржавый щит;

В костях руки здесь меч лежит;
Травой оброс там шлем косматый,
И старый череп тлеет в нем;
Богатыря там остов целый
С его поверженным конем
Лежит недвижный; копья, стрелы
В сырую землю вонзены,
И мирный плющ их обвивает...
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущает,
И солнце с ясной вышины
Долину смерти озаряет.

Со вздохом витязь вкруг себя
Взирает грустными очами.
«О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями?
Чей борзый конь тебя топтал
В последний час кровавой битвы?
Кто на тебе со славой пал?
Чьи небо слышало молитвы?
Зачем же, поле, смолкло ты
И поросло травой забвенья?..
Времен от вечной темноты,
Быть может, нет и мне спасенья!
Быть может, на холме немом
Поставят тихий гроб Русланов,
И струны громкие Баянов
Не будут говорить о нем!»

Но вскоре вспомнил витязь мой,
Что добрый меч герою нужен
И даже панцирь; а герой
С последней битвы безоружен.
Обходит поле он вокруг;
В кустах, среди костей забвенных,
В громаде тлеющих кольчуг,
Мечей и шлемов раздробленных
Себе доспехов ищет он.
Проснулись гул и степь немая,
Поднялся в поле треск и звон;
Он поднял щит, не выбирая,
Нашел и шлем, и звонкий рог;
Но лишь меча сыскать не мог.

Долину брани объезжая,
Он видит множество мечей,
Но все легки да слишком малы,
А князь красавец был не вялый,
Не то, что витязь наших дней.
Чтоб чем-нибудь играть от скуки,
Копье стальное взял он в руки,
Кольчугу он надел на грудь
И далее пустился в путь.

Уж побледнел закат румяный
Над усыпленною землей;
Дымятся синие туманы,
И всходит месяц золотой;
Померкла степь. Тропою темной
Задумчив едет наш Руслан
И видит: сквозь ночной туман
Вдали чернеет холм огромный,
И что-то страшное храпит.
Он ближе к холму, ближе — слышит:
Чудесный холм как будто дышит.
Руслан внимает и глядит
Бестрепетно, с покойным духом;
Но, шевеля пугливым ухом,
Конь упирается, дрожит,
Трясет упрямой головою,
И грива дыбом поднялась.
Вдруг холм, безоблачной луною
В тумане бледно озарясь,
Яснеет; смотрит храбрый князь —
И чудо видит пред собою.
Найду ли краски и слова?
Пред ним живая голова.
Огромны очи сном объяты;
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в темной высоте,
Как тени, ходят, развеваясь.
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь,
Безмолвием окружена,
Пустыни сторож безымянной,
Руслану предстоит она
Громадой грозной и туманной.
В недоуменье хочет он

Таинственный разрушить сон.
Вблизи осматривая диво,
Объехал голову кругом
И стал пред носом молчаливо;
Щекотит ноздри копием,
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула...
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо — конь ретивый
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел,
И вслед раздался голос шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад, я не шучу!
Как раз нахала проглочу!»
Руслан с презреньем оглянулся,
Браздами удержал коня
И с гордым видом усмехнулся.
«Чего ты хочешь от меня? —
Нахмурясь, голова вскричала.—
Вот гостя мне судьба послала!
Послушай, убирайся прочь!
Я спать хочу, теперь уж ночь,
Прощай!» Но витязь знаменитый,
Услыша грубые слова,
Воскликнул с важностью сердитой:
«Молчи, пустая голова!
Слыхал я истину, бывало:
Хоть лоб широк, да мозгу мало!
Я еду, еду, не свищу,
А как наеду, не спущу!»

Тогда, от ярости немея,
Стесненной злобой пламенея,
Надулась голова; как жар,
Кровавы очи засверкали;
Напенясь, губы задрожали,
Из уст, ушей поднялся пар —
И вдруг она, что было мочи,
Навстречу князю стала дуть;
Напрасно конь, зажмуря очи,

Склонив главу, натужа грудь,
Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи
Неверный продолжает путь;
Объятый страхом, ослепленный,
Он мчится вновь, изнеможенный,
Далече в поле отдохнуть.
Вновь обратиться витязь хочет —
Вновь отражен, надежды нет!
А голова ему вослед,
Как сумасшедшая, хохочет,
Гремит: «Ай, витязь! ай, герой!
Куда ты? тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даром;
Не трусь, наездник, и меня
Порадуй хоть одним ударом,
Пока не заморил коня».
И между тем она героя
Дразнила страшным языком.
Руслан, досаду в сердце кроя,
Грозит ей молча копием,
Трясет его рукой свободной,
И, задрожав, булат холодный
Вонзился в дерзостный язык.
И кровь из бешеного зева
Рекою побежала вмиг.
От удивленья, боли, гнева,
В минуту дерзости лишась,
На князя голова глядела,
Железо грызла и бледнела,
В спокойном духе горячась,
Так иногда средь нашей сцены
Плохой питомец Мельпомены,
Внезапным свистом оглушен,
Уж ничего не видит он,
Бледнеет, ролю забывает,
Дрожит, поникнув головой,
И, заикаясь, умолкает
Перед насмешливой толпой.
Счастливым пользуясь мгновеньем,
К объятой голове смущеньем,
Как ястреб, богатырь летит
С подъятой, грозною десницей
И в щеку тяжкой рукавицей
С размаха голову разит;

И степь ударом огласилась;
Кругом росистая трава
Кровавой пеной обагрилась,
И, зашатавшись, голова
Перевернулась, покатилась,
И шлем чугунный застучал.
Тогда на месте опустелом
Меч богатырский засверкал.
Наш витязь в трепете веселом
Его схватил и к голове
По окровавленной траве
Бежит с намереньем жестоким
Ей нос и уши обрубить;
Уже Руслан готов разить,
Уже взмахнул мечом широким —
Вдруг, изумленный, внемлет он
Главы молящей жалкий стон...
И тихо меч он опускает,
В нем гнев свирепый умирает,
И мщенье бурное падет
В душе, моленьем усмиренной:
Так на долине тает лед,
Лучом полудня пораженный.

«Ты вразумил меня, герой,—
Со вздохом голова сказала,—
Твоя десница доказала,
Что я виновен пред тобой;
Отныне я тебе послушен;
Но, витязь, будь великодушен!
Достоин плача жребий мой.
И я был витязь удалой!
В кровавых битвах супостата
Себе я равного не зрел;
Счастлив, когда бы не имел
Соперником меньшого брата!
Коварный, злобный Черномор,
Ты, ты всех бед моих виною!
Семейства нашего позор,
Рожденный карлой, с бородою,
Мой дивный рост от юных дней
Не мог он без досады видеть
И стал за то в душе своей
Меня, жестокий, ненавидеть.

Я был всегда немного прост,
Хотя высок; а сей несчастный,
Имея самый глупый рост,
Умен как бес — и зол ужасно.
Притом же, знай, к моей беде,
В его чудесной бороде
Таится сила роковая,
И, все на свете презирая,
Доколе борода цела —
Изменник не страшится зла.
Вот он однажды с видом дружбы
«Послушай,— хитро мне сказал,—
Не откажись от важной службы:
Я в черных книгах отыскал,
Что за восточными горами,
На тихих моря берегах,
В глухом подвале, под замками
Хранится меч — и что же? страх!
Я разобрал во тьме волшебной,
Что волею судьбы враждебной
Сей меч известен будет нам;
Что нас он обоих погубит:
Мне бороду мою отрубит,
Тебе главу; суди же сам,
Сколь важно нам приобретенье
Сего созданья злых духов!»
«Ну, что же? где тут затрудненье? –
Сказал я карле,— я готов;
Иду, хоть за пределы света».
И сосну на плечо взвалил,
А на другое для совета
Злодея брата посадил;
Пустился в дальную дорогу,
Шагал, шагал, и, слава богу,
Как бы пророчеству назло,
Все счастливо сначала шло.
За отдаленными горами
Нашли мы роковой подвал;
Я разметал его руками
И потаенный меч достал.
Но нет! судьба того хотела:
Меж нами ссора закипела —
И было, признаюсь, о чем!
Вопрос: кому владеть мечом?

Я спорил, карла горячился;
Бранились долго; наконец
Уловку выдумал хитрец,
Притих и будто бы смягчился.
«Оставим бесполезный спор,—
Сказал мне важно Черномор,—
Мы тем союз наш обесславим;
Рассудок в мире жить велит;
Судьбе решить мы предоставим,
Кому сей меч принадлежит.
К земле приникнем ухом оба
(Чего не выдумает злоба!),
И кто услышит первый звон,
Тот и владей мечом до гроба».
Сказал и лег на землю он.
Я сдуру также растянулся;
Лежу, не слышу ничего,
Смекая: обману его!
Но сам жестоко обманулся.
Злодей в глубокой тишине,
Привстав, на цыпочках ко мне
Подкрался сзади, размахнулся;
Как вихорь свистнул острый меч,
И прежде, чем я оглянулся,
Уж голова слетела с плеч —
И сверхъестественная сила
В ней жизни дух остановила.
Мой остов тернием оброс;
Вдали, в стране, людьми забвенной,
Истлел мой прах непогребенный;
Но злобный карла перенес
Меня в сей край уединенный,
Где вечно должен был стеречь
Тобой сегодня взятый меч.
О витязь! Ты храним судьбою,
Возьми его, и бог с тобою!
Быть может, на своем пути
Ты карлу-чародея встретишь —
Ах, если ты его заметишь,
Коварству, злобе отомсти!
И наконец я счастлив буду,
Спокойно мир оставлю сей —
И в благодарности моей
Твою пощечину забуду».

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Я каждый день, восстав от сна,
Благодарю сердечно бога
За то, что в наши времена
Волшебников не так уж много.
К тому же — честь и слава им! —
Женитьбы наши безопасны...
Их замыслы не так ужасны
Мужьям, девицам молодым.
Но есть волшебники другие,
Которых ненавижу я:
Улыбка, очи голубые
И голос милый — о друзья!
Не верьте им: они лукавы!
Страшитесь, подражая мне,
Их упоительной отравы
И почивайте в тишине.

Поэзии чудесный гений,
Певец таинственных видений,
Любви, мечтаний и чертей,
Могил и рая верный житель,
И музы ветреной моей
Наперсник, пестун и хранитель!
Прости мне, северный Орфей,
Что в повести моей забавной
Теперь вослед тебе лечу
И лиру музы своенравной
Во лжи прелестной обличу.

Друзья мои, вы все слыхали,
Как бесу в древни дни злодей
Предал сперва себя с печали,
А там и души дочерей;
Как после щедрым подаяньем,
Молитвой, верой, и постом,
И непритворным покаяньем
Снискал заступника в святом;
Как умер он и как заснули
Его двенадцать дочерей:
И нас пленили, ужаснули
Картины тайных сих ночей,
Сии чудесные виденья,
Сей мрачный бес, сей божий гнев,

Живые грешника мученья
И прелесть непорочных дев.
Мы с ними плакали, бродили
Вокруг зубчатых замка степ,
И сердцем тронутым любили
Их тихий сон, их тихий плен;
Душой Вадима призывали,
И пробужденье зрели их,
И часто инокинь святых
На гроб отцовский провожали.
И что ж, возможно ль?.. нам солгали!
Но правду возвещу ли я?..

Младой Ратмир, направя к югу
Нетерпеливый бег коня,
Уж думал пред закатом дня
Нагнать Русланову супругу.
Но день багряный вечерел;
Напрасно витязь пред собою
В туманы дальние смотрел:
Все было пусто над рекою.
Зари последний луч горел
Над ярко позлащенным бором.
Наш витязь мимо черных скал
Тихонько проезжал и взором
Ночлега меж дерев искал.
Он на долину выезжает
И видит: замок на скалах
Зубчаты стены возвышает;
Чернеют башни на углах;
И дева по стене высокой,
Как в море лебедь одинокий,
Идет, зарей освещена;
И девы песнь едва слышна
Долины в тишине глубокой.

«Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный.

Здесь ночью нега и покой,
А днем и шум и пированье.
Приди на дружное призванье,
Приди, о путник молодой!

У нас найдешь красавиц рой;
Их нежны речи и лобзанье.
Приди на тайное призванье,
Приди, о путник молодой!

Тебе мы с утренней зарей
Наполним кубок на прощанье.
Приди на мирное призванье,
Приди, о путник молодой!

Ложится в поле мрак ночной;
От волн поднялся ветер хладный.
Уж поздно, путник молодой!
Укройся в терем наш отрадный».

Она манит, она поет;
И юный хан уж под стеною;
Его встречают у ворот
Девицы красные толпою;
При шуме ласковых речей
Он окружен; с него не сводят
Они пленительных очей;
Две девицы коня уводят;
В чертоги входит хан младой,
За ним отшельниц милых рой;
Одна снимает шлем крылатый,
Другая кованые латы,
Та меч берет, та пыльный щит;
Одежда неги заменит
Железные доспехи брани.
Но прежде юношу ведут
К великолепной русской бане.
Уж волны дымные текут
В ее серебряные чаны,
И брызжут хладные фонтаны;
Разостлан роскошью ковер;
На нем усталый хан ложится;
Прозрачный пар над ним клубится;
Потупя неги полный взор,
Прелестные, полунагие,
В заботе нежной и немой,
Вкруг хана девы молодые
Теснятся резвою толпой.

Над рыцарем иная машет
Ветвями молодых берез,
И жар от них душистый пашет;
Другая соком вешних роз
Усталы члены прохлаждает
И в ароматах потопляет
Темнокудрявые власы.
Восторгом витязь упоенный
Уже забыл Людмилы пленной
Недавно милые красы;
Томится сладостным желаньем;
Бродящий взор его блестит,
И, полный страстным ожиданьем,
Он тает сердцем, он горит.

Но вот выходит он из бани.
Одетый в бархатные ткани,
В кругу прелестных дев, Ратмир
Садится за богатый пир.
Я не Омер: в стихах высоких
Он может воспевать один
Обеды греческих дружин,
И звон, и пену чаш глубоких,
Милее, по следам Парни,
Мне славить лирою небрежной
И наготу в ночной тени,
И поцелуй любови нежной!
Луною замок озарен;
Я вижу терем отдаленный,
Где витязь томный, воспаленный
Вкушает одинокий сон;
Его чело, его ланиты
Мгновенным пламенем горят;
Его уста полуоткрыты
Лобзанье тайное манят;
Он страстно, медленно вздыхает,
Он видит их — и в пылком сне
Покровы к сердцу прижимает.
Но вот в глубокой тишине
Дверь отворилась; пол ревнивый
Скрыпит под ножкой торопливой,
И при серебряной луне
Мелькнула дева. Сны крылаты,
Сокройтесь, отлетите прочь!

Проснись — твоя настала ночь!
Проснися — дорог миг утраты!..
Она подходит, он лежит
И в сладострастной неге дремлет;
Покров его с одра скользит,
И жаркий пух чело объемлет.
В молчанье дева перед ним
Стоит недвижно, бездыханна,
Как лицемерная Диана
Пред милым пастырем своим;
И вот она, на ложе хана
Коленом опершись одним,
Вздохнув, лицо к нему склоняет
С томленьем, с трепетом живым,
И сон счастливца прерывает
Лобзаньем страстным и немым...

Но, други, девственная лира
Умолкла под моей рукой;
Слабеет робкий голос мой —
Оставим юного Ратмира;
Не смею песней продолжать:
Руслан нас должен занимать,
Руслан, сей витязь беспримерный,
В душе герой, любовник верный.
Упорным боем утомлен,
Под богатырской головою
Он сладостный вкушает сон.
Но вот уж раннею зарею
Сияет тихий небосклон;
Все ясно; утра луч игривый
Главы косматый лоб златит.
Руслан встает, и конь ретивый
Уж витязя стрелою мчит.

И дни бегут; желтеют нивы;
С дерев спадает дряхлый лист;
В лесах осенний ветра свист
Певиц пернатых заглушает;
Тяжелый, пасмурный туман
Нагие холмы обвивает;
Зима приближилась — Руслан
Свой путь отважно продолжает
На дальный север; с каждым днем

Преграды повые встречает:
То бьется он с богатырем,
То с ведьмою, то с великаном,
То лунной ночью видит он,
Как будто сквозь волшебный сон,
Окружены седым туманом,
Русалки, тихо на ветвях
Качаясь, витязя младого
С улыбкой хитрой на устах
Манят, не говоря ни слова...
Но, тайным промыслом храним,
Бесстрашный витязь невредим;
В его душе желанье дремлет,
Он их не видит, им не внемлет,
Одна Людмила всюду с ним.

Но между тем, никем не зрима,
От нападений колдуна
Волшебной шапкою хранима,
Что делает моя княжна,
Моя прекрасная Людмила?
Она, безмолвна и уныла,
Одна гуляет по садам,
О друге мыслит и вздыхает,
Иль, волю дав своим мечтам,
К родимым киевским полям
В забвенье сердца улетает;
Отца и братьев обнимает,
Подружек видит молодых
И старых мамушек своих —
Забыты плен и разлученье!
Но вскоре бедная княжна
Свое теряет заблужденье
И вновь унылa и одна.
Рабы влюбленного злодея,
И день и ночь, сидеть не смея,
Меж тем по замку, по садам
Прелестной пленницы искали,
Метались, громко призывали,
Однако всё по пустякам.
Людмила ими забавлялась:
В волшебных рощах иногда
Без шапки вдруг она являлась
И кликала: «Сюда, сюда!»

И все бросались к ней толпою;
Но в сторону — незрима вдруг —
Она неслышною стопою
От хищных убегала рук.
Везде всечасно замечали
Ее минутные следы:
То позлащенные плоды
На шумных ветвях исчезали,
То капли ключевой воды
На луг измятый упадали:
Тогда наверно в замке знали,
Что пьет иль кушает княжна.
На ветвях кедра иль березы
Скрываясь по ночам, она
Минутного искала сна —
Но только проливала слезы,
Звала супруга и покой,
Томилась грустью и зевотой,
И редко, редко пред зарей,
Склонясь ко древу головой,
Дремала тонкою дремотой;
Едва редела ночи мгла,
Людмила к водопаду шла
Умыться хладною струею:
Сам карла утренней порою
Однажды видел из палат,
Как под невидимой рукою
Плескал и брызгал водопад.
С своей обычною тоскою
До новой ночи, здесь и там,
Она бродила по садам:
Нередко под вечер слыхали
Ее приятный голосок;
Нередко в рощах поднимали
Иль ею брошенный венок,
Или клочки персидской шали,
Или заплаканный платок.

Жестокой страстью уязвленный,
Досадой, злобой омраченный,
Колдун решился наконец
Поймать Людмилу непременно.
Так Лемноса хромой кузнец,
Прияв супружеский венец

Из рук прелестной Цитереи,
Раскинул сеть ее красам,
Открыв насмешливым богам
Киприды нежные затеи...

Скучая, бедная княжна
В прохладе мраморной беседки
Сидела тихо близ окна
И сквозь колеблемые ветки
Смотрела на цветущий луг.
Вдруг слышит — кличут: «Милый друг!»
И видит верного Руслана.
Его черты, походка, стан;
Но бледен он, в очах туман,
И на бедре живая рана —
В ней сердце дрогнуло. «Руслан!
Руслан!.. он точно!» И стрелою
К супругу пленница летит,
В слезах, трепеща, говорит:
«Ты здесь... ты ранен... что с тобою?»
Уже достигла, обняла:
О ужас... призрак исчезает!
Княжна в сетях; с ее чела
На землю шапка упадает.
Хладея, слышит грозный крик:
«Она моя!» — и в тот же миг
Зрит колдуна перед очами.
Раздался девы жалкий стон,
Падет без чувств — и дивный сон
Объял несчастную крылами.

Что будет с бедною княжной!
О страшный вид: волшебник хилый
Ласкает дерзостной рукой
Младые прелести Людмилы!
Ужели счастлив будет он?
Чу... вдруг раздался рога звон,
И кто-то карлу вызывает.
В смятенье, бледный чародей
На деву шапку надевает;
Трубят опять; звучней, звучней!
И он летит к безвестной встрече,
Закинув бороду за плечи.

И. А. Крылов, А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич.
Эскиз к картине «Парад на Марсовом поле».
Рис. Г. Г. Чернецова. Масло. Копия.
1832 г.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена... так что же?
Еще милее тем она.
Всечасно прелестию новой
Умеет нас она пленить;
Скажите: можно ли сравнить
Ее с Дельфирою суровой?
Одной — судьба послала дар
Обворожать сердца и взоры;
Ее улыбка, разговоры
Во мне любви рождают жар.
А та — под юбкою гусар,
Лишь дайте ей усы да шпоры!
Блажен, кого под вечерок
В уединенный уголок
Моя Людмила поджидает
И другом сердца назовет;
Но, верьте мне, блажен и тот,
Кто от Дельфиры убегает
И даже с нею незнаком.
Да, впрочем, дело не о том!
Но кто трубил? Кто чародея
На сечу грозну вызывал?
Кто колдуна перепугал?
Руслан. Он, местью пламенея,
Достиг обители злодея.
Уж витязь под горой стоит,
Призывный рог, как буря, воет,
Нетерпеливый конь кипит
И снег копытом мочным роет.
Князь карлу ждет. Внезапно он
По шлему крепкому стальному
Рукой незримой поражен;
Удар упал подобно грому;
Руслан подъемлет смутный взор
И видит — прямо над главою —
С подъятой, страшной булавою
Летает карла Черномор.
Щитом покрывшись, он нагнулся,

Мечом потряс и замахнулся;
Но тот взвился под облака;
На миг исчез — и свысока
Шумя летит па князя снова.
Проворпый витязь отлетел,
И в снег с размаха рокового
Колдун упал — да там и сел;
Руслан, пе говоря ни слова,
С коня долой, к нему спешит,
Поймал, за бороду хватает,
Волшебник силится, кряхтит
И вдруг с Русланом улетает...
Ретивый конь вослед глядит;
Уже колдун под облаками;
На бороде герой висит;
Летят над мрачными лесами,
Летят над дикими горами,
Летят над бездною морской;
От напряженья костенея,
Руслан за бороду злодея
Упорпой держится рукой.
Меж тем, на воздухе слабея
И силе русской изумясь,
Волшебник гордому Руслану
Коварно молвит: «Слушай, князь!
Тебе вредить я перестану;
Младое мужество любя,
Забуду все, прощу тебя,
Спущусь — но только с уговором...»
«Молчи, коварный чародей! —
Прервал наш витязь,— с Черномором,
С мучителем жены своей,
Руслан не знает договора!
Сей грозный меч накажет вора.
Лети хоть до ночпой звезды,
А быть тебе без бороды!»
Боязнь объемлет Черномора;
В досаде, в горести немой,
Напрасно длинной бородой
Усталый карла потрясает:
Руслан ее не выпускает
И щиплет волосы порой.
Два дни колдун героя носит,
На третий он пощады просит:

«О рыцарь, сжалься надо мной;
Едва дышу; нет мочи боле;
Оставь мне жизнь, в твоей я воле;
Скажи — спущусь, куда велишь...»
«Теперь ты наш: ага, дрожишь!
Смирись, покорствуй русской силе!
Неси меня к моей Людмиле».

Смиренно внемлет Черномор;
Домой он с витязем пустился;
Летит — и мигом очутился
Среди своих ужасных гор.
Тогда Руслан одной рукою
Взял меч сраженной головы
И, бороду схватив другою,
Отсек ее, как горсть травы.
«Знай наших! — молвил он жестоко,–
Что, хищник, где твоя краса?
Где сила?» — и на шлем высокий
Седые вяжет волоса;
Свистя зовет коня лихого;
Веселый конь летит и ржет;
Наш витязь карлу чуть живого
В котомку за седло кладет,
А сам, боясь мгновенья траты,
Спешит на верх горы крутой,
Достиг, и с радостной душой
Летит в волшебные палаты.
Вдали завидя шлем брадатый,
Залог победы роковой,
Пред ним арапов чудный рой,
Толпы невольниц боязливых,
Как призраки, со всех сторон
Бегут — и скрылись. Ходит он
Один средь храмин горделивых,
Супругу милую зовет —
Лишь эхо сводов молчаливых
Руслану голос подает;
В волненье чувств нетерпеливых
Он отворяет двери в сад —
Идет, идет — и не находит;
Кругом смущенный взор обводит —
Все мертво: рощицы молчат,
Беседки пусты; на стремнинах,

Вдоль берегов ручья, в долинах,
Нигде Людмилы следу нет,
И ухо ничего не внемлет.
Внезапный князя хлад объемлет,
В очах его темнеет свет,
В уме возникли мрачны думы...
«Быть может, горесть... плен угрюмый...
Минута... волны...» В сих мечтах
Он погружен. С немой тоскою
Поникнул витязь головою;
Его томит невольный страх;
Недвижим он, как мертвый камень;
Мрачится разум; дикий пламень
И яд отчаянной любви
Уже текут в его крови.
Казалось — тень княжны прекрасной
Коснулась трепетным устам...
И вдруг, неистовый, ужасный,
Стремится витязь по садам;
Людмилу с воплем призывает,
С холмов утесы отрывает,
Все рушит, все крушит мечом —
Беседки, рощи упадают,
Древа, мосты в волнах ныряют,
Степь обнажается кругом!
Далеко гулы повторяют
И рев, и треск, и шум, и гром;
Повсюду меч звенит и свищет,
Прелестный край опустошен —
Безумный витязь жертвы ищет,
С размаха вправо, влево он
Пустынный воздух рассекает...
И вдруг — нечаянный удар
С княжны невидимой сбивает
Прощальный Черномора дар...
Волшебства вмиг исчезла сила:
В сетях открылася Людмила!
Не веря сам своим очам,
Нежданным счастьем упоенный,
Наш витязь падает к ногам
Подруги верной, незабвенной,
Целует руки, сети рвет,
Любви, восторга слезы льет,
Зовет ее — но дева дремлет,

Сомкнуты очи и уста,
И сладострастная мечта
Младую грудь ее подъемлет.
Руслан с нее не сводит глаз,
Его терзает вновь кручина...
Но вдруг знакомый слышит глас,
Глас добродетельного Финна:

«Мужайся, князь! В обратный путь
Ступай со спящею Людмилой;
Наполни сердце новой силой,
Любви и чести верен будь.
Небесный гром на злобу грянет,
И воцарится тишина —
И в светлом Киеве княжна
Перед Владимиром восстанет
От очарованного сна».

Руслан, сим гласом оживленный,
Берет в объятия жену,
И тихо с ношей драгоценной
Он оставляет вышину
И сходит в дол уединенный.

В молчанье, с карлой за седлом,
Поехал он своим путем;
В его руках лежит Людмила,
Свежа, как вешняя заря,
И на плечо богатыря
Лицо спокойное склонила.
Власами, свитыми в кольцо,
Пустынный ветерок играет;
Как часто грудь ее вздыхает!
Как часто тихое лицо
Мгновенной розою пылает!
Любовь и тайная мечта
Русланов образ ей приносят,
И с томным шепотом уста
Супруга имя произносят...
В забвенье сладком ловит он
Ее волшебное дыханье,
Улыбку, слезы, нежный стон
И сонных персей волнованье...

Меж тем, по долам, по горам,
И в белый день, и по ночам,
Наш витязь едет неспрестанно.
Еще далек предел желанный,
А дева спит. Но юный князь,
Бесплодным пламенем томясь,
Ужель, страдалец постоянный,
Супругу только сторожил
И в целомудренном мечтанье,
Смирив нескромное желанье,
Свое блаженство находил?
Монах, который сохранил
Потомству верное преданье
О славном витязе моем,
Нас уверяет смело в том:
И верю я! Без разделенья
Унылы, грубы наслажденья:
Мы прямо счастливы вдвоем.
Пастушки, сон княжны прелестной
Не походил на ваши сны,
Порой томительной весны,
На мураве, в тени древесной.
Я помню маленький лужок
Среди березовой дубравы,
Я помню темный вечерок,
Я помню Лиды сон лукавый...
Ах, первый поцелуй любви,
Дрожащий, легкий, торопливый,
Не разогнал, друзья мои,
Ее дремоты терпеливой...
Но полно, я болтаю вздор!
К чему любви воспоминанье?
Ее утеха и страданье
Забыты мною с давних пор;
Теперь влекут мое вниманье
Княжна, Руслан и Черномор.

Пред ними стелется равнина,
Где ели изредка взошли;
И грозного холма вдали
Чернеет круглая вершина
Небес на яркой синеве.
Руслан глядит — и догадался,
Что подъезжает к голове;

Быстрее борзый конь помчался;
Уж видно чудо из чудес;
Она глядит недвижным оком;
Власы ее как черный лес,
Поросший на челе высоком;
Ланиты жизни лишены,
Свинцовой бледностью покрыты,
Уста огромные открыты,
Огромны зубы стеснены...
Над полумертвой головою
Последний день уж тяготел.
К ней храбрый витязь прилетел
С Людмилой, с карлой за спиною.
Он крикнул: «Здравствуй, голова!
Я здесь! наказан твой изменник!
Гляди: вот он, злодей наш пленник!»
И князя гордые слова
Ее внезапно оживили,
На миг в ней чувство разбудили,
Очнулась будто ото сна,
Взглянула, страшно застонала...
Узнала витязя она
И брата с ужасом узнала.
Надулись ноздри; на щеках
Багровый огнь еще родился,
И в умирающих глазах
Последний гнев изобразился.
В смятенье, в бешенстве немом
Она зубами скрежетала
И брату хладным языком
Укор невнятный лепетала...
Уже ее в тот самый час
Кончалось долгое страданье:
Чела мгновенный пламень гас,
Слабело тяжкое дыханье,
Огромный закатился взор,
И вскоре князь и Черномор
Узрели смерти содроганье...
Она почила вечным сном.
В молчанье витязь удалился,
Дрожащий карлик за седлом
Не смел дышать, не шевелился
И чернокнижным языком
Усердно демонам молился.

На склоне темных берегов
Какой-то речки безымянной,
В прохладном сумраке лесов,
Стоял поникшей хаты кров,
Густыми соснами венчанный.
В теченье медленном река
Вблизи плетень из тростника
Волною сонной омывала
И вкруг него едва журчала
При легком шуме ветерка.
Долина в сих местах таилась,
Уединенна и темна;
И там, казалось, тишина
С начала мира воцарилась.
Руслан остановил коня.
Все было тихо, безмятежно;
От рассветающего дня
Долина с рощею прибрежной
Сквозь утренний сияла дым.
Руслан на луг жену слагает,
Садится близ нее, вздыхает
С уныньем сладким и немым;
И вдруг он видит пред собою
Смиренный парус челнока
И слышит песню рыбака
Над тихоструйною рекою.
Раскинув невод по волнам,
Рыбак, на весла наклоненный,
Плывет к лесистым берегам,
К порогу хижины смиренной.
И видит добрый князь Руслан:
Челнок ко брегу приплывает;
Из темной хаты выбегает
Младая дева; стройный стан,
Власы, небрежно распущенны,
Улыбка, тихий взор очей,
И грудь, и плечи обнаженны,
Все мило, все пленяет в ней.
И вот они, обняв друг друга,
Садятся у прохладных вод,
И час беспечного досуга
Для них с любовью настает.
Но в изумленье молчаливом
Кого же в рыбаке счастливом

Наш юный витязь узнает?
Хазарский хан, избранный славой,
Ратмир, в любви, в войне кровавой
Его соперник молодой,
Ратмир в пустыне безмятежной
Людмилу, славу позабыл
И им навеки изменил
В объятиях подруги нежной.

Герой приближился, и вмиг
Отшельник узнает Руслана,
Встает, летит. Раздался крик...
И обнял князь младого хана.
«Что вижу я? — спросил герой,—
Зачем ты здесь, зачем оставил
Тревоги жизни боевой
И меч, который ты прославил?»
«Мой друг,— ответствовал рыбак,—
Душе наскучил бранной славы
Пустой и гибельный призрак.
Поверь: невинные забавы,
Любовь и мирные дубравы
Милее сердцу во сто крат.
Теперь, утратив жажду брани,
Престал платить безумству дани,
И, верным счастием богат,
Я все забыл, товарищ милый,
Все, даже прелести Людмилы».
«Любезный хан, я очень рад! —
Сказал Руслан,— она со мною».
«Возможно ли, какой судьбою?
Что слышу? Русская княжна...
Она с тобою, где ж она?
Позволь... но нет, боюсь измены;
Моя подруга мне мила;
Моей счастливой перемены
Она виновницей была;
Она мне жизнь, она мне радость!
Она мне возвратила вновь
Мою утраченную младость,
И мир, и чистую любовь.
Напрасно счастье мне сулили
Уста волшебниц молодых;
Двенадцать дев меня любили:

Я для нее покинул их;
Оставил терем их веселый,
В тени хранительных дубров;
Сложил и меч и шлем тяжелый,
Забыл и славу и врагов.
Отшельник, мирный и безвестный,
Остался в счастливой глуши,
С тобой, друг милый, друг прелестный,
С тобою, свет моей души!»

Пастушка милая внимала
Друзей открытый разговор,
И, устремив на хана взор,
И улыбалась, и вздыхала.

Рыбак и витязь на брегах
До темной ночи просидели
С душой и сердцем на устах —
Часы невидимо летели.
Чернеет лес, темна гора;
Встает луна — все тихо стало;
Герою в путь давно пора.
Накинув тихо покрывало
На деву спящую, Руслан
Идет и на коня садится;
Задумчиво безмолвный хан
Душой вослед ему стремится,
Руслану счастия, побед,
И славы, и любви желает...
И думы гордых, юных лет
Невольной грустью оживляет...

Зачем судьбой не суждено
Моей непостоянной лире
Геройство воспевать одно
И с ним (незнаемые в мире)
Любовь и дружбу старых лет?
Печальной истины поэт,
Зачем я должен для потомства
Порок и злобу обнажать
И тайны козни вероломства
В правдивых песнях обличать?

Княжны искатель недостойный,
Охоту к славе потеряв,
Никем не знаемый, Фарлаф
В пустыне дальной и спокойной
Скрывался и Наины ждал.
И час торжественный настал.
К нему волшебница явилась,
Вещая: «Знаешь ли меня?
Ступай за мной; седлай коня!»
И ведьма кошкой обратилась;
Оседлан конь, она пустилась;
Тропами мрачными дубрав
За нею следует Фарлаф.

Долина тихая дремала,
В ночной одетая туман,
Луна во мгле перебегала
Из тучи в тучу и курган
Мгновенным блеском озаряла.
Под ним в безмолвии Руслан
Сидел с обычною тоскою
Пред усыпленною княжною.
Глубоку думу думал он,
Мечты летели за мечтами,
И неприметно веял сон
Над ним холодными крылами.
На деву смутными очами
В дремоте томной он взглянул
И, утомленною главою
Склонясь к ногам ее, заснул.

И снится вещий сон герою:
Он видит, будто бы княжна
Над страшной бездны глубиною
Стоит недвижна и бледна...
И вдруг Людмила исчезает,
Стоит один над бездной он...
Знакомый глас, призывный стон
Из тихой бездны вылетает...
Руслан стремится за женой;
Стремглав летит во тьме глубокой...
И видит вдруг перед собой:
Владимир, в гриднице высокой,
В кругу седых богатырей,

Между двенадцатью сынами,
С толпою названных гостей
Сидит за браными столами.
И так же гневен старый князь,
Как в день ужасный расставанья,
И все сидят не шевелясь,
Не смея перервать молчанья.
Утих веселый шум гостей,
Не ходит чаша круговая...
И видит он среди гостей
В бою сраженного Рогдая:
Убитый как живой сидит;
Из опененного стакана
Он, весел, пьет и не глядит
На изумленного Руслана.
Князь видит и младого хана,
Друзей и недругов... и вдруг
Раздался гуслей беглый звук
И голос вещего Баяна,
Певца героев и забав.
Вступает в гридницу Фарлаф,
Ведет он за руку Людмилу;
Но старец, с места не привстав,
Молчит, склонив главу унылу.
Князья, бояре — все молчат,
Душевные движенья кроя.
И все исчезло — смертный хлад
Объемлет спящего героя.
В дремоту тяжко погружен,
Он льет мучительные слезы,
В волненье мыслит: это сон!
Томится, но зловещей грезы,
Увы, прервать не в силах он.

Луна чуть светит над горою;
Объяты рощи темнотою,
Долина в мертвой тишине...
Изменник едет на коне.

Пред ним открылася поляна;
Он видит сумрачный курган;
У ног Людмилы спит Руслан,
И ходит конь кругом кургана.
Фарлаф с боязнию глядит;

В тумане ведьма исчезает,
В нем сердце замерло, дрожит,
Из хладных рук узду роняет,
Тихонько обнажает меч,
Готовясь витязя без боя
С размаха надвое рассечь...
К нему подъехал. Конь героя,
Врага почуя, закипел,
Заржал и топнул. Знак напрасный!
Руслан не внемлет; сон ужасный,
Как груз, над ним отяготел!...
Изменник, ведьмой ободренный,
Герою в грудь рукой презренной
Вонзает трижды хладну сталь...
И мчится боязливо вдаль
С своей добычей драгоценной.

Всю ночь бесчувственный Руслан
Лежал во мраке под горою.
Часы летели. Кровь рекою
Текла из воспаленных ран.
Поутру, взор открыв туманный,
Пуская тяжкий, слабый стон,
С усильем приподнялся он,
Взглянул, поник главою бранной —
И пал недвижный, бездыханный.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

Ты мне велишь, о друг мой нежный,
На лире легкой и небрежной
Старинны были напевать
И музе верной посвящать
Часы бесценного досуга...
Ты знаешь, милая подруга:
Поссорясь с ветреной молвой,
Твой друг, блаженством упоенный,
Забыл и труд уединенный,
И звуки лиры дорогой.
От гармонической забавы
Я, негой упоен, отвык...
Дышу тобой — и гордой славы
Невнятен мне призывный клик!

Меня покинул тайный гений
И вымыслов и сладких дум;
Любовь и жажда наслаждений
Одни преследуют мой ум.
Но ты велишь, но ты любила
Рассказы прежние мои,
Преданья славы и любви;
Мой богатырь, моя Людмила,
Владимир, ведьма, Черномор
И Финна верные печали
Твое мечтанье занимали;
Ты, слушая мой легкий вздор,
С улыбкой иногда дремала;
Но иногда свой нежный взор
Нежнее на певца бросала...
Решусь: влюбленный говорун,
Касаюсь вновь ленивых струн;
Сажусь у ног твоих и снова
Бренчу про витязя младого.

Но что сказал я? Где Руслан?
Лежит он мертвый в чистом поле:
Уж кровь его не льется боле,
Над ним летает жадный вран,
Безгласен рог, недвижны латы,
Не шевелится шлем косматый!

Вокруг Руслана ходит конь,
Поникнув гордой головою,
В его глазах исчез огонь!
Не машет гривой золотою,
Не тешится, не скачет он
И ждет, когда Руслан воспрянет...
Но князя крепок хладный сон,
И долго щит его не грянет.

А Черномор? Он за седлом,
В котомке, ведьмою забытый,
Еще не знает ни о чем;
Усталый, сонный и сердитый
Княжну, героя моего
Бранил от скуки молчаливо;
Не слыша долго ничего,
Волшебник выглянул — о диво!

Он видит, богатырь убит;
В крови потопленный лежит;
Людмилы нет, все пусто в поле;
Злодей от радости дрожит
И мнит: свершилось, я на воле!
Но старый карла был неправ.

Меж тем, Наиной осененный,
С Людмилой, тихо усыпленной,
Стремится к Киеву Фарлаф:
Летит, надежды, страха полный;
Пред ним уже днепровски волны
В знакомых пажитях шумят;
Уж видит златоверхий град;
Уже Фарлаф по граду мчится,
И шум на стогнах восстает;
В волненье радостном народ
Валит за всадником, теснится;
Бегут обрадовать отца:
И вот изменник у крыльца.

Влача в душе печали бремя,
Владимир-солнышко в то время
В высоком тереме своем
Сидел, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругом
Сидели с важностью угрюмой.
Вдруг внемлет он: перед крыльцом
Волненье, крики, шум чудесный;
Дверь отворилась: перед ним
Явился воин неизвестный;
Все встали с шепотом глухим
И вдруг смутились, зашумели:
«Людмила здесь! Фарлаф... ужели?»
В лице печальном изменясь,
Встает со стула старый князь,
Спешит тяжелыми шагами
К несчастной дочери своей,
Подходит; отчими руками
Он хочет прикоснуться к ней;
Но дева милая не внемлет
И очарованная дремлет
В руках убийцы — все глядят
На князя в смутном ожиданье;

И старец беспокойный взгляд
Вперил на витязя в молчанье.
Но, хитро перст к устам прижав,
«Людмила спит,— сказал Фарлаф,-
Я так нашел ее недавно
В пустынных муромских лесах
У злого лешего в руках;
Там совершилось дело славно;
Три дня мы бились; луна
Над боем трижды подымалась;
Он пал, а юная княжна
Мне в руки сонною досталась;
И кто прервет сей дивный сон?
Когда настанет пробужденье?
Не знаю — скрыт судьбы закон!
А нам надежда и терпенье
Одни остались в утешенье».

И вскоре с вестью роковой
Молва по граду полетела;
Народа пестрою толпой
Градская площадь закипела;
Печальный терем всем открыт;
Толпа волнуется, валит
Туда, где на одре высоком,
На одеяле парчевом
Княжна лежит во сне глубоком;
Князья и витязи кругом
Стоят унылы; гласы трубны,
Рога, тимпаны, гусли, бубны
Гремят над нею; старый князь,
Тоской тяжелой изнурясь,
К ногам Людмилы сединами
Приник с безмолвными слезами;
И бледный близ него Фарлаф,
В немом раскаянье, в досаде,
Трепещет, дерзость потеряв.

Настала ночь. Никто во граде
Очей бессонных не смыкал;
Шумя, теснились все друг к другу:
О чуде всякий толковал;
Младой супруг свою супругу
В светлице скромной забывал.

Но только свет луны двурогой
Исчез пред утренней зарей,
Весь Киев новою тревогой
Смутился! Клики, шум и вой
Возникли всюду. Киевляне
Толпятся на стене градской...
И видят: в утреннем тумане
Шатры белеют за рекой;
Щиты, как зарево, блистают,
В полях наездники мелькают,
Вдали подъемля черный прах;
Идут походные телеги,
Костры пылают на холмах.
Беда: восстали печенеги!

Но в это время вещий Финн,
Духов могучий властелин,
В своей пустыне безмятежной
С спокойным сердцем ожидал,
Чтоб день судьбины неизбежной,
Давно предвиденный, восстал.

В немой глуши степей горючих,
За дальной цепью диких гор,
Жилища ветров, бурь гремучих,
Куда и ведьмы смелый взор
Проникнуть в поздний час боится,
Долина чудная таится,
И в той долине два ключа:
Один течет волной *живою*,
По камням весело журча,
Тот льется *мертвою* водою;
Кругом все тихо, ветры спят,
Прохлада вешняя не веет,
Столетни сосны не шумят,
Не вьются птицы, лань не смеет
В жар летний пить из тайных вод;
Чета духов с начала мира,
Безмолвная на лоне мира,
Дремучий берег стережет...
С двумя кувшинами пустыми
Предстал отшельник перед ними;
Прервали духи давний сон
И удалились страха полны.

Склонившись, погружает он
Сосуды в девственные волны;
Наполнил, в воздухе пропал
И очутился в два мгновенья
В долине, где Руслан лежал
В крови, безгласный, без движенья;
И стал над рыцарем старик,
И вспрыснул мертвою водою,
И раны засияли вмиг,
И труп чудесной красотою
Процвел; тогда водой живою
Героя старец окропил,
И бодрый, полный новых сил,
Трепеща жизнью молодою,
Встает Руслан, на ясный день
Очами жадными взирает,
Как безобразный сон, как тень,
Пред ним минувшее мелькает.
Но где Людмила? Он один!
В нем сердце, вспыхнув, замирает.
Вдруг витязь вспрянул; вещий Финн
Его зовет и обнимает:
«Судьба свершилась, о мой сын!
Тебя блаженство ожидает;
Тебя зовет кровавый пир;
Твой грозный меч бедою грянет;
На Киев снидет кроткий мир,
И там она тебе предстанет.
Возьми заветное кольцо,
Коснися им чела Людмилы,
И тайных чар исчезнут силы,
Врагов смутит твое лицо,
Настанет мир, погибнет злоба.
Достойны счастья будьте оба!
Прости надолго, витязь мой!
Дай руку... там, за дверью гроба —
Не прежде — свидимся с тобой!»
Сказал, исчезнул. Упоенный
Восторгом пылким и немым,
Руслан, для жизни пробужденный,
Подъемлет руки вслед за ним.
Но ничего не слышно боле!
Руслан один в пустынном поле;
Запрыгав, с карлой за седлом,

Русланов конь нетерпеливый
Бежит и ржет, махая гривой;
Уж князь готов, уж он верхом,
Уж он летит живой и здравый
Через поля, через дубравы.

Но между тем какой позор
Являет Киев осажденный?
Там, устремив на нивы взор,
Народ, унынъем пораженный,
Стоит на башнях и стенах
И в страхе ждет небесной казни;
Стенанья робкие в домах,
На стогнах тишина боязни;
Один, близ дочери своей,
Владимир в горестной молитве;
И храбрый сонм богатырей
С дружиной верною князей
Готовится к кровавой битве.

И день настал. Толпы врагов
С зарею двинулись с холмов;
Неукротимые дружины,
Волнуясь, хлынули с равнины
И потекли к стене градской;
Во граде трубы загремели,
Бойцы сомкнулись, полетели
Навстречу рати удалой,
Сошлись — и заварился бой.
Почуя смерть, взыграли кони,
Пошли стучать мечи о брони;
Со свистом туча стрел взвилась,
Равнина кровью залилась;
Стремглав наездники помчались,
Дружины конные смешались;
Сомкнутой, дружною стеной
Там рубится со строем строй;
Со всадником там пеший бьется;
Там конь испуганный несется;
Там клики битвы, там побег;
Там русский пал, там печенег;
Тот опрокинут булавою;
Тот легкой поражен стрелою;
Другой, придавленный щитом,

Растоптан бешеным конем...
И длился бой до темной ночи;
Ни враг, ни наш не одолел!
За грудами кровавых тел
Бойцы сомкнули томны очи,
И крепок был их бранный сон;
Лишь изредка на поле битвы
Был слышен падших скорбный стон
И русских витязей молитвы.

Бледнела утренняя тень,
Волна сребрилася в потоке,
Сомнительный рождался день
На отуманенном востоке.
Яснели холмы и леса,
И просыпались небеса.
Еще в бездейственном покое
Дремало поле боевое;
Вдруг сон прервался: вражий стан
С тревогой шумною воспрянул,
Внезапный крик сражений грянул;
Смутилось сердце киевлян;
Бегут нестройными толпами
И видят: в поле меж врагами,
Блистая в латах, как в огне,
Чудесный воин на коне
Грозой несется, колет, рубит,
В ревущий рог, летая, трубит...
То был Руслан. Как божий гром,
Наш витязь пал на басурмана;
Он рыщет с карлой за седлом
Среди испуганного стана.
Где ни просвищет грозный меч,
Где конь сердитый ни промчится,
Везде главы слетают с плеч
И с воплем строй на строй валится;
В одно мгновенье бранный луг
Покрыт холмами тел кровавых,
Живых, раздавленных, безглавых,
Громадой копий, стрел, кольчуг.
На трубный звук, на голос боя
Дружины конные славян
Помчались по следам героя,
Сразились... гибни, басурман!

Объемлет ужас печенегов;
Питомцы бурные набегов
Зовут рассеянных коней,
Противиться не смеют боле
И с диким воплем в пыльном поле
Бегут от киевских мечей,
Обречены на жертву аду;
Их сонмы русский меч казнит;
Ликует Киев... Но по граду
Могучий богатырь летит;
В деснице держит меч победный;
Копье сияет как звезда;
Струится кровь с кольчуги медной;
На шлеме вьется борода;
Летит, надеждой окриленный,
По стогнам шумным в княжий дом.
Народ, восторгом упоенный,
Толпится с кликами кругом,
И князя радость оживила.
В безмолвный терем входит он,
Где дремлет чудным сном Людмила;
Владимир, в думу погружен,
У ног ее стоял унылый.
Он был один. Его друзей
Война влекла в поля кровавы.
Но с ним Фарлаф, чуждаясь славы,
Вдали от вражеских мечей,
В душе презрев тревоги стана,
Стоял на страже у дверей.
Едва злодей узнал Руслана,
В нем кровь остыла, взор погас,
В устах открытых замер глас,
И пал без чувств он на колена...
Достойной казни ждет измена!
Но, помня тайный дар кольца,
Руслан летит к Людмиле спящей,
Ее спокойного лица
Касается рукой дрожащей...
И чудо: юная княжна,
Вздохнув, открыла светлы очи!
Казалось, будто бы она
Дивилася столь долгой ночи;
Казалось, что какой-то сон
Ее томил мечтой неясной,

И вдруг узнала — это он!
И князь в объятиях прекрасной.
Воскреснув пламенной душой,
Руслан не видит, не внимает,
И старец в радости немой,
Рыдая, милых обнимает.

Чем кончу длинный мой рассказ?
Ты угадаешь, друг мой милый!
Неправый старца гнев погас;
Фарлаф пред ним и пред Людмилой
У ног Руслана объявил
Свой стыд и мрачное злодейство;
Счастливый князь ему простил;
Лишенный силы чародейства,
Был принят карла во дворец;
И, бедствий празднуя конец,
Владимир в гриднице высокой
Запировал в семье своей.

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.

ЭПИЛОГ

Так, мира житель равнодушный,
На лопе праздной тишины,
Я славил лирою послушной
Преданья темной старины.
Я пел — и забывал обиды
Слепого счастья и врагов,
Измены ветреной Дориды
И сплетни шумные глупцов.
На крыльях вымысла носимый,
Ум улетал за край земной;
И между тем грозы незримой
Сбиралась туча надо мной!..
Я погибал... Святой хранитель
Первоначальных, бурных дней,
О дружба, нежный утешитель
Болезненной души моей!
Ты умолила непогоду;
Ты сердцу возвратила мир;
Ты сохранила мне свободу,

Кипящей младости кумир!
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой;
Душа, как прежде, каждый час
Полна томительною думой —
Но огнь поэзии погас.
Ищу напрасно впечатлений:
Она прошла, пора стихов,
Пора любви, веселых снов,
Пора сердечных вдохновений!
Восторгов краткий день протек —
И скрылась от меня навек
Богиня тихих песнопений...

1820

КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК

Повесть

ПОСВЯЩЕНИЕ

Н. Н. Раевскому

Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье:
Тебе я посвятил изгнанной лиры пенье
И вдохновенный свой досуг.
Когда я погибал, безвинный, безотрадный,
И шепот клеветы внимал со всех сторон,
Когда кинжал измены хладный,
Когда любви тяжелый сон
Меня терзали и мертвили,
Я близ тебя еще спокойство находил;
Я сердцем отдыхал — друг друга мы любили:
И бури надо мной свирепость утомили,
Я в мирной пристани богов благословил.

Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ,
Где пасмурный Бешту [1], пустынник величавый,
Аулов [2] и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас.
Забуду ли его кремнистые вершины,
Гремучие ключи, увядшие равнины,
Пустыни знойные, края, где ты со мной
Делил души младые впечатленья;
Где рыскает в горах воинственный разбой,
И дикий гений вдохновенья
Таится в тишине глухой?
Ты здесь найдешь воспоминанья,
Быть может, милых сердцу дней,
Противуречия страстей,
Мечты знакомые, знакомые страданья
И тайный глас души моей.

Мы в жизни розно шли: в объятиях покоя
Едва, едва расцвел и вслед отца-героя
В поля кровавые, под тучи вражьих стрел,
Младенец избранный, ты гордо полетел.
Отечество тебя ласкало с умиленьем,
Как жертву милую, как верный свет надежд.
Я рано скорбь узнал, постигнут был гоненьем;
Я жертва клеветы и мстительных невежд;
Но, сердце укрепив свободой и терпеньем,
Я ждал беспечно лучших дней;
И счастие моих друзей
Мне было сладким утешеньем.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ауле, на своих порогах,
Черкесы праздные сидят.
Сыны Кавказа говорят
О бранных, гибельных тревогах,
О красоте своих коней,
О наслажденьях дикой неги;
Воспоминают прежних дней
Неотразимые набеги,
Обманы хитрых узденей [3],

Удары шашек[4] их жестоких,
И меткость неизбежных стрел,
И пепел разоренных сел,
И ласки пленниц чернооких.

Текут беседы в тишине;
Луна плывет в ночном тумане;
И вдруг пред ними на коне
Черкес. Он быстро на аркане
Младого пленника влачил.
«Вот русский!» — хищник возопил.
Аул па крик его сбежался
Ожесточенною толпой;
Но пленник хладный и немой,
С обезображенной главой,
Как труп, недвижим оставался.
Лица врагов не видит он,
Угроз и криков он не слышит;
Над ним летает смертный сон
И холодом тлетворным дышит.

И долго пленник молодой
Лежал в забвении тяжелом.
Уж полдень над его главой
Пылал в сиянии веселом;
И жизни дух проснулся в нем,
Невнятный стон в устах раздался;
Согретый солнечным лучом,
Несчастный тихо приподнялся;
Кругом обводит слабый взор...
И видит: неприступных гор
Над ним воздвигнулась громада.
Гнездо разбойничьих племен,
Черкесской вольности ограда.
Воспомнил юноша свой плен,
Как сна ужасного тревоги,
И слышит: загремели вдруг
Его закованные ноги...
Все, все сказал ужасный звук;
Затмилась перед ним природа.
Прости, священная свобода!
Он раб.
За саклями[5] лежит
Он у колючего забора.

Черкесы в поле, нет надзора,
В пустом ауле все молчит.
Пред ним пустынные равнины
Лежат зеленой пеленой;
Там холмов тянутся грядой
Однообразные вершины;
Меж них уединенный путь
В дали теряется угрюмой:
И пленника младого грудь
Тяжелой взволновалась думой...

В Россию дальный путь ведет,
В страну, где пламенную младость
Он гордо начал без забот;
Где первую познал он радость,
Где много милого любил,
Где обнял грозное страданье,
Где бурной жизнью погубил
Надежду, радость и желанье,
И лучших дней воспоминанье
В увядшем сердце заключил.

Людей и свет изведал он
И знал неверной жизни цену.
В сердцах друзей нашед измену,
В мечтах любви безумный сон,
Наскуча жертвой быть привычной
Давно презренной суеты,
И неприязни двуязычной,
И простодушной клеветы,
Отступник света, друг природы,
Покинул он родной предел
И в край далекий полетел
С веселым призраком свободы.

Свобода! он одной тебя
Еще искал в пустынном мире.
Страстями чувства истребя,
Охолодев к мечтам и к лире,
С волненьем песни он внимал,
Одушевленные тобою,
И с верой, пламенной мольбою
Твой гордый идол обнимал.

Свершилось... целью упованья
Не зрит он в мире ничего.
И вы, последние мечтанья,
И вы сокрылись от него.
Он раб. Склонясь главой на камень,
Он ждет, чтоб с сумрачной зарей
Погас печальной жизни пламень,
И жаждет сени гробовой.

Уж меркнет солнце за горами;
Вдали раздался шумный гул;
С полей народ идет в аул,
Сверкая светлыми косами.
Пришли; в домах зажглись огни,
И постепенно шум нестройный
Умолкнул; все в ночной тени
Объято негою спокойной;
Вдали сверкает горный ключ,
Сбегая с каменной стремнины;
Оделись пеленою туч
Кавказа спящие вершины...
Но кто, в сиянии луны,
Среди глубокой тишины
Идет, украдкою ступая?
Очнулся русский. Перед ним,
С приветом нежным и немым,
Стоит черкешенка младая.
На деву молча смотрит он
И мыслит: это лживый сон,
Усталых чувств игра пустая.
Луною чуть озарена,
С улыбкой жалости отрадной
Колена преклонив, она
К его устам кумыс [6] прохладный
Подносит тихою рукой.
Но он забыл сосуд целебный;
Он ловит жадною душой
Приятной речи звук волшебный
И взоры девы молодой.
Он чуждых слов не понимает;
Но взор умильный, жар ланит,
Но голос нежный говорит:
Живи! и пленник оживает.
И он, собрав остаток сил,

Веленью милому покорный,
Привстал — и чашей благотворной
Томленье жажды утолил.
Потом на камень вновь склонился
Отягощенною главой,
Но все к черкешенке младой
Угасший взор его стремился.
И долго, долго перед ним
Она, задумчива, сидела;
Как бы участием немым
Утешить пленника хотела;
Уста невольно каждый час
С начатой речью открывались;
Она вздыхала, и не раз
Слезами очи наполнялись.

За днями дни прошли как тень.
В горах, окованный, у стада
Проводит пленник каждый день.
Пещеры влажная прохлада
Его скрывает в летний зной;
Когда же рог луны сребристой
Блеснет за мрачною горой,
Черкешенка, тропой тенистой,
Приносит пленнику вино,
Кумыс, и ульев сот душистый,
И белоснежное пшено;
С ним тайный ужин разделяет;
На нем покоит нежный взор;
С неясной речию сливает
Очей и знаков разговор;
Поет ему и песни гор,
И песни Грузии счастливой [7],
И памяти нетерпеливой
Передает язык чужой.
Впервые девственной душой
Она любила, знала счастье,
Но русский жизни молодой
Давно утратил сладострастье.
Не мог он сердцем отвечать
Любви младенческой, открытой —
Быть может, сон любви забытой
Боялся он воспоминать.

Не вдруг увянет наша младость,
Не вдруг восторги бросят нас,
И неожиданную радость
Еще обнимем мы не раз:
Но вы, живые впечатленья,
Первоначальная любовь,
Небесный пламень упоенья,
Не прилетаете вы вновь.

Казалось, пленник безнадежный
К унылой жизни привыкал.
Тоску неволи, жар мятежный
В душе глубоко он скрывал.
Влачася меж угрюмых скал,
В час ранней, утренней прохлады,
Вперял он любопытный взор
На отдаленные громады
Седых, румяных, синих гор.
Великолепные картины!
Престолы вечные снегов,
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков,
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый,
Белел на небе голубом [8].
Когда, с глухим сливаясь гулом,
Предтеча бури, гром гремел,
Как часто пленник над аулом
Недвижим на горе сидел!
У ног его дымились тучи,
В степи взвивался прах летучий;
Уже приюта между скал
Елень испуганный искал;
Орлы с утесов подымались
И в небесах перекликались;
Шум табунов, мычанье стад
Уж гласом бури заглушались...
И вдруг на долы дождь и град
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые,
Текли потоки дождевые —
А пленник, с горной вышины,

Один, за тучей громовою,
Возврата солнечного ждал,
Недосягаемый грозою,
И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

Но европейца все вниманье
Народ сей чудный привлекал.
Меж горцев пленник наблюдал
Их веру, нравы, воспитанье,
Любил их жизни простоту,
Гостеприимство, жажду брани,
Движений вольных быстроту,
И легкость ног, и силу длани;
Смотрел по целым он часам,
Как иногда черкес проворный,
Широкой степью, по горам,
В косматой шапке, в бурке черной,
К луке склонясь, на стремена
Ногою стройной опираясь,
Летал по воле скакуна,
К войне заране приучаясь.
Он любовался красотой
Одежды бранной и простой.
Черкес оружием обвешен;
Он им гордится, им утешен;
На нем броня, пищаль, колчан,
Кубанский лук, кинжал, аркан
И шашка, вечная подруга
Его трудов, его досуга.
Ничто его не тяготит,
Ничто не брякнет; пеший, конный —
Все тот же он; все тот же вид
Непобедимый, непреклонный.
Гроза беспечных казаков,
Его богатство — конь ретивый,
Питомец горских табунов,
Товарищ верный, терпеливый.
В пещере иль в траве глухой
Коварный хищник с ним таится
И вдруг, внезапною стрелой,
Завидя путника, стремится;
В одно мгновенье верный бой
Решит удар его могучий,

И странника в ущелья гор
Уже влечет аркан летучий.
Стремится конь во весь опор,
Исполнен огненной отваги;
Все путь ему: болото, бор,
Кусты, утесы и овраги;
Кровавый след за ним бежит,
В пустыне топот раздается;
Седой поток пред ним шумит —
Он в глубь кипящую несется;
И путник, брошенный ко дну,
Глотает мутную волну,
Изнемогая, смерти просит
И зрит ее перед собой...
Но мощный конь его стрелой
На берег пенистый выносит.

Иль ухватив рогатый пень,
В реку низверженный грозою,
Когда на холмах пеленою
Лежит безлунной ночи тень,
Черкес на корни вековые,
На ветви вешает кругом
Свои доспехи боевые,
Щит, бурку, панцирь и шелом,
Колчан и лук — и в быстры волны
За ним бросается потом,
Неутомимый и безмолвный.
Глухая ночь. Река ревет;
Могучий ток его несет
Вдоль берегов уединенных,
Где на курганах возвышенных,
Склонясь на копья, казаки
Глядят на темный бег реки —
И мимо их, во мгле чернея,
Плывет оружие злодея...
О чем ты думаешь, казак?
Воспоминаешь прежни битвы,
На смертном поле свой бивак,
Полков хвалебные молитвы
И родину?.. Коварный сон!
Простите, вольные станицы,
И дом отцов, и тихий Дон,
Война и красные девицы!

К брегам причалил тайный враг,
Стрела выходит из колчана —
Взвилась — и падает казак
С окровавленного кургана.

Когда же с мирною семьей
Черкес в отеческом жилище
Сидит ненастною порой,
И тлеют угли в пепелище;
И, спрянув с верного коня,
В горах пустынных запоздалый,
К нему войдет пришлец усталый
И робко сядет у огня,—
Тогда хозяин благосклонный
С приветом, ласково, встает
И гостю в чаше благовонной
Чихирь [9] отрадный подает.
Под влажной буркой, в сакле дымной,
Вкушает путник мирный сон,
И утром оставляет он
Ночлега кров гостеприимный [10].

Бывало, в светлый Баиран [11]
Сберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою.
То, полный разобрав колчан,
Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,
При данном знаке, вдруг падут,
Как лани землю поражают,
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

Но скучен мир однообразный
Сердцам, рожденным для войны,
И часто игры воли праздной
Игрой жестокой смущены.
Нередко шашки грозно блещут
В безумной резвости пиров,
И в прах летят главы рабов,
И в радости младенцы плещут.

Но русский равнодушно зрел
Сии кровавые забавы.
Любил он прежде игры славы
И жаждой гибели горел.
Невольник чести беспощадной,
Вблизи видал он свой конец,
На поединках твердый, хладный,
Встречая гибельный свинец.
Быть может, в думу погруженный,
Он время то воспоминал,
Когда, друзьями окруженный,
Он с ними шумно пировал...
Жалел ли он о днях минувших,
О днях, надежду обманувших,
Иль, любопытный, созерцал
Суровой простоты забавы
И дикого народа нравы
В сем верном зеркале читал —
Таил в молчанье он глубоком
Движенья сердца своего,
И на челе его высоком
Не изменялось ничего;
Беспечной смелости его
Черкесы грозные дивились,
Щадили век его младой
И шепотом между собой
Своей добычею гордились.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ты их узнала, дева гор,
Восторги сердца, жизни сладость;
Твой огненный, невинный взор
Высказывал любовь и радость.
Когда твой друг во тьме ночной
Тебя лобзал немым лобзаньем,
Сгорая негой и желаньем,
Ты забывала мир земной,
Ты говорила: «Пленник милый,
Развесели свой взор унылый,
Склонись главой ко мне на грудь,
Свободу, родину забудь.
Скрываться рада я в пустыне

«Руслан и Людмила».
Гравюра М. Иванова с оригинала И. Иванова (по композиции А. Оленина).
Фронтиспис из 1-го издания поэмы 1820 г.

С тобою, царь души моей!
Люби меня; никто доныне
Не целовал моих очей;
К моей постеле одинокой
Черкес младой и черноокой
Не крался в тишине ночной;
Слыву я девою жестокой,
Неумолимой красотой.
Я знаю жребий мне готовый:
Меня отец и брат суровый
Немилому продать хотят
В чужой аул ценою злата;
Но умолю отца и брата,
Не то — найду кинжал иль яд.
Непостижимой, чудной силой
К тебе я вся привлечена;
Люблю тебя, невольник милый,
Душа тобой упоена...»

Но он с безмолвным сожаленьем
На деву страстную взирал
И, полный тяжким размышленьем,
Словам любви ее внимал.
Он забывался. В нем теснились
Воспоминанья прошлых дней,
И даже слезы из очей
Однажды градом покатились.
Лежала в сердце, как свинец,
Тоска любви без упованья.
Пред юной девой наконец
Он излиял свои страданья:

«Забудь меня: твоей любви,
Твоих восторгов я не стою.
Бесценных дней не трать со мною;
Другого юношу зови.
Его любовь тебе заменит
Моей души печальный хлад;
Он будет верен, он оценит
Твою красу, твой милый взгляд,
И жар младенческих лобзаний,
И нежность пламенных речей;
Без упоенья, без желаний
Я вяну жертвою страстей.

Ты видишь след любви несчастной,
Душевной бури след ужасный;
Оставь меня; но пожалей
О скорбной участи моей!
Несчастный друг, зачем не прежде
Явилась ты моим очам,
В те дни, как верил я надежде
И упоительным мечтам!
Но поздно: умер я для счастья,
Надежды призрак улетел;
Твой друг отвык от сладострастья,
Для нежных чувств окаменел...

Как тяжко мертвыми устами
Живым лобзаньям отвечать
И очи, полные слезами,
Улыбкой хладною встречать!
Измучась ревностью напрасной,
Уснув бесчувственной душой,
В объятиях подруги страстной
Как тяжко мыслить о другой!..

Когда так медленно, так нежно
Ты пьешь лобзания мои,
И для тебя часы любви
Проходят быстро, безмятежно;
Снедая слезы в тишине,
Тогда рассеянный, унылый
Перед собою, как во сне,
Я вижу образ вечно милый;
Его зову, к нему стремлюсь,
Молчу, не вижу, не внимаю;
Тебе в забвенье предаюсь
И тайный призрак обнимаю.
Об нем в пустыне слезы лью;
Повсюду он со мною бродит
И мрачную тоску наводит
На душу сирую мою.

Оставь же мне мои железы,
Уединенные мечты,
Воспоминанья, грусть и слезы:
Их разделить не можешь ты.

Ты сердца слышала признанье;
Прости... дай руку — на прощанье.
Недолго женскую любовь
Печалит хладная разлука:
Пройдет любовь, настанет скука,
Красавица полюбит вновь».

Раскрыв уста, без слез рыдая,
Сидела дева молодая.
Туманный, неподвижный взор
Безмолвный выражал укор;
Бледна как тень, она дрожала:
В руках любовника лежала
Ее холодная рука;
И наконец любви тоска
В печальной речи излилася:

«Ах, русский, русский, для чего,
Не зная сердца твоего,
Тебе навек я предалася!
Не долго на груди твоей
В забвенье дева отдыхала;
Не много радостных ночей
Судьба на долю ей послала!
Придут ли вновь когда нибудь?
Ужель навек погибла радость?..
Ты мог бы, пленник, обмануть
Мою неопытную младость,
Хотя б из жалости одной,
Молчаньем, ласкою притворной;
Я услаждала б жребий твой
Заботой нежной и покорной;
Я стерегла б минуты сна,
Покой тоскующего друга;
Ты не хотел... Но кто ж она,
Твоя прекрасная подруга?
Ты любишь, русский? ты любим?..
Понятны мне твои страданья...
Прости ж и ты мои рыданья,
Не смейся горестям моим».

Умолкла. Слезы и стенанья
Стеснили бедной девы грудь.
Уста без слов роптали пени.

Без чувств, обняв его колени,
Она едва могла дохнуть.
И пленник, тихою рукою
Подняв несчастную, сказал:
«Не плачь: и я гоним судьбою,
И муки сердца испытал.
Нет, я не знал любви взаимной,
Любил один, страдал один;
И гасну я, как пламень дымный,
Забытый средь пустых долин;
Умру вдали брегов желанных;
Мне будет гробом эта степь;
Здесь на костях моих изгнанных
Заржавит тягостная цепь...»

Светила ночи затмевались;
В дали прозрачной означались
Громады светлоснежных гор;
Главу склонив, потупя взор,
Они в безмолвии расстались.

Унылый пленник с этих пор
Один окрест аула бродит.
Заря на знойный небосклон
За днями новы дни возводит;
За ночью ночь вослед уходит;
Вотще свободы жаждет он.
Мелькнет ли серна меж кустами,
Проскачет ли во мгле сайгак,—
Он, вспыхнув, загремит цепями,
Он ждет, не крадется ль казак,
Ночной аулов разоритель,
Рабов отважный избавитель.
Зовет... но все кругом молчит;
Лишь волны плещутся, бушуя,
И человека зверь почуя,
В пустыню темную бежит.

Однажды слышит русский пленный,
В горах раздался клик военный:
«В табун, в табун!» Бегут, шумят;
Уздечки медные гремят,
Чернеют бурки, блещут брони,

Кипят оседланные кони,
К набегу весь аул готов,
И дикие питомцы брани
Рекою хлынули с холмов
И скачут по брегам Кубани
Сбирать насильственные дани.

Утих аул; на солнце спят
У саклей псы сторожевые.
Младенцы смуглые, нагие
В свободной резвости шумят;
Их прадеды в кругу сидят,
Из трубок дым, виясь, синеет.
Они безмолвно юных дев
Знакомый слушают припев,
И старцев сердце молодеет.

ЧЕРКЕССКАЯ ПЕСНЯ

1

В реке бежит гремучий вал;
В горах безмолвие ночное;
Казак усталый задремал,
Склонясь на копие стальное.
Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.

2

Казак плывет на челноке,
Влача по дну речному сети.
Казак, утонешь ты в реке,
Как тонут маленькие дети,
Купаясь жаркою порой:
Чеченец ходит за рекой.

3

На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы;
Веселый пляшет хоровод.

Бегите, русские певицы,
Спешите, красные, домой:
Чеченец ходит за рекой.

Так пели девы. Сев на бреге,
Мечтает русский о побеге;
Но цепь невольника тяжка,
Быстра глубокая река...
Меж тем, померкнув, степь уснула,
Вершины скал омрачены.
По белым хижинам аула
Мелькает бледный свет луны;
Елени дремлют над водами,
Умолкнул поздний крик орлов,
И глухо вторится горами
Далекий топот табунов.

Тогда кого-то слышно стало,
Мелькнуло девы покрывало,
И вот — печальна и бледна
К нему приближилась *она.*
Уста прекрасной ищут речи;
Глаза исполнены тоской,
И черной падают волной
Ее власы на грудь и плечи.
В одной руке блестит пила,
В другой кинжал ее булатный;
Казалось, будто дева шла
На тайный бой, на подвиг ратный.

На пленника возведши взор,
«Беги,— сказала дева гор,—
Нигде черкес тебя не встретит.
Спеши; не трать ночных часов;
Возьми кинжал: твоих следов
Никто во мраке не заметит».

Пилу дрожащей взяв рукой,
К его ногам она склонилась:
Визжит железо под пилой,
Слеза невольная скатилась —
И цепь распалась и гремит.

«Ты волен,— дева говорит,—
Беги!» Но взгляд ее безумный
Любви порыв изобразил.
Она страдала. Ветер шумный,
Свистя, покров ее клубил.
«О друг мой! — русский возопил,—
Я твой навек, я твой до гроба.
Ужасный край оставим оба,
Беги со мной...» — «Нет, русский, нет!
Она исчезла, жизни сладость;
Я знала все, я знала радость,
И все прошло, пропал и след.
Возможно ль? ты любил другую!..
Найди ее, люби ее;
О чем же я еще тоскую?
О чем уныние мое?..
Прости! любви благословенья
С тобою будут каждый час.
Прости — забудь мои мученья,
Дай руку мне... в последний раз».

К черкешенке простер он руки,
Воскресшим сердцем к ней летел,
И долгий поцелуй разлуки
Союз любви запечатлел.
Рука с рукой, унынья полны,
Сошли ко брегу в тишине —
И русский в шумной глубине
Уже плывет и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них...
Вдруг волны глухо зашумели,
И слышен отдаленный стон...
На дикий брег выходит он,
Глядит назад, брега яснели
И, опененные, белели;
Но нет черкешенки младой
Ни у брегов, ни под горой...
Все мертво... на брегах уснувших
Лишь ветра слышен легкий звук,
И при луне в водах плеснувших
Струистый исчезает круг.

Все понял он. Прощальным взором
Объемлет он в последний раз
Пустой аул с его забором,
Поля, где, пленный, стадо пас,
Стремнины, где влачил оковы,
Ручей, где в полдень отдыхал,
Когда в горах черкес суровый
Свободы песню запевал.

Редел на небе мрак глубокий,
Ложился день на темный дол,
Взошла заря. Тропой далекой
Освобожденный пленник шел;
И перед ним уже в туманах
Сверкали русские штыки,
И окликались на курганах
Сторожевые казаки.

ЭПИЛОГ

Так Муза, легкий друг Мечты,
К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
Кавказа дикие цветы.
Ее пленял наряд суровый
Племен, возросших на войне,
И часто в сей одежде новой
Волшебница являлась мне;
Вокруг аулов опустелых
Одна бродила по скалам,
И к песням дев осиротелых
Она прислушивалась там;
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,
Курганы, тихие гробницы.
И шум, и ржанье табунов.
Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальних стран,
Мстислава [12] древний поединок,

Измены, гибель россиян
На лоне мстительных грузинок;
И воспою тот славный час,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующий Кавказ
Подъялся наш орел двуглавый;
Когда на Тереке седом
Впервые грянул битвы гром
И грохот русских барабанов,
И в сече, с дерзостным челом,
Явился пылкий Цицианов;
Тебя я воспою, герой,
О Котляревский, бич Кавказа!
Куда ни мчался ты грозой —
Твой ход, как черная зараза,
Губил, ничтожил племена...
Ты днесь покинул саблю мести,
Тебя не радует война;
Скучая миром, в язвах чести,
Вкушаешь праздный ты покой
И тишину домашних долов...
Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны,
Сражались, гибли вы ужасно;
Но не спасла вас наша кровь,
Ни очарованные брони,
Ни горы, ни лихие кони,
Ни дикой вольности любовь!
Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы.

1821

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Бешту,* или, правильнее, *Бештау,* кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории.

[2] *Аул.* Так называются деревни кавказских народов.

[3] *Уздень,* начальник или князь.

[4] *Шашка,* черкесская сабля.

[5] *Сакля,* хижина.

[6] *Кумыс* делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении между всеми горскими и кочующими народами Азии. Он довольно приятен вкусу и почитается весьма здоровым.

[7] Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части заунывны. Они славят минутные успехи кавказского оружия, смерть наших героев: Бакунина и Цицианова, измены, убийства — иногда любовь и наслаждения.

[8] Державин в превосходной своей оде графу Зубову первый изобразил в следующих строфах дикие картины Кавказа:

О юный вождь, сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

Ты зрел, как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря златобагряна
Сквозь лес увеселяет взор.

Жуковский, в своем послании к г-ну Воейкову, также посвящает несколько прелестных стихов описанию Кавказа:

Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где, часто притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом;
И вдалеке перед тобой,
Одеты голубым туманом,
Гора вздымалась над горой,
И в сонме их гигант седой,
Как туча, Эльборус двуглавый,
Ужасною и величавой
Там все блистает красотой:

Утесов мшистые громады,
Бегущи с ревом водопады
Во мрак пучин с гранитных скал;
Леса, которых сна от века
Ни стук секир, ни человека
Веселый глас не возмущал,
В которых сумрачные сени
Еще луч дневный не проник,
Где изредка одни елени,
Орла послышав грозный крик,
Теснясь в толпу, шумят ветвями,
И козы легкими ногами
Перебегают по скалам.
Там все является очам
Великолепие творенья!
Но там — среди уединенья
Долин, таящихся в горах,—
Гнездятся и балкар, и бах,
И абазех, и камуцинец,
И карбулак, и албазинец,
И чечереец, и шапсук;
Пищаль, кольчуга, сабля, лук
И конь — соратник быстроногий —
Их и сокровища и боги;
Как серны скачут по горам,
Бросают смерть из-за утеса;
Или по топким берегам,
В траве высокой, в чаще леса
Рассыпавшись, добычи ждут;
Скалы свободы их приют.
Но дни в аулах их бредут
На костылях угрюмой лени:
Там жизнь их — сон; стеснясь в кружок
И в братский с табаком горшок
Вонзивши чубуки, как тени
В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы.

[9] *Чихирь,* красное грузинское вино.

[10] Черкесы, как и все дикие народы, отличаются пред нами гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не защитить почитается меж ними за величайшее бесчестие. *Кунак* (т. е. приятель, знакомый) отвечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую средину кабардинских гор.

[11] *Байран,* или *байрам,* праздник разговенья. *Рамазан,* музульманский пост.

[12] Мстислав, сын св. Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. *Ист. Гос. Росс. Том II.*

ГАВРИИЛИАДА

Воистину еврейки молодой
Мне дорого душевное спасенье.
Приди ко мне, прелестный ангел мой,
И мирное прими благословенье.
Спасти хочу земную красоту!
Любезных уст улыбкою довольный,
Царю небес и господу Христу
Пою стихи на лире богомольной.
Смиренных струн, быть может, наконец
Ее пленят церковные напевы,
И дух святой сойдет на сердце девы;
Властитель он и мыслей и сердец.

Шестнадцать лет, невинное смиренье,
Бровь темная, двух девственных холмов
Под полотном упругое движенье,
Нога любви, жемчужный ряд зубов...
Зачем же ты, еврейка, улыбнулась,
И по лицу румянец пробежал?
Нет, милая, ты право обманулась:
Я не тебя,— Марию описал.

В глуши полей, вдали Ерусалима,
Вдали забав и юных волокит
(Которых бес для гибели хранит),
Красавица, никем еще не зрима,
Без прихотей вела спокойный век.
Ее супруг, почтенный человек,
Седой старик, плохой столяр и плотник,
В селенье был единственный работник.
И день и ночь, имея много дел
То с уровнем, то с верною пилою,
То с топором, не много он смотрел
На прелести, которыми владел,
И тайный цвет, которому судьбою
Назначена была иная честь,
На стебельке не смел еще процвесть.
Ленивый муж своею старой лейкой
В час утренний не орошал его;
Он как отец с невинной жил еврейкой,
Ее кормил — и больше ничего.

Но с праведных небес во время оно
Всевышний бог склонил приветный взор

На стройный стан, на девственное лоно
Рабы своей — и, чувствуя задор,
Он положил в премудрости глубокой
Благословить достойный вертоград,
Сей вертоград, забытый, одинокий,
Щедротою таинственных наград.

Уже поля немая ночь объемлет;
В своем углу Мария сладко дремлет.
Всевышний рек,— и деве снится сон:
Пред нею вдруг открылся небосклон;
Во глубине небес необозримой,
В сиянии и славе нестерпимой
Тьмы ангелов волнуются, кипят,
Бесчисленны летают серафимы,
Струнами арф бряцают херувимы,
Архангелы в безмолвии сидят,
Главы закрыв лазурными крылами,—
И, яркими одеян облаками,
Предвечного стоит пред ними трон.
И светел вдруг очам явился он...
Все пали ниц... Умолкнул арфы звон.
Склонив главу, едва Мария дышит,
Дрожит как лист и голос бога слышит:
«Краса земных любезных дочерей,
Израиля надежда молодая!
Зову тебя, любовию пылая,
Причастница ты славы будь моей:
Готова будь к неведомой судьбине,
Жених грядет, грядет к своей рабыне».

Вновь облаком оделся божий трон;
Восстал духов крылатый легион,
И раздались небесной арфы звуки...
Открыв уста, сложив умильно руки,
Лицу небес Мария предстоит.
Но что же так волнует и манит
Ее к себе внимательные взоры?
Кто сей в толпе придворных молодых
С нее очей не сводит голубых?
Пернатый шлем, роскошные уборы,
Сиянье крил и локонов златых,
Высокий стан, взор томный и стыдливый –
Все нравится Марии молчаливой.
Замечен он, один он сердцу мил!

Гордись, гордись, архангел Гавриил!
Пропало все.— Не внемля детской пени,
На полотне так исчезают тени,
Рожденные в волшебном фонаре.

Красавица проснулась на заре
И нежилась на ложе томной лени.
Но дивный сон, но милый Гавриил
Из памяти ее не выходил.
Царя небес любить она хотела,
Его слова приятны были ей,
И перед ним она благоговела,—
Но Гавриил казался ей милей...
Так иногда супругу генерала
Затянутый прельщает адъютант.
Что делать нам? судьба так приказала,—
Согласны в том невежда и педант.

Поговорим о странностях любви
(Другого я не смыслю разговора).
В те дни, когда от огненного взора
Мы чувствуем волнение в крови,
Когда тоска обманчивых желаний
Объемлет нас и душу тяготит,
И всюду нас преследует, томит
Предмет один и думы и страданий,—
Не правда ли? в толпе младых друзей
Наперсника мы ищем и находим.
С ним тайный глас мучительных страстей
Наречием восторгов переводим.
Когда же мы поймали на лету
Крылатый миг небесных упоений
И к радостям на ложе наслаждений
Стыдливую склонили красоту,
Когда любви забыли мы страданье
И нечего нам более желать,—
Чтоб оживить о ней воспоминанье,
С наперсником мы любим поболтать.

И ты, господь! познал ее волненье,
И ты пылал, о боже, как и мы.
Создателю постыло все творенье,
Наскучило небесное моленье,—
Он сочинял любовные псалмы
И громко пел: «Люблю, люблю Марию,

В унынии бессмертие влачу...
Где крылия? к Марии полечу
И на груди красавицы почию!..»
И прочее... все, что придумать мог,—
Творец любил восточный, пестрый слог.
Потом, призвав любимца Гавриила,
Свою любовь он прозой объяснял.
Беседы их нам церковь утаила,
Евангелист немного оплошал!
Но говорит армянское преданье,
Что царь небес, не пожалев похвал,
В Меркурии архангела избрал,
Заметя в нем и ум и дарованье,—
И вечерком к Марии подослал.
Архангелу другой хотелось чести:
Нередко он в посольствах был счастлив;
Переносить записочки да вести
Хоть выгодно, но он самолюбив.
И славы сып, намеренья сокрыв,
Стал нехотя услужливый угодник
Царю небес... а по-земному сводник.

Но, старый враг, не дремлет сатана!
Услышал он, шатаясь в белом свете,
Что бог имел еврейку на примете,
Красавицу, которая должна
Спасти наш род от вечной муки ада.
Лукавому велпкая досада —
Хлопочет он. Всевышний между тем
На небесах сидел в упынье сладком,
Весь мир забыв, не правил он ничем —
И без него все шло своим порядком.

Что ж делает Мария? Где она,
Иосифа печальная супруга?
В своем саду, печальных дум полна,
Проводит час невинного досуга
И снова ждет пленительного сна.
С ее души не сходит образ милый,
К архангелу летит душой унылой.
В прохладе пальм, под говором ручья
Задумалась красавица моя;
Не мило ей цветов благоуханье,
Не весело прозрачных вод журчанье...
И видит вдруг: прекрасная змия,

Приманчивой блистая чешуею,
В тени ветвей качается над нею
И говорит: «Любимица небес!
Не убегай,— я пленник твой послушный...»
Возможно ли? О, чудо из чудес!
Кто ж говорил Марии простодушной,
Кто ж это был? Увы, конечно, бес.

Краса змии, цветов разнообразность,
Ее привет, огонь лукавых глаз
Понравились Марии в тот же час.
Чтоб усладить младого сердца праздность,
На сатане покоя нежный взор,
С ним завела опасный разговор:

«Кто ты, змия? По льстивому напеву,
По красоте, по блеску, по глазам —
Я узнаю того, кто нашу Еву
Привлечь успел к таинственному древу
И там склонил несчастную к грехам.
Ты погубил неопытную деву,
А с нею весь Адамов род и пас.
Мы в бездне бед невольно потонули.
Не стыдно ли?»
— Попы вас обманули,
И Еву я не погубил, а спас! —
«Спас! от кого?»
— От бога.—
«Враг опасный!»
— Он был влюблен...—
«Послушай, берегись!»
— Он к ней пылал —
«Молчи!»
— любовью страстной,
Она была в опасности ужасной.—
«Змия, ты лжешь!»
— Ей-богу! —
«Не божись».
— Но выслушай...—

Подумала Мария:
«Нехорошо в саду, наедине,
Украдкою внимать наветам змия,
И кстати ли поверить сатане?

Но царь небес меня хранит и любит,
Всевышний благ: он, верно, не погубит
Своей рабы,— за что ж? за разговор!
К тому же он не даст меня в обиду,
Да и змия скромна довольно с виду.
Какой тут грех? где зло? пустое, вздор!»
Подумала и ухо приклонила,
Забыв на час любовь и Гавриила.
Лукавый бес, надменно развернув
Гремучий хвост, согнув дугою шею,
С ветвей скользит — и падает пред нею;
Желаний огнь во грудь ее вдохнув,
Он говорит:

«С рассказом Моисея
Не соглашу рассказа моего:
Он вымыслом хотел пленить еврея,
Он важно лгал,— и слушали его.
Бог наградил в нем слог и ум покорный,
Стал Моисей известный господин,
Но я, поверь,— историк не придворный,
Не нужен мне пророка важный чин!

Они должны, красавицы другие,
Завидовать огню твоих очей;
Ты рождена, о скромная Мария,
Чтоб изумлять Адамовых детей,
Чтоб властвовать их легкими сердцами,
Улыбкою блаженство им дарить,
Сводить с ума двумя-тремя словами,
По прихоти — любить и не любить...
Вот жребий твой. Как ты — младая Ева
В своем саду скромна, умна, мила,
Но без любви в унынии цвела;
Всегда одни, глаз-на́-глаз, муж и дева
На берегах Эдема светлых рек
В спокойствии вели невинный век.
Скучна была их дней однообразность.
Ни рощи сень, ни молодость, ни праздность –
Ничто любви не воскрешало в них;
Рука с рукой гуляли, пили, ели,
Зевали днем, а ночью не имели
Ни страстных игр, ни радостей живых...

Что скажешь ты? Тиран несправедливый,
Еврейский бог, угрюмый и ревнивый,
Адамову подругу полюбя,
Ее хранил для самого себя...
Какая честь и что за наслажденье!
На небесах как будто в заточенье,
У ног его молися да молись,
Хвали его, красе его дивись,
Взглянуть не смей украдкой на другого,
С архангелом тихонько молвить слово;
Вот жребий той, которую творец
Себе возьмет в подруги наконец.
И что ж потом? За скуку, за мученье,
Награда вся дьячков осиплых пенье,
Свечи, старух докучная мольба,
Да чад кадил, да образ под алмазом,
Написанный каким-то богомазом...
Как весело! Завидная судьба!

Мне стало жаль моей прелестной Евы;
Решился я, создателю назло,
Разрушить сон и юноши и девы.
Ты слышала, как все произошло?
Два яблока, вися на ветке дивной
(Счастливый знак, любви симво́л призывный),
Открыли ей неясную мечту,
Проснулося неясное желанье:
Она свою познала красоту,
И негу чувств, и сердца трепетанье,
И юного супруга наготу!
Я видел их! любви — моей науки —
Прекрасное начало видел я.
В глухой лесок ушла чета моя...
Там быстро их блуждали взгляды, руки...
Меж милых ног супруги молодой,
Заботливый, неловкий и немой,
Адам искал восторгов упоенья,
Неистовым исполненный огнем,
Он вопрошал источник наслажденья
И, закипев душой, терялся в нем...
И, не страшась божественного гнева,
Вся в пламени, власы раскинув, Ева,
Едва, едва устами шевеля,
Лобзанием Адаму отвечала,

В слезах любви, в бесчувствии лежала
Под сенью пальм,— и юная земля
Любовников цветами покрывала.

Блаженный день! Увенчанный супруг
Жену ласкал с утра до темной ночи,
Во тьме ночной смыкал он редко очи,
Как их тогда украшен был досуг!
Ты знаешь: бог, утехи прерывая,
Чету мою лишил навеки рая.
Он их изгнал из милой стороны,
Где без трудов они так долго жили
И дни свои невинно проводили
В объятиях ленивой тишины.
Но им открыл я тайну сладострастья
И младости веселые права,
Томленье чувств, восторги, слезы счастья,
И поцелуй, и нежные слова.
Скажи теперь: ужели я предатель?
Ужель Адам несчастлив от меня?
Не думаю! но знаю только я,
Что с Евою остался я приятель».

Умолкнул бес. Мария в тишине
Коварному внимала сатане.
«Что ж? — думала,— быть может, прав лукавый;
Слыхала я: ни почестьми, ни славой,
Ни золотом блаженства не купить;
Слыхала я, что надобно любить...
Любить! Но как, зачем и что такое?..»
А между тем вниманье молодое
Ловило все в рассказе сатаны:
И действия, и странные причины,
И смелый слог, и вольные картины...
(Охотники мы все до новизны.)
Час от часу неясное начало
Опасных дум казалось ей ясней,
И вдруг змии как будто не бывало —
И новое явленье перед ней:
Мария зрит красавца молодого
У ног ее. Не говоря ни слова,
К ней устремив чудесный блеск очей,
Чего-то он красноречиво просит,
Одной рукой цветочек ей подносит,

Другая мнет простое полотно
И крадется под ризы торопливо,
И легкий перст касается игриво
До милых тайн... Все для Марии диво,
Все кажется ей ново, мудрено.
А между тем румянец нестыдливый
На девственных ланитах заиграл —
И томный жар и вздох нетерпеливый
Младую грудь Марии подымал.
Она молчит; но вдруг не стало мочи,
Едва дыша, закрыла томны очи,
К лукавому склонив на грудь главу,
Вскричала: ах!.. и пала на траву...

О милый друг! кому я посвятил
Мой первый сон надежды и желанья,
Красавица, которой был я мил,
Простишь ли мне мои воспоминанья,
Мои грехи, забавы юных дней,
Те вечера, когда в семье твоей,
При матери докучливой и строгой
Тебя томил я тайною тревогой
И просветил невинные красы?
Я научил послушливую руку
Обманывать печальную разлуку
И услаждать безмолвные часы,
Бессонницы девическую муку.
Но молодость утрачена твоя,
От бледных уст улыбка отлетела,
Твоя краса во цвете помертвела...
Простишь ли мне, о милая моя?

Отец греха, Марии враг лукавый,
Ты был и здесь пред нею виноват;
Ее тебе приятен был разврат,
И ты успел преступною забавой
Всевышнего супругу просветить
И дерзостью невинность изумить.
Гордись, гордись своей проклятой славой!
Спеши ловить... но близок, близок час!
Вот меркнет день, заката луч угас.
Все тихо. Вдруг над девой утомленной,
Шумя, парит архангел окриленный,—
Посол любви, блестящий сын небес.

От ужаса при виде Гавриила
Красавица лицо свое закрыла...
Пред ним восстал, смутился мрачный бес
И говорит: «Счастливец горделивый,
Кто звал тебя? Зачем оставил ты
Небесный двор, эфира высоты?
Зачем мешать утехе молчаливой,
Занятиям чувствительной четы?»
Но Гавриил, нахмуря взгляд ревнивый,
Рек на вопрос и дерзкий и шутливый:
«Безумный враг небесной красоты,
Повеса злой, изгнанник безнадежный,

Ты соблазнил красу Марии нежной
И смеешь мне вопросы задавать!
Беги сейчас, бесстыдник, раб мятежный,
Иль я тебя заставлю трепетать!»
«Не трепетал от ваших я придворных,
Всевышнего прислужников покорных,
От сводников небесного царя!» —
Проклятый рек и, злобою горя,
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы,
Архангела ударил прямо в зубы.
Раздался крик, шатнулся Гавриил
И левое колено преклонил;
Но вдруг восстал, исполнен новым жаром,
И сатану нечаянным ударом
Хватил в висок. Бес ахнул, побледнел —
И кинулись в объятия друг другу.
Ни Гавриил, ни бес не одолел.
Сплетенные, кружась идут по лугу,
На вражью грудь опершись бородой,
Соединив крест-накрест ноги, руки,
То силою, то хитростью науки
Хотят увлечь друг друга за собой.

Не правда ли? вы помните то поле,
Друзья мои, где в прежни дни, весной,
Оставя класс, играли мы на воле
И тешились отважною борьбой.
Усталые, забыв и брань и речи,
Так ангелы боролись меж собой.
Подземный царь, буян широкоплечий,
Вотще кряхтел с увертливым врагом,

И, наконец, желая кончить разом,
С архангела пернатый сбил шелом,
Златой шелом, украшенный алмазом.
Схватив врага за мягкие власы,
Он сзади гнет могучею рукою
К сырой земле. Мария пред собою
Архангела зрит юные красы
И за него в безмолвии трепещет.
Уж ломит бес, уж ад в восторге плещет;
Но, к счастию, проворный Гавриил
Впился ему в то место роковое
(Излишнее почти во всяком бое),
В надменный член, которым бес грешил.
Лукавый пал, пощады запросил
И в темный ад едва нашел дорогу.

На дивный бой, на страшную тревогу
Красавица глядела чуть дыша;
Когда же к ней, свой подвиг соверша,
Приветливо архангел обратился,
Огонь любви в лице ее разлился
И нежностью исполнилась душа.
Ах, как была еврейка хороша!..

Посол краснел и чувствия чужие
Так изъяснял в божественных словах:
«О радуйся, невинная Мария!
Любовь с тобой, прекрасна ты в женах;
Стократ блажен твой плод благословенный:
Спасет он мир и ниспровергнет ад...
Но признаюсь душою откровенной,
Отец его блаженнее стократ!»
И перед ней коленопреклоненный,
Он между тем ей нежно руку жал...
Потупя взор, прекрасная вздыхала,
И Гавриил ее поцеловал.
Смутясь, она краснела и молчала;
Ее груди дерзнул коснуться он...
«Оставь меня!» — Мария прошептала,
И в тот же миг лобзаньем заглушен
Невинности последний крик и стон...

Что делать ей? Что скажет бог ревнивый?
Не сетуйте, красавицы мои,
О женщины, наперсницы любви,

Умеете вы хитростью счастливой
Обманывать вниманье жениха
И знатоков внимательные взоры
И на следы приятного греха
Невинности набрасывать уборы...
От матери проказливая дочь
Берет урок стыдливости покорной
И мнимых мук и с робостью притворной
Играет роль в решительную ночь;
И поутру, оправясь понемногу,
Встает бледна, чуть ходит, так томна.
В восторге муж, мать шепчет: слава богу!
А старый друг стучится у окна.

Уж Гавриил с известием приятным
По небесам летит путем обратным.
Наперсника нетерпеливый бог
Приветствием встречает благодатным:
«Что нового?» — Я сделал все, что мог,
Я ей открыл.— «Ну что ж она?» — Готова! –
И царь небес, не говоря ни слова,
С престола встал и манием бровей
Всех удалил, как древле бог Гомера,
Когда смирял бесчисленных детей;
Но Греции навек угасла вера,
Зевеса нет, мы сделались умней!

Упоена живым воспоминаньем,
В своем углу Мария в тишине
Покоилась на смятой простыне.
Душа горит и негой и желаньем,
Младую грудь волнует новый жар.
Она зовет тихонько Гавриила,
Его любви готовя тайный дар,
Ночной покров ногою отдалила,
Довольный взор с улыбкою склонила,
И, счастлива в прелестной наготе,
Сама своей дивится красоте.
И между тем в задумчивости нежной
Она грешит, прелестна и томна,
И чашу пьет отрады безмятежной.
Смеешься ты, лукавый сатана!
И что же? вдруг мохнатый, белокрылый
В ее окно влетает голубь милый,

Над нею он порхает и кружит,
И пробует веселые напевы,
И вдруг летит в колени милой девы.
Над розою садится и дрожит,
Клюет ее, копышется, вертится,
И носиком и ножками трудится.
Он, точно, он! — Мария поняла,
Что в голубе другого угощала;
Колени сжав, еврейка закричала,
Вздыхать, дрожать, молиться начала,
Заплакала, но голубь торжествует,
В жару любви трепещет и воркует,
И падает, объятый легким сном,
Приосеня цветок любви крылом.

Он улетел. Усталая Мария
Подумала: «Вот шалости какие!
Один, два, три! — как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу».

Всевышний бог, как водится, потом
Признал своим еврейской девы сына,
Но Гавриил (завидная судьбина!)
Не преставал являться ей тайком;
Как многие, Иосиф был утешен,
Он пред женой по-прежнему безгрешен,
Христа любил как сына своего,
За то господь и наградил его.

Аминь, аминь! Чем кончу я рассказы?
Навек забыв старинные проказы,
Я пел тебя, крылатый Гавриил,
Смиренных струн тебе я посвятил
Усердное, спасительное пенье.
Храни меня, внемли мое моленье!
Досель я был еретиком в любви,
Младых богинь безумный обожатель,
Друг демона, повеса и предатель...
Раскаянье мое благослови!
Приемлю я памеренья благие,
Переменюсь: Елену видел я;
Она мила, как нежная Мария,
Подвластна ей навек душа моя.

Моим речам придай очарованье,
Понравиться поведай тайну мне,
В ее груди зажги любви желанье,
Не то пойду молиться сатане!
Но дни бегут, и время сединою
Мою главу тишком посеребрит,
И важный брак с любезною женою
Пред алтарем меня соединит.
Иосифа прекраспый утешитель!
Молю тебя, колена преклоня,
О рогачей заступник и хранитель,
Молю — тогда благослови меня,
Даруй ты мне блаженное терпенье,
Молю тебя, пошли мне вновь и вновь
Спокойный сон, в супруге уверенье,
В семействе мир и к ближнему любовь.

<1821>

БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вкруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, паречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!
Здесь цель одна для всех сердец —
Живут без власти, без закона.
Меж ними зрится и беглец
С брегов воинственного Дона,
И в черных локонах еврей,
И дикие сыны степей,
Калмык, башкирец безобразный,
И рыжий финн, и с ленью праздной
Везде кочующий цыган!
Опасность, кровь, разврат, обман —
Суть узы страшного семейства;
Тот их, кто с каменной душой
Прошел все степени злодейства;

Кто режет хладною рукой
Вдовицу с бедной сиротой,
Кому смешно детей стенанье,
Кто не прощает, не щадит,
Кого убийство веселит,
Как юношу любви свиданье.

Затихло все, теперь луна
Свой бледный свет на них наводит,
И чарка пенного вина
Из рук в другие переходит.
Простерты на земле сырой,
Иные чутко засыпают,—
И сны зловещие летают
Над их преступной головой.
Другим рассказы сокращают
Угрюмой ночи праздный час;
Умолкли все — их занимает
Пришельца нового рассказ,
И все вокруг его внимает:

«Нас было двое: брат и я.
Росли мы вместе; нашу младость
Вскормила чуждая семья:
Нам, детям, жизнь была не в радость;
Уже мы знали нужды глас,
Сносили горькое презренье,
И рано волновало нас
Жестокой зависти мученье.
Не оставалось у сирот
Ни бедной хижинки, ни поля;
Мы жили в горе, средь забот,
Наскучила нам эта доля,
И согласились меж собой
Мы жребий испытать иной:
В товарищи себе мы взяли
Булатный нож да темну ночь;
Забыли робость и печали,
А совесть отогнали прочь.

Ах, юность, юность удалая!
Житье в то время было нам,
Когда, погибель презирая,
Мы все делили пополам.

Бывало, только месяц ясный
Взойдет и станет средь небес,
Из подземелия мы в лес
Идем на промысел опасный.
За деревом сидим и ждем:
Идет ли позднею дорогой
Богатый жид иль поп убогой,—
Все паше! все себе берем.
Зимой, бывало, в ночь глухую
Заложим тройку удалую,
Поем и свищем и стрелой
Летим над снежной глубиной.
Кто не боялся нашей встречи?
Завидели в харчевне свечи —
Туда! к воротам, и стучим,
Хозяйку громко вызываем,
Вошли — все даром: пьем, едим
И красных девушек ласкаем!

И что ж? попались молодцы;
Не долго братья пировали;
Поймали нас — и кузнецы
Нас друг ко другу приковали,
И стража отвела в острог.

Я старший был пятью годами
И вынесть больше брата мог.
В цепях, за душными стенами
Я уцелел — он изнемог.
С трудом дыша, томим тоскою,
В забвенье, жаркой головою
Склоняясь к моему плечу,
Он умирал, твердя всечасно:
«Мне душно здесь... я в лес хочу...
Воды, воды!..» — но я напрасно
Страдальцу воду подавал:
Он снова жаждою томился,
И градом пот по нем катился.
В нем кровь и мысли волновал
Жар ядовитого недуга;
Уж он меня не узнавал
И поминутно призывал
К себе товарища и друга.

Он говорил: «Где скрылся ты?
Куда свой тайный путь направил?
Зачем мой брат меня оставил
Средь этой смрадной темноты?
Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес сманил,
И ночью там, могущ и страшен,
Убийству первый научил?
Теперь он без меня на воле
Один гуляет в чистом поле,
Тяжелым машет кистенем
И позабыл в завидной доле
Он о товарище своем!..»
То снова разгорались в нем
Докучной совести мученья:
Пред ним толпились привиденья,
Грозя перстом издалека.
Всех чаще образ старика,
Давно зарезанного нами,
Ему на мысли приходил;
Больной, зажав глаза руками,
За старца так меня молил:
«Брат! сжалься над его слезами!
Не режь его на старость лет...
Мне дряхлый крик его ужасен...
Пусти его — он не опасен;
В нем крови капли теплой нет...
Не смейся, брат, над сединами,
Не мучь его... авось мольбами
Смягчит за нас он божий гнев!..»
Я слушал, ужас одолев;
Хотел унять больного слезы
И удалить пустые грезы.
Он видел пляски мертвецов,
В тюрьму пришедших из лесов,
То слышал их ужасный шепот,
То вдруг погони близкий топот,
И дико взгляд его сверкал,
Стояли волосы горою,
И весь как лист он трепетал.
То мнил уж видеть пред собою
На площадях толпы людей,
И страшный ход до места казни,
И кнут, и грозных палачей...

Без чувств, исполненный боязни,
Брат упадал ко мне на грудь.
Так проводил я дни и ночи,
Не мог минуты отдохнуть,
И сна не знали наши очи.

Но молодость свое взяла:
Вновь силы брата возвратились,
Болезнь ужасная прошла,
И с нею грезы удалились.
Воскресли мы. Тогда сильней
Взяла тоска по прежней доле;
Душа рвалась к лесам и к воле,
Алкала воздуха полей.
Нам тошен был и мрак темницы,
И сквозь решетки свет денницы,
И стражи клик, и звон цепей,
И легкий шум залетной птицы.

По улицам однажды мы,
В цепях, для городской тюрьмы
Сбирали вместе подаянье,
И согласились в тишине
Исполнить давнее желанье;
Река шумела в стороне,
Мы к ней — и с берегов высоких
Бух! поплыли в водах глубоких.
Цепями общими гремим,
Бьем волны дружными ногами,
Песчаный видим островок
И, рассекая быстрый ток,
Туда стремимся. Вслед за нами
Кричат: «Лови! лови! уйдут!»
Два стража издали плывут,
Но уж на остров мы ступаем,
Оковы камнем разбиваем,
Друг с друга рвем клочки одежд.
Отягощенные водою...
Погоню видим за собою;
Но смело, полные надежд,
Сидим и ждем. Один уж тонет,
То захлебнется, то застонет
И как свинец пошел ко дну.

Другой проплыл уж глубину,
С ружьем в руках, он вброд упрямо,
Не внемля крику моему,
Идет, но в голову ему
Два камня полетели прямо —
И хлынула на волны кровь;
Он утонул — мы в воду вновь,
За нами гнаться не посмели,
Мы берегов достичь успели
И в лес ушли. Но бедный брат...
И труд и волн осенний хлад
Недавних сил его лишили:
Опять недуг его сломил,
И злые грезы посетили.
Три дня больной не говорил
И не смыкал очей дремотой;
В четвертый грустною заботой,
Казалось, он исполнен был;
Позвал меня, пожал мне руку,
Потухший взор изобразил
Одолевающую муку;
Рука задрогла, он вздохнул
И на груди моей уснул.

Над хладным телом я остался,
Три ночи с ним не расставался,
Все ждал, очнется ли мертвец?
И горько плакал. Наконец
Взял заступ; грешную молитву
Над братней ямой совершил
И тело в землю схоронил...
Потом на прежнюю ловитву
Пошел один... Но прежних лет
Уж не дождусь: их нет как нет!
Пиры, веселые ночлеги
И наши буйные набеги —
Могила брата все взяла.
Влачусь угрюмый, одинокий,
Окаменел мой дух жестокий,
И в сердце жалость умерла.
Но иногда щажу морщины:
Мне страшно резать старика;
На беззащитные седины
Не подымается рука.

Я помню, как в тюрьме жестокой
Больной, в цепях, лишенный сил,
Без памяти, в тоске глубокой
За старца брат меня молил».

<1822>

БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН

Многие, так же как и я,
посещали сей фонтан; но
иных уже нет, другие
странствуют далече.

Сади

Гирей сидел, потупя взор;
Янтарь в устах его дымился;
Безмолвно раболепный двор
Вкруг хана грозного теснился.
Все было тихо во дворце;
Благоговея, все читали
Приметы гнева и печали
На сумрачном его лице.
Но повелитель горделивый
Махнул рукой нетерпеливой:
И все, склонившись, идут вон.

Один в своих чертогах он;
Свободней грудь его вздыхает,
Живее строгое чело
Волненье сердца выражает.
Так бурны тучи отражает
Залива зыбкое стекло.

Что движет гордою душою?
Какою мыслью занят он?
На Русь ли вновь идет войною,
Несет ли Польше свой закон,
Горит ли местию кровавой,
Открыл ли в войске заговор,
Страшится ли народов гор,
Иль козней Генуи лукавой?

Нет, он скучает бранной славой,
Устала грозная рука;
Война от мыслей далека.

Ужель в его гарем измена
Стезей преступною вошла,
И дочь неволи, нег и плена
Гяуру сердце отдала?

Нет, жены робкие Гирея,
Ни думать, ни желать не смея,
Цветут в унылой тишине;
Под стражей бдительной и хладной
На лоне скуки безотрадной
Измен не ведают оне.
В тени хранительной темницы
Утаены их красоты:
Так аравийские цветы
Живут за стеклами теплицы.
Для них унылой чередой
Дни, месяцы, лета проходят
И неприметно за собой
И младость и любовь уводят.
Однообразен каждый день,
И медленно часов теченье.
В гареме жизнью правит лень;
Мелькает редко наслажденье.
Младые жены, как-нибудь
Желая сердце обмануть,
Меняют пышные уборы,
Заводят игры, разговоры,
Или при шуме вод живых,
Над их прозрачными струями
В прохладе яворов густых
Гуляют легкими роями.
Меж ними ходит злой эвнух,
И убегать его напрасно:
Его ревнивый взор и слух
За всеми следует всечасно.
Его стараньем заведен
Порядок вечный. Воля хана
Ему единственный закон;
Святую заповедь Корана
Не строже наблюдает он.

«Кавказский пленник».
Гравюра С. Галактионова с оригинала И. Иванова.
Илл. из альманаха «Полярная звезда на 1824 год».

Его душа любви не просит;
Как истукан, он переносит
Насмешки, ненависть, укор,
Обиды шалости нескромной,
Презренье, просьбы, робкий взор,
И тихий вздох, и ропот тòмный.
Ему известен женский нрав;
Он испытал, сколь он лукав
И на свободе и в неволе:
Взор нежный, слез упрек немой
Не властны над его душой;
Он им уже не верит боле.

Раскинув легкие власы,
Как идут пленницы младые
Купаться в жаркие часы,
И льются волны ключевые
На их волшебные красы,
Забав их сторож неотлучный,
Он тут; он видит, равнодушный,
Прелестниц обнаженный рой;
Он по гарему в тьме ночной
Неслышными шагами бродит;
Ступая тихо по коврам,
К послушным крадется дверям,
От ложа к ложу переходит;
В заботе вечной, ханских жен
Роскошный наблюдает сон,
Ночной подслушивает лепет;
Дыханье, вздох, малейший трепет —
Все жадно примечает он;
И горе той, чей шепот сонный
Чужое имя призывал
Или подруге благосклонной
Порочны мысли доверял!

Что ж полон грусти ум Гирея?
Чубук в руках его потух;
Недвижим и дохнуть не смея,
У двери знака ждет эвнух.
Встает задумчивый властитель;
Пред ним дверь настежь. Молча он
Идет в заветную обитель
Еще недавно милых жен.

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана
На шелковых коврах оне
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.
Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный
И песнью звонкой и приятной
Вдруг огласили весь гарем:

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ

1

«Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.

2

Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.

3

Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя».

Они поют. Но где Зарема,
Звезда любви, краса гарема?
Увы, печальна и бледна,
Похвал не слушает она.
Как пальма, смятая грозою,
Поникла юной головою;
Ничто, ничто не мило ей:
Зарему разлюбил Гирей.

Он изменил!.. Но кто с тобою,
Грузинка, равен красотою?
Вокруг лилейного чела
Ты косу дважды обвила;
Твои пленительные очи
Яспее дня, чернее ночи;
Чей голос выразит сильней
Порывы пламенных желаний?
Чей страстный поцелуй живей
Твоих язвительных лобзаний?
Как сердце, полное тобой,
Забьется для красы чужой?
Но, равнодушный и жестокий,
Гирей презрел твои красы
И ночи хладные часы
Проводит мрачный, одинокий
С тех пор, как польская княжна
В его гарем заключена.

Недавно юная Мария
Узрела небеса чужие;
Недавно милою красой
Она цвела в стране родной.
Седой отец гордился ею
И звал отрадою своею.
Для старика была закон
Ее младенческая воля.
Одну заботу ведал он:
Чтоб дочери любимой доля
Была, как вешний день, ясна,
Чтоб и минутные печали
Ее души не помрачали,
Чтоб даже замужем она
Воспоминала с умиленьем
Девичье время, дни забав,
Мелькнувших легким сновиденьем.
Все в ней пленяло: тихий нрав,
Движенья стройные, живые
И очи томно-голубые.
Природы милые дары
Она искусством украшала;
Она домашние пиры
Волшебной арфой оживляла;

Толпы вельмож и богачей
Руки Мариной искали,
И много юношей по ней
В страданье тайном изнывали.
Но в тишине души своей
Она любви еще не знала
И независимый досуг
В отцовском замке меж подруг
Одним забавам посвящала.

Давно ль? И что же! Тьмы татар
На Польшу хлынули рекою:
Не с столь ужасной быстротою
По жатве стелется пожар.
Обезображенный войною,
Цветущий край осиротел;
Исчезли мирные забавы;
Уныли селы и дубравы,
И пышный замок опустел.
Тиха Мариина светлица...
В домовой церкви, где кругом
Почиют мощи хладным сном,
С короной, с княжеским гербом
Воздвиглась новая гробница...
Отец в могиле, дочь в плену,
Скупой наследник в замке правит
И тягостным ярмом бесславит
Опустошенную страну.

Увы! Дворец Бахчисарая
Скрывает юную княжну.
В неволе тихой увядая,
Мария плачет и грустит.
Гирей несчастную щадит:
Ее унынье, слезы, стоны
Тревожат хана краткий сон,
И для нее смягчает он
Гарема строгие законы.
Угрюмый сторож ханских жен
Ни днем, ни ночью к ней не входит;
Рукой заботливой не он
На ложе сна ее возводит;
Не смеет устремиться к ней
Обидный взор его очей;

Она в купальне потаенной
Одна с невольницей своей;
Сам хан боится девы пленной
Печальный возмущать покой;
Гарема в дальнем отделенье
Позволено ей жить одной:
И, мнится, в том уединенье
Сокрылся некто неземной.
Там день и ночь горит лампада
Пред ликом девы пресвятой;
Души тоскующей отрада,
Там упованье в тишине
С смиренной верой обитает,
И сердцу все напоминает
О близкой, лучшей стороне;
Там дева слезы проливает
Вдали завистливых подруг;
И между тем, как всё вокруг
В безумной неге утопает,
Святыню строгую скрывает
Спасенный чудом уголок.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...
. . . . . .
. . . . . .

Настала ночь; покрылись тенью
Тавриды сладостной поля;
Вдали, под тихой лавров сенью
Я слышу пенье соловья;
За хором звезд луна восходит;
Она с безоблачных небес
На долы, на холмы, на лес
Сиянье томное наводит.
Покрыты белой пеленой,
Как тени легкие мелькая,
По улицам Бахчисарая,
Из дома в дом, одна к другой,
Простых татар спешат супруги
Делить вечерние досуги.
Дворец утих; уснул гарем,
Объятый негой безмятежной;

Не прерывается ничем
Спокойство ночи. Страж надежный,
Дозором обошел эвнух.
Теперь он спит; но страх прилежный
Тревожит в нем и спящий дух.
Измен всечасных ожиданье
Покоя не дает уму.
То чей-то шорох, то шептанье,
То крики чудятся ему;
Обманутый неверным слухом,
Он пробуждается, дрожит,
Напуганным приникнув ухом...
Но все кругом его молчит;
Одни фонтаны сладкозвучны
Из мраморной темницы бьют,
И, с милой розой неразлучны,
Во мраке соловьи поют;
Эвнух еще им долго внемлет,
И снова сон его объемлет.

Как милы темные красы
Ночей роскошного Востока!
Как сладко льются их часы
Для обожателей Пророка!
Какая нега в их домах,
В очаровательных садах,
В тиши гаремов безопасных,
Где под влиянием луны
Все полно тайн и тишины
И вдохновений сладострастных!
. . . . . .

Все жены спят. Не спит одна.
Едва дыша, встает она;
Идет; рукою торопливой
Открыла дверь; во тьме почной
Ступает легкою ногой...
В дремоте чуткой и пугливой
Пред ней лежит эвнух седой.
Ах, сердце в нем неумолимо:
Обманчив сна его покой!..
Как дух, она проходит мимо.
. . . . . .

Пред нею дверь; с недоуменьем
Ее дрожащая рука
Коснулась верного замка...
Вошла, взирает с изумленьем...
И тайный страх в нее проник.
Лампады свет уединенный,
Кивот, печально озаренный,
Пречистой девы кроткий лик
И крест, любви символ священный,
Грузинка! все в душе твоей
Родное что-то пробудило,
Все звуками забытых дней
Невнятно вдруг заговорило.
Пред ней покоилась княжна,
И жаром девственного сна
Ее ланиты оживлялись
И, слез являя свежий след,
Улыбкой томной озарялись.
Так озаряет лунный свет
Дождем отягощенный цвет.
Спорхнувший с неба сын эдема,
Казалось, ангел почивал
И сонный слезы проливал
О бедной пленнице гарема...
Увы, Зарема, что с тобой?
Стеснилась грудь ее тоской,
Невольно клонятся колени,
И молит: «Сжалься надо мной,
Не отвергай моих молений!..»
Ее слова, движенье, стон
Прервали девы тихий сон.
Княжна со страхом пред собою
Младую незнакомку зрит;
В смятенье, трепетной рукою
Ее подъемля, говорит:
«Кто ты?.. Одна, порой ночною,—
Зачем ты здесь?» — «Я шла к тебе,
Спаси меня; в моей судьбе
Одна надежда мне осталась...
Я долго счастьем наслаждалась,
Была беспечней день от дня...
И тень блаженства миновалась;
Я гибну. Выслушай меня.

Родилась я не здесь, далеко,
Далеко... но минувших дней
Предметы в памяти моей
Доныне врезаны глубоко.
Я помню горы в небесах,
Потоки жаркие в горах,
Непроходимые дубравы,
Другой закон, другие нравы;
Но почему, какой судьбой
Я край оставила родной,
Не знаю; помню только море
И человека в вышине
Над парусами...
Страх и горе
Доныне чужды были мне;
Я в безмятежной тишине
В тени гарема расцветала
И первых опытов любви
Послушным сердцем ожидала.
Желанья тайные мои
Сбылись. Гирей для мирной неги
Войну кровавую презрел,
Пресек ужасные набеги
И свой гарем опять узрел.
Пред хана в смутном ожиданье
Предстали мы. Он светлый взор
Остановил на мне в молчанье,
Позвал меня... и с этих пор
Мы в беспрерывном упоенье
Дышали счастьем; и ни раз
Ни клевета, ни подозренье,
Ни злобной ревности мученье,
Ни скука не смущала нас.
Мария! ты пред ним явилась...
Увы, с тех пор его душа
Преступной думой омрачилась!
Гирей, изменою дыша,
Моих не слушает укоров,
Ему докучен сердца стон;
Ни прежних чувств, ни разговоров
Со мною не находит он.
Ты преступленью не причастна;
Я знаю: не твоя вина...
Итак, послушай: я прекрасна;

Во всем гареме ты одна
Могла б еще мне быть опасна;
Но я для страсти рождена,
Но ты любить, как я, не можешь;
Зачем же хладной красотой
Ты сердце слабое тревожишь?
Оставь Гирея мне: он мой;
На мне горят его лобзанья,
Он клятвы страшные мне дал,
Давно все думы, все желанья
Гирей с моими сочетал;
Меня убьет его измена...
Я плачу; видишь, я колена
Теперь склоняю пред тобой,
Молю, винить тебя не смея,
Отдай мне радость и покой,
Отдай мне прежнего Гирея.
Не возражай мне ничего;
Он мой! он ослеплен тобою.
Презреньем, просьбою, тоскою,
Чем хочешь, отврати его;
Клянись... (хоть я для Алкорана,
Между невольницами хана,
Забыла веру прежних дней;
Но вера матери моей
Была твоя) клянись мне ею
Зарему возвратить Гирею...
Но слушай: если я должна
Тебе... кинжалом я владею,
Я близ Кавказа рождена».

Сказав, исчезла вдруг. За нею
Не смеет следовать княжна.
Невинной деве непонятен
Язык мучительных страстей,
Но голос их ей смутно внятен;
Он странен, он ужасен ей.
Какие слезы и моленья
Ее спасут от посрамленья?
Что ждет ее? Ужели ей
Остаток горьких юных дней
Провесть наложницей презренной?
О боже! если бы Гирей
В ее темнице отдаленной

Забыл несчастную навек
Или кончиной ускоренной
Унылы дни ее пресек,—
С какою б радостью Мария
Оставила печальный свет!
Мгновенья жизни дорогие
Давно прошли, давно их нет!
Что делать ей в пустыне мира?
Уж ей пора, Марию ждут
И в небеса, на лоно мира,
Родной улыбкою зовут.
. . . . . .

Промчались дни; Марии нет.
Мгновенно сирота почила.
Она давно желанный свет,
Как новый ангел, озарила.
Но что же в гроб ее свело?
Тоска ль неволи безнадежной,
Болезнь или другое зло?..
Кто знает? Нет Марии нежной!..
Дворец угрюмый опустел;
Его Гирей опять оставил;
С толпой татар в чужой предел
Он злой набег опять направил;
Он снова в бурях боевых
Несется мрачный, кровожадный:
Но в сердце хана чувств иных
Таится пламень безотрадный.
Он часто в сечах роковых
Подъемлет саблю, и с размаха
Недвижим остается вдруг,
Глядит с безумием вокруг,
Бледнеет, будто полный страха,
И что-то шепчет, и порой
Горючи слезы льет рекой.

Забытый, преданный презренью,
Гарем не зрит его лица;
Там, обреченные мученью,
Под стражей хладного скопца
Стареют жены. Между ними
Давно грузинки нет; она

Гарема стражами немыми
В пучину вод опущена.
В ту ночь, как умерла княжна,
Свершилось и ее страданье.
Какая б ни была вина,
Ужасно было наказанье!

Опустошив огнем войны
Кавказу близкие страны
И селы мирные России,
В Тавриду возвратился хан
И в память горестной Марии
Воздвигнул мраморный фонтан,
В углу дворца уединенный.
Над ним крестом осенена
Магометанская луна
(Символ, конечно, дерзновенный,
Незнанья жалкая вина).
Есть надпись: едкими годами
Еще не сгладилась она.
За чуждыми ее чертами
Журчит во мраморе вода
И каплет хладными слезами,
Не умолкая никогда.
Так плачет мать во дни печали
О сыне, падшем на войне.
Младые девы в той стране
Преданье старины узнали,
И мрачный памятник оне
Фонтаном слез именовали.

Покинув север наконец,
Пиры надолго забывая,
Я посетил Бахчисарая
В забвенье дремлющий дворец.
Среди безмолвных переходов
Бродил я там, где, бич народов,
Татарин буйный пировал
И после ужасов набега
В роскошной лени утопал.
Еще поныне дышит нега
В пустых покоях и садах;
Играют воды, рдеют розы,
И вьются виноградны лозы,

И злато блещет на стенах.
Я видел ветхие решетки,
За коими, в своей весне,
Янтарны разбирая четки,
Вздыхали жены в тишине.
Я видел ханское кладбище,
Владык последнее жилище.
Сии надгробные столбы,
Венчанны мраморной чалмою,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою.
Где скрылись ханы? Где гарем?
Кругом все тихо, все уныло,
Все изменилось... но не тем
В то время сердце полно было:
Дыханье роз, фонтанов шум
Влекли к невольному забвенью,
Невольно предавался ум
Неизъяснимому волненью,
И по дворцу летучей тенью
Мелькала дева предо мной!..
. . . . . .
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема
Носилась, ревностью дыша,
Средь опустелого гарема?

Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят,
Об ней в изгнании тоскую...
Безумец! полно! перестань,
Не оживляй тоски напрасной,
Мятежным снам любви несчастной
Заплачена тобою дань —
Опомнись; долго ль, узник томный,
Тебе оковы лобызать
И в свете лирою нескромной
Свое безумство разглашать?

Поклонник муз, поклонник мира,
Забыв и славу и любовь,
О, скоро вас увижу вновь,
Брега веселые Салгира!
Приду на склон приморских гор,
Воспоминаний тайных полный,—
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада...
Все чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага...

1823

ЦЫГАНЫ

Цыганы шумною толпой
По Бессарабии кочуют.
Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют.
Как вольность, весел их ночлег
И мирный сон под небесами;
Между колесами телег,
Полузавешанных коврами,
Горит огонь; семья кругом
Готовит ужин; в чистом поле
Пасутся кони; за шатром
Ручной медведь лежит на воле.
Все живо посреди степей:
Заботы мирные семей,
Готовых с утром в путь недальний,
И песни жен, и крик детей,
И звон походной наковальни.

Но вот на табор кочевой
Нисходит сонное молчанье,
И слышно в тишине степной
Лишь лай собак да коней ржанье.
Огни везде погашены,
Спокойно все, луна сияет
Одна с небесной вышины
И тихий табор озаряет.
В шатре одном старик не спит;
Он перед углями сидит,
Согретый их последним жаром,
И в поле дальнее глядит,
Ночным подернутое паром.
Его молоденькая дочь
Пошла гулять в пустынном поле.
Она привыкла к резвой воле,
Она придет; но вот уж ночь,
И скоро месяц уж покинет
Небес далеких облака,—
Земфиры нет как нет; и стынет
Убогий ужин старика.

Но вот она. За нею следом
По степи юноша спешит;
Цыгану вовсе он неведом.
«Отец мой,— дева говорит,—
Веду я гостя; за курганом
Его в пустыне я пашла
И в табор на́ ночь зазвала.
Он хочет быть как мы цыганом;
Его преследует закон,
Но я ему подругой буду.
Его зовут Алеко — он
Готов идти за мною всюду».

Старик

Я рад. Останься до утра
Под сенью нашего шатра
Или пробудь у нас и доле,
Как ты захочешь. Я готов
С тобой делить и хлеб и кров.
Будь наш — привыкни к нашей доле,
Бродящей бедности и воле —
А завтра с утренней зарей

В одной телеге мы поедем;
Примись за промысел любой:
Железо куй иль песни пой
И селы обходи с медведем.

Алеко

Я остаюсь.

Земфира

Он будет мой:
Кто ж от меня его отгонит?
Но поздно... месяц молодой
Зашел; поля покрыты мглой,
И сон меня невольно клонит...

Светло. Старик тихонько бродит
Вокруг безмолвного шатра.
«Вставай, Земфира: солнце всходит,
Проснись, мой гость! пора, пора!..
Оставьте, дети, ложе неги!..»
И с шумом высыпал народ;
Шатры разобраны; телеги
Готовы двинуться в поход.
Все вместе тронулось — и вот
Толпа валит в пустых равнинах.
Ослы в перекидных корзинах
Детей играющих несут;
Мужья и братья, жены, девы,
И стар и млад вослед идут;
Крик, шум, цыганские припевы,
Медведя рев, его цепей
Нетерпеливое бряцанье,
Лохмотьев ярких пестрота,
Детей и старцев нагота,
Собак и лай и завыванье,
Волынки говор, скрып телег,
Все скудно, дико, все нестройно,
Но все так живо-неспокойно,
Так чуждо мертвых наших нег,
Так чуждо этой жизни праздной,
Как песнь рабов однообразной!

Уныло юноша глядел
На опустелую равнину
И грусти тайную причипу
Истолковать себе не смел.
С ним черноокая Земфира,
Теперь он вольный житель мира,
И солнце весело над ним
Полуденной красою блещет;
Что ж сердце юноши трепещет?
Какой заботой он томим?

Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда;
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда;
В долгу ночь на ветке дремлет;
Солнце красное взойдет,
Птичка гласу бога внемлет,
Встрепенется и поет.
За весной, красой природы,
Лето знойное пройдет —
И туман и непогоды
Осень поздняя несет:
Людям скучно, людям горе;
Птичка в дальные страны,
В теплый край, за сине море
Улетает до весны.

Подобно птичке беззаботной
И он, изгнанник перелетный,
Гнезда надежного не знал
И ни к чему не привыкал.
Ему везде была дорога,
Везде была ночлега сень;
Проснувшись поутру, свой день
Он отдавал на волю бога,
И жизни не могла тревога
Смутить его сердечну лень.
Его порой волшебной славы
Манила дальная звезда;
Нежданно роскошь и забавы
К нему являлись иногда;
Над одинокой головою
И гром нередко грохотал;

Но он беспечно под грозою
И в вёдро ясное дремал.
И жил, не признавая власти
Судьбы коварной и слепой;
Но боже! как играли страсти
Его послушною душой!
С каким волнением кипели
В его измученной груди!
Давно ль, надолго ль усмирели?
Они проснутся: погоди!

Земфира

Скажи, мой друг: ты не жалеешь
О том, что бросил навсегда?

Алеко

Что ж бросил я?

Земфира

Ты разумеешь:
Людей отчизны, города.

Алеко

О чем жалеть? Когда б ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душных городов!
Там люди, в кучах за оградой,
Не дышат утренней прохладой,
Ни вешним запахом лугов;
Любви стыдятся, мысли гонят,
Торгуют волею своей,
Главы пред идолами клонят
И просят денег да цепей.
Что бросил я? Измен волненье,
Предрассуждений приговор,
Толпы безумное гоненье
Или блистательный позор.

Земфира

Но там огромные палаты,
Там разноцветные ковры,
Там игры, шумные пиры,
Уборы дев там так богаты!..

Алеко

Что шум веселий городских?
Где нет любви, там нет веселий.
А девы... Как ты лучше их
И без нарядов дорогих,
Без жемчугов, без ожерелий!
Не изменись, мой нежный друг!
А я... одно мое желанье
С тобой делить любовь, досуг
И добровольное изгнанье!

Старик

Ты любишь нас, хоть и рожден
Среди богатого народа.
Но не всегда мила свобода
Тому, кто к неге приучен.
Меж нами есть одно преданье:
Царем когда-то сослан был
Полудня житель к нам в изгнанье.
(Я прежде знал, но позабыл
Его мудреное прозванье.)
Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной —
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.
И полюбили все его,
И жил он на брегах Дуная,
Не обижая никого,
Людей рассказами пленяя;
Не разумел он ничего,
И слаб и робок был, как дети;
Чужие люди за него
Зверей и рыб ловили в сети;
Как мерзла быстрая река
И зимни вихри бушевали,
Пушистой кожей покрывали
Они святого старика;
Но он к заботам жизни бедной
Привыкнуть никогда не мог;
Скитался он иссохший, бледный,
Он говорил, что гпевный бог
Его карал за преступленье...
Он ждал: придет ли избавленье.

И все несчастный тосковал,
Бродя по берегам Дуная,
Да горьки слезы проливал,
Свой дальный град воспоминая,
И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли
Не успокоенные гости!

А л е к о

Так вот судьба твоих сынов,
О Рим, о громкая держава!..
Певец любви, певец богов,
Скажи мне, что такое слава?
Могильный гул, хвалебный глас,
Из рода в роды звук бегущий?
Или под сенью дымной кущи
Цыгана дикого рассказ?

———

Прошло два лета. Так же бродят
Цыганы мирною толпой;
Везде по-прежнему находят
Гостеприимство и покой.
Презрев оковы просвещенья,
Алеко волен, как они;
Он без забот и сожаленья
Ведет кочующие дни.
Все тот же он; семья все та же;
Он, прежних лет не помня даже,
К бытью цыганскому привык.
Он любит их ночлегов сени,
И упоенье вечной лени,
И бедный, звучный их язык.
Медведь, беглец родной берлоги,
Косматый гость его шатра,
В селеньях, вдоль степной дороги,
Близ молдаванского двора
Перед толпою осторожной
И тяжко пляшет, и ревет,
И цепь докучную грызет;
На посох опершись дорожный,
Старик лениво в бубны бьет,

Алеко с пеньем зверя водит,
Земфира поселян обходит
И дань их вольную берет.
Настанет ночь; они все трое
Варят нежатое пшено;
Старик уснул — и всё в покое...
В шатре и тихо и темно.

Старик на вешнем солнце греет
Уж остывающую кровь;
У люльки дочь поет любовь.
Алеко внемлет и бледнеет.

Земфира

Старый муж, грозный муж,
Режь меня, жги меня:
Я тверда; не боюсь
Ни ножа, ни огня.

Ненавижу тебя,
Презираю тебя;
Я другого люблю,
Умираю любя.

Алеко

Молчи. Мне пенье надоело,
Я диких песен не люблю.

Земфира

Не любишь? мне какое дело!
Я песню для себя пою.

Режь меня, жги меня;
Не скажу ничего;
Старый муж, грозный муж,
Не узнаешь его.

Он свежее весны,
Жарче летнего дня;
Как он молод и смел!
Как он любит меня!

Как ласкала его
Я в ночной тишине!
Как смеялись тогда
Мы твоей седине!

Алеко

Молчи, Земфира! я доволен...

Земфира

Так понял песню ты мою?

Алеко

Земфира!

Земфира

Ты сердиться волен,
Я песню про тебя пою.
Уходит и поет: Старый муж и проч.

Старик

Так, помню, помню — песня эта
Во время наше сложена,
Уже давно в забаву света
Поется меж людей она.
Кочуя на степях Кагула,
Ее, бывало, в зимню ночь
Моя певала Мариула,
Перед огнем качая дочь.
В уме моем минувши лета
Час от часу темней, темней;
Но заронилась песня эта
Глубоко в памяти моей.

Все тихо; ночь. Луной украшен
Лазурный юга небосклон,
Старик Земфирой пробужден:
«О мой отец! Алеко страшен.
Послушай: сквозь тяжелый сон
И стонет, и рыдает он».

Старик

Не тронь его. Храни молчанье.
Слыхал я русское преданье:

Теперь полунощной порой
У спящего теснит дыханье
Домашний дух; перед зарей
Уходит он. Сиди со мной.

Земфира

Отец мой! шепчет он: Земфира!

Старик

Тебя он ищет и во сне:
Ты для него дороже мира.

Земфира

Его любовь постыла мне,
Мне скучно; сердце воли просит —
Уж я... Но тише! слышишь? он
Другое имя произносит...

Старик

Чье имя?

Земфира

Слышишь? хриплый стон
И скрежет ярый!.. Как ужасно!..
Я разбужу его...

Старик

Напрасно,
Ночного духа не гони —
Уйдет и сам...

Земфира

Он повернулся,
Привстал, зовет меня... проснулся —
Иду к нему — прощай, усни.

Алеко

Где ты была?

Земфира

С отцом сидела.
Какой-то дух тебя томил;
Во сне душа твоя терпела

Мученья; ты меня страшил:
Ты, сонный, скрежетал зубами
И звал меня.

Алеко

Мне снилась ты.
Я видел, будто между нами...
Я видел страшные мечты!

Земфира

Не верь лукавым сновиденьям.

Алеко

Ах, я не верю ничему:
Ни снам, ни сладким увереньям,
Ни даже сердцу твоему.

Старик

О чем, безумец молодой,
О чем вздыхаешь ты всечасно?
Здесь люди вольны, небо ясно,
И жены славятся красой.
Не плачь: тоска тебя погубит.

Алеко

Отец, она меня не любит.

Старик

Утешься, друг: она дитя.
Твое унынье безрассудно:
Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское — шутя.
Взгляни: под отдаленным сводом
Гуляет вольная луна;
На всю природу мимоходом
Равно сиянье льет она.
Заглянет в облако любое,
Его так пышно озарит —
И вот — уж перешла в другое;
И то недолго посетит.
Кто место в небе ей укажет,
Примолвя: там остановись!

Кто сердцу юной девы скажет:
Люби одно, не изменись?
Утешься.

Алеко

Как она любила!
Как нежно преклонясь ко мне,
Она в пустынной тишине
Часы ночные проводила!
Веселья детского полна,
Как часто милым лепетаньем
Иль упоительным лобзаньем
Мою задумчивость она
В минуту разогнать умела!..
И что ж? Земфира неверна!
Моя Земфира охладела!..

Старик

Послушай: расскажу тебе
Я повесть о самом себе.
Давно, давно, когда Дунаю
Не угрожал еще москаль —
(Вот видишь, я припоминаю,
Алеко, старую печаль.)
Тогда боялись мы султана;
А правил Буджаком паша
С высоких башен Аккермана —
Я молод был; моя душа
В то время радостно кипела;
И ни одна в кудрях моих
Еще сединка не белела,—
Между красавиц молодых
Одна была... и долго ею,
Как солнцем, любовался я,
И наконец назвал моею...

Ах, быстро молодость моя
Звездой падучею мелькнула!
Но ты, пора любви, минула
Еще быстрее: только год
Меня любила Мариула.

Однажды близ Кагульских вод
Мы чуждый табор повстречали;
Цыганы те, свои шатры

Разбив близ наших у горы,
Две ночи вместе ночевали.
Они ушли на третью ночь,—
И, брося маленькую дочь,
Ушла за ними Мариула.
Я мирно спал; заря блеснула;
Проснулся я, подруги нет!
Ищу, зову — пропал и след.
Тоскуя, плакала Земфира,
И я заплакал — с этих пор
Постыли мне все девы мира;
Меж ими никогда мой взор
Не выбирал себе подруги,
И одинокие досуги
Уже ни с кем я не делил.

Алеко

Да как же ты не поспешил
Тотчас вослед неблагодарной
И хищникам и ей коварной
Кинжала в сердце не вонзил?

Старик

К чему? вольнее птицы младость;
Кто в силах удержать любовь?
Чредою всем дается радость;
Что было, то не будет вновь.

Алеко

Я не таков. Нет, я не споря
От прав моих не откажусь!
Или хоть мщеньем наслажусь.
О нет! когда б над бездной моря
Нашел я спящего врага,
Клянусь, и тут моя нога
Не пощадила бы злодея;
Я в волны моря, не бледнея,
И беззащитного б толкнул;
Внезапный ужас пробужденья
Свирепым смехом упрекнул,
И долго мне его паденья
Смешон и сладок был бы гул.

Молодой цыган

Еще одно... одно лобзанье...

Земфира

Пора: мой муж ревнив и зол.

Цыган

Одно... но доле!.. на прощанье.

Земфира

Прощай, покамест не пришел.

Цыган

Скажи — когда ж опять свиданье?

Земфира

Сегодня, как зайдет луна,
Там, за курганом над могилой...

Цыган

Обманет! не придет она!

Земфира

Вот он! беги!.. Приду, мой милый.

Алеко спит. В его уме
Виденье смутное играет;
Он, с криком пробудясь во тьме,
Ревниво руку простирает;
Но обробелая рука
Покровы хладные хватает —
Его подруга далека...
Он с трепетом привстал и внемлет...
Все тихо — страх его объемлет,
По нем текут и жар и хлад;
Встает он, из шатра выходит,
Вокруг телег, ужасен, бродит;
Спокойно все; поля молчат;
Темно; луна зашла в туманы,
Чуть брезжит звезд неверный свет,
Чуть по росе приметный след
Ведет за дальные курганы:
Нетерпеливо он идет,
Куда зловещий след ведет.

Могила на краю дороги
Вдали белеет перед ним...
Туда слабеющие ноги
Влачит, предчувствием томим,
Дрожат уста, дрожат колени,
Идет... и вдруг... иль это сон?
Вдруг видит близкие две тени
И близкий шепот слышит он —
Над обесславленной могилой.

1-й голос

Пора...

2-й голос

Постой...

1-й голос

Пора, мой милый.

2-й голос

Нет, нет, постой, дождемся дня.

1-й голос

Уж поздно.

2-й голос

Как ты робко любишь.
Минуту!

1-й голос

Ты меня погубишь.

2-й голос

Минуту!

1-й голос

Если без меня
Проснется муж?..

Алеко

Проснулся я.
Куда вы! не спешите оба;
Вам хорошо и здесь у гроба.

Земфира

Мой друг, беги, беги...

Алеко

Постой!
Куда, красавец молодой?
Лежи!
Вонзает в него нож.

Земфира

Алеко!

Цыган

Умираю...

Земфира

Алеко, ты убьешь его!
Взгляни: ты весь обрызган кровью!
О, что ты сделал?

Алеко

Ничего.
Теперь дыши его любовью.

Земфира

Нет, полно, не боюсь тебя! —
Твои угрозы презираю,
Твое убийство проклинаю...

Алеко

Умри ж и ты!
Поражает ее.

Земфира

Умру любя...

Восток, денницей озаренный,
Сиял. Алеко за холмом,
С ножом в руках, окровавленный
Сидел на камне гробовом.

Два трупа перед ним лежали;
Убийца страшен был лицом.
Цыганы робко окружали
Его встревоженной толпой.
Могилу в стороне копали.
Шли жены скорбной чередой
И в очи мертвых целовали.
Старик-отец один сидел
И на погибшую глядел
В немом бездействии печали;
Подняли трупы, понесли
И в лоно хладное земли
Чету младую положили.
Алеко издали смотрел
На все... когда же их закрыли
Последней горстию земной,
Он молча, медленно склонился
И с камня на траву свалился.

Тогда старик, приближась, рек:
«Оставь нас, гордый человек!
Мы дики; нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним —
Не нужно крови нам и стонов —
Но жить с убийцей не хотим...
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасен нам твой будет глас:
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел — оставь же нас,
Прости, да будет мир с тобою».

Сказал — и шумною толпою
Поднялся табор кочевой
С долины страшного ночлега.
И скоро все в дали степной
Сокрылось; лишь одна телега,
Убогим крытая ковром,
Стояла в поле роковом.
Так иногда перед зимою,
Туманной, утренней порою,
Когда подъемлется с полей
Станица поздних журавлей
И с криком вдаль на юг несется,

Пронзенный гибельным свинцом
Один печально остается,
Повиснув раненым крылом.
Настала ночь; в телеге темной
Огня никто не разложил,
Никто под крышею подъемной
До утра сном не опочил.

ЭПИЛОГ

Волшебной силой песнопенья
В туманной памяти моей
Так оживляются виденья
То светлых, то печальных дней.

В стране, где долго, долго брани
Ужасный гул не умолкал,
Где повелительные грани
Стамбулу русский указал,
Где старый наш орел двуглавый
Еще шумит минувшей славой,
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огпями.
В походах медленных любил
Их песен радостные гулы —
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил.

Но счастья нет и между вами,
Природы бедные сыны!..
И под издранными шатрами
Живут мучительные сны,
И ваши сени кочевые
В пустынях пе спаслись от бед,
И всюду страсти роковые,
И от судеб защиты нет.

1824

ГРАФ НУЛИН

Пора, пора! рога трубят;
Псари в охотничьих уборах
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают на сворах.
Выходит барин па крыльцо,
Все, подбочась, обозревает;
Его довольное лицо
Приятной важностью сияет.
Чекмень затянутый на нем,
Турецкий нож за кушаком,
За пазухой во фляжке ром,
И рог на бронзовой цепочке.
В ночном чепце, в одном платочке,
Глазами сонными жена
Сердито смотрит из окна
На сбор, на псарную тревогу...
Вот мужу подвели коня;
Он холку хвать и в стремя ногу,
Кричит жене: не жди меня!
И выезжает на дорогу.

В последних числах сентября
(Презренной прозой говоря)
В деревне скучно: грязь, ненастье,
Осенний ветер, мелкий снег
Да вой волков. Но то-то счастье
Охотнику! Не зная нег,
В отъезжем поле он гарцует,
Везде находит свой ночлег,
Бранится, мокнет и пирует
Опустошительный набег.

А что же делает супруга
Одна в отсутствие супруга?
Занятий мало ль есть у ней:
Грибы солить, кормить гусей,
Заказывать обед и ужин,
В анбар и в погреб заглянуть,—
Хозяйки глаз повсюду нужен:
Он вмиг заметит что-нибудь.

К несчастью, героиня наша...
(Ах! я забыл ей имя дать.
Муж просто звал ее Наташа,
Но мы — мы будем называть
Наталья Павловна) к несчастью,
Наталья Павловна совсем
Своей хозяйственною частью
Не занималася, затем,
Что не в отеческом законе
Она воспитана была,
А в благородном пансионе
У эмигрантки Фальбала.

Она сидит перед окном;
Пред ней открыт четвертый том
Сентиментального романа:
Любовь Элизы и Армана,
Иль переписка двух семей —
Роман классический, старинный,
Отменно длинный, длинный, длинный,
Нравоучительный и чинный,
Без романтических затей.
Наталья Павловна сначала
Его внимательно читала,
Но скоро как-то развлеклась
Перед окном возникшей дракой
Козла с дворовою собакой
И ею тихо занялась.
Кругом мальчишки хохотали.
Меж тем печально, под окном,
Индейки с криком выступали
Вослед за мокрым петухом;
Три утки полоскались в луже;
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор;
Погода становилась хуже:
Казалось, снег идти хотел...
Вдруг колокольчик зазвенел.

Кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
Как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.

«Братья разбойники».
Гравюра С. Галактионова.
Илл. из альманаха «Полярная звезда на 1825 год».

Не друг ли едет запоздалый,
Товарищ юности удалой?..
Уж не она ли?.. Боже мой!
Вот ближе, ближе... сердце бьется...
Но мимо, мимо звук несется,
Слабей... и смолкнул за горой.

Наталья Павловна к балкону
Бежит, обрадована звону,
Глядит и видит: за рекой,
У мельницы, коляска скачет.
Вот на мосту — к нам точно... нет,
Поворотила влево. Вслед
Она глядит и чуть не плачет.

Но вдруг... о радость! косогор;
Коляска на бок.— «Филька, Васька!
Кто там? скорей! Вон там коляска:
Сейчас везти ее на двор
И барина просить обедать!
Да жив ли он?.. беги проведать!
Скорей, скорей!»

Слуга бежит.
Наталья Павловна спешит
Взбить пышный локон, шаль накинуть,
Задернуть завес, стул подвинуть,
И ждет. «Да скоро ль, мой творец?»
Вот едут, едут наконец.
Забрызганный в дороге дальной,
Опасно раненный, печальный
Кой-как тащится экипаж;
Вслед барин молодой хромает.
Слуга-француз не унывает
И говорит: allons, courage! [1]
Вот у крыльца; вот в сени входят.
Покамест барину теперь
Покой особенный отводят
И настежь отворяют дверь,
Пока Picard шумит, хлопочет
И барин одеваться хочет,
Сказать ли вам, кто он таков?

---

[1] Ну, смелей! *(франц.)*

Граф Нулин, из чужих краев,
Где промотал он в вихре моды
Свои грядущие доходы.
Себя казать, как чудный зверь,
В Петрополь едет он теперь
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Булавок, запонок, лорнетов,
Цветных платков, чулков à jour [1],
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур,
С романом новым Вальтер-Скотта,
С bon-mots [2] парижского двора,
С последней песней Беранжера,
С мотивами Россини, Пера,
Et cetera, et cetera [3].

Уж стол накрыт; давно пора;
Хозяйка ждет нетерпеливо.
Дверь отворилась, входит граф;
Наталья Павловна, привстав,
Осведомляется учтиво,
Каков он? что нога его?
Граф отвечает: ничего.
Идут за стол; вот он садится,
К ней подвигает свой прибор
И начинает разговор:
Святую Русь бранит, дивится,
Как можно жить в ее снегах,
Жалеет о Париже страх.
«А что театр?» — О! сиротеет,
C'est bien mauvais, ça fait pitié [4].
Тальма совсем оглох, слабеет,
И мамзель Марс — увы! стареет.
Зато Потье, le grand Potier! [5]
Он славу прежнюю в народе
Доныне поддержал один.—
«Какой писатель нынче в моде?»
— Всё d'Arlincourt и Ламартин.—

---

[1] Прозрачных (ажурных) *(франц.)*.
[2] Остротами *(франц.)*.
[3] И так далее, и так далее *(франц.)*.
[4] Он очень плох, он просто жалок *(франц.)*.
[5] Великий Потье! *(франц.)*

«У нас им также подражают».
— Нет? право? так у нас умы
Уж развиваться начинают.
Дай бог, чтоб просветились мы! —
«Как тальи носят?» — Очень низко,
Почти до... вот по этих пор.
Позвольте видеть ваш убор;
Так... рюши, банты, здесь узор;
Все это к моде очень близко.—
«Мы получаем Телеграф».
— Ага! хотите ли послушать
Прелестный водевиль? — И граф
Поет. «Да, граф, извольте ж кушать».
— Я сыт и так.—
Изо стола
Встают. Хозяйка молодая
Черезвычайно весела;
Граф, о Париже забывая,
Дивится, как она мила.
Проходит вечер неприметно;
Граф сам не свой; хозяйки взор
То выражается приветно,
То вдруг потуплен безответно...
Глядишь — и полночь вдруг на двор.
Давно храпит слуга в передней,
Давно поет петух соседний,
В чугунну доску сторож бьет;
В гостиной свечки догорели.
Наталья Павловна встает:
«Пора, прощайте! ждут постели.
Приятный сон!..» С досадой встав,
Полувлюбленный, нежный граф
Целует руку ей. И что же?
Куда кокетство не ведет?
Проказница — прости ей, боже! —
Тихонько графу руку жмет.

Наталья Павловна раздета;
Стоит Параша перед ней.
Друзья мои! Параша эта
Наперсница ее затей;
Шьет, моет, вести переносит,
Изношенных капотов просит,
Порою с барином шалит,

Порой на барина кричит
И лжет пред барыней отважно.
Теперь она толкует важно
О графе, о делах его,
Не пропускает ничего —
Бог весть, разведать как успела.
Но госпожа ей наконец
Сказала: «полно, надоела!» —
Спросила кофту и чепец,
Легла и выйти вон велела.

Своим французом между тем
И граф раздет уже совсем.
Ложится он, сигару просит,
Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиною, будильник
И неразрезанный роман.

В постеле лежа, Вальтер-Скотта
Глазами пробегает он.
Но граф душевно развлечен:
Неугомонная забота
Его тревожит; мыслит он:
«Неужто вправду я влюблен?
Что, если можно?.. вот забавно;
Однако ж это было б славно;
Я, кажется, хозяйке мил»,—
И Нулин свечку погасил.

Несносный жар его объемлет,
Не спится графу — бес не дремлет
И дразнит грешною мечтой
В нем чувства. Пылкий наш герой
Воображает очень живо
Хозяйки взор красноречивый,
Довольно круглый, полный стан,
Приятный голос, прямо женский,
Лица румянец деревенский —
Здоровье краше всех румян.
Он помнит кончик ножки нежной,
Он помнит: точно, точно так,
Она ему рукой небрежной
Пожала руку; он дурак,

Он должен бы остаться с нею,
Ловить минутную затею.
Но время не ушло: теперь
Отворена, конечно, дверь —
И тотчас, на плеча накинув
Свой пестрый шелковый халат
И стул в потемках опрокинув,
В надежде сладостных наград,
К Лукреции Тарквиний новый
Отправился, на все готовый.

Так иногда лукавый кот,
Жеманный баловень служанки,
За мышью крадется с лежанки:
Украдкой, медленно идет,
Полузажмурясь подступает,
Свернется в ком, хвостом играет,
Разинет когти хитрых лап
И вдруг бедняжку цап-царап.

Влюбленный граф в потемках бродит,
Дорогу ощупью находит.
Желаньем пламенным томим,
Едва дыханье переводит,
Трепещет, если пол под ним
Вдруг заскрыпит... вот он подходит
К заветной двери и слегка
Жмет ручку медную замка;
Дверь тихо, тихо уступает;
Он смотрит: лампа чуть горит
И бледно спальню освещает;
Хозяйка мирно почивает
Иль притворяется, что спит.

Он входит, медлит, отступает —
И вдруг упал к ее ногам...
Она... Теперь с их позволенья
Прошу я петербургских дам
Представить ужас пробужденья
Натальи Павловны моей
И разрешить, что делать ей?

Она, открыв глаза большие,
Глядит на графа — наш герой
Ей сыплет чувства выписные

И дерзновенною рукой
Коснуться хочет одеяла,
Совсем смутив ее сначала...
Но тут опомнилась она,
И, гнева гордого полна,
А впрочем, может быть, и страха,
Она Тарквинию с размаха
Дает — пощечину, да, да!
Пощечину, да ведь какую!

Сгорел граф Нулин от стыда,
Обиду проглотив такую;
Не знаю, чем бы кончил он,
Досадой страшною пылая,
Но шпиц косматый, вдруг залая,
Прервал Параши крепкий сон.
Услышав граф ее походку
И проклиная свой ночлег
И своенравную красотку,
В постыдный обратился бег.

Как он, хозяйка и Параша
Проводят остальную ночь,
Воображайте, воля ваша!
Я не намерен вам помочь.

Восстав поутру молчаливо,
Граф одевается лениво,
Отделкой розовых ногтей,
Зевая, запялся небрежно,
И галстук вяжет неприлежно,
И мокрой щеткою своей
Не гладит стриженых кудрей.
О чем он думает, не знаю;
Но вот его позвали к чаю.
Что делать? Граф, преодолев
Неловкий стыд и тайный гнев,
Идет.

Проказница младая,
Насмешливый потупя взор
И губки алые кусая,
Заводит скромно разговор
О том, о сем. Сперва смущенный,
Но постепенно ободренный,
С улыбкой отвечает он.

Получаса не проходило,
Уж он и шутит очень мило,
И чуть ли снова не влюблен.
Вдруг шум в передней. Входят. Кто же?
«Наташа, здравствуй».
— Ах, мой боже!
Граф, вот мой муж. Душа моя,
Граф Нулин.—
«Рад сердечно я...
Какая скверная погода!
У кузницы я видел ваш
Совсем готовый экипаж.
Наташа! там у огорода
Мы затравили русака...
Эй, водки! Граф, прошу отведать:
Прислали нам издалека.
Вы с нами будете обедать?»
— Не знаю, право, я спешу.—
«И, полно, граф, я вас прошу.
Жена и я, гостям мы рады.
Нет, граф, останьтесь!»
Но с досады
И все надежды потеряв,
Упрямится печальный граф.
Уж подкрепив себя стаканом,
Пикар кряхтит за чемоданом.
Уже к коляске двое слуг
Несут привинчивать сундук.
К крыльцу подвезена коляска,
Пикар все скоро уложил,
И граф уехал... Тем и сказка
Могла бы кончиться, друзья;
Но слова два прибавлю я.

Когда коляска ускакала,
Жена все мужу рассказала
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. Почему ж?
Муж? — как не так! совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф дурак,

Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит.
Смеялся Лидин, их сосед,
Помещик двадцати трех лет.

Теперь мы можем справедливо
Сказать, что в наши времена
Супругу верная жена,
Друзья мои, совсем не диво.

1825

ПОЛТАВА

The power and glory of the war,
Faithless as their vain votaries, men,
Had pass'd to triumphant Czar.

Byron [1]

ПОСВЯЩЕНИЕ

Тебе — но голос музы темной
Коснется ль уха твоего?
Поймешь ли ты душою скромной
Стремленье сердца моего?
Иль посвящение поэта,
Как некогда его любовь,
Перед тобою без ответа
Пройдет, непризнанное вновь?

Узнай по крайней мере звуки,
Бывало, милые тебе —
И думай, что во дни разлуки,
В моей изменчивой судьбе,
Твоя печальная пустыня,
Последний звук твоих речей
Одно сокровище, святыня,
Одна любовь души моей.

---

[1] Мощь и слава войны,
Как и люди, их суетные поклонники,
Перешли на сторону торжествующего царя.

Байрон (англ.).

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Богат и славен Кочубей [1].
Его луга необозримы;
Там табуны его коней
Пасутся вольны, нехранимы.
Кругом Полтавы хутора [2]
Окружены его садами,
И много у него добра,
Мехов, атласа, серебра
И на виду и под замками.
Но Кочубей богат и горд
Не долгогривыми конями,
Не златом, данью крымских орд,
Не родовыми хуторами,
Прекрасной дочерью своей
Гордится старый Кочубей [3].

И то сказать: в Полтаве нет
Красавицы, Марии равной.
Она свежа, как вешний цвет,
Взлелеянный в тени дубравной.
Как тополь киевских высот,
Она стройна. Ее движенья
То лебедя пустынных вод
Напоминают плавный ход,
То лани быстрые стремленья.
Как пена, грудь ее бела.
Вокруг высокого чела,
Как тучи, локоны чернеют.
Звездой блестят ее глаза;
Ее уста, как роза, рдеют.
Но не единая краса
(Мгновенный цвет!) молвою шумной
В младой Марии почтена:
Везде прославилась она
Девицей скромной и разумной.
Зато завидных женихов
Ей шлет Украйна и Россия;
Но от венца, как от оков,
Бежит пугливая Мария.
Всем женихам отказ — и вот
За ней сам гетман сватов шлет [4].

Он стар. Он удручен годами,
Войной, заботами, трудами;
Но чувства в нем кипят, и вновь
Мазепа ведает любовь.

Мгновенно сердце молодое
Горит и гаснет. В нем любовь
Проходит и приходит вновь,
В нем чувство каждый день иное:
Не столь послушно, не слегка,
Не столь мгновенными страстями
Пылает сердце старика,
Окаменелое годами.
Упорно, медленно оно
В огне страстей раскалено;
Но поздний жар уж не остынет
И с жизнью лишь его покинет.

Не серна под утес уходит,
Орла послыша тяжкий лет;
Одна в сенях невеста бродит,
Трепещет и решенья ждет.

И, вся полна негодованьем,
К ней мать идет и, с содроганьем
Схватив ей руку, говорит:
«Бесстыдный! старец нечестивый!
Возможно ль?.. нет, пока мы живы,
Нет! он греха не совершит.
Он, должный быть отцом и другом
Невинной крестницы своей...
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом».
Мария вздрогнула. Лицо
Покрыла бледность гробовая,
И, охладев как неживая,
Упала дева на крыльцо.

Она опомнилась, но снова
Закрыла очи — и ни слова
Не говорит. Отец и мать
Ей сердце ищут успокоить,
Боязнь и горесть разогнать,
Тревогу смутных дум устроить...

Напрасно. Целые два дия,
То молча плача, то стеня,
Мария не пила, не ела,
Шатаясь, бледная как тень,
Не зная сна. На третий день
Ее светлица опустела.

Никто не знал, когда и как
Она сокрылась. Лишь рыбак
Той ночью слышал конский топот,
Казачью речь и женский шепот,
И утром след осьми подков
Был виден на росе лугов.

Не только первый пух ланит
Да русы кудри молодые,
Порой и старца строгий вид,
Рубцы чела, власы седые
В воображенье красоты
Влагают страстные мечты.

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть:
Она забыла стыд и честь,
Она в объятиях злодея!
Какой позор! Отец и мать
Молву не смеют понимать.
Тогда лишь истина явилась
С своей ужасной наготой.
Тогда лишь только объяснилась
Душа преступницы младой.
Тогда лишь только стало явно,
Зачем бежала своенравно
Она семейственных оков,
Томилась тайно, воздыхала
И на приветы женихов
Молчаньем гордым отвечала;
Зачем так тихо за столом
Она лишь гетману внимала,
Когда беседа ликовала
И чаша пенилась вином;
Зачем она всегда певала
Те песни, кои он слагал [5],
Когда он беден был и мал,
Когда молва его не знала;

Зачем с неженскою душой
Она любила конный строй,
И бранный звон литавр, и клики
Пред бунчуком и булавой
Малороссийского владыки... [6]

Богат и знатен Кочубей.
Довольно у него друзей.
Свою омыть он может славу.
Он может возмутить Полтаву;
Внезапно средь его дворца
Он может мщением отца
Постигнуть гордого злодея;
Он может верною рукой
Вонзить... но замысел иной
Волнует сердце Кочубея.

Была та смутная пора,
Когда Россия молодая,
В бореньях силы напрягая,
Мужала с гением Петра.
Суровый был в науке славы
Ей дан учитель: не один
Урок нежданный и кровавый
Задал ей шведский паладин.
Но в искушеньях долгой кары,
Перетерпев судеб удары,
Окрепла Русь. Так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат.

Венчанный славой бесполезной,
Отважный Карл скользил над бездной.
Он шел на древнюю Москву,
Взметая русские дружины,
Как вихорь гонит прах долины
И клонит пыльную траву.
Он шел путем, где след оставил
В дни наши новый, сильный враг,
Когда падением ославил
Муж рока свой попятный шаг [7].

Украйна глухо волновалась.
Давно в ней искра разгоралась.

Друзья кровавой старины
Народной чаяли войны,
Роптали, требуя кичливо,
Чтоб гетман узы их расторг,
И Карла ждал нетерпеливо
Их легкомысленный восторг.
Вокруг Мазепы раздавался
Мятежный крик: пора, пора!
Но старый гетман оставался
Послушным подданным Петра.
Храня суровость обычайну,
Спокойно ведал он Украйну,
Молве, казалось, не внимал
И равнодушно пировал.

«Что ж гетман? — юноши твердили,–
Он изнемог; он слишком стар;
Труды и годы угасили
В нем прежний, деятельный жар.
Зачем дрожащею рукою
Еще он носит булаву?
Теперь бы грянуть нам войною
На ненавистную Москву!
Когда бы старый Дорошенко [8],
Иль Самойлович молодой [9],
Иль паш Палей [10], иль Гордеенко [11]
Владели силой войсковой;
Тогда б в снегах чужбины дальной
Не погибали казаки,
И Малороссии печальной
Освобождались уж полки» [12].

Так, своеволием пылая,
Роптала юность удалая,
Опасных алча перемен,
Забыв отчизны давний плен,
Богдана счастливые споры,
Святые брани, договоры
И славу дедовских времен.
Но старость ходит осторожно
И подозрительно глядит.
Чего нельзя и что возможно,
Еще не вдруг она решит.

Кто снидет в глубину морскую,
Покрытую недвижно льдом?
Кто испытующим умом
Проникнет бездну роковую
Души коварной? Думы в ней,
Плоды подавленных страстей,
Лежат погружены глубоко,
И замысел давнишних дней,
Быть может, зреет одиноко.
Как знать? Но чем Мазепа злей,
Чем сердце в нем хитрей и ложней,
Тем с виду он неосторожней
И в обхождении простей.
Как он умеет самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужие тайны разрешать!
С какой доверчивостью лживой,
Как добродушно на пирах
Со старцами старик болтливый,
Жалеет он о прошлых днях,
Свободу славит с своевольным,
Поносит власти с недовольным,
С ожесточенным слезы льет,
С глупцом разумну речь ведет!
Не многим, может быть, известно,
Что дух его неукротим,
Что рад и честно и бесчестно
Вредить он недругам своим;
Что ни единой он обиды
С тех пор как жив не забывал,
Что далеко преступны виды
Старик надменный простирал;
Что он не ведает святыни,
Что он не помнит благостыни,
Что он не любит ничего,
Что кровь готов он лить, как воду,
Что презирает он свободу,
Что нет отчизны для него.

Издавна умысел ужасный
Взлелеял тайно злой старик
В душе своей. Но взор опасный,
Враждебный взор его проник.

«Нет, дерзкий хищник, нет, губитель! –
Скрежеща мыслит Кочубей,—
Я пощажу твою обитель,
Темницу дочери моей;
Ты не истлеешь средь пожара,
Ты не издохнешь от удара
Казачьей сабли. Нет, злодей,
В руках московских палачей,
В крови, при тщетных отрицаньях,
На дыбе, корчась в истязаньях,
Ты проклянешь и день и час,
Когда ты дочь крестил у нас,
И пир, на коем чести чашу
Тебе я полпу наливал,
И ночь, когда голубку нашу
Ты, старый коршун, заклевал!..»

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни
Как солью, хлебом и елеем,
Делились чувствами они.
Их кони по полям победы
Скакали рядом сквозь огни;
Нередко долгие беседы
Наедине вели они —
Пред Кочубеем гетман скрытный
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывал
И о грядущих измененьях,
Переговорах, возмущеньях
В речах неясных намекал.
Так, было сердце Кочубея
В то время предано ему.
Но, в горькой злобе свирепея,
Теперь позыву одному
Оно послушно; он голубит
Едину мысль и день и ночь:
Иль сам погибнет, иль погубит —
Отмстит поруганную дочь.

Но предприимчивую злобу
Он крепко в сердце затаил.
«В бессильной горести, ко гробу
Теперь он мысли устремил.
Он зла Мазепе не желает;

Всему виновна дочь одна.
Но он и дочери прощает:
Пусть богу даст ответ она,
Покрыв семью свою позором,
Забыв и небо и закон...»

А между тем орлиным взором
В кругу домашнем ищет он
Себе товарищей отважных,
Неколебимых, непродажных.
Во всем открылся он жене: [13]
Давно в глубокой тишине
Уже донос он грозный копит,
И, гнева женского полна,
Нетерпеливая жена
Супруга злобного торопит.
В тиши ночей, на ложе сна,
Как некий дух, ему она
О мщенье шепчет, укоряет,
И слезы льет, и ободряет,
И клятвы требует — и ей
Клянется мрачный Кочубей.

Удар обдуман. С Кочубеем
Бесстрашный Искра [14] заодно.
И оба мыслят: «Одолеем;
Врага паденье решено.
Но кто ж, усердьем пламенея,
Ревнуя к общему добру,
Донос на мощного злодея
Предубежденному Петру
К ногам положит, не робея?»

Между полтавских казаков,
Презренных девою несчастной,
Один с младенческих годов
Ее любил любовью страстной.
Вечерней, утренней порой,
На берегу реки родной,
В тени украинских черешен,
Бывало, он Марию ждал,
И ожиданием страдал,
И краткой встречей был утешен.
Он без надежд ее любил,
Не докучал он ей мольбою:

Отказа б он не пережил.
Когда наехали толпою
К ней женихи, из их рядов
Уныл и сир он удалился.
Когда же вдруг меж казаков
Позор Мариин огласился
И беспощадная молва
Ее со смехом поразила,
И тут Мария сохранила
Над ним привычные права.
Но если кто хотя случайно
Пред ним Мазепу называл,
То он бледнел, терзаясь тайно,
И взоры в землю опускал.
. . . . . .

Кто при звездах и при луне
Так поздно едет на коне?
Чей это конь неутомимый
Бежит в степи необозримой?

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть
Ни в чистом поле, ни в дубраве,
Ни при опасной переправе.

Как стекло булат его блестит,
Мешок за пазухой звенит,
Не спотыкаясь, конь ретивый
Бежит, размахивая гривой.

Червонцы нужны для гонца,
Булат потеха молодца,
Ретивый конь потеха тоже —
Но шапка для него дороже.

За шапку он оставить рад
Коня, червонцы и булат,
Но выдаст шапку только с бою,
И то лишь с буйной головою.

Зачем он шапкой дорожит?
Затем, что в ней донос зашит,
Донос на гетмана злодея
Царю Петру от Кочубея.

Грозы не чуя между тем,
Не ужасаемый ничем,
Мазепа козни продолжает.
С ним полномощный езуит [15]
Мятеж народный учреждает
И шаткий трон ему сулит.
Во тьме ночной они как воры
Ведут свои переговоры,
Измену ценят меж собой,
Слагают цифр универсалов [16],
Торгуют царской головой,
Торгуют клятвами вассалов.
Какой-то нищий во дворец
Неведомо отколе ходит,
И Орлик [17], гетманов делец,
Его приводит и выводит.
Повсюду тайно сеют яд
Его подосланные слуги:
Там на Дону казачьи круги
Они с Булавиным [18] мутят;
Там будят диких орд отвагу;
Там за порогами Днепра
Стращают буйную ватагу
Самодержавием Петра.
Мазепа всюду взор кидает
И письма шлет из края в край:
Угрозой хитрой подымает
Он на Москву Бахчисарай.
Король ему в Варшаве внемлет,
В степах Очакова паша,
Во стане Карл и царь. Не дремлет
Его коварная душа;
Он, думой думу развивая,
Верней готовит свой удар;
В нем не слабеет воля злая,
Неутомим преступный жар.

Но как он вздрогнул, как воспрянул,
Когда пред ним незапно грянул
Упадший гром! когда ему,
Врагу России самому,
Вельможи русские [19] послали
В Полтаве писанный донос

И вместо праведных угроз,
Как жертве, ласки расточали;
И озабоченный войной,
Гнушаясь мнимой клеветой,
Донос оставя без вниманья,
Сам царь Иуду утешал
И злобу шумом наказанья
Смирить надолго обещал!

Мазепа, в горести притворной,
К царю возносит глас покорный.
«И знает бог, и видит свет:
Он, бедный гетман, двадцать лет
Царю служил душою верной;
Его щедротою безмерной
Осыпан, дивно вознесен...
О, как слепа, безумна злоба!..
Ему ль теперь у двери гроба
Начать учение измен
И потемнять благую славу?
Не он ли помощь Станиславу [20]
С негодованьем отказал,
Стыдясь, отверг венец Украйны,
И договор и письма тайны
К царю, по долгу, отослал?
Не он ли наущепьям хана [21]
И цареградского салтана
Был глух? Усердием горя,
С врагами белого царя
Умом и саблей рад был спорить,
Трудов и жизни не жалел,
И ныне злобный недруг смел
Его седины опозорить!
И кто же? Искра, Кочубей!
Так долго быв его друзьями!..»
И с кровожадными слезами,
В холодной дерзости своей,
Их казни требует злодей...[22]

Чьей казни?.. старец непреклонный!
Чья дочь в объятиях его?
Но хладно сердца своего
Он заглушает ропот сонный.

Он говорит: «В неравный спор
Зачем вступает сей безумец?
Он сам, надменный вольнодумец,
Сам точит на себя топор.
Куда бежит, зажавши вежды?
На чем он основал надежды?
Или... но дочери любовь
Главы отцовской не искупит.
Любовник гетману уступит,
Не то моя прольется кровь».

Мария, бедная Мария,
Краса черкасских дочерей!
Не знаешь ты, какого змия
Ласкаешь на груди своей.
Какой же властью непонятной
К душе свирепой и развратной
Так сильно ты привлечена?
Кому ты в жертву отдана?
Его кудрявые седины,
Его глубокие морщины,
Его блестящий, впалый взор,
Его лукавый разговор
Тебе всего, всего дороже:
Ты мать забыть для них могла,
Соблазном постланное ложе
Ты отчей сени предпочла.
Своими чудными очами
Тебя старик заворожил,
Своими тихими речами
В тебе он совесть усыпил;
Ты на него с благоговеньем
Возводишь ослепленный взор,
Его лелеешь с умиленьем —
Тебе приятен твой позор,
Ты им, в безумном упоенье,
Как целомудрием горда —
Ты прелесть нежную стыда
В своем утратила паденье...

Что стыд Марии? что молва?
Что для нее мирские пени,
Когда склоняется в колени
К ней старца гордая глава,

Когда с ней гетман забывает
Судьбы своей и труд и шум,
Иль тайны смелых, грозных дум
Ей, деве робкой, открывает?
И дней невинных ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, как туча, затмевает:
Она унылых пред собой
Отца и мать воображает;
Она, сквозь слезы, видит их
В бездетной старости, одних,
И, мнится, пеням их внимает...
О, если б ведала она,
Что уж узнала вся Украйна!
Но от нее сохранена
Еще убийственная тайна.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Мазепа мрачен. Ум его
Смущен жестокими мечтами.
Мария нежными очами
Глядит на старца своего.
Она, обняв его колени,
Слова любви ему твердит.
Напрасно: черных помышлений
Ее любовь не удалит.
Пред бедной девой с невниманьем
Он хладно потупляет взор
И ей на ласковый укор
Одним ответствует молчаньем.
Удивлена, оскорблена,
Едва дыша, встает она
И говорит с негодованьем:

«Послушай, гетман: для тебя
Я позабыла все на свете.
Навек однажды полюбя,
Одно имела я в предмете:
Твою любовь. Я для нее
Сгубила счастие мое,
Но ни о чем я не жалею...

Ты помнишь: в страшной тишине,
В ту ночь, как стала я твоею,
Меня любить ты клялся мне.
Зачем же ты меня не любишь?»

Мазепа

Мой друг, несправедлива ты.
Оставь безумные мечты;
Ты подозреньем сердце губишь:
Нет, душу пылкую твою
Волнуют, ослепляют страсти.
Мария, верь: тебя люблю
Я больше славы, больше власти.

Мария

Неправда: ты со мной хитришь.
Давно ль мы были неразлучны?
Теперь ты ласк моих бежишь;
Теперь они тебе докучны;
Ты целый день в кругу старшин,
В пирах, разъездах — я забыта;
Ты долгой ночью иль один,
Иль с нищим, иль у езуита;
Любовь смиренная моя
Встречает хладную суровость.
Ты пил недавно, знаю я,
Здоровье Дульской. Это повость;
Кто эта Дульская?

Мазепа

И ты
Ревнива? Мне ль, в мои ли лета
Искать надменного привета
Самолюбивой красоты?
И стану ль я, старик суровый,
Как праздный юноша, вздыхать,
Влачить позорные оковы
И жен притворством искушать?

Мария

Нет, объяснись без отговорок
И просто, прямо отвечай.

Мазепа

Покой души твоей мне дорог,
Мария; так и быть: узнай.

Давно замыслили мы дело;
Теперь оно кипит у нас.
Благое время нам приспело;
Борьбы великой близок час.
Без милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Под покровительством Варшавы,
Под самовластием Москвы.
Но независимой державой
Украйне быть уже пора:
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово все: в переговорах
Со мною оба короля;
И скоро в смутах, в бранных спорах,
Быть может, трон воздвигну я.
Друзей надежных я имею:
Княгиня Дульская и с нею
Мой езуит, да нищий сей
К концу мой замысел приводят.
Чрез руки их ко мне доходят
Наказы, письма королей.
Вот важные тебе признанья.
Довольна ль ты? Твои мечтанья
Рассеяны ль?

Мария

О милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоим сединам как пристанет
Корона царская!

Мазепа

Постой.
Не все свершилось. Буря гряпет;
Кто может знать, что ждет меня?

Мария

Я близ тебя не знаю страха —
Ты так могущ! О, знаю я:
Трон ждет тебя.

Мазепа

А если плаха?..

Мария

С тобой на плаху, если так.
Ах, пережить тебя могу ли?
Но нет: ты носишь власти знак.

Мазепа

Меня ты любишь?

Мария

Я! люблю ли?

Мазепа

Скажи: отец или супруг
Тебе дороже?

Мария

Милый друг,
К чему вопрос такой? тревожит
Меня напрасно он. Семью
Стараюсь я забыть мою.
Я стала ей в позор; быть может
(Какая страшная мечта!),
Моим отцом я проклята,
А за кого?

Мазепа

Так я дороже
Тебе отца? Молчишь...

Мария

О боже!

Мазепа

Что ж? отвечай.

Мария

Реши ты сам.

Мазепа

Послушай: если было б нам,
Ему иль мне, погибнуть надо,
А ты бы нам судьей была,
Кого б ты в жертву принесла,
Кому бы ты была ограда?

Мария

Ах, полно! сердце не смущай!
Ты искуситель.

Мазепа

Отвечай!

Мария

Ты бледен; речь твоя сурова...
О, не сердись! Всем, всем готова
Тебе я жертвовать, поверь;
Но страшны мне слова такие.
Довольно.

Мазепа

Помни же, Мария,
Что ты сказала мне теперь.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады,
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом;
Но в замке шепот и смятенье.
В одной из башен, под окном,
В глубоком, тяжком размышленье,
Окован, Кочубей сидит
И мрачно на небо глядит.

Заутра казнь. Но без боязни
Он мыслит об ужасной казни;
О жизни не жалеет он.
Что смерть ему? желанный сон.
Готов он лечь во гроб кровавый.
Дрема долит. Но, боже правый!
К ногам злодея, молча, пасть
Как бессловесное созданье,
Царем быть отдану во власть
Врагу царя на поруганье,
Утратить жизнь — и с нею честь,
Друзей с собой на плаху весть,
Над гробом слышать их проклятья,
Ложась безвинным под топор,
Врага веселый встретить взор
И смерти кинуться в объятья,
Не завещая никому
Вражды к злодею своему!..

И вспомнил он свою Полтаву,
Обычный круг семьи, друзей,
Минувших дней богатство, славу,
И песни дочери своей,
И старый дом, где он родился,
Где знал и труд и мирный сон,
И все, чем в жизни насладился,
Что добровольно бросил он,
И для чего? —

Но ключ в заржавом
Замке гремит — и, пробужден,
Несчастный думает: вот он!
Вот на пути моем кровавом
Мой вождь под знаменем креста,
Грехов могущий разрешитель,
Духовной скорби врач, служитель
За нас распятого Христа,
Его святую кровь и тело
Принесший мне, да укреплюсь,
Да приступлю ко смерти смело
И жизни вечной приобщусь!

И с сокрушением сердечным
Готов несчастный Кочубей
Перед всесильным, бесконечным

Излить тоску мольбы своей.
Но не отшельника святого,
Он гостя узнает иного:
Свирепый Орлик перед ним.
И, отвращением томим,
Страдалец горько вопрошает:
«Ты здесь, жестокий человек?
Зачем последний мой ночлег
Еще Мазепа возмущает?»

О р л и к

Допрос не кончен: отвечай.

К о ч у б е й

Я отвечал уже: ступай,
Оставь мепя.

О р л и к

Еще признанья
Пан гетман требует.

К о ч у б е й

Но в чем?
Давно сознался я во всем,
Что вы хотели. Показанья
Мои все ложны. Я лукав,
Я строю козни. Гетман прав.
Чего вам более?

О р л и к

Мы знаем,
Что ты несчетно был богат;
Мы знаем: не единый клад
Тобой в Диканьке [23] укрываем.
Свершиться казнь твоя должна;
Твое имение сполна
В казну поступит войсковую —
Таков закон. Я указую
Тебе последний долг: открой,
Где клады, скрытые тобой?

К о ч у б е й

Так, не ошиблись вы: три клада
В сей жизни были мне отрада.

И первый клад мой честь была,
Клад этот пытка отняла;
Другой был клад невозвратимый
Честь дочери моей любимой.
Я день и ночь над ним дрожал:
Мазепа этот клад украл.
Но сохранил я клад последний,
Мой третий клад: святую месть.
Ее готовлюсь богу снесть.

О р л и к

Старик, оставь пустые бредни:
Сегодня покидая свет,
Питайся мыслию суровой.
Шутить не время. Дай ответ,
Когда не хочешь пытки новой:
Где спрятал деньги?

К о ч у б е й

Злой холоп!
Окончишь ли допрос нелепый?
Повремени: дай лечь мне в гроб,
Тогда ступай себе с Мазепой
Мое наследие считать
Окровавленными перстами,
Мои подвалы разрывать,
Рубить и жечь сады с домами.
С собой возьмите дочь мою;
Она сама вам все расскажет,
Сама все клады вам укажет;
Но ради господа молю,
Теперь оставь меня в покое.

О р л и к

Где спрятал деньги? укажи.
Не хочешь? — Деньги где? скажи,
Иль выйдет следствие плохое.
Подумай: место нам назначь.
Молчишь? — Ну, в пытку. Гей, палач! [24]

Палач вошел...
О ночь мучений!
Но где же гетман? где злодей?

Куда бежал от угрызений
Змеиной совести своей?
В светлице девы усыпленной,
Еще незнанием блаженной,
Близ ложа крестницы младой
Сидит с поникшею главой
Мазепа тихий и угрюмый.
В его душе проходят думы,
Одна другой мрачней, мрачней.
«Умрет безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чем ближе
Цель гетмана, тем тверже он
Быть должен властью облечен,
Тем перед ним склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нет:
Доносчик и его клеврет
Умрут». Но, брося взор на ложе,
Мазепа думает: «О боже!
Что будет с ней, когда она
Услышит слово роковое?
Досель она еще в покое —
Но тайна быть сохранена
Не может долее. Секира,
Упав поутру, загремит
По всей Украйне. Голос мира
Вокруг нее заговорит!..
Ах, вижу я: кому судьбою
Волненья жизни суждены,
Тот стой один перед грозою,
Не призывай к себе жены.
В одну телегу впрячь неможно
Коня и трепетную лань.
Забылся я неосторожно:
Теперь плачу безумства дань...
Все, что цены себе не знает,
Все, все, чем жизнь мила бывает,
Бедняжка принесла мне в дар,
Мне, старцу мрачному,— и что же?
Какой готовлю ей удар!»
И он глядит: на тихом ложе
Как сладок юности покой!
Как сон ее лелеет нежно!
Уста раскрылись; безмятежно
Дыханье груди молодой;

А завтра, завтра... содрогаясь,
Мазепа отвращает взгляд,
Встает и, тихо пробираясь,
В уединенный сходит сад.

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Но мрачны странные мечты
В душе Мазепы: звезды ночи,
Как обвинительные очи,
За ним насмешливо глядят.
И тополи, стеснившись в ряд,
Качая тихо головою,
Как судьи, шепчут меж собою.
И летней, теплой ночи тьма
Душна, как черная тюрьма.

Вдруг... слабый крик... невнятный стон
Как бы из замка слышит он.
То был ли сон воображенья,
Иль плач совы, иль зверя вой,
Иль пытки стон, иль звук иной —
Но только своего волненья
Преодолеть не мог старик
И на протяжный слабый крик
Другим ответствовал — тем криком,
Которым он в веселье диком
Поля сраженья оглашал,
Когда с Забелой, с Гамалеем,
И — с ним... и с этим Кочубеем
Он в бранном пламени скакал.

Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощ и волны рек.
Раздался утра шум игривый,
И пробудился человек.

Еще Мария сладко дышит,
Дремой объятая, и слышит
Сквозь легкий сон, что кто-то к ней

Вошел и ног ее коснулся.
Она проснулась — но скорей
С улыбкой взор ее сомкнулся
От блеска утренних лучей.
Мария руки протянула
И с негой томною шепнула:
«Мазепа, ты?..» Но голос ей
Иной ответствует... о боже!
Вздрогнув, она глядит... и что же?
Пред нею мать...

Мать

Молчи, молчи;
Не погуби нас: я в ночи
Сюда прокралась осторожно
С единой, слезною мольбой.
Сегодня казнь. Тебе одной
Свирепство их смягчить возможно.
Спаси отца.

Дочь
в ужасе

Какой отец?
Какая казнь?

Мать

Иль ты доныне
Не знаешь?.. нет! ты не в пустыне,
Ты во дворце; ты знать должна,
Как сила гетмана грозна,
Как он врагов своих карает,
Как государь ему внимает...
Но вижу: скорбную семью
Ты отвергаешь для Мазепы;
Тебя я сонну застаю,
Когда свершают суд свирепый,
Когда читают приговор,
Когда готов отцу топор...
Друг другу, вижу, мы чужие...
Опомнись, дочь моя! Мария,
Беги, пади к его ногам,
Спаси отца, будь ангел нам:
Твой взгляд злодеям руки свяжет,
Ты можешь их топор отвесть.

Рвись, требуй — гетман не откажет:
Ты для него забыла честь,
Родных и бога.

Дочь

Что со мною?
Отец... Мазепа... казнь — с мольбою
Здесь, в этом замке мать моя —
Нет, иль ума лишилась я,
Иль это грезы.

Мать

Бог с тобою,
Нет, нет — не грезы, не мечты.
Ужель еще не знаешь ты,
Что твой отец ожесточенный
Бесчестья дочери не снес
И, жаждой мести увлеченный,
Царю на гетмана донес...
Что в истязаниях кровавых
Сознался в умыслах лукавых,
В стыде безумной клеветы,
Что, жертва смелой правоты,
Врагу он выдан головою,
Что пред громадой войсковою,
Когда его не осенит
Десница вышняя господня,
Он должен быть казнен сегодня,
Что здесь покамест он сидит
В тюремной башне.

Дочь

Боже, боже!..
Сегодня! — бедный мой отец!

И дева падает на ложе,
Как хладный падает мертвец.

Пестреют шапки. Копья блещут.
Бьют в бубны. Скачут сердюки [25].
В строях равняются полки.
Толпы кипят. Сердца трепещут.
Дорога, как змеиный хвост,
Полна народу, шевелится.
Средь поля роковой намост.

«Бахчисарайский фонтан».
Гравюра С. Галактионова.
Илл. из «Невского альманаха на 1827 год».

На нем гуляет, веселится
Палач и алчно жертвы ждет:
То в руки белые берет,
Играючи, топор тяжелый,
То шутит с чернию веселой.
В гремучий говор все слилось:
Крик женский, брань, и смех, и ропот.
Вдруг восклицанье раздалось,
И смолкло все. Лишь конский топот
Был слышен в грозной тишине.
Там, окруженный сердюками,
Вельможный гетман с старшинами
Скакал на вороном коне.
А там по киевской дороге
Телега ехала. В тревоге
Все взоры обратили к ней.
В ней, с миром, с небом примиренный,
Могущей верой укрепленный,
Сидел безвинный Кочубей,
С ним Искра тихий, равнодушный,
Как агнец, жребию послушный.
Телега стала. Раздалось
Моленье ликов громогласных.
С кадил куренье поднялось.
За упокой души несчастных
Безмолвно молится народ,
Страдальцы за врагов. И вот
Идут они, взошли. На плаху,
Крестясь, ложится Кочубей.
Как будто в гробе, тьмы людей
Молчат. Топор блеснул с размаху,
И отскочила голова.
Все поле охнуло. Другая
Катится вслед за ней, мигая.
Зарделась кровию трава —
И, сердцем радуясь во злобе,
Палач за чуб поймал их обе
И напряженною рукой
Потряс их обе над толпой.

Свершилась казнь. Народ беспечный
Идет, рассыпавшись, домой
И про свои работы вечны
Уже толкует меж собой.

Пустеет поле понемногу.
Тогда чрез пеструю дорогу
Перебежали две жены.
Утомлены, запылены,
Они, казалось, к месту казни
Спешили, полные боязни.
«Уж поздно»,— кто-то им сказал
И в поле перстом указал.
Там роковой намост ломали,
Молился в черных ризах поп,
И на телегу подымали
Два казака дубовый гроб.

Один пред конною толпой
Мазепа, грозен, удалялся
От места казни. Он терзался
Какой-то страшной пустотой.
Никто к нему не приближался,
Не говорил он ничего;
Весь в пене мчался конь его.
Домой приехав, «что Мария?»
Спросил Мазепа. Слышит он
Ответы робкие, глухие...
Невольным страхом поражен,
Идет он к ней; в светлицу входит:
Светлица тихая пуста —
Он в сад, и там смятенный бродит;
Но вкруг широкого пруда,
В кустах, вдоль сеней безмятежных
Все пусто, нет нигде следов —
Ушла! Зовет он слуг надежных,
Своих проворных сердюков.
Они бегут. Храпят их кони —
Раздался дикий клик погони,
Верхом — и скачут молодцы
Во весь опор во все концы.

Бегут мгновенья дорогие.
Не возвращается Мария.
Никто не ведал, не слыхал,
Зачем и как она бежала...
Мазепа молча скрежетал.
Затихнув, челядь трепетала.
В груди кипучий яд нося,
В светлице гетман заперся.

Близ ложа там во мраке ночи
Сидел он, не смыкая очи,
Нездешней мукою томим.
Поутру посланные слуги
Один явились за другим.
Чуть кони двигались. Подпруги,
Подковы, узды, чепраки,
Все было пеною покрыто,
В крови, растеряно, избито —
Но ни один ему принесть
Не мог о бедной деве весть.
И след ее существованья
Пропал как будто звук пустой,
И мать одна во мрак изгнанья
Умчала горе с нищетой.

ПЕСНЬ ТРЕТИЯ

Души глубокая печаль
Стремиться дерзновенно в даль
Вождю Украйны не мешает.
Твердея в умысле своем,
Он с гордым шведским королем
Свои сношенья продолжает.
Меж тем, чтоб обмануть верней
Глаза враждебного сомненья,
Он, окружась толпой врачей,
На ложе мнимого мученья
Стоная молит исцеленья.
Плоды страстей, войны, трудов,
Болезни, дряхлость и печали,
Предтечи смерти, приковали
Его к одру. Уже готов
Он скоро бренный мир оставить;
Святой обряд он хочет править,
Он архипастыря зовет
К одру сомнительной кончины,
И на коварные седины
Елей таинственный течет.

Но время шло. Москва напрасно
К себе гостей ждала всечасно,
Средь старых, вражеских могил

Готовя шведам тризну тайну.
Незапно Карл поворотил
И перенес войну в Украйну.

И день настал. Встает с одра
Мазепа, сей страдалец хилый,
Сей труп живой, еще вчера
Стонавший слабо над могилой.
Теперь он мощный враг Петра.
Теперь он, бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет — и к Десне
Проворно мчится на коне.
Согбенный тяжко жизнью старой,
Так оный хитрый кардинал,
Венчавшись римскою тиарой,
И прям, и здрав, и молод стал.

И весть на крыльях полетела.
Украйна смутно зашумела:
«Он перешел, он изменил,
К ногам он Карлу положил
Бунчук покорный». Пламя пышет,
Встает кровавая заря
Войны народной.

Кто опишет
Негодованье, гнев царя? [26]
Гремит анафема в соборах;
Мазепы лик терзает кат [27].
На шумной раде, в вольных спорах
Другого гетмана творят.
С брегов пустынных Енисея
Семейства Искры, Кочубея
Поспешно призваны Петром.
Он с ними слезы проливает.
Он их, лаская, осыпает
И новой честью и добром.
Мазепы враг, наездник пылкий,
Старик Палей из мрака ссылки
В Украйну едет в царский стан.
Трепещет бунт осиротелый.
На плахе гибнет Чечель [28] смелый
И запорожский атаман.

И ты, любовник бранной славы,
Для шлема кинувший венец,
Твой близок день, ты вал Полтавы
Вдали завидел наконец.

И царь туда ж помчал дружины.
Они как буря притекли —
И оба стана средь равнины
Друг друга хитро облегли.
Не раз избитый в схватке смелой,
Заране кровью опьянелый,
С бойцом желанным наконец
Так грозный сходится боец.
И, злобясь, видит Карл могучий
Уж не расстроенные тучи
Несчастных парвских беглецов,
А нить полков блестящих, стройных,
Послушных, быстрых и спокойных,
И ряд незыблемый штыков.

Но он решил: заутра бой.
Глубокий сон во стане шведа.
Лишь под палаткою одной
Ведется шепотом беседа.

«Нет, вижу я, нет, Орлик мой,
Поторопились мы некстати:
Расчет и дерзкий и плохой,
И в нем не будет благодати.
Пропала, видно, цель моя.
Что делать? Дал я промах важный:
Ошибся в этом Карле я.
Он мальчик бойкий и отважный;
Два-три сраженья разыграть,
Конечно, может он с успехом,
К врагу на ужин прискакать [29],
Ответствовать на бомбу смехом; [30]
Не хуже русского стрелка
Прокрасться в ночь ко вражью стану;
Свалить как нынче казака
И обменять на рану рану; [31]
Но не ему вести борьбу
С самодержавным великаном:
Как полк, вертеться он судьбу
Принудить хочет барабаном;

Он слеп, упрям, нетерпелив,
И легкомыслен, и кичлив,
Бог весть какому счастью верит;
Он силы новые врага
Успехом прошлым только мерит —
Сломить ему свои рога.
Стыжусь: воинственным бродягой
Увлекся я на старость лет;
Был ослеплен его отвагой
И беглым счастием побед,
Как дева робкая».

Орлик

Сраженья
Дождемся. Время не ушло
С Петром опять войти в сношенья;
Еще поправить можно зло.
Разбитый нами, нет сомненья,
Царь не отвергнет примиренья.

Мазепа

Нет, поздно. Русскому царю
Со мной мириться невозможно.
Давно решилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стесненной злобой. Под Азовом
Однажды я с царем суровым
Во ставке ночью пировал:
Полны вином кипели чаши,
Кипели с ними речи наши.
Я слово смелое сказал.
Смутились гости молодые...
Царь, вспыхнув, чашу уронил
И за усы мои седые
Меня с угрозой ухватил.
Тогда, смирясь в бессильном гневе,
Отмстить себе я клятву дал;
Носил ее — как мать во чреве
Младенца носит. Срок настал.
Так, обо мне воспоминанье
Хранить он будет до конца.
Петру я послан в наказанье;
Я терн в листах его венца:
Он дал бы грады родовые

И жизни лучшие часы,
Чтоб снова, как во дни былые,
Держать Мазепу за усы.
Но есть еще для нас надежды:
Кому бежать, решит заря.

Умолк и закрывает вежды
Изменник русского царя.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;
Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там,
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.
Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь как божия гроза.

Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.
И се — равнину оглашая
Далече грянуло *ура:*
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова —
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье...
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Степой живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся с плеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский — колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Среди тревоги и волненья
На битву взором вдохновенья
Вожди спокойные глядят,
Движенья ратные следят,
Предвидят гибель и победу
И в тишине ведут беседу.
Но близ московского царя
Кто воин сей под сединами?
Двумя поддержан казаками,
Сердечной ревностью горя,
Он оком опытным героя
Взирает на волненье боя.
Уж на коня не вскочит он,
Одрях, в изгнанье сиротея,
И казаки на клич Палея
Не налетят со всех сторон!
Но что ж его сверкнули очи,
И гневом, будто мглою ночи,
Покрылось старое чело?
Что возмутить его могло?
Иль он, сквозь бранный дым, увидел
Врага Мазепу, и в сей миг
Свои лета возненавидел
Обезоруженный старик?

Мазепа, в думу погруженный,
Взирал на битву, окруженный
Толпой мятежных казаков,
Родных, старшин и сердюков.
Вдруг выстрел. Старец обратился.
У Войнаровского в руках
Мушкетный ствол еще дымился.
Сраженный в нескольких шагах,
Младой казак в крови валялся,
А конь, весь в пене и пыли,
Почуя волю, дико мчался,
Скрываясь в огненной дали.
Казак на гетмана стремился
Сквозь битву с саблею в руках,
С безумной яростью в очах.
Старик, подъехав, обратился
К нему с вопросом. Но казак
Уж умирал. Потухший зрак
Еще грозил врагу России;
Был мрачен помертвелый лик,
И имя нежное Марии
Чуть лепетал еще язык.

Но близок, близок миг победы.
Ура! мы ломим; гнутся шведы.
О славный час! о славный вид!
Еще напор — и враг бежит [32].
И следом конница пустилась,
Убийством тупятся мечи,
И падшими вся степь покрылась,
Как роем черной саранчи.

Пирует Петр. И горд, и ясен,
И славы полон взор его.
И царский пир его прекрасен.
При кликах войска своего,
В шатре своем он угощает
Своих вождей, вождей чужих,
И славных пленников ласкает,
И за учителей своих
Заздравный кубок подымает.

Но где же первый, званый гость?
Где первый, грозный наш учитель,
Чью долговременную злость

Смирил полтавский победитель?
И где ж Мазепа? где злодей?
Куда бежал Иуда в страхе?
Зачем король не меж гостей?
Зачем изменник не на плахе? [33]

Верхом, в глуши степей нагих,
Король и гетман мчатся оба.
Бегут. Судьба связала их.
Опасность близкая и злоба
Даруют силу королю.
Он рану тяжкую свою
Забыл. Поникнув головою,
Он скачет, русскими гоним,
И слуги верные толпою
Чуть могут следовать за ним.

Обозревая зорким взглядом
Степей широкий полукруг,
С ним старый гетман скачет рядом.
Пред ними хутор... Что же вдруг
Мазепа будто испугался?
Что мимо хутора помчался
Он стороной во весь опор?
Иль этот запустелый двор,
И дом, и сад уединенный,
И в поле отпертая дверь
Какой-нибудь рассказ забвенный
Ему напомнили теперь?
Святой невинности губитель!
Узнал ли ты сию обитель,
Сей дом, веселый прежде дом,
Где ты, вином разгоряченный,
Семьей счастливой окруженный,
Шутил, бывало, за столом?
Узнал ли ты приют укромный,
Где мирный ангел обитал,
И сад, откуда ночью темной
Ты вывел в степь... Узнал, узнал!

Ночные тени степь объемлют.
На бреге синего Днепра
Между скалами чутко дремлют
Враги России и Петра.

Щадят мечты покой героя,
Урон Полтавы он забыл.
Но сон Мазепы смутен был.
В нем мрачный дух не знал покоя.
И вдруг в безмолвии ночном
Его зовут. Он пробудился.
Глядит: над ним, грозя перстом,
Тихонько кто-то наклонился.
Он вздрогнул, как под топором...
Пред ним с развитыми власами,
Сверкая впалыми глазами,
Вся в рубище, худа, бледна,
Стоит, луной освещена...
«Иль это сон?.. Мария... ты ли?»

Мария

Ах, тише, тише, друг!.. Сейчас
Отец и мать глаза закрыли...
Постой... услышать могут нас.

Мазепа

Мария, бедная Мария!
Опомнись! Боже!.. Что с тобой?

Мария

Послушай: хитрости какие!
Что за рассказ у них смешной?
Она за тайну мне сказала,
Что умер бедный мой отец,
И мне тихонько показала
Седую голову — творец!
Куда бежать нам от злоречья?
Подумай: эта голова
Была совсем не человечья,
А волчья — видишь: какова!
Чем обмануть меня хотела!
Не стыдно ль ей меня пугать?
И для чего? чтоб я не смела
С тобой сегодня убежать!
Возможно ль?

С горестью глубокой
Любовник ей внимал жестокий.
Но, вихрю мыслей предана,

«Однако ж,— говорит она,—
Я помню поле... праздник шумный...
И чернь... и мертвые тела...
На праздник мать меня вела...
Но где ж ты был?.. С тобою розно
Зачем в ночи скитаюсь я?
Пойдем домой. Скорей... уж поздно.
Ах, вижу, голова моя
Полна волнения пустого:
Я принимала за другого
Тебя, старик. Оставь меня.
Твой взор насмешлив и ужасен.
Ты безобразен. Он прекрасен:
В его глазах блестит любовь,
В его речах такая нега!
Его усы белее снега,
А на твоих засохла кровь!..»

И с диким смехом завизжала,
И легче серны молодой
Она вспрыгнула, побежала
И скрылась в темноте ночной.

Редела тень. Восток алел.
Огонь казачий пламенел.
Пшеницу казаки варили;
Драбанты у брегу Днепра
Коней расседланных поили.
Проснулся Карл. «Ого! пора!
Вставай, Мазепа. Рассветает».
Но гетман уж не спит давно.
Тоска, тоска его снедает;
В груди дыханье стеснено.
И молча он коня седлает,
И скачет с беглым королем,
И страшно взор его сверкает,
С родным прощаясь рубежом.

———

Прошло сто лет — и что ж осталось
От сильных, гордых сих мужей,
Столь полных волею страстей?
Их поколенье миновалось —
И с ним исчез кровавый след

Усилий, бедствий и побед.
В гражданстве северной державы,
В ее воинственной судьбе,
Лишь ты воздвиг, герой Полтавы,
Огромный памятник себе.
В стране — где мельниц ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг воинственных могил,—
Останки разоренной сени,
Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный,
И бросил шпагу под бунчук;
И тщетно там пришлец унылый
Искал бы гетманской могилы:
Забыт Мазепа с давних пор!
Лишь в торжествующей святыне
Раз в год анафемой доныне,
Грозя, гремит о нем собор.
Но сохранилася могила,
Где двух страдальцев прах почил:
Меж древних праведных могил
Их мирно церковь приютила [34].
Цветет в Диканьке древний ряд
Дубов, друзьями насажденных;
Они о праотцах казненных
Доныне внукам говорят.
Но дочь преступница... преданья
Об ней молчат. Ее страданья,
Ее судьба, ее конец
Непроницаемою тьмою
От нас закрыты. Лишь порою
Слепой украинский певец,
Когда в селе перед народом
Он песни гетмана бренчит,
О грешной деве мимоходом
Казачкам юным говорит.

1828

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Василий Леонтьевич Кочубей, генеральный судия, один из предков нынешних графов.

[2] Хутор — загородный дом.

[3] У Кочубея было несколько дочерей; одна из них была замужем за Обидовским, племянником Мазепы. Та, о которой здесь упоминается, называлась Матреной.

[4] Мазепа в самом деле сватал свою крестницу, но ему отказали.

[5] Предание приписывает Мазепе несколько песен, доныне сохранившихся в памяти народной. Кочубей в своем доносе также упоминает о патриотической думе, будто бы сочиненной Мазепою. Она замечательна не в одном историческом отношении.

[6] Бунчук и булава — знаки гетманского достоинства.

[7] Смотр. *Мазепу* Байрона.

[8] Дорошенко, один из героев древней Малороссии, непримиримый враг русского владычества.

[9] Григорий Самойлович, сын гетмана, сосланного в Сибирь в начале царствования Петра I.

[10] Симеон Палей, хвастовский полковник, славный наездник. За своевольные набеги сослан был в Енисейск по жалобам Мазепы. Когда сей последний оказался изменником, то и Палей, как закоренелый враг его, был возвращен из ссылки и находился в Полтавском сражении.

[11] Костя Гордеенко, кошевой атаман запорожских казаков. Впоследствии передался Карлу XII. Взят в плен и казнен в 1708 г.

[12] 20 000 казаков было послано в Лифляндию.

[13] Мазепа в одном письме упрекает Кочубея в том, что им управляет жена его, *гордая и высокоумная.*

[14] Искра, полтавский полковник, товарищ Кочубея, разделивший с ним его умысел и участь.

[15] Езуит Заленский, княгиня Дульская и какой-то болгарский архиепископ, изгнанный из своего отечества, были главными агентами Мазепиной измены. Последний в виде нищего ходил из Польши в Украйну и обратно.

[16] Так назывались манифесты гетманов.

[17] Филипп Орлик, генеральный писарь, наперсник Мазепы, после смерти (в 1710) сего последнего получил от Карла XII пустой титул малороссийского гетмана. Впоследствии принял магометанскую веру и умер в Бендерах около 1736 года.

[18] Булавин, донской казак, бунтовавший около того времени.

[19] Тайный секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и покровители Мазепы; на них, по справедливости, должен лежать ужас суда и казни доносителей.

[20] В 1705 году. Смотр. примечания к Истории Малороссии, Бантыша-Каменского.

[21] Во время неудачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал ему соединиться с ним и вместе напасть на русское войско.

[22] В своих письмах он жаловался, что доносителей пытали слишком легко, неотступно требовал их казни, сравнивал себя с Сусанною, неповинно оклеветанною беззаконными старцами, а графа Головкина с пророком Даниилом.

[23] Деревня Кочубея.

[24] Уже осужденный на смерть, Кочубей был пытан в войске гетмана. По ответам несчастного видно, что его допрашивали о сокровищах, им утаенных.

[25] Войско, состоявшее на собственном иждивении гетманов.

[26] Сильные меры, принятые Петром с обыкновенной его быстротой и энергией, удержали Украйну в повиновении.

«1708 ноября 7-го числа, по указу государеву, казаки по обычаю своему вольными голосами выбрали в гетманы полковника стародубского Ивана Скоропадского.

8-го числа приехали в Глухов киевский, черниговский и переяславский архиепископы.

А 9-го дня предали клятве Мазепу оные архиереи публично; того же дня и персону (куклу) оного изменника Мазепы вынесли и, сняв кавалерию (которая на ту персону была надета с бантом), оную персону бросили в палачевские руки, которую палач, взяв и прицепя за веревку, тащил по улице и по площади даже до виселицы, и потом повесили.

В Глухове же 10-го дня казнили Чечеля и прочих изменников...» *(Журнал Петра Великого.)*

[27] Малороссийское слово. По-русски — палач.

[28] Чечель отчаянно защищал Батурин против войск князя Меншикова.

[29] В Дрезден к королю Августу. См.: *Voltaire. Histoire de Charles XII.*

[30] — Ах, ваше величество! бомба!..— «Что есть общего между бомбою и письмом, которое тебе диктуют? пиши». Это случилось гораздо после.

[31] Ночью Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он поскакал прямо к ним и одного из них застрелил из собственных рук. Казаки дали по нем три выстрела и жестоко ранили его в ногу.

[32] Благодаря прекрасным распоряжениям и действиям князя Меншикова, участь главного сражения была решена заранее. Дело не продолжалось и двух часов. *Ибо* (сказано в Журнале Петра Великого) *непобедимые господа шведы скоро хребет свой показали, и от наших войск вся неприятельская армия весьма опрокинута.* Петр впоследствии времени многое прощал Данилычу за услуги, оказанные в сей день генералом князем Меншиковым.

[33] L'Empereur Moscovite, pénétré d'une joie qu'il ne se mettait pas en peine de dissimuler (было о чем и радоваться), recevait sur le champ de bataille les prisonniers qu'on lui amenait en foule et demandait à tout moment: où est donc mon frère Charles? . . . . . Alors prenant un verre de vin: A la santé, dit-il, de mes maîtres dans l'art de la guerre! — Renschild lui demanda: qui étaient ceux qu'il honorait d'un si beau titre.— Vous, Messieurs les généraux Suédois; reprit le Czar.— Votre Majesté est donc bien ingrate, reprit le Comte, d'avoir tant maltraité ses maîtres [1].

[34] Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре; над их гробом высечена следующая надпись.

«Кто еси мимо грядый о насъ невѣдущій,
Елицы здѣ естесмо положены сущи,
Понеже намъ страсть и смерть повѣлѣ молчати,
Сей камень возопіетъ о насъ ти вѣщати,

---

[1] Московский император, проникнутый радостью, которую он не давал себе труда скрывать... принимал на поле битвы пленников, которых ему приводили толпой, и то и дело спрашивал: «А где же мой брат Карл?» . . . .Тогда, взяв стакан вина, он сказал: «За здоровье моих учителей в военном искусстве!» Реншильд спросил его, кого он почтил таким славным титулом. «Вас, господа шведские генералы»,— ответил царь. «В таком случае ваше величество очень неблагодарны,— ответил граф,— вы так дурно обошлись со своими учителями» *(франц.)*.

И за правду и вѣрность къ Монарсѣ нашу
Страданія и смерти испіймо чашу,
Злуданьемъ Мазепы, всевѣчно правы,
Посѣченны зоставше топоромъ во главы;
Почиваемъ въ семъ мѣстѣ Матери Владычнѣ,
Подающія всѣмъ своимъ рабомъ животъ вѣчный.

Року 1708, мѣсяца іюля 15 дня, посѣчены средь Обозу войсковаго, за Бѣлою Церковію на Борщаговцѣ и Ковшевомъ, благородный Василій Кочубей, судія генеральный; Іоаннъ Искра, полковникъ полтавскій. Привезены же тѣла их іюля 17 въ Кіевъ и того жъ дня въ обители святой Печерской на семъ мѣстѣ погребены».

ТАЗИТ

Не для бесед и ликований,
Не для кровавых совещаний,
Не для расспросов кунака,
Не для разбойничьей потехи
Так рано съехались адехи
На двор Гасуба старика.
В нежданной встрече сын Гасуба
Рукой завистника убит
Вблизи развалин Татартуба.
В родимой сакле он лежит.
Обряд творится погребальный.
Звучит уныло песнь муллы.
В арбу впряженные волы
Стоят пред саклею печальной.
Двор полон тесною толпой.
Подъемлют гости скорбный вой
И с плачем бьют нагрудны брони,
И, внемля шум небоевой,
Мятутся спутанные кони.
Все ждут. Из сакли наконец
Выходит между жен отец.
Два узденя за ним выносят
На бурке хладный труп. Толпу
По сторонам раздаться просят.
Слагают тело на арбу
И с ним кладут снаряд воинский:
Неразряженную пищаль,
Колчан и лук, кинжал грузинский
И шашки крестовую сталь,

Чтобы крепка была могила,
Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать.

В дорогу шествие готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи следуют сурово,
Смиряя молча пыл коней...
Уж потухал закат огнистый,
Златя нагорные скалы,
Когда долины каменистой
Достигли тихие волы.
В долине той враждою жадной
Сражен наездник молодой,
Там ныне тень могилы хладной
Воспримет труп его немой...

Уж труп землею взят. Могила
Завалена. Толпа вокруг
Мольбы последние творила.
Из-за горы явились вдруг
Старик седой и отрок стройный.
Дают дорогу пришлецу —
И скорбному старик отцу
Так молвил, важный и спокойный:
«Прошло тому тринадцать лет,
Как ты, в аул чужой пришед,
Вручил мне слабого младенца,
Чтоб воспитаньем из него
Я сделал храброго чеченца.
Сегодня сына одного
Ты преждевременно хоронишь.
Гасуб, покорен будь судьбе.
Другого я привел тебе.
Вот он. Ты голову приклонишь
К его могучему плечу.
Твою потерю им заменишь —
Труды мои ты сам оценишь,
Хвалиться ими не хочу».

Умолкнул. Смотрит торопливо
Гасуб на отрока. Тазит,
Главу потупя молчаливо,
Ему недвижим предстоит.

И в горе им Гасуб любуясь,
Влеченью сердца повинуясь,
Объемлет ласково его.
Потом наставника ласкает,
Благодарит и приглашает
Под кровлю дома своего.
Три дня, три ночи с кунаками
Его он хочет угощать
И после честно провожать
С благословеньем и дарами.
Ему ж, отец печальный мнит,
Обязан благом я бесценным:
Слугой и другом неизменным,
Могучим мстителем обид.

*

Проходят дни. Печаль заснула
В душе Гасуба. Но Тазит
Все дикость прежнюю хранит.
Среди родимого аула
Он как чужой; он целый день
В горах один; молчит и бродит.
Так в сакле кормленный олень
Все в лес глядит; все в глушь уходит.
Он любит — по крутым скалам
Скользить, ползти тропой кремнистой,
Внимая буре голосистой
И в бездне воющим волнам.
Он иногда до поздней ночи
Сидит, печален, над горой,
Недвижно в даль уставя очи,
Опершись на руку главой.
Какие мысли в нем проходят?
Чего желает он тогда?
Из мира дольнего куда
Младые сны его уводят?..
Как знать? Незрима глубь сердец.
В мечтаньях отрок своеволен,
Как ветер в небе...
Но отец
Уже Тазитом недоволен.
«Где ж,— мыслит он,— в нем плод наук,
Отважность, хитрость и проворство,
Лукавый ум и сила рук?

В нем только лень и непокорство.
Иль сына взор мой не проник,
Иль обманул меня старик».

*

Тазит из табуна выводит
Коня, любимца своего.
Два дни в ауле нет его,
На третий он домой приходит.

Отец

Где был ты, сын?

Сын

В ущелье скал,
Где прорван каменистый берег,
И путь открыт на Дариял.

Отец

Что делал там?

Сын

Я слушал Терек.

Отец

А не видал ли ты грузин
Иль русских?

Сын

Видел я, с товаром
Тифлисский ехал армянин.

Отец

Он был со стражей?

Сын

Нет, один.

Отец

Зачем нечаянным ударом
Не вздумал ты сразить его
И не прыгнул к нему с утеса? —

Потупил очи сын черкеса,
Не отвечая ничего.

*

Тазит опять коня седлает,
Два дня, две ночи пропадает,
Потом является домой.

Отец

Где был?

Сын

За белою горой.

Отец

Кого ты встретил?

Сын

На кургане
От пас бежавшего раба.

Отец

О милосердая судьба!
Где ж он? Ужели на аркане
Ты беглеца не притащил? —

Тазит опять главу склонил.
Гасуб нахмурился в молчанье,
Но скрыл свое негодованье.
«Нет,— мыслит он,— не заменит
Он никогда другого брата.
Не научился мой Тазит,
Как шашкой добывают злато.
Ни стад моих, ни табунов
Не наделят его разъезды.
Он только знает без трудов
Внимать волнам, глядеть на звезды,
А не в набегах отбивать
Коней с нагайскими быками
И с боя взятыми рабами
Суда в Анапе нагружать».

*

Тазит опять коня седлает.
Два дня, две ночи пропадает.
На третий, бледен, как мертвец,
Приходит он домой. Отец,
Его увидя, вопрошает:
«Где был ты?»

Сын

Около станиц
Кубани, близ лесных границ.
— — — — — — — — — — —

Отец

Кого ты видел?

Сын

Супостата.

Отец

Кого? кого?

Сын

Убийцу брата.

Отец

Убийцу сына моего!..
Приди!.. где голова его?
Тазит!.. Мне череп этот нужен.
Дай нагляжусь!

Сын

Убийца был
Один, изранен, безоружен...

Отец

Ты долга крови не забыл!..
Врага ты навзничь опрокинул,
Не правда ли? ты шашку вынул,
Ты в горло сталь ему воткнул
И трижды тихо повернул,

Упился ты его стенаньем,
Его змеиным издыханьем...
Где ж голова?.. подай... нет сил...—
Но сын молчит, потупя очи.
И стал Гасуб чернее ночи
И сыну грозно возопил:

«Поди ты прочь — ты мне не сын,
Ты не чеченец — ты старуха,
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной! поди — чтоб слуха
Никто о робком не имел,
Чтоб вечно ждал ты грозной встречи,
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
Чтоб ты, как раненый олень,
Бежал, тоскуя безотрадно,
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И как волчонка затерзали,
Чтоб ты... Беги... беги скорей,
Не оскверняй моих очей!»
Сказал и на земь лег — и очи
Закрыл. И так лежал до ночи.
Когда же приподнялся он,
Уже на синий небосклон
Луна, блистая, восходила
И скал вершины серебрила.
Тазита трижды он позвал.
Никто ему не отвечал...

*

Ущелий горных поселенцы
В долине шумно собрались —
Привычны игры начались.
Верьхами юные чеченцы,
В пыли несясь во весь опор,
Стрелою шапку пробивают,
Иль трижды сложенный ковер
Булатом сразу рассекают.
То скользкой тешатся борьбой,
То пляской быстрой. Жены, девы

Меж тем поют — и гул лесной
Далече вторит их напевы.
Но между юношей один
Забав наездничьих не делит,
Верхом не мчится вдоль стремнин,
Из лука звонкого не целит.
И между девами одна
Молчит уныла и бледна.
Они в толпе четою странной
Стоят, не видя ничего.
И горе им: он сын изгнанный,
Она любовница его...

О, было время!.. с ней украдкой
Видался юноша в горах.
Он пил огонь отравы сладкой
В ее смятенье, в речи краткой,
В ее потупленных очах,
Когда с домашнего порогу
Она смотрела на дорогу,
С подружкой резвой говоря —
И вдруг садилась и бледнела
И, отвечая, не глядела
И разгоралась, как заря —
Или у вод когда стояла,
Текущих с каменных вершин,
И долго кованый кувшин
Волною звонкой наполняла.
И он, не властный превозмочь
Волнений сердца, раз приходит
К ее отцу, его отводит
И говорит: «Твоя мне дочь
Давно мила. По ней тоскуя,
Один и сир, давно живу я.
Благослови любовь мою.
Я беден — но могуч и молод.
Мне труд легок. Я удалю
От нашей сакли тощий голод.
Тебе я буду сын и друг
Послушный, преданный и нежный,
Твоим сынам кунак надежный,
А ей — приверженный супруг».

1829

ДОМИК В КОЛОМНЕ

I

Четырестопный ямб мне надоел:
Им пишет всякий. Мальчикам в забаву
Пора б его оставить. Я хотел
Давным-давно приняться за октаву.
А в самом деле: я бы совладел
С тройным созвучием. Пущусь на славу!
Ведь рифмы запросто со мной живут;
Две придут сами, третью приведут.

II

А чтоб им путь открыть широкий, вольный,
Глаголы тотчас им я разрешу...
Вы знаете, что рифмой наглагольной
Гнушаемся мы. Почему? спрошу.
Так писывал Шихматов богомольный;
По большей части так и я пишу.
К чему? скажите; уж и так мы голы.
Отныне в рифмы буду брать глаголы.

III

Не стану их надменно браковать,
Как рекрутов, добившихся увечья,
Иль как коней, за их плохую стать,—
А подбирать союзы да наречья;
Из мелкой сволочи вербую рать.
Мне рифмы нужны; все готов сберечь я,
Хоть весь словарь; что слог, то и солдат —
Все годны в строй: у нас ведь не парад.

IV

Ну, женские и мужеские слоги!
Благословясь, попробуем: слушай!
Равняйтеся, вытягивайте ноги
И по три в ряд в октаву заезжай!
Не бойтесь, мы не будем слишком строги;
Держись вольней и только не плошай,
А там уже привыкнем, слава богу,
И выедем на ровную дорогу.

V

Как весело стихи свои вести
Под цифрами, в порядке, строй за строем,
Не позволять им в сторону брести,
Как войску, в пух рассыпанному боем!
Тут каждый слог замечен и в чести,
Тут каждый стих глядит себе героем,
А стихотворец... с кем же равен он?
Он Тамерлан иль сам Наполеон.

VI

Немного отдохнем на этой точке.
Что? перестать или *пустить на пе?..*
Признаться вам, я в пятистопной строчке
Люблю цезуру на второй стопе.
Иначе стих то в яме, то на кочке,
И хоть лежу теперь на канапе,
Все кажется мне, будто в тряском беге
По мерзлой пашне мчусь я на телеге.

VII

Что за беда? не все ж гулять пешком
По невскому граниту иль на бале
Лощить паркет, или скакать верхом
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
Со станции на станцию шажком,
Как говорят о том оригинале,
Который, не кормя, на рысаке
Приехал из Москвы к Неве-реке.

VIII

Скажу, рысак! Парнасский иноходец
Его не обогнал бы. Но Пегас
Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец
Иссох. Порос крапивою Парнас;
В отставке Феб живет, а хороводец
Старушек муз уж не прельщает нас.
И табор свой с классических вершинок
Перенесли мы на толкучий рынок.

IX

Усядься, муза: ручки в рукава,
Под лавку ножки! не вертись, резвушка!
Теперь начнем.— Жила-была вдова,
Тому лет восемь, бедная старушка,
С одною дочерью. У Покрова
Стояла их смиренная лачужка
За самой будкой. Вижу как теперь
Светелку, три окна, крыльцо и дверь.

X

Дни три тому туда ходил я вместе
С одним знакомым перед вечерком.
Лачужки этой нет уж там. На месте
Ее построен трехэтажный дом.
Я вспомнил о старушке, о невесте,
Бывало, тут сидевших под окном,
О той поре, когда я был моложе,
Я думал: живы ли они? — И что же?

XI

Мне стало грустно: на высокий дом
Глядел я косо. Если в эту пору
Пожар его бы охватил кругом,
То моему б озлобленному взору
Приятно было пламя. Странным сном
Бывает сердце полно; много вздору
Приходит нам на ум, когда бредем
Одни или с товарищем вдвоем.

XII

Тогда блажен, кто крепко словом правит
И держит мысль на привязи свою,
Кто в сердце усыпляет или давит
Мгновенно прошипевшую змию;
Но кто болтлив, того молва прославит
Вмиг извергом... Я воды Леты пью,
Мне доктором запрещена унылость:
Оставим это,— сделайте мне милость!

XIII

Старушка (я стократ видал точь-в-точь
В картинах Ре́мбрандта такие лица)
Носила чепчик и очки. Но дочь
Была, ей-ей, прекрасная девица:
Глаза и брови — темные как ночь,
Сама бела, нежна, как голубица;
В ней вкус был образованный. Она
Читала сочиненья Эмина,

XIV

Играть умела также на гитаре
И пела: *Стонет сизый голубок,*
И *Выду ль я,* и то, что уж постаре,
Все, что у печки в зимний вечерок,
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поет уныло русская девица,
Как музы наши грустная певица.

XV

Фигурно иль буквально: всей семьей,
От ямщика до первого поэта,
Мы все поем уныло. Грустный вой
Песнь русская. Известная примета!
Начав за здравие, за упокой
Сведем как раз. Печалию согрета
Гармония и наших муз и дев.
Но нравится их жалобный напев.

XVI

Параша (так звалась красотка наша)
Умела мыть и гладить, шить и плесть;
Всем домом правила одна Параша,
Поручено ей было счеты весть,
При ней варилась гречневая каша
(Сей важный труд ей помогала несть
Стряпуха Фекла, добрая старуха,
Давно лишенная чутья и слуха).

XVII

Старушка мать, бывало, под окном
Сидела; днем она чулок вязала,
А вечером за маленьким столом
Раскладывала карты и гадала.
Дочь между тем весь обегала дом,
То у окна, то на дворе мелькала,
И кто бы ни проехал иль ни шел,
Всех успевала видеть (зоркий пол!).

XVIII

Зимою ставни закрывались рано,
Но летом до́ ночи растворено
Все было в доме. Бледная Диана
Глядела долго девушке в окно.
(Без этого ни одного романа
Не обойдется; так заведено!)
Бывало, мать давным-давно храпела,
А дочка — на луну еще смотрела

XIX

И слушала мяуканье котов
По чердакам, свиданий знак нескромный,
Да стражи дальный крик, да бой часов —
И только. Ночь над мирною Коломной
Тиха отменно. Редко из домов
Мелькнут две тени. Сердце девы томной
Ей слышать было можно, как оно
В упругое толкалось полотно.

XX

По воскресеньям, летом и зимою,
Вдова ходила с нею к Покрову
И становилася перед толпою
У крылоса налево. Я живу
Теперь не там, но верною мечтою
Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в воскресенье
Там слушать русское богослуженье.

XXI

Туда, я помню, ездила всегда
Графиня... (звали как, не помню, право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу направо,
Все на нее. Параша перед ней
Казалась, бедная, еще бедней.

XXII

Порой графиня на нее небрежно
Бросала важный взор свой. Но она
Молилась богу тихо и прилежно
И не казалась им развлечена.
Смиренье в ней изображалось нежно;
Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе надменной и суровой.

XXIII

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,
Невольный взор они-то привлекали...
Но это знать графиня не могла
И, верно, в список жертв меня внесла.

XXIV

Она страдала, хоть была прекрасна
И молода, хоть жизнь ее текла
В роскошной неге; хоть была подвластна
Фортуна ей; хоть мода ей несла
Свой фимиам,— она была несчастна.
Блаженнее стократ ее была,
Читатель, новая знакомка ваша,
Простая, добрая моя Параша.

XXV

Коса змией на гребне роговом,
Из-за ушей змиею кудри русы,
Косыночка крест-накрест иль узлом,
На тонкой шее восковые бусы —
Наряд простой; но пред ее окном
Все ж ездили гвардейцы черноусы,
И девушка прельщать умела их
Без помощи нарядов дорогих.

XXVI

Меж ими кто ее был сердцу ближе,
Или равно для всех она была
Душою холодна? увидим ниже.
Покамест мирно жизнь она вела,
Не думая о балах, о Париже,
Ни о дворе (хоть при дворе жила
Ее сестра двоюродная, Вера
Ивановна, супруга гоф-фурьера).

XXVII

Но горе вдруг их посетило дом:
Стряпуха, возвратясь из бани жаркой,
Слегла. Напрасно чаем и вином,
И уксусом, и мятною припаркой
Ее лечили. В ночь пред рождеством
Она скончалась. С бедною кухаркой
Они простились. В тот же день пришли
За ней и гроб на Охту отвезли.

XXVIII

Об ней жалели в доме, всех же боле
Кот Васька. После вдовушка моя
Подумала, что два, три дня — не доле —
Жить можно без кухарки; что нельзя
Предать свою трапезу божьей воле.
Старушка кличет дочь: «Параша!» — Я! –
«Где взять кухарку? сведай у соседки,
Не знает ли. Дешевые так редки».

XXIX

— Узнаю, маменька.— И вышла вон,
Закутавшись. (Зима стояла грозно,
И снег скрыпел, и синий небосклон,
Безоблачен, в звездах, сиял морозно.)
Вдова ждала Парашу долго; сон
Ее клонил тихонько; было поздно,
Когда Параша тихо к ней вошла,
Сказав: — Вот я кухарку привела.

XXX

За нею следом, робко выступая,
Короткой юбочкой принарядясь,
Высокая, собою недурная,
Шла девушка и, низко поклонясь,
Прижалась в угол, фартук разбирая.
«А что возьмешь?» — спросила, обратясь,
Старуха.— Все, что будет вам угодно,—
Сказала та смиренно и свободно.

XXXI

Вдове понравился ее ответ.
«А как зовут?» — А Маврой.—
«Ну, Мавруша,
Живи у нас; ты молода, мой свет;
Гоняй мужчин. Покойница Феклуша
Служила мне в кухарках десять лет,
Ни разу долга чести не наруша.
Ходи за мной, за дочерью моей,
Усердна будь; присчитывать не смей».

XXXII

Проходит день, другой. В кухарке толку
Довольно мало: то переварит,
То пережарит, то с посудой полку
Уронит; вечно все пересолит,
Шить сядет — не умеет взять иголку;
Ее бранят — она себе молчит;
Везде, во всем уж как-нибудь подгадит.
Параша бьется, а никак не сладит.

«Домик в Коломне».
Гравюра И. В. Ческого с оригинала А. П. Брюллова.
Илл. из альманаха «Новоселье», ч. II, 1834 г.

XXXIII

Поутру, в воскресенье, мать и дочь
Пошли к обедне. Дома лишь осталась
Мавруша; видите ль: у ней всю ночь
Болели зубы; чуть жива таскалась;
Корицы нужно было натолочь,—
Пирожное испечь она сбиралась.
Ее оставили; но в церкви вдруг
На старую вдову нашел испуг.

XXXIV

Она подумала: «В Мавруше ловкой
Зачем к пирожному припала страсть?
Пирожница, ей-ей, глядит плутовкой!
Не вздумала ль она нас обокрасть
Да улизнуть? Вот будем мы с обновкой
Для праздника! Ахти, какая страсть!»
Так думая, старушка обмирала
И наконец, не вытерпев, сказала:

XXXV

«Стой тут, Параша. Я схожу домой;
Мне что-то страшно». Дочь не разумела,
Чего ей страшно. С паперти долой
Чуть-чуть моя старушка не слетела;
В ней сердце билось, как перед бедой.
Пришла в лачужку, в кухню посмотрела,—
Мавруши нет. Вдова к себе в покой
Вошла — и что ж? о боже! страх какой!

XXXVI

Пред зеркальцем Параши, чинно сидя,
Кухарка брилась. Что с моей вдовой?
«Ах, ах!» — и шлеппулась. Ее увидя,
Та, второпях, с намыленной щекой
Через старуху (вдовью честь обидя),
Прыгнула в сени, прямо на крыльцо,
Да ну бежать, закрыв себе лицо.

XXXVII

Обедня кончилась; пришла Параша.
«Что, маменька?» — Ах, Пашенька моя!
Маврушка...— «Что, что с ней?» — Кухарка паша...
Опомниться досель не в силах я...
За зеркальцем... вся в мыле...— «Воля ваша,
Мне, право, ничего понять нельзя;
Да где ж Мавруша?» — Ах, она разбойник!
Она здесь брилась!.. точно мой покойник!

XXXVIII

Параша закраснелась или нет,
Сказать вам не умею; но Маврушки
С тех пор как не было,— простыл и след!
Ушла, не взяв в уплату ни полушки
И не успев наделать важных бед.
У красной девушки и у старушки
Кто заступил Маврушу? признаюсь,
Не ведаю и кончить тороплюсь.

XXXIX

— Как, разве все тут? шутите! — «Ей-богу».
— Так вот куда октавы нас вели!
К чему ж такую подняли тревогу,
Скликали рать и с похвальбою шли?
Завидную ж вы избрали дорогу!
Ужель иных предметов не нашли?
Да нет ли хоть у вас нравоученья?
«Нет... или есть: минуточку терпенья...

XL

Вот вам мораль: по мненью моему,
Кухарку даром нанимать опасно;
Кто ж родился мужчиною, тому
Рядиться в юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себе, что несогласно
С природой дамской... Больше ничего
Не выжмешь из рассказа моего».

1830

АНДЖЕЛО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В одном из городов Италии счастливой
Когда-то властвовал предобрый, старый Дук,
Народа своего отец чадолюбивый,
Друг мира, истины, художеств и наук.
Но власть верховная не терпит слабых рук,
А доброте своей он слишком предавался.
Народ любил его и вовсе не боялся.
В суде его дремал карающий закон,
Как дряхлый зверь уже к ловитве неспособный.
Дук это чувствовал в душе своей незлобной
И часто сетовал. Сам ясно видел он,
Что хуже дедушек с дня на день были внуки,
Что грудь кормилицы ребенок уж кусал,
Что правосудие сидело сложа руки
И по носу его ленивый не щелкал.

II

Нередко добрый Дук, раскаяньем смущенный,
Хотел восстановить порядок упущенный;
Но как? Зло явное, терпимое давно,
Молчанием суда уже дозволено,
И вдруг его казнить совсем несправедливо
И странно было бы — тому же особливо,
Кто первый сам его потворством ободрял.
Что делать? долго Дук терпел и размышлял;
Размыслив наконец, решился он на время
Предать иным рукам верховной власти бремя,
Чтоб новый властелин расправой новой мог
Порядок вдруг завесть и был бы крут и строг.

III

Был некто Анджело, муж опытный, не новый
В искусстве властвовать, обычаем суровый,
Бледнеющий в трудах, ученье и посте,
За нравы строгие прославленный везде,

Стеснивший весь себя оградою законной,
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной;
Его-то старый Дук наместником парек,
И в ужас ополчил, и милостью облек,
Неограниченны права ему вручая.
А сам, докучного вниманья избегая,
С народом не простясь, incognito, один
Пустился странствовать, как древний паладин.

IV

Лишь только Анджело вступил во управленье,
И все тотчас другим порядком потекло,
Пружины ржавые опять пришли в движенье,
Законы поднялись, хватая в когти зло,
На полных площадях, безмолвных от боязни,
По пятницам пошли разыгрываться казни,
И ухо стал себе почесывать народ
И говорить: «Эхе! да этот уж не тот».

V

Между законами забытыми в ту пору
Жестокий был один: закон сей изрекал
Прелюбодею смерть. Такого приговору
В том городе никто не помнил, не слыхал.
Угрюмый Анджело в громаде уложенья
Открыл его — и в страх повесам городским
Опять его на свет пустил для исполненья,
Сурово говоря помощникам своим:
«Пора нам зло пугнуть. В балованном пароде
Преобратилися привычки уж в права
И шмыгают кругом закона на свободе,
Как мыши около зевающего льва.
Закон не должен быть пужало из тряпицы,
На коем наконец уже садятся птицы».

VI

Так Анджело на всех навел невольно дрожь,
Роптали вообще, смеялась молодежь
И в шутках строгого вельможи не щадила,
Меж тем как ветрено над бездною скользила,

И первый под топор беспечной головой
Попался Клавдио, патриций молодой.
В надежде всю беду со временем исправить
И не любовницу, супругу в свет представить,
Джюльету нежную успел он обольстить
И к таинствам любви безбрачной преклонить.
Но их последствия к несчастью явны стали;
Младых любовников свидетели застали,
Ославили в суде взаимный их позор,
И юноше прочли законный приговор.

VII

Несчастный, выслушав жестокое решенье,
С поникшей головой обратно шел в тюрьму,
Невольно каждому внушая сожаленье
И горько сетуя. Навстречу вдруг ему
Попался Луцио, гуляка беззаботный,
Повеса, вздорный враль, но малый доброхотный.
«Друг,— молвил Клавдио,— молю! не откажи:
Сходи ты в монастырь к сестре моей. Скажи,
Что должен я на смерть идти; чтоб поспешила
Она спасти меня, друзей бы упросила,
Иль даже бы пошла к наместнику сама.
В ней много, Луцио, искусства и ума,
Бог дал ее речам уверчивость и сладость,
К тому ж и без речей рыдающая младость
Мягчит сердца людей».— «Изволь! поговорю»,—
Гуляка отвечал, и сам к монастырю
Тотчас отправился.

VIII

Младая Изабела
В то время с важною монахиней сидела.
Постричься через день она должна была
И разговор о том со старицей вела.
Вдруг Луцио звонит и входит. У решетки
Его приветствует, перебирая четки,
Полузатворница: «Кого угодно вам?»
— Девица (и судя по розовым щекам,
Уверен я, что вы девица в самом деле),
Нельзя ли доложить прекрасной Изабеле,
Что к ней меня прислал ее несчастный брат?

«Несчастный?.. почему? что с ним? скажите смело:
Я Клавдио сестра».— Нет, право? очень рад.
Он кланяется вам сердечно. Вот в чем дело:
Ваш брат в тюрьме.— «За что?» — За то, за что бы я
Благодарил его, красавица моя,
И не было б ему иного наказанья.—
(Тут он в подробные пустился описанья,
Немного жесткие своею наготой
Для девственных ушей отшельницы младой,
Но со вниманием все выслушала дева
Без приторных причуд стыдливости и гнева.
Она чиста была душою как эфир.
Ее смутить не мог неведомый ей мир
Своею суетой и праздными речами.)
— Теперь,— примолвил он,— осталось лишь мольбами
Вам тронуть Анджело, и вот о чем просил
Вас братец.— «Боже мой,— девица отвечала,—
Когда б от слов моих я пользы ожидала!..
Но сомневаюся; во мне не станет сил...»
— Сомненья нам враги,— тот с жаром возразил,—
Нас неудачею предатели стращают
И благо верное достать не допущают.
Ступайте к Анджело, и знайте от меня,
Что если девица, колена преклоня
Перед мужчиною, и просит и рыдает,
Как бог он все дает, чего ни пожелает.

IX

Девица, отпросясь у матери честной,
С усердным Луцио к вельможе поспешила
И, на колена встав, смиренною мольбой
За брата своего наместника молила.
«Девица,— отвечал суровый человек,—
Спасти его нельзя; твой брат свой отжил век;
Он должен умереть». Заплакав, Изабела
Склонилась перед ним и прочь идти хотела,
Но добрый Луцио девицу удержал.
«Не отступайтесь так,— он тихо ей сказал,—
Просите вновь его; бросайтесь на колени,
Хватайтеся за плащ, рыдайте; слезы, пени,
Все средства женского искусства вы должны

Теперь употребить. Вы слишком холодны,
Как будто речь идет меж вами про иголку.
Конечно, если так, не будет, верно, толку.
Не отставайте же! еще!»

X

Она опять
Усердною мольбой стыдливо умолять
Жестокосердого блюстителя закона.
«Поверь мне,— говорит,— ни царская корона,
Ни меч наместника, ни бархат судии,
Ни полководца жезл — все почести сии —
Земных властителей ничто не украшает,
Как милосердие. Оно их возвышает.
Когда б во власть твою мой брат был облечен,
А ты был Клавдио, ты мог бы пасть, как он,
Но брат бы не был строг, как ты».

XI

Ее укором
Смущен был Анджело. Сверкая мрачным взором,
«Оставь меня, прошу»,— сказал он тихо ей.
Но дева скромная и жарче и смелей
Была час от часу. «Подумай,— говорила,—
Подумай, если тот, чья праведная сила
Прощает и целит, судил бы грешных нас
Без милосердия; скажи: что было б с нами?
Подумай — и любви услышишь в сердце глас,
И милость нежная твоими дхнет устами,
И новый человек ты будешь».

XII

Он в ответ:
«Поди; твои мольбы пустая слов утрата.
Не я, закон казнит. Спасти нельзя мне брата,
И завтра он умрет».

Изабела

Как завтра! что? нет, нет.
Он не готов еще, казнить его не можно...
Ужели господу пошлем неосторожно

Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят
Не бьем до времени. Так скоро не казнят.
Спаси, спаси его: подумай в самом деле,
Ты знаешь, государь, несчастный осужден
За преступление, которое доселе
Прощалось каждому; постраждет первый он.

Анджело

Закон не умирал, но был лишь в усыпленье,
Теперь проснулся он.

Изабела

Будь милостив!

Анджело

Нельзя.
Потворствовать греху есть то же преступленье,
Карая одного, спасаю многих я.

Изабела

Ты ль первый изречешь сей приговор ужасный?
И первой жертвою мой будет брат несчастный.
Нет, нет! будь милостив. Ужель душа твоя
Совсем безвинная? спросись у ней: ужели
И мысли грешные в ней отроду не тлели?

XIII

Невольно он вздрогнул, поникнул головой
И прочь идти хотел. Она: «Постой, постой!
Послушай, воротись. Великими дарами
Я задарю тебя... прими мои дары,
Они не суетны, но честны и добры,
И будешь ими ты делиться с небесами:
Я одарю тебя молитвами души
Пред утренней зарей, в полунощной тиши,
Молитвами любви, смирения и мира,
Молитвами святых, угодных небу дев,
В уединении умерших уж для мира,
Живых для господа».
Смущен и присмирев,
Он ей свидание на завтра назначает
И в отдаленные покои поспешает.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

День целый Анджело, безмолвный и угрюмый,
Сидел, уединясь, объят одною думой,
Одним желанием; всю ночь не тронул сон
Усталых вежд его. «Что ж это? — мыслит он,—
Ужель ее люблю, когда хочу так сильно
Услышать вновь ее и взор мой усладить
Девичьей прелестью? По ней грустит умильно
Душа... или когда святого уловить
Захочет бес, тогда приманкою святою
И манит он на крюк? Нескромной красотою
Я не был отроду к соблазнам увлечен,
И чистой девою теперь я побежден.
Влюбленный человек доселе мне казался
Смешным, и я его безумству удивлялся.
А ныне!..»

II

Размышлять, молиться хочет он,
Но мыслит, молится рассеянно. Словами
Он небу говорит, а волей и мечтами
Стремится к ней одной. В унынье погружен,
Устами праздными жевал он имя бога,
А в сердце грех кипел. Душевная тревога
Его осилила. Правленье для него,
Как дельная, давно затверженная книга,
Несносным сделалось. Скучал он; как от ига,
Отречься был готов от сана своего;
А важность мудрую, которой столь гордился,
Которой весь народ бессмысленно дивился,
Ценил он ни во что и сравнивал с пером,
Носимым в воздухе летучим ветерком...
. . . . . .
Поутру к Анджело явилась Изабела
И странный разговор с наместником имела.

III

Анджело

Что скажешь?

Изабела

Волю я твою пришла узнать.

Анджело

Ах, если бы ее могла ты угадать!..
Твой брат не должен жить... а мог бы.

Изабела

Почему же
Простить нельзя его?

Анджело

Простить? что в мире хуже
Столь гнусного греха? убийство легче.

Изабела

Да,
Так судят в небесах, но на земле когда?

Анджело

Ты думаешь? так вот тебе предположенье:
Что если б отдали тебе на разрешенье
Оставить брата влечь ко плахе на убой,
Иль искупить его, пожертвовав собой
И плоть предав греху?

Изабела

Скорее, чем душою,
Я плотью жертвовать готова.

Анджело

Я с тобою
Теперь не о душе толкую... дело в том:
Брат осужден на казнь; его спасти грехом
Не милосердие ль?

Изабела

Пред богом я готова
Душою отвечать: греха в том никакого,
Поверь, и нет. Спаси ты брата моего!
Тут милость, а не грех.

Анджело

Спасешь ли ты его,
Коль милость на весах равно с грехом потянет?

Изабела

О, пусть моим грехом спасенье брата станет!
(Коль только это грех.) О том готова я
Молиться день и ночь.

Анджело

Нет, выслушай меня,
Или ты слов моих совсем не понимаешь,
Или понять меня нарочно избегаешь,
Я проще изъяснюсь: твой брат приговорен.

Изабела

Так.

Анджело

Смерть изрек ему решительно закон.

Изабела

Так точно.

Анджело

Средство есть одно к его спасенью.
(Все это клонится к тому предположенью,
И только есть вопрос и больше ничего.)
Положим: тот, кто б мог один спасти его
(Наперсник судии, иль сам по сану властный
Законы толковать, мягчить их смысл ужасный),
К тебе желаньем был преступным воспален
И требовал, чтоб ты казнь брата искупила
Своим падением; не то — решит закон.
Что скажешь? как бы ты в уме своем решила?

Изабела

Для брата, для себя решилась бы скорей,
Поверь, как яхонты, носить рубцы бичей
И лечь в кровавый гроб спокойно, как на ложе,
Чем осквернить себя.

Анджело

Твой брат умрет.

Изабела

Так что же?
Он лучший путь себе, конечно, изберет.
Бесчестием сестры души он не спасет.
Брат лучше раз умри, чем гибнуть мне навечно.

Анджело

За что ж казалося тебе бесчеловечно
Решение суда? Ты обвиняла нас
В жестокосердии. Давно ль еще? Сейчас
Ты праведный закон тираном называла,
А братний грех едва ль не шуткой почитала.

Изабела

Прости, прости меня. Невольно я душой
Тогда лукавила. Увы! себе самой
Противуречила я, милое спасая
И ненавистное притворно извиняя.
Мы слабы.

Анджело

Я твоим признаньем ободрен.
Так женщина слаба, я в этом убежден
И говорю тебе: будь женщина, не боле —
Иль будешь ничего. Так покорися воле
Судьбы своей.

Изабела

Тебя я не могу понять.

Анджело

Поймешь: люблю тебя.

Изабела

Увы! что мне сказать?
Джюльету брат любил, и он умрет, несчастный.

Анджело

Люби меня, и жив он будет.

И з а б е л а

Знаю: властный
Испытывать других, ты хочешь...

А н д ж е л о

Нет, клянусь,
От слова моего теперь не отопрусь;
Клянуся честию.

И з а б е л а

О, много, много чести!
И дело честное!.. Обманщик! Демон лести!
Сейчас мне Клавдио свободу подпиши,
Или поступок твой и черноту души
Я всюду разглашу — и полно лицемерить
Тебе перед людьми.

А н д ж е л о

И кто же станет верить?
По строгости моей известен свету я;
Молва всеобщая, мой сан, вся жизнь моя
И самый приговор над братней головою
Представят твой донос безумной клеветою.
Теперь я волю дал стремлению страстей.
Подумай и смирись пред волею моей;
Брось эти глупости: и слезы, и моленья,
И краску робкую. От смерти, от мученья
Тем брата не спасешь. Покорностью одной
Искупишь ты его от плахи роковой.
До завтра от тебя я стану ждать ответа.
И знай, что твоего я не боюсь извета.
Что хочешь говори, не пошатнуся я.
Всю истину твою низвергнет ложь моя.

IV

Сказал и вышел вон, невинную девицу
Оставя в ужасе. Поднявши к небесам
Молящий, ясный взор и чистую десницу,
От мерзостных палат спешит она в темницу.
Дверь отворилась ей; и брат ее глазам
Представился.

V

В цепях, в унынии глубоком,
О светских радостях стараясь не жалеть,
Еще надеясь жить, готовясь умереть,
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком
Под черным куколем с распятием в руках
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одна другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бедный Клавдио печально соглашался,
А в сердце милою Джюльетой занимался.
Отшельница вошла: «Мир вам!» — очнулся он
И смотрит на сестру, мгновенно оживлен.
«Отец мой,— говорит монаху Изабела,—
Я с братом говорить одна бы здесь хотела».
Монах оставил их.

VI

Клавдио

Что ж, милая сестра,
Что скажешь?

Изабела

Милый брат, пришла тебе пора.

Клавдио

Так нет спасенья?

Изабела

Нет, иль разве поплатиться
Душой за голову?

Клавдио

Так средство есть одно?

Изабела

Так, есть. Ты мог бы жить. Судья готов смягчиться.
В нем милосердие бесовское: оно
Тебе дарует жизнь за узы муки вечной.

Клавдио

Что? Вечная тюрьма?

Изабела

Тюрьма — хоть без оград,
Без цепи.

Клавдио

Изъяснись, что ж это?

Изабела

Друг сердечный,
Брат милый! Я боюсь... Послушай, милый брат,
Семь, восемь лишних лет ужель тебе дороже
Всегдашней чести? Брат, боишься ль умереть?
Что чувство смерти? миг. И много ли терпеть?
Раздавленный червяк при смерти терпит то же,
Что терпит великан.

Клавдио

Сестра! или я трус?
Или идти на смерть во мне не станет силы?
Поверь, без трепета от мира отрешусь,
Коль должен умереть; и встречу ночь могилы,
Как деву милую.

Изабела

Вот брат мой! узнаю;
Из гроба слышу я отцовский голос. Точно:
Ты должен умереть; умри же беспорочно.
Послушай, ничего тебе не утаю:
Тот грозный судия, святоша тот жестокий,
Чьи взоры строгие во всех родят боязнь,
Чья избранная речь шлет отроков на казнь,
Сам демон; сердце в нем черно, как ад глубокий,
И полно мерзостью.

Клавдио

Наместник?

Изабела

Ад облек
Его в свою броню. Лукавый человек!..
Знай: если б я его бесстыдное желанье
Решилась утолить, тогда бы мог ты жить.

Клавдио

О нет, не надобно.

Изабела

На гнусное свиданье,
Сказал он, нынче в ночь должна я поспешить,
Иль завтра ты умрешь.

Клавдио

Нейди, сестра.

Изабела

Брат милый!
Бог видит: ежели одной моей могилой
Могла бы я тебя от казни искупить,
Не стала б более иголки дорожить
Я жизнию моей.

Клавдио

Благодарю, друг милый!

Изабела

Так завтра, Клавдио, ты к смерти будь готов.

Клавдио

Да, так... и страсти в нем кипят с такою силой!
Иль в этом нет греха; иль из семи грехов
Грех это меньший?

Изабела

Как?

Клавдио

Такого прегрешенья
Там, верно, не казнят. Для одного мгновенья
Ужель себя сгубить решился б он навек?
Нет, я не думаю. Он умный человек.
Ах, Изабела!

Изабела

Что? что скажешь?

Клавдио

Смерть ужасна!

Изабела

И стыд ужасен.

Клавдио

Так — однако ж... умереть,
Идти неведомо куда, во гробе тлеть
В холодной тесноте... Увы! земля прекрасна
И жизнь мила. А тут: войти в немую мглу,
Стремглав низвергнуться в кипящую смолу,
Или во льду застыть, иль с ветром быстротечным
Носиться в пустоте пространством бесконечным...
И все, что грезится отчаянной мечте...
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалях, в старости, в неволе... будет раем
В сравненье с тем, чего за гробом ожидаем.

Изабела

О боже!

Клавдио

Друг ты мой! Сестра! позволь мне жить.
Уж если будет грех спасти от смерти брата,
Природа извинит.

Изабела

Что смеешь говорить?
Трус! тварь бездушная! от сестрина разврата
Себе ты жизни ждешь!.. Кровосмеситель! нет,
Я думать не могу, нельзя, чтоб жизнь и свет
Моим отцом тебе даны. Прости мне, боже!
Нет, осквернила мать отеческое ложе,
Коль понесла тебя! Умри. Когда бы я
Спасти тебя могла лишь волею моею,
То все-таки б теперь свершилась казнь твоя.
Я тысячу молитв за смерть твою имею,
За жизнь — уж ни одной...

Клавдио

Сестра, постой, постой!
Сестра, прости меня!

VII

И узник молодой
Удерживал ее за платье. Изабела
От гнева своего насилу охладела,
И брата бедного простила, и опять,
Лаская, начала страдальца утешать.

ЧАСТЬ ТРЕТИЯ

I

Монах стоял меж тем за дверью отпертою
И слышал разговор меж братом и сестрою.
Пора мне вам сказать, что старый сей монах
Не что иное был, как Дук переодетый.
Пока народ считал его в чужих краях
И сравнивал, шутя, с бродящею кометой,
Скрывался он в толпе, все видел, наблюдал
И соглядатаем незримым посещал
Палаты, площади, монастыри, больницы,
Развратные дома, театры и темницы.
Воображение живое Дук имел;
Романы он любил и, может быть, хотел
Халифу подражать Гаруну Аль-Рашиду.
Младой отшельницы подслушав весь рассказ,
В растроганном уме решил он тот же час
Не только наказать жестокость и обиду,
Но сладить кое-что... Он тихо в дверь вошел,
Девицу отозвал и в уголок отвел.
«Я слышал все,— сказал,— ты похвалы достойна,
Свой долг исполнила ты свято; но теперь
Предайся ж ты моим советам. Будь покойна,
Все к лучшему придет; послушна будь и верь».
Тут он ей объяснил свое предположенье
И дал прощальное свое благословенье.

II

Друзья! поверите ль, чтоб мрачное чело,
Угрюмой, злой души печальное зерцало,
Желанья женские навеки привязало
И нежной красоте понравиться могло?

Не чудно ли? Но так. Сей Анджело надменный,
Сей злобный человек, сей грешник — был любим
Душою нежною, печальной и смиренной,
Душой, отверженной мучителем своим.
Он был давно женат. Летунья легкокрила,
Младой его жены молва не пощадила,
Без доказательства насмешливо коря;
И он ее прогнал, надменно говоря:
«Пускай себе молвы неправо обвиненье,
Нет нужды. Не должно коснуться подозренье
К супруге кесаря». С тех пор она жила
Одна в предместии, печально изнывая.
Об ней-то вспомнил Дук, и дева молодая
По наставлению монаха к ней пошла.

III

Марьяна под окном за пряжею сидела
И тихо плакала. Как ангел, Изабела
Пред ней нечаянно явилась у дверей.
Отшельница была давно знакома с ней
И часто утешать несчастную ходила.
Монаха мысль она ей тотчас объяснила.
Марьяна, только лишь настанет ночи мгла,
К палатам Анджело идти должна была,
В саду с ним встретиться под каменной оградой
И, наградив его условленной наградой,
Чуть внятным шепотом, прощаяся, шепнуть
Лишь только то: *теперь о брате не забудь.*
Марьяна бедная сквозь слезы улыбалась,
Готовилась дрожа — и дева с ней рассталась.

IV

Всю ночь в темнице Дук последствий ожидал
И, сидя с Клавдио, страдальца утешал.
Пред светом снова к ним явилась Изабела.
Все шло как надобно: сейчас у ней сидела
Марьяна бледная, с успехом возвратясь
И мужа обманув. Денница занялась —
Вдруг запечатанный приказ приносит вестник
Начальнику тюрьмы. Читают: что ж? Наместник
Немедля узника приказывал казнить
И голову его в палаты предъявить.

V

Замыслив новую затею, Дук представил
Начальнику тюрьмы свой перстень и печать
И казнь остановил, а к Анджело отправил
Другую голову, велев обрить и снять
Ее с широких плеч разбойника морского,
Горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме,
А сам отправился, дабы вельможу злого,
Столь гнусные дела творящего во тьме,
Пред светом обличить.

VI

Едва молва невнятно
О казни Клавдио успела пробежать,
Пришла другая весть. Узнали, что обратно
Ко граду едет Дук. Народ его встречать
Толпами кинулся. И Анджело смущенный,
Грызомый совестью, предчувствием стесненный,
Туда же поспешил. Улыбкой добрый Дук
Приветствует народ, теснящийся вокруг,
И дружно к Анджело протягивает руку.
И вдруг раздался крик — и прямо в ноги Дуку
Девица падает. «Помилуй, государь!
Ты щит невинности, ты милости алтарь,
Помилуй!..» — Анджело бледнеет и трепещет
И взоры дикие на Изабелу мещет...
Но победил себя. Оправиться успев,
«Она помешана,— сказал он,— видев брата,
Приговоренного на смерть. Сия утрата
В ней разум потрясла...»
Но обнаружа гнев
И долго скрытое в душе негодованье,
«Все знаю,— молвил Дук; — все знаю! наконец
Злодейство на земле получит воздаянье.
Девица, Анджело! за мною, во дворец!»

VII

У трона во дворце стояла Мариана
И бедный Клавдио. Злодей, увидев их,
Затрепетал, челом поникнул и утих;
Все объяснилося, и правда из тумана
Возникла; Дук тогда: «Что, Анджело, скажи,

Чего достоин ты?» Без слез и без боязни,
С угрюмой твердостью тот отвечает: «Казни.
И об одном молю: скорее прикажи
Вести меня на смерть».
«Иди,— сказал властитель,—
Да гибнет судия — торгаш и обольститель».
Но бедная жена, к ногам его упав,
«Помилуй,— молвила,— ты, мужа мне отдав,
Не отымай опять; не смейся надо мною».
— Не я, но Анджело смеялся над тобою,—
Ей Дук ответствует,— но о твоей судьбе
Сам буду я пещись. Останутся тебе
Его сокровища, и будешь ты награда
Супругу лучшему.— «Мне лучшего не надо.
Помилуй, государь! не будь неумолим,
Твоя рука меня соединила с ним!
Ужели для того так долго я вдовела?
Он человечеству свою принес лишь дань.
Сестра! спаси меня! друг милый, Изабела!
Проси ты за него, хоть на колени стань,
Хоть руки подыми ты молча!»
Изабела
Душой о грешнике, как ангел, пожалела
И, пред властителем колена преклоня,
«Помилуй, государь,— сказала.— За меня
Не осуждай его. Он (сколько мне известно,
И как я думаю) жил праведно и честно,
Покамест на меня очей не устремил.
Прости же ты его!»
И Дук его простил.

1833

МЕДНЫЙ ВСАДНИК

Петербургская повесть

ПРЕДИСЛОВИЕ

Происшествие, описанное в сей повести, основано на истине. Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов. Любопытные могут справиться с известием, составленным *В. Н. Берхом.*

ВСТУПЛЕНИЕ

На берегу пустынных волн
Стоял *он*, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челп
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал оп:
Отсель грозить мы будем шведу,
Здесь будет город заложеп
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно [1],
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,

И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфирородная вдова.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса [2].
Люблю зимы твоей жестокой
Недвижный воздух и мороз,
Бег санок вдоль Невы широкой,
Девичьи лица ярче роз,
И блеск, и шум, и говор балов,
А в час пирушки холостой
Шипенье пенистых бокалов
И пунша пламень голубой.
Люблю воинственную живость
Потешных Марсовых полей,
Пехотных ратей и коней
Однообразную красивость,
В их стройно зыблемом строю
Лоскутья сих знамен победных,
Сиянье шапок этих медных,
Насквозь простреленных в бою.
Люблю, военная столица,
Твоей твердыни дым и гром,
Когда полнощная царица
Дарует сына в царский дом,
Или победу над врагом
Россия снова торжествует,

Или, взломав свой синий лед,
Нева к морям его несет
И, чуя вешни дни, ликует.

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия,
Да умирится же с тобой
И побежденная стихия;
Вражду и плен старинный свой
Пусть волны финские забудут
И тщетной злобою не будут
Тревожить вечный сон Петра!

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье...
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом.
Плеская шумною волной
В края своей ограды стройной,
Нева металась, как больной
В своей постеле беспокойной.
Уж было поздно и темно;
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя.
В то время из гостей домой
Пришел Евгений молодой...
Мы будем нашего героя
Звать этим именем. Оно
Звучит приятно; с ним давно
Мое перо к тому же дружно.
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;

Но ныне светом и молвой
Оно забыто. Наш герой
Живет в Коломне; где-то служит,
Дичится знатных и не тужит
Ни о почиющей родне,
Ни о забытой старине.

Итак, домой пришед, Евгений
Стряхнул шинель, разделся, лег.
Но долго он заснуть не мог
В волненье разных размышлений.
О чем же думал он? о том,
Что был он беден, что трудом
Он должен был себе доставить
И независимость и честь;
Что мог бы бог ему прибавить
Ума и денег. Что ведь есть
Такие праздные счастливцы,
Ума недальнего, ленивцы,
Которым жизнь куда легка!
Что служит он всего два года;
Он также думал, что погода
Не унималась; что река
Все прибывала; что едва ли
С Невы мостов уже не сняли
И что с Парашей будет он
Дни на два, на три разлучен.
Евгений тут вздохнул сердечно
И размечтался, как поэт:

«Жениться? Мне? зачем же нет?
Оно и тяжело, конечно;
Но что ж, я молод и здоров,
Трудиться день и ночь готов;
Уж кое-как себе устрою
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокою.
Пройдет, быть может, год-другой —
Местечко получу, Параше
Препоручу семейство наше
И воспитание ребят...
И станем жить, и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Так он мечтал. И грустно было
Ему в ту ночь, и он желал,
Чтоб ветер выл не так уныло
И чтобы дождь в окно стучал
Не так сердито...
Сонны очи
Он наконец закрыл. И вот
Редеет мгла ненастной ночи
И бледный день уж настает...[3]
Ужасный день!
Нева всю ночь
Рвалася к морю против бури,
Не одолев их буйной дури...
И спорить стало ей невмочь...
Поутру над ее брегами
Теснился кучами народ,
Любуясь брызгами, горами
И пеной разъяренных вод.
Но силой ветров от залива
Перегражденная Нева
Обратно шла, гневна, бурлива,
И затопляла острова,
Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челны
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревны, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты,
Грозой снесенные мосты,
Гроба с размытого кладбища
Плывут по улицам!

Народ
Зрит божий гнев и казни ждет.
Увы! все гибнет: кров и пища!
Где будет взять?
В тот грозный год
Покойный царь еще Россией
Со славой правил. На балкон,
Печален, смутен, вышел он
И молвил: «С божией стихией
Царям не совладеть». Он сел
И в думе скорбными очами
На злое бедствие глядел.
Стояли стогны озерами,
И в них широкими реками
Вливались улицы. Дворец
Казался островом печальным.
Царь молвил — из конца в конец,
По ближним улицам и дальным
В опасный путь средь бурных вод
Его пустились генералы [4]
Спасать и страхом обуялый
И дома тонущий народ.

Тогда, на площади Петровой,
Где дом в углу вознесся новый,
Где над возвышенным крыльцом
С подъятой лапой, как живые,
Стоят два льва сторожевые,
На звере мраморном верхом,
Без шляпы, руки сжав крестом,
Сидел недвижный, страшно бледный
Евгений. Он страшился, бедный,
Не за себя. Он не слыхал,
Как подымался жадный вал,
Ему подошвы подмывая,
Как дождь ему в лицо хлестал,
Как ветер, буйно завывая,
С него и шляпу вдруг сорвал.
Его отчаянные взоры
На край один наведены
Недвижно были. Словно горы,
Из возмущенной глубины
Вставали волны там и злились,

Там буря выла, там носились
Обломки... Боже, боже! там —
Увы! близехонько к волнам,
Почти у самого залива —
Забор некрашеный, да ива
И ветхий домик: там оне,
Вдова и дочь, его Параша,
Его мечта... Или во сне
Он это видит? иль вся наша
И жизнь ничто, как сон пустой,
Насмешка неба над землей?

И он, как будто околдован,
Как будто к мрамору прикован,
Сойти не может! Вкруг него
Вода и больше ничего!
И, обращен к нему спиною,
В неколебимой вышине,
Над возмущенною Невою
Стоит с простертою рукою
Кумир на бронзовом копе.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любуясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Вода сбыла, и мостовая
Открылась, и Евгений мой
Спешит, душою замирая,

В надежде, страхе и тоске
К едва смирившейся реке.
Но, торжеством победы полны,
Еще кипели злобно волны,
Как бы под ними тлел огонь,
Еще их пена покрывала,
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
Евгений смотрит: видит лодку;
Он к ней бежит как на находку;
Он перевозчика зовет —
И перевозчик беззаботный
Его за гривенник охотно
Чрез волны страшные везет.

И долго с бурными волнами
Боролся опытный гребец,
И скрыться вглубь меж их рядами
Всечасно с дерзкими пловцами
Готов был челн — и наконец
Достиг он берега.
Несчастный
Знакомой улицей бежит
В места знакомые. Глядит,
Узнать не может. Вид ужасный!
Все перед ним завалено;
Что сброшено, что снесено;
Скривились домики, другие
Совсем обрушились, иные
Волнами сдвинуты; кругом,
Как будто в поле боевом,
Тела валяются. Евгений
Стремглав, не помня ничего,
Изнемогая от мучений,
Бежит туда, где ждет его
Судьба с неведомым известьем,
Как с запечатанным письмом.
И вот бежит уж он предместьем,
И вот залив, и близок дом...
Что ж это?..
Он остановился.
Пошел назад и воротился.
Глядит... идет... еще глядит.
Вот место, где их дом стоит;

Вот ива. Были здесь вороты —
Снесло их, видно. Где же дом?
И, полон сумрачной заботы,
Все ходит, ходит он кругом,
Толкует громко сам с собою —
И вдруг, ударя в лоб рукою,
Захохотал.
Ночная мгла
На город трепетный сошла;
Но долго жители не спали
И меж собою толковали
О дне минувшем.
Утра луч
Из-за усталых, бледных туч
Блеснул над тихою столицей
И не нашел уже следов
Беды вчерашней; багряницей
Уже прикрыто было зло.
В порядок прежний все вошло.
Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ. Чиновный люд,
Покинув свой ночной приют,
На службу шел. Торгаш отважный,
Не унывая, открывал
Невой ограбленный подвал,
Сбираясь свой убыток важный
На ближнем выместить. С дворов
Свозили лодки.
Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов.

Но бедный, бедный мой Евгений...
Увы! его смятенный ум
Против ужасных потрясений
Не устоял. Мятежный шум
Невы и ветров раздавался
В его ушах. Ужасных дум
Безмолвно полон, он скитался.
Его терзал какой-то сон.
Прошла неделя, месяц — он
К себе домой не возвращался.

Его пустынный уголок
Отдал внаймы, как вышел срок,
Хозяин бедному поэту.
Евгений за своим добром
Не приходил. Он скоро свету
Стал чужд. Весь день бродил пешком,
А спал на пристани; питался
В окошко поданным куском.
Одежда ветхая на нем
Рвалась и тлела. Злые дети
Бросали камни вслед ему.
Нередко кучерские плети
Его стегали, потому
Что он не разбирал дороги
Уж никогда; казалось — он
Не примечал. Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...
Раз он спал
У невской пристани. Дни лета
Клонились к осени. Дышал
Ненастный ветер. Мрачный вал
Плескал на пристань, ропща пени
И бьясь об гладкие ступени,
Как челобитчик у дверей
Ему не внемлющих судей.
Бедняк проснулся. Мрачно было:
Дождь капал, ветер выл уныло,
И с ним вдали, во тьме ночной
Перекликался часовой...
Вскочил Евгений; вспомнил живо
Он прошлый ужас; торопливо
Он встал; пошел бродить, и вдруг
Остановился — и вокруг
Тихонько стал водить очами
С боязнью дикой на лице.
Он очутился под столбами
Большого дома. На крыльце
С подъятой лапой, как живые,
Стояли львы сторожевые,
И прямо в темной вышине

Над огражденною скалою
Кумир с простертою рукою
Сидел на бронзовом коне.

Евгений вздрогнул. Прояснились
В нем страшно мысли. Он узнал
И место, где потоп играл,
Где волны хищные толпились,
Бунтуя злобно вкруг него,
И львов, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мраке медною главой,
Того, чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте, уздой железной
Россию поднял на дыбы? [5]

Кругом подножия кумира
Безумец бедный обошел
И взоры дикие навел
На лик державца полумира.
Стеснилась грудь его. Чело
К решетке хладной прилегло,
Глаза подернулись туманом,
По сердцу пламень пробежал,
Вскипела кровь. Он мрачен стал
Пред горделивым истуканом
И, зубы стиснув, пальцы сжав,
Как обуянный силой черной,
«Добро, строитель чудотворный! —
Шепнул он, злобно задрожав,—
Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось...

Наводнение в Петербурге в 1824 году.
Гравюра неизвестного художника.
1820-е годы.
Государственный музей А. С. Пушкина. Москва.

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой.
И, озарен луною бледной,
Простерши руку в вышине,
За ним несется Всадник Медный
На звонко-скачущем копе;
И во всю ночь безумец бедный,
Куда стопы ни обращал,
За ним повсюду Всадник Медный
С тяжелым топотом скакал.

И с той поры, когда случалось
Идти той площадью ему,
В его лице изображалось
Смятенье. К сердцу своему
Он прижимал поспешно руку,
Как бы его смиряя муку,
Картуз изношенный сымал,
Смущенных глаз не подымал
И шел сторонкой.

Остров малый
На взморье виден. Иногда
Причалит с неводом туда
Рыбак на ловле запоздалый
И бедный ужин свой варит,
Или чиновник посетит,
Гуляя в лодке в воскресенье,
Пустынный остров. Не взросло
Там ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхий. Над водою
Остался он, как черный куст.
Его прошедшею весною
Свезли на барке. Был он пуст
И весь разрушен. У порога
Нашли безумца моего,
И тут же хладный труп его
Похоронили ради бога.

1833

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Альгаротти где-то сказал: «Pétersbourg est la fenêtre par laquelle la Russie regarde en Europe» [1].

[2] Смотри стихи кн. Вяземского к графине З ***.

[3] Мицкевич прекрасными стихами описал день, предшествовавший петербургскому наводнению, в одном из лучших своих стихотворений — Oleszkiewicz. Жаль только, что описание его не точно. Снегу не было — Нева не была покрыта льдом. Наше описание вернее, хотя в нем и нет ярких красок польского поэта.

[4] Граф Милорадович и генерал-адъютант Бенкендорф.

[5] Смотри описание памятника в Мицкевиче. Оно заимствовано из Рубана — как замечает сам Мицкевич.

---

[1] «Петербург — окно, через которое Россия смотрит в Европу» *(франц.)*.

СКАЗКИ

СКАЗКА О ПОПЕ И О РАБОТНИКЕ ЕГО БАЛДЕ

Жил-был поп,
Толоконный лоб.
Пошел поп по базару
Посмотреть кой-какого товару.
Навстречу ему Балда
Идет, сам не зная куда.
«Что, батька, так рано поднялся?
Чего ты взыскался?»
Поп ему в ответ: «Нужен мне работник:
Повар, конюх и плотник.
А где найти мне такого
Служителя не слишком дорогого?»
Балда говорит: «Буду служить тебе славно,
Усердно и очень исправно,
В год за три щелка тебе по лбу,
Есть же мне давай вареную полбу».
Призадумался поп,
Стал себе почесывать лоб.
Щелк щелку ведь рознь.
Да понадеялся он на русский авось.
Поп говорит Балде: «Ладно.
Не будет нам обоим накладно.
Поживи-ка на моем подворье,
Окажи свое усердие и проворье».
Живет Балда в поповом доме,
Спит себе на соломе,
Ест за четверых,
Работает за семерых;

Дó светла все у него пляшет,
Лошадь запряжет, полосу вспашет,
Печь затопит, все заготовит, закупит,
Яичко испечет да сам и облупит.
Попадья Балдой не нахвалится,
Поповна о Балде лишь и печалится,
Попенок зовет его тятей;
Кашу заварит, нянчится с дитятей.
Только поп один Балду не любит,
Никогда его не приголубит,
О расплате думает частенько;
Время идет, и срок уж близенько.
Поп ни ест, ни пьет, ночи не спит:
Лоб у него заране трещит.
Вот он попадье признается:
«Так и так: что делать остается?»
Ум у бабы догадлив,
На всякие хитрости повадлив.
Попадья говорит: «Знаю средство,
Как удалить от нас такое бедство:
Закажи Балде службу, чтоб стало ему невмочь;
А требуй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь.
Тем ты и лоб от расправы избавишь
И Балду-то без расплаты отправишь».
Стало на сердце попа веселее,
Начал он глядеть на Балду посмелее.
Вот он кричит: «Поди-ка сюда,
Верный мой работник Балда.
Слушай: платить обязались черти
Мне оброк по самой моей смерти;
Лучшего б не надобно дохода,
Да есть на них недоимки за три года.
Как наешься ты своей полбы,
Собери-ка с чертей оброк мне полный».
Балда, с попом понапрасну не споря,
Пошел, сел у берега моря;
Там он стал веревку крутить
Да конец ее в море мочить.
Вот из моря вылез старый Бес:
«Зачем ты, Балда, к нам залез?»
— Да вот веревкой хочу море мóрщить,
Да вас, проклятое племя, корчить.—
Беса старого взяла тут унылость.
«Скажи, за что такая немилость?»

— Как за что? Вы не плотите оброка,
Не помните положенного срока;
Вот ужо будет нам потеха,
Вам, собакам, великая помеха.
«Ба́лдушка, погоди ты морщить море,
Оброк сполна ты получишь вскоре.
Погоди, вышлю к тебе внука».
Балда мыслит: «Этого провести не штука!»
Вынырнул подосланный бесенок,
Замяукал он, как голодный котенок:
«Здравствуй, Балда мужичок;
Какой тебе надобен оброк?
Об оброке век мы не слыхали,
Не было чертям такой печали.
Ну, так и быть — возьми, да с уговору,
С общего нашего приговору —
Чтобы впредь не было никому горя:
Кто скорее из нас обежит около моря,
Тот и бери себе полный оброк,
Между тем там приготовят мешок».
Засмеялся Балда лукаво:
«Что ты это выдумал, право?
Где тебе тягаться со мною,
Со мною, с самим Балдою?
Экого послали супостата!
Подожди-ка моего меньшого брата».
Пошел Балда в ближний лесок,
Поймал двух зайков, да в мешок.
К морю опять он приходит,
У моря бесенка находит.
Держит Балда за уши одного зайку:
«Попляши-тка ты под нашу балалайку:
Ты, бесенок, еще молоденек,
Со мною тягаться слабенек;
Это было б лишь времени трата.
Обгони-ка сперва моего брата.
Раз, два, три! догоняй-ка».
Пустились бесенок и зайка:
Бесенок по берегу морскому,
А зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом обежавши,
Высунув язык, мордку поднявши,
Прибежал бесенок, задыхаясь,

Весь мокрешенек, лапкой утираясь,
Мысля: дело с Балдою сладит.
Глядь — а Балда братца гладит,
Приговаривая: «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка! отдохни, родимый».
Бесенок оторопел,
Хвостик поджал, совсем присмирел.
На братца поглядывает боком.
«Погоди,— говорит,— схожу за оброком».
Пошел к деду, говорит: «Беда!
Обогнал меня меньшой Балда!»
Старый Бес стал тут думать думу.
А Балда наделал такого шуму,
Что все море смутилось
И волнами так и расходилось.
Вылез бесенок: «Полно, мужичок,
Вышлем тебе весь оброк —
Только слушай. Видишь ты палку эту?
Выбери себе любимую мету.
Кто далее палку бросит,
Тот пускай и оброк уносит.
Что ж? боишься вывихнуть ручки?
Чего ты ждешь?» — Да жду вон этой тучки;
Зашвырну туда твою палку,
Да и начну с вами, чертями, свалку.—
Испугался бесенок да к деду,
Рассказывать про Балдову победу,
А Балда над морем опять шумит
Да чертям веревкой грозит.
Вылез опять бесенок: «Что ты хлопочешь?
Будет тебе оброк, коли захочешь...»
— Нет,— говорит Балда,—
Теперь моя череда,
Условия сам назначу,
Задам тебе, враженок, задачу,
Посмотрим, какова у тебя сила.
Видишь, там сивая кобыла?
Кобылу подыми-тка ты,
Да неси ее полверсты;
Снесешь кобылу, оброк уж твой;
Не снесешь кобылы, ан будет он мой.—
Бедненький бес
Под кобылу подлез,
Понатужился,

Понапружился,
Приподнял кобылу, два шага шагнул,
На третьем упал, ножки протянул.
А Балда ему: «Глупый ты бес,
Куда ж ты за нами полез?
И руками-то снести не смог,
А я, смотри, снесу промеж ног».
Сел Балда на кобылку верхом,
Да версту проскакал, так что пыль столбом.
Испугался бесенок и к деду
Пошел рассказывать про такую победу.
Делать нечего — черти собрали оброк
Да на Балду взвалили мешок.
Идет Балда, покрякивает,
А поп, завидя Балду, вскакивает,
За попадью прячется,
Со страху корячится.
Балда его тут отыскал,
Отдал оброк, платы требовать стал.
Бедный поп
Подставил лоб:
С первого щелка
Прыгнул поп до потолка;
Со второго щелка
Лишился поп языка;
А с третьего щелка
Вышибло ум у старика.
А Балда приговаривал с укоризной:
«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной».

1830

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ

Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица,—
Говорит одна девица,—
То на весь крещеный мир
Приготовила б я пир».

«Кабы я была царица,—
Говорит ее сестрица,—
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна».
«Кабы я была царица,—
Третья молвила сестрица,—
Я б для батюшки-царя
Родила богатыря».

Только вымолвить успела,
Дверь тихонько заскрыпела,
И в светлицу входит царь,
Стороны той государь.
Во все время разговора
Он стоял позадь забора;
Речь последней по всему
Полюбилася ему.
«Здравствуй, красная девица,–
Говорит он,— будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.
Вы ж, голубушки-сестрицы,
Выбирайтесь из светлицы,
Поезжайте вслед за мной,
Вслед за мной и за сестрой:
Будь одна из вас ткачиха,
А другая повариха».

В сени вышел царь-отец.
Все пустились во дворец.
Царь недолго собирался:
В тот же вечер обвенчался.
Царь Салтан за пир честной
Сел с царицей молодой;
А потом честные гости
На кровать слоновой кости
Положили молодых
И оставили одних.
В кухне злится повариха,
Плачет у станка ткачиха,
И завидуют оне
Государевой жене.
А царица молодая,
Дела вдаль не отлагая,
С первой ночи понесла.

В те поры война была.
Царь Салтан, с женой простяся,
На добра-коня садяся,
Ей наказывал себя
Поберечь, его любя.
Между тем как он далеко
Бьется долго и жестоко,
Наступает срок родин;
Сына бог им дал в аршин,
И царица над ребенком
Как орлица над орленком;
Шлет с письмом она гонца,
Чтоб обрадовать отца.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Извести ее хотят,
Перенять гонца велят;
Сами шлют гонца другого
Вот с чем от слова до слова:
«Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь;
Не мышонка, не лягушку,
А неведому зверюшку».

Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз,
Дал гонцу такой приказ:
«Ждать царева возвращенья
Для законного решенья».

Едет с грамотой гонец,
И приехал наконец.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Обобрать его велят;
Допьяна гонца поят
И в суму его пустую
Суют грамоту другую —
И привез гонец хмельной
В тот же день приказ такой:

«Царь велит своим боярам,
Времени не тратя даром,
И царицу и приплод
Тайно бросить в бездну вод».
Делать нечего: бояре,
Потужив о государе
И царице молодой,
В спальню к ней пришли толпой.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю,
Прочитали вслух указ,
И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут;
Туча по небу идет,
Бочка по морю плывет.
Словно горькая вдовица,
Плачет, бьется в ней царица;
И растет ребенок там
Не по дням, а по часам.
День прошел, царица воет...
А дитя волну торопит:
«Ты, волна моя, волна!
Ты гульлива и вольна;
Плещешь ты, куда захочешь,
Ты морские камни точишь,
Топишь берег ты земли,
Подымаешь корабли —
Не губи ты нашу душу:
Выплесни ты нас на сушу!»
И послушалась волна:
Тут же на берег она
Бочку вынесла легонько
И отхлынула тихонько.
Мать с младенцем спасена;
Землю чувствует она.
Но из бочки кто их вынет?
Бог неужто их покинет?

Сын на ножки поднялся,
В дно головкой уперся,
Понатужился немножко:
«Как бы здесь на двор окошко
Нам проделать?» — молвил он,
Вышиб дно и вышел вон.

Мать и сын теперь на воле;
Видят холм в широком поле,
Море синее кругом,
Дуб зеленый над холмом.
Сын подумал: добрый ужин
Был бы нам, однако, нужен.
Ломит он у дуба сук
И в тугой сгибает лук,
Со креста снурок шелковый
Натянул на лук дубовый,
Тонку тросточку сломил,
Стрелкой легкой завострил
И пошел на край долины
У моря искать дичины.

К морю лишь подходит он,
Вот и слышит будто стон...
Видно, на́ море не тихо;
Смотрит — видит дело лихо:
Бьется лебедь средь зыбей,
Коршун носится над ней;
Та бедняжка так и плещет,
Воду вкруг мутит и хлещет...
Тот уж когти распустил,
Клёв кровавый навострил...
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела —
Коршун в море кровь пролил,
Лук царевич опустил;
Смотрит: коршуп в море тонет
И не птичьим криком стонет.
Лебедь около плывет,
Злого коршуна клюет,
Гибель близкую торопит,
Бьет крылом и в море топит —
И царевичу потом
Молвит русским языком:

«Ты, царевич, мой спаситель,
Мой могучий избавитель,
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня,
Что стрела пропала в море;
Это горе — все не горе.
Отплачу тебе добром,
Сослужу тебе потом:
Ты не лебедь ведь избавил,
Девицу в живых оставил;
Ты не коршуна убил,
Чародея подстрелил.
Ввек тебя я не забуду:
Ты найдешь меня повсюду,
А теперь ты воротись,
Не горюй и спать ложись».

Улетела лебедь-птица,
А царевич и царица,
Целый день проведши так,
Лечь решились натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами,
И за белыми стенами
Блещут маковки церквей
И святых монастырей.
Он скорей царицу будит;
Та как ахнет!.. «То ли будет? —
Говорит он,— вижу я:
Лебедь тешится моя».
Мать и сын идут ко граду.
Лишь ступили за ограду,
Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают
И царевича венчают

Княжей шапкой, и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы,
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И парекся: князь Гвидон.

Ветер на море гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах.
Корабельщики дивятся,
На кораблике толпятся,
На знакомом острову
Чудо видят наяву:
Город новый златоглавый,
Пристань с крепкою заставой,
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их он кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали соболями,
Черно-бурыми лисами;
А теперь нам вышел срок,
Едем прямо на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
С берега душой печальной
Провожает бег их дальный;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь печально отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
Видеть я б хотел отца».
Лебедь князю: «Вот в чем горе!
Ну, послушай: хочешь в море
Полететь за кораблем?
Будь же, князь, ты комаром».
И крылами замахала,
Воду с шумом расплескала
И обрызгала его
С головы до ног всего.
Тут он в точку уменьшился,
Комаром оборотился,
Полетел и запищал,
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корабль — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
К царству славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце
С грустной думой на лице;
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят
И в глаза ему глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,

Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
В море остров был крутой,
Не привальный, не жилой;
Он лежал пустой равниной;
Рос на нем дубок единый;
А теперь стоит на нем
Новый город со дворцом,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами,
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду;
Молвит он: «Коль жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
«Уж диковинка, ну право,—
Подмигнув другим лукаво,
Повариха говорит,—
Город у моря стоит!
Знайте, вот что не безделка:
Ель в лесу, под елью белка,
Белка песенки поет
И орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Вот что чудом-то зовут».
Чуду царь Салтан дивится,
А комар-то злится, злится —
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Повариха побледнела,
Обмерла и окривела.
Слуги, сватья и сестра

С криком ловят комара.
«Распроклятая ты мошка!
Мы тебя!..» — А он в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Снова князь у моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает;
Чудо чудное завесть
Мне б хотелось. Где-то есть
Ель в лесу, под елью белка;
Диво, право, не безделка —
Белка песенки поет,
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Но, быть может, люди врут».
Князю лебедь отвечает:
«Свет о белке правду бает;
Это чудо знаю я;
Полно, князь, душа моя,
Не печалься; рада службу
Оказать тебе я в дружбу».
С ободренною душой
Князь пошел себе домой;
Лишь ступил на двор широкий —
Что ж? под елкою высокой,
Видит, белочка при всех
Золотой грызет орех,
Изумрудец вынимает,
А скорлупку собирает,
Кучки равные кладет
И с присвисточкой поет
При честном при всем народе:
Во саду ли, в огороде.

Изумился князь Гвидон.
«Ну, спасибо,— молвил он,—
Ай да лебедь — дай ей боже,
Что и мне, веселье то же».
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом,
Караул к нему приставил
И притом дьяка заставил
Строгий счет орехам весть.
Князю прибыль, белке честь.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волпах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого:
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости;
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы конями,
Всё донскими жеребцами,
А теперь нам вышел срок —
И лежит нам путь далек:
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана...»
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да скажите: князь Гвидон
Шлет царю-де свой поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь — а лебедь там
Уж гуляет по волнам.

Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит...
Вот опять она его
Вмиг обрызгала всего:
В муху князь оборотился,
Полетел и опустился
Между моря и небес
На корабль — и в щель залез.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана —
И желанная страна
Вот уж издали видна;
Вот на берег вышли гости;
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит: весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с Бабарихой
Да с кривою поварихой
Около царя сидят,
Злыми жабами глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо,
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит
С златоглавыми церквами,
С теремами да садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка там живет ручная,

Да затейница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет,
А орешки не простые,
Всё скорлупки золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Слуги белку стерегут,
Служат ей прислугой разной —
И приставлен дьяк приказный
Строгий счет орехам весть;
Отдает ей войско честь;
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нем князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».
Царь Салтан дивится чуду.
«Если только жив я буду,
Чудный остров навещу,
У Гвидона погощу».
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят его пустить
Чудный остров навестить.
Усмехнувшись исподтиха,
Говорит царю ткачиха:
«Что тут дивного? ну, вот!
Белка камушки грызет,
Мечет золото и в груды
Загребает изумруды;
Этим нас не удивишь,
Правду ль, нет ли говоришь.
В свете есть иное диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,

Великаны молодые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Это диво, так уж диво,
Можно молвить справедливо!»
Гости умные молчат,
Спорить с нею не хотят.
Диву царь Салтан дивится,
А Гвидон-то злится, злится...
Зажужжал он и как раз
Тетке сел на левый глаз,
И ткачиха побледнела:
«Ай!» — и тут же окривела;
Все кричат: «Лови, лови,
Да дави ее, дави...
Вот ужо! постой немножко,
Погоди...» А князь в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море прилетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает —
Диво б дивное хотел
Перенесть я в мой удел».
«А какое ж это диво?»
— Где-то вздуется бурливо
Окиян, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в шумном беге,
И очутятся на береге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.

Князю лебедь отвечает:
«Вот что, князь, тебя смущает?
Не тужи, душа моя,
Это чудо знаю я.
Эти витязи морские
Мпе ведь братья все родные.
Не печалься же, ступай,
В гости братцев поджидай».

Князь пошел, забывши горе,
Сел на башню, и на море
Стал глядеть он; море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идет
И ко граду их ведет.
С башни князь Гвидон сбегает,
Дорогих гостей встречает;
Второпях народ бежит;
Дядька князю говорит:
«Лебедь нас к тебе послала
И наказом наказала
Славный город твой хранить
И дозором обходить.
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских,
Так увидимся мы вскоре,
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли».
Все потом домой ушли.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На поднятых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;

Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Их и кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете?
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
Торговали мы булатом,
Чистым серебром и златом,
И теперь нам вышел срок;
А лежит нам путь далек,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Говорит им князь тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану.
Да скажите ж: князь Гвидон
Шлет-де свой царю поклон».

Гости князю поклонились,
Вышли вон и в путь пустились.
К морю князь, а лебедь там
Уж гуляет по волнам.
Князь опять: душа-де просит...
Так и тянет и уносит...
И опять она его
Вмиг обрызгала всего.
Тут он очень уменьшился,
Шмелем князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму — и в щель забился.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана,
И желанная страна
Вот уж издали видна.

Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости,
И за ними во дворец
Полетел наш удалец.
Видит, весь сияя в злате,
Царь Салтан сидит в палате
На престоле и в венце,
С грустной думой на лице.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят —
Четырьмя все три глядят.
Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо;
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
Каждый день идет там диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге —
И останутся на бреге
Тридцать три богатыря,
В чешуе златой горя,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор;
Старый дядька Черномор
С ними из моря выходит
И попарно их выводит,
Чтобы остров тот хранить
И дозором обходить —
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А сидит там князь Гвидон;
Он прислал тебе поклон».

Царь Салтан дивится чуду.
«Коли жив я только буду,
Чудный остров навещу
И у князя погощу».
Повариха и ткачиха
Ни гугу — но Бабариха,
Усмехнувшись, говорит:
«Кто нас этим удивит?
Люди из моря выходят
И себе дозором бродят!
Правду ль бают, или лгут,
Дива я не вижу тут.
В свете есть такие ль дива?
Вот идет молва правдива:
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Молвить можно справедливо,
Это диво, так уж диво».
Гости умные молчат:
Спорить с бабой не хотят.
Чуду царь Салтан дивится —
А царевич хоть и злится,
Но жалеет он очей
Старой бабушки своей:
Он над ней жужжит, кружится –
Прямо на нос к ней садится,
Нос ужалил богатырь:
На носу вскочил волдырь.
И опять пошла тревога:
«Помогите, ради бога!
Караул! лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужо! пожди немножко,
Погоди!..» А шмель в окошко,
Да спокойно в свой удел
Через море полетел.

Князь у синя моря ходит,
С синя моря глаз не сводит;
Глядь — поверх текучих вод
Лебедь белая плывет.
«Здравствуй, князь ты мой прекрасный!
Что ж ты тих, как день ненастный?
Опечалился чему?» —
Говорит она ему.
Князь Гвидон ей отвечает:
«Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу».
— А кого же на примете
Ты имеешь? — «Да на свете,
Говорят, царевна есть,
Что не можно глаз отвесть.
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает —
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
Сладку речь-то говорит,
Будто реченька журчит.
Только, полно, правда ль это?»
Князь со страхом ждет ответа.
Лебедь белая молчит
И, подумав, говорит:
«Да! такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь,
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом —
Слушай: обо всем об этом
Поразмыслить ты путем,
Не раскаяться б потом».
Князь пред нею стал божиться,
Что пора ему жениться,
Что об этом обо всем
Передумал он путем;
Что готов душою страстной
За царевною прекрасной
Он пешком идти отсель
Хоть за тридевять земель.

Лебедь тут, вздохнув глубоко,
Молвила: «Зачем далеко?
Знай, близка судьба твоя,
Ведь царевна эта — я».
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась:
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.
Князь царевну обнимает,
К белой груди прижимает
И ведет ее скорей
К милой матушке своей.
Князь ей в ноги, умоляя:
«Государыня-родная!
Выбрал я жену себе,
Дочь послушную тебе,
Просим оба разрешенья,
Твоего благословенья:
Ты детей благослови
Жить в совете и любви».
Над главою их покорной
Мать с иконой чудотворной
Слезы льет и говорит:
«Бог вас, дети, наградит».
Князь не долго собирался,
На царевне обвенчался;
Стали жить да поживать,
Да приплода поджидать.

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет;
Он бежит себе в волнах
На раздутых парусах
Мимо острова крутого,
Мимо города большого;

Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Пристают к заставе гости.
Князь Гвидон зовет их в гости,
Он их кормит и поит
И ответ держать велит:
«Чем вы, гости, торг ведете
И куда теперь плывете?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет,
Торговали мы недаром
Неуказанным товаром;
А лежит нам путь далек:
Восвояси на восток,
Мимо острова Буяна,
В царство славного Салтана».
Князь им вымолвил тогда:
«Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
Да напомните ему,
Государю своему:
К нам он в гости обещался,
А доселе не собрался —
Шлю ему я свой поклон».
Гости в путь, а князь Гвидон
Дома на сей раз остался
И с женою не расстался.

Ветер весело шумит,
Судно весело бежит
Мимо острова Буяна
К царству славного Салтана,
И знакомая страна
Вот уж издали видна.
Вот на берег вышли гости.
Царь Салтан зовет их в гости.
Гости видят: во дворце
Царь сидит в своем венце,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.

Царь Салтан гостей сажает
За свой стол и вопрошает:
«Ой вы, гости-господа,
Долго ль ездили? куда?
Ладно ль за морем, иль худо?
И какое в свете чудо?»
Корабельщики в ответ:
«Мы объехали весь свет;
За морем житье не худо,
В свете ж вот какое чудо:
Остров на море лежит,
Град на острове стоит,
С златоглавыми церквами,
С теремами и садами;
Ель растет перед дворцом,
А под ней хрустальный дом;
Белка в нем живет ручная,
Да чудесница какая!
Белка песенки поет
Да орешки всё грызет;
А орешки не простые,
Скорлупы-то золотые,
Ядра — чистый изумруд;
Белку холят, берегут.
Там еще другое диво:
Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой,
Расплеснется в скором беге,
И очутятся па бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря,
Все красавцы удалые,
Великаны молодые,
Все равны, как на подбор —
С ними дядька Черномор.
И той стражи нет надежней,
Ни храбрее, ни прилежней.
А у князя женка есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает;
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.

Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался».

Тут уж царь не утерпел,
Снарядить он флот велел,
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Не хотят царя пустить
Чудный остров навестить.
Но Салтан им не внимает
И как раз их унимает:
«Что я? царь или дитя? —
Говорит он не шутя: —
Нынче ж еду!» — Тут он топнул,
Вышел вон и дверью хлопнул.

Под окном Гвидон сидит,
Молча на море глядит:
Не шумит оно, не хлещет,
Лишь едва, едва трепещет,
И в лазоревой дали
Показались корабли:
По равнинам Окияна
Едет флот царя Салтана.
Князь Гвидон тогда вскочил,
Громогласно возопил:
«Матушка моя родная!
Ты, княгиня молодая!
Посмотрите вы туда:
Едет батюшка сюда».
Флот уж к острову подходит.
Князь Гвидон трубу наводит:
Царь на палубе стоит
И в трубу на них глядит;
С ним ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
Удивляются оне
Незнакомой стороне.
Разом пушки запалили;
В колокольнях зазвонили;

К морю сам идет Гвидон;
Там царя встречает он
С поварихой и ткачихой,
С сватьей бабой Бабарихой;
В город он повел царя,
Ничего не говоря.

Все теперь идут в палаты:
У ворот блистают латы,
И стоят в глазах царя
Тридцать три богатыря,
Все красавцы молодые,
Великаны удалые,
Все равны, как на подбор,
С ними дядька Черномор.
Царь ступил на двор широкой:
Там под елкою высокой
Белка песенку поет,
Золотой орех грызет,
Изумрудец вынимает
И в мешочек опускает;
И засеян двор большой
Золотою скорлупой.
Гости дале — торопливо
Смотрят — что ж? княгиня — диво:
Под косой луна блестит,
А во лбу звезда горит;
А сама-то величава,
Выступает, будто пава,
И свекровь свою ведет.
Царь глядит — и узпает...
В нем взыграло ретивое!
«Что я вижу? что такое?
Как!» — и дух в нем запялся...
Царь слезами залился,
Обнимает он царицу,
И сынка, и молодицу,
И садятся все за стол;
И веселый пир пошел.
А ткачиха с поварихой,
С сватьей бабой Бабарихой,
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,

Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
День прошел — царя Салтана
Уложили спать вполпьяна.
Я там был; мед, пиво пил —
И усы лишь обмочил.

1831

СКАЗКА О РЫБАКЕ И РЫБКЕ

Жил старик со своею старухой
У самого синего моря;
Они жили в ветхой землянке
Ровно тридцать лет и три года.
Старик ловил неводом рыбу,
Старуха пряла свою пряжу.
Раз он в море закинул невод,—
Пришел невод с одною тиной.
Он в другой раз закинул невод,—
Пришел невод с травой морскою.
В третий раз закинул он невод,—
Пришел невод с одною рыбкой,
С непростою рыбкой,— золотою.
Как взмолится золотая рыбка!
Голосом молвит человечьим:
«Отпусти ты, старче, меня в море,
Дорогой за себя дам откуп:
Откуплюсь чем только пожелаешь».
Удивился старик, испугался:
Он рыбачил тридцать лет и три года
И не слыхивал, чтоб рыба говорила.
Отпустил он рыбку золотую
И сказал ей ласковое слово:
«Бог с тобою, золотая рыбка!
Твоего мне откупа не надо;
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе».

Воротился старик ко старухе,
Рассказал ей великое чудо.
«Я сегодня поймал было рыбку,
Золотую рыбку, не простую;

По-нашему говорила рыбка,
Домой в море синее просилась,
Дорогою ценою откупалась:
Откупалась чем только пожелаю.
Не посмел я взять с нее выкуп;
Так пустил ее в синее море».
Старика старуха забранила:
«Дурачина ты, простофиля!
Не умел ты взять выкупа с рыбки!
Хоть бы взял ты с нее корыто,
Наше-то совсем раскололось».

Вот пошел он к синему морю;
Видит,— море слегка разыгралось.
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка и спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка,
Разбранила меня моя старуха,
Не дает старику мне покою:
Надобно ей новое корыто;
Наше-то совсем раскололось».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Будет вам новое корыто».
Воротился старик ко старухе,
У старухи новое корыто.
Еще пуще старуха бранится:
«Дурачина ты, простофиля!
Выпросил, дурачина, корыто!
В корыте много ль корысти?
Воротись, дурачина, ты к рыбке;
Поклонись ей, выпроси уж избу».

Вот пошел он к синему морю,
(Помутилося синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку,
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечаст:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Еще пуще старуха бранится,
Не дает старику мне покою:
Избу просит сварливая баба».

Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом,
Так и быть: изба вам уж будет».
Пошел он ко своей землянке,
А землянки нет уж и следа;
Перед ним изба со светелкой,
С кирпичною, беленою трубою,
С дубовыми, тесовыми вороты.
Старуха сидит под окошком,
На чем свет стоит мужа ругает.
«Дурачина ты, прямой простофиля!
Выпросил, простофиля, избу!
Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть черной крестьянкой,
Хочу быть столбовою дворянкой».

Пошел старик к синему морю;
(Не спокойно синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Пуще прежнего старуха вздурилась,
Не дает старику мне покою:
Уже не хочет быть она крестьянкой,
Хочет быть столбовою дворянкой».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом».

Воротился старик ко старухе.
Что ж он видит? Высокий терем.
На крыльце стоит его старуха
В дорогой собольей душегрейке,
Парчовая на маковке кичка,
Жемчуги огрузили шею,
На руках золотые перстни,
На ногах красные сапожки.
Перед нею усердные слуги;
Она бьет их, за чупрун таскает.
Говорит старик своей старухе:
«Здравствуй, барыня сударыня дворянка!
Чай, теперь твоя душенька довольна».
На него прикрикнула старуха,
На конюшне служить его послала.

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Опять к рыбке старика посылает.
«Воротись, поклонися рыбке:
Не хочу быть столбовою дворянкой,
А хочу быть вольною царицей».
Испугался старик, взмолился:
«Что ты, баба, белены объелась?
Ни ступить, ни молвить не умеешь,
Насмешишь ты целое царство».
Осердилася пуще старуха,
По щеке ударила мужа.
«Как ты смеешь, мужик, спорить со мною,
Со мною, дворянкой столбовою? —
Ступай к морю, говорят тебе честью,
Не пойдешь, поведут поневоле».

Старичок отправился к морю,
(Почернело синее море.)
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей с поклоном старик отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Опять моя старуха бунтует:
Уж не хочет быть она дворянкой,
Хочет быть вольною царицей».
Отвечает золотая рыбка:
«Не печалься, ступай себе с богом!
Добро! будет старуха царицей!»

Старичок к старухе воротился.
Что ж? пред ним царские палаты.
В палатах видит свою старуху,
За столом сидит она царицей,
Служат ей бояре да дворяне,
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным;
Вкруг ее стоит грозная стража,
На плечах топорики держат.
Как увидел старик,— испугался!
В ноги он старухе поклонился,
Молвил: «Здравствуй, грозная царица!
Ну, теперь твоя душенька довольна».

На него старуха не взглянула,
Лишь с очей прогнать его велела.
Подбежали бояре и дворяне,
Старика взашеи затолкали.
А в дверях-то стража подбежала,
Топорами чуть не изрубила.
А народ-то над ним насмеялся:
«Поделом тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани!»

Вот неделя, другая проходит,
Еще пуще старуха вздурилась:
Царедворцев за мужем посылает,
Отыскали старика, привели к ней.
Говорит старику старуха:
«Воротись, поклонися рыбке.
Не хочу быть вольною царицей,
Хочу быть владычицей морскою,
Чтобы жить мне в Окияне-море,
Чтоб служила мне рыбка золотая
И была б у меня на посылках».

Старик не осмелился перечить,
Не дерзнул поперек слова молвить.
Вот идет он к синему морю,
Видит, на море черная буря:
Так и вздулись сердитые волны,
Так и ходят, так воем и воют.
Стал он кликать золотую рыбку.
Приплыла к нему рыбка, спросила:
«Чего тебе надобно, старче?»
Ей старик с поклоном отвечает:
«Смилуйся, государыня рыбка!
Что мне делать с проклятою бабой?
Уж не хочет быть она царицей,
Хочет быть владычицей морскою;
Чтобы жить ей в Окияне-море,
Чтобы ты сама ей служила
И была бы у ней на посылках».
Ничего не сказала рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.

Долго у моря ждал он ответа,
Не дождался, к старухе воротился —
Глядь: опять перед ним землянка;
На пороге сидит его старуха,
А пред нею разбитое корыто.

1833

СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ

Царь с царицею простился,
В путь-дорогу снарядился,
И царица у окна
Села ждать его одна.
Ждет-пождет с утра до ночи,
Смотрит в поле, инда очи
Разболелись глядючи
С белой зори до ночи;
Не видать милого друга!
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог дает царице дочь.
Рано утром гость желанный,
День и ночь так долго жданный,
Издалеча наконец
Воротился царь-отец.
На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Долго царь был неутешен,
Но как быть? и он был грешен;
Год прошел как сон пустой,
Царь женился на другой.
Правду молвить, молодица
Уж и впрямь была царица:
Высока, стройна, бела,
И умом и всем взяла;

Но зато горда, ломлива,
Своенравна и ревнива.
Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
Добродушна, весела,
С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорила:
«Свет мой, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царица, всех милее,
Всех румяней и белее».
И царица хохотать,
И плечами пожимать,
И подмигивать глазами,
И прищелкивать перстами,
И вертеться, подбочась,
Гордо в зеркальце глядясь.

Но царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась — и расцвела,
Белолица, черноброва,
Нраву кроткого такого.
И жених сыскался ей,
Королевич Елисей.
Сват приехал, царь дал слово,
А приданое готово:
Семь торговых городов
Да сто сорок теремов.

На девичник собираясь,
Вот царица, наряжаясь
Перед зеркальцем своим,
Перемолвилася с ним:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»

Что же зеркальце в ответ?
«Ты прекрасна, спору нет;
Но царевна всех милее,
Всех румяней и белее».
Как царица отпрыгнет,
Да как ручку замахнет,
Да по зеркальцу как хлопнет,
Каблучком-то как притопнет!..
«Ах ты, мерзкое стекло!
Это врешь ты мне назло.
Как тягаться ей со мною?
Я в ней дурь-то успокою.
Вишь какая подросла!
И не диво, что бела:
Мать брюхатая сидела
Да на снег лишь и глядела!
Но скажи: как можно ей
Быть во всем меня милей?
Признавайся: всех я краше.
Обойди все царство наше,
Хоть весь мир; мне ровной нет.
Так ли?» Зеркальце в ответ:
«А царевна все ж милее,
Все ж румяней и белее».
Делать нечего. Она,
Черной зависти полна,
Бросив зеркальце под лавку,
Позвала к себе Чернавку
И наказывает ей,
Сенной девушке своей,
Весть царевну в глушь лесную
И, связав ее, живую
Под сосной оставить там
На съедение волкам.

Черт ли сладит с бабой гневной?
Спорить нечего. С царевной
Вот Чернавка в лес пошла
И в такую даль свела,
Что царевна догадалась,
И до смерти испугалась,
И взмолилась: «Жизнь моя!
В чем, скажи, виновна я?
Не губи меня, девица!

А как буду я царица,
Я пожалую тебя».
Та, в душе ее любя,
Не убила, не связала,
Отпустила и сказала:
«Не кручинься, бог с тобой».
А сама пришла домой.
«Что? — сказала ей царица,—
Где красавица девица?»
— Там, в лесу, стоит одна,—
Отвечает ей она,—
Крепко связаны ей локти;
Попадется зверю в когти,
Меньше будет ей терпеть,
Легче будет умереть.

И молва трезвонить стала:
Дочка царская пропала!
Тужит бедный царь по ней.
Королевич Елисей,
Помолясь усердно богу,
Отправляется в дорогу
За красавицей душой,
За невестой молодой.

Но невеста молодая,
До зари в лесу блуждая,
Между тем все шла да шла
И на терем набрела.
Ей навстречу пес, залая,
Прибежал и смолк, играя;
В ворота вошла она,
На подворье тишина.
Пес бежит за ней, ласкаясь,
А царевна, подбираясь,
Поднялася на крыльцо
И взялася за кольцо;
Дверь тихонько отворилась,
И царевна очутилась
В светлой горнице; кругом
Лавки, крытые ковром,
Под святыми стол дубовый,
Печь с лежанкой изразцовой.

Видит девица, что тут
Люди добрые живут;
Знать, не будет ей обидно.
Никого меж тем не видно.
Дом царевна обошла,
Все порядком убрала,
Засветила богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась.

Час обеда приближался,
Топот по двору раздался:
Входят семь богатырей,
Семь румяных усачей.
Старший молвил: «Что за диво!
Все так чисто и красиво.
Кто-то терем прибирал
Да хозяев поджидал.
Кто же? Выдь и покажися,
С нами честно подружися.
Коль ты старый человек,
Дядей будешь нам навек.
Коли парень ты румяный,
Братец будешь нам названый.
Коль старушка, будь нам мать,
Так и станем величать.
Коли красная девица,
Будь нам милая сестрица».

И царевна к ним сошла,
Честь хозяям отдала,
В пояс низко поклонилась;
Закрасневшись, извинилась,
Что-де в гости к ним зашла,
Хоть звана и не была.
Вмиг по речи те спознали,
Что царевну принимали,
Усадили в уголок,
Подносили пирожок,
Рюмку полну наливали,
На подносе подавали.
От зеленого вина
Отрекалася она;

Пирожок лишь разломила,
Да кусочек прикусила,
И с дороги отдыхать
Отпросилась на кровать.
Отвели они девицу
Вверх во светлую светлицу
И оставили одну,
Отходящую ко сну.

День за днем идет, мелькая,
А царевна молодая
Все в лесу, не скучно ей
У семи богатырей.
Перед утренней зарею
Братья дружною толпою
Выезжают погулять,
Серых уток пострелять,
Руку правую потешить,
Сорочина в поле спешить,
Иль башку с широких плеч
У татарина отсечь,
Или вытравить из леса
Пятигорского черкеса.
А хозяюшкой она
В терему меж тем одна
Приберет и приготовит.
Им она не прекословит,
Не перечут ей они.
Так идут за днями дни.

Братья милую девицу
Полюбили. К ней в светлицу
Раз, лишь только рассвело,
Всех их семеро вошло.
Старший молвил ей: «Девица,
Знаешь: всем ты нам сестрица,
Всех нас семеро, тебя
Все мы любим, за себя
Взять тебя мы все бы ради,
Да нельзя, так бога ради
Помири нас как-нибудь:
Одному женою будь,
Прочим ласковой сестрою.

Что ж качаешь головою?
Аль отказываешь нам?
Аль товар не по купцам?»

«Ой вы, молодцы честные,
Братцы вы мои родные,—
Им царевна говорит,—
Коли лгу, пусть бог велит
Не сойти живой мне с места.
Как мне быть? ведь я невеста.
Для меня вы все равны,
Все удалы, все умны,
Всех я вас люблю сердечно;
Но другому я навечно
Отдана. Мне всех милей
Королевич Елисей».

Братья молча постояли
Да в затылке почесали.
«Спрос не грех. Прости ты нас,—
Старший молвил поклонясь,—
Коли так, не заикнуся
Уж о том».— «Я не сержуся,—
Тихо молвила она,—
И отказ мой не вина».
Женихи ей поклонились,
Потихоньку удалились,
И согласно все опять
Стали жить да поживать.

Между тем царица злая,
Про царевну вспоминая,
Не могла простить ее,
А на зеркальце свое
Долго дулась и сердилась;
Наконец об нем хватилась
И пошла за ним, и, сев
Перед ним, забыла гнев,
Красоваться снова стала
И с улыбкою сказала:
«Здравствуй, зеркальце! скажи
Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?»
И ей зеркальце в ответ:
«Ты прекрасна, спору нет;
Но живет без всякой славы,
Средь зеленыя дубравы,
У семи богатырей
Та, что все ж тебя милей».
И царица налетела
На Чернавку: «Как ты смела
Обмануть меня? и в чем!..»
Та призналася во всем:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.

Раз царевна молодая,
Милых братьев поджидая,
Пряла, сидя под окном.
Вдруг сердито под крыльцом
Пес залаял, и девица
Видит: нищая черница
Ходит по двору, клюкой
Отгоняя пса. «Постой,
Бабушка, постой немножко,—
Ей кричит она в окошко,—
Пригрожу сама я псу
И кой-что тебе снесу».
Отвечает ей черница:
«Ох ты, дитятко девица!
Пес проклятый одолел,
Чуть до смерти не заел.
Посмотри, как он хлопочет!
Выдь ко мне».— Царевна хочет
Выйти к ней и хлеб взяла,
Но с крылечка лишь сошла,
Пес ей под ноги — и лает,
И к старухе не пускает;
Лишь пойдет старуха к ней,
Он, лесного зверя злей,
На старуху. «Что за чудо?
Видно, выспался он худо,—

Ей царевна говорит: —
На ж, лови!» — и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала:
«Благодарствую,— сказала.—
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!»
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...
Пес как прыгнет, завизжит...
Но царевна в обе руки
Хвать — поймала. «Ради скуки
Кушай яблочко, мой свет.
Благодарствуй за обед».
Старушоночка сказала,
Поклонилась и пропала...
И с царевной на крыльцо
Пес бежит и ей в лицо
Жалко смотрит, грозно воет,
Словно сердце песье ноет,
Словно хочет ей сказать:
Брось! — Она его ласкать,
Треплет нежною рукою;
«Что, Соколко, что с тобою?
Ляг!» — и в комнату вошла,
Дверь тихонько заперла,
Под окно за пряжу села
Ждать хозяев, а глядела
Все на яблоко. Оно
Соку спелого полно,
Так свежо и так душисто,
Так румяно-золотисто,
Будто медом налилось!
Видны семечки насквозь...
Подождать она хотела
До обеда, не стерпела,
В руки яблочко взяла,
К алым губкам поднесла,
Потихоньку прокусила
И кусочек проглотила...
Вдруг она, моя душа,
Пошатнулась не дыша,
Белы руки опустила,
Плод румяный уронила,

Закатилися глаза,
И она под образа
Головой на лавку пала
И тиха, недвижна стала...

Братья в ту пору домой
Возвращалися толпой
С молодецкого разбоя.
Им навстречу, грозно воя,
Пес бежит и ко двору
Путь им кажет. «Не к добру!» —
Братья молвили,— печали
Не минуем». Прискакали,
Входят, ахнули. Вбежав,
Пес на яблоко стремглав
С лаем кинулся, озлился,
Проглотил его, свалился
И издох. Напоено
Было ядом, знать, оно.
Перед мертвою царевной
Братья в горести душевной
Все поникли головой,
И с молитвою святой
С лавки подняли, одели,
Хоронить ее хотели
И раздумали. Она,
Как под крылышком у сна,
Так тиха, свежа лежала,
Что лишь только не дышала.
Ждали три дня, но она
Не восстала ото сна.
Сотворив обряд печальный,
Вот они во гроб хрустальный
Труп царевны молодой
Положили — и толпой
Понесли в пустую гору,
И в полуночную пору
Гроб ее к шести столбам
На цепях чугунных там
Осторожно привинтили
И решеткой оградили;
И, пред мертвою сестрой
Сотворив поклон земной,
Старший молвил: «Спи во гробе;

Вдруг погасла, жертвой злобе,
На земле твоя краса;
Дух твой примут небеса.
Нами ты была любима
И для милого хранима —
Не досталась никому,
Только гробу одному».

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,
Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала:
«Я ль, скажи мне, всех милее,
Всех румяней и белее?»
И услышала в ответ:
«Ты, царица, спору нет,
Ты на свете всех милее,
Всех румяней и белее».

За невестою своей
Королевич Елисей
Между тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрен;
Кто в глаза ему смеется,
Кто скорее отвернется;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец.
«Свет наш солнышко! ты ходишь
Круглый год по небу, сводишь
Зиму с теплою весной,
Всех нас видишь под собой.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видало ль где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей».— «Свет ты мой,—
Красно солнце отвечало,—
Я царевны не видало.
Знать, ее в живых уж нет.
Разве месяц, мой сосед,
Где-нибудь ее да встретил
Или след ее заметил».

Темной ночки Елисей
Дождался в тоске своей.
Только месяц показался,
Он за ним с мольбой погнался.
«Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок!
Ты встаешь во тьме глубокой,
Круглолицый, светлоокий,
И, обычай твой любя,
Звезды смотрят на тебя.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ей».— «Братец мой,—
Отвечает месяц ясный,—
Не видал я девы красной.
На сторóже я стою
Только в очередь мою.
Без меня царевна, видно,
Пробежала».— «Как обидно!» —
Королевич отвечал.
Ясный месяц продолжал:
«Погоди; об ней, быть может,
Ветер знает. Он поможет.
Ты к нему теперь ступай,
Не печалься же, прощай».

Елисей, не унывая,
К ветру кинулся, взывая:
«Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме бога одного.
Аль откажешь мне в ответе?
Не видал ли где на свете
Ты царевны молодой?
Я жених ее».— «Постой,—
Отвечает ветер буйный,—
Там за речкой тихоструйной
Есть высокая гора,
В ней глубокая нора;

В той норе, во тьме печальной,
Гроб качается хрустальный
На цепях между столбов.
Не видать ничьих следов
Вкруг того пустого места;
В том гробу твоя невеста».

Ветер дале побежал.
Королевич зарыдал
И пошел к пустому месту,
На прекрасную невесту
Посмотреть еще хоть раз.
Вот идет; и поднялась
Перед ним гора крутая;
Вкруг нее страна пустая;
Под горою темный вход.
Он туда скорей идет.
Перед ним, во мгле печальной,
Гроб качается хрустальный,
И в хрустальном гробе том
Спит царевна вечным сном.
И о гроб невесты милой
Он ударился всей силой.
Гроб разбился. Дева вдруг
Ожила. Глядит вокруг
Изумленными глазами,
И, качаясь над цепями,
Привздохнув, произнесла:
«Как же долго я спала!»
И встает она из гроба...
Ах!.. и зарыдали оба.
В руки он ее берет,
И на свет из тьмы несет,
И, беседуя приятно,
В путь пускаются обратно,
И трубит уже молва:
Дочка царская жива!

Дома в ту пору без дела
Злая мачеха сидела
Перед зеркальцем своим
И беседовала с ним,
Говоря: «Я ль всех милее,

Все румяней и белее».
И услышала в ответ:
«Ты прекрасна, слова нет,
Но царевна все ж милее,
Все румяней и белее».
Злая мачеха, вскочив,
Об пол зеркальце разбив,
В двери прямо побежала
И царевну повстречала.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Лишь ее похоронили,
Свадьбу тотчас учинили,
И с невестою своей
Обвенчался Елисей;
И никто с начала мира
Не видал такого пира;
Я там был, мед, пиво пил,
Да усы лишь обмочил.

1833

СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ

Негде, в тридевятом царстве,
В тридесятом государстве,
Жил-был славный царь Дадон.
Смолоду был грозен он
И соседям то и дело
Наносил обиды смело;
Но под старость захотел
Отдохнуть от ратных дел
И покой себе устроить.
Тут соседи беспокоить
Стали старого царя,
Страшный вред ему творя.
Чтоб концы своих владений
Охранять от нападений,
Должен был он содержать
Многочисленную рать.
Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало, с юга, глядь,—
Ан с востока лезет рать.

Справят здесь,— лихие гости
Идут от моря. Со злости
Инда плакал царь Дадон,
Инда забывал и сон.
Что и жизнь в такой тревоге!
Вот он с просьбой о помоге
Обратился к мудрецу,
Звездочету и скопцу.
Шлет за ним гонца с поклоном.

Вот мудрец перед Дадоном
Стал и вынул из мешка
Золотого петушка.
«Посади ты эту птицу,—
Молвил он царю,— на спицу;
Петушок мой золотой
Будет верный сторож твой:
Коль кругом все будет мирно,
Так сидеть он будет смирно;
Но лишь чуть со стороны
Ожидать тебе войны,
Иль набега силы бранной,
Иль другой беды незваной,
Вмиг тогда мой петушок
Приподымет гребешок,
Закричит и встрепенется
И в то место обернется».
Царь скопца благодарит,
Горы золота сулит.
«За такое одолженье,—
Говорит он в восхищенье,—
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Петушок с высокой спицы
Стал стеречь его границы.
Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лежа на боку!»

И соседи присмирели,
Воевать уже не смели:
Таковой им царь Дадон
Дал отпор со всех сторон!

Год, другой проходит мирно;
Петушок сидит все смирно.
Вот однажды царь Дадон
Страшным шумом пробужден:
«Царь ты наш! отец народа! —
Возглашает воевода,—
Государь! проснись! беда!»
— Что такое, господа? —
Говорит Дадон, зевая,—
А?.. Кто там?.. беда какая? —
Воевода говорит:
«Петушок опять кричит;
Страх и шум во всей столице».
Царь к окошку,— ан на спице,
Видит, бьется петушок,
Обратившись на восток.
Медлить нечего: «Скорее!
Люди, на́ конь! Эй, живее!»
Царь к востоку войско шлет,
Старший сын его ведет.
Петушок угомонился,
Шум утих, и царь забылся.

Вот проходит восемь дней,
А от войска нет вестей;
Было ль, не было ль сраженья,—
Нет Дадону донесенья.
Петушок кричит опять.
Кличет царь другую рать;
Сына он теперь меньшого
Шлет на выручку большого;
Петушок опять утих.
Снова вести нет от них!
Снова восемь дней проходит;
Люди в страхе дни проводят;
Петушок кричит опять,
Царь скликает третью рать
И ведет ее к востоку,—
Сам не зная, быть ли проку.

Войска идут день и ночь;
Им стаповится певмочь.
Ни побоища, ни стана,
Ни надгробного кургана
Не встречает царь Дадон.
«Что за чудо?» — мыслит оп.
Вот осьмой уж день проходит,
Войско в горы царь приводит
И промеж высоких гор
Видит шелковый шатер.
Всё в безмолвии чудесном
Вкруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшпая картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга,
По притоптанной траве,
По кровавой мураве...
Царь завыл: «Ох, дети, дети!
Горе мне! попались в сети
Оба наши сокола!
Горе! смерть моя пришла».
Все завыли за Дадоном,
Застонала тяжким стоном
Глубь долин, и сердце гор
Потряслося. Вдруг шатер
Распахнулся... и девица,
Шамаханская царица,
Вся сияя как заря,
Тихо встретила царя.
Как пред солнцем птица ночи,
Царь умолк, ей глядя в очи,
И забыл он перед ней
Смерть обоих сыповей.
И она перед Дадопом
Улыбнулась — и с поклопом
Его за руку взяла
И в шатер свой увела.
Там за стол его сажала,
Всяким яством угощала,

Уложила отдыхать
На парчовую кровать.
И потом, неделю ровно,
Покорясь ей безусловно,
Околдован, восхищен,
Пировал у ней Дадон.

Наконец и в путь обратный
Со своею силой ратной
И с девицей молодой
Царь отправился домой.
Перед ним молва бежала,
Быль и небыль разглашала.
Под столицей, близ ворот,
С шумом встретил их народ,—
Все бегут за колесницей,
За Дадоном и царицей;
Всех приветствует Дадон...
Вдруг в толпе увидел он,
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.
«А, здорово, мой отец,—
Молвил царь ему,— что скажешь?
Подь поближе. Что прикажешь?»
— Царь! — ответствует мудрец,—
Разочтемся наконец.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.
Подари ж ты мне девицу,
Шамаханскую царицу.—
Крайне царь был изумлен.
«Что ты? — старцу молвил он,—
Или бес в тебя ввернулся,
Или ты с ума рехнулся?
Что ты в голову забрал?
Я, конечно, обещал,
Но всему же есть граница.
И зачем тебе девица?
Полно, знаешь ли, кто я?
Попроси ты от меня
Хоть казну, хоть чин боярский,

Хоть коня с конюшни царской,
Хоть полцарства моего».
— Не хочу я ничего!
Подари ты мне девицу,
Шамаханскую царицу,—
Говорит мудрец в ответ.
Плюнул царь: «Так лих же: нет!
Ничего ты не получишь.
Сам себя ты, грешник, мучишь;
Убирайся, цел пока;
Оттащите старика!»
Старичок хотел заспорить,
Но с иным накладно вздорить;
Царь хватил его жезлом
По лбу; тот упал ничком,
Да и дух вон. Вся столица
Содрогнулась, а девица —
Хи-хи-хи, да ха-ха-ха!
Не боится, знать, греха.
Царь, хоть был встревожен сильно,
Усмехнулся ей умильно.
Вот — въезжает в город он...
Вдруг раздался легкий звон,
И в глазах у всей столицы
Петушок спорхнул со спицы,
К колеснице полетел
И царю на темя сел,
Встрепенулся, клюнул в темя
И взвился... и в то же время
С колесницы пал Дадон —
Охнул раз,— и умер он.
А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывало.
Сказка ложь, да в ней намек!
Добрым молодцам урок.

1834

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты печатаются по десятитомному собранию сочинений А. С. Пушкина, выпущенному издательством «Художественная литература» (М., 1959—1962). Лицейские стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Лицинию», «Старик», «Роза», «Гроб Анакреона», «Певец», «К Морфею», «Друзьям» («Богами вам еще даны...»), «Амур и Гименей», «Шишкову» («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...»), «Пробуждение», «Любопытный», «К Каверину» («Забудь, любезный мой Каверин...»), «Дельвигу» («Любовью, дружеством и ленью...»), «В. Л. Пушкину» («Что восхитительней, живей...»), «Разлука» публикуются в окончательных редакциях 1817—1819 и 1825 гг.

СТИХОТВОРЕНИЯ

К другу стихотворцу (стр. 35).— Первое появившееся в печати стихотворение Пушкина; опубликовано в «Вестнике Европы» за подписью Александр Н. к. ш. п. (перевернутые согласные фамилии Пушкин). *Чтоб не слететь с горы...*— «Взойти» на отроги Пинда Парнас или Геликон означало, на условном языке классицизма XVIII в., писать стихи. *Отец второй «Телемахиды»* — намек на Вильгельма Карловича Кюхельбекера (1797—1846), к которому, по-видимому, обращено послание («Телемахида» — поэма В. К. Тредиаковского). *Витгенштейн* Петр Христианович (1769—1843) — генерал, командовавший в 1812 г. русским корпусом, стоявшим на дороге, ведущей к Петербургу. *Рифматов*, *Графов*, *Бибрус* — стихотворцы: Сергей Александрович Ширинский-Шихматов (1783—1837), гр. Д. И. Хвостов (1757—1835) и Семен Сергеевич Бобров (1767—1810) — члены «Беседы любителей русского слова». Их же имеет в виду поэт, говоря о «бессмысленных певцах». *Глазунов* — петербургский книгоиздатель и владелец книжной лавки. *Руссо* Ж.-Б. (1670—1741) — французский поэт, умерший в крайней бедности. *Камоэнс* Луис (1524—1580) — португальский поэт, умерший в приюте для нищих. *Костров* Ермил Иванович (1750—

1796) — русский поэт, влачивший нищенское существование. *Парнасские сестры* — музы, покровительницы искусств. *Рамаков* — П. И. Макаров (1765—1804), критик и журналист, выступавший против главы «Беседы любителей русского слова» — А. С. Шишкова.

О с г а р (стр. 37).— Оригинальное «оссиановское» стихотворение самого Пушкина.

К а з а к (стр. 41).— В рукописи подзаголовок: «Подражание малороссийскому».

К с т у д е н т а м (стр. 43).— *Галич* Александр Иванович (1783—1848) — профессор российской и латинской словесности, в течение года преподававший в Лицее (с 5 мая 1814 г. до июня 1815 г.). *Остряк любезный* — Алексей Демьянович Илличевский (1798—1837), товарищ Пушкина по Лицею. *Сиятельный повеса* — князь Александр Михайлович Горчаков (1798—1883). *Повеса из повес* — Иван Васильевич Малиновский (1796—1873), товарищ Пушкина по Лицею. *Платов* Матвей Иванович (1751—1818) — атаман донских казаков, герой войны 1812 г. *Товарищ милый, друг прямой* — Иван Иванович Пущин (1798—1859). *Вильгельм* — Кюхельбекер.

К Б а т ю ш к о в у («Философ резвый и пиит...») (стр. 45).— После возвращения из заграничных походов 1813—1814 гг. Батюшков переживал тяжелый кризис мировоззрения и творчества, мало писал. В его поэзии стали звучать пессимистические ноты. *Певец тиисский* — Анакреонт (Анакреон), (ок. 570—487 гг. до н. э.), древнегреческий поэт, воспевавший любовь, вино, беззаботную жизнь. *Лилета* — имя, упомянутое Батюшковым в одном из наиболее известных его стихотворений «Мои пенаты» (1811). *Назон* — имеется в виду древнеримский поэт Публий Овидий Назон (43 г. до н. э.– 17 г. н. э.).

В о с п о м и н а н и я в Ц а р с к о м С е л е («Навис покров угрюмой нощи...») (стр. 47).— Написано по предложению лицейского профессора Галича для публичного экзамена по русской словесности, на котором и было прочитано 8 января 1815 г. в присутствии восторженно отозвавшегося о стихотворении Г. Р. Державина. Поэт вспоминает об этом в послании к Жуковскому 1816 г., в 8-й главе «Евгения Онегина» и в заметке 1835 г.: «Державина видел я только однажды в жизни». При переработке стихотворения в 1819 г. Пушкин демонстративно снял все имевшиеся в нем традиционные похвалы царю Александру I и опустил две строфы (вторую и предпоследнюю). *Минерва росская* — Екатерина II. При ней царскосельский дворец и парки приобрели тот вид, который они сохранили в основном и до настоящего времени. Дальше поэт называет ее «великой женой». Позднее Пушкин давал ей другие, гораздо менее лестные наименования. *Элизиум полнощный* — северный рай. *Лев* — герб Швеции. *Орел* — герб России. *Над... скалой // Вознесся памятник...*— колонна, воздвигнутая Екатериной II на островке, посреди одного из царскосельских озер, в честь морской победы графа А. Г. Орлова над турками под Чесмою в 1770 г. *Памятник простой* — колонна графу П. А. Румянцеву, прославленному полководцу XVIII в.; воздвигнута в честь победы над турками на берегу реки Кагула в 1770 г. *Петров* Василий Петрович (1736—

1799) — поэт, одописец. *Воитель поседелый* — М. И. Кутузов. *Скальд России* — В. А. Жуковский.

Городок (стр. 52).— *Великий четверток* — четверг на страстной неделе, когда происходила особенно длинная церковная служба. *Рифмов* — Ширинский-Шихматов. *Мом* — бог насмешки (греч. миф.). *Фернейский злой крикун* — Вольтер, который последние 20 лет своей жизни провел в Швейцарии (около Женевы) в приобретенном им имении Ферней. *Арьоста, Тасса внук* — подразумевается Вольтер, как автор пародийной поэмы «Орлеанская девственница», написанной в манере поэмы Ариосто «Неистовый Роланд», и героико-эпической поэмы «Генриада», написанной в манере «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. *Ванюша Лафонтен* — знаменитый французский баснописец, автор фривольных стихотворных «Сказок», Жан Лафонтен (1621—1695). *Дмитрев нежный* — поэт Иван Иванович Дмитриев (1760—1837), наряду с Карамзиным — глава русского сентиментализма. *Наперсник милый // Психеи* — поэт Ипполит Федорович Богданович (1743—1803), автор сказочно-иронической поэмы «Душенька», написанной на тот же сюжет, что и поэма Лафонтена об Амуре и Психее. *Вержье* Жак (1657—1720), аббат *Грекур* Жан Батист де (1683—1743) — французские поэты, развивавшие традиции фривольно-сатирических сказок Лафонтена. *Озеров* Владислав Александрович (1769—1816) — автор популярных тогда трагедий, окрашенных в сентиментальные тона. *Княжнин* Яков Борисович (1742—1791)— русский драматург. *Грозный Аристарх* — французский писатель и критик Ж.-Ф. Лагарп (1739—1803), автор курса истории древней и новой литературы в 16-ти томах «Лицей», написанного в духе классицизма XVIII в.; Аристарх — нарицательное имя строгого критика. *Визгова сочиненья* — трагедии Степана Ивановича Висковатова (1786—1831). *Глупона псалмопенья* — подражания псалмам Николая Михайловича Шатрова (1765—1841), члена «Беседы любителей русского слова». *Князь, наперсник муз* — князь Дмитрий Петрович Горчаков (1758—1824) — автор пользовавшихся в это время большой популярностью рукописных сатирических посланий и ноэлей. *Насмешник смелый* — Батюшков, неопубликованная сатира которого «Видение на брегах Леты» распространялась в списках. *Буянова певец* — В. Л. Пушкин, автор фривольной поэмы «Опасный сосед» (Буянов — герой поэмы). *Шутник бесценный* — И. А. Крылов, автор пародийно-сатирической «шутотрагедии» «Трумф»; *Чернавка, Подщипа, князь* и проч.— ее действующие лица. *...высот Парнаса // Боярин небольшой...*— поэт и переводчик Иван Семенович Барков (1732—1768), непристойно-озорные пародии которого на Сумарокова и других получили широкую известность. *Велик, велик — Свистов!*— цензурная замена вместо «Баркова», дальше *Свистовым* назван и Д. И. Хвостов, за которым закрепилась эта кличка. *Марон* — имеется в виду римский поэт Вергилий (Публий Вергилий Марон) (70—19 гг. до н. э.). *Газеты* — здесь в старом словоупотреблении — вести, слухи, сплетни. *...с очаковской медалью...*— за взятие в 1788 г. турецкой крепости Очаков.

Батюшкову («В пещерах Геликона...») (стр. 62).— Батюшков,

прочитав послание к нему Пушкина 1814 г., опубликованное в «Российском музеуме» (см. выше), приехал в начале февраля 1815 г. в Лицей познакомиться с его автором. Откликом на беседу поэтов и явилось это новое послание Пушкина. *Лары* — души предков, боги-покровители домашнего очага (р и м. м и ф.). *Будь всякий при своем* — слегка измененный стих из послания Жуковского Батюшкову.

Л и ц и н и ю (стр. 63).— Нападки на Лициния, временщика Ветулия, имели в это время особенную выразительность, поскольку вся полнота государственной власти в России оказалась фактически в руках временщика Аракчеева. Видимо, поэтому при публикации стихотворения ему был дан маскировочный подзаголовок «с латинского». Встречающиеся в этом стихотворении имена не связаны ни с какими историческими лицами. *Ликторы* — служители, сопровождавшие сановных лиц в Древнем Риме, расчищавшие им путь в толпе. *Ромулов народ, квириты* — римляне. *Циник* — в данном случае представитель философской школы (в Древней Греции) киников, или циников, проповедовавших полное презрение к житейским благам.

С т а р и к (стр. 65).— Вольный перевод стихотворения французского поэта Клемана Маро (1496—1544) «О себе».

Н а п о л е о н н а Э л ь б е (1815) (стр. 65).— Написано после получения известий, что Наполеон, которому после победы союзных войск и его отречения от французского престола в 1814 г. был предоставлен во владение остров Эльба, 26 февраля 1815 г. покинул его и 1 марта триумфально высадился во Франции; вскоре на его сторону перешла армия, а 20 марта перепуганный Людовик XVIII бежал из Парижа.

К П у щ и н у *(4 мая)* («Любезный именинник...») (стр. 68).— 4 мая — день рождения И. И. Пущина. *Старик крылатый* — время. *Вот кубок, наливай!* — стих из послания Батюшкова «Мои пенаты».

М е ч т а т е л ь («По небу крадется луна...») (стр. 69).— *Венком из миртов...*— мирт был посвящен богине любви Афродите.

М о е з а в е щ а н и е. Д р у з ь я м (стр. 71).— *Семела*, мать Вакха (г р е ч. м и ф.). *Певец мой дорогой* — друг Пушкина Антон Антонович Дельвиг (1798—1831), стихотворения которого «Вакх» и «К Темире» были опубликованы в 1815 г. в «Российском музеуме».

В о с п о м и н а н и е *(К Пущину)* («Помнишь ли, мой брат по чаше...») (стр. 73).— Речь идет о «пирушке» четырех лицеистов Малиновского, Пущина, Дельвига и самого Пушкина. *Педант* — дежурный гувернер, донесший о происшествии по начальству.

К Д е л ь в и г у *(Ответ)* («Послушай, муз невинных...») (стр. 76).— Ответ на опубликованное в 1815 г. в «Российском музеуме» восторженное послание Дельвига «Пушкину», заканчивавшееся стихами: «Пушкин! Он и в лесах не укроется, // Лира выдаст его громким пением...» и т. д. *Прадон* Никола (1632—1698) — французский драматург, пытавшийся состязаться с Расином и возвеличенный друзьями; вскоре его имя стало нарицательным обозначением бездарного писаки.

«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался...» (стр. 78).— Навеяно приездом в Лицей в гости к брату Екатерины Павловны Бакуниной (1795—1869). Е. П. Бакунина — предмет юношеской любви Пушкина-лицеиста и его ближайших лицейских друзей Пущина и Малиновского.

К бар. М. А. Дельвиг (стр. 79).— Обращено к сестре Дельвига Марии Антоновне. *Эпиталама* — брачная песня.

Тень Фонвизина (стр. 79).— *В раю...*— По античным мифам подземное царство, где находились тени умерших, Аид (Пушкин называет его здесь «адом») разделялся на две части: Элизий — для праведных душ (его поэт называет здесь «раем») — и Тартар, где мучились грешники. *Денис, невежде бич и страх...*— Фонвизин. *Но свет ни в чем не переменился.*— Следующее затем резко сатирическое описание высших кругов современного Пушкину общества в значительной степени повторяет беспощадную характеристику «света», вложенную Фонвизиным в его стихотворном «Послании к слугам моим Шумилову, Ваньке и Петрушке» в уста кучера Ваньки. *С крылатой шапкой набекрени // Богов посланник молодой...*— Гермес (Эрмий, Меркурий), в античной мифологии вестник богов, изображался с крыльями у ступней или на головном уборе. *Кропов* — Андрей Фролович Кропотов (1780—1821), бездарный писатель, издатель и единственный автор сатирического журнала «Демокрит», выходившего в первой половине 1815 г. *Анненская лента* — орден Анны 1-й степени, который носили на ленте через плечо. «*Аспазия*» — журнал «Кабинет Аспазии», издававшийся в 1815 г. Б. М. Федоровым при материальной поддержке Д. И. Хвостова. В 4-й книжке журнала был опубликован восторженный «Разбор посланий в стихах графа Д. И. Хвостова». *Анастасевич* Василий Григорьевич (1775—1845), библиограф, журналист, в своем журнале «Улей» (1811—1812) давал положительные отзывы о стихах Хвостова. *Князь Шальной* — князь Петр Иванович Шаликов (1767—1852), писатель, автор слащавых сентиментальных стишков, которые еще со времен «Арзамаса» высмеивались Пушкиным и поэтами его круга; редактор официальной газеты «Московские ведомости». В одном из своих стихотворений, следуя обыкновению карамзинистов без нужды засорять русский язык французскими словами, употребил слово «боскет» (фигурно подстриженная группа деревьев). *Безглагольник пресловутый* — Ширинский-Шихматов, избегавший в своих стихах глагольных рифм. *Петриада* — его эпическая поэма «Петр Великий, лирическое песнопение» (1810). *Ужасный критикам старик* — А. С. Шишков (см. о нем с. 721, прим. к стих. «Второе послание к цензору»). *Невинная другиня* — незамужняя поэтесса Анна Петровна Бунина (1774—1828), почетный член «Беседы любителей русского слова», усиленно восхвалявшаяся Шишковым. Называя ее «другиней», Пушкин высмеивает пристрастие Шишкова к «старинному слогу», «славенщине». *Ежемесячный вздыхатель* — уже упомянутый выше издатель журнала «Кабинет Аспазии» («Кокетки старой кабинет») Б. М. Федоров, печатавший в нем свои «чувствительные» стихи. *Открылась тайн священных дверь!..* и т. д.—

пародийно перетасованные и слегка измененные Пушкиным строки, взятые им из различных мест огромного стихотворения Державина «Гимн лиро-эпический на прогнание французов из отечества». *Бобров* С. С.— поэт-мистик. *И ты судьбой Невтону равен...*— великий английский математик и физик Исаак Ньютон (1643—1727) под старость поддался религиозно-мистическим настроениям, в частности, занялся толкованием Апокалипсиса. *Ты бог — ты червь, ты свет — ты ночь...*—несколько переиначенная цитата из знаменитой оды Державина «Бог». *...татарин бритый возгремел...*— Державин вел свой род от татарского мурзы Багрима и прославившую его оду «Фелица» направил Екатерине II от имени некоего татарского мурзы. *Фальконетов Купидон* — статуя французского скульптора Э.-М. Фальконе (1716—1791) «Амур, грозящий пальцем»; находилась в Петербургском Эрмитаже. *Клейст* Э.-Х. (1715—1759) — немецкий поэт, автор элегий, песен, идиллий.

Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать...») (стр. 88).— Павел Михайлович *Юдин* (1798—1852) — лицейский товарищ Пушкина. *Альбион* — Англия. *...пышные чехлы Лиона...*— во французском городе Лионе находились знаменитые шелковые фабрики. *Захарово* — подмосковное имение бабки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал, куда семья Пушкиных уезжала летом с 1806 по 1810 г. *Виланд* К.-М. (1733—1813) — немецкий писатель; некоторые рецензенты поэмы «Руслан и Людмила» усматривали в ней сходство со сказочной эпопеей Виланда «Оберон». *Ментия* (ментик) — короткая гусарская куртка с несколькими рядами блестящих пуговиц. *Раскат* — помост для пушек на крепостном валу. *Милая Сушкова* — сверстница детских лет Пушкина, Сонечка Сушкова. *Клофо* — парка, которая прядет нить жизни (греч. миф.).

Сон (стр. 94).—Отрывок, видимо, из задуманной поэмы «Оправданная лень». *Цитерея* — Афродита, богиня любви (греч. миф.). *Бершу* Жозеф (1765—1839) — французский поэт, автор шутливо-дидактической поэмы «Гастрономия». *Мамушка моя* — образ, в котором, видимо, слились воспоминания о няне Арине Родионовне и бабушке М. А. Ганнибал. *Альбан* — Франческо Альбани (1578—1660), модный в России в начале XIX в. итальянский художник академического направления.

Осеннее утро (стр. 100).—Навеяно отъездом Бакуниной, которая провела лето 1816 г. в Царском Селе.

Амур и Гименей (стр. 105).— *Гименей (Гимен)* — бог брака, сын бога огня, хромого кузнеца Вулкана, мужа Венеры. Изображался со светильником в руке. *Амур* — бог любви, его «маленький брат», изображался с повязкой на глазах: любовь слепа (рим. миф.).

Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...») (стр. 106).— Царскосельский товарищ Пушкина, Александр Ардалионович *Шишков* (1799—1832) — поручик Кексгольмского полка, расположенного в Софии, подле Царского Села, поэт, переводчик немецких романтиков, племянник главы литературных староверов, адмирала А. С. Шишкова; в отличие от дяди

был человеком передовых взглядов и не раз подвергался правительственным репрессиям. *Эрато* — муза эротической поэзии (г р е ч. м и ф.). *Тибулл* Альбий — римский поэт (ок. 50—19 гг. до н. э.). *Мелецкий* — Юрий Александрович Нелединский-Мелецкий (1752—1829) — русский поэт. *Парни* Эварист Дезире (1753—1814) — французский поэт.

К К а в е р и н у («Забудь, любезный мой Каверин...») (стр. 108).— Петр Павлович *Каверин* (1794—1855) — офицер лейб-гвардии гусарского полка, стоявшего в окрестностях Царского Села, приятель Пушкина-лицеиста. Характерный тип гусара того времени, игрока, прожигателя жизни, что сочеталось в нем, ученике Геттингенского университета, с интеллектуальными интересами и прогрессивными политическими взглядами. *Нескромные стихи.*— В своем шутливо-сатирическом «Ноэле на лейб-гусарский полк», до нас не дошедшем, Пушкин задел и Каверина, за что извиняется в послании к нему. *Кифера* (или Цитера) — одно из названий богини любви Афродиты по острову у берегов Греции, бывшему одним из мест ее культа. *Портик* — крытая галерея, в которой античные философы вели беседы со своими учениками.

Э л е г и я («Опять я ваш, о юные друзья!..») (стр. 109).— Написано 1 января, после возвращения с рождественских каникул, на которые впервые после пяти лет безвыездной жизни в Лицее воспитанников отпустили к родным.

Б е з в е р и е (стр. 109).— Было прочитано Пушкиным 17 мая 1817 г. на выпускном экзамене по российской словесности.

Д е л ь в и г у («Любовью, дружеством и ленью...») (стр. 111).—Написано в связи с отказом издателя журнала «Вестник Европы», профессора М. Т. Каченовского, приверженца отживших литературных направлений, напечатать три стихотворения, присланные Пушкиным.

В. Л. П у ш к и н у («Что восхитительней, живей...») (стр. 112).—Написано в связи с намерением поступить на военную службу, не одобрявшимся близкими поэта. *Бессмертный трус.*— Древнеримский поэт Гораций (65—8 гг. до н. э.), сражаясь при Филиппах в войсках республиканцев и видя, что сражение проиграно, бросил легион, которым командовал, и бежал с поля битвы. *...в тибурских... лесах...*— местность близ Рима, где находилась вилла Горация.

К н я з ю А. М. Г о р ч а к о в у («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...») (стр. 113).— *Тебе... // Указан путь и счастливый и славный...*— Горчаков действительно сделал блестящую карьеру видного государственного деятеля, дослужившись до министра иностранных дел и канцлера.

П р о щ а н ь е («Промчались годы заточенья...») (стр. 115).—Написано незадолго до выпуска из Лицея. *...оставьте красный мне колпак...*— Недруги Карамзина в своих доносах выдвигали против него нелепое обвинение в якобинстве. В связи с этим по шутливому ритуалу «арзамасцев», считавших Карамзина своим идейным главой, очередной председатель на заседаниях кружка облекался в «красный колпак» якобинцев; его же надевали на голову

новопринимаемого члена, что ожидало и готовившегося вступить в «Арзамас» Пушкина.

Р а з л у к а («В последний раз, в сени уединенья...») (стр. 115).— *Лицейской жизни милый брат* — поэт В. К. Кюхельбекер. В первой печатной редакции стихотворение, написанное перед самым выпуском из Лицея, было прямо озаглавлено «Кюхельбекеру». При последующих публикациях его имя как «государственного преступника» пришлось снять, тем более что при переработке стихотворения весной 1825 г. строку «Не разлучайся... с фортуной, дружеством и Фебом» Пушкин характерно изменил: «с свободою и Фебом».

«П р о с т и т е, в е р н ы е д у б р а в ы!..» (стр. 116).— Написано незадолго до возвращения в Петербург из Михайловского, куда поэт поехал вскоре после окончания Лицея, в альбом владелицы соседнего имения — Тригорского, Прасковьи Александровны Осиповой, по первому браку Вульф (1781—1859).

«К р а е в ч у ж и х н е о п ы т н ы й л ю б и т е л ь...» (стр. 117).— *Голицыну увидел...*— княгиня Евдокия Ивановна Голицына (1780—1850), хозяйка великосветского салона, женщина образованная, демонстративно подчеркивавшая свой русский «патриотизм».

К н е й («В печальной праздности я лиру забывал...») (стр. 117).— Обращено к Екатерине Павловне Бакуниной.

В о л ь н о с т ь. *Ода* (стр. 118).— Непосредственным образцом оды Пушкина послужила одноименная ода Радищева, частично включенная последним в «Путешествие из Петербурга в Москву» и явившаяся одной из главных причин постигнувшей его кары — смертного приговора, замененного ссылкой в Сибирь. Стихотворение «Вольность» широко распространилось в списках и явилось одной из причин ссылки Пушкина. Впервые было опубликовано Герценом в лондонской «Полярной звезде на 1856 год»; в России было полностью напечатано только в 1906 г. *...возвышенного галла...*— Кого имеет здесь в виду Пушкин, точно не установлено: исследователями называются имена французских поэтов, современников революции конца XVIII в.— Андре Шенье, Экушара Лебрена и автора «Марсельезы» Руже де Лилля. *Мученик ошибок славных* — французский король Людовик XVI, казненный в 1793 г. по приговору Конвента; по Пушкину, погиб в качестве искупительной жертвы за бесчисленные преступления, совершенные его «предками» — королями из династии Бурбонов. *Злодейская порфира.*— Пушкин имеет в виду последующий захват верховной власти Наполеоном, надевшим на себя императорскую порфиру. *Пустынный памятник тирана* — Михайловский дворец в Петербурге, в котором в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. группой заговорщиков, принадлежавших к высшей знати, был задушен император Павел I; по свидетельству современников, Пушкин написал свою оду в квартире братьев А. И. и Н. И. Тургеневых, окна которой выходили на «забвенью брошенный дворец» (после убийства Павла в нем не жили). *Клио* —муза истории. *Калигулы последний час...*— Павла I поэт приравнивает к одному из самых деспо-

тических и кровожадных римских императоров, Калигуле. Аналогия подкрепляется тем, что Калигула был также убит в своем дворце приближенными заговорщиками, процарствовав, как и Павел, всего около четырех лет (37—41 гг. н. э.). Именуя Павла «увенчанным злодеем», поэт резко отрицательно изображает и его высокопоставленных убийц, именуя их «янычарами» (привилегированная часть войска турецких султанов, неоднократно, подобно русской гвардии XVIII в., использовавшаяся для устройства дворцовых переворотов).

Торжество Вакха (стр. 121).— По древнегреческим преданиям, бог вина и виноделия Вакх (Бахус) победоносно проехал в колеснице, запряженной тиграми, в сопровождении свиты козлоногих фавнов и сатиров, сильванов и нимф-вакханок, по всей Греции и Востоку вплоть до Индии; в честь его устраивался ряд праздников, в том числе «оргии» или «вакханалии», отличавшиеся крайней необузданностью. *Силен* — старейший из сатиров, воспитатель Вакха (греч. миф.).

Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» (стр. 123).— Обращено к той же Е. И. *Голицыной*, что и стихотворение «Краев чужих неопытный любитель...». В декабре 1817 г. Карамзин писал Вяземскому, что Пушкин «смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера».

«Когда сожмешь ты снова руку...» (стр. 123).— Обращено к Н. И. Кривцову в связи с отъездом его в Лондон для службы в русском посольстве. *Святая библия харит* — знаменитая антицерковная поэма Вольтера «Орлеанская девственница».

Выздоровление (стр. 124).— *Прелестный воин* — одна из петербургских «прелестниц», Елизавета Шот-Шедель, посетившая тяжело болевшего в начале 1818 г. поэта под видом гусарского офицера.

Жуковскому («Когда, к мечтательному миру...») (стр. 124).— *...творишь ты для немногих...*— Имеются в виду изданные Жуковским сборнички «Для немногих», содержащие в себе образцы немецкой поэзии и переводы их поэтом на русский язык и выпущенные в небольшом количестве экземпляров, которые не поступали в продажу, а раздавались ближайшим друзьям. В первой журнальной публикации стихотворения в 1821 г. Пушкин снабдил его подзаголовком: «По прочтении изданных им книжек «Для немногих».

К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость...») (стр. 125).— Портрет Жуковского писан Кипренским (гравирован Вендрамини).

К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной...») (стр. 126).— Наталья Яковлевна *Плюскова* (ок. 1780—1845) — близкая к литературным кругам фрейлина жены Александра I, императрицы Елизаветы Алексеевны. Нелюбимая царем и отрицательно относившаяся к его реакционной политике, интересовавшаяся литературой, занимавшаяся благотворительной деятельностью, Елизавета Алексеевна пользовалась сочувствием и популярностью в либеральных кругах общества. Воспевание полуопальной

царицы само по себе было выражением оппозиционной настроенности Пушкина. Однако стихотворение имело и более широкий политический смысл, поскольку у некоторых членов тайного общества возник проект нового дворцового переворота — замены (как в случае с Екатериной II) Александра I его женой. Душой этого проекта был Ф. Н. Глинка, стоявший во главе «Вольного общества любителей словесности», в органе которого — журнале «Соревнователь просвещения» — и было опубликовано пушкинское стихотворение под заглавием «Ответ на вызов написать стихи в честь ее императорского величества государыни императрицы Елизаветы Алексеевны».

С к а з к и. *Noël* (стр. 126).—*Noël*— французская сатирическая песенка на мотив церковных рождественских песнопений. Написано Пушкиным в связи с речью Александра I на открытии в Варшаве польского сейма, в которой царь обещал дать России конституцию. Ноэль стал широко известен в списках. В печати впервые появился только в 1858 г. в лейпцигском «Собрании стихотворений Пушкина, Рылеева, Лермонтова и других лучших авторов». *Кочующий деспот* — после свержения Наполеона и организации реакционного так называемого Священного союза Александр I часто бывал за границей, на международных конгрессах. *Меня газетчик прославлял...*— Александра I всячески превозносила реакционная западноевропейская печать. *Лавров* И. П.— директор исполнительного департамента в министерстве полиции. *Соц* В. И.—секретарь особого цензурного комитета. *Горголи* И. С.— петербургский обер-полицмейстер.

К Ч а а д а е в у («Любви, надежды, тихой славы...») (стр. 127).— Петр Яковлевич *Чаадаев* (1794—1856) — офицер лейб-гвардии гусарского полка, человек широкого образования (впоследствии — автор знаменитых «философских писем»), прогрессивных и вольнолюбивых взглядов (в 1821 г. вступил в «Союз благоденствия»), был в период до ссылки Пушкина его ближайшим старшим другом.

Н а К а р а м з и н а («В его «Истории» изящность, простота...») (стр. 128).— Эпиграмма на «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина.

N. N. *(В. В. Энгельгардту)* («Я ускользнул от Эскулапа...») (стр. 129).— Обращено к Василию Васильевичу *Энгельгардту* (1785—1837), приятелю Пушкина, члену дружеского литературного объединения «Зеленая лампа», бывшего негласным отделом «Союза благоденствия». Активное участие в «Зеленой лампе» принимал и сам Пушкин. Энгельгардт славился своим острословием и забавными куплетами, которые ходили по всему Петербургу. *Пинд* — горный хребет в Греции, местопребывание Аполлона и муз.

О р л о в у («О ты, который сочетал...») (стр. 129).— Обращено к командиру лейб-гвардии Конного полка генералу Алексею Федоровичу *Орлову* (1786—1861), приятелю генерала Павла Дмитриевича *Киселева* (1788—1872), назначенного в 1819 г. начальником штаба второй армии, который находился в местечке Тульчине (Подольской губернии), и обещавшего записать поэта на военную службу. *Под сенью дедовских лесов...*— в Михайловском, куда Пуш-

кин через несколько дней (стихотворение датировано им 4 июля 1819 г.) и уехал.

К Щ е р б и н и н у («Житье тому, любезный друг...») (стр. 131).— Обращено к офицеру, члену «Зеленой лампы» Михаилу Андреевичу *Щербинину* (1793—1841).

Д е р е в н я (стр. 131).— Написано в июле в Михайловском (пейзаж его зарисован в первой части стихотворения) под влиянием впечатлений от «псковского хамства» — крепостнического быта и тяжкого положения закрепощенных крестьян. Пушкин смог опубликовать под заглавием «Уединение» только первую часть стихотворения (до слов: «Но мысль ужасная здесь душу омрачает», затем следовали четыре строки многоточий), вторая получила широкое распространение в списках. *Оракулы веков* — великие писатели прошлого. *Друг человечества* — выражение, широко распространенное в просветительской философии XVIII в.

Р у с а л к а («Над озером, в глухих дубровах...») (стр. 134).— Стихотворение было запрещено к печати цензором Тимковским, а когда поэту удалось опубликовать его в 1826 г. в собрании стихотворений, это вызвало жалобу со стороны духовенства министру просвещения.

У е д и н е н и е (стр. 135).— Вольный перевод одноименного стихотворения французского поэта Антуана Арно (1766—1834). Пушкин добавил отсутствующее в оригинале: «Вдали тиранов и невежд» (для печати был вынужден ослабить эту строку, заменив на: «Вдали взыскательных невежд»).

В с е в о л о ж с к о м у («Прости, счастливый сын пиров...») (стр. 136).— Обращено к Никите Всеволодовичу *Всеволожскому* (1799—1862), сослуживцу Пушкина по Коллегии иностранных дел, члену «Зеленой лампы», в доме которого и происходили заседания кружка. На одном из них послание было оглашено поэтом. *Египетские девы* — цыганки. *Пленница младая* — ученица балетной школы, находившейся неподалеку от дома Всеволожского, Евдокия Михайловна Овошникова (1804—1846).

С т а н с ы Т о л с т о м у («Философ ранний, ты бежишь...») (стр. 138).— Ответ на «Послание А. С. Пушкину» петербургского приятеля поэта, члена «Союза благоденствия», одного из руководителей «Зеленой лампы» Якова Николаевича *Толстого* (1791—1867). *Эпиктет* — греческий философ-стоик (ок. 50—ок. 138 гг.).

П о с л а н и е к к н. Г о р ч а к о в у («Питомец мод, большого света друг...») (стр. 139).— Обращено к лицейскому товарищу Пушкина князю Александру Михайловичу *Горчакову*.

«М н е б о й з н а к о м — л ю б л ю я з в у к м е ч е й...» (стр. 141).— Написано под влиянием известий о революции в Испании.

Ю р ь е в у («Любимец ветреных Лаис...») (стр. 141).— Обращено к офицеру Уланского полка, члену «Зеленой лампы» Федору Филипповичу *Юрьеву* (1796—1860). Батюшков, прочитав это стихотворение, воскликнул: «О! Как стал писать этот злодей!»

«У в ы! з а ч е м о н а б л и с т а е т...» (стр. 142).— Написано в Гурзуфе. *Она* — одна из дочерей генерала Николая Николаевича Раевского, слабая здоровьем Елена либо Екатерина, болезнью которой и была вызвана поездка Раевских на юг.

«П о г а с л о д н е в н о е с в е т и л о...» (стр. 143).— Написано, по свидетельству самого поэта, ночью на корабле по пути из Керчи в Гурзуф. Напечатано в 1820 г. в журнале «Сын отечества» с пометой под текстом: «Черное море». В последующих публикациях было указано: «Подражание Байрону».

Д о ч е р и К а р а г е о р г и я (стр. 144).— *Карагеоргий* (Георгий Черный) — организатор и глава национально-освободительной борьбы сербов против турецкого ига (1804—1813), с 1808 г. верховный воевода — господарь Сербии. Для достижения своей цели не останавливался ни перед чем: убил отца (точнее, отчима), угрожавшего донести туркам на повстанцев, казнил брата. Разбитый в 1813 г. турками, получил убежище в России в Хотине, близ Кишинева, где и проживала в годы ссылки Пушкина его семья. После того как его бывший соратник, воевода Милош Обренович, снова поднял восстание против турок, он тайно вернулся в 1817 г. в Сербию, но был изменнически убит Милошем, опасавшимся, что Георгий снова возьмет в свои руки верховную власть.

Ч е р н а я ш а л ь (стр. 145).— При первой публикации стихотворение имело подзаголовок «Молдавская песня».

«Р е д е е т о б л а к о в л е т у ч а я г р я д а...» (стр. 146).— Написано в имении А. Л. и В. Л. Давыдовых — селе Каменке, Киевской губернии. Пейзажу Каменки, расположенной на скалистых берегах реки Тясмина, противопоставляется морской пейзаж Гурзуфа. *Дева юная* — скорее всего младшая дочь генерала Раевского Мария Николаевна (1805—1863), которой во время пушкинской поездки в Крым было всего пятнадцать лет. При публикации стихотворения в «Полярной звезде» Пушкин просил Бестужева опустить три относящиеся к ней стиха элегии и был крайне огорчен, что тот напечатал ее полностью.

К п о р т р е т у Ч а а д а е в а («Он вышней волею небес...») (стр. 147).— *Брут* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — политический деятель Древнего Рима, пламенный республиканец, участвовавший в убийстве Юлия Цезаря после захвата им верховной власти. Когда республиканские войска, предводительствуемые Брутом, потерпели поражение, он бросился на меч. Считался классическим образцом борца за свободу. *Периклес* — Перикл (490—424 гг. до н. э.), крупнейший государственный деятель Афин, способствовавший наивысшему расцвету греческой литературы и искусства.

К п о р т р е т у В я з е м с к о г о («Судьба свои дары явить желала в нем...») (стр. 147).— Петр Андреевич *Вяземский* (1792—1878) — поэт, критик, близкий к Карамзину (его сестра была женой Карамзина), член «Арзамаса», активный участник борьбы романтиков с классиками, друг Пушкина.

Н а А р а к ч е е в а («Всей России притеснитель...») (стр. 147).—

Совета — высшего правительственного органа — Государственного совета; для своего герба Аракчеев взял девиз: «Предан без лести». Особенно убийственна последняя строка эпиграммы, бросающая в лицо Аракчееву то, что было широко известно, но о чем никто не осмеливался гласно сказать: всесильный временщик сам находился в полном подчинении у простой, наглой и злой крепостной девки (в подлиннике употреблено еще более резкое слово), Настасьи Минкиной, его «домоправительницы» и любовницы, которая позднее за жестокое обращение с дворовыми была ими убита.

З е м л я и м о р е (стр. 148). — Вольное переложение идиллии древнегреческого поэта Мосха (II в. до н. э.).

«Я п е р е ж и л с в о и ж е л а н ь я...» (стр. 149).—Вначале входило в состав первой кавказской поэмы Пушкина, в монолог пленника, но затем было выделено в самостоятельное произведение (в одной из пушкинских рукописей озаглавлено «Элегия (из поэмы «Кавказ»)».

В о й н а (стр. 149).— Написано в связи с греческим восстанием против турок в 1821 г. и слухами о готовящемся объявлении Россией войны Турции. Пушкин, который во время кишиневской ссылки находился недалеко от районов восстания, горячо сочувствовал грекам.

И з п и с ь м а к Г н е д и ч у («В стране, где Юлией венчанный...») (стр. 150).— Начало письма к поэту, переводчику «Илиады» Николаю Ивановичу *Гнедичу* (1784—1833) из Кишинева от 24 марта 1821 г. *Овидий мрачны дни влачил...*— Древнеримский поэт Публий Овидий Назон был сослан императором Октавианом Августом, по бытовавшему преданию, за любовную связь с его дочерью Юлией в город Томы (ныне Констанца в Румынии), на берегу Черного моря. О муках изгнания Овидий писал в своих элегиях «Tristia» («Скорби»), взывая к Августу о прощении, и в «Письмах с Понта». Не одобряя «малодушия» поэта и противопоставляя ему в этом отношении себя, не поющего «молебнов лести» своему «Октавию»— Александру I, Пушкин высоко ценил поэтические достоинства этих произведений. *С Орловым спорю...*— Генерал Михаил Федорович Орлов (1778—1842), брат А. Ф. Орлова, член «Арзамаса» и один из руководящих деятелей «Союза благоденствия»; с 1820 г. командовал Кишиневской дивизией. Ссыльный Пушкин, знакомый с ним еще по «Арзамасу», часто бывал в его доме — средоточии членов кишиневской ячейки тайного общества. *И смелую певицу славы // От звонких уз освободил...*— После некоторых колебаний Гнедич стал переводить «Илиаду» размером подлинника — гекзаметром без рифм, в противовес своему предшественнику, поэту XVIII в. Е. И. Кострову, который переводил ее рифмованным шестистопным ямбом.

К и н ж а л (стр. 151).— Стихотворение, пользовавшееся особенной популярностью среди наиболее радикально настроенных декабристов. С ним специально знакомили тех, кого подготовляли к цареубийству. *Лемносский бог* — Вулкан. *Кесарь* — Гай Юлий Цезарь (100—44 гг. до н. э.) был заколот республиканцами в Сенате и упал к подножию статуи главы республиканцев Помпея, незадолго до этого им побежденного. *Апостол гибели* — Жан-Поль

Марат (1743—1793), один из крупнейших вождей революционной мелкой буржуазии во время французской революции конца XVIII в.; был убит жирондисткой Шарлоттой Корде — *девой Эвменидой*. Эвменида — богиня мщения (г р е ч. м и ф.). Восторженно принимая первый период французской революции, Пушкин отрицательно относился к диктатуре якобинцев и террору. Этим объясняется оценка им Марата и идеализация Шарлотты Корде. *На торжественной могиле...*— могила казненного студента Карла Занда, заколовшего 23 марта 1819 г. реакционного немецкого писателя Августа Коцебу (служившего агентом русского правительства), стала местом паломничества передовой немецкой молодежи. *Без надписи* — т. е. направленный против всякого тирана или деятеля *преступной силы* — реакции.

В. Л. Д а в ы д о в у («Меж тем как генерал Орлов...») (стр. 152).— Обращено к одному из видных деятелей тайного Южного общества, председателю Каменской управы Тульчинской думы, после разгрома восстания декабристов осужденному по первому разряду и сосланному на каторгу в Сибирь, где он и умер, Василию Львовичу *Давыдову* (1792—1855). Пушкин гостил с ноября 1820 по январь 1821 г. у В. Л. и А. Л. *(милый брат)* Давыдовых в Каменке, куда, воспользовавшись именинами их матери, съехалось для совещания много членов тайного общества. *Обритый рекрут Гименея* — М. Ф. Орлов, который вскоре подошел «под меру» — женился на старшей дочери генерала Раевского Екатерине Николаевне; *Раевские мои* — сам генерал Н. Н. Раевский, брат Давыдовых по матери, и его старший сын Александр Николаевич (1795—1868), которые также гостили в эту пору в Каменке. *Безрукий князь* — князь Александр Константинович Ипсиланти (1792—1828), потерявший правую руку в сражении под Дрезденом в 1813 г.; Пушкин познакомился с ним в Кишиневе в октябре 1820 г. В начале марта 1821 г. Ипсиланти поднял восстание с целью освобождения Греции от турецкого ига. *Седой обжора* — митрополит Гавриил Банулеску, похороны которого состоялись незадолго перед пасхой, 30 марта 1821 г.: отсюда *...с сыном птички и Марии // Пошел христосоваться в рай...*— пародийное переиначивание евангельского рассказа о рождении Иисуса Христа от девы Марии и духа святого, изображавшегося в виде голубя. В этих строках зерно написанной в том же месяце поэмы «Гавриилиада». *Я променял парнасски бредни... на сушеные грибы.*— В качестве чиновника Пушкин обязан был, как и его начальник, генерал Инзов, говеть, исповедоваться и причащаться. *Лафит* и *кло-д-вужо* — красные вина. *Эвхаристия* — обряд причащения. *Те* — члены итальянского революционного общества карбонариев, организовавшие в 1820 г. восстание в Неаполе, в марте 1821 г. подавленное австрийскими войсками. *Та* — свобода.

К а т е н и н у («Кто мне пришлет ее портрет...») (стр. 154).— Обращено к полковнику лейб-гвардии Преображенского полка, поэту, критику, драматургу Павлу Александровичу *Катенину* (1792—1853), деятелю ранних декабристских организаций, отставленному в 1820 г. по политическим причинам от военной службы. Страстный театрал, Катенин был учителем актрисы

А. М. Колосовой, которую Пушкин больно задел в эпиграмме «Все пленяет нас в Эсфири...» («свистом гимны заглушил»). Желая искупить свою «вину» и воспользовавшись появлением гравированного портрета Колосовой при новом издании «Андромахи» Расина в переводе гр. Д. И. Хвостова, Пушкин в форме послания к Катенину сложил артистке блистательный мадригал. *Селимена и Моина* — роли, исполнявшиеся Колосовой в комедии Мольера «Мизантроп» и трагедии Озерова «Фингал».

Ч а а д а е в у («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») (стр. 154).— Пушкин, узнав о распространившихся по Петербургу слухах, что его высекли в полиции, был так потрясен, что в первом порыве негодования хотел или покончить с собой, или убить царя Александра. Своим намерением он, очевидно, поделился с особенно близким ему тогда Чаадаевым, который сумел успокоить его. *...философа, который... стал картежный вор.*— Пушкин имеет в виду Толстого-американца, отставного гвардейского офицера, кутилу, игрока, шулера, дуэлянта, как правило, убивавшего своих противников наповал, графа Федора Ивановича Толстого (1782—1846). Прозвище «американец» он получил за то, что, будучи участником первого русского кругосветного плавания, за недостойное поведение был высажен на одном из Алеутских островов, где прожил несколько месяцев и после всякого рода приключений вернулся через Камчатку домой. В Кишиневе до Пушкина дошло известие, что якобы Ф. И. Толстой был инициатором сплетни, согласно которой его высекли в полиции. *Оратор Лужников* — профессор М. Т. Каченовский (1775—1842), издатель «Вестника Европы» (1805—1830), подписывавший некоторые свои статьи псевдонимом «Лужницкий старец» (Лужники — местность в Москве). *Вольнолюбивые надежды оживим...*— Имеется в виду концовка послания Пушкина к Чаадаеву 1818 г. При публикации послания в 1821 г. эта строка была исключена цензурой. *Гони ты Шеппинга...*— очевидно, того, о ком саркастически упомянул Пушкин в послании к Горчакову 1819 г.

«К т о в и д е л к р а й, г д е р о с к о ш ь ю п р и р о д ы...» (стр. 159).— Навеяно воспоминаниями о поездке Пушкина в 1820 г. вдоль берегов Крыма и его жизни в Гурзуфе.

Д и о н е я (стр. 160).— В издании 1826 г. включено в раздел «Подражаний древним». *Дионея* и *Хромид* — имена из древнегреческих идиллий.

Н а п о л е о н («Чудесный жребий совершился...») (стр. 161).— Написано по получении 18 июля 1821 г. известия о смерти 5 мая Наполеона на острове св. Елены. *Царский труп* — гильотинированный Людовик XVI. *Тильзит... // Последней славою венчал...*— Александр I в 1807 г. после неудачной войны в союзе с Пруссией против Наполеона вынужден был признать законность его власти как императора Франции и заключить с ним в пограничном городе Восточной Пруссии Тильзите мир и союз на весьма выгодных для него и «обидных» для русских условиях. *Померкни, солнце Австерлица...*— близ города Аустерлица, в Моравии, Наполеон одержал в 1805 г. блестящую победу над союзными войсками, решившую участь всей кампании. Есть свидетель-

ство, что, когда перед началом Бородинского сражения показалось солнце, Наполеон, обращаясь к войскам, воскликнул: «Солдаты, это солнце Аустерлица». *Льдистый ужас полуночи* — жестокая зима 1812 г., способствовавшая гибели «великой армии» Наполеона во время русского похода.

«Гречанка верная! не плачь,— он пал героем...» (стр. 164).— Возможно, что стихотворение подсказано конкретным случаем, но под пером поэта он обрел обобщенный смысл прославления героизма греков, восставших против турецкого ига. *Аристогитон* — афинский юноша, вместе со своим братом Гармодием убивший (в VI в. до н. э.) во время народного празднества тирана Гиппарха кинжалом, спрятанным под миртовыми ветками, и казненный за это.

К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов...») (стр. 165).— Называя Овидия *певцом любви*, Пушкин имеет в виду его «Любовные элегии» («Amores») и прославленную поэму «Ars amatoria» («Наука любви»). *Скифия* — степи, примыкающие к северным берегам Черного моря и населенные в первом тысячелетии различными племенами, считавшимися древними греками и римлянами варварскими. *Истр* — древнее название Дуная.

Кокетке (стр. 168).— Обращено к жене владельца Каменки А. Л. Давыдова Аглае Антоновне, урожденной герцогине Граммон. *Простодушная Аньеса* — персонаж комедии Мольера «Школа жен».

Алексееву («Мой милый, как несправедливы...») (стр. 169).— Обращено к кишиневскому сослуживцу и приятелю поэта Николаю Степановичу *Алексееву* (1788—1854). Слова Баратынского взяты из напечатанного им в том же 1821 г. послания «Коншину» («Пора покинуть, милый друг...»). Алексеев приревновал поэта к своей близкой знакомой Марии Егоровне Эйхфельдт.

Десятая заповедь (стр. 170).— Первая половина стихотворения — шутливый пересказ библейской заповеди Моисея.

«Хоть, впрочем, он поэт изрядный...» (стр. 171).— Поскольку в черновиках вместо «Эмилий» было «Людмилин»,— видимо, сам автор «Руслана и Людмилы»,— адресатом эпиграммы может быть кто-то из светских знакомых поэта.

Баратынскому. *Из Бессарабии* («Сия пустынная страна...») (стр. 171).— С одним из лучших поэтов-современников, Евгением Абрамовичем *Баратынским* (1800—1844), Пушкин познакомился в 1819 г. и очень высоко ценил его творчество. *Тень Назона* — тень Овидия; *Овидием живым* Баратынский назван потому, что за мальчишеский проступок он был исключен из пажеского корпуса с запретом поступать на государственную службу. Это вынудило его зачислиться рядовым в один из петербургских полков, откуда в чине унтер-офицера он был переведен в 1820 г. — год ссылки Пушкина — в Финляндию, что явилось для него также своего рода ссылкой. *Бессарабия*, по которой Пушкин только что (в декабре 1821 г.) совершил поездку, побывав в Аккермане и в Измаиле, была воспета Державиным в «Песне на взятие Измаила».

Д р у з ь я м («Вчера был день разлуки шумной...») (стр. 171).—Адресовано офицерам генерального штаба В. Т. Кеку, А. П. и М. А. Полторацким и В. П. Горчакову, занимавшимся топографическими съемками Бессарабской области. *День разлуки шумной* — прощальный обед, данный 14 февраля 1822 г. Полторацкими по случаю отъезда Кека. Пили из походных стаканов, вставлявшихся один в другой; самый большой из них предоставили Пушкину.

П е с н ь о в е щ е м О л е г е (стр. 172).— *Олег* — первый киевский князь из рода Рюрика, овладевший Киевом, в который перенес столицу из Новгорода, и подчинивший своей власти ряд славянских племен. После похода в 907 г. на столицу Византии, Царьград, во время которого он, по сказанию летописца, прибил в знак победы свой щит на цареградских воротах, получил прозвище *Вещий* — чародей. Рассказ о смерти Олега основан Пушкиным на летописном предании, приведенном Карамзиным в «Истории Государства Российского». *Хазары* — кочевой народ, обитавший некогда в областях, граничивших на юге с Киевской Русью; Олег вел с ними удачную борьбу. *Кудесник*, *волхв* — в Древней Руси мудрец-прорицатель. *Перун* — бог молнии и грома, главное божество древних славян. *Игорь* — сын Рюрика; после смерти Олега, который был его опекуном, княжил в Киеве. *Ольга* — жена Игоря.

Г р е ч а н к е («Ты рождена воспламенять...») (стр. 176).— Обращено к Калипсо Полихрони, во время греческого восстания бежавшей вместе с другими своими соотечественниками из Константинополя в Кишинев. Ходили слухи, что она была возлюбленной *певца Леилы* (героиня поэмы Байрона «Гяур», очень ценимой Пушкиным). Приглашая Вяземского (в письме от 5 апреля 1822 г.) по дороге в Одессу «завернуть» в Кишинев, Пушкин обещал познакомить его «с гречанкой, которая целовалась с Байроном».

И з п и с ь м а к Я. Н. Т о л с т о м у («Горишь ли ты, лампада наша...») (стр. 176).— Вписано в письмо к *Я. Н. Толстому*, одному из основателей и особенно активных участников кружка «Зеленая лампа», из Кишинева от 26 сентября 1822 г. после строк: «Ты один изо всех моих товарищей, минутных друзей минутной младости, вспомнил обо мне... два года и шесть месяцев не имею от них никакого известия, никто ни строчки, ни слова...» *Лампада наша* — зеленая лампа, висевшая в комнате собраний членов кружка, от которой он и получил свое название. *Вино кометы* — шампанское сбора 1811 г.—года появления кометы,—славившееся своим особенно высоким качеством. *Калмык* — слуга-мальчик, прислуживавший за столом. По установившемуся обычаю, когда кто-нибудь из присутствующих, вспоминал Толстой, «отпускал» «пошлое словцо», мальчик должен был подойти к нему и сказать «здравия желаю». Пушкин, продолжает Толстой, «ни разу не подвергался калмыцкому желанию здравия. Он иногда говорил: «Калмык меня балует, Азия протежирует Африку...»

П о с л а н и е ц е н з о р у (стр. 177).— Послание обращено к одному из самых трусливых и тупых цензоров того времени, петербургскому цензору А. С. Бирукову, на просмотр к которому попадала большая часть произведений Пушкина. *Бунина* А. П.— посредственная поэтесса, почетный член

«Беседы любителей русского слова». ...*Куницына Маратом*...— лицейский учитель Пушкина, Александр Петрович Куницын (1783—1840), исполненный свободолюбивых идей, оказал очень большое влияние на самого поэта и на его товарищей. В разгар реакции, в 1821 г., его ранее напечатанная книга «Право естественное», в основу которой был положен курс его лицейских лекций, стала конфисковываться и уничтожаться, как «противоречащая явным истинам христианства и клонящаяся к ниспровержению всех связей, семейственных и государственных». ...*государь велит печатать без тебя.*— Пушкин имеет в виду данное Александром I Карамзину право печатать его «Историю Государства Российского» без цензуры. *Певец Пиров* — Е. А. Баратынский, автор поэмы «Пиры», опубликованной в 1821 г. *Шутливые оды* — непристойные произведения поэта и переводчика XVIII в. И. С. Баркова широко распространялись в списках. *Пушкина стихи.*— Поэт имеет в виду свои собственные политические стихи и эпиграммы. *Шаликов* — князь Петр Иванович Шаликов (см. о нем с. 703, прим. к стих. «Тень Фонвизина»). *Наказ Екатерины* — руководство для созванной Екатериной II в 1767 г. комиссии по выработке новых государственных законов; «Наказ» был составлен в весьма либеральных тонах, но никакого фактического влияния не имел. В «Замечаниях по русской истории XVIII века» Пушкин прямо называл его «лицемерным». Цензору он напоминает о нем по чисто тактическим соображениям, делая вид, что принимает его всерьез. *Сатирик превосходный* — Д. И. Фонвизин. *Державин, бич вельмож.*— Державину принадлежит много сатирических и обличительных од, направленных против высшей знати («Вельможа», «Властителям и судьям» и др.). *Наперсник Душеньки* — И. Ф. Богданович, автор поэмы «Душенька». *Дней Александровых прекрасное начало.*— Самые первые годы царствования Александра I отличались некоторым либерализмом; в частности, тогда было издано много книг, переиздание которых впоследствии безусловно запрещалось цензурой. *Те годы* — времена царствования Павла I, в 1797 г. запретившего к употреблению тринадцать слов, которые, по его мнению, имели революционное звучание, в числе их находилось и слово «отечество», вместо которого предписывалось употреблять слово «государство». *Бентам* Иеремия (1748—1832) — английский либеральный правовед. Переизданная в 1820 г. в новом переводе «Всеобщая история» французского историка XVIII в. аббата *Милота* «попала в сети» — подверглась резким цензурным искажениям. *Хоть умного себе возьми секретаря.*— Несколько измененная строка из басни Крылова «Оракул».

«Наперсница волшебной старины...» (стр. 181).— В образе *веселой старушки*, первом не условном, а реальном олицетворении своей музы, Пушкин, по-видимому, объединяет няню Арину Родионовну и свою бабку Марию Алексеевну Ганнибал, которая обучила поэта русской грамоте и любила рассказывать о старине, о предках.

Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной...») (стр. 181).— Федор Николаевич *Глинка* (1786—1880) — офицер, участник Отечественной войны. Пушкин высоко ценил его как человека, но об его стихах отзывался

чаще всего иронически. Глинка принял горячее участие в защите Пушкина, когда в апреле 1820 г. над ним нависла угроза тяжкой правительственной кары, а после того как поэта *постигнул остракизм* (так называлось в Древней Греции изгнание по политическим мотивам из пределов государства) — ссылка из *Афин* — Петербурга на юг, не побоялся в отличие от большинства его друзей и знакомых публично обратиться к нему со стихотворным приветствием, содержавшим восторженную характеристику его творчества. За это в своем ответном послании Пушкин и называет его *Аристидом*. Аристид (ок. 540 — ок. 487 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель, слывший образцом чести и справедливости.

А д е л и (стр. 182).— Обращено к дочери А. Л. и А. А. Давыдовых *Адели* Александровне, которой, когда Пушкин встречался с ней в Каменке, было двенадцать лет. *Лель* — по ошибочным представлениям того времени, древнеславянский бог любви (на самом деле это лишь песенный припев).

У з н и к (стр. 182).— *Вскормленный в неволе орел молодой* находился во дворе кишиневского острога; о посещении острога в 1821 г. Пушкин записал в своем дневнике.

П т и ч к а (стр. 183).— Посылая стихотворение в письме к Гнедичу от 13 мая 1823 г., Пушкин спрашивал, знает ли он о «трогательном обычае русского мужика» весной в «светлое», то есть пасхальное, воскресенье выпускать на волю птичку, и добавлял: «Вот вам стихи на это».

Ц а р с к о е С е л о («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений...») (стр. 183).— Набросанное в 1817—1819 гг. стихотворение осталось недоработанным. Снова Пушкин вернулся к нему в Кишиневе и начал перерабатывать, в частности, хотел закончить строфу стихами, связанными со своим положением ссыльного: «Печали тихий друг и глаз очарованье, // Явись, тебя зову я в мрачное изгнанье». Но и на этот раз работа не была завершена.

«К т о, в о л н ы, в а с о с т а н о в и л...» (стр. 184).—Недоработанный черновой набросок; в предпоследнем стихе слово «свободы» отсутствует и добавлено по смыслу редакторами.

«З а в и д у ю т е б е, п и т о м е ц м о р я с м е л ы й...» (стр. 184). — Недоработанный черновик.

«Н а д е ж д о й с л а д о с т н о й м л а д е н ч е с к и д ы ш а...» (стр. 185).— Строка «В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений» — в первых вариантах носила политический характер: «Страну, где нет оков, где нет предрассуждений» и еще резче: «Страну, где нет царей...»

«П р о с т и ш ь л и м н е р е в н и в ы е м е ч т ы...» (стр. 186).— Обращено к предмету одного из самых страстных увлечений Пушкина, дочери венского банкира Риппа, Амалии, вышедшей замуж за триестского купца Ризнича и весной 1823 г. приехавшей вместе с матерью-итальянкой в Одессу, где поэт с ней и познакомился.

«С в о б о д ы с е я т е л ь п у с т ы н н ы й...» (стр. 187).— Посылая Александру Ивановичу Тургеневу (1784—1845), давнему другу семьи поэта,

в письме от 1 декабря 1823 г. «лучшие», но политически нецензурные строфы из стихотворения «Наполеон» о победе французской революции, Пушкин иронически прибавлял: «Это последний мой либеральный бред. Теперь я раскаялся и на днях написал подражание басне умеренного демократа Иисуса Христа». Эпиграф к стихотворению заимствован из Евангелия.

К н. М. А. Г о л и ц ы н о й («Давно об ней воспоминанье...») (стр. 187).— Обращено к Марии Аркадьевне *Голицыной* (1802—1870), внучке полководца А. В. Суворова, с которой Пушкин встречался до ссылки и, по-видимому, снова встретился в Одессе. Во время этих встреч она *повторяла* поэту создания его *лиры слез и тайной муки* — пела положенные на музыку его элегические стихи.

«Н е д в и ж н ы й с т р а ж д р е м а л н а ц а р с т в е н н о м п о р о г е...» (стр. 188).—Политическое стихотворение, связанное с горькими раздумьями Пушкина о нанесшем тяжелый удар по его «вольнолюбивым надеждам» на победу «народов» над «королями» разгроме силами Священного союза, под эгидой *владыки севера* — царя Александра I, национально-освободительных движений в ряде европейских стран и торжестве реакции, распространившейся на всю континентальную Европу от Италии (*Тибровых валов* — холмов на берегу Тибра, на которых построен Рим) и Испании *(башен Гибралтара)* до Польши *(Вислы)*, Петербурга *(Невы)* и Царского Села — резиденции Александра.

Д а в ы д о в у («Нельзя, мой толстый Аристип...») (стр. 191).— Обращено к Александру Львовичу *Давыдову* (1773—1833), генерал-майору в отставке, который оставался чужд политической деятельности своего брата-декабриста, Василия Львовича, и старался жить в свое удовольствие. *Аристип* — древнегреческий философ (V в. до н. э.), учивший, что цель и смысл жизни — в наслаждениях. *Но не могу с тобою плыть...*— при первой публикации стихотворение имело подзаголовок: «На приглашение ехать с ним морем на полуденный берег Крыма». Поездка эта была организована новороссийским генерал-губернатором, графом Михаилом Семеновичем Воронцовым, в одесской канцелярии которого служил в течение года (с июля 1823 по июль 1824 г.) Пушкин. Воронцов вскоре возненавидел поэта, который, в свою очередь, преследовал его убийственными эпиграммами. В число многочисленных участников этой поездки Пушкин подчеркнуто не был включен. *Чахоточный отец... Энеиды* — древнеримский поэт Вергилий — автор эпической поэмы «Энеида». Вергилий болел легкими, поэтому жил на южном побережье Италии и наконец — после нескольких лет работы над поэмой — *пустился* морем на места ее действия — в Грецию и Азию. *Гораций* — древнеримский поэт, *Августов певец* (в ряде своих од прославлял императора Августа), написавший оду «К кораблю, везущему в Афины Вергилия».

П р о з е р п и н а (стр. 191).— Вольный перевод из «Déguisements de Vénus» («Превращений Венеры») (XVII картина) Парни (в рукописи подзаголовок «Подражание Парни»). *Прозерпина* — дочь Кереры (Цереры), богини растительного царства, жена Плутона, бога подземного царства —

Аида, самая нижняя область которого, *Тартар*, окружена огненной рекой *Флегетоном* (г р е ч. м и ф.). *Пелион* — горный хребет в Фессалии, в Греции.

И з п и с ь м а к В у л ь ф у («Здравствуй, Вульф, приятель мой!..») (стр. 192).— Стихотворная часть письма Пушкина от 20 сентября 1824 г. Алексей Николаевич *Вульф* (1805—1881) — сын (от первого брака) П. А. Осиповой, студент Дерптского (Тартуского) университета, где он учился вместе с поэтом Языковым. Когда Пушкин приехал в августе 1824 г. в ссылку в Михайловское, Вульф во время летних каникул жил у матери в Тригорском, и поэт близко сошелся с ним. *Пострелять из пистолета...*— Готовясь к дуэли с таким грозным противником, как Толстой-американец, Пушкин, и без того отлично стрелявший, систематически упражнялся в пистолетной стрельбе. *Курчавый брат* — Лев (по-английски *Лайон*) Сергеевич Пушкин.

К Я з ы к о в у («Издревле сладостный союз...») (стр. 193).— С Николаем Михайловичем *Языковым* (1803—1846) Пушкин еще не был лично знаком, но высоко ценил его поэтическое дарование и много слышал о нем от Вульфа. Языков отозвался на пушкинское письмо ответным посланием «А. С. Пушкину» («Не вовсе чуя бога света...»), но на приглашение Пушкина откликнулся позднее, приехав в Тригорское только в середине июня 1826 г.

Р а з г о в о р к н и г о п р о д а в ц а с п о э т о м (стр. 194).— Пушкин был первым русским писателем, сделавшим свой литературный труд во всех отношениях основным делом своей жизни, начавшим жить на свой литературный заработок. Это было явлением исторически весьма прогрессивным, делало писателя материально независимым от всякого рода покровителей и «меценатов». В силу укоренившихся понятий своего круга на первых порах Пушкин несколько стеснялся писательского «ремесла». Однако через некоторое время он, по его собственным словам, «поборол в себе отвращение писать и продавать свои стихи для того, чтобы иметь средства к существованию», и в то же время понял, что в этом залог его независимости — «свободы». Выражением этого и является «Разговор...», которому Пушкин придавал особое значение и напечатал его перед первой главой «Евгения Онегина» в качестве своего рода введения в роман, демонстрирующего новое, «прозаическое» отношение Пушкина к действительности.

К м о р ю (стр. 199).— Стихотворение написано в связи с высылкой поэта из Одессы в Михайловское; начато в Одессе, закончено в Михайловском (строфы о Наполеоне и о Байроне). В период пребывания в Одессе Пушкин, стремясь вырваться из ссылки, подумывал бежать морем за границу, отсюда и слова о *поэтическом побеге. Могучей страстью очарован...*— увлечение женой М. С. Воронцова, Елизаветой Ксаверьевной (урожд. гр. Браницкой; 1792—1880). *Гробница славы* — остров св. Елены. *Другой властитель наших дум* — Байрон; он стал на сторону восставших греков и снарядил военный корабль, на котором отплыл в Грецию, где вскоре простудился и умер в апреле 1824 г. *Где капля блага, там на страже // Уж просвещенье...*— тезис Руссо, подхваченный романтиками, о том, что «просвещенье» — собственниче-

кая европейская цивилизация — источник всех зол и спасенье в возврате к «природе».

К о в а р н о с т ь (стр. 201).— Стихотворение вызвано дошедшими до Пушкина слухами, что А. Н. Раевский, злоупотребив дружеской доверчивостью поэта, из ревности выдал гр. Воронцову тайну его сердечных отношений с женой Воронцова.

«О д е в а - р о з а, я в о к о в а х...» (стр. 202).— При первой публикации имело подзаголовок: «Подражание турецкой песне».

«Т у м а н с к и й п р а в, к о г д а т а к в е р н о в а с...» (стр. 202).— По обоснованному предположению редакторов, первое слово стихотворения в автографе, обозначенное только начальной буквой Т., следует читать: «Туманский». Василий Иванович *Туманский* (1800—1860) — поэт, служил чиновником по особым поручениям при графе Воронцове. Летом 1823 г. прибыл с Воронцовым в Одессу (там Пушкин с ним и познакомился).

Ф о н т а н у Б а х ч и с а р а й с к о г о д в о р ц а (стр. 203).— В числе достопримечательностей ханского дворца в Бахчисарае находится так называемый «Фонтан слез», который, по преданию, хан Гирей воздвиг в память своей возлюбленной, польской княжны *Марии*, убитой из ревности женой хана, грузинкой *Заремой*,— сюжет, положенный Пушкиным в основу его поэмы «Бахчисарайский фонтан». В надписи над фонтаном содержится похвала Сирии и Багдаду.

«Н о ч н о й з е ф и р...» (стр. 204).— Впервые опубликовано в альманахе «Литературный музеум на 1827 год», под заглавием «Испанский романс», вместе с нотами А. Н. Верстовского, положившего романс на музыку.

«Н е н а с т н ы й д е н ь п о т у х...» (стр. 204).— Поскольку в стихотворении имеется противопоставление северному пейзажу южного, одесского, очевидно, оно навеяно мыслями о Е. К. Воронцовой.

П о д р а ж а н и я К о р а н у (стр. 205).— Цикл «Подражаний Корану» — собранию проповедей Магомета, объявленных им божественным откровением и ставших главной священной книгой мусульман,— один из великолепных образцов художественного проникновения Пушкина в мир других национальных культур. Давая вольный пересказ различных глав («сур») и отдельных мест из Корана, Пушкин сумел замечательно передать общий дух подлинника. В то же время боевой, призывно-воинствующий пафос некоторых из «Подражаний» соответствовал психологическому настрою передовых людей эпохи. Недаром они были так восторженно встречены декабристами. В первом «Подражании» звучат и лирико-биографические ноты (мотивы *гоненья*, одаренности *языка* Магомета *могучей властью над умами* — в подлиннике отсутствуют). Посвящение цикла П. А. Осиповой также могло быть связано с тем, что в особенно тяжкие первые месяцы новой ссылки поэта (принятие его отцом поручения следить за сыном, просматривать его письма, отсюда резкий разрыв с родителями) он обретал *сень успокоенья* в соседнем Тригорском.

«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает...» (стр. 211).— В рукописи названо «Подражание Андрею Шенье — вольный перевод его стихотворения «Jeune fille, ton coeur avez nous veut se taire...» («Юная девушка, твое сердце молчит в нашем присутствии»).

Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..») (стр. 211).— Стихотворение навеяно впечатлениями крымской поездки и тогдашними раздумьями поэта на месте развалин (у Георгиевского монастыря на южном побережье Крыма), считавшихся, по преданию, руинами храма древнегреческой богини Артемиды. *Холодные сомненья* в достоверности этого предания высказал И. М. Муравьев-Апостол в вышедшей в 1823 г. книге «Путешествие по Тавриде». С грозным храмом Артемиды связан миф о сыне царя Агамемнона Оресте, который, мстя матери за убийство отца, убил ее возлюбленного. Обрушившаяся на него за это *вражда свирепой Эвмениды* — богини мщения могла прекратиться при условии похищения им крымской статуи Артемиды. Отправившийся туда вместе со своим другом Пиладом Орест был схвачен и должен был быть принесен в жертву богине. Пилад великодушно предложил заменить друга, но Орест отказался от этого. Жрица Артемиды, которая должна была заколоть Ореста, оказалась его сестрой Ифигенией. В самый критический момент она узнала брата, спасла обоих друзей и бежала вместе с ними в Грецию, где явилась *провозвестницей* культа Артемиды Таврической. Дружбу Ореста и Пилада Пушкин приравнивает к своим отношениям с Чаадаевым, непосредственно связывая новое послание к нему с посланием 1818 г., в котором надеялся, что имена их обоих будут написаны благодарной родиной на *развалинах иных* — «обломках самовластья».

Аквилон (стр. 212).— Своеобразное обращение к Александру I — *грозному аквилону*, низвергнувшему надменный дуб — Наполеона, а теперь ополчившемуся на легкое *облачко* — поэта, гневно перебросившему его *на дальний небосклон* — с юга на север, в Михайловское. Попытки некоторых исследователей связать несомненный аллегоризм этого стихотворения с разгромом восстания декабристов не убедительны.

«Пускай увенчанный любовью красоты...» (стр. 213).— *Заветное золото* — медальон с миниатюрой любимой.

Второе послание к цензору (стр. 213).— В 1824 г. министром народного просвещения на место Александра Николаевича Голицына (1773—1844) был назначен Александр Семенович *Шишков* (1754—1841) — адмирал, писатель и реакционный государственный деятель. По своим литературным вкусам Шишков был безусловным сторонником старой, отжившей поэзии XVIII в. и решительным противником новой литературной школы Карамзина — Жуковского — Пушкина. Тем не менее Пушкин надеялся, что с назначением Шишкова на пост министра народного просвещения, который тем самым становился главой цензурного ведомства, гнет цензуры несколько ослабнет. Этим и вызвано новое послание к *наследнику Тимковского* (в 1821 г. вышедшего в отставку), Бирукову, к которому было обращено и первое послание. ...*он русских муз... созвал, соединил*...— Имеется в виду

«Беседа любителей русского слова», главой которой был Шишков, привлекший к участию в ней Державина *(венца Екатерины). Святой отец* — князь Голицын (см. выше), который, *приняв за образец* Омара-ибн-Хаттаба, мусульманского калифа, которому приписывалось сожжение в 642 г. знаменитой александрийской библиотеки, и Али-бен-Аби-Талеба, другого мусульманского калифа, распорядился сжечь труд А. П. Куницына «Право естественное». *Магницкий* Михаил Леонтьевич (1778—1844) — один из самых крайних реакционеров и «душителей просвещения» александровского царствования, разгромивший в 1819 г. Казанский университет «за безбожное направление». *Кавелин-дурачок* — Кавелин Дмитрий Александрович (1778—1851) — ректор Петербургского университета, деятельный пособник Голицына и Магницкого; возбудил дело против другого лицейского учителя Пушкина, проф. А. И. Галича, за вредное направление его лекций. Над Галичем, который покаялся в своих «заблуждениях», была совершена специальная церемония «очищения» в церкви «святой водой». Одно время (до его «подвигов» на поприще просвещения) Кавелин был близок литературным кругам, в которых до ссылки вращался и молодой Пушкин, и был принят в «Арзамас».

«П о л у - м и л о р д, п о л у - к у п е ц...» (стр. 215).— Эпиграмма на М. С. Воронцова (1782—1856), который был сыном русского посла в Лондоне, где и получил образование. В дальнейшем кичился своей англоманией, на что намекает Пушкин словом *полу-милорд. Полу-купцом* он назван за то, что принимал участие в торговых операциях Одесского порта.

«Н е з н а ю г д е, н о н е у н а с...» (стр. 215).— Эпиграмма на М. С. Воронцова. Первый стих — отклик на аналогичное выражение в эпиграмме Вяземского (1821).

«О х о т н и к д о ж у р н а л ь н о й д р а к и...» (стр. 215).— Эпиграмма на Каченовского, которого Пушкин счел автором статьи «Второй разговор между классиком и издателем «Бахчисарайского фонтана», направленной против Вяземского. На самом деле статья, опубликованная под псевдонимом N в журнале Каченовского, была написана М. А. Дмитриевым.

С о ж ж е н н о е п и с ь м о (стр. 216).—*Она*—Е. К. Воронцова. О том, какое значение имели для Пушкина ее письма, рассказывает (со слов сестры поэта) его первый биограф П. В. Анненков: «...когда приходило из Одессы письмо с печатью, изукрашенною точно такими же кабалистическими знаками, какие находились и на перстне ее брата,— последний запирался в своей комнате, никуда не выходил и никого не принимал к себе».

К о з л о в у («Певец, когда перед тобой...») (стр. 216).— Иван Иванович *Козлов* (1779—1840) — поэт, переводчик Байрона. В возрасте около сорока лет был разбит параличом, лишившим его ног, а три года спустя совершенно ослеп. Год потери зрения был вместе с тем и годом оживленной литературной деятельности Козлова. В 1825 г. вышла его поэма «Чернец», в которой современники увидели черты сходства с трагической судьбой автора и которая имела огромный успех. Козлов послал Пушкину экземпляр «Чернеца» с собственноручной надписью. Это глубоко взволновало Пушкина. «Подпись сле-

пого поэта тронула меня несказанно. Повесть его прелесть»,— писал он брату. Этим и было вызвано настоящее послание, которое Пушкин, введя в собрание своих стихотворений, сопроводил (в оглавлении) подзаголовком («по получению от него «Чернеца»). Эпитет *небесным пением*, видимо, по цензурным причинам в печати был заменен на «чудесным».

Желание славы (стр. 217).— Обращено к Е. К. Воронцовой. *Грозный день разлуки* пришел в связи с ссылкой поэта из Одессы в Михайловское.

П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне...») (стр. 218).— *...в дали, в краю чужом...*— как и в бытность в Одессе, Пушкин замышлял бежать из ссылки за границу.

«Храни меня, мой талисман...» (стр. 218).— *Талисман* — перстень, который *в день печали* — перед разлукой — подарила на память поэту Е. К. Воронцова и о котором упомянуто в стихотворении «Сожженное письмо».

Андрей Шенье (стр. 219).— *Шенье* Андре (1762—1794) — французский поэт. В своей лирике Шенье стремился дать почувствовать подлинную стихию древнегреческой поэзии — ее замечательную пластичность, строгость и сдержанность формы, величайшую художественную простоту. Этим он был очень близок Пушкину, что сказалось на целом ряде стихотворений Пушкина, являющихся порой непосредственным переложением стихов Шенье, порой сходных по своим мотивам. Шенье горячо приветствовал первые шаги Великой французской буржуазной революции, воспев их в двух одах. Однако он не принял дальнейшего развития революционных событий: во время процесса короля выступил в его защиту, резко выступал против якобинцев. Шенье был арестован и казнен 25 июля 1794 г., накануне переворота, сверг-нувшего вождя революционной мелкой буржуазии Робеспьера, который вскоре был казнен вместе с его наиболее преданными сторонниками. Как уже указано в примечании к стихотворению «Кинжал», в основном так же относился к событиям первой французской революции и сам Пушкин. Однако разница была в том, что не пойти в революционной Франции 1793 г. дальше прославления первых шагов революции — значило стать в лагерь ее врагов, славить же в реакционной аракчеевской России, накануне 14 декабря 1825 г., те же первые дни французской революции — значило писать революционные стихи. Это доказывается и судьбою данного стихотворения Пушкина. Строки, посвященные в нем описанию французских революционных событий (44 стиха), были выкинуты цензурой. Мало того, после восстания декабристов эти выброшенные строки стали распространяться в списках с надписью «На 14 декабря». Списки дошли до правительства. Главный виновник распространения их, офицер Алексеев, был приговорен к смертной казни; допрашивался и Пушкин, которому удалось доказать, что «все сии стихи, написанные к тому же до восстания декабристов, никак без явной бессмыслицы не могут относиться к 14 декабря» и что они столь же «явно относятся к французской революции». Однако это не исключало лирической окраски в описании ссыльным Пушкиным

переживаний заключенного в темницу французского поэта. Равным образом проклятия Шенье в адрес его врагов — Робеспьера и якобинцев — в том же внутреннем, лирическом плане переключались Пушкиным в адрес преследовавшего его Александра I, узнав о смерти которого, Пушкин восклицал в письме к П. А. Плетневу: «...душа, я пророк, ей-богу, пророк! Я Андрея Шенье велю напечатать церковными буквами, во имя отца и сына etc.». *Близ Данте* Пушкин помещает Байрона, потому что он принимал участие в национальном освободительном движении итальянских революционеров-карбонариев, считавших Данте величайшим национальным гением и своим предтечей. *Усталая секира* — гильотина. *Позорная твердыня* — Бастилия, взятая и разрушенная восставшим народом. *Великодушная присяга* — клятва, данная членами генеральных штатов, представителями третьего сословия, объявившими себя Национальным собранием,— не расходиться, пока они не выработают конституции. *...самовластию бестрепетный ответ.*— Ответ вождя «конституционалистов» графа Оноре Мирабо (1749—1791) посланцам короля, объявившим о роспуске генеральных штатов, что они собрались по воле нации и удалить их можно только силою штыков: «Подите, скажите вашему повелителю...» и т. д. *Пламенный трибун* — по объяснению самого Пушкина, данному на следственной комиссии: «Он же, Мирабо». *Пантеон* — в древности храм всех богов, в Париже — здание, предназначавшееся для церкви святой Женевьевы, но превращенное декретом Национального собрания в место погребения великих людей; туда был перенесен прах Вольтера и Руссо. *Убийца с палачами* — «Робеспьер и Конвент» — ответ, данный Пушкиным следственной комиссии. *Дева-эвменида* — Шарлотта Корде.

К*** («Я помню чудное мгновенье...») (стр. 225).— Обращено к Анне Петровне Керн (1800—1879) — родственнице П. А. Осиповой. Пушкин встретил ее впервые на балу в Петербурге в 1819 г. Вторая встреча, более длительная, произошла летом 1825 г., когда А. П. Керн гостила у Осиповой в соседнем Тригорском. Передано ей в день отъезда «на прощанье».

«Если жизнь тебя обманет...» (стр. 230).—Вписано в альбом дочери П. А. Осиповой, тогда пятнадцатилетней Евпраксии Николаевны (Зизи) Вульф (1809—1883).

«Цветы последние милей...» (стр. 231).— Стихотворение-отклик на присылку П. А. Осиповой «в позднюю осень» (датировано 16 октября) цветов поэту.

19 октября («Роняет лес багряный свой убор...») (стр. 231).— Первая из серии так называемых «лицейских годовщин» Пушкина, связанных с открытием в этот день царскосельского Лицея (в 1811 г.) и по установившейся традиции ежегодно праздновавшихся лицеистами первого — пушкинского—выпуска. *Кудрявый наш певец*—Н. А. Корсаков, даровитый композитор-любитель, положивший на музыку два лицейских стихотворения Пушкина. *Чужих небес любовник беспокойный* — товарищ Пушкина Федор Федорович Матюшкин (1799—1872), по окончании Лицея поступил во флот и вскоре отправился в кругосветное плавание. «*На долгую разлуку...*» — пере-

иначенные строки из прощальной песни Дельвига по случаю окончания Лицея «Судьба на вечную разлуку, // Быть может, здесь сроднила нас». *Пущин* в январе 1825 г. первый из всех друзей Пушкина отважился посетить опального друга в Михайловском. *...проселочной дорогой // Мы встретились...*— В сентябре 1825 г., проездом из-за границы, А. М. Горчаков заехал в псковское имение своего дяди, куда Пушкин приехал повидаться с ним. *Вещун пермесских дев* — т. е. муз — А. А. Дельвиг, также посетивший ссыльного Пушкина в Михайловском. *Брат родной по музе, по судьбам* — Вильгельм Карлович Кюхельбекер, в 1821 г. выступил в Париже (куда попал в качестве секретаря одного знатного русского путешественника) с публичными лекциями о русской литературе. Лекции своим «вольнодумным тоном» вызвали неудовольствие русских властей, и Кюхельбекер вынужден был вернуться в Россию. С большим трудом ему удалось получить место при главнокомандующем на Кавказе, генерале Ермолове. Однако уже в 1822 г. вследствие ссоры и дуэли с племянником Ермолова он должен был выйти в отставку и с того времени перебивался частными уроками и мелкой литературной работой. *Поговорим... о Шиллере...*— Кюхельбекер из всех лицеистов особенно хорошо знал немецкую литературу и больше всего увлекался Шиллером. В рукописи стихотворению был предпослан эпиграф из Горация: «Nunc est bibendum» («Теперь следует пить»).

З и м н и й в е ч е р (стр. 235).— *Добрая подружка* — няня Арина Родионовна. Здесь упоминаются народные песни: «За морем синичка не пышно жила» и «По улице мостовой шла девица за водой».

«В е р т о г р а д м о е й с е с т р ы...» (стр. 236).— Это и следующее стихотворения, объединенные при первой публикации заглавием «Подражания», навеяны мотивами библейской «Песни песней» царя Соломона. *Вертоград* — сад. *Нард, алой и киннамон* — благовонные растения.

С п о р т у г а л ь с к о г о (стр. 237).— Вольный перевод стихотворения «Воспоминания» бразильского поэта Т.-А. Гонзага (1744—1810).

«О м у з а п л а м е н н о й с а т и р ы!..» (стр. 239).—По свидетельству близкого приятеля Пушкина С. А. Соболевского, поэт хотел предпослать это стихотворение в качестве предисловия к задуманному, но не осуществленному им сборнику своих эпиграмм.

«С к а з а л и р а з ц а р ю, ч т о н а к о н е ц...» (стр. 239).— *Мятежный вождь, Риэго*-и-Нуньес Рафаэль (1785—1823), возглавлявший в 1820 г. восстание против испанского короля Фердинанда VII, в 1823 г. был арестован и вскоре казнен в Мадриде. Когда Александр I получил известие об этом, граф Воронцов, хотя и слыл либералом на английский лад, в присутствии многих сказал царю: «Какое счастливое известие» (по другим свидетельствам, даже добавив: «Одним мерзавцем меньше»).

П р и я т е л я м (стр. 240).— Было опубликовано в «Московском телеграфе» под заглавием «Журнальным приятелям», произвольно сужавшим более широкое — не специально литературное, а скорее политическое — звучание, придававшееся ему поэтом (в письме его к Рылееву, написанном около

этого же времени, во второй половине июля — августе 1825 г. «нашим приятелем» иронически назван сам Александр I). Видимо, поэтому Пушкин счел необходимым довести это до сведения читателей, опубликовав в «Северной пчеле» Булгарина, тогда еще не ставшего на сторону реакции, соответствующее уточнение: «А. С. Пушкин просил издателей «Северной пчелы» известить публику, что стихи его сочинения, напечатанные в № 3 «Московского телеграфа», на стр. 215, под заглавием «К журнальным приятелям» дóлжно читать просто: «К приятелям».

Совет (стр. 240).— В отличие от предыдущей данная эпиграмма непосредственно направлена в адрес «приятелей» журнальных.

Жив, жив Курилка! (стр. 241).— Эпиграмма на Каченовского вызвана пренебрежительным отзывом о «Кавказском пленнике», опубликованном в «Вестнике Европы» (1825, № 3) за подписью: «Юст Веридиков». В основе эпиграммы — старинная песенка, исполнявшаяся при гадании с лучинкой; если до конца ее лучинка не сгорит, задуманное желание исполнится.

Ex ungue leonem (стр. 241).— На эпиграмму Пушкина, опубликованную за подписью А. П. и под неверным заглавием «Журнальным приятелям» (см. прим. к стих. «Приятелям»), отозвался один из них — писатель Александр Ефимович Измайлов (1779—1831), написав статью в издававшемся им журнале «Благонамеренный», над которым Пушкин и его друзья неоднократно подтрунивали: «Страшно, очень страшно! Более же всего напугало меня то, что у господина сочинителя есть *когти!*»

Движение (стр. 242).— В основу первой части стихотворения положен известный анекдот из истории античной философии о споре Зенона Элейского (V в. до н. э.) с Антисфеном. *Мудрец брадатый* — Зенон, который софистически утверждал, что движения по существу нет, ибо оно «только название, данное целому ряду одинаковых положений, из которых каждое отдельно взятое есть покой». *Другой* — Антисфен апеллировал к непосредственному чувству *(Другой смолчал и стал пред ним ходить)*.

«Воспитанный под барабаном...» (стр. 242).— Эпиграмма на Александра I, лично командовавшего русской армией, разбитой Наполеоном под Аустерлицем. Александр придавал огромное значение «фрунтовой науке» — превращению солдат в обезличенных автоматов, что достигалось путем непрерывной и самой свирепой муштры, при которой за малейшую неисправность виновного подвергали жесточайшим наказаниям. После победы над Наполеоном Александр в качестве одного из вождей Священного союза стал обращать почти все свое внимание не на внутреннее управление Россией, которое целиком перешло в руки Аракчеева, а на подавление революционного движения в различных европейских странах, причем русская политика оказалась всецело на поводу у реакционнейшего австрийского министра Меттерниха, который ловко сумел использовать организацию Священного союза в интересах Австрийской империи. Это и имеет в виду Пушкин, иронически называя Александра *коллежским асессором* (небольшой чиновничий чин) *по части иностранных дел*.

«От многоречия отрекшись добровольно...» (стр. 242).— Написано на полях рукописной тетради 1819 г., из которой Пушкин отобрал очень небольшое число ранних стихов для подготовлявшегося им в 1825 г. первого отдельного издания своих стихотворений. По-видимому, это четверостишие должно было объяснить друзьям причину столь строгого отбора, однако печатать его Пушкин не стал.

«Нет ни в чем вам благодати...» (стр. 242).— Эпиграмма, видимо, связанная с каламбурным переводом имени Анна (по-древнееврейски — благодать); относится к старшей дочери П. А. Осиповой Анне Николаевне Вульф (1799—1857).

«Под небом голубым страны своей родной...» (стр. 243).— Написано в связи с получением Пушкиным известия о смерти в Италии от чахотки Амалии Ризнич. Стихотворение озаглавлено в рукописи «29 июля 1826» (т. е. дата написания).

К Вяземскому («Так море, древний душегубец...») (стр. 243).— Послано Вяземскому в письме от 14 августа 1826 г. в ответ на присланное им стихотворение «Море». Вызвано дошедшим до поэта слухом (он оказался неверным), что Н. И. Тургенев, заочно приговоренный по делу декабристов к смертной казни и находившийся в Англии, выдан русскому правительству и привезен морем в Петербург.

К Языкову («Языков, кто тебе внушил...») (стр. 243).— Написано в ответ на стихотворное послание Языкова («О ты, чья дружба мне дороже...» в письме из Дерпта от 19 августа 1826 г.), который незадолго до этого в течение месяца гостил в Тригорском, непрерывно встречаясь там с Пушкиным. *Кастальская вода* — источник на горе Парнас (отрог горного кряжа Пинд), считавшейся наряду с горой Геликон местопребыванием Аполлона и *камен* — муз. С вершины Геликона стекал другой источник поэтического вдохновения — *Иппокрена*, выбитый ударом копыта крылатого коня Аполлона, *Пегаса*.

Песни о Стеньке Разине (стр. 244).— Пушкин издавна интересовался личностью Разина. В самом начале ссылки в Михайловском он просил брата прислать ему книг о Разине, называя его «единственным поэтическим лицом русской истории». Данные песни — оригинальные произведения самого Пушкина, использовавшего мотивы народного творчества и некоторые книжные источники. В основе фабулы первой из них — рассказ очевидца, голландского путешественника Стрейса; эпизод с требованием астраханским воеводой шубы от Разина имеется в хронографе начала XVIII в. В 1827 г. Пушкин сделал попытку напечатать «Песни», но получил весьма многозначительную отповедь Николая I, переданную ему через Бенкендорфа: «Песни о Стеньке Разине, при всем поэтическом своем достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева».

Признание («Я вас люблю,— хоть я бешусь...») (стр. 246).— *Алина* — падчерица П. А. Осиповой, Александра Ивановна Осипова (ок.

1805—1864). *Опочка* — уездный город Псковской губернии; в Опочецком уезде находились Михайловское и Тригорское.

П р о р о к (стр. 247).— Написано под впечатлением казни пяти и ссылки многих из декабристов на каторгу в Сибирь. В основу положен образ библейского пророка — проповедника правды и беспощадного обличителя грехов и беззаконий царской власти; некоторые мотивы были взяты Пушкиным из книги самого пламенного и вдохновенного из древнееврейских пророков, Исайи, погибшего мучительной смертью. Первоначальный конец (последняя строфа) стихотворения дошел до нас в нескольких, едва ли вполне точных и расходящихся в мелочах, но в основном совпадающих записях:

Восстань, восстань, пророк России,
Позорной ризой облекись,
Иди и с вервием вкруг выи
К царю-губителю явись.

Позднее (стихотворение было впервые опубликовано только в 1828 г.) Пушкин отказался от этой концовки, заменив ее новым четверостишием, хотя и лишенным прямого, конкретно-исторического приурочения, но с предельной страстью и силой утверждающим великую мощь и значение поэтического слова и высокое гражданское призвание поэта-пророка.

Н я н е (стр. 248).— Написано в октябре в Москве, неожиданный вызов в которую Пушкина царем очень встревожил Арину Родионовну.

«К а к с ч а с т л и в я, к о г д а м о г у п о к и н у т ь...» (стр. 248).— Отрывок, видимо, представляет собой зерно будущей драмы «Русалка». *Боян* — древнерусский певец, упоминаемый в «Слове о полку Игореве». *Славья* — соловья.

«К а к о в я п р е ж д е б ы л, т а к о в и н ы н е я...» (стр. 249).— Эпиграф (переводом его является первая строка стихотворения) взят из А. Шенье.

И. И. П у щ и н у («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») (стр. 249).— Написано 13 декабря, т. е. накануне первой годовщины восстания декабристов. Послание было направлено поэтом Пущину с женой декабриста Н. М. Муравьева, А. Г. Муравьевой, поехавшей к мужу в Сибирь, и передано ему в первый день его приезда в Читинский острог. «Отрадно отозвался во мне голос Пушкина»,— вспоминал об этом Пущин.

С т а н с ы («В надежде славы и добра...») (стр. 250).— Стихотворение, состоящее из отдельных, вполне законченных в себе (в ритмическом и смысловом отношениях) строф. *Мятежи и казни* — стрелецкие бунты в начале царствования Петра, подавленные им с исключительной жестокостью. ...*был... отличен Долгорукой.*— Князь Яков Федорович Долгорукий (1639—1720), один из видных государственных деятелей петровского царствования, славившийся неподкупной честностью, прямотой и смелостью в отношениях с царем (однажды разорвал в Сенате указ, подписанный Петром, считая его несправедливым, и Петр простил ему это). Долгорукий неоднократно воспевался декабристами.

О т в е т Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она...») (стр. 250).— *Она* — Софья Федоровна Пушкина (1806—1862), дальняя родственница поэта, которой он после возвращения из ссылки предложил стать его женой. Кто скрывается под буквами Ф. Т., точно не установлено.

З и м н я я д о р о г а (стр. 251).— Обращение к *Нине*, по-видимому, навеяно мыслями о браке с С. Ф. Пушкиной, на встречу с которой он спешил из Михайловского в Москву. Однако поэта постигла неудача. Его сватовство было отклонено.

К** («Ты богоматерь, нет сомненья...») (стр. 251).— Друг Байрона английский поэт Томас *Мур*, автор восточной поэмы «Лалла-Рук», назван здесь наряду с *Тибуллом* и *Парни* как певец любви.

М о р д в и н о в у («Под хладом старости угрюмо угасал...») (стр. 252).— Граф Николай Семенович *Мордвинов* (1754—1845) — адмирал, видный государственный деятель екатерининского и александровского времени; член Финансового комитета и Комитета министров и председатель одного из департаментов Государственного совета. Мнения, подаваемые им в Государственный совет по важнейшим юридическим и экономическим вопросам, были проникнуты оппозиционным духом и широко распространялись в списках. Мордвинов пользовался популярностью в кругах декабристов, прочивших его в члены временного правительства. *Единый из... орлов Екатерины* — В. П. Петров, написавший в 1796 г. оду Мордвинову. *Коцит* — река «плача», одна из подземных рек, окружающих «царство мертвых» — Аид.

З о л о т о и б у л а т (стр. 253).— Перевод французского стихотворения (автор неизвестен) «Tout est à moi, car je l'achète» («Все мое, ибо я его покупаю»).

«В о г л у б и н е с и б и р с к и х р у д...» (стр. 253).— Непосредственным толчком к написанию стихотворения послужил героический отъезд к мужьям-декабристам на каторгу в Сибирь (с этим прямо связаны строки «Любовь и дружество до вас // Дойдут сквозь мрачные затворы») многих из их жен, в том числе особенно дорогой поэту М. Н. Волконской, с которой он и хотел переслать свой стихотворный привет-призыв к вере в *высокое стремленье* их помыслов, к мужеству и *гордому терпенью* (слова, взятые из «Прощальной песни воспитанников Царскосельского Лицея», написанной Дельвигом и исполнявшейся хором при выпускном лицейском торжестве). Однако к отъезду спешившей Волконской оно не было закончено, и поэт переслал его, как и послание Пущину, с уехавшей несколько позднее, в начале января 1827 г., А. Г. Муравьевой. От имени декабристов ответил Пушкину поэт А. И. Одоевский («Струн вещих пламенные звуки...»). Послание Пушкина и ответ Одоевского разошлись в огромном количестве списков. Строка Одоевского «Из искры возгорится пламя» подсказала Ленину название первой большевистской газеты «Искра», эпиграфом к которой она была взята, а знаменитые ленинские слова о декабристах: «...но дело их не пропало» — перекликаются со строкой пушкинского послания: «Не пропадет ваш скорбный труд».

Е к. Н. У ш а к о в о й («Когда, бывало, в старину...») (стр. 254).— Вписано в альбом ко дню восемнадцатилетия — 3 апреля 1827 г.— Екатерины Николаевны *Ушаковой* (1809—1872), с которой поэт познакомился в конце 1826 г. на балу в Дворянском собрании. Поэт стал частым гостем в московском доме Ушаковых, в котором собирались писатели, музыканты.

К н я г и н е З. А. В о л к о н с к о й («Среди рассеянной Москвы...») (стр. 254).— Послано Пушкиным вместе с экземпляром только что вышедшей поэмы «Цыганы». *Царица муз и красоты* — княгиня Зинаида Александровна *Волконская* (1792—1862) была не только хозяйкой самого известного московского салона, в котором собирались выдающиеся деятели литературы и искусства, но и являлась богато и разносторонне одаренной дилетанткой — поэтессой, певицей, с чем и связаны слова Пушкина о *двойном венке*. Анжелика *Каталани*— итальянская певица, с огромным успехом выступавшая в 20-е гг. в России; услышав пение одной из участниц цыганского хора в Москве, цыганки Стеши, она в знак восхищения подарила ей свою шаль.

«В с т е п и м и р с к о й, п е ч а л ь н о й и б е з б р е ж н о й...» (стр. 255).— Написано вскоре по приезде Пушкина впервые после его семилетнего отсутствия в Петербург.

А р и о н (стр. 255).— *Арион* — древнегреческий поэт и музыкант (VII—VI вв. до н. э.), по преданию, спасенный от гибели в море очарованным его пением дельфином. Пушкин воспользовался этим преданием для иносказательного изображения своих связей с движением декабристов и утверждения верности своим свободолюбивым идеалам. Стихотворение датировано 16 июля 1827 г., т. е. написано в несомненной связи с первой годовщиной казни декабристов 13 июля 1826 г.

«К а к а я н о ч ь! М о р о з т р е с к у ч и й...» (стр. 256).— Незавершенное стихотворение из времен Ивана Грозного. (Предположительное прочтение последней строки: «В столбы под трупом проскакал».) *Кромешник удалой* — опричник.

К и п р е н с к о м у («Любимец моды легкокрылой...») (стр. 257).— В бытность Пушкина в 1827 г. в Петербурге знаменитым художником-портретистом О. А. *Кипренским* (1782—1836) был написан известный портрет Пушкина, восхищавший современников сходством с оригиналом. Художник намерен был показать его на предполагавшейся в Западной Европе выставке своих произведений. *Аониды* — одно из названий муз.

П о э т («Пока не требует поэта...») (стр. 258).— Написано в Михайловском, куда Пушкин *бежал* из Петербурга в конце июля 1827 г.

«Б л и з м е с т, г д е ц а р с т в у е т В е н е ц и я з л а т а я...» (стр. 258).— Перевод стихотворения А. Шенье «Près des bords où Venise est la reine de la mer...» («Близ берегов, где Венеция — королева мира»). *Веспер* — «вечерняя звезда» — планета Венера. *Ринальд*, *Годфред*, *Эрминия* — герои поэмы итальянского поэта Торквато Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим»; отдельные строфы этой поэмы приобрели значение народных песен и распевались венецианскими лодочниками-гондольерами.

«Всем красны боярские конюшни...» (стр. 259).— Пушкин не стал дорабатывать этот опыт в народном духе, а сюжет его подсказал крестьянину-поэту Федору Никифоровичу Слепушкину (1783—1848), который и написал на него стихотворение «Конь и домовой».

Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он...») (стр. 260).— Одновременно со стихами Пушкин вручил Дельвигу и череп, подаренный ему дерптским «студентом» — А. Н. Вульфом. *Кистер* — церковный сторож. *Клянусь... айдесским богом...*— т. е. Плутоном, богом царства мертвых; у древних это считалось самой страшной клятвой. *...брать с собою будущего...*— документ на проезд так называемыми почтовыми, или перекладными, лошадьми — «подорожная» — мог браться не только на себя, но и на спутника, которого проезжий имел право себе подыскать и имя которого в подорожной не проставлялось; скелет, понятно, в качестве «будущего» не годился. *Певец Корсара* — Байрон, написавший стихотворение «Надпись на кубке из черепа». *...скандинавов рай воинский // В пирах домашних воскрешай...*— Во дворце бога Одина — Валгалле по верованиям скандинавов души убитых храбрых воинов пьют вино из черепов поверженных врагов. *Гамлет-Баратынский* — Баратынский — автор стихотворения «Череп», в связи с которым Пушкин припоминает знаменитый монолог шекспировского Гамлета, который тот произносит, держа в руке череп.

«Блажен в златом кругу вельмож...» (стр. 264).— Черновой необработанный отрывок.

19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои...») (стр. 264).— Написано к очередной лицейской годовщине. *В краю чужом* находились С. Г. Ломоносов, служивший в русских посольствах в Испании и Франции, и А. М. Горчаков; *в пустынном море* — Ф. Ф. Матюшкин; *в мрачных пропастях земли* — на каторге, в Сибири, И. И. Пущин, в заключении, в крепости, В. К. Кюхельбекер.

Талисман (стр. 264).— Возвращение к теме стихотворения 1825 г. «Храни меня, мой талисман...» и новое ее воплощение, видимо, навеяно приездом Е. К. Воронцовой в 1827 г. в Петербург.

Эпиграмма *(Из антологии)* («Лук звенит, стрела трепещет...») (стр. 265).— Направлена против слабенького поэта (отсюда сравнение его с героем фонвизинского «Недоросля» — *Бельведерский Митрофан*), позднее ставшего писателем по церковным вопросам, Андрея Николаевича Муравьева (1806—1874), который, желая помериться ростом с копией знаменитой статуи Аполлона Бельведерского (в салоне З. Волконской), отбил ей руку и написал на пьедестале весьма корявые извинительные стишки. *Пифон* — дракон, охранявший Дельфы и убитый стрелой Аполлона.

Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю...») (стр. 266).— Ответ на неправильное восприятие «Стансов» 1826 г. как «лести» царю. Николай I, стремясь расположить к себе общественное мнение, сделал ряд либеральных жестов: сместил наиболее ненавистных реакционных деятелей александровского царствования, стал на сторону греков, боровшихся против турецкого

ига, назначил пенсию вдове казненного Рылеева *(в тайне милости творит)*. Все это было той игрой в либерализм, которую Ленин считал характерной чертой русского царизма, начиная с Екатерины II. Но Пушкину это казалось осуществлением того «наказа» — идти путем Петра I, который он преподал Николаю в «Стансах». Поэтому в данном стихотворении с особенной силой сказались иллюзорные надежды поэта. В то же время он решительно выступает в нем против тех действительно «льстецов» — ближайшего окружения царя,— которые, считал он, мешают осуществлению либеральной правительственной программы. Поэтому Николай, отозвавшись об этом стихотворении для приличия с похвалой, печатать его запретил.

«К т о з н а е т к р а й, г д е н е б о б л е щ е т...» (стр. 267).— *Людмила* — графиня Мария Александровна Мусина-Пушкина, которая, вернувшись после путешествия в Италию и стосковавшись по родине, на одном светском собрании демонстративно потребовала себе клюквы, с чем и связан второй эпиграф, предпосланный стихотворению. *Сыны Авзонии* — итальянцы. *Флорентинская Киприда* — античная статуя Венеры Медицейской в музее Уффици во Флоренции, принадлежавшая резцу неизвестного скульптора — *ваятеля безымянного*. *Форнарина* — натурщица Рафаэля.

T o D a w e, E s q^{r} (стр. 268).— Обращено к английскому художнику Джорджу Дау (Доу; 1781—1829), проведшему много лет в России. Рисунок, сделанный им с Пушкина, до нас не дошел. *Олениной черты* — Анна Алексеевна Оленина (1808—1888) (см. о ней во вступительной статье).

В о с п о м и н а н и е («Когда для смертного умолкнет шумный день...») (стр. 269).— *Полупрозрачная... ночи тень...*— петербургская белая ночь (написано 19 мая).

Т ы и в ы (стр. 269).— *Она*— А. А. Оленина.

«Д а р н а п р а с н ы й, д а р с л у ч а й н ы й...» (стр. 270).— В рукописи названо «На день рожденья», дата которого и стоит в заголовке стихотворения.

«К о б ы л и ц а м о л о д а я...» (стр. 270).— Вольное переложение оды Анакреонта.

Е е г л а з а (стр. 271).— Обращено к П. А. Вяземскому, воспевшему в стихотворении «Черные очи» фрейлину императрицы Марии Федоровны Александру Осиповну Россет (1809—1882). *Ангел Рафаэля* — на прославленной картине «Сикстинская мадонна».

«Н е п о й, к р а с а в и ц а, п р и м н е...» (стр. 271).— Навеяно народной грузинской мелодией, которая сообщена Грибоедовым М. И. Глинке и исполнялась ученицей Глинки А. А. Олениной. *Призрак милый, роковой* — очевидно, М. Н. Волконская (Раевская).

К Я з ы к о в у («К тебе сбирался я давно...») (стр. 272).— Написано в связи с отъездом за границу, через *немецкий град* — Дерпт (ныне Тарту), университетского товарища поэта Н. М. Языкова и приятеля Пушкина, дипломата Николая Дмитриевича *Киселева* (1800—1869). *Гербовые заботы* — векселя, писавшиеся на бумаге с государственным гербом.

П о р т р е т («С своей пылающей душой...») (стр. 273).— Это и два следующих стихотворения обращены к Аграфене Федоровне Закревской (1799—1879), которую Пушкин в последней главе «Евгения Онегина» назвал «Клеопатрою Невы».

П р е д ч у в с т в и е («Снова тучи надо мною...») (стр. 274).— Связано, по-видимому, с последним этапом дела об «Андрее Шенье» (см. прим. к этому стихотворению); вскоре возникло угрожавшее Пушкину еще более тяжкими последствиями дело об авторстве «Гавриилиады». *Мой ангел* — А. А. Оленина.

У т о п л е н н и к (стр. 274).— Пушкин сопровождал заглавие при первой публикации подзаголовком «Простонародная песня», а в собрании своих стихотворений (в оглавлении) — «Простонародная сказка».

«Р и ф м а, з в у ч н а я п о д р у г а...» (стр. 276).— Окончательно не доработано. В античной поэзии рифмы не было. Поэтому в духе ее Пушкин сам создает миф о возникновении рифмы, как дочери *Аполлона* и богини памяти и матери девяти муз — *Мнемозины*. *Гезиод* (VIII в. до н. э.) наряду с Гомером считался величайшим поэтом древности. *Феб... стадо пас...*— Зевс, разгневавшись на Аполлона, изгнал его с Олимпа на землю и заставил пасти в горах *Тайгета* стада фессалийского царя *Адмета*.

«В о р о н к в о р о н у л е т и т...» (стр. 278).— Вольное переложение первой половины одной из шотландских народных песен из сборника «Chants populaires des Frontières Méridionales de l'Ecosse, recueillis et commentés par Sir Walter Scott, traduits de l'anglais par M. Artaud». Paris. 1826 («Народные песни шотландского порубежья, собранные и объясненные г. Вальтером Скоттом, переведенные с английского г. Арто». Париж. 1826).

«Г о р о д п ы ш н ы й, г о р о д б е д н ы й...» (стр. 278).— Написано в связи с готовящимся отъездом поэта из Петербурга в Михайловское. Последние две строки относятся к А. А. Олениной.

19 о к т я б р я 1 8 2 8 (стр. 279).—Написано в день очередной лицейской годовщины; после традиционного празднования Пушкин сразу же уехал из Петербурга.

«В п р о х л а д е с л а д о с т н о й ф о н т а н о в...» (стр. 279).— *Прозорливый и крылатый поэт* — по новейшим разысканиям, Адам Мицкевич, автор «Крымских сонетов».

А н ч а р (стр. 280).— Образ *древа яда* подсказан сообщением о нем (по последующим данным, сильно преувеличенным) находившегося на Яве врача голландской Ост-индской компании Ф. П. Фурша. Опубликование этого стихотворения, которое Пушкин не послал предварительно Николаю I, в особенности имеющееся в нем слово «царь», вызвало резкое неудовольствие властей, и цензурный надзор над поэтом был усилен.

О т в е т К а т е н и н у («Напрасно, пламенный поэт...») (стр. 281).— П. А. *Катенин*, находившийся в это время в опале в своей деревне, был одним

из «друзей», осудивших пушкинские «Стансы». Он аллегорически высказал это в стихотворной повести «Русская быль», посланной Пушкину со стихотворным посвящением, в котором призывал поэта, испив из кубка былого романтического вольнолюбия, снова «закипеть духом» и огласить застольную беседу «бейронским пеньем». Это и вызвало пушкинский ответ. *Не пью, любезный мой сосед!*— цитата из стихотворения Державина «Философы, пьяный и трезвый». *...лавр Корнеля или Тасса...*— Катенин «воскресил Корнеля гений величавый» — переводил его трагедии. Корнель кончил дни в забвении и нищете. Торквато Тассо был заключен герцогом Феррарским в сумасшедший дом.

О т в е т А. И. Г о т о в ц о в о й («И недоверчиво и жадно...») (стр. 281).— Анна Ивановна *Готовцова* опубликовала в «Северных цветах на 1829 год» восторженное послание «А. С. Пушкину», в конце которого, однако, сетовала на «несправедливый приговор» женскому полу в каком-то из его произведений (возможно, в «Разговоре книгопродавца с поэтом» или отдельно опубликованных строфах, предназначавшихся к 4-й главе «Евгения Онегина» — «Женщины»). В той же книжке «Северных цветов» был опубликован и ответ Пушкина.

П о э т и т о л п а (стр. 282).— Эпиграф — слова жрицы из 6-й книги «Энеиды» Вергилия.

Щ е р б и н и н у («Житье тому, мой милый друг...») (стр. 284).— Пушкин взял из послания к М. А. Щербинину 1819 г. первые четыре стиха, слегка изменив их, и приписал другой конец, соответствующий новому быту адресата (вышел в отставку, женился и поселился в своем харьковском имении).

Е. Н. У ш а к о в о й («Вы избалованы природой...») (стр. 284).— Елизавета Николаевна *Ушакова* (1810—1872) — младшая сестра Ек. Н. Ушаковой (см. о ней с. 730, прим. к стих. «Ек. Н. Ушаковой»). В ее альбоме имеется много рисунков Пушкина. *Армида* — прекрасная волшебница в поэме Тассо «Освобожденный Иерусалим». *Пресненское поле*— в Старой Москве подле Средней Пресни, где находился дом Ушаковых.

«П о д ъ е з ж а я п о д И ж о р ы...» (стр. 285).— Обращено к Екатерине Васильевне Вельяшевой (1812—1865), с которой поэт познакомился в тверском имении Вульфов, куда часто наезжал в эти годы. *Ижоры* — последняя станция на пути из Торжка в Петербург. *Вампир* — герой нашумевшего одноименного романа, ошибочно приписывавшегося Байрону.

Э п и т а ф и я м л а д е н ц у (стр. 286).— *Младенец* — двухлетний сын М. Н. Волконской, которой было запрещено взять его с собою в Сибирь. Эпитафия была выбита на надгробии ребенка в Александро-Невской лавре в Петербурге.

«Н а х о л м а х Г р у з и и л е ж и т н о ч н а я м г л а...» (стр. 286).— Написано во время поездки Пушкина на театр военных действий в Закавказье. В первой редакции связано с воспоминаниями о первой поездке с семьей Раевских на Кавказ и с вспыхнувшим с прежней силой чувством

к М. Н. Раевской. Вторая, окончательная редакция, написанная несколько позднее, переадресована Н. Н. Гончаровой.

К а л м ы ч к е (стр. 286).— О своем посещении калмыцкой кибитки Пушкин рассказывает в «Путешествии в Арзрум». *Сен-Мар* — модный в то время исторический роман французского поэта-романтика Альфреда де Виньи (1797—1863) «Сен-Мар, или Заговор времен Людовика XIII». Пушкин весьма неодобрительно относился к этому произведению. *Ma dov'è* — ария из модной тогда оперы Галуппи (1706—1785) «Покинутая Дидона». *Собранье* — Московское Благородное Собрание, место дворянских публичных балов (в настоящее время — Дом Союзов).

И з Г а ф и з а (стр. 287).— Написано в духе восточной поэзии, но у знаменитого персидского поэта Гафиза (XIV в.) подобного стихотворения нет. В рукописях заглавие: «Фаргат-Беку». Очевидно, стихотворение обращено к Фаргат-Беку, служившему в конном мусульманском полку русской армии, сражавшейся с турками. *Карабах* — горная страна на южном Кавказе, где разводилась знаменитая порода горных кавказских лошадей. *Азраил* — ангел смерти у мусульман.

О л е г о в щ и т (стр. 287).— Во время русско-турецкой войны 1829 г. русские войска перешли Балканы и взяли 8 августа город Адрианополь, находящийся всего в нескольких переходах от тогдашней столицы Турции — *града Константина* — Константинополя, по-турецки — *Стамбула*, но дальше не пошли. Вскоре после этого, 2 сентября, между Россией и Турцией был заключен Адрианопольский мир. В первой строфе речь идет о походе на греков *воинственного варяга* — киевского князя Олега, который, по летописи, «повесил щит свой на вратах в знак победы и ушел от Царьграда».

«З о р ю б ь ю т... и з р у к м о и х...» (стр. 288).— Написано в военном лагере во время Арзрумского похода. Звук *зори* — барабанного боя (сигнала к вставанию) — напомнил поэту подобный же сигнал, звучавший каждое утро в лицейские годы.

«Б ы л и я с р е д и д о н ц о в...» (стр. 288).—Навеяно разговором с донскими казаками, занесенным Пушкиным в свои путевые записки.

Д о н (стр. 289).— *Арпачай* — левый приток Аракса, граница между Закавказьем и Турцией.

«З и м а. Ч т о д е л а т ь н а м в д е р е в н е? Я в с т р е ч а ю...» (стр. 289).— Написано, как и стихотворение «Зимнее утро», в тверском имении П. И. Вульфа, где Пушкин гостил по пути в Петербург.

«П о е д е м, я г о т о в; к у д а б ы в ы, д р у з ь я...» (стр. 291).— Получивший грозный разнос от властей за свою самовольную поездку в действующую армию и холодно встреченный после возвращения из нее *гордой, мучительной девой* — своей будущей женой Н. Н. Гончаровой (к ней, вероятнее всего, обращено и предыдущее стихотворение «Я вас любил...»), Пушкин обратился с просьбой разрешить ему поехать во Францию или Италию либо причислить его к русской миссии, отправлявшейся в Китай. На эти просьбы

последовал отказ. *Ночной гребец*— гондольер; он *не поет*, потому что Венеция была захвачена в это время австрийцами. *Мощи городов* — древние римские города Помпея и Геркуланум, расположенные на берегу Неаполитанского залива, у подножия Везувия, и засыпанные пеплом во время извержения 79 г. н. э. Ко времени Пушкина удалось отрыть часть улиц и домов Помпеи с их содержимым, сохранившимся в полной неприкосновенности в течение почти двух тысячелетий.

М о н а с т ы р ь н а К а з б е к е (стр. 294).— *Монастырь за облаками* — старинная грузинская церковь Цминда Самеба.

Д е л и б а ш (стр. 295).— *Делибаш* — по-русски: сумасшедший, сорвиголова, начальник так называемых «дели», особых отрядов турецкой армии, состоявших из испытанных храбрецов и употреблявшихся в дело в наиболее ответственные минуты, дабы увлечь их примером остальные войска.

К б ю с т у з а в о е в а т е л я (стр. 296).— Имеется в виду бюст Александра I, сделанный знаменитым датским скульптором Б. Торвальдсеном (1768—1844) в 1820 г. в Варшаве.

Э п и г р а м м а («Журналами обиженный жестоко...») (стр. 296).— *Зоил Пахом* — Каченовский, подавший жалобу на цензора С. Н. Глинку, пропустившего статью Н. А. Полевого, в которой якобы содержались «неблагонамеренные» личные выпады против Каченовского как издателя «Вестника Европы».

«П о э т - и г р о к, о Б е в е р л е й - Г о р а ц и й...» (стр. 297).— Эпиграмма на Ивана Ермолаевича Великопольского (1797—1868). Ответ на сатирическое послание к Пушкину, в котором упоминается о том, что Пушкин проиграл в карты гонорар за вторую главу «Евгения Онегина».

«К а к с а т и р о й б е з ы м я н н о й...» (стр. 297).— В своих эпиграммах против Каченовского Пушкин не называл прямо его имени. Тем не менее в опубликованной в «Вестнике Европы» статье о «Полтаве» Пушкина, подписанной «С Патриарших прудов» (написана Н. И. Надеждиным), было сказано, что автор «Полтавы» «ударился в язвительные стишонки и ругательства».

С а п о ж н и к *(Притча)* (стр. 297).— Рассказ о греческом живописце Апеллесе (IV в. до н. э.) — эпиграмма (в форме «притчи» — басни) на Надеждина. Он *судил о свете* в разносной статье о пушкинском «Графе Нулине», а в качестве эпиграфа к статье о «Полтаве» взял слова Горация: «Берите труд не свыше сил своих».

Э п и г р а м м а («Мальчишка Фебу гимн поднес...») (стр. 298).— *Семинарист* — Надеждин, окончивший духовную семинарию и напечатавший в «Вестнике Европы» отрывки из своей латинской диссертации о романтизме.

С о б р а н и е н а с е к о м ы х (стр. 298).— Верный принятому им правилу не задевать «личностей», Пушкин вместо имен имевшихся им в виду литераторов проставил в этой эпиграмме звездочки (количество их по числу слогов), предоставляя угадывать их как самим затронутым лицам, так и чи-

тателям. Это придавало эпиграмме и более широкий, обобщенный характер. Современниками подставлялись различные имена: Глинка, Каченовский, Свиньин, Олин, Раич, Бестужев-Рюмин, Греч, Федоров.

Ц и к л о п (стр. 299).— Написано для графини Екатерины Федоровны Тизенгаузен, внучки Кутузова, участвовавшей в придворном костюмированном бале по случаю заключения мира с Турцией. Соответственно выбранному ею костюму циклопа, она должна была прочесть приветственные стихи императорской чете.

«Ч т о в и м е н и т е б е м о е м?..» (стр. 299).— Обращено к красавице польке Каролине Собаньской, просившей поэта, который встречался с ней во время южной ссылки и снова встретился в Петербурге, занести в ее альбом свое имя.

О т в е т («Я вас узнал, о мой оракул...») (стр. 300).— Ответ на письмо Ек. Н. Ушаковой, до нас не дошедшее.

«В ч а с ы з а б а в и л ь п р а з д н о й с к у к и...» (стр. 300).— Обращено к одному из видных церковных деятелей того времени, славившемуся своим красноречием, московскому митрополиту Филарету, который, сохранив полностью внешнюю форму стихотворения Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» и лишь слегка изменив его, придал ему прямо противоположный, религиозно-христианский характер. Позднее Пушкин разочаровался в идеализированной им в этом стихотворении личности Филарета. В дневнике 1834 г. он иронически отзывается о его проповедях и резко осуждает практиковавшиеся им доносы на своих противников.

С о н е т («Суровый Дант не презирал сонета...») (стр. 301).— Вильям *Вордсворт* (1770—1850), из сонета которого Пушкиным взят эпиграф, английский поэт-романтик, глава так называемой Озерной школы, возродивший пришедшую в упадок в век классицизма старинную форму сонета, которую культивировали многие великие писатели прошлого —Данте (*Дант*), *Петрарка*, Шекспир *(творец Макбета)*, португальский поэт Луис *Камоэнс*, автор знаменитой героико-эпической поэмы «Лузиады». Вольным переложением сонета Вордсворта о сонете и является настоящее стихотворение Пушкина, вскоре сложившего еще два сонета. Пушкин опустил некоторые упоминаемые Вордсвортом имена сонетистов, но прибавил два новых: *певца Литвы* — Мицкевича и *Дельвига*.

К в е л ь м о ж е (стр. 301).— Обращено Пушкиным к одному из характерных представителей русской феодально-крепостнической — «вельможной» — культуры второй половины XVIII в., владельцу колоссальных земельных богатств, Николаю Борисовичу Юсупову (1751—1831). Почти вся молодость Юсупова прошла в путешествиях по западной и южной Европе — Англии, Франции, Испании и Италии, где он позднее занимал ряд крупных дипломатических постов. Юсупов познакомился со многими наиболее выдающимися деятелями эпохи Просвещения и незадолго до 1789 г. посетил резиденцию французских королей — Версаль. Из заграничных путешествий он вывез превосходно составленную библиотеку и замечательное собрание кар-

тин и статуй, которыми украсил свое подмосковное имение — Архангельское. Родители Пушкина одно время жили в Москве в доме Юсупова; поэт мог знать его таким образом с раннего детства. С Юсуповым Пушкин встречался и позднее, не раз бывая в его Архангельском, описание которого и дает в этом стихотворении. *Ферней* (Фернэ) — поместье Вольтера на границе Франции и Швейцарии, в котором он провел последние годы своей жизни. По поручению Екатерины II Юсупов посетил Вольтера в Фернее. *Армида* — французская королева Мария-Антуанетта. *Трианон* — название двух павильонов в Версальском парке: один из них — Малый Трианон — был любимым местопребыванием Марии-Антуанетты. *Дидерот* — Дидро Дени (1713—1784), французский философ и писатель. Сперва католик и идеалист, Дидро затем перешел к решительному атеизму и воинствующему материалистическому миросозерцанию. В частности, Дидро славился своими блестящими беседами-импровизациями. *Треножник* — на треножнике, устанавливавшемся у расщелины скалы, из которой исходили одуряющие газы, жрицы бога Аполлона — пифии — произносили свои «прорицания». *Афей* — атеист, безбожник. *Деист* — представитель религиозно-философского направления, допускающего существование бога в качестве творца мира, но отрицающего какое бы то ни было дальнейшее его вмешательство в изначально установленную закономерность явлений природы. Деистом был Вольтер. *Софисты* — в Древней Греции странствующие учителя философии, которые расшатывали традиционную религию и мораль, доведя до большого совершенства искусство философского анализа и спора. *Двойственный собор* — английский парламент, состоящий из двух «палат»: верхней — палаты лордов и нижней — палаты общин. *Вихорь бури* — Великая французская буржуазная революция. *Фурии* — богини мщения и кары. *...странствует с кладбища на кладбище.*— Во время французской революции прах Вольтера был торжественно перенесен в Пантеон (место погребения великих людей Франции); в разгул реакционных неистовств периода Реставрации роялисты выбросили его на свалку. *Барон д'Ольбах* — Гольбах Поль (1723—1789), французский философ-материалист. *Морле* Андре (1727—1819) — французский философ и экономист, сотрудник знаменитой «Энциклопедии или объяснительного словаря наук, искусств и ремесл», в которой принимали ближайшее участие выдающиеся французские философы-материалисты XVIII в. *Гальяни* (1728—1787) — итальянский аббат, экономист, писатель; был близок с Дидро и другими «энциклопедистами». *Касти* Джамбаттиста (1721—1803) — итальянский поэт, автор сатирических поэм и эротических стихотворений. Александра Васильевна *Алябьева* (1812—1891) — одна из первых московских красавиц того времени. Наталья Николаевна *Гончарова* (1812—1863) — будущая жена Пушкина. *Корреджио* (Корреджо) Антонио Аллегри (ок. 1489—1534) — знаменитый итальянский художник. *Канова* Антонио (1757—1822) — знаменитый итальянский скульптор. *Диктатор* — в Древнем Риме лицо, которому Сенат передавал в исключительных случаях всю полноту государственной власти.

Новоселье (стр. 304).— Обращено к историку, писателю, редактору журнала «Московский вестник», Михаилу Петровичу Погодину (1800—1875), которого 26 апреля 1830 г. Пушкин поздравил с новосельем.

«Когда в объятия мои...» (стр. 304).— Обращено к невесте Пушкина, Н. Н. Гончаровой.

Мадона (стр. 305).— 30 июля 1830 г. Пушкин писал Н. Н. Гончаровой, ставшей уже его невестой, о картине, приписывавшейся итальянскому художнику Пьетро Перуджино (между 1445 и 1452—1523): «...часами простаиваю перед белокурой мадоной, похожей на вас как две капли воды», и шутя прибавлял: «...я бы купил ее, если бы она не стоила 40 000 рублей». Описание этой картины и дано в сонете. *Сион* — один из холмов, на которых расположен Иерусалим.

Ответ анониму (стр. 308).— *Аноним* — Иван Александрович Гульянов (1789—1841), выдающийся египтолог, член Российской академии; в связи с предстоящей женитьбой Пушкина послал ему, не подписывая своего имени, приветственное стихотворение, выражая уверенность, что семейное счастье послужит для поэта источником новых творческих вдохновений.

Труд (стр. 309).— Написано в последних числах сентября 1830 г. в связи с окончанием романа в стихах «Евгений Онегин».

Царскосельская статуя (стр. 309).— Имеется в виду находящаяся в Царскосельском парке бронзовая статуя-фонтан «Молочница» скульптора П. П. Соколова на тему басни Лафонтена «Молочница и кувшин».

«Глухой глухого звал к суду судьи глухого...» (стр. 309).— Вольное переложение басни французского поэта Поля Пелисона (1624—1693) «Трое глухих».

Дорожные жалобы (стр. 309).— *Яр* — старый московский ресторан. *Мясницкая* — прежнее название улицы Кирова в Москве; в рукописи было «по Никитской», где жила Н. Н. Гончарова.

Прощание («В последний раз твой образ милый...») (стр. 310).— Навеяно воспоминаниями о Е. К. Воронцовой.

Паж, или Пятнадцатый год (стр. 311).— *Керубино* — юный паж в комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

«Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» (стр. 312).— *Индейская зараза*— холера; на обратном пути из Арзрума Пушкин из-за начавшейся эпидемии чумы провел три дня *у ворот угрюмого Кавказа* в карантине в Гумрах.

Рифма («Эхо, бессонная нимфа...») (стр. 313).— В античном стихосложении рифмы не было, и миф о происхождении ее создан самим Пушкиным.

Отрок (стр. 314).— *Отрок* — гениальный русский ученый и поэт-одописец М. В. Ломоносов.

Заклинание (стр. 314).— Литературным толчком к написанию стихотворения послужило стихотворение на ту же тему очень нравившегося

Пушкину английского поэта-романтика Барри Корнуолла (псевдоним Б.-У. Проктера; 1787—1874) «Призыв». Вместе с тем оно проникнуто глубоким личным чувством, связанным с образом Амалии Ризнич. *Леила* — героиня поэмы Байрона «Гяур»; тень убитой Леилы в конце поэмы является ее возлюбленному.

Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы (стр. 315).— Было опубликовано впервые только после смерти Пушкина с чтением последней строки: «Темный твой язык учу». Как ни прекрасен сам по себе этот стих, однако, по разысканиям исследователей, он принадлежит не Пушкину, а Жуковскому. *Парки* — богини человеческой судьбы, одна из которых выпрядала, другая развертывала, а последняя разрывала нить жизни человека. Часто изображались в виде безобразных старух.

Герой (стр. 315).— Эпиграф — вопрос, который, по евангельскому преданию, римский наместник Иудеи Понтий Пилат задал приведенному к нему на суд Христу. Стихотворение было написано в связи с приездом Николая I 29 сентября 1830 г. в Москву, во время холерной эпидемии, что и подчеркивается датой, поставленной под стихами (на самом деле они написаны в октябре того же года). По требованию Пушкина, оно было напечатано без подписи, и авторство его стало известно только после смерти поэта. *Пришлец сей бранный* — Наполеон. В следующих строках Пушкиным упоминается итальянская кампания 1796—1797 гг., в которой выдвинулся Наполеон; совершенный им переворот 9 ноября 1799 г., поход в Египет в 1798—1799 гг., наконец, взятие Москвы в 1812 г. *Зять кесаря* — в 1810 г. Наполеон женился на дочери австрийского императора Марии-Луизе. *Скала* — остров святой Елены. *Бурьен* Луи (1769—1834) — секретарь Наполеона. В 1829—1830 гг. вышли в десяти томах «Мемуары Бурьена», автор которых старается всячески «разоблачать» Наполеона и, между прочим, опровергает рассказ о том, что он, посетив во время египетского похода госпиталь зараженных чумой, касался некоторых из них, желая ободрить их. Уже после написания стихотворения выяснилось, что «Мемуары Бурьена» подложны.

«В начале жизни школу помню я...» (стр. 317).—В рукописи этот отрывок, написанный болдинской осенью 1830 г. и Пушкиным не печатавшийся, заглавия не имеет и до недавнего времени представлялся загадочным. Исследователи чаще всего склонны были истолковывать его как стилизованный «под Данте» (написан стихотворным размером «Божественной комедии» — терцинами) автобиографический рассказ поэта о своем детстве или школьных годах. Если Пушкин в ранние годы и сопоставлял иронически Лицей с монастырем, а себя с монахом, то подобная стилизация мало вяжется с художественным методом зрелого Пушкина. В то же время имеются основания видеть в этом наброске начало задуманной Пушкиным поэмы о молодом Данте до его «нисхождения в ад», подобно тому как Байрон написал (тоже от лица автора «Божественной комедии» и тоже терцинами) хорошо известную Пушкину поэму о Данте после его «возвращения» на землю — «Пророчество

Данте». Но что бы ни представлял собой этот отрывок, он является отнюдь не просто стилизацией, а одним из ярчайших проявлений замечательной способности Пушкина, не изменяя себе, проникаться философским и эстетическим мировоззрением и мышлением самых различных веков и народов. Недаром Белинский считал, что этот отрывок впервые ввел русских читателей в художественный мир и раскрыл им подлинное величие автора «Божественной комедии». *Двух бесов изображенья* — статуи Аполлона и Венеры.

«Для берегов отчизны дальной...» (стр. 319).— Навеяно воспоминанием об Амалии Ризнич.

Отрывок («Не розу пафосскую...») (стр. 320).— Город Пафос на острове Киферы, где, по мифу, возникла из пены морской Афродита. *Роза феосская* — от города Феоса (Теоса) — родины Анакреонта.

Из Barry Cornwall (стр. 320).— Из стихотворения Корнуола взят только эпиграф, явившийся зачином пушкинского стихотворения.

Моя родословная (стр. 321).— Стихотворение не было разрешено к печати Николаем I, но получило широкое распространение в списках и нажило поэту множество врагов при дворе. *Меня зовут аристократом.*— В 1830 г. Пушкин принимал ближайшее участие в «Литературной газете» Дельвига, издателя и сотрудников которой полемизировавшие с нею журналисты прозвали «литературными аристократами». *Не офицер я, не асессор,// Я по кресту не дворянин...*— Согласно «табели о рангах», установленной Петром I в 1722 г., дворянином становился каждый произведенный в офицеры, достигнувший чина коллежского асессора или получивший за тридцатипятилетнюю службу орден — крест Владимира 4-й степени. *Не торговал мой дед блинами...*— Имеется в виду кн. Меншиков, который, по преданию, мальчиком торговал на московских улицах пирогами; его правнук А. С. Меншиков был личным другом Николая I и занимал видные государственные посты. *Не ваксил царских сапогов...*— Имеется в виду И. П. Кутайсов, бывший сперва камердинером Павла I, а затем возведенный им в графское достоинство и достигший высших чинов; его сын П. И. Кутайсов был сенатором. *Не пел с придворными дьячками...*— Любовник (позднее негласный муж) императрицы Елизаветы гр. А. Г. Разумовский был придворным певчим, его племянник был при Александре I министром народного просвещения. *В князья не прыгал из хохлов...*— намек на кн. А. А. Безбородко, одного из видных государственных деятелей времен Екатерины II. *И не был беглым он солдатом...*— дед гр. П. А. Клейнмихеля, жестоко управлявшего военными поселениями. В противовес всему этому поэт вкратце рисует историю своих предков, в течение многих веков участвовавших в созидании русского государства. *Нижегородский мещанин* — Кузьма Минин. *Страдальца сын* — царь Михаил Федорович, отец которого, митрополит Филарет, был пострижен Борисом Годуновым в монахи и позднее провел много лет в польском плену. *Мой пращур* — Федор Пушкин, казненный Петром I за участие в заговоре против него. *Мятежом* поэт смело называет восшествие на престол бабки Николая I Екатерины II, в результате дворцового переворота 1762 г., во время которого его

дед Лев Александрович Пушкин остался вместе с фельдмаршалом *Минихом* верен присяге, данной Петру III. *Гербовая печать* — печать с изображением герба рода Пушкиных. *Я Пушкин просто, не Мусин...*— В XVIII в. род Пушкиных захирел, а их боковая ветвь — Мусины-Пушкины получили графский титул и выдвинулись в первые ряды послепетровской знати. *И был отец он Ганнибала...*— Иван Абрамович Ганнибал (1737 или 1736—1801), генерал-поручик, герой Чесменского боя, взявший турецкую крепость Наварин. *...он в Мещанской дворянин.*— Мещанская — улица в Петербурге, известная в то время своими притонами, с которыми была связана в молодости жена Булгарина.

Цыганы («Над лесистыми брегами...») (стр. 323).— *Не пойдет уж ваш поэт.*— В бытность в ссылке в Кишиневе Пушкин однажды присоединился к кочующему цыганскому табору и провел в нем несколько дней.

«Перед гробницею святой...» (стр. 324).—Перед гробницей Кутузова в Казанском соборе в Петербурге. *Сей остальной* — оставшийся, последний: Кутузов выдвинулся уже во время Екатерины II, в русско-турецких войнах 1770—1790 гг.

Клеветникам России (стр. 325).— Впервые — в брошюре «На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина» 1831 г. Написано, как и предыдущее стихотворение, в связи с польским восстанием 1830—1831 гг., которое Ф. Энгельс называл «консервативной революцией». Пушкин видел в нем угрозу целостности и безопасности русского государства, особенно в связи с ожесточенной антирусской кампанией, поднятой в иностранной, главным образом французской, прессе, и с враждебными выступлениями во французском парламенте, прямо призывавшими к войне с Россией. Против этих-то «клеветников, врагов России», мечтавших о реванше за 1812 г., в основном и направлено стихотворение. *Волнения Литвы* —польское восстание. *Прага* — укрепленное предместье Варшавы. *Того, под кем дрожали вы?* — Наполеона. *Измаильский штык.*—Одним из самых блистательных подвигов Суворова было взятие в 1790 г. штурмом турецкой крепости Измаил, считавшейся неприступной.

Бородинская годовщина (стр. 326).— Опубликовано в упомянутой выше брошюре, написано по получении известия о взятии русскими войсками Варшавы, которое произошло как раз в день годовщины Бородинского сражения — 26 августа 1831 г. *...послушных воле гордой...*— воле Наполеона. *Мутители палат* — ораторы французского парламента. *Куда отдвинем строй твердынь?* — Консервативные польские шляхетские круги требовали присоединения к Польше Украины. *Могучий мститель злых обид* — фельдмаршал И. Ф. Паскевич, после смерти Дибича ставший во главе русских войск, действовавших против польских повстанцев. *Младого внука своего.*— Известие о взятии Варшавы привез Николаю I внук Суворова, А. А. Суворов.

«Чем чаще празднует лицей...» (стр. 329).— Написано к двадцатилетней лицейской годовщине. *Шести друзей не узрим боле...*—

К этому времени умерло шесть лицеистов первого выпуска: Ржевский, Корсаков, Саврасов, Костенский, Дельвиг и Есаков. Особенно потрясен был Пушкин смертью Дельвига, умершего 14 января 1831 г.

«И д а л е м ы п о ш л и...». «Т о г д а я д е м о н о в у в и д е л ч е р н ы й р о й...» (стр. 330).— Шутливые вариации на мотивы первой части «Божественной комедии» Данте «Ад». Проводником Данте по кругам ада был древнеримский поэт Вергилий.

М а л ь ч и к у *(Из Катулла)* (стр. 332).— Перевод стихотворения римского поэта Катулла (I в. до н. э.) «Ad pocillatorem» («Виночерпию»), первая строка из которого дана в качестве эпиграфа. *Фалерн* — воспевавшееся римскими поэтами крепкое (выдерживалось около десяти лет) вино, обычно разбавлявшееся водой или медом.

В а л ь б о м А. О. С м и р н о в о й (стр. 332).— Пушкин убеждал А. О. Смирнову-Россет, которая была близка к царской семье и двору, писать «исторические записки» обо всем виденном и слышанном; с этой целью он подарил ей альбом, в качестве эпиграфа вписав данное стихотворение.

В а л ь б о м к ж. А. Д. А б а м е л е к (стр. 332).— Анна Давыдовна *Абамелек* — поэтесса, переводчица и одна из прославленных петербургских красавиц. Пушкин *нянчил* ее двухлетним ребенком, будучи еще лицеистом.

Г н е д и ч у («С Гомером долго ты беседовал один...») (стр. 333).— Ответ на восторженное послание Гнедича Пушкину по прочтении его «Сказки о царе Салтане». *Скрижали* — мраморные доски, на которых, по Библии, были высечены десять заповедей Моисея, полученные им от бога на горе Синай; Моисей в гневе их разбил, застав народ поклоняющимся идолам. *Илион* — Троя, осада и взятие которой греками описаны в «Илиаде» Гомера.

К р а с а в и ц а («Всё в ней гармония, всё диво...») (стр. 333).— Написано в альбом графине Елене Михайловне Завадовской (1807—1874).

(И з К с е н о ф а н а К о л о ф о н с к о г о) (стр. 334).— Стихотворение переведено из греческого сборника «Пир мудрецов» (с перевода его на французский язык Лефевром), составленного ученым Афенеем (III—II вв. до н. э.). Написано Ксенофаном из Колофона (VI—V вв. до н. э.).

«Б о г в е с е л ы й в и н о г р а д а...» (стр. 335).— Перевод взятого из того же сборника стихотворения поэта Эвбула (IV в. до н. э.).

В и н о *(Ион Хиосский)* (стр. 335).— Перевод взятого из того же сборника стихотворения поэта Иона с острова Хиос (V в. до н. э.).

Г у с а р (стр. 336).— По мотивам украинского фольклора.

Б у д р ы с и е г о с ы н о в ь я (стр. 340).— Перевод баллады Мицкевича «Три Будрыса». *Паз* — сын Ольгерда, великого князя литовского. *Кестут* — воевода, брат Ольгерда. *Крыжаки* — крестоносцы, члены Тевтонского ордена, с которым литовцы находились в постоянной борьбе.

В о е в о д а (стр. 342).— Вольный перевод баллады Мицкевича «Засада».

«К о г д а б н е с м у т н о е в л е ч е н ь е...» (стр. 344).— В рукописи помета: «1833, дорога, сентябрь».

«К о л о к о л ь ч и к и з в е н я т...» (стр. 344).— Песня цыганки, написанная Пушкиным для начатой его близким знакомым, композитором графом Михаилом Юрьевичем Виельгорским (1788—1856) оперы «Цыганы» (с пушкинской поэмой она не была связана).

О с е н ь *(Отрывок)* (стр. 344).— Написано поэтом во время второй осени, проведенной им в Болдине в 1833 г., тоже творчески очень плодотворной, хотя и уступающей необыкновенному творческому подъему болдинской осени 1830 г., воспоминаниями о которой скорее всего и подсказаны заключительные (начиная с X) строфы. Эпиграф из стихотворения Державина: «Евгению. Жизнь Званская», тоже описывающего свой быт в имении «Званка».

«П о р а, м о й д р у г, п о р а! п о к о я с е р д ц е п р о с и т...» (стр. 349).— Единственное за все время семейной жизни обращение поэта к жене, упорно противившейся его стремлению бросить все и уехать из Петербурга в деревню, чтобы полностью отдаться литературному труду. Выходу поэта в отставку и его удалению от двора препятствовал и царь.

«О н м е ж д у н а м и ж и л...» (стр. 349).— *...он вдохновен был свыше...*— Пушкина восхищала необыкновенная способность Мицкевича к литературным импровизациям. Одна из них была посвящена теме любви, которая должна соединить в будущем все народы. Позиция Пушкина в польском вопросе, отразившаяся в его стихах, связанных с польским восстанием 1830—1831 гг., вызвала чрезмерную отповедь Мицкевича в его стихотворении «Русским друзьям». Ответом на это последнее и является настоящее стихотворение, которое не было доработано и доведено до конца.

П е с н и з а п а д н ы х с л а в я н (стр. 349).— Первые девять песен, входящие в состав цикла, и песни 13-я и 16-я — более или менее вольный перевод из сборника «Гузла» Проспера Мериме, хотя и бывшего мистификацией, но все же опирающегося на мотивы славянского фольклора. Песни 10-я, «Соловей», и 14-я, «Сестра и братья», переведены из сборника сербских песен Вука Караджича. Песня 12-я, «Воевода Милош», написана на основании книги Вука Караджича «Жизнь и подвиги князя Милоша Обреновича» (1825) и устных рассказов, слышанных Пушкиным в Кишиневе. Подлинник песни 15-й, «Яныш королевич», на который Пушкин ссылается в примечании, не обнаружен. Наконец, «Песня о Георгии Черном» полностью принадлежит самому Пушкину, который издавна интересовался его личностью (см. стих. «Дочери Карагеоргия») и, будучи в Кишиневе, собирал о нем сведения. Книжным источником послужило поэту «Путешествие в Молдавию, Валахию, Сербию» Д. Н. Бантыш-Каменского (М., 1810). *Влахи* — сербская народность, живущая в горах Далмации. *Цехины* — старинная венецианская золотая мо-

нета. *Долиман* — турецкая длиннополая одежда. *Вила* — русалка в сербских поверьях.

(Из Анакреона). *Отрывок* («Узнают коней ретивых...») (стр. 380).— Из произведений древнегреческого поэта Анакреонта почти ничего не сохранилось. Позднее, около начала нашей эры, подражателями Анакреонта был составлен сборник «Анакреонтических стихотворений», получивший большую популярность, но Анакреонту на самом деле не принадлежавший. Из данного сборника Пушкиным и переведены это и два следующих стихотворения.

Полководец (стр. 382).— Посвящено Михайлу Богдановичу Барклаю-де-Толли (1761—1818), который в начале войны 1812 г. был главнокомандующим русской армии. Тактика Барклая — отступление в глубь страны — вызвала резкое недовольство в войсках и при дворе. Барклай был смещен, и на его место был назначен Кутузов, который продолжал ту же тактику. Поступивший к нему под начало Барклай участвовал в ряде сражений, появляясь во всех наиболее опасных местах. После Бородинской битвы он писал Александру I: «26 августа не сбылось мое пламеннейшее желание: провидение пощадило жизнь, которая меня тяготит». *Палата* — «Военная галерея» бывшего Зимнего дворца, в которой помещены портреты участников войны 1812—1814 гг., написанные английским художником Доу.

Из А. Шенье (стр. 384).— Перевод стихотворения Шенье «Oeta, mont ennobli par cette nuit ardente...» («Эта гора, облагороженная той пылающей ночью...»). *Алкид* — одно из имен главного героя древнегреческих эпических преданий, Геркулеса — олицетворения физической мощи. По преданию, один из кентавров, смертельно раненный Геркулесом, решив погубить героя, подарил его жене ядовитую рубашку, омоченную в его крови. При этом он уверил ее, что, если любовь Геркулеса к ней ослабнет, она должна дать ему надеть эту рубашку. Жена так и сделала. Рубашка стала разъедать его тело. Мучимый ужасной болью, Геркулес взошел на гору Эту, соорудил костер и бросился в него. Когда огонь запылал, герой на облаке, посланном к нему отцом его Зевсом, был вознесен на Олимп. *Палица* — главное оружие Геркулеса. *Немейский лев* — мифическое чудовище, задушенное Геркулесом,— первый из совершенных им подвигов.

«Кто из богов мне возвратил...» (стр. 384).— Вольное переложение оды Горация «К Помпею Вару».

Странник (стр. 385).—Сжатое переложение начала первой главы произведения английского писателя-проповедника эпохи английской революции Джона Беньяна (1628—1688) «Путешествие странника из сего мира в грядущий».

«...Вновь я посетил...» (стр. 387).— Написано в связи с приездом осенью 1835 г.— последний раз в жизни — в Михайловское. Няня Пушкина умерла 31 июля 1828 г. *Иные берега, иные волны...*— воспоминания ссыльного поэта о Крыме и Одессе.

На выздоровление Лукулла. *Подражание латинскому* (стр. 389).— Это стихотворение является уничтожающим сатирическим выпадом против одного из «столпов» николаевской реакции, министра народного просвещения, главы цензурного ведомства, президента Академии наук графа Сергея Семеновича Уварова (1786—1855). Под *Лукуллом* (имя римского полководца, славившегося необычайной роскошью своих пиров и празднеств— «лукулловы пиры») Пушкин подразумевает известного богача, графа Д. Н. Шереметева, который только что поправился после опасной болезни. Уваров, который должен был по жене наследовать бездетному Шереметеву, уверенный в его неизбежной смерти, поспешил опечатать его имущество. Эта скандальная история разнеслась по всему Петербургу. Стихотворение целиком принадлежит самому Пушкину, подзаголовок — «Подражание латинскому» — дан с целью провести стихи через цензуру. Это вполне удалось: стихотворение было напечатано и сделало Уварова одним из злейших врагов поэта.

Пир Петра Первого (стр. 390).— В основе — исторический факт, засвидетельствованный Ломоносовым и отмеченный Пушкиным в подготовлявшейся им «Истории Петра»: «Петр простил многих знатных преступников, пригласил их к своему столу и пушечной пальбой праздновал с ними примирение». Особую выразительность стихотворению придавало то, что поэт открыл им первую книжку своего журнала «Современник», вышедшую в 1836 г.,— десятилетие приговора над декабристами. Как и десять лет назад в «Стансах» 1826 г., поэт, ставя в пример Николаю Петра, призвал его быть «незлобным памятью» — амнистировать декабристов. *Брантов утлый бот.*— Брандт — голландец, приехавший в Россию в 1669 г. в качестве подмастерья; по приказанию Петра I починил морскую лодку, ботик, привезенный в свое время англичанами в подарок царю Алексею Михайловичу и остававшийся долгое время без употребления. Ботик, послуживший как бы началом русскому флоту, в 1722 г. был перевезен в Петербург, где ему была устроена торжественная встреча.

Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный...») (стр. 392).— Три последних стиха подсказаны строками из «Гюлистана» Саади Ширазского: «...я и друг мой жили будто два миндальные ореха в одной скорлупе».

Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..») (стр. 392).— Обращено к прославленному поэту-партизану Денису Васильевичу *Давыдову* (1784—1839), стихи которого Пушкин очень ценил, считая его в числе своих литературных учителей и говоря, что он «дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным». Послано вместе с дарственным экземпляром «Истории Пугачевского бунта». Первая строка — перевод стиха из дарственной надписи французского поэта Арно на книге, посланной им Давыдову.

Мирская власть (стр. 392).— По словам друга Пушкина, поэ-

та П. А. Вяземского, стихотворение, «вероятно, написано потому, что в страстную пятницу в Казанском соборе стоят солдаты на часах у плащаницы».

(Подражание италиянскому) («Как с древа сорвался предатель ученик...») (стр. 393).— Вольный перевод «Сонета об Иуде» итальянского поэта Франческо Джанни (1760—1822) с французского перевода Антони Дешана.

(Из Пиндемонти) (стр. 393).— Ссылка на итальянского поэта И. Пиндемонте (1753—1828) преследует маскировочную цель: на самом деле стихотворение полностью принадлежит Пушкину.

«Альфонс садится на коня...» (стр. 394).— Вольное переложение одного из эпизодов французского романа графа Яна Потоцкого «Десять дней из жизни Альфонса Ван-Вордена» («Dix journées de la vie d'Alphonse Van-Worden». Paris, 1814). Месть повешенных разбойников объясняется в романе тем, что повешенные были несправедливо осуждены.

«Отцы пустынники и жены непорочны...» (стр. 395).— Вторая часть стихотворения — переложение великопостной молитвы Ефрема Сирина.

«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (стр. 396).— Эпиграф — начальные слова оды Горация «К Мельпомене». *Александрийский столп* — огромная гранитная колонна бывш. Дворцовой площади в Петербурге, сооруженная в память Александра I; в 1834 г. Пушкин специально уехал из Петербурга, не желая присутствовать на торжестве ее «освящения».

Художнику (стр. 397).— Обращено к скульптору Борису Ивановичу Орловскому (наст. фам.—Смирнов) (1796—1837), ученику Торвальдсена, автору памятников Барклаю-де-Толли и Кутузову перед Казанским собором в Петербурге.

«Была пора: наш праздник молодой...» (стр. 397).— Написано к двадцатипятилетней годовщине открытия Лицея; осталось неоконченным. *Чертог царицын* — крыло царскосельского дворца, в котором помещался Лицей; на торжественном открытии Лицея 19 октября 1811 г. *Куницын* в присутствии царя и высшей знати произнес горячую и смелую либеральную речь об обязанностях гражданина и воина. *Наш Агамемнон* — Александр I (Агамемнон в «Илиаде» Гомера — вождь царей, осаждавших Трою). *Новый царь* — Николай I. *Новы тучи* — революция 1830 г. во Франции; польское восстание 1830—1831 гг.

На статую играющего в свайку (стр. 399). На статую играющего в бабки (стр. 399).— Стихотворения посвящены произведениям молодых скульпторов А. В. Логановского (1810—1855) и Н. С. Пименова (1812—1864), показанным осенью 1836 г. на выставке в Академии художеств. *Дискобол* — знаменитая статуя метателя диска, работы древнегреческого скульптора Мирона (V в. до н. э.).

ПОЭМЫ

Руслан и Людмила (стр. 403).— Поэма начата в 1817 г. и закончена 26 марта 1820 г., меньше чем за полтора месяца до высылки Пушкина из Петербурга на юг (за исключением эпилога, написанного уже на Кавказе).

Отрывки из поэмы были опубликованы вскоре же после ее окончания в журналах «Невский зритель» и «Сын отечества». Отдельным изданием поэма вышла из печати между 23 июля — 10 августа 1820 г.

Для второго издания поэмы, вышедшего в 1828 г., Пушкин добавил стихотворное введение «У лукоморья дуб зеленый...», первые строки которого представляют собой переложение эпизода из сказки, рассказанной поэту во время ссылки в Михайловском няней Ариной Родионовной.

Стр. 424. *Князь Тавриды* — фаворит Екатерины II, князь Г. А. Потемкин-Таврический.

Стр. 440. *Поэзии чудесный гений* — В. А. Жуковский, фабулу поэмы которого «Двенадцать спящих дев» (2-я часть «Вадим») Пушкин шутливо пародирует в эпизоде пребывания Ратмира в замке дев.

Стр. 443. *Омер* — Гомер.

Стр. 444. *...лицемерния Диана // Пред милым пастырем своим...*— Диана, богиня луны, считалась девственницей. Однако она каждый вечер спускалась в пещеру к погруженному ею в вечный сон возлюбленному — красавцу пастуху Эндимиону.

Стр. 446. *Лемноса хромой кузнец* — Вулкан.

Кавказский пленник (стр. 470).— Поэма начата в Гурзуфе в августе 1820 г. под непосредственным впечатлением от только что совершенной Пушкиным поездки на Кавказские минеральные воды. Сначала поэт хотел выдвинуть на первый план описание кавказской природы, быта и нравов горцев и предполагал назвать поэму «Кавказ». Однако затем в соответствии с основной задачей, поставленной им перед собой, непосредственно связал ее заглавие с образом героя. Поэма в основном была закончена в первой половине 1821 г. в Каменке. Критика встретила «Кавказского пленника» (не считая отдельных небольших замечаний) восторженно. Второе издание поэмы вышло в 1828 г. со следующим предисловием Пушкина: «Сия повесть, снисходительно принятая публикою, обязана своим успехом верному, хотя слегка означенному, изображению Кавказа и горских нравов. Автор также соглашается с общим голосом критиков, справедливо осудивших характер пленника, некоторые отдельные черты и проч.». В издании «Поэм и повестей» 1835 г. (третья прижизненная публикация поэмы) это предисловие было снято.

Посвящена поэма другу Пушкина и его спутнику в поездке на Кавказские воды и в Крым, сыну генерала Раевского, Н. Н. Раевскому, который, будучи еще мальчиком, принял «вослед отца героя» участие в Отечественной войне 1812 г.

Гавриилиада (стр. 492).— Поэма, пародийно, в духе Вольтера и религиозных поэм Парни, вышучивающая христианский догмат о непорочном зачатии, писалась в Кишиневе в апреле 1821 г. Поэма была сочувственно встречена в декабристских кругах (см. письмо Пушкина к А. А. Бестужеву от 13 июня 1823 г., из которого видно, что последнему «нравится Благовещение», т. е., очевидно, именно «Гавриилиада»). Жандармский генерал Бибиков в своем доносе на Пушкина Бенкендорфу от 8 марта 1826 г., т. е. в самый разгар следствия над декабристами, называет «Гавриилиаду» «бунтовскими стихами», которые, нападая «опасным и коварным оружием насмешки на святость религии — узды, необходимой для всех народов и, в особенности, для русских», тем самым «разносят пламя мятежа по всем классам общества» (подлинник по-французски). Однако донос Бибикова был оставлен тогда без внимания. Между тем поэма получала все большее распространение в списках. В 1828 г. последовал донос петербургскому митрополиту от крепостных некоего штабс-капитана Митькова, которые жаловались, что барин читал им «Гавриилиаду». На этот раз доносу был дан ход, и возникло специальное дело «о развращении отставным шт.-кап. Митьковым своих дворовых людей в понятиях христианской религии чтением рукописи стихотворения «Гавриилиады». По распоряжению Николая I дело было передано на рассмотрение особой следственной комиссии и проходило под непосредственным наблюдением самого царя. Пушкин дважды вызывался на допрос к петербургскому военному генерал-губернатору. Поэт отрицал свое авторство, показав, что ознакомился с «Гавриилиадой», которая «ходила между офицерами Гусарского полку», еще в Лицее, в 1815—1816 гг. и тогда же переписал ее, но впоследствии сжег свой список. Около этого же времени в письме к Вяземскому, которое было послано обычной почтой (и, как, вероятно, на это рассчитывал Пушкин, могло попасть в руки полиции), Пушкин назвал автором «Гавриилиады» умершего за четыре года до этого кн. Д. П. Горчакова, автора многих «колких» сатирических произведений, «презревших печать», т. е. ходивших в рукописи. Дело о «Гавриилиаде» могло угрожать Пушкину весьма тягостными последствиями, на что он и намекал в том же письме к Вяземскому: «Ты зовешь меня в Пензу, а того и гляди, что я поеду далее — «Прямо, прямо на восток». Мне навязалась на шею преглупая шутка. До правительства дошла, наконец, «Гавриилиада»; приписывают ее мне; донесли на меня...» (письмо от второй половины августа 1828 г.). Николай I не удовлетворился объяснениями Пушкина на допросах и прямо потребовал, чтобы он назвал автора поэмы. Тогда Пушкин попросил разрешения написать лично царю. Письмо это до нас не дошло, как не дошел и ответ на него царя. В письме к царю Пушкин, очевидно, признавал свое авторство. В конспекте Ю. Н. Бартенева,

записавшего рассказы одного из членов следственной комиссии, кн. А. Н. Голицына, значится: «Гавриильяда Пушкина. Отпирательство Пушкина. Признание. Обращение с ним государя». После получения письма от Пушкина по распоряжению царя дело было прекращено.

Автограф «Гавриилиады» до нас не дошел. В черновиках Пушкина сохранился лишь набросок начала плана «Гавриилиады»: «Святой дух, призвав Гавриила, описывает ему свою любовь и производит в сводники. Гавриил влюблен. Сатана и Мария».

Печатающийся в настоящее время текст поэмы реконструирован по нескольким спискам, не всегда надежным.

Б р а т ь я р а з б о й н и к и (стр. 505).— Уцелевший, видимо, вступительный отрывок большой поэмы, над которой Пушкин работал в 1821—1822 гг. Сохранились два наброска плана ее. Оба они связаны с мотивами народных «разбойничьих» песен, входящих в круг фольклора о Стеньке Разине; с песнями и сказаниями о Разине Пушкин мог познакомиться во время поездки с семьей Раевских летом 1820 г. по Кубани. Их специально собирал Н. Н. Раевский-сын. Кроме того, до нас дошел небольшой черновой набросок начала поэмы. Почти все остальное было то ли из-за неудовлетворенности написанным, то ли по соображениям политической небезопасности уничтожено Пушкиным, о чем он сообщал в письме к декабристу А. А. Бестужеву 13 июня 1823 г.: «Разбойников я сжег — и поделом. Один отрывок уцелел в руках Николая Раевского...»

«Братья разбойники», которые и являются этим уцелевшим отрывком, связаны с народной разбойничьей песней «Ах! далече, далече в чистом поле»— о двух братьях разбойниках — «большом» и «меньшом», которых воспитали не отец и мать, а «черна-дальна сторона». Близок народным песням и ряд отдельных мест и выражений «Братьев разбойников». Интерес к разбойничьей теме, несомненно, подсказывался Пушкину его повышенным вниманием ко всем формам протеста против существовавшего в ту пору политического порядка вещей, даже к такой форме, как уход в разбойники. Поддерживался этот интерес и реальными впечатлениями окружающей действительности. Во время приезда Пушкина в мае 1820 г. в Екатеринославскую губернию там происходили серьезные крестьянские волнения. В бытность Пушкина в Кишиневе по всей Бессарабии шла усиленная борьба с разбойниками из беглых крестьян и повстанцев — борцов за национальную независимость. Писатель А. Ф. Вельтман, встречавшийся с Пушкиным в Кишиневе, считает, что пушкинская поэма о разбойниках связана с впечатлениями от знаменитого молдавского разбойника Урсула. В черновиках «Братьев разбойников» еще определеннее, чем в окончательном тексте, подчеркивается, что они взялись за свой опасный промысел, «*наскуча барскою сохой*», то есть бежав из крепостной неволи. Самый эпизод с бегством двух братьев из городской тюрьмы также подсказан вполне реальным случаем, о чем свидетельствует сам Пушкин в письме к Вяземскому 11 ноября 1823 г.: «Вот тебе и Разбойники. Истин-

ное происшествие подало мне повод написать этот отрывок. В 1820 году, в бытность мою в Екатеринославле, два разбойника, закованные вместе, переплыли через Днепр и спаслись. Их отдых на островке, потопление одного из стражей мною не выдуманы».

«Братья разбойники» были впервые опубликованы в альманахе «Полярная звезда на 1825 год», издававшемся А. Бестужевым и К. Рылеевым, и вышли отдельным изданием в 1827 г.

Бахчисарайский фонтан (стр. 511).— Поэма начата весной 1821 г., основная ее часть написана в 1821 г.; закончена поэма осенью 1823 г. Первоначально Пушкин хотел назвать ее «Харем». Эпиграф взят из стихотворения знаменитого персидского поэта XIII в. Саади. Сперва Пушкин хотел посвятить поэму Н. Н. Раевскому и набросал соответствующее вступление, позднее собирался посвятить ее П. А. Вяземскому. В основе сюжета лежит легенда о похищении крымским ханом Керим-Гиреем польской княжны Марии Потоцкой, еще до ссылки слышанная Пушкиным, по его собственным словам, от одной «молодой женщины», в которую он «был очень долго и очень глупо влюблен» (по новейшим биографическим разысканиям, гр. С. С. Потоцкая, вышедшая в 1821 г. замуж за генерала П. Д. Киселева). Описание Крыма и, в частности, Бахчисарая дано по непосредственным личным впечатлениям поэта. Поэма вышла в 1824 г. с предпосланной ей «вместо предисловия» программной статьей П. А. Вяземского «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова», в которой выдвигались и защищались основные принципы поэтики романтизма. Поэма была встречена единодушным восторгом критиков, в том числе и приверженцев классицизма, но вокруг статьи «издателя» Вяземского вспыхнула ожесточенная полемика, явившаяся одним из наиболее шумных проявлений тех боев между «классиками» и «романтиками», которые были так характерны для 20-х гг. прошлого века и возникали чаще всего именно вокруг творчества Пушкина. Сам Пушкин, к этому времени все решительнее вступавший на почву художественного реализма, остался в стороне от этой полемики, но в «Письме к издателю «Сына отечества» выразил свое одобрение статье Вяземского.

При подготовке поэмы к печати Пушкин выбросил из нее все то, что, как он сам выразился, «цензура выбросила бы и без меня». Однако поэт решительно возражал против каких-либо дальнейших уступок. «...сделай милость, не уступай этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих, и загрызи ее, если возможно, в мое воспоминание»,— писал Пушкин издателю поэмы Вяземскому.

Еще до выхода в свет поэма получила чрезвычайно широкое распространение. «В Петербурге ходят тысяча списков»,— писал Пушкин брату 1 апреля 1824 г. При жизни Пушкина «Бахчисарайский фонтан» вышел еще двумя отдельными изданиями (1827 и 1830 гг.) и вошел в состав первой части «Поэм и повестей» 1835 г.

Ц ы г а н ы (стр. 525).— Поэма начата в январе 1824 г. в Одессе, где были написаны вчерне первые три отрывка (145 стихов). Примерно через два месяца после приезда в Михайловское Пушкин возобновил работу над «Цыганами» и с исключительной быстротой завершил ее: остальные 394 стиха поэмы были написаны им вчерне за неделю (между 2 и 8 октября). К 10 октября черновик был перебелен и написан эпилог.

Образы поэмы и даже в известной мере ее сюжет подсказаны Пушкину реальными жизненными впечатлениями. В «Биографическом известии об А. С. Пушкине до 1826 года» Л. С. Пушкин приводит один эпизод из кишиневского периода жизни брата: «Однажды Пушкин исчез и пропадал несколько дней. Дни эти он прокочевал с цыганским табором, и это породило впоследствии поэму «Цыганы». Сам Пушкин говорит об этом в эпилоге «Цыган»: «За их ленивыми толпами в пустынях часто я бродил...» В набросках к эпилогу были и такие строки: «Почто ж, безумец, между вами // В пустынях не остался я, // Почто за прежними мечтами // Меня влекла судьба моя?» О том же Пушкин вспоминает и в VIII главе «Евгения Онегина» и в стихотворении 1830 г. «Цыганы».

В уста старого цыгана Пушкиным вложено преданье о «святом старике» изгнаннике, то есть древнеримском поэте Овидии, с «участью» которого поэт так часто сопоставлял в это время свою собственную судьбу. «Песня Земфиры» представляет довольно близкую переработку народной цыганской хоры (плясовой, хороводной песни) на молдавском языке «Жги меня, жарь меня», которую Пушкин неоднократно слышал и «дикий напев» которой в нотной записи был по его просьбе для него сделан. Поэт послал эти ноты Вяземскому, и они были опубликованы вместе с текстом «Песни Земфиры» в «Московском телеграфе» (1825).

В рукописи Пушкиным были намечены два эпиграфа к поэме: «Мы люди смирные, девы наши любят волю — что тебе делать у нас. *Молд. песня*» и «Под бурей рока — твердый камень,// В волненьях страсти — легкий лист. *Князь Вяземский*».

В день окончания «Цыган» Пушкин сообщал П. А. Вяземскому: «Кстати о стихах: сегодня кончил я поэму «Цыганы». Не знаю, что об ней сказать. Она покамест мне опротивела» (письмо от 8 или 10 октября 1824 г.). Однако позднее поэт снова писал ему: «Я кажется писал тебе, что мои «Цыганы» никуда не годятся: не верь — я соврал — ты будешь ими очень доволен» (письмо от 25 января 1825 г.). В тот же день он отправил с И. И. Пущиным Рылееву отрывок из «Цыган» — первые 93 стиха, которые и были напечатаны в «Полярной звезде на 1825 год». Однако полностью печатать поэму Пушкин не спешил, считая, видимо, ее не вполне завершенной. В январе он снова вернулся к ней и начал было набрасывать совсем новый эпизод — монолог Алеко над колыбелью сына, но, несмотря на упорную работу (четыре редакции и ряд набросков отдельных мест), не закончил его.

Ходившая в списках поэма, проникнутая пафосом вольности и ненавистью к общественно-политическому строю того времени, «однообразному как песнь рабов», имела огромный успех в кругах декабристов. «От «Цыган» все без ума»,— писал Пушкину Рылеев в письме от 25 марта 1825 г. Обстановка, сложившаяся после 14 декабря 1825 г., видимо, заставила Пушкина отложить печатание «Цыган», и отдельное издание их, весьма сочувственно встреченное критикой, появилось только в 1827 г. (без имени автора и с указанием: «Писано в 1824 году»).

Г р а ф Н у л и н (стр. 543).— Эта первая шутливо-реалистическая поэма, точнее, повесть в стихах написана всего за два дня — 13 (дата в конце первого беловика) и 14 декабря 1825 г. В своей позднейшей заметке о «Графе Нулине» поэт подробно рассказывает о возникновении замысла своей стихотворной повести, которую сперва он назвал «Новый Тарквиний»: «В конце 1825 г. находился я в деревне. Перечитывая «Лукрецию», довольно слабую поэму Шекспира, я подумал: что если б Лукреции пришла в голову мысль дать пощечину Тарквинию? Быть может, это охладило б его предприимчивость и он со стыдом принужден был отступить? Лукреция б не зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не изгнал бы царей, и мир и история мира были бы не те. Итак, республикою, консулами, диктаторами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблазнительному происшествию, подобному тому, которое случилось недавно в моем соседстве, в Новоржевском уезде. Мысль пародировать историю и Шекспира мне представилась. Я не мог воспротивиться двойному искушению и в два утра написал эту повесть».

Основой сюжета послужило действительное «происшествие», случившееся незадолго до того по соседству с Михайловским и являвшееся, при всей его анекдотичности, весьма характерным для тогдашнего дворянско-поместного быта. «Сделал посещение вроде «Графа Нулина»,— записал несколько позднее в дневнике А. Н. Вульф,— с той только разницей, что не получил пощечины». Поэма была впервые опубликована в «Северных цветах на 1828 год», а в декабре 1828 г. вышла вместе с поэмой Баратынского «Бал» отдельной книжкой под общим названием «Две повести в стихах».

Стр. 546. *С ужасной книжкою Гизота...*— Франсуа Гизо (1787—1874) — выдающийся французский историк, выступавший в это время в своих брошюрах против реакционного министерства во Франции периода Реставрации, возглавлявшегося крайним монархистом Вилленом.

Пера — Ф. Паэра — директор итальянского театра в Париже.

Тальма Ф.-Ж. (1763—1826) — актер-трагик, выдвинувшийся в эпоху французской революции.

Марс (1779—1847) — комедийная актриса.

Потье Шарль (1775—1838) — актер, выступавший в это время с огромным успехом в модных легких комедиях и водевилях.

Д'Арленкур Шарль (1789—1856) — автор модных псевдоисторических романов «ужасов» и «приключений».

Ламартин Альфонс (1790—1869) — поэт, после выхода в 1820 г. сборника его стихов «Поэтические размышления» считавшийся главой французского романтизма. Сам Пушкин относился к его весьма модной тогда и на Западе и у нас поэзии чаще всего отрицательно и отказывал ему в праве называться романтиком.

Стр. 547. «*Мы получаем Телеграф*» — журнал «Московский телеграф», в котором для привлечения подписчиков печатались в красках образцы новых модных костюмов.

П о л т а в а (стр. 552).— К работе над «Полтавой» Пушкин приступил весной (5 апреля) 1828 г. Первая песнь была закончена только 3 октября. С этого времени работа над «Полтавой» приняла чрезвычайно стремительный темп: за последующие две недели были написаны и перебелены вторая и третья песни (960 стихов). Именно к этому времени, очевидно, и относятся слова Пушкина в позднейшей заметке о «Полтаве»: «Полтаву написал я в несколько дней...» М. В. Юзефович, познакомившийся с Пушкиным во время пребывания его в действующей армии в лагере Паскевича, так рассказывает, со слов самого поэта, о двух октябрьских неделях работы его над «Полтавой»: «Это было в Петербурге. Погода стояла отвратительная. Он уселся дома, писал целый день. Стихи ему грезились даже во сне, так что он ночью вскакивал с постели и записывал их впотьмах. Когда голод его прохватывал, он бежал в ближайший трактир, стихи преследовали его и туда, он ел на скорую руку что попало и убегал домой, чтобы записать то, что набралось у него на бегу и за обедом. Таким образом слагались у него сотни стихов в сутки. Иногда мысли, не укладывавшиеся в стихи, записывались им прозой. Но затем следовала отделка, при которой из набросков не оставалось и четвертой части». Рассказ этот полностью подтверждается огромным количеством дошедших до нас черновых рукописей «Полтавы». Эпиграф к ней взят из поэмы Байрона «Мазепа». Сперва Пушкин хотел так же назвать и свою поэму. Не сразу было дано им и имя героине — Мария (дочь Кочубея на самом деле звалась Матреной); сначала он называет ее Натальей, Анной.

Предпосланное поэме посвящение написано уже после ее окончания, 27 октября 1828 г. В рукописи оно сопровождалось припиской «I love this sweet name» («Я люблю это нежное имя»), характерно перекликающейся со стихами об умирающем казаке: «И имя нежное Марии // Чуть лепетал еще язык». Установление адресата посвящения вызвало много споров, но к настоящему времени можно считать почти полностью доказанным, что оно обращено к Марии Николаевне Волконской.

«Полтава» вышла в свет отдельным изданием в конце марта 1829 г. (вторым изданием — в «Поэмах и повестях» Пушкина 1835 г., ч. 2).

Стр. 556. *Шведский паладин* — шведский король Карл XII, одержавший в начале русско-шведской войны победу над русскими войсками под Нарвой.

Новый, сильный враг.—Речь идет о Наполеоне и его походе на Москву, окончившемся его полным разгромом.

Стр. 557. *Богдана счастливые споры* — освободительная борьба украинцев в XVII веке против польских помещиков, возглавленная Богданом Хмельницким и завершившаяся договором на собравшейся в 1654 г. Переяславской Раде о соединении Украины с Московским государством.

Стр. 562. *За порогами Днепра.*— Имеется в виду Запорожская Сечь.

Стр. 574. *Забела, Гамалей* — украинские полковники, приверженцы Мазепы.

Стр. 580. *Хитрый кардинал*— кардинал Монтальто (1521—1590), затем римский папа Сикст V, который до выбора его в папы выдавал себя за слабого, немощного старика, а едва был выбран, сразу же отбросил костыли и запел благодарственный псалом.

Запорожский атаман — Костя Гордеенко, о котором Пушкин говорит в 11-м примеч. к поэме.

Стр. 583. *Розен, Шлипенбах*— шведские генералы, атаковавшие русские позиции, по отрезанные от своих и принужденные — сперва Шлипенбах, а затем прорвавшийся было Розен — сдаться.

Стр. 584. *Шереметев* Б. П. (1652—1719) — генерал-фельдмаршал, один из крупнейших военачальников петровского времени, во время полтавского сражения командовал центром русской армии.

Брюс Я. В. (1670—1735) — генерал-фельдцехмейстер, начальствовал артиллерией.

Боур Р. Х. (1667—1717) — генерал от кавалерии, командовал правым флангом.

Репнин А. И. (1668—1726) — также один из крупнейших боевых генералов эпохи Северной войны.

Полудержавный властелин — один из ближайших сподвижников Петра, кн. А. Д. Меншиков, командовавший левым флангом и особенно отличившийся во время полтавского боя.

Стр. 586. *Войнаровский* Андрей— племянник Мазепы и его приверженец, герой поэмы Рылеева «Войнаровский».

Стр. 590. *Три... ступени // Гласят о шведском короле.*— После того как Карл XII был наголову разбит под Полтавой, он бежал в Молдавию, находившуюся тогда под турецким владычеством, рассчитывая с помощью турок, воевавших с Россией, возобновить борьбу против Петра. Однако Турция заключила мир с русскими и потребовала, чтобы Карл покинул страну; он сопротивлялся, был обезоружен, арестован и в 1714 г. вынужден был вернуться в Швецию.

Т а з и т (стр. 593).— Вторая кавказская поэма Пушкина, над которой он работал вскоре после возвращения из Закавказья, в конце 1829 — начале 1830 г., непосредственно связана с вынесенными во время проезда через Кавказ впечатлениями поэта. В частности, открывающая ее картина похорон горца прямо подсказана осетинскими похоронами, при которых поэт присутствовал и которые описывает в «Путешествии в Арзрум». Неоконченная поэма, в рукописи заглавия не имеющая, была опубликована только после смерти Пушкина в «Современнике» 1837 г. под заглавием «Галуб» (неверно прочитанное Жуковским имя отца Тазита). В рукописях Пушкина сохранились наброски планов поэмы. В наиболее подробном из них, кроме первых восьми пунктов, соответствующих написанной части поэмы, вслед за пунктом «сватовство» следуют еще шесть: 9) Отказ, 10) Миссионер, 11) Война, 12) Сраженье, 13) Смерть и 14) Эпилог. Это бросает некоторый свет на дальнейшее развитие пушкинского замысла: поэт начал было начерно набрасывать стихи, относящиеся к девятому пункту, но на этом работа оборвалась. В дальнейшем Тазит, уже подготовленный к этому его воспитателем (он назван в плане «черкесом христианином»), очевидно, принял христианство, ушел к русским, участвовал на их стороне в войне с черкесами и погиб в бою (возможно, от руки своего отца — сурового и фанатически непримиримого Гасуба).

Стр. 593. *Адехи* — то же, что «адыге» — родовое название черкесов.

Вблизи развалин Татартуба — место, считавшееся среди черкесов священным и потому обеспечивавшее безопасность всякому, кому удавалось укрыться туда от любого преследования.

Уздени — вассалы владетельных горских князей.

Стр. 594. *Азраил* — по магометанскому верованию ангел смерти.

Д о м и к в К о л о м н е (стр. 601).— Поэма написана в октябре 1830 г. в Болдине. Реально-бытовая стихотворная повесть из жизни петербургской окраины и быта маленьких людей явилась своего рода демонстративным ответом на ожидания реакционных журналистов, требовавших от Пушкина после его возвращения с фронта русско-турецкой войны 1829 г. создания произведений в казенно-патриотическом духе. По свидетельству Гоголя, поэт сначала даже хотел назвать ее «Кухарка». От всех предшествовавших поэм Пушкина «Домик в Коломне» отличается не только новым содержанием, но и новой стихотворной формой: написан пятистопным ямбом, разбитым на особые восьмистишные строфы (так называемые октавы).

Пушкин первоначально предполагал сразу же напечатать поэму, но анонимно. Однако она была опубликована только три года спустя, в 1833 г., в альманахе «Новоселье» за полным именем автора.

Коломной называлась одна из тогдашних петербургских окраин, заселенных главным образом мелким трудовым людом. Пушкин описывает Коломну по непосредственным впечатлениям: в период между Лицеем и ссылкой он жил в Коломне на Фонтанке, у Калинкина моста, близ Покровского собора («У Покрова»), в доме Клокачева.

Стр. 601. *Шихматов богомольный.*—В 1830 г. поэт Ширинский-Шихматов постригся в монахи.

Стр. 602. *Пустить на пе*— каламбурное применение карточного термина, обозначавшего удвоение ставки,— дать двойную рифму на «пе»: стопе — канапе.

Стр. 604. *Сочиненья Эмина.*—Имеется в виду Ф. А. Эмин (ок. 1735—1770) — автор авантюрных романов, весьма популярных в свое время, или его сын Н. Ф. Эмин (ок. 1760—1814), автор чувствительных романов в письмах.

Стонет сизый голубок, // *И Выду ль я* на реченьку — популярные песни на слова И. И. Дмитриева и Ю. А. Нелединского-Мелецкого.

Стр. 606. *Графиня* — графиня Стройновская, урожденная Буткевич, которая ради спасения своей разорившейся семьи вышла восемнадцати лет замуж за семидесятилетнего старика-богача.

Стр. 607. *Гоф-фурьер* — придворный служитель, ведавший дворцовой прислугой.

...*гроб на Охту отвезли.*— Охта — одна из петербургских окраин, где находилось кладбище для бедноты.

А н д ж е л о (стр. 611).— Эта поэма-новелла и вместе с тем поэма-драма начата в феврале, закончена 27 октября 1833 г. в Болдине. В рукописи указано: «Анджело (повесть, взятая из шекспировской трагедии «Measure for measure» («Мера за меру»)». Пьеса Шекспира привлекла к себе сочувственное внимание Пушкина глубокой психологической разработкой образа Анджело. В одной из заметок 1835—1836 г., противопоставляя Шекспира Мольеру, Пушкин писал: «Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполненные многих страстей, многих пороков. Обстоятельства развивают перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры. У Мольера Скупой скуп — и только; у Шекспира Шейлок скуп, сметлив, мстителен, чадолюбив, остроумен. У Мольера лицемер волочится за женою своего благодетеля, лицемеря; принимает имение под сохранение, лицемеря; спрашивает стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судебный приговор с тщеславною строгостию, но справедливо; он оправдывает свою жестокость глубокомысленным суждением государственного человека; он обольщает невинность сильными, увлекательными софизмами, не смешною смесью набожности и волокитства. Анджело лицемер, потому что его гласные действия противоречат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»

Сперва Пушкин собирался перевести пьесу, но затем вступил на путь свободной переработки, перенеся действие из Австрии в Италию (сам Шекспир заимствовал сюжет пьесы из итальянской хроники). Поэма была опубликована в 1834 г. (в альманахе А. Ф. Смирдина «Новоселье», ч. II).

Критикой, в том числе и Белинским, поэма была встречена резко отрицательно; но сам Пушкин, по свидетельству ближайшего друга последних

лет его жизни П. В. Нащокина, ставил «Анджело» очень высоко. «Наши критики,— говорил он Нащокину,— не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не написал».

Медный всадник (стр. 629).— «Петербургская повесть» написана осенью 1833 г. в Болдине (начата 9, закончена 31 октября). «Высочайший цензор» Пушкина, Николай I потребовал переделки ряда мест. 14 декабря 1833 г. Пушкин записал в дневнике: «Мне возвращен «Медный всадник» с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшей цензурой. Стихи: «И перед младшею столицей // Померкла старая Москва, // Как перед новою царицей // Порфироносная вдова»,— вымараны. Во многих местах поставлен (?)». Поэт предпочел отказаться от опубликования поэмы; позднее начал было вносить исправления, но бросил это. При его жизни была напечатана в 1834 г. лишь часть вступления под названием «Петербург. Отрывок из поэмы» в журнале «Библиотека для чтения».

«Медный всадник» был напечатан лишь после смерти Пушкина в «Современнике» 1837 г. (т. V, № 1) с рядом вынужденных, в соответствии с требованиями Николая I, поправок Жуковского (самой существенной было устранение центрального эпизода — «бунта» Евгения против «самодержавного великана», что резко исказило основной смысл «петербургской повести»). Подлинный текст поэмы впервые полностью опубликован только в советское время.

Наводнение, описываемое в поэме, произошло 7 ноября 1824 г.; оно отличалось особенной силой и причинило огромные разрушения.

Стр. 629. *В. Н. Берх* (1781—1834) — историк и географ, автор книги «Подробные известия о всех наводнениях, бывших в Санкт-Петербурге» (СПб., 1826).

Стр. 642. *Альгаротти* Франческо (1712—1764)— итальянский писатель и ученый; был близок с Вольтером, позже жил в Петербурге и выпустил в 1739 г. «Письма о России», где и находится цитируемое Пушкиным афористическое выражение.

*Стихи кн. Вяземского к графине З ***.*— «Разговор 7 апреля 1832 года», посвященный гр. Е. М. Завадовской; в третьей строфе его дано описание Петербурга: «Я Петербург люблю с его красою стройной, с блестящим поясом роскошных островов...» и т. д.

Смотри описание памятника...— Описание памятника Петру I дано Мицкевичем в стихотворении «Памятник Петра Великого», содержание которого — размышления о Петре и его деле стоящих у памятника под одним плащом самого Мицкевича и его друга — великого русского поэта (он не назван, но ясно, что автор имеет в виду Пушкина), резко обличительный монолог которого и занимает главную часть стихотворения. К казенно-хвалебному четверостишию, написанному малозначительным поэтом XVIII в. В. Г. Ру-

баном, это не имеет никакого отношения, и сама ссылка на него была введена Пушкиным по цензурным соображениям. И «Олешкевич» и это стихотворение входили в цикл стихов Мицкевича, опубликованных им при третьей части его поэмы «Дзяды». Под влиянием мучительных переживаний, вызванных подавлением Николаем I польского восстания 1830 г., стихи Мицкевича проникнуты не только ненавистью к русскому самодержавию, но и крайне неприязненным отношением к России вообще и, в частности, к Пушкину, как автору стихотворений «Клеветникам России» и «Бородинская годовщина». Пушкин отозвался на стихи Мицкевича написанным несколько позднее стихотворением «Он между нами жил...», а в «Медном всаднике» (в особенности во вступлении к поэме) противопоставил им горячее национально-патриотическое чувство и подчеркивание огромного значения исторического дела Петра.

СКАЗКИ

Сказка о попе и о работнике его Балде (стр. 645).— Написана болдинской осенью 1830 г. Будучи в ссылке в Михайловском, Пушкин писал брату в середине ноября 1824 г.: «...вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! каждая есть поэма!» Тогда же со слов Арины Родионовны Пушкин конспективно записал содержание некоторых сказок. Третья из этих записей легла в основу «Сказки о попе...».

Из всех сказок Пушкина эта наиболее народна и по своей форме: написана стихом раешника и так называемых народных «забавных листов». Это привело в восторг познакомившегося с ней и со «Сказкой о царе Салтане...» Гоголя: «У Пушкина... сказки русские народные — не то что «Руслан и Людмила», но совершенно русские. Одна писана даже без размера, только с рифмами и прелесть невообразимая».

При жизни Пушкина его сказка по цензурным условиям не смогла появиться в печати и была опубликована только после смерти поэта Жуковским, который вынужден был заменить «попа» «купцом Кузьмой Остолопом», «попадью» — «хозяйкой»; «поповну» — «дочкой» и «попенка» — «сынком». Имя работника — Балда не носит оттенка порицания, что вступало бы в противоречие со всем содержанием сказки, а употреблено в первоначальном народном значении. В нижегородской губернии, где находилось пушкинское Болдино, это: «лесная кривулина, толстое корневище, палица, дубина» (словарь Даля).

Сказка о царе Салтане... (стр. 649).— Художественная переработка в сказку-поэму народной сказки, краткая запись сюжета которой была сделана Пушкиным еще в Кишиневе в 1822 г. В 1824 г. он снова, гораздо подробнее, записал его со слов няни.

В 1828 г. Пушкин начал перелагать эту запись в стихи, но написал только первые четырнадцать стихов, почти совпадающие с окончательным текстом, затем стал набрасывать для себя продолжение ее прозой (прием, неоднократно в творческом процессе им применяемый).

Полностью сказка была написана только в 1831 г. (датирована 29 августа) в порядке своего рода творческого соревнования с В. А. Жуковским, который написал в это время сказки «О спящей царевне» и «О царе Берендее».

Сказка о рыбаке и рыбке (стр. 673).— Написана второй болдинской осенью 1833 г. (датирована 14 октября). В основе сказки — сюжет, широко распространенный в фольклоре разных народов. Непосредственным сюжетным источником ее послужила померанская сказка из знаменитого немецкого сборника сказок бр. Гримм «О рыбаке и его жене», но поэт полностью перенес ее на русскую народную почву. Поэтому он опустил написанный было еще один эпизод — о желании старухи стать «римскою папой».

Фольклористами сделан ряд записей пушкинской сказки из уст представителей народа. Написана тем же стихом, что и большинство «Песен западных славян».

Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (стр. 678).— Написана, как и предыдущая, в Болдине (закончена 4 ноября). В основе ее — седьмая и последняя до нас дошедшая из записей народных сказок со слов Арины Родионовны.

Сказка о золотом петушке (стр. 691).— Написана третьей болдинской осенью 1834 г. (в рукописи дата окончания: Болдино, 20 сентября 1834 года, 10 часов 53 минуты). Сюжет подсказан «Легендой об арабском звездочете» из сборника «сказок Альгамбры» североамериканского писателя Вашингтона Ирвинга (1783—1859), но этот литературный сюжет также разработан в духе русского народного творчества. Возможно, предвидя цензурные затруднения, поэт сам заменил в тексте стихи «Помолясь Илье пророку» и «Но с царями плохо вздорить» на «Сам, не зная, быть ли проку» и «Но с иным накладно вздорить». Последняя замена особенно знаменательна. Как раз в том же 1834 г. поэт во внешне шутливых тонах, но по существу весьма серьезно писал в одном из писем к жене об их маленьком сыне: «Посмотрим, как-то наш Сашка будет ладить с порфирородным своим тезкой; с моим тезкой я не ладил»,— и многозначительно добавлял: «Не дай бог ему идти по моим следам, писать стихи, да ссориться с царями! В стихах он отца не перещеголяет, а плетью обуха не перешибет» (письмо 20—22 апреля 1834 г.). Через два месяца Пушкин подал прошение царю об отставке, но последний

встретил это такими недвусмысленными угрозами, что глубоко возмущенный поэт вынужден был взять свою просьбу обратно. Поэт отметил в своем дневнике (февраль 1835 г.): «Цензура не пропустила следующие стихи в сказке моей о золотом петушке: «Царствуй, лежа на боку» и «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова». С цензурными искажениями сказка и появилась в печати: «предосудительные» места были заменены многоточиями.

Д. Благой

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Адели — 182.
Аквилон — 212.
Алексееву («Мой милый, как несправедливы...») — 169.
«Альфонс садится на коня...» — 394.
Амур и Гименей — 105.
Ангел — 256.
Анджело. *Поэма* — 611.
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир...») — 219.
Анчар — 280.
Арион — 255.

Баратынскому. *Из Бессарабии* («Сия пустынная страна...») — 171.
Батюшкову («В пещерах Геликона...») — 62.
Бахчисарайский фонтан. *Поэма*—511.
Безверие — 109.
«Безумных лет угасшее веселье...» (Элегия) — 307.
Бесы — 306.
Битва у Зеницы-Великой (Песни западных славян) — 356.
«Блажен в златом кругу вельмож...» — 264.
«Близ мест, где царствует Венеция златая...» — 258.
«Бог веселый винограда...» — 335.
«Бог помочь вам, друзья мои...» (19 октября 1827) — 264.
«Богами вам еще даны...» (Друзьям) — 103.
Бонапарт и черногорцы (Песни западных славян) — 365.
Бородинская годовщина — 326.
Братья разбойники. *Поэма* — 505.
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» — 292.
Будрыс и его сыновья — 340.
Буря — 237.
«Был и я среди донцов...» — 288.
«Была пора: наш праздник молодой...» — 397.
«Быть может, уж недолго мне...» (П. А. Осиповой) — 218.

В альбом («Гонимый рока самовластьем...») — 334.
В альбом кж. А. Д. Абамелек («Когда-то (помню с умиленьем)...») — 332.
В альбом А. О. Смирновой («В тревоге пестрой и бесплодной...») — 332.
«В Дориде нравятся и локоны златые...» (Дорида) — 128.
«В его «Истории» изящность, простота...» (На Карамзина) — 128.

«В крови горит огонь желанья...» — 237.
«В младенчестве моем она меня любила...» (Муза) — 148.
«В надежде славы и добра...» (Стансы) — 250.
«В начале жизни школу помню я...» — 317.
«В печальной праздности я лиру забывал...» (К ней) — 117.
«В пещерах Геликона...» (Батюшкову) — 62.
«В поле чистом серебрится...» — 339.
«В последний раз, в сени уединенья...» (Разлука) — 115.
«В последний раз твой образ милый...» (Прощание) — 310.
«В прохладе сладостной фонтанов...» — 279.
«В степи мирской, печальной и безбрежной...» — 255.
«В стране, где Юлией венчанный...» (Из письма к Гнедичу) — 150.
«В стране, где я забыл тревоги прежних лет...» (Чаадаеву) — 154.
«В тревоге пестрой и бесплодной...» (В альбом А. О. Смирновой) — 332.
«В часы забав иль праздной скуки...» — 300.
Вакхическая песня — 231.
«Вертоград моей сестры...» — 236.
Веселый пир — 136.
Видение короля (Песни западных славян) — 352.
Вино *(Ион Хиосский)* — 335.
Виноград — 203.
Влах в Венеции (Песни западных славян) — 360.
«...Вновь я посетил...» — 387.
«Во глубине сибирских руд...» — 253.
Воевода — 342.
Воевода Милош (Песни западных славян) — 368.
Возрождение — 138.
Война — 149.
Княгине З. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы...») — 254.
Вольность. *Ода* — 118.
«Ворон к ворону летит...» — 278.
«Воспитанный под барабаном...» — 242.
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день...») — 269.
Воспоминание *(К Пущину)* («Помнишь ли, мой брат по чаше...») — 73.
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой нощи...») — 47.
«Всё в жертву памяти твоей...» — 235.
«Всё в ней гармония, всё диво...» (Красавица) — 333.
«Все кончено: меж нами связи нет...» — 190.
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров...») — 136.
«Всей России притеснитель...» (На Аракчеева) — 147.
«Всем красны боярские конюшни...» — 259.
«Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...» (Князю А. М. Горчакову) — 113.
Второе послание к цензору — 213.
Вурдалак (Песни западных славян) — 369.
«Вчера был день разлуки шумной...» (Друзьям) — 171.
«Вы избалованы природой...» (Е. Н. Ушаковой) — 284.
Выздоровление — 124.

Гавриилиада. *Поэма* — 492.
Гайдук Хризич (Песни западных славян) — 361.
Герой — 315.

Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной...») — 181.
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого...» — 309.
Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один...») — 333.
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье...») — 187.
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» — 123.
«Гонимый рока самовластьем...» (В альбом) — 334.
«Горишь ли ты, лампада наша...» (Из письма к Я. Н. Толстому) — 176.
«Город пышный, город бедный...» — 278.
Городок *(К ***)* — 52.
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...»)— 113.
Граф Нулин. *Поэма* — 543.
«Гречанка верная! не плачь,— он пал героем...» — 164.
Гречанке («Ты рождена воспламенять...») — 176.
Гроб Анакреона — 87.
«Грустен и весел вхожу...» (Художнику) — 397.
Гусар — 336.

«Давно об ней воспоминанье...» (Кн. М. А. Голицыной) — 187.
В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов...») — 152.
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип...») — 191.
Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..») — 392.
«Дар напрасный, дар случайный...» — 270.
Движение — 242.
Дева — 153.
19 октября («Роняет лес багряный свой убор...») — 231.
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои...») — 264.
19 октября 1828 («Усердно помолившись богу...») — 279.
Делибаш — 295.
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью...») — 111.
Демон — 185.
Деревня — 131.
Десятая заповедь — 170.
Дионея — 160.
«Для берегов отчизны дальной...» — 319.
Добрый человек — 140.
Домик в Коломне. *Поэма* — 601.
Домовому — 133.
Дон — 289.
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые...») — 128.
Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить...») — 140.
Дорожные жалобы — 309.
Дочери Карагеоргия — 144.
Дружба — 205.
Друзьям («Богами вам еще даны...») — 103.
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной...») — 171.
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю...») — 266.

«Его стихов пленительная сладость...» (К портрету Жуковского) — 125.
Ее глаза — 271.
«Если жизнь тебя обманет...» —230.
«Есть роза дивная: она...» — 254.
«Еще дуют холодные ветры...» — 270.

Желание — 103.
Желание славы — 217.
Жених — 225.
Жив, жив Курилка! — 241.
«Житье тому, любезный друг...» (К Щербинину) — 131.

«Житье тому, мой милый друг...» (Щербинину) — 284.
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру...») — 124.
«Журналами обиженный жестоко...» (Эпиграмма) — 296.

«Забудь, любезный мой Каверин...» (К Каверину) — 108.
«Завидую тебе, питомец моря смелый...» — 184.
Заздравный кубок — 104.
Заклинание — 314.
«Зачем безвременную скуку...» (К***) — 142.
«Здравствуй, Вульф, приятель мой!..» (Из письма к Вульфу) — 192.
Земля и море — 148.
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...» — 289.
Зимнее утро — 290.
Зимний вечер — 235.
Зимняя дорога — 251.
Золото и булат — 253.
«Зорю бьют... из рук моих...» — 288.

«И дале мы пошли — и страх обнял меня...» — 330.
«И недоверчиво и жадно...» (Ответ А. И. Готовцовой) — 281.
(Из Анакреона). *Отрывок* («Узнают коней ретивых...») — 380.
Из Гафиза («Не пленяйся бранной славой...») — 287.
(Из Ксенофана Колофонского) («Чистый лоснится пол...») — 334.
(Из Пиндемонти) («Не дорого ценю я громкие права...») — 393.
Из письма к Вульфу («Здравствуй, Вульф, приятель мой!..») — 192.
Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный...») — 150.
Из письма к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша...») — 176.
Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью...») — 384.
Из Barry Cornwall — 320.
«Издревле сладостный союз...» (К Языкову) — 193.
Иностранке — 180.
История стихотворца — 128.
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался...» — 78.

К *** («Зачем безвременную скуку...») — 142.
К *** («Не спрашивай, зачем унылой думой...») — 116.
К *** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...») — 334.
К ** («Ты богоматерь, нет сомненья...») — 251.
К *** («Я помню чудное мгновенье...») — 225.
К Батюшкову («Философ резвый и пиит...») — 45.
К бюсту завоевателя — 296.
К вельможе — 301.
К Вяземскому («Так море, древний душегубец...») — 243.
К бар. М. А. Дельвиг — 79.
К Дельвигу *(Ответ)* («Послушай, муз невинных...») — 76.
К другу стихотворцу — 35.
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин...») — 108.
К моей чернильнице — 156.
К Морфею — 103.
К морю — 199.
К ней («В печальной праздности я лиру забывал...») — 117.
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов...») — 165.
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной...») — 126.

К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем...») — 147.
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость...») — 125.
К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес...») — 147.
К Пущину *(4 мая)* («Любезный именинник...») — 68.
К студентам — 43.
«К тебе сбирался я давно...» (К Языкову) — 272.
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...») — 127.
«К чему холодные сомненья?..» (Чаадаеву) — 211.
К Щербинину («Житье тому, любезный друг...») — 131.
К Языкову («Издревле сладостный союз...») — 193.
К Языкову («К тебе сбирался я давно...») — 272.
К Языкову («Языков, кто тебе внушил...») — 243.
Кавказ — 293.
Кавказский пленник. *Поэма* — 470.
Казак — 41.
«Как брань тебе не надоела?..» — 147.
«Как с древа сорвался предатель ученик...» (Подражание италиянскому) — 393.
«Как сатирой безымянной...» — 297.
«Как счастлив я, когда могу покинуть...» — 248.
«Какая ночь! Мороз трескучий...» — 256.
«Каков я прежде был, таков и ныне я...» — 249.
Калмычке — 286.
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет...») — 154.
Кинжал — 151.
Кипренскому («Любимец моды легкокрылой...») — 257.
Клеветникам России — 325.
«Кобылица молодая...» — 270.
Коварность — 201.
«Когда б не смутное влеченье...» — 344.
«Когда, бывало, в старину...» (Ек. Н. Ушаковой) — 254.
«Когда в объятия мои...» — 304.
«Когда для смертного умолкнет шумный день...» (Воспоминание) — 269.
«Когда за городом, задумчив, я брожу...» — 396.
«Когда, к мечтательному миру...» (Жуковскому) — 124.
«Когда сожмешь ты снова руку...» — 123.
«Когда средь оргий жизни шумной...» (Ф. Н. Глинке) — 181.
«Когда твои младые лета...» — 295.
«Когда-то (помню с умиленьем)...» (В альбом кж. А. Д. Абамелек) — 332.
Козлову («Певец, когда перед тобой...») — 216.
Кокетке — 168.
«Колокольчики звенят...» — 344.
Конь (Песни западных славян) — 374.
«Краев чужих неопытный любитель...» — 117.
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво...») — 333.
Красавице, которая нюхала табак — 40.
«Кто видел край, где роскошью природы...» — 159.
«Кто, волны, вас остановил...» — 184.
«Кто знает край, где небо блещет...» — 267.
«Кто из богов мне возвратил...» — 384.
«Кто мне пришлет ее портрет...» (Катенину) — 154.

Лицинию — 63.
«Лук звенит, стрела трепещет...» (Эпиграмма) *(Из антологии)* — 265.
«Любви, надежды, тихой славы...» (К Чаадаеву) — 127.
«Любезный именинник...» (К Пущину) *(4 мая)* — 68.
«Любимец ветреных Лаис...» (Юрьеву) — 141.
«Любимец моды легкокрылой...» (Кипренскому) — 257.
«Люблю ваш сумрак неизвестный...» — 175.
«Любовью, дружеством и ленью...» (Дельвигу) — 111.
Любопытный — 108.

Мадона — 305.
Мадригал М....ой («О вы, которые любовью не горели...») — 140.
Мальчику *(Из Катулла)* — 332.
«Мальчишка Фебу гимн поднес...» (Эпиграмма) — 298.
Марко Якубович (Песни западных славян) — 362.
Медный всадник. *Поэма* — 629.
«Меж тем как генерал Орлов...» (В. Л. Давыдову) — 152.
«Меж тем, как изумленный мир...» (Андрей Шенье) — 219.
Мечтатель («По небу крадется луна...») — 69.
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье...») — 125.
Мирская власть — 392.
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей...» — 141.
«Мне вас не жаль, года весны моей...» — 143.
Мое завещание. Друзьям — 71.
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет...» — 160.
«Мой милый, как несправедливы...» (Алексееву) — 169.
«Мой первый друг, мой друг бесценный!..» (И. И. Пущину) — 249.
Монастырь на Казбеке — 294.
Мордвинову («Под хладом старости угрюмо угасал...») — 252.
Моя родословная — 321.
Моя эпитафия — 74.
Муза («В младенчестве моем она меня любила...») — 148.

На Аракчеева («Всей России притеснитель...») — 147.
На выздоровление Лукулла. *Подражание латинскому* — 389.
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота...») — 128.
«На лире скромной, благородной...» (К Н. Я. Плюсковой) — 126.
На перевод Илиады — 319.
На статую играющего в бабки — 399.
На статую играющего в свайку — 399.
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» — 286.
«Навис покров угрюмой нощи...» (Воспоминания в Царском Селе) — 47.
«Над лесистыми брегами...» (Цыганы) — 323.
«Над озером, в глухих дубровах...» (Русалка) — 134.
«Надеждой сладостной младенчески дыша...» — 185.
Надпись к беседке — 108.
Наездники — 101.
Наперсник — 273.
«Наперсница волшебной старины...» — 181.
Наполеон («Чудесный жребий совершился...») — 161.
Наполеон на Эльбе (1815) — 65.
«Напрасно, пламенный поэт...» (Ответ Катенину) — 281.

«Не дай мне бог сойти с ума...» — 347.
«Не дорого ценю я громкие права...» (Из Пиндемонти) — 393.
«Не знаю где, но не у нас...»— 215.
«Не пленяйся бранной славой...» (Из Гафиза) — 287.
«Не пой, красавица, при мне...» — 271.
«Не розу пафосскую...» (Отрывок) — 320.
«Не спрашивай, зачем унылой думой...» (К ***) — 116.
«Недвижный страж дремал на царственном пороге...» — 188.
Недоконченная картина — 135.
«Нельзя, мой толстый Аристип...» (Давыдову) — 191.
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...» — 204.
Нереида — 146.
«Нет, не черкешенка она...» (Ответ Ф. Т ***) — 250.
«Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...» (К ***) — 334.
«Нет ни в чем вам благодати...» — 242.
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» — 330.
«Нет, я не льстец, когда царю...» (Друзьям) — 266.
Новоселье — 304.
«Ночной зефир...» — 204.
Ночь — 184.
Няне — 248.

«О вы, которые любовью не горели...» (Мадригал М....ой) — 140.
«О дева-роза, я в оковах...» —202.
«О муза пламенной сатиры!..» — 239.
«О ты, который сочетал...» (Орлову) — 129.
Обвал — 294.
«Овидий, я живу близ тихих берегов...» (К Овидию) — 165.
Ода LVI *(Из Анакреона)* («Поредели, побелели...») — 381.
Ода LVII («Что же сухо в чаше дно?..») — 381.
Окно — 100.
«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...» (Осень) *(Отрывок)* — 344.
Олегов щит — 287.
«Он вышней волею небес...» (К портрету Чаадаева) — 147.
«Он между нами жил...» — 349.
«Опять я ваш, о юные друзья!..» (Элегия) — 109.
Орлову («О ты, который сочетал...») — 129.
Осгар — 37.
Осеннее утро — 100.
Осень *(Отрывок)* («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...») — 344.
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне...») — 218.
«От меня вечор Леила...» — 400.
«От многоречия отрекшись добровольно...» — 242.
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул...») — 300.
Ответ анониму — 308.
Ответ А. И. Готовцовой («И недоверчиво и жадно...») — 281.
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт...») — 281.
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она...») — 250.
Отрок — 314.
«Отрок милый, отрок нежный...» (Подражание арабскому) — 392.
Отрывок («Не розу пафосскую...») — 320.
«Отцы пустынники и жены непорочны...» — 395.
«Охотник до журнальной драки...» — 215.

Паж, или Пятнадцатый год — 311.
Певец — 102.
«Певец, когда перед тобой...» (Козлову) — 216.
«Перед гробницею святой...» — 324.
Песни западных славян — 349.
Песни о Стеньке Разине — 244.
Песнь о вещем Олеге — 172.
Песня о Георгии Черном (Песни западных славян) — 367.
Пир Петра Первого — 390.
«Питомец мод, большого света друг...» (Послание к кн. Горчакову) — 139.
«По небу крадется луна...» (Мечтатель) — 69.
«Погасло дневное светило...» — 143.
«Под вечер, осенью ненастной...» (Романс) — 51.
«Под небом голубым страны своей родной...» — 243.
«Под хладом старости угрюмо угасал...» (Мордвинову) — 252.
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный...») — 392.
(Подражание италиянскому) («Как с древа сорвался предатель ученик...») — 393.
Подражания Корану — 205.
«Подъезжая под Ижоры...» — 285.
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья...» — 291.
«Пока не требует поэта...» (Поэт) — 258.
«Покров, упитанный язвительною кровью...» (Из А. Шенье) — 384.
Полководец — 382.
Полтава. *Поэма* — 552.
«Полу-милорд, полу-купец...» — 215.
«Помнишь ли, мой брат по чаше...» (Воспоминание) *(К Пущину)* — 73.
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» — 349.
«Поредели, побелели...» (Ода LVI) *(Из Анакреона)* — 381.
Портрет («С своей пылающей душой...») — 273.
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он...») — 260.
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света друг...») — 139.
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать...») — 88.
Послание цензору — 177.
«Послушай, муз невинных...» (К Дельвигу) *(Ответ)* — 76.
Похоронная песня Иакинфа Маглановича (Песни западных славян) — 362.
Поэт («Пока не требует поэта...») — 258.
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций...» — 297.
Поэт и толпа — 282.
Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной...») — 305.
«Пред испанкой благородной...» — 320.
Предчувствие — 274.
Признание («Я вас люблю,— хоть я бешусь...») — 246.
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы...») — 167.
Приметы («Я ехал к вам: живые сны...») — 285.
«Прими сей череп, Дельвиг, он...» (Послание Дельвигу) — 260.
Приятелям — 240.
Пробуждение — 107.
Прозаик и поэт — 240.
Прозерпина — 191.
«Промчались годы заточенья...» (Прощанье) — 115.
Пророк — 247.
«Прости, счастливый сын пиров...» (Всеволожскому) — 136.

«Простите, верные дубравы!..» — 116.
«Простишь ли мне ревнивые мечты...» — 186.
Прощание («В последний раз твой образ милый...») — 310.
Прощанье («Промчались годы заточенья...») — 115.
Птичка — 183.
«Пускай увенчанный любовью красоты...» — 213.
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей...») — 112.
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») — 249.

Разговор книгопродавца с поэтом — 194.
Разлука («В последний раз, в сени уединенья...») — 115.
«Редеет облаков летучая гряда...» — 146.
Рифма («Эхо, бессонная нимфа...») — 313.
«Рифма, звучная подруга...» — 276.
Роза — 78.
Романс («Под вечер, осенью ненастной...») — 51.
«Роняет лес багряный свой убор...» (19 октября) — 231.
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» — 312.
Русалка («Над озером, в глухих дубровах...») — 134.
Руслан и Людмила. *Поэма* — 403.

«С Гомером долго ты беседовал один...» (Гнедичу) — 333.
С португальского — 237.
«С своей пылающей душой...» (Портрет) — 273.
Сапожник *(Притча)* — 297.
«Сват Иван, как пить мы станем...» — 339.
«Свободы сеятель пустынный...» — 187.
Сестра и братья (Песни западных славян) — 369.
«Сия пустынная страна...» (Баратынскому. *Из Бессарабии*) — 171.
«Сказали раз царю, что наконец...» — 239.
Сказка о золотом петушке — 691.
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях — 678.
Сказка о попе и о работнике его Балде — 645.
Сказка о рыбаке и рыбке — 673.
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди — 649.
Сказки. *Noël* («Ура! в Россию скачет...») — 126.
Слеза — 77.
Собрание насекомых — 298.
Совет — 240.
Сожженное письмо — 216.
Соловей (Песни западных славян) — 366.
Соловей и кукушка — 241.
Соловей и роза — 253.
Сон *(Отрывок)* — 94.
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета...») — 301.
Сраженный рыцарь — 75.
«Среди рассеянной Москвы...» (Княгине З. А. Волконской) — 254.
Стансы («В надежде славы и добра...») — 250.
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь...») — 138.
«Старайся наблюдать различные приметы...» (Приметы) — 167.
Старик — 65.
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы — 315.
Странник — 385.

«Судьба свои дары явить желала в нем...» (К портрету Вяземского) — 147.
«Суровый Дант не презирал сонета...» (Сонет) — 301.
«Счастлив, кто избран своенравно...» — 273.

Тазит. *Поэма* — 593.
«Так море, древний душегубец...» (К Вяземскому) — 243.
Талисман — 264.
«Тебе, певцу, тебе, герою!..» (Д. В. Давыдову) — 392.
Телега жизни — 188.
Тень Фонвизина — 79.
Торжество Вакха — 121.
Труд — 309.
«Туманский прав, когда так верно вас...» — 202.
Туча — 383.
«Ты богоматерь, нет сомненья...» (К **) — 251.
«Ты в страсти горестной находишь наслажденье...» (Мечтателю) — 125.
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает...» — 211.
Ты и вы — 269.
«Ты рождена воспламенять...» (Гречанке) — 176.
«Ты хочешь, милый друг, узнать...» (Послание к Юдину) — 88.

«Увы! зачем она блистает...» — 142.
Уединение — 135.
«Узнают коней ретивых...» (Из Анакреона). *Отрывок* — 380.
Узник — 182.
«Умолкну скоро я!.. Но если в день печали...» — 160.
«Ура! в Россию скачет...» (Сказки. *Noël*) — 126.
«Усердно помолившись богу...» (19 октября 1828) — 279.
Усы. *Философическая ода* — 94.
Утопленник — 274.
Ек. Н. Ушаковой («Когда, бывало, в старину...») — 254.
Е. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой...») — 284.

Феодор и Елена (Песни западных славян) — 357.
«Философ ранний, ты бежишь...» (Стансы Толстому) — 138.
«Философ резвый и пиит...» (К Батюшкову) — 45.
Фонтану Бахчисарайского дворца — 203.

«Хоть, впрочем, он поэт изрядный...» — 171.
«Храни меня, мой талисман...» — 218.
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений...» (Царское Село) — 183.
Художнику («Грустен и весел вхожу...») — 397.

Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений...»)— 183.
Царскосельская статуя — 309.
Цветок — 282.
«Цветы последние милей...» — 231.
Циклоп — 299.
Цыганы. *Поэма* — 525.
Цыганы («Над лесистыми брегами...») — 323.

Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») — 154.
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..») — 211.
«Чем чаще празднует лицей...» — 329.
Черная шаль — 145.
«Чистый лоснится пол...» (Из Ксенофана Колофонского) — 334.

«Что в имени тебе моем?..» — 299.
«Что восхитительней, живей...» (В. Л. Пушкину) — 112.
«Что же сухо в чаше дно?..» (Ода LVII) — 381.
«Чудесный жребий совершился...» (Наполеон) — 161.

Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...») — 106.

Щербинину («Житье тому, мой милый друг...») — 284.

Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») — 307.
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!..»)— 109.
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко...») — 296.
Эпиграмма *(Из антологии)* («Лук звенит, стрела трепещет...»)— 265.
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес...») — 298.
Эпитафия младенцу — 286.
Эхо — 328.
«Эхо, бессонная нимфа...» (Рифма) — 313.

«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу...» — 335.
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...» — 381.
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис...») — 141.

«Я вас любил: любовь еще, быть может...» — 291.
«Я вас люблю,— хоть я бешусь...» (Признание) — 246.
«Я вас узнал, о мой оракул...» (Ответ) — 300.
«Я верю: я любим; для сердца нужно верить...» (Дориде) — 140.
«Я возмужал среди печальных бурь...» — 348.
«Я думал, сердце позабыло...» — 389.
«Я ехал к вам: живые сны...» (Приметы) — 285.
«Я здесь, Инезилья...» — 313.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» — 396.
«Я пережил свои желанья...» — 149.
«Я помню чудное мгновенье...» (К ***) — 225.
«Я ускользнул от Эскулапа...» (N. N.) *(В. В. Энгельгардту)* — 129.
«Языков, кто тебе внушил...» (К Языкову) — 243.
Янко Марнавич (Песни западных славян) — 355.
Яныш королевич (Песни западных славян) — 372.

Ex ungue leonem — 241.
N. N. *(В. В. Энгельгардту)* («Я ускользнул от Эскулапа...») — 129.
To Dawe, Esq r — 268.

СОДЕРЖАНИЕ

Д. Благой. Гений национальной и всемирной литературы. Лирика и поэмы Александра Пушкина 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

К другу стихотворцу 35
Осгар 37
Красавице, которая нюхала табак 40
Казак 41
К студентам 43
К Батюшкову («Философ резвый и пиит...») 45
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой нощи...») 47
Романс («Под вечер, осенью ненастной...») 51
Городок *(К ***)* 52
Батюшкову («В пещерах Геликона...») 62
Лицинию 63
Старик 65
Наполеон на Эльбе (1815) 65
К Пущину *(4 мая)* («Любезный именинник...») 68
Мечтатель («По небу крадется луна...») 69
Мое завещание. Друзьям 71
Воспоминание *(К Пущину)* («Помнишь ли, мой брат по чаше...») 73
Моя эпитафия 74
Сраженный рыцарь 75
К Дельвигу *(Ответ)* («Послушай, муз невинных...») . . . 76
Слеза 77

Роза 78
«Итак, я счастлив был, итак, я наслаждался...» 78
К бар. М. А. Дельвиг 79
Тень Фонвизина 79
Гроб Анакреона 87
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать...») . . 88
Усы. *Философическая ода* 94
Сон *(Отрывок)* 94
Окно 100
Осеннее утро 100
Наездники 101
Певец 102
К Морфею 103
Желание 103
Друзьям («Богами вам еще даны...») 103
Заздравный кубок 104
Амур и Гименей 105
Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой...») . . . 106
Пробуждение 107
Любопытный 108
Надпись к беседке 108
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин...») 108
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья!..») 109
Безверие 109
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью...») 111
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей...») 112
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой весной...») 113
Прощанье («Промчались годы заточенья...») 115
Разлука («В последний раз, в сени уединенья...») 115
«Простите, верные дубравы!..» 116
К*** («Не спрашивай, зачем унылой думой...») 116
«Краев чужих неопытный любитель...» 117
К ней («В печальной праздности я лиру забывал...») 117
Вольность. *Ода* 118
Торжество Вакха 121
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» 123
«Когда сожмешь ты снова руку...» 123
Выздоровление 124
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру...») 124
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость...») 125
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье...») 125

К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной...») 126
Сказки. *Noël* («Ура! в Россию скачет...») 126
К Чаадаеву («Любви, надежды, тихой славы...») 127
На Карамзина («В его «Истории» изящность, простота...») 128
История стихотворца 128
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые...») 128
N. N. *(В. В. Энгельгардту)* («Я ускользнул от Эскулапа...») 129
Орлову («О ты, который сочетал...») 129
К Щербинину («Житье тому, любезный друг...») 131
Деревня 131
Домовому 133
Русалка («Над озером, в глухих дубровах...») 134
Недоконченная картина 135
Уединение 135
Веселый пир 136
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров...») . . . 136
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь...») . . . 138
Возрождение 138
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света друг...») 139
Добрый человек 140
Мадригал М....ой («О вы, которые любовью не горели...») . . 140
Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить...») . . 140
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей...» 141
Юрьеву («Любимец ветреных Лаис...») 141
«Увы! зачем она блистает...» 142
К *** («Зачем безвременную скуку...») 142
«Мне вас не жаль, года весны моей...» 143
«Погасло дневное светило...» 143
Дочери Карагеоргия 144
Черная шаль 145
Нереида 146
«Редеет облаков летучая гряда...» 146
К портрету Чаадаева («Он вышней волею небес...») 147
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в нем...») 147
На Аракчеева («Всей России притеснитель...») 147
«Как брань тебе не надоела?..» 147
Земля и море 148
Муза («В младенчестве моем она меня любила...») 148
«Я пережил свои желанья...» 149
Война 149
Из письма к Гнедичу («В стране, где Юлией венчанный...») 150
Кинжал 151

В. Л. Давыдову («Меж тем как генерал Орлов...») 152
Дева 153
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет...») 154
Чаадаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет...») 154
К моей чернильнице 156
«Кто видел край, где роскошью природы...» 159
Дионея 160
«Умолкну скоро я!.. Но если в день печали...» 160
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет...» 160
Наполеон («Чудесный жребий совершился...») 161
«Гречанка верная! не плачь,— он пал героем...» 164
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов...») 165
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы...») . . 167
Кокетке 168
Алексееву («Мой милый, как несправедливы...») 169
Десятая заповедь 170
«Хоть, впрочем, он поэт изрядный...» 171
Баратынскому. *Из Бессарабии* («Сия пустынная страна...») 171
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной...») 171
Песнь о вещем Олеге 172
«Люблю ваш сумрак неизвестный...» 175
Гречанке («Ты рождена воспламенять...») 176
Из письма к Я. Н. Толстому («Горишь ли ты, лампада наша...») 176
Послание цензору 177
Иностранке 180
«Наперсница волшебной старины...» 181
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной...») . . 181
Адели 182
Узник 182
Птичка 183
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений...») 183
«Кто, волны, вас остановил...» 184
Ночь 184
«Завидую тебе, питомец моря смелый...» 184
«Надеждой сладостной младенчески дыша...» 185
Демон 185
«Простишь ли мне ревнивые мечты...» 186
«Свободы сеятель пустынный...» 187
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье...») . . 187
Телега жизни 188
«Недвижный страж дремал на царственном пороге...» . . . 188
«Все кончено: меж нами связи нет...» 190

Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип...») 191
Прозерпина 191
Из письма к Вульфу («Здравствуй, Вульф, приятель мой!..») 192
К Языкову («Издревле сладостный союз...») 193
Разговор книгопродавца с поэтом 194
К морю 199
Коварность 201
«О дева-роза, я в оковах...» 202
«Туманский прав, когда так верно вас...» 202
Виноград 203
Фонтану Бахчисарайского дворца 203
«Ночной зефир...» 204
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла...» 204
Дружба 205
Подражания Корану 205
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает...» 211
Чаадаеву («К чему холодные сомненья?..») 211
Аквилон 212
«Пускай увенчанный любовью красоты...» 213
Второе послание к цензору 213
«Полу-милорд, полу-купец...» 215
«Не знаю где, но не у нас...» 215
«Охотник до журнальной драки...» 215
Сожженное письмо 216
Козлову («Певец, когда перед тобой...») 216
Желание славы 217
П. А. Осиповой («Быть может, уж недолго мне...») 218
«Храни меня, мой талисман...» 218
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир...») 219
К*** («Я помню чудное мгновенье...») 225
Жених 225
«Если жизнь тебя обманет...» 230
Вакхическая песня 231
«Цветы последние милей...» 231
19 октября («Роняет лес багряный свой убор...») 231
«Всё в жертву памяти твоей...» 235
Зимний вечер («Буря мглою небо кроет...») 235
«Вертоград моей сестры...» 236
«В крови горит огонь желанья...» 237
Буря 237
С португальского 237
«О муза пламенной сатиры!..». 239
«Сказали раз царю, что наконец...» 239
Приятелям 240

Совет 240
Прозаик и поэт 240
Жив, жив Курилка! 241
Ex ungue leonem 241
Соловей и кукушка 241
Движение 242
«Воспитанный под барабаном...» 242
«От многоречия отрекшись добровольно...» 242
«Нет ни в чем вам благодати...» 242
«Под небом голубым страны своей родной...» 243
К Вяземскому («Так море, древний душегубец...») 243
К Языкову («Языков, кто тебе внушил...») 243
Песни о Стеньке Разине 244
Признание («Я вас люблю,— хоть я бешусь...») 246
Пророк 247
Няне 248
«Как счастлив я, когда могу покинуть...» 248
«Каков я прежде был, таков и ныне я...» 249
И. И. Пущину («Мой первый друг, мой друг бесценный!..») 249
Стансы («В надежде славы и добра...») 250
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она...») 250
Зимняя дорога 251
К ** («Ты богоматерь, нет сомненья...») 251
Мордвинову («Под хладом старости угрюмо угасал...») . . . 252
Золото и булат 253
«Во глубине сибирских руд...» 253
Соловей и роза 253
«Есть роза дивная: она...» 254
Ек. Н. Ушаковой («Когда, бывало, в старину...») 254
Княгине З. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы...») 254
«В степи мирской, печальной и безбрежной...» 255
Арион 255
Ангел 256
«Какая ночь! Мороз трескучий...» 256
Кипренскому («Любимец моды легкокрылой...») 257
Поэт («Пока не требует поэта...») 258
«Близ мест, где царствует Венеция златая...» 258
«Всем красны боярские конюшни...» 259
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он...») . . 260
«Блажен в златом кругу вельмож...» 264
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои...») 264
Талисман 264
Эпиграмма *(Из антологии)* («Лук звенит, стрела трепещет...») 265

Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю...») 266
«Кто знает край, где небо блещет...» 267
To Dawe, Esq^{r} 268
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день...») 269
Ты и вы 269
«Дар напрасный, дар случайный...» 270
«Еще дуют хлодные ветры...» 270
«Кобылица молодая...» 270
Ее глаза 271
«Не пой, красавица, при мне...» 271
К Языкову («К тебе сбирался я давно...») 272
Портрет («С своей пылающей душой...») 273
Наперсник 273
«Счастлив, кто избран своенравно...» 273
Предчувствие 274
Утопленник 274
«Рифма, звучная подруга...» 276
«Ворон к ворону летит...» 278
«Город пышный, город бедный...» 278
19 октября 1828 («Усердно помолившись богу...») 279
«В прохладе сладостной фонтанов...» 279
Анчар 280
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт...») 281
Ответ А. И. Готовцовой («И недоверчиво и жадно...») . . . 281
Цветок 282
Поэт и толпа 282
Щербинину («Житье тому, мой милый друг...») 284
Е. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой...») 284
«Подъезжая под Ижоры...» 285
Приметы («Я ехал к вам: живые сны...») 285
Эпитафия младенцу 286
«На холмах Грузии лежит ночная мгла...» 286
Калмычке 286
Из Гафиза 287
Олегов щит 287
«Зорю бьют... из рук моих...» 288
«Был и я среди донцов...» 288
Дон 289
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю...» 289
Зимнее утро 290
«Я вас любил: любовь еще, быть может...» 291
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья...» 291
«Брожу ли я вдоль улиц шумных...» 292

Кавказ 293
Обвал 294
Монастырь на Казбеке 294
Делибаш 295
«Когда твои младые лета...» 295
К бюсту завоевателя 296
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко...») 296
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций...» 297
«Как сатирой безымянной...» 297
Сапожник *(Притча)* 297
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес...») 298
Собрание насекомых 298
Циклоп 299
«Что в имени тебе моем?..» 299
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул...») 300
«В часы забав иль праздной скуки...» 300
Сонет («Суровый Дант не презирал сонета...») 301
К вельможе 301
Новоселье 304
«Когда в объятия мои...» 304
Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной...») 305
Мадона 305
Бесы 306
Элегия («Безумных лет угасшее веселье...») 307
Ответ анониму 308
Труд 309
Царскосельская статуя 309
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого...» 309
Дорожные жалобы 309
Прощание («В последний раз твой образ милый...») 310
Паж, или Пятнадцатый год 311
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый...» 312
«Я здесь, Инезилья...» 313
Рифма («Эхо, бессонная нимфа...») 313
Отрок 314
Заклинание 314
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы 315
Герой 315
«В начале жизни школу помню я...» 317
На перевод Илиады 319
«Для берегов отчизны дальной...» 319
Отрывок («Не розу пафосскую...») 320
Из Barry Cornwall 320
«Пред испанкой благородной...» 320

Моя родословная 321
Цыганы («Над лесистыми брегами...») 323
«Перед гробницею святой...» 324
Клеветникам России 325
Бородинская годовщина 326
Эхо 328
«Чем чаще празднует лицей...» 329
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...» 330
«И дале мы пошли — и страх обнял меня...» 330
Мальчику *(Из Катулла)*. 332
В альбом А. О. Смирновой («В тревоге пестрой и бесплодной...») 332
В альбом кж. А. Д. Абамелек 332
Гнедичу («С Гомером долго ты беседовал один...») 333
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво...») 333
К*** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу...») 334
В альбом («Гонимый рока самовластьем...») 334
(Из Ксенофана Колофонского) 334
«Бог веселый винограда...» 335
«Юноша, скромно пируй, и шумную Вакхову влагу...» . . 335
Вино *(Ион Хиосский)* 335
Гусар 336
«В поле чистом серебрится...» 339
«Сват Иван, как пить мы станем...» 339
Будрыс и его сыновья 340
Воевода 342
«Когда б не смутное влеченье...» 344
«Колокольчики звенят...» 344
Осень *(Отрывок)* («Октябрь уж наступил — уж роща отряхает...») 344
«Не дай мне бог сойти с ума...» 347
«Я возмужал среди печальных бурь...» 348
«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» 349
«Он между нами жил...» 349
Песни западных славян 349
Предисловие 349
1. Видение короля 352
2. Янко Марнавич 355
3. Битва у Зеницы-Великой 356
4. Феодор и Елена 357
5. Влах в Венеции 360
6. Гайдук Хризич 361
7. Похоронная песня Иакинфа Магдановича 362
8. Марко Якубович 362

9. Бонапарт и черногорцы 365
10. Соловей 366
11. Песня о Георгии Черном 367
12. Воевода Милош 368
13. Вурдалак 369
14. Сестра и братья 369
15. Яныш королевич 372
16. Конь 374
(Из Анакреона). *Отрывок* («Узнают коней ретивых...») . . . 380
Ода LVI *(Из Анакреона)* («Поредели, побелели...») 381
Ода LVII («Что же сухо в чаше дно?..») 381
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила...» 381
Полководец 382
Туча 383
Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью...») 384
«Кто из богов мне возвратил...» 384
Странник 385
«...Вновь я посетил...» 387
«Я думал, сердце позабыло...» 389
На выздоровление Лукулла. *Подражание латинскому* . . 389
Пир Петра Первого 390
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный...») 392
Д. В. Давыдову («Тебе, певцу, тебе, герою!..») 392
Мирская власть 392
(Подражание италиянскому) («Как с древа сорвался предатель ученик...») 393
(Из Пиндемонти) («Не дорого ценю я громкие права...») . . 393
«Альфонс садится на коня...» 394
«Отцы пустынники и жены непорочны...» 395
«Когда за городом, задумчив, я брожу...» 396
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» 396
Художнику («Грустен и весел вхожу...») 397
«Была пора: наш праздник молодой...» 397
На статую играющего в свайку 399
На статую играющего в бабки 399
«От меня вечор Леила...» 400

ПОЭМЫ

Руслан и Людмила 403
Кавказский пленник 470
Гавриилиада 492
Братья разбойники 505
Бахчисарайский фонтан 511

Цыганы 525
Граф Нулин 543
Полтава 552
Тазит 593
Домик в Коломне 601
Анджело 611
Медный всадник 629

СКАЗКИ

Сказка о попе и о работнике его Балде 645
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди 649
Сказка о рыбаке и рыбке 673
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях 678
Сказка о золотом петушке 691

Примечания *Д. Благого* 699

Алфавитный указатель произведений 762

На суперобложке:

Лица, причастные к 14 декабря 1825 года. Рисунок А. С. Пушкина. 1826 г.

«Кавказский пленник». Автограф рукописи с портретом Н. Раевского и др. 1820 г.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 103

Александр Сергеевич Пушкин
СТИХОТВОРЕНИЯ
ПОЭМЫ
СКАЗКИ

*

Редакторы
И. Щербакова
С. Чулков

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
О. Ярославцева

Корректоры
Н. Замятина и Л. Коншина

*

ИБ № 456

Сдано в набор 23/IV 1976 г. Подписано к печати 4/X 1976 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 49 печ. л. 45,72 усл. печ. л. 44,93 +1 вкл. +8 накид. = 45,67 уч.-изд. л. Тираж 303 000 экз. Заказ 279. Цена 2 р. 20 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени Первая Образцовая типография имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28

А*ПУШКИН